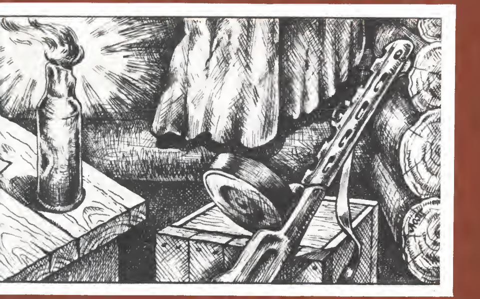


ВЕРСТЫ МУЖЕСТВА







РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
г.ЕКАТЕРИНБУРГА

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ



Владислав Занадворов

Иван Панов

Александр Савчук

Юрий Хазанович

Виктор Стариков

Владимир Шустов

Венедикт Станцев

Александр Исетский

Николай Куштум

Климентий Борисов

Андрей Ромашов

Вадим Очеретин

Павел Макшанихин

Яков Танин

Михаил Найдич

Семен Самсонов

Анатолий Трофимов

Яков Резник

Николай Петропавловский

Павел Кодочигов

Семен Шмерлинг

Стефан Захаров

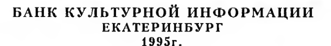
Юрий Левин

Василий Субботин

ВЕРСТЫ МУЖЕСТВА

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ПИСАТЕЛИ-ФРОНТОВИКИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Составитель Семен Шмерлинг



БАНК КУЛЬТУРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ЕКАТЕРИНБУРГ
1995г.

ББК 84.Р7
В 35

Редактор В.В.Артюшина

ISBN 5-85865-057-0



ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!

Благодаря вашему ратному подвигу и трудовой самоотверженности в труднейшие для страны дни и ночи мы смогли сохранить самое главное — национальную свободу.

В борьбе за независимость Родины отданы жизни людей нашего города и нашего района. Быть может именно эта капля и дополнила ту великую чашу всенародной воли к Победе и помогла выжить стране. Вечная память Солдатам Отчизны!..

Именно с площади Обороны провожал своих бойцов Свердловск. Именно здесь были пролиты скупые отцовские слезы и именно здесь горевали матери и жены, провожая самых близких людей на фронт. Вечная им благодарность за великих сынов и мужей! За победителей!

Никто не забудет и бессонные трудовые ночи сутками стоявших у станков людей. Никто не усомнится, даже на мгновение, что без трудового Подвига была бы достигнута Великая Победа... Честь и хвала вам, труженики!

И что может быть достойным поклоном нашего поколения Вам, выстоявшие отцы, матери, деды?.. Мы уверены, что самое дорогое у человека — это Память. Именно Память делает человека Человеком. Именно Память сохраняет смысл его жизни и дел из поколения в поколение. Придет время — уйдем на покой и мы, но останется эта книга, написанная авторами, испытавшими жуткое дыхание войны. И наши с вами внуки и правнуки будут вновь и вновь сопереживать вашим овеянным трагическим временем судьбам.

Низкий поклон Вам, Великие люди Великого времени!

Глава Администрации
Октябрьского района
г.Екатеринбурга

Юрий Кузнецов

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЯМ

Военная проза свердловских писателей-фронтовиков... По замыслу эта книга должна быть достойным подарком ветеранам-уральцам, тем, кто сам в далекие молодые годы прошел верстами мужества и встречает сейчас 50-летие Великой Победы. Это и своеобразный памятник в разные годы ушедшим из жизни нашим товарищам, писателям-фронтовикам. Ведь их, ушедших, половина в составе этого сборника и всех, кроме Александра Савчука, Владислава Занадворова, Ивана Панова, которые погибли в те "роковые-сороковые", мы знали лично, многие годы были свидетелями, а то и соучастниками их жизни и творчества.

Стоит ли говорить, с каким душевным волнением мы приступили к подготовке "Верст мужества". Тем более, что работа с фондами Литературного музея имени Д.Н.Мамина-Сибиряка, переплеты и страницы книжных изданий разных лет воскресили в памяти, казалось, ушедшие в далекое прошлое эпизоды литературной жизни, лица и судьбы друзей, коллег, соратников.

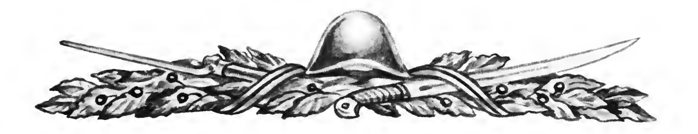
Вот оно — многоликое отражение войны и народного подвига в письмах и прозе двадцати четырех писателей, познавших эту войну и этот подвиг в боях и на фронтовых дорогах. Они отразили ее и средствами художественной повести и рассказа, и в очерках, и в документальных повестях, в эссе и воспоминаниях, в произведениях, рассчитанных на детей. В книгу вошли рассказы, написанные непосредственно в годы войны (А.Савчук, Ю.Хазанович, В.Стариков) или относительно скоро по окончании ее, но в большинстве своем — это литература, по срокам написания близко стоящая к нашим дням. И вполне понятно, что взгляд, отодвинутый во времени, обогащенный опытом общесоюзной батальной прозы, кажется более полихромным и емким, тематически расширенным, более глубоким психологически. Это естественно. Время, опыт на все накладывает свой закономерный отпечаток. Даже на интонации... Несомненно то, что военная проза свердловских писателей-фронтовиков, независимо от той или иной ее художественной силы, пронизана любовью к Родине, к своему народу-воину, верой в победное завершение праведной, воистину народной войны. Этого не отнимешь.

С глубоким уважением к ратному и мирному труду писателей-фронтовиков мы делали и завершили эту работу.

Валентина Артюшина
Семен Шмерлинг



Письма невернувшихся с войны





Владислав Занадворов

Владислав Леонидович Занадворов родился в 1914 году в Перми. Отец его, инженер-строитель, по роду работы часто менял место жительства, и Владислав с детства привык к жизни на колесах. Ему не было пятнадцати, когда он окончил в Свердловске школу-восьмилетку с геолого-разведочным уклоном, и это определило его будущую профессию. С 1930 года он начал странствовать самостоятельно в геологических партиях, экспедициях.

И я выходил, босоногий,
Из комнатной духоты
И видел: бежали дороги
Под светом неверной звезды.

В 1932 году в свердловском журнале "Штурм" были напечатаны первые стихотворные произведения талантливого юноши — стихи из цикла "Кизел" и поэма "Путь инженера". В дальнейшем в том же "Штурме", в газетах печатаются его более зрелые стихи, в альманахах появляются рассказы, отдельной книгой для юношества выходит повесть "Медная гора".

"Я люблю полевую работу, — писал он в 1938 году к своей будущей жене Е.П.Хайдуковой, — но всецело я не могу принадлежать геологии... Труд литератора — вот что по-настоящему привлекает меня".

Поисками себя как писателя Занадворов занимался неустанно, с огромным уважением к профессии литератора. В планах было написать поэму о сверстниках, взяться за роман.

В феврале 1942 года Занадворов был призван в ряды Советской Армии, в июне окончил военное училище, получил звание младшего лейтенанта и вскоре отправился на фронт.

Геолог, поэт, писатель и командир подразделения минометчиков, Владислав Занадворов воевал стойко и честно. Он был участником Сталинградской битвы. Погиб 28 ноября 1942 года в возрасте 28 лет. Похоронен в братской могиле в станице Чернышевской.

Из писем В.Л.Занадворова жене Е.П.Хайдуковой,1939 год

И сейчас, когда мне бывает нечего делать, я все чаще и чаще думаю о годах первой пятилетки, думаю о тех людях, которые вступили в жизнь в эти годы, — о поколении первой пятилетки. Между этим поколением и людьми, которые года на 3-4 моложе или старше его, — прошла пограничная полоса, да еще какая! Я сейчас ищу во всех книгах крупицы правды, сказанные об этом поколении. И радуюсь, когда нахожу. Но это еще все — только крупицы правды. Чаще — читаешь и тебе кажется — или автору было лень подумать, или он страшно торопился — и снимал рыночную моментальную фотографию, или же просто — он настолько

чужд тому, о чем пишет, что вместо оды получается пасквиль. Бывает и так. А сколько стихов насюсюкали и нажелезобетонили об этих годах. И один лишь Симонов нашел в себе мужество и талант, чтобы заговорить об этих людях, об этих годах, как говорит взрослый мужчина о своей молодости, если она была настоящей, — с уважением, с теплотой, сдержанно и ясно, как будто он заново переживает свою молодость. Вот так бы, родная моя, каждому из нас говорить. Я сейчас примериваюсь и настраиваю себя на соответствующий лад. Посмотрим, что это будет за год...

1939 год

Право, Катюшка, при коммунизме будет совсем не так; и потому, что я знаю, — если не мой сын, то хоть сын сына не будет знать никаких тягот, давящих его чувства, мысли, желания, что он сможет всегда жить полной радостной жизнью, — все мечты мои связаны с этим прекрасным временем, и мне сейчас хочется находить в людях проблески тех черт, которые тогда расцветут пышным цветом...

27.02.42

... Между прочим, у большинства из нашего взвода такое настроение — скорее бы на фронт. И у меня почти такое же. Я знаю, девочка, тебе трудно понять это, — но уже сейчас как бы отстраняешься от всего личного и даже, может быть, от себя. К тому же есть и другие соображения, — надоела муштра и, признаться, — любопытно увидеть фронт. Видишь, моя хорошая, очень неплохо побывать там, в самом пекле, все увидеть своими глазами, но только при условии — вернуться назад целым и невредимым. Я все больше и больше думаю о том, что делать после окончания войны, как тогда жить. Еще придется очень много работать, — будто перед тобой невозделанное поле, а времени до захода солнца осталось немного. Вот я и буду в таком же положении. Нужно будет очень много и упорно писать, — от имени всех моих друзей, — тех, кто останется жив, и тех, кто, как Игорь, — никогда не вернется. А для этого нужно все видеть, все знать, все пережить. Может быть, это самоутешение, — не знаю...

Из письма к родителям и брату 26.05.42

... Все пытаюсь освоиться с ритмом воинской жизни, да что-то не получается. К тому же 2,5 месяца, которые я провел в Дегтярке, конечно, недостаточно, чтобы быть помкомвзвода, — как я понимаю это звание... Получил летнее обмундирование, — сейчас куда больше похожу на военного человека, но это — только внешне. Все со дня на день ждем, что отправимся на фронт, — но вместо этого сегодня должны перебираться в летний лагерь, — сейчас мои бойцы строят палатки. Конечно, в деревне, в теплой избе куда приятней жить, чем в шалаше, но ничего не попишешь. Нужно — значит, переходим. А я, признаться, только привык к планировке своего дня, — стал вставать часа в 4—5 утра и вырывать 1,5—2 часа в качестве своего собственного личного времени, — сделать кой-какие записи, заглянуть в книгу, иногда даже — срифмовать пару строк. Утром хорошо, — тихо, все еще спят, и ты никому не нужен. Сейчас придется отказаться от этого...

Из письма к жене 9.08.42

Все эти дни, что провели на сборе, стояла жаркая, солнечная, настоящая летняя погода, а сейчас, как назло, — моросит дождь и холод, так что приходится кутать-

ся в шинель, и все-таки мурашки бегут по спине, — это уже осень, — первое ее дыхание. В прежние годы в такие дни все сильнее чувствовалось, что бродяжничество уже кончается и что уже пора садиться за письменный стол, за бумагу и книги. Это было время надежд и планов. Надежды и планы — это вообще русская черта, русский размах, ибо русский в душе всегда оптимист. Вот, может быть, именно потому, что я — русский, я сейчас, лежа в палатке, и готовый со дня на день выйти на передовую, занимаюсь тем,что строю шаткое здание будущего романа, вспоминаю тысячи мелочей, отбрасываю одни и выдумываю другие и все пытаюсь найти то главное, что вызывало бы и улыбку, и слезы, и светлую грусть, и десятки других хороших чувств. Когда-то давно, еще в школе мне говорили: — большому кораблю — большое плавание. Проходили годы, а я все искал — где же плаванье? Вот такому человеку, его поискам своего места, своей большой правды и должен быть посвящен роман. Вместе с тем это — летопись последнего великого десятилетия. Конечно, все это дело далекого и, может быть, нереального будущего. Сейчас же совсем другое — палатка, продуваемая ветром, шинель, наброшенная на плечи, и винтовка у тебя под локтем. Ну, хорошая моя Катюшка, прости, — расфантазировался. Спасибо тебе за Костин стишок, а особенно за начало письма, — о том, как Юрашка берет цветы и идет гулять во двор. Знаешь, я довольно ясно представляю себе, как наш парнишка спускается с крыльца и с серьезным видом, невозмутимо бродит по двору и разговаривает сам с собой. Посмотрел бы на него с удовольствием.

Из письма к Б.Н.Михайлову 12.08.42

Очень давно — больше месяца тому назад — послал я тебе большое письмо и в нем — стихи для книги "Преданность", возможно, это моя лебединая песня. Меня беспокоит — ответа так от тебя до сих пор и не получил, — очень обидно, — стихов многих сейчас не восстановить, — обстановка не располагает к этому.

Меня по-настоящему, кровно интересуют ваши пермские дела, — кто остался в Перми из старых ребят, где остальные, кто и что делает, что издают. — Если эта война для меня кончится удачно, — я еще побеснуюсь над листками бумаги, просижу еще немало ночей напролет, да и просто — интересно знать, что делают старые друзья, что происходит на моей родине. При всем желании, в любой обстановке, я не могу оторвать своего сердца от литературных дел. Это какой-то заколдованный круг, из которого только смерть может выбросить человека. Вот сейчас все больше и больше тянет на серьезную добросовестную прозу, — на большой обстоятельный роман, которому не жаль отдать несколько лет. Но об этом можно думать только по ночам, почти тайком от себя, когда не спится. Ты прости, что я пишу только о литературных делах, но я отдыхаю в разговоре о них и как-то отстраняюсь от действительности.

Из письма к жене 15.09.42

... Пишу это письмо, сидя в блиндаже: у самодельного очага, — углубления, вырытого в песчаной стене. Погода стоит холодная, ветреная, а у огня не только греются руки, но и душой как-то отогреваешься.

...Знаешь, я часто ловлю себя на мысли: очень хорошо, что где-то далеко отсюда, за сотни дней и верст от нашей фронтовой жизни, у меня осталась ты, — моя девочка, — и наш сынка... Подумаешь, и как-то делается не так одиноко. Это великая вещь, когда знаешь, что есть куда, есть к чему возвращаться.

И я должен вернуться: несмотря на то, что мало кто отсюда вернется живым. Мне порой кажется — сейчас я сумею сказать такую правду о человеке, что у всех, кто узнает ее, дух захватит, что и сам я стану удивляться, как я сумел ее найти. Но только — так далеко и так нереально то время, когда я снова сумею сесть за письменный стол, что часто кажется, — оно никогда не настанет. Да и, трезво говоря, — для меня оно может и не наступить. Хотя я всегда стараюсь не думать об этом. Так лучше. ...

...Ну что я могу написать о себе? Самое главное — жив и здоров. Вот уже добрую неделю мы находимся на отдыхе, верстах в 10 от передовой, — сейчас оттуда доносится орудийная стрельба. На днях, а может, и сегодня вечером, двинемся туда — снова в бой. К этому надо привыкать, сейчас наша жизнь — блиндажи в неглубоком тылу, передовая, ночные марши — с одного участка на другой. Словом, жизнь настоящих солдат. С нетерпением все ждем времени, когда наконец пойдем на запад, по-настоящему, почти без остановок. Чем быстрей наступит это время, тем скорей все кончится, хотя, думаю, что зиму зимовать еще придется, — самые большие бои еще впереди. Ну, об этом писать не надо, ты знаешь сама. Лучше поговорим о сыне...

19.10.42

Может быть, просто у меня сейчас тоскливое настроение, и все рисуется в мрачных тонах, да и то сказать — погода отвратительная — дождь идет вперемежку со снегом, холодно и ветрено, мои бойцы, промокшие насквозь, строят землянки, — занятие не из веселых. Еще хорошо, что мы сейчас не на передовой, — хоть можно развести костер или зайти в избу погреться. А на передовой жутко.

Знаешь родная, я часто думаю о том, как будут жить люди после войны, — мне кажется, что за это время все так научатся ценить жизнь — даже в самых простых ее проявлениях, что каждая минута ее будет радостна и каждое движение — благостно. А может, это только так кажется. Что сейчас поделывает Юрашка? Парнишке третий год, — как идет время... А разве думалось, когда он появился на свет божий, что наш сын начнет жизнь в такое паршивое время? Ну, все это пройдет.

ВОЙНА

Ты не знаешь, мой сын, что такое война!
Это вовсе не дымное поле сраженья,
Это даже не смерть и отвага. Она
В каждой капле находит свое выраженье.

Это изо дня в день лишь блиндажный песок
Да слепящие вспышки ночного обстрела;
Это боль головная, что ломит висок;
Это юность моя, что в окопах истлела;

Это грозных, разбитых дорог колеи;
Бесприютные звезды окопных ночевок;
Это кровью омытые письма мои,
Что написаны криво на ложе винтовок;

Это жизни короткой последний рассвет
Над изрытой землей. И лишь как завершенье -
Под разрывы снарядов, при вспышках ракет,
Беззаветная гибель на поле сраженья.

Иван Панов

Иван Степанович Панов — журналист, писатель, воин со времен гражданской войны.

Не много успел он написать: очерковые книжки "Изобретатель Сарапулкин", "История продолжается", сборники рассказов, главное произведение — роман "Урман" и еще — неоконченную повесть "Песцовая пустыня".

На фронтах гражданской войны пули миловали его. Страшное случилось позже, когда Панов в Перми участвовал в борьбе с бандитизмом. Коротко писал он об этом в своей биографии: "В феврале 1922 года был захвачен бандитами и изрублен. Через несколько месяцев раны зажили, но стал я инвалидом. Из Красной Армии меня уволили с исключением с воинского учета".

А дальше была учеба в комвузе, беспокойные будни газетчика.

...Весна 1942-го. Грозное, незабываемое время. Уходит на фронт и писатель-коммунист Иван Панов. Как удалось ему на пятом десятке, искалеченному в гражданскую, этого добиться — неизвестно. Очевидно, помог уральский характер.

В сентябре 1942 года Иван Степанович Панов погиб под Сталинградом. О последних днях его рассказал бывший писарь политотдела старшина Андрей Никанорович Мешавкин:

"...Сталинград в огне. Коричнево-багровое пламя, распластавшееся вдоль Волги, по ночам видно даже из-под Котлубани, где в степи держат оборону полки нашей 221-й Уральской стрелковой дивизии. Ночью опять отбита атака гитлеровцев. Во многих местах их артналетом разрушены ходы сообщения. Саперам, как вчера и как позавчера, пришлось поработать. Вместе с нами не спал в эту ночь и парторг — тоже рядовой солдат — Иван Степанович Панов.

— Ничего, братцы, выстоим! — ободрял он бойцов.

...Утром Панова вызвали в политотдел дивизии... После короткой беседы с начальником политотдела Панов пристроился на ступеньку у нашей щели.

— Ну как, — спрашиваем, — завербовали?

— Да нет, напрасный разговор!

А разговор у начальника политотдела был все тот же: уже не в первый раз предлагал он Ивану Степановичу работать в редакции нашей дивизионной газеты.

— Мое место рядом с солдатом, — неизменно отвечал Панов. — Вот притрусь к окопной щели, книгу потом напишу о солдате-уральце.

И он ушел, прикрыв автомат измазанной в глине плащ-палаткой. Больше мы с ним не встречались..."

Не довелось Панову написать книгу о солдате, была бы это настоящая книга.

Вот строки из его писем домой:

13.03.42

Итак, родные мои Феруся и Валерочка, для вашего старика началась армейская жизнь!.. Вид у нас был такой, что мы словно явились с углевыжигательных печей. Грязи столько, что хоть пшеницу сей. Пожарились, помылись, я даже сумел попариться.

Разбивка, опрос — и Ванюша попал в инженерно-технические войска. Привет вам, дорогие, от сапера! Думал все, что угодно, только никак, даже во сне представить не мог себя сапером. Послужим и на этом поприще. При опросе, когда я назвал так называемую "гражданскую" специальность, командир оторопел: "Писатель?" Пара вежливых фраз — и остался я "между прочим", пока без звания...

5.04.42

...Ты знаешь, что у твоего Ванюши искреннее, пламенное сердце, если он будет умирать, так умирать красиво...

...Будем надеяться, что поживем лучше прежнего! А сейчас надо забыть об уюте, отдыхе и личной жизни. Война неумолима, если хочешь жить в будущем счастливо, сейчас надо переносить лишения и невзгоды. Таких людей миллионы, перед нами нет выбора...

12.04.42

Моя радость единственная!.. Войну мы в этом году все равно должны закончить. Останусь жив, вернусь...

Работаю много, сплю мало... встаю в 5, когда все еще спят. Так свыкся с этим временем сна, что после 5 часов уснуть все равно не могу. Ладно, уничтожим Гитлера, отосплюсь...

15.05.42

... С каждым днем все сильнее и сильнее влюбляюсь в свое саперное дело. Поеду на фронт — совсем полюблю. Избрал я прекрасную специальность — миннопод-рывное дело...

В майские дни приезжали с Уралмаша шефы. Вручали знамя. Меня экстренно вытащили из строя на трибуну и заставили выступать с ответным словом шефам. Произнес клятвенную речь. Командование говорит, что сказал очень хорошо.

Можешь гордиться: по всем дисциплинам иду отличником, служу примером. Пишут обо мне в дивизионной газете, говорят на собраниях. Учти, это при колоссальной партийной нагрузке ответственного секретаря партбюро батальона...

21.05.42

... Живу я по-прежнему, с неба звезды не хватаю, продолжаю топать в строю. Правда, это тяжеловато в мои годы, но от молодых не отстаю. На днях были боевые стрельбы, стрелял я только на отлично, даже сверхотлично: из 30 очков выбил 28. Настроение бодрое, жизнерадостное. "Кто смерти не боится — невелика птица. Вот, кто жизнь полюбил, тот и страх загубил".

Все живем одной мыслью — летом кончать Гитлера, чтобы сумрачным осенним утром под мелкий дождь две клячи свезли его проклятые кости на свалку.

14.07.42

... Видала ли ты, как бьют зенитки? Какая красота, огненный смерч раскалывает небо. У меня столько материала и впечатлений, что голова пухнет. Удастся ли все это когда-нибудь описать? Действительно великая Отечественная война.

Без даты

... Никак не хватает времени. А работы, работы!

10 часов строевых и прочих специальных занятий, самоподготовка, партийная работа отнимает самое малое 3—4 часа в день. И все надо делать отлично, потому, что все равняться должны по секретарю партбюро... Так и киплю, варюсь в

котле. На днях, видимо, изменится характер работы и вся моя военная карьера: возьмут в дивизионную газету. Приходил ко мне редактор, предупредил. Немного жалковато, хоть и тяжело, но я свыкся с батальоном, его жизнью и людьми. Только сейчас я убедился: для того чтобы быть на фронте живым и целым, побеждать, — как много надо учиться, учиться упорно, буквально ломать себя, свой уклад и психику.

... Есть такие экземпляры, что диву даешься, хоть сейчас вместо фронта отправляй в тюрьму. Когда-нибудь этих людей я возьму на перо, и тогда многие увидят себя как в зеркале.

3.08.42

... Береги здоровье. Оно тебе нужно будет, особенно нужно, если со мной случится несчастье. Надо трезво смотреть жизни в глаза: война есть война, событие суровое, неумолимое. Особенно наша война с озверелым врагом.

17.08.42

... Итак, кончилась моя тыловая, казарменная жизнь, началась настоящая походная, армейская. Попрошу тебя, роднуша моя, благослови меня на подвиг ратный, пожелай мне вернуться домой с победой, героем живым и невредимым. Ты знаешь меня, прятаться по кустам и щелям, искать безопасное местечко подальше от фронта я не буду, но не буду и ни за что ни про что подставлять свою голову врагу. Пусть выкусит. Смелость и храбрость тогда хороша и полезна, когда она сочетается с умением, знанием дела, военной сноровкой и хитростью. А что домой я вернусь с орденом — это так же верно, как верно, что я твой муж, а ты — моя жена. А если придется умереть на фронте, то умру только со славой, чтоб вам с Валеркой не стыдно было за меня...

Александр Савчук

Из писем жене Людмиле Семёновне Савчук

11.09.42

Если бы ты знала, какие замечательные люди сидят в траншеях и ходят в бой! Как все это они делают спокойно, просто, с ясным сознанием своего долга перед Родиной. Был большой и тяжелый бой, но никто не дрогнул, никто не струсил и не подумал о своей шкуре...

13.09.42

Когда нужно писать о героизме русского воина, надо его видеть в окопе, в дзоте, в засаде и в бою. И я обязан идти к нему, если хочу быть честным и правдивым перед читателем. Чувствую себя хорошо, и особенно хорошо, когда бываю на передовой. Здесь раскрываются чудесные стороны души нашего народа! Сколько благородства, чистоты, преданности и самопожертвования во имя Победы! Что бы ни случилось, но такой народ победить нельзя.

2 Зак. 474

9.03.43

Трудное дело война. Восемь дней ходил я в промокшей одежде и в промокших сапогах, восемь дней не раздевался и не спал. За эти дни я исходил пешком несколько сот верст... Кашляю ужасно, но счастлив, что и мой труд, моя борьба помогают освобождать Родину от ненавистных фашистов.

26.03.43

Месяц я беспрерывно нахожусь на передовой. Был несколько раз в наступательных боях. За это время только два дня я был в редакции... Я так подавлен тем, что видел... Встречаются сожженные деревни,единственное население которых — дети... Родителей немцы угнали два месяца тому назад или расстреляли... Видела ли ты когда-нибудь замёрзшего воробушка? Эти дети очень напоминают таких заморышей. Все они обморожены, больны тифом или другими болезнями. Я отдаю им всё, что имею, и беспрерывно плачу. Я не могу не плакать. Сердце сжимается в комок. Незаживающая рана. Никогда нельзя забыть этого...

Нахожусь у танкистов. Три часа ночи. Вот при свете маленького огонька пишу тебе. Рядом сидит подполковник и тоже пишет жене. Сейчас будем спать. А утром снова — поход.

Письмо, написанное 26 марта 1943 года, было последним. Тринадцатого апреля Александр Савчук погиб. Похоронен в деревне Репино Ярцевского района Смоленской области. Он успел написать об этой войне. С частью его рассказов читатель этой книги имеет возможность познакомиться.



Александр Савчук



Александр Федорович САВЧУК (1905-1943) в 1920 году вступил в комсомол и уехал на Дальний Восток. Участвовал в операциях против атамана Семенова и при ликвидации банд Унгерна, потом служил в отряде особого назначения на фронте под Хабаровском в 6-м Волочаевском полку.

С первых дней Великой Отечественной войны А.Ф.Савчук ушел на фронт. Был политруком роты народного ополчения, литсотрудником агитпоезда политотдела Свердловской железной дороги, военным корреспондентом фронтовой газеты "Сын Родины". Награжден медалью "За боевые заслуги". В апреле 1943 года А.Ф.Савчук погиб на Смоленщине.

Очерки и рассказы А.Ф.Савчука публиковались в журнале "Штурм" и альманахе "Уральский современник". В 1936 году был напечатан его роман "Так начиналась жизнь". В Свердловском книжном издательстве в 1952 году вышел сборник "Фронтовые рассказы". В рукописи осталась пьеса "Семья Гончаровых" и роман "Крушение", работу над которым Савчук начал в 1938 году.



БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ

Лейтенант Сухов лежал в лощине, раненный в обе ноги. У реки заканчивался бой. Немцы были разбиты, но их мелкие группы все еще сопротивлялись, пытаясь закрепиться на крутом берегу. Рядом, под деревьями, тихо журчал ручей. Прозрачная вода его серебрилась, горела на солнце.

Было убаюкивающе скучно слушать однотонную музыку ручья. Сухов напряженно прислушивался к тому, как там, у берегов большой реки, еще перекликались пулеметы. В бездонной прозрачной голубизне неба изредка пролетали стремительные силуэты немецких самолетов, и тогда земля качалась и вздрагивала от взрывов.

Сухов лежал уже несколько часов и чувствовал, как слабость все больше и больше сковывала его тело. Ему хотелось пить, сухая спазма давила горло. Жажда была так велика и мучительна, что он закрывал глаза, чтобы не видеть, как течет и серебрится у его ног вода. Он хотел только одного — как можно скорее уснуть и забыть боль. Но сна не было. Оставалось смотреть, как падали и кружились в воздухе пожелтевшие листья берез. От этого однообразия и однотонного журчания ручья у Сухова закружилась голова, и он закрыл глаза.

Послышался шорох. Лейтенант приоткрыл глаза и приподнял голову. К нему приближался солдат. Это был боец третьей роты Юлдаш Джабаев, с которым он до этого встречался всего несколько раз. Раздвигая руками ветки, Джабаев шел медленно, осторожной походкой, точно у него болели ноги. Он часто останавливался, оглядывался по сторонам, и Сухов не мог понять, куда и зачем идет он.

— Джабаев, родной! — радостно крикнул Сухов.

Юлдаш вздрогнул, задержался у куста.

— Товарищ лейтенант! — шевельнулись сухие, обветренные губы Джабаева, и в узеньких карих глазах казаха вспыхнули боль и сострадание.

— Два нога ранила... два нога... ой, ой, — простонал он.

— Воды, Джабаев! — хрипло попросил Сухов.

— Сейчас будет вода, холодный вода, — ответил Юлдаш и так же медленно и осторожно пошел к ручью.

Сухов пил долго и жадно, отдыхал и снова пил. Джабаев надел на голову мокрую

пилотку, вытащил из-за пазухи два бинта, сел возле Сухова и перевязал ему ноги.

— Ой, ой! Кость нету, ходить нету! Ой, ой!

— Как же мы доберемся до медпункта? — превозмогая боль, растерянно спросил Сухов.

Но Юлдаш только слегка улыбнулся:

— Ничего, ничего! Мой понесет на медпункт, доктору понесет.

И он нагнулся, взвалил Сухова на спину, перешел ручей и зашагал по полю. Он шел по рыхлой, заросшей полынью и чертополохом земле, изредка останавливался, проверяя, удобно ли Сухову. На плечах взмокла рубаха, шинель путалась между ногами, и даже пилотка казалась тяжелой и лишней на голове.

Сухов почувствовал, как медленно шагал Джабаев, как он спотыкался и тяжело дышал.

— Довольно! Не надо, Юлдаш, ты устал... Я не могу больше, ты понимаешь! — уговаривал Сухов.

— Ничего, товарищ командир, — отвечал ему Джабаев и упрямо шел вперед.

Подул теплый степной ветер, но горячее, раскаленное добела солнце жгло нестерпимо. Сухов ощутил боль и усталость во всем теле.

— Джабаев, милый, я больше не могу! — наконец произнес он, и Юлдаш почувствовал, как на шее слабнут руки Сухова. Казах опустился вместе с ним на землю и заулыбался какой-то виноватой улыбкой.

— Ой, беда, вода нету! Ой, ой! Как будет! Вода нету!

Джабаев покачал головой, затем поднялся и опять той же медлительной и усталой походкой пошел кустами на поиски воды.

"Какой чудесный парень", — с нежностью и чувством глубокого уважения подумал Сухов.

Юлдаш вернулся, бережно неся в консервной банке воду, прихрамывая и кривясь от боли.

— У тебя нога болит, товарищ Джабаев? — спросил Сухов, но Юлдаш снова приветливо заулыбался и, протягивая банку, сказал:

— Пустяки, товарищ командир.

А потом снова взвалил его на спину и, тяжело сгибаясь и задыхаясь, пошел по полю.

Так шел он еще около часа. Издалека доносилась канонада и завывание вражеских самолетов. Затем из-за кустов вырвался "мессершмитт" и, сверкая крыльями, пошел на восток.

— Пролетел, коршун, — сказал Сухов. Но самолет накренился набок, сделал круг, снизился и пошел обратно на бреющем полете. Сухов видел, как по земле, точно большая распростертая птица, навстречу ему летела тень.

— На нас! Оставь меня, прячься, Юлдаш! — приказал Сухов, и острая, щемящая тревога за этого человека охватила его.

А самолет завывал уже совсем близко. Сухов отчетливо различал летчика, видел его лицо. Застрочил пулемет, и пули с шумом вошли в землю.

— Джабаев, спасайся! — закричал Сухов, но Юлдаш не испугался и не бросил его. Бережно, как кладут грудного ребенка, он положил Сухова на землю, и когда летчик дал вторую очередь, лег на него и закрыл своим телом.

— Что ты делаешь, сумасшедший! — рассердился Сухов, но Джабаев неизменно улыбался и твердил:

— Ничего, ничего! Живая, товарищ Сухов, живая, командир!

Пули ложились впереди, сзади, по бокам, и серые струйки земли то и дело взлетали возле них. Когда немец улетел, Джабаев поднял Сухова и пошел, теперь уже вдоль свежей, раскатанной артиллерией, дороги.

Сухов мучился, страдал от боли и от сознания, что причиняет столько хлопот Джабаеву. А солнце уже поблекло, небо потемнело, окрасилось тончайшими отблесками вечерней зари. Густая серая пыль клубилась вдоль дороги.

— Я больше не могу, Юлдаш, оставь меня и иди на пункт, к доктору, скажи, что я здесь, — сердито простонал Сухов.

— Немножко... еще немножко... совсем близко, — сказал Джабаев, приостановился и указал пальцем туда, где на фоне выжженных летним зноем кустов вырисовывалась небольшая возвышенность, возле которой стояли бойцы.

— Помогите! — что было силы крикнул Сухов, но его никто не услышал.

— Сейчас, еще немножко, товарищ командир, — успокаивал его Джабаев. Но Сухов чувствовал, что с каждым шагом боец двигался все медленнее, а ноги его спотыкались и подкашивались.

— Не донесешь, милый мой товарищ, — с отчаянием вскрикнул Сухов.

— Ничего... донесет Юлдаш Джабаев, обязательно донесет.

И донес его к блиндажу, бережно положил на землю, а когда к ним подошли бойцы и командиры, бледный, со смертельной усталостью в глубоко запавших лихорадочных глазах, сказал:

— Одеяло, подушка командир надо. Скорей. Очень больная, два нога нету.

Кто-то сбегал за одеялом и подушкой. Джабаев заботливо постелил одеяло, приподнял и перетащил Сухова на постель, вытер со своего лица пот и, закрыв глаза, лег рядом с ним.

Он лежал несколько минут спокойный и торжественный, а когда лейтенант окликнул его, не ответил.

— Юлдаш, дорогой, ты спишь? — тормоша его за плечо, воскликнул Сухов, но и на этот раз Джабаев не ответил ему.

— Умер, — сказал только что подошедший врач. Он сразу заметил мертвенную синеву на лице Джабаева и его остекленевшие глаза.

— Умер? Как умер? — с испугом и ужасом в голосе спросил Сухов.

Врач не ответил. Он нагнулся над Джабаевым, пощупал пульс, расстегнул шинель и, заметив на гимнастерке запекшуюся кровь, отвернул ее, и все увидели несколько осколочных ран в животе Джабаева.

— И он так... нес вас? — с удивлением спросил врач.

— Да, так и нес... Всю дорогу. Но я... я не знал, доктор.

И вдруг стало тихо, тихо, как в поздний час ночи. Врач снял с головы пилотку, и все остальные сняли тоже. Сухов приподнялся на руках и с мучительной болью в голосе и со слезами на глазах произнес:

— Какое большое сердце было у тебя, Юлдаш Джабаев.

ЧУВСТВО ДОЛГА

Совещание в штабе восстановления железнодорожного моста закончилось поздно. Было уже одиннадцать часов вечера, когда над мостом взлетел белый дрожащий свет ракет и немцы в третий раз ударили из минометов. Где-то недалеко, под самым окном, взметнулось рыжее пламя огня, и в штабе зазвенели и посыпались стекла.

Двое сотрудников выездной редакции молчаливо сидели возле стола. Несколько раз они порывались уйти на соседнюю станцию, где находился вагон-редакция, но их задерживал командир желдорбата.

— Немец простреливает сейчас всю дорогу. Едва ли вы доберетесь живыми до станции. Советую остаться здесь до утра.

Но они не могли оставаться до утра, потому что приходили на мост за материалами для листовки. Оставаться на ночь на мосту — значило сорвать выпуск листовки, и поэтому Савин категорически заявил:

— Нет, мы обязаны во что бы то ни стало вернуться в вагон.

В этот момент открылась дверь, и на пороге появился связной штаба Власенко. Лицо его было желтым, глаза стали мутными, посиневшие губы подергивались. Он сделал несколько шагов через всю комнату, медленно поглядел вокруг и сел на скамейку.

— Что с вами, товарищ Власенко? — тревожно спросил командир батальона и быстро подошел к нему.

— Ранило, — сумрачно ответил связной, и тут все увидели вырванный осколком немецкой мины окровавленный клок ваты на левом бедре. — Ранило, — повторил Власенко, — трех плотников насмерть, а меня...

Майор снял с Власенко брюки, перевязал изуродованное осколком бедро и, позвонив батальонному врачу, опять обратился к сотрудникам:

— Вот видите... доказательство очень красноречивое...

— И все же нам надо идти, — произнес Савин и первым встал со стула: — Пойдем, Вася, — обратился он к своему товарищу, стройному юноше.

— Да, нужно идти, — ответил Борисов, надевая шапку-треух.

Из соседней комнаты вышел низенький, но очень плотный, широкогрудый, с крупными чертами лица человек и, затягивая ремнем белый армейский полушубок, сказал:

— Ну, раз имеются попутчики, то и я могу пойти.

Это был кладовщик продовольственного склада Богатько.

Через несколько минут они вышли из штаба. На улице было темно. За крутым берегом реки снег казался необыкновенно серым и на горизонте сливался с небом. Где-то на шоссе, которое тянулось вдоль железной дороги, скрипели санные обозы. Это бойцы везли к передовой боеприпасы. Изредка ослепительно взлетали сверкающие ракеты немцев, освещая снег, повозки и людей. Затем опять еще

сильней надвигалась на дорогу глухая, зимняя темнота, становилось тихо, и вдруг с отвратительным воем шлепались немецкие мины.

Вспомнив, что где-то в стороне от дороги есть тропинка, Савин остановился.

— Нужно поискать, тут где-то тропинка на Кураково, может быть, по ней безопасней будет, — сказал он и пошел вдоль крутого берега. Борисов и Богатько двинулись за ним. Несколько минут они настойчиво бродили по глубокому, рыхлому снегу.

Савин остановился, вытер со лба выступивший пот и сердито буркнул:

— Так до утра проходим, а тропинку не найдем. Пошли на шоссе.

Навстречу сплошным беспрерывным потоком шли санные обозы. Попадались убитые лошади, разбитые мешки с сухарями, ящики с консервами. Возле переезда неожиданно из-за куста появился регулировщик.

— Стой! Куда идете? — окрикнул он и, изготовив винтовку, пошел к ним навстречу. — Куда идете? — повторил он вопрос, внимательно рассматривая пешеходов.

— На Важенку, — предъявляя документы, ответил Савин.

— На Важенку? — переспросил регулировщик и молча, неодобряюще покачал головой: — Эх, товарищи, — произнес он, удостоверившись, что все в порядке, — смерть себе ищете.

— А что? — спросил его Савин.

— Да ведь на Важенку нужно мимо Кураково по шоссе идти. А разве вы не видите, как он по тому месту бьет.

Все трое невольно взглянули в сторону Кураково. Деревни не было видно, но на правой ее стороне, там, где проходит дорога, огневые всполохи мин беспрерывно чертили небо. Затем в черном куполе неба проносились огоньки трассирующих пуль, и вслед за этим тишину разрывала пулеметная очередь.

— Вот, видите, — воскликнул регулировщик, — обозы-то все от Кураково повернули назад.

— Да, но мы повернуть назад не можем, нам надо идти.

Боец еще раз неодобрительно покачал головой.

— Ну, что же, идите, раз нужно.

И они опять, обходя встречные обозы, пошли на Кураково. Дальше обозники встречались все реже, и скоро они остались одни на пустынной дороге. А немцы все больше и больше неистовствовали. Они, очевидно, думали, что по дороге все еще движутся машины и лошади.

Потом как-то неожиданно замолкли взрывы, и наступила такая томительная тишина, что все трое сразу же почувствовали невыносимый, мучительный гнет ее.

Теперь они шли молча, один за другим. Только настойчивей и сильней скрипел под ногами снег. Савин шел впереди, широко размахивая руками; он то и дело покашливал, потирая онемевшие от мороза руки, и покрикивал на отстававших товарищей:

— Давай, давай, поторапливайся, хлопцы!

Борисов едва поспевал за ним. Богатько шагал неторопливой, развалистой походкой и с таким усердием грыз сухари, что даже Савин, шедший впереди, слышал хруст на его зубах.

— Ну и обжора же ты, Богатько! Ты что же дома поесть не мог, — ворчал он.

— Я так, чтобы веселей было, товарищ Савин, —оправдывался Богатько.

Скоро из-за бугра показалась деревня. Занесенные сугробами снега избы казались маленькими, утонувшими по самые крыши, и напоминали новогодние рисунки для детей. Но с каждым шагом они все больше вырастали из снега. Уже были видны белые медлительные клубы дыма из труб, огороды и даже маленькая кузница на окраине деревни.

— Ну, вот и Кураково, товарищи, — обрадовался Савин.

Из-за кузницы выскочили несколько вооруженных красноармейцев.

— Стой! Кто идет?

— Свои! Свои! — пояснил Савин, но высокий, одетый в белый полушубок и шапку-треух красноармеец приказал: — Стой на месте! Руки вверх!

Боец подошел ближе и, рассматривая незнакомых людей с поднятыми руками, спросил:

— Пропуск есть?

— Нет, — ответил Савин.

— Куда идете?

— В Важенку, мы из вагона редакции.

— Вы, что же, не знаете, что нельзя по ночам ходить? — строго сказал он.

— Знаем, но нам, товарищ, очень нужно... — просил Савин.

— Идемте к капитану.

Когда они проходили мимо кузницы, Савин заметил, что за небольшим снежным завалом стоял станковый пулемет, а рядом с ним лежало несколько бойцов в маскировочных халатах.

"К чему бы это?" — подумал он, предчувствуя что-то недоброе.

К штабу нужно было добираться по крутому подъему. Савин скользил, спотыкался и, теряя равновесие, чуть не упал. Он приостановился, чтобы отдышаться, и в ту же секунду услышал тихий, приглушенный рокот моторов. Сначала он подумал, что здесь где-то недалеко стоят автомашины, но затем из-за крайней избы вдруг показался белый замаскированный силуэт легкого танка. Возле него стояли бойцы, и Савин понял, что здесь чего-то ждут. На улице, по которой они шли, встретилось еще несколько танков. Все они стояли за избами с заведенными моторами; с орудий и пулеметов были сняты чехлы. В огородах, прилегавших к избам, они увидели несколько групп бойцов.

"Да, здесь что-то ждут. Уж не прорвались ли немцы?" — подумал он, и тревога все больше овладевала им.

— Налево, налево поворачивай, вон в ту избу, которая с крыльцом, — сказал боец.

В избе было душно. На соломе, прямо на полу, лежали в шинелях, в валенках и в полном снаряжении несколько красноармейцев. На железной кровати прямо на голых досках спал какой-то военный, по-видимому, командир. Белый полушубок его был опоясан ремнями, на ногах новые добротные валенки, а на голове треух.

На столе мерцала керосиновая лампа с черным закоптевшим стеклом; свет ее едва освещал деревянные стены избы, кружевные занавески и рамки с какими-то фотографическими карточками, висевшими на стене.

— Товарищ капитан, разрешите доложить: задержано трое, без пропуска.

Капитан лениво поднялся с кровати и долго красными от бессонницы глазами рассматривал пришельцев. Кряхтя, он с такой же медлительностью встал на ноги, достал из кармана папиросу и, пытаясь привести себя в чувство, меланхолически закурил. Это был высокий, крупный человек, с чисто выбритым лицом. Он внимательно взглянул сначала на Савина, затем на Борисова, на Богатько и, попыхивая папиросой, густым, приятным басом сказал:

— Документы!

Все трое предъявили удостоверения. Капитан сел к столу, приблизил к себе лампу и, прибавив огня, все с той же медлительностью начал изучать документы. Сложив вчетверо каждое в отдельности удостоверение, он откинулся на спинку стула и, вытянув длинные ноги, еще раз взглянул на гостей.

— Придется вам, товарищи, переночевать у нас. Идти дальше нельзя. Устраивайтесь здесь на соломе, — и он указал пальцем на пол.

Это было самой крупной неприятностью из всех, которые пришлось перенести за этот вечер. Савин понял, что капитан сказал это совершенно серьезно, и встревожился. Он знал, что там, в редакции, уже несколько часов томится и, нервничая, ожидает их редактор. Стоило ли совершать опасный путь среди ночи и грохота немецких мин, чтобы заночевать здесь, почти у цели.

— Товарищ капитан, к утру мы обязаны выпустить листовку. Сегодня рабочие несли сталинскую вахту, не показать результатов этой работы мы не можем, — настойчиво заявил Савин.

— И я тоже не можу, — сказал Богатько. — Мне продукты нужно выдавать. Хиба голодные рабочие смогут работать.

Капитан потушил о блюдце папиросу и встал из-за стола.

— Никуда я вас не пущу, товарищи. Не могу, и все тут, — сказал он, — давайте отдыхайте, а утром пойдете.

Савин был в отчаянии. Он доказывал капитану, какое большое стратегическое значение приобретало досрочное восстановление моста, какую роль в этом деле играет листовка и что было бы преступлением не показать энтузиазм рабочих, помогающих бойцам восстанавливать мост под обстрелом немецких орудий.

— Вы понимаете, как воодушевит бойцов и рабочих эта листовка. Мы должны идти, и вы не имеете никакого права задерживать нас.

Капитан был озадачен. Он долго сопел в усы, стучал пальцами по столу, закурил, но затем отбросил потухшую папиросу и уже с раздражением заявил:

— Ну, если хотите знать, то я вам скажу правду. С минуты на минуту мы ждем десант немецких автоматчиков. Понятно вам? Высадиться они должны в том месте, где вы пойдете. Можно мне пускать вас или нет?

Это было неожиданное откровение. Все замолкли. В комнате стало тихо. Только неутомимо тикали на стене ходики, да бессвязно бормотал во сне какой-то боец.

Савин сел в углу, возле печи. Широкое скуластое лицо его стало сосредоточенным. На лбу, над тугими надбровьями, протянулась глубокая складка. Он снял шапку и, почесывая потную лысеющую голову, внимательно взглянул на капитана.

— Да... Положение неважное, — спустя минуту как-то неопределенно и даже растерянно пробурчал он. Так шли минута, вторая. И вдруг Савин поднялся со своего места.

— Все равно нам надо идти.

— Как же вы пойдете, если на дороге вот-вот разгорится бой? — спросил капитан.

— Как-нибудь доберемся, — ответил Савин.

— Это несерьезное решение, вас задержат патрули и снова приведут сюда.

— Вы дадите нам пропуск.

— Пропуск? — спросил капитан и опять забарабанил пальцами по столу.

— Вы обязаны дать его, капитан. Мы были бы плохими журналистами, если бы в этот ответственный момент сорвали листовку.

Капитан не знал, что ему делать. Он был обезоружен этой неумолимой настойчивостью журналиста. Он колебался. Тогда в разговор вмешался Борисов.

— У нас есть оружие. А идти нам обязательно нужно.

Капитан взглянул на Борисова:

— Нужно? Так... Ну, что же!.. Идите, раз такое дело, — наконец сказал он, — пропуск я вам дам. Идите. Только, если начнется это самое... зарывайтесь в снег, баня будет горячая.

Капитан вытащил из планшетки блокнот, быстро, размашисто что-то написал, вырвал листок и показал Савину.

— Вот пропуск, запомните, — сказал он, а затем изорвал бумажку на мелкие клочки. — Не забудете?

— Нет, не забуду.

Спутники поднялись и по очереди пожали большую тяжелую руку капитана.

— Оружие у вас, кстати сказать, неважное, на него вы не очень надейтесь, — провожая, улыбнулся капитан. На крыльце он широко зевнул и потянулся. — А спать-то, наверно, и эту ночь не придется. Ну, счастливо добраться, товарищи.

Савин со своими спутниками пошел вдоль деревенской улицы. Вокруг было тихо и пустынно. Только на окраине все еще поскрипывали сапоги патрулей. Где-то на немецкой стороне из темно-синих просторов снегов выглянула желтая осторожная луна и залила своим холодным светом поле, сторожевую будку и сухие оголенные

ветви деревьев. Далеко, на железнодорожной насыпи, вспыхнули длинные полосы рельсов. Вокруг стало светло, луна озарила деревню, снега заискрились, и небо засветилось зеленоватой россыпью звезд.

На окраине деревни их остановил патруль. Савин шепнул пароль, и они вышли на широкое шоссе. Точно огромная река, дорога извивалась и вдруг исчезала за косогорами и кустарниками.

Мороз крепчал, все настойчивей и нестерпимей становился холодный степной ветер. Он гнал мелкую поземку снега, затем подымал ее на дороге и безжалостно швырял в лицо. Идти становилось все трудней, захватывало дыхание, а тело становилось мокрым от пота.

Со стороны моста в небе они услышали едва уловимый прерывистый гул моторов. Савин остановился, приподнял шапку, чтобы лучше было слышать, и насторожил ухо.

Скоро на прозрачной зеленоватой пелене неба показались самолеты. Они шли на небольшой высоте, в боевом порядке, и огромные черные тени, точно облака, скользили по озаренному, искрящемуся снегу. Порой самолеты попадали в полосу лунного света, и тогда крылья их вдруг воспламенялись и горели, как куски раскаленной жести.

Савин и его спутники с тревогой смотрели на небо и все еще не могли определить, свои или чужие летят самолеты. Но вот они появились над их головами, и Савин различил черные кресты на плоскостях. Теперь было ясно, что это немецкие транспортные самолеты.

— Да, это немцы, — спокойно произнес Савин, — нужно на всякий случай искать укрытие.

— Капитан говорил же, что прилетят немцы, а вы думали, что он шуткует, — с упреком сказал Богатько.

— Вы ведь тоже настаивали.

— Конечно, настаивал, раз треба продукты выдавать, — ответил Богатько.

Самолеты развернулись, и сразу же от крыльев оторвалось несколько фигурок, за ними еще и еще. Серыми зонтами раскрылись парашюты и, покачиваясь, медленно стали опускаться по обе стороны дороги. Тогда из деревни выскочили два легких танка, ударили из пушек, а затем торопливо застрекотали пулеметы.

— Ну, началось пекло, — безнадежно махнул рукой Богатько, — треба ховаться.

Он первый увидел в стороне от дороги опушенные хлопьями снега скирды необмолоченной ржи.

— Давайте сюда, хлопцы, — указывая рукой на скирды, крикнул Богатько.

Немцы быстро окапывались в снегу и уже вели огонь из автоматов. Савин слышал, как где-то возле него, с обеих сторон, со свистом разрезали морозную ночь пули. Оставаться на дороге было безумием.

— Ложись! — скомандовал он Борисову и, припав к земле, быстро на четвереньках пополз за кладовщиком.

Через несколько минут они приползли к скирдам, залезли в них и, осторожно высовывая головы, следили за дорогой, на которой все ожесточеннее разгорался бой. Немцы заняли удобную позицию на возвышенности, пересекавшей дорогу, и стреляли бронебойными пулями. Танки подошли ближе, зачастили из пулеметов. Свернуть с дороги они не могли, потому что сразу же от обочин, по обе стороны тянулись глубокие рыхлые снега. Танки закружились на дороге.

В этот момент Савин заметил, что от возвышенности отделились два парашютиста в белых халатах и незаметно поползли к дороге. Он понял: они хотели гранатами подорвать танки.

— Видишь? — схватив Борисова за рукав шинели, тревожно спросил он.

Борисов осторожно высунул голову и стал всматриваться, куда показывал Савин.

— Вон там двое ползут, видишь... у кустика, — шепнул Савин.

— Вижу.

— Ты того, который слева... Только смотри, без промаха... а я этого справа. Подпустим поближе... я скажу.

Они вытащили из кобур наганы, взвели курки и с волнением стали ожидать немцев. Но те, как нарочно, то припадали к земле и сливались с ночной синевой снегов, то прятались за кустами, и Савин то и дело терял их из виду.

Наконец они быстро-быстро, как собаки, побежали на четвереньках и припали метрах в десяти от скирд.

Савин почувствовал, как вдруг мелко и противно задрожали у него руки. Он напрягал силы, чтобы остановить эту досадную дрожь. Так прошло две или три минуты, но Савину они показались долгими, томительными часами. И вот, когда терпение, казалось, уже иссякло, немцы опять приподнялись и медленно, по-кошачьи поползли к скирде.

— Ближе, ближе, сукины сыны! — прошептал Савин и, целясь, спросил Борисова: — Готов?

— Готов, — тихо ответил Борисов.

— Пли! — скомандовал Савин и выстрелил почти одновременно с Борисовым. Немцы припали к снегу, и было непонятно, убиты они или просто притворились убитыми. Тогда Савин еще несколько раз выстрелил в первого, затем во второго немца, сунул наган за пояс и, вытирая со лба холодный пот, усталым голосом сказал:

— Ну, кажется, теперь все в порядке.

Немцы заметили, что два их товарища убиты засадой и ударили по скирде из ручного пулемета. Светлыми синеватыми столбиками взметнулся возле скирды снег, а в следующую минуту пули зашуршали в соломе.

— Зарывайтесь поглубже! Заметили нас, — крикнул Савин и почувствовал удар в левую руку. Он не вскрикнул и не сказал о ранении. Прижав покрепче руку к груди, правой разгребал солому и все дальше головой уходил в нее.

В это время с другой стороны возвышенности дружно и неумолчно заговорило еще несколько пулеметов, затем танки прямой наводкой ударили из пушек. По

выстрелам Савин догадался, что немцев окружили. Стрельба усилилась. Пули зарывались в солому, бороздили снег и протяжно, надоедливо пели в воздухе.

Стрельба продолжалась больше часу, а затем как-то внезапно ночь разорвали взрывы ручных гранат, и в хаосе боя стремительно, как удары грома, взлетело, все нарастая, русское "ура", затем стихло, и Савин услышал ожесточенный шум атаки.

Когда они вылезли из соломы, бой был закончен. Танки возвращались к деревне. По обе стороны шоссе и на самой дороге валялись трупы. Ветер шевелил шелк брошенных парашютов. Попадались немецкие автоматы, сотни расстрелянных гильз, опаленный снег.

Савин приостановился и посмотрел на свежие следы боя. Луна теперь стояла высоко в зените. Поперек дороги, раскинув руки, лежал мертвый немецкий офицер.

— Вот и все, — сказал Савин и взглянул на часы, — а теперь, Вася, нужно торопиться. Скоро проснутся наборщики, а мы еще ни одной заметки не написали. Да и вам, Богатько, пожалуй, тоже пора готовиться к выдаче продуктов. Сейчас четыре часа утра.

— Да, нужно торопиться, Саша, — ответил Борисов и вдруг заметил кровь, капавшую на снег. — Что это у тебя? Ранен! — испуганно спросил он.

— Так, ничего, Вася, небольшой пустячок, кажется, царапнуло. Без этого не бывает.

— Нужно перевязать.

— Да, нужно, но нечем.

Они поднялись на пригорок и увидели бойцов, собиравших немецкое оружие. На дороге с папиросой в зубах стоял командир. Савин узнал в нем капитана.

— Поздравляю, капитан, очень неплохо вы проделали эту операцию, — радостно воскликнул Савин и дружески протянул ему руку.

— Ах, это вы, редактор? — насмешливо спросил капитан, — а я думал, что вы уже выпустили газету.

— Как видите, только идем выпускать, — весело ответил ему Савин, — и об этой баталии тиснем заметочку. С удовольствием выкурил бы с вами папиросу, но боюсь, что мы и так порядочно задержались. Всего лучшего, капитан!

— Успеха вам, редактор! — крикнул вдогонку им капитан.

Савин, превозмогая боль и холод, быстро зашагал к Важенке, которая теперь уже казалась недалекой.

ВЫЗДОРОВЕЛ

1

В боях Петр Карякин еще не был, и поэтому страх овладел им, когда он узнал, что рота пойдет в наступление. Весь день бродил он по лесу, лежал на траве и с ужасом прислушивался к тому, как там, на высоте, возле приземистых кустов ольшанника, постукивали немецкие пулеметы. Он чувствовал, как временами отнимались руки, болело и вдруг останавливалось сердце.

Он представлял себя уже лежащим в болотистой лощине с мертвыми, полуоткрытыми глазами, и холодный озноб пробегал по его телу.

— Что же это со мной делается? Что же это такое? — растерянно шептал Карякин.

Он шел среди кустов, бледный, изможденный, ничего не видя, никого не замечая. Только возле узенького подвесного мостика, перекинутого через быструю желтоватую речку, задержался и посмотрел, как на каменистом дне стояли и беззаботно шевелили плавниками маленькие рыбки.

— Жизнь! Жизнь! — прошептал он и ощутил, как вновь до боли сжалось сердце.

Возле землянки его окликнул односельчанин Сергей Власов, взглянул на Карякина веселыми зеленоватыми глазами и спросил:

— Что с тобой, Петро?

— Болен... Заболел я, Сережа... Живот болит...

— Ягод объелся, что ли?

— Не знаю... Должно быть, ягод,— ответил Карякин, вошел в землянку и, усталый, разбитый, скоро уснул.

2

Когда он проснулся, в землянке было темно. Где-то за стеной бегали и вполголоса разговаривали бойцы, доносилась команда. Карякин понял, что там, в кустах за блиндажом, строились автоматчики. Затем возле двери раздался чей-то кашель, послышались шаги.

— Петро! Петро! — донесся голос Власова, и у Карякина задрожало все тело.

— Нет! Ни за что! — тихо простонал Карякин и, натянув на голову шинель, затаил дыхание.

Но Власов уже тянул с него шинель.

— Вставай! Вставай, Петро! Строимся. Да скорей же ты!

Карякин поднялся и медленно, точно больной, вышел за Власовым.

В кустах уже стояли автоматчики, и рослый, энергичный капитан Зубов объяснял им задачу. Карякин незаметно занял место в строю. Рота прошла реку, поднялась по склону горы и залегла на гребне.

Карякин лежал и мучительно думал, как ему уйти с поля боя. Он то решал притвориться контуженным после первого минометного обстрела, то собирался симулировать припадок или притвориться сумасшедшим. Но все это казалось ему неумным. Нет, он просто бросит винтовку и уйдет в лес. Но тут же он представил себя осужденным, стоящим на краю какого-то обрыва, и сотни винтовочных дул смотрят ему в глаза.

Охваченный страхом, он лежал среди бойцов и не знал, что же ему делать. Его о чем-то спрашивали бойцы, он отвечал невпопад.

Но вот откуда-то из-за ската горы ударили наши минометчики, загрохотали орудия, где-то недалеко застонал раненый. Осколок сбил пилотку, ожег голову, и Карякин окончательно потерял самообладание.

— Бежать! Только бежать! — шептал он. Но бежать было некуда. Сзади, по лощинам и кустам, шли вторые эшелоны, из-за бруствера уже поднялся во весь рост капитан Зубов:

— За мной! За Родину! Ура!

Бойцы выскакивали из окопов, кричали и бежали к низенькому, приземистому кустарнику. Карякин тоже вскочил и механически побежал вперед. И тут случилось то, чего он больше всего боялся: сразу с разных мест застучали немецкие пулеметы, все вокруг озарилось золотыми нитями трассирующих пуль, дыбом рванулась земля, и комья песка ударили в лицо.

"Смерть! Вот она, смерть!" — подумал Карякин. Он приостановился, а затем стремглав кинулся назад, споткнулся, упал и зарылся в густой куст. Лежал и вздрагивал всем телом, прислушиваясь к гулу завязавшегося боя.

Здесь его и обнаружил Сергей Власов. Он бежал на командный пункт полка с донесением.

— Ты что, Петро, ранен? — спросил он, наклонившись над Карякиным.

Тот смущенно опустил глаза и бессвязно забормотал:

— Ранен... Нет... я ушибся...

Сразу поняв, в чем дело, Власов рывком схватил его за шиворот и поднял на ноги.

— Ах ты, сволочь! — неистово закричал он. — Там люди жизнь отдают, а ты в кусты... А ну, бегом туда!

— Сережа, Сережа! — дрожащим голосом лепетал Карякин.— Пусти... я не могу... не могу...

В ярости Власов замахнулся, чтобы ударить Карякина, но тот, извернувшись, отскочил в сторону, а затем пустился бежать.

— Трус! Подлец! — кричал ему вслед Власов.— Ну, погоди же!..

3

Всю ночь, подавленный и разбитый, пролежал Карякин в лесу. Он ворочался с боку на бок, и чтобы забыть тяжелый кошмар ночи, хотел уснуть, но сон не приходил. Стыд, мучительный стыд все больше угнетал его. Порой ему хотелось встать, пойти к командиру роты и рассказать о своем позоре. Но не хватало смелости.

— Что я наделал... Что наделал,— лихорадочно шептал он.

На рассвете он поднялся с земли и побрел, сам не зная куда.

Он шел берегом реки, готовый на любые жертвы,— только искупить бы свою вину. Ему хотелось идти туда, наверх, где началось его падение, и умереть в бою. Но там уже было тихо. Он сел на прибрежный камень и, зажав голову ладонями, тихо, беззвучно заплакал.

"Все... все живет и радуется, и только для меня нет и не будет радости,— горестно думал он.— Что же мне делать?"

Шли долгие томительные минуты. Карякин все так же сидел на камне в тяжелой задумчивости. Но вот он вздрогнул всем телом, зябко повел плечами. Затем реши-

тельно поднялся, взмахнул рукой, как бы что-то подтверждая, и быстрыми шагами углубился в лес. Через полчаса он очутился в землянке командира роты Зубова.

Зубов сидел возле стола. Большие карие глаза его смотрели спокойно и просто, и только углы тонких насмешливых губ слегка приподнимались и вздрагивали. Они смотрели друг на друга молча, сосредоточенно, и наконец Карякин, не выдержав этой пытки, глухим, сорвавшимся голосом сказал:

— Я пришел сказать вам...

— Знаю,— перебил его Зубов, и опять гнетущая тишина легла между ними.

— Ты знаешь, что за это бывает? — наконец спросил Зубов.

Карякин молчал. Он не мог говорить, слезы душили его.

— Почему ты молчишь? — опять спросил Зубов.

— Расстреляйте меня,— с трудом выдавил Карякин.

— Расстрелять? — переспросил Зубов. — Расстрелять — это самое легкое дело. Нет, ты иди сначала к своим товарищам и расскажи, как ты дошел до такой подлости. А после военный трибунал разберется в твоих делах.

Пошатываясь, точно пьяный, Карякин вышел из блиндажа. Возле командного пункта обедала группа бойцов. В середине с котелком в руках сидел Власов и что-то непринужденно рассказывал товарищам. Они увидели его издалека, а когда Карякин приблизился, замолкли и брезгливо отвернулись от него.

Карякин прислонился к дереву и уже хотел открыть им свою душу, рассказать о своем падении, но понял, что они уже все знали.

— Иди, иди отсюда,— не глядя на него, грубо сказал Власов.

Судорога уродливо свела посиневшие губы Карякина, и он зарыдал:

— Сережа... Не гони... Исправлюсь я...

— Расстрелять тебя мало, подлеца,— сурово сказал Власов и еще ниже опустил голову.

— Кровью своей... Искуплю...— бормотал Карякин.

Тогда с земли поднялся пожилой усатый боец Полозов и, пряча за голенище деревянную ложку, спокойно и рассудительно произнес:

— Ты думал, что только твоя жизнь и дорога. А как же с теми будет, Петр, кого мучают и терзают немцы? Что будет с нашими детьми, женами и матерями, если все мы будем так же предавать Родину? Что с ними будет, Петр?! Ты подумал над этим?

Карякин молчал. Тяжелый приговор видел он в суровых глазах бойцов. Он чувствовал свою вину и не знал, что ему делать, как быть, чтобы снова обрести доверие.

— Искупи, кровью своей искупи свою вину, Петр, — после паузы сказал Полозов,— иначе никогда не будет тебе прощения.

И Карякин тихо побрел дальше. Он шел по траншеям, заходил в блиндажи и дзоты и всюду, испытывая гнетущее чувство стыда, рассказывал о своем позоре.

4

Усталый и подавленный, вечером вернулся Карякин к командиру и робко остановился на пороге. Зубов испытующе посмотрел на бледное, осунувшееся лицо Карякина.

— Ну? — спросил он.

— Пошлите меня в бой, товарищ капитан...

В землянке стало так тихо, что было слышно, как на столе тикали карманные часы.

Зубов постучал короткими толстыми пальцами по папке, затем встал, прошелся из угла в угол и спросил:

— Кто у тебя из родных дома остался, Карякин?

— Мать... старуха...

— Мать? — переспросил Зубов, опять прошелся по землянке и вдруг остановился возле Карякина.

— Так вот что: напиши о своем поступке матери, честно расскажи, как ты защищаешь Родину.

Это был самый тяжелый и мучительный удар для Карякина. Он вспомнил, как провожала его старушка мать, как прижала его к своему сердцу.

И вот теперь нужно написать о животном страхе, о трусости, о предательстве в бою. Это было выше его сил. Ноги его подкосились, ослабли, и он почувствовал осенний пронизывающий холод во всем теле.

— Не могу... Матери не могу... Лучше расстреляйте...— беззвучно лепетал он, и слезы, мучительные слезы все сильнее душили его.

— Плачешь! Эх, ты! — презрительно кинул командир.

— Тяжело... Очень тяжело,— прохрипел Карякин.

— Знаю, что тяжело,— сказал Зубов,— да и преступление не маленькое сделал... Люди с радостью идут в бой, отдают свою кровь, свою жизнь за Родину, а ты?.. Эх, Карякин, Карякин!

— Пошлите меня в бой.

— В бой, в бой! — передразнил его Зубов.— Какая же в тебя вера может быть после этого... Иди, в ревтрибунале подумают, как поступить с тобой.

5

До ночи просидел Карякин в траншее, одинокий и заброшенный. К нему никто не подходил, никто не разговаривал с ним. Он видел, что товарищи чуждаются и смотрят на него с презрением. Иногда хотелось остановить кого-нибудь из бойцов, рассказать, как глубоко он раскаялся, услышать теплое, участливое слово, но все проходили мимо него, точно куда-то торопились. И он опять оставался один, наедине со своими мыслями, всматривался в темноту, туда, где взлетали ослепительные огни немецких ракет, прислушивался к каждому шороху. Черная мгла ночи и тишина давили его. Он вспомнил, что где-то здесь, недалеко, в кустах, находится немецкий дзот. Еще позавчера на этом же месте Власов всматривался в осеннюю темноту ночи и говорил:

— Эх, хорошо бы, Петя, пробраться к немецкому дзоту и закидать его гранатами.

— Не доберешься, убьет,— ответил тогда Карякин, — простреливают они каждый метр.

И вот Карякин вспомнил об этом разговоре именно сейчас, когда на душе лежала невыносимая тяжесть.

— Пойду... Пойду — прошептал он,— я должен пойти,— и, уже не думая об опасности, захватив в блиндаже несколько гранат, ножницы, автомат, тихо пополз к кустам.

Где-то совсем рядом ударил немецкий пулемет, но Карякин был уже безразличен ко всему. Он полз и полз вперед, и только одна неотвязная мысль тревожила его:

"Добраться, только добраться бы", — и он все настойчивей цеплялся руками за землю.

Вскоре он наткнулся на минное поле. Вздрогнул, растерялся. Но это длилось недолго. Он вспомнил, как однажды Власов учил его обезвреживать вражеские мины, и принялся за работу.

Рассвет застал его в кустах. Розовая полоска зари выглядывала из-за веток стыдливо и робко, как глаза молодой девушки.

Ползти дальше было бессмысленно, и Карякин пожалел, что так поздно пришло к нему это решение. Сквозь узоры уже пожелтевшей осенней листвы он долго наблюдал за амбразурой немецкого дзота, откуда торчало дуло пулемета.

Хотелось переменить позу, хотелось есть, и сон, как непосильная ноша, вдруг наваливался на него. Но Карякин крепился и напряженно следил за немецким дзотом. А рядом, по узким прорезям глинистых траншей, ни о чем не подозревая, свободно ходили немецкие офицеры, солдаты, носили какие-то ящики, потом приносили в термосах пищу.

Наступили сумерки. На небе появились серые дождливые облака, подул ветер, и полил холодный настойчивый дождь. Карякин уже чувствовал, как к телу его прилипала мокрая рубаха.

Поздней ночью в амбразуре мелькнул огонек электрического фонарика. Карякин пополз на этот огонек и скоро притаился возле амбразуры. Там за черным провалом отверстия склонялись чьи-то головы и по временам мелькали руки. По тому, с каким азартом взлетали и опускались руки, он понял, что немцы играли в карты. Это был счастливый и очень удобный момент. Карякин ощутил, как в груди быстро, отрывисто забилось сердце. Он сделал еще несколько шагов, приподнялся и швырнул одну за другой две гранаты. Теплая волна оглушительного взрыва ударила ему в лицо. Он поскользнулся, упал, но тут же приподнялся и заметил, как из траншеи прямо на него шел человек. Карякин схватил автомат, выстрелил, и немец, взмахнув руками, присел и застонал. Карякин бросился к дзоту, швырнул еще две гранаты в раскрытые двери, затем взвалил на спину раненого немца и что было сил побежал к своим.

Откуда-то издалека лихорадочно били пулеметы, дыбом вставала от взрывов земля. Пленный кричал, вырывался, кусал руки, но Карякин не обращал на него внимания. И вдруг, точно куском раскаленного железа, полоснуло плечо. Он пошатнулся, сбросил немца на траву, опустился рядом с ним. По спине потекла теплая и липкая кровь.

Пленный трусливо поглядывал на Карякина, а когда догадался, что тот ранен, привстал, намереваясь бежать. Но Карякин заметил его движение и выхватил из-за голенища нож:

— Лежи, лежи! А то!... Видел! — лезвие блеснуло у горла немца: — Ползи туда, к нашим.— И немец пополз к траншеям, которые уже очерчивались в дождливой мгле.

А спустя еще немного времени Карякин сидел вместе с пленным в блиндаже. Вскоре пришел Зубов. Покачиваясь от слабости, Карякин встал со своего места.

— Товарищ командир, мною уничтожен немецкий дзот и взят пленный,— доложил он.

Зубов мельком взглянул на бледного, трусливо озирающегося немца, затем повернул глаза на желтое от потери крови лицо Карякина и протянул ему руку.

— Ну, поздравляю с выздоровлением,— улыбаясь, сказал он, и горячая волна радости охватила Карякина.

РОЗОВЫЙ КОНВЕРТ

1

Больше года капитан Горбов не знал, где его семья. Жена и две девочки, Ася и Маша, остались по ту сторону фронта, и Горбов потерял с ними связь. Теперь он был в пяти километрах от деревни, в которой жила его семья. Живы ли его близкие? Что с ними?

Иногда он уходил в лес, забирался на высокую густую ель и через узкую полосу наших и вражеских траншей смотрел туда, в степь, где на фоне голубого горизонта едва очерчивались крыши родной деревни. Он доставал из бумажника фотографические карточки и пристально всматривался в родные лица жены и дочерей. В памяти вставали школа, в которой он работал до войны, маленький утопающий в зелени домик, река и шумные воскресные прогулки на лодке. И тогда тоска еще сильнее и мучительнее охватывала его сердце. Часто у него появлялось желание: набрать побольше гранат, пройти линию немецкой обороны и хотя бы только один час побыть в семье. Но Горбов не мог самовольно оставить свою часть. Оставалось тосковать и ждать счастливого радостного дня — освобождения деревни.

Но вот неожиданно пришел приказ о наступлении, и Горбов заволновался. Бойцы знали о причине его волнения, с радостью смотрели на него и даже поздравляли.

— Ну вот, дождались, товарищ капитан, своих увидите.

В десять часов утра ударила артиллерия. Тяжелый грохот поднялся в разных местах одновременно. И чем чаще взлетали черные клубы, пересекаемые красными молниями разрывов, тем радостнее становился Горбов. Он сидел рядом с бойцами, улыбающийся, праздничный, и ждал сигнала к атаке.

Когда в небо взлетела ракета, первым из траншеи выскочил Горбов и каким-то торжественным, приподнятым голосом закричал:

— За Родину! За Сталина! Ура!

Немцы выскакивали из блиндажей и дзотов, бросали винтовки и автоматы, на ходу сбрасывали сапоги и шинели. Неудержимой волной шли бойцы за своим командиром и уничтожали немцев в кустах, в оврагах, на берегу прозрачной быстрой реки.

В полдень бой утих. Немцы откатились за реку и лишь изредка постреливали из минометов. Деревня теперь была недалеко. Нужно только пройти лощину, перескочить шумный веселый ручеек, который Горбов помнил еще с детства, а там уже начинались колхозные постройки.

В лощине рядом с Горбовым лежал его помощник Быков. Он видел, что капитан очень волнуется и ежеминутно посматривает на деревню. Понимая, как важно ему побывать дома, он сказал:

— Сходите, товарищ капитан, а я побуду за вас, тут ведь недалеко.

И Горбов, забросив за плечо автомат, быстро зашагал вдоль лощины. Он бежал, перескакивал воронки, канавы, кусты, и молодому синеглазому автоматчику приходилось все время догонять его. Горбов уже представлял себе, как обнимет жену, как схватит на руки девчушек и будет кружиться с ними по избе, целовать и так шумно смеяться, как, может быть, никогда еще не смеялся.

Улицы деревни были пусты. Даже собаки не встретились на пути. Чем дальше шел Горбов, тем тревожнее сжималось сердце, и ощущение чего-то грозного и страшного властно охватывало все его существо. Он не помнил, как вбежал в свой дом, как остановился на пороге. В избе, как и на улице, было пусто. Стулья были разбросаны, на полу валялась детская подушка, куски суконного одеяла и растоптанные фотографии. И только в углу, там, где когда-то стояла Машина кроватка, висел вышитый руками жены маленький запыленный коврик с изображением кошки, играющей в мяч.

Горбов с ужасом стоял посредине комнаты и все еще не мог понять, что же все-таки произошло.

Медленно, как больной, вышел Горбов из избы и, бледный, молчаливый, побрел по разоренной улице. Людей нигде не было. Только на окраине он встретил сухого, сгорбленного горем старика и остановился. Горбов долго смотрел в желтые спокойные глаза старика и все не мог вспомнить, где и когда видел его.

— Ты что же, признавать не хочешь, Семен Андреевич? — спросил старик.

Горбов приподнял голову, внимательно посмотрел на старика и вдруг каким-то неузнаваемым, чужим голосом спросил:

— А где же семья моя, дедушка Иван?

— Семья? — тихо переспросил дед, помолчал и, низко опустив седую голову, сказал: — Семьи твоей нету, Семен Андреевич... гитлеры убили ее.

— Ты шутишь со мной, старик? — закричал Горбов и схватил его за руку.

— Что же мне шутить с тобой,— освобождаясь от руки Горбова, сказал дед Иван,— тут они всех, и малых и старых, стреляли, которые живы остались, те сбегли. Вон посмотри, какую посередь улицы могилу сделали, там все они лежат.

Только сейчас Горбов увидел высокий холм посредине улицы. Он подошел к холму, уже поросшему бурьяном, снял шапку, постоял и быстро пошел туда, откуда еще доносились разрывы снарядов и мин.

Шли дни. Горе стало постепенно выветриваться. Только строже и суровее стали глаза Горбова. Да и вся его фигура стала собраннее и решительнее. Он водил бойцов в атаки, предпринимал дерзкие налеты на врага. И все ему было мало, все казалось, что настоящая месть где-то еще впереди.

Теперь все реже и реже вспоминал он семью и уже никого не ждал, а лишь изредка доставал карточки и подолгу ненасытно смотрел и все не мог насмотреться.

Так незаметно в боях и тоске прошла холодная, сырая осень, затем ударили морозы. Наступил октябрьский праздник. Бойцы помыли и украсили блиндажи, покрыли столы и полки чистой бумагой, повесили портреты вождей и лозунги, сходили в баню, почистили обувь. И всюду, куда бы ни заглядывал Горбов, чувствовалось бодрое праздничное настроение. К обеду пришла из тыла машина с подарками, и высокий плотный украинец — старшина Цыбулько обошел всех бойцов и каждому вручил подарок.

Бойцы ходили по траншеям веселые, приподнятые, делились папиросами и печеньем, показывали друг другу письма из тыла.

Последняя, самая маленькая, скромная посылка досталась старшине Цыбулько. Она лежала на дне огромного деревянного ящика, бережно завернутая в розовую бумагу и перевязанная голубой лентой.

Так уж повелось, что Цыбулько всегда доставались самые маленькие и скромные подарки. Он взял небольшой пакетик, повертел в руках и, глядя на обступивших его бойцов, рассмеялся:

— Це ж опять мени достались носовые платки с курительной бумагой.

Он присел на патронный ящик, развернул пакет и, улыбаясь, спрятал его под шинель.

— Я вам, хлопцы, не покажу свой подарунок, а то сглазите.

Бойцы были настойчивы, они все плотнее обступали Цыбулько и требовали:

— Нет, товарищ старшина, раз все показали, то и вы покажите.

Тогда Цыбулько встал с ящика и весело махнул рукой.

— Ну, чертяка з вами, покажу.

В пакетике, как и ожидал старшина, был шелковый кисет, носовые платки, шерстяные носки, папиросы и небольшой розовый конверт.

Цыбулько угостил товарищей папиросами и разорвал конверт. Письмо было небольшое, написанное крупным детским почерком.

— Це ж якесь-то дитятко прислало мени подарунок,— с радостью сказал старшина: — Ну, слухайте, ще воно тут пишеть.

Бойцы сильнее задымили папиросами, и лица их стали серьезными.

— Дорогой боец,— не торопясь читал Цыбулько,— посылаю Вам небольшую посылочку и поздравляю Вас с Великим Октябрьским праздником и прошу Вас — отомстите за меня и за других девочек, у которых погибли мамы.

Теперь я осталась одна, папа мой с самого начала ушел на войну, и я не знаю, живой он или нет. А в прошлую осень к нам в деревню пришли немцы. Они стали спрашивать всех, есть ли в деревне коммунисты? А потом кто-то сказал, что мой папа командир и коммунист. Немцы очень били мою маму, потом били меня и

спрашивали, где у нас золото. Но золота у нас не было. Офицер не поверил маме, а еще сильнее стал бить ее и повесил на дереве и застрелил мою сестру Асю.

Я просидела три дня в сарае и убежала к тете. Потом вместе с ней через фронт пошла к нашим, но тетя попала на мину, а я осталась жива. Вот как мне тяжело было, дорогой боец. Сейчас я живу у Анастасии Ивановны Золотовой, она работает на трикотажной фабрике, и она мне как родная мама. Но скучно и тяжело мне без родных, и я часто плачу. Если вы увидите немцев, то не жалейте их, потому, что они никого не жалеют и очень много людей убили в нашей деревне. Напишите мне, если у вас будет время.

Пока до свидания, остаюсь ваша незнакомая Маша Горбова.

Цыбулько читал все медленнее. Наконец он вложил письмо в розовый конверт и тихим, подавленным голосом сказал:

— Ось це подарунок! Дитятко ты мое ридное. — И все увидели, как по старым морщинистым щекам его скользнули слезы.

Бойцы молчали. Никто не мог говорить в эту минуту, никто не шевелился и даже не курил. На середину вышел лейтенант Горин, вынул из кармана пачку денег и протянул ее старшине:

— Здесь пятьсот рублей, возьми, пошлешь девочке.

Потом триста рублей протянул сержант Косов и сказал:

— Напиши ей, пусть пишет нам, мы ей помогать будем, не оставим. А немца будем бить, как того он заслужил.

А спустя еще немного Цыбулько сидел в блиндаже и считал деньги. Деньги несли со второй и третьей роты. К вечеру, когда у Цыбулько собралось три тысячи, а бойцы и командиры несли и несли ему деньги, он вспомнил, что делает нехорошо, не поставив об этом в известность командира батальона.

Через несколько минут он стоял в землянке капитана Горбова и докладывал:

— Так что, товарищ капитан, воны сами, як скаженны несуть и несуть, даже не дали подумать за вас и согласовать це дило. Получается якась-то анархия, без согласования и разрешения командования.

— Ну что ж, ничего плохого в этом нет,— ответил Горбов.

— Так и я ж кажу, что ничего особенного, а хлопцы кажуть: эх, и попадет тебе от капитана.

Горбов улыбнулся и, взглянув на виноватое добродушное лицо старшины, спросил:

— Ну, а где же это письмо, почему вы его не показываете? Его нужно было бы перед строем прочитать.

— Вот, то-то ж я и кажу, товарищ капитан, — протягивая розовый конверт, сказал Цыбулько.

Горбов вынул из конверта письмо и начал читать. Старшина стоял возле капитана и видел, как хмурились и сходились у переносья его густые брови.

Вдруг Горбов вскочил, неузнаваемый, бледный. Руки его дрожали.

— Цыбулько! Родной! Да ведь это дочь! Дочь! Моя дочь, Цыбулько! Моя Машенька! — с дрожью в голосе сказал капитан. Он припал губами к письму и зарыдал от счастья.

РАССКАЗЫ О БОЙЦЕ АЛЕКСЕЕ КРОТОВЕ

1

ПОДВИГ

Раненный в грудь лейтенант Васяев лежал в лощине, заросшей мелким кустарником, и ждал помощи. Недалеко от него, за развалинами старой церкви, притаился сержант Лобов. Он хотел спасти своего командира, но ничего не мог сделать, потому что каждый раз, как только кто-нибудь выползал из-за укрытия, немцы открывали шквальный огонь. Они слышали стоны раненого и, пытаясь захватить его, вырывались из-за бугра и бросались к кустарнику. Тогда Лобов нажимал на спусковой крючок пулемета, и немцы откатывались назад.

Так продолжалось весь день и всю долгую ночь. Наконец на небе появились первые робкие признаки утренней зари. Лобов страшно волновался, не знал, что ему делать.

Возле Лобова лежал маленький худенький боец Кротов. Несколько дней назад он прибыл из госпиталя и ко всему присматривался с робостью и скромностью новичка. Лобов любил веселых и жизнерадостных людей, и новый боец вначале не понравился ему. Кротов чувствовал эту неприязнь и поэтому пролежал всю ночь возле сержанта, не проронив ни слова. Но вот он приподнялся, посмотрел на посветлевшее небо и тихо сказал:

— Вот уже утро, а мы все лежим без толку.

Никто ему не ответил, так как в это время из-за бугра ударили минометы и возле лощины показались серые, едва заметные фигурки немецких солдат.

— Огонь! — скомандовал Лобов и сам припал к ручному пулемету. Немцы прижались к земле, а затем бросились обратно и скрылись за бугром.

Лобов отодвинул в сторону горячий от стрельбы пулемет, вытер с лица пот и повернулся к Кротову — он хотел послать его к минометчикам, чтобы те поддали жару немцам. Но Кротова возле не было. Лобов почувствовал, как в груди — раз-два, раз-два — забилось сердце. Он быстро осмотрел развалины церкви, канаву, ближние кусты, но нигде не нашел бойца.

"Сбежал, — мелькнула у него мысль, — струсил и сбежал. Тихоня! Вот он какой!" — Он уже хотел лечь на свое место, но в это время к нему подполз боец Борисов.

— Посмотрите, товарищ сержант, не фашист ли это? — и он указал пальцем в сторону кустарника.

Лобов всмотрелся в серо-желтые очертания кустарника, увидел едва заметный силуэт крадущегося человека и узнал в нем Кротова. Кротов полз по канаве, часто останавливался, снимал с себя какую-то ношу и отдыхал. Но вот он уже подполз совсем близко, встал, взвалил на спину ношу и быстро побежал к церкви. Лобов увидел, что Кротов несет раненого Васяева, и с тревогой и радостью в голосе закричал:

— Скорей, милый! Скорей!

Но немцы тоже заметили бойца и ударили из пулемета. Кротов упал вместе с Васяевым. Он пролежал несколько минут, а когда затих огонь врага, быстро забежал за развалины церкви, положил на траву Васяева и сам тяжело опустился на землю.

Минуту он сидел молча, а затем поднял бледное, усталое лицо и, задыхаясь, с трудом произнес:

— Ну вот, принимайте командира... Доктора ему скорей надо...

Лобов крепко пожал ему руку и с чувством раскаяния сказал:

— А я грешным делом подумал, что ты сбежал.

— Нет, уж от Кротова этого не дождетесь, товарищ сержант.

Он встал, отыскал в развалинах свою плащ-палатку и расстелил ее на траве.

— Ну, давайте, товарищи, понесем лейтенанта, а то крови он много потерял, — сказал Кротов и встретился с глубоко запавшими благодарными глазами Васяева.

2

КОНЦЕРТ

Недавно часть, в которой служит Алексей Кротов, уничтожила несколько огневых точек противника. Немцы утихли и лишь изредка бросали мины да строчили из пулеметов. Потом неожиданно появилось еще несколько дзотов и минометных батарей. Они простреливали наши подходы к переднему краю.

Капитан Климов был упрямым и настойчивым человеком. Он решил снова уничтожить огневые средства немцев и начал посылать разведку за разведкой. Но каждый раз разведчики возвращались без результатов и с грустью рассказывали капитану о своих неудачах.

Однажды в разведку пошел самый хитрый и находчивый боец Порошин. Вместе с командиром роты он подбирал и готовил людей, выводил на местность, а вечером прошел в боевое охранение и пополз в темноту.

Вернулся Порошин утром, подавленный и вялый. Кротов видел, как уныло он шел по ходам сообщений, лег под сосну и долго, неподвижно смотрел на белые клубящиеся облака.

Кротов подошел к нему, сел рядом и спросил:

— Ну как, товарищ Порошин?

— Как! Как! Сходи, тогда узнаешь, как! — раздраженно ответил Порошин.

— А может, и схожу, — скромно сказал Кротов.

— Попробуй.

Кротов посидел несколько минут молча, потом вынул из кармана кисет с табаком и предложил Порошину:

— А ты в разведку еще раз не собираешься? — свертывая папиросу, спросил он.

— А что?

— Да так. Хотел с тобой пойти, у меня план подходящий имеется.

— Планов много, да что толку...

— А ты слушай, тогда все будет в аккурате, — перебил его Кротов.

— Ну!.. — безразлично сказал Порошин.

— Вот тебе и ну!

И Кротов с живостью и веселым юмором рассказал, как они проберутся к минным полям противника, как затем взорвут одну за другой мины и этим вызовут огневой ответ противника.

— Понятно тебе или еще непонятно, товарищ Порошин? А по-моему, все, как есть, в аккурате.

Через несколько минут они пришли в блиндаж капитана Климова. Капитан выслушал Кротова, улыбнулся, и задумчивое лицо его стало добродушным и мягким.

— Ну что же, мысль хорошая. Действуйте, только шпагату побольше захватите.

— Есть действовать, товарищ капитан! — бойко ответил Кротов, и друзья ушли готовиться к операции.

Два дня прошло в хлопотах и подготовке, наконец вечером капитан Климов занял удобное для наблюдения место в боевом охранении, а Кротов и Порошин поползли в расположение немецкой обороны. В полночь они добрались до проволочного заграждения, отыскали несколько натяжных мин, привязали шпагат и осторожно протянули к оврагу, который находился в кустах. Уже на рассвете, когда поблекли белые мерцающие звезды, а на востоке зажглась узенькая голубоватая полоска зари, они закончили работу и незаметно укрылись в овраг.

— Ну вот и все в аккурате, — тяжело дыша, сказал Кротов и выстрелил из ракетницы. Стремительный зеленоватый хвост сверкающего огня взлетел в серую рассветную мглу неба. Это значило, что все готово.

— А теперь начнем концерт, товарищ Порошин, — рассмеялся Кротов и потянул веревку. Там, где очерчивалась узенькая полоска проволочного заграждения, с грохотом рванулся клуб огня и дыма. И тогда немцы ответили из пулеметов. Красные и золотистые огоньки трассирующих пуль покрыли землю.

— Ага! Заиграли, — захохотал Кротов, — а ну-ка еще разик, — и дернул вторую веревку. И снова серую мглу разорвал взрыв и нервический треск пулеметов.

— Вот это подходяще, — смеялся Кротов и снова дергал концы веревок. А немцы бесновались все больше. Они забросали землю сотнями мин, опутали паутиной трассирующих пуль. Иногда казалось, что все вокруг охает, трещит и стонет от взрывов. Кротов смеялся.

— Давай, давай! Повеселей, немец! Обнаруживайся, показывай, где что у тебя есть, — кричал он.

Вернулись они в траншею, когда стрельба стихла. Климов встретил их с картой в руках, на которой он наносил огневые точки врага.

— Хорошо поработали, товарищи! — улыбаясь, сказал он. — Ну, а теперь послушайте, какой мы устроим концерт.

И вслед за этим в лесу загремела наша артиллерия. Кротов радостно припал к амбразуре дзота и смотрел, как вместе с черными столбами земли высоко взлетали блиндажи и дзоты немцев.

3

ПОЕДИНОК

С первых же дней своей боевой жизни Алексей Кротов пришел к выводу, что на войне все надо уметь, все знать надо. И он жадно изучал свое и трофейное оружие, ходил в разведку. Не раз случалось, что в бою он заменял минометчиков или добывал трофейный пулемет и обращал его против немцев. Но больше всего по душе пришлось ему снайперское дело. Еще до ранения на счету у него было двадцать немцев, но он считал это только началом.

— Ну ладно, я свое возьму, — говорил.он.

И вот сейчас, когда на рубеже было затишье и Кротова начала одолевать тоска, он пришел к капитану Климову и сказал:

— Разрешите мне счет свой продолжить.

Климову нравился этот простой, веселый боец, и он протянул ему свою снайперскую винтовку.

— Из этой винтовки я сорок немцев убил, — сказал он. — Добрая винтовка, привык я к ней. Но вижу, что боец ты хороший, поэтому дарю тебе ее. Бей немца без пощады.

— Спасибо, товарищ капитан, — принимая винтовку, ответил Кротов, — за меня можете быть спокойны, промахов давать не собираюсь.

Хорошо и весело стало на душе Кротова, когда он вышел из блиндажа. Ему хотелось сделать что-нибудь такое, чтобы все ахнули, а затем притопнуть ногой и сказать:

— Вот какой я есть Кротов!

По дороге попадались бойцы и спрашивали, где он раздобыл такую добротную винтовку.

— Где взял, там ее уже нет, а что немца собираюсь бить, так это в аккурате, чего и вам, дорогие товарищи, желаю, — отвечал он.

Весь остаток дня, возбужденный и радостный, ходил он по лесу, забирался на деревья и подолгу наблюдал за вражеской стороной. И хотя первый день охоты прошел неудачно, домой Кротов возвращался веселый и бодрый.

Он пробежал лесной массив, спустился в овраг и вдруг услышал отдаленные выстрелы. Сначала это была одиночная стрельба, но через минуту с обеих сторон заговорили пулеметы и поднялся такой беспорядочный треск, что трудно было понять, откуда стреляют.

Кротов прошел в траншею и увидел, как в сером неприветливом небе летели косяки диких гусей. Стреляли все: и снайперы, и автоматчики. Даже разносчик, принесший ужин, охотился за гусями. Стреляли и на немецкой стороне. Кротов не стал попусту тратить патроны. Он повернулся к вражеской стороне и тотчас увидел немецкого офицера. Немец высунулся до пояса из траншеи и с таким увлечением стрелял по гусям, что вовсе забыл об опасности. Кротов быстро снял с плеча винтовку и выстрелил.

— Ну вот и я одного гуся угробил, — рассмеялся он, заметив, как офицер ткнулся головой в бруствер.

На следующее утро его разбудил Порошин. Он стоял возле Кротова и тормошил его.

— Вставай! Вставай, парень! Немецкого снайпера надо убрать. Не дает ходить. Может, успокоишь его, он из соседнего лесочка бьет.

Кротов быстро надел маскхалат и, захватив на всякий случай шинель и лопатку, направился в соседний лесок. Под ногами шуршали сухие листья, деревья стояли желтые и нарядные, как напоказ. Но Кротов не замечал всей этой красоты осеннего увядания, он перебегал от дерева к дереву, прятался за кустами, а когда проник на другой конец леса, быстро забрался на ель. Когда он уселся и опустил ноги, возле него пронеслись две пули. Кротов вздрогнул, но тут же сообразил, что стреляет снайпер, притворился убитым и, ломая сучья, тяжело полетел вниз. Острая саднящая боль обожгла лицо и руки.

Он полежал несколько минут неподвижно, затем переполз в соседние кусты, замаскировался и начал сооружать небольшой окоп. Долго долго следил он за немцем. Чуть немец показывался на мгновение, Кротов стрелял в него. Мучительно, как пытка, тянулись часы напряженного ожидания. Наконец Кротову опостылела эта игра. Он лег на спину и, сделав из шинели и маскхалата чучело, выдвинул его в сторону. Один за другим раздались два выстрела, и чучело осталось лежать, точно это был убитый человек.

Прошло еще несколько минут, и немец зашевелился в своем окопе. Он долго и внимательно смотрел через оптический прицел на чучело, затем беспечно поднялся с земли.

— Ну, ну, теперь держись! — произнес Кротов и спокойно нажал на спусковой крючок.

Немец покачнулся, схватился руками за грудь и, пока медленно опускался на землю, Кротов еще раз выстрелил в него.

— Теперь лежи, фриц, по всем правилам собачьей смерти, — засмеялся Алексей, взял чучело и с какой-то душевной легкостью зашагал среди густых зарослей.

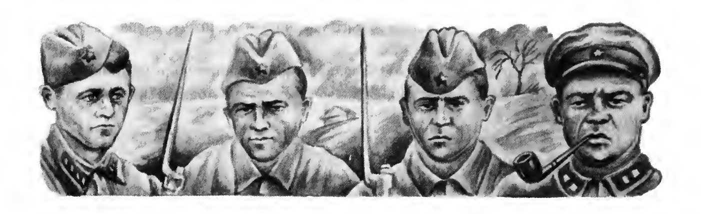


Юрий Хазанович



Юрий Яковлевич ХАЗАНОВИЧ (1913—1969) перед войной работал инженером на Харьковском турбогенераторном заводе. В 1941 году был отправлен с дивизией на Западный фронт, где и воевал в звании старшего лейтенанта-артиллериста. Участвовал в боях под Витебском и Смоленском. Получив тяжелое ранение, прибыл на Урал.

Первой книгой, опубликованной Хазановичем на Урале в 1943 году, стал сборник рассказов о войне "После боя". На трагическую гибель тысяч безвинных людей в фашистских лагерях смерти писатель отозвался книгой "34 недели на Майданеке". Творчество Ю.Я.Хазановича отличало разнообразие жанров. Это повести и рассказы, очерки и статьи, киносценарии и фельетоны.



ЧЕТВЕРО

Мы сидели на старом поваленном дубе, курили и скучали. Полк не двигался уже месяц, и нашу роту держали почему-то не на передовой, а позади, в лесу.

Я сказал Власенко, что этак можно отвоевать всю войну и немца совсем не увидеть.

Власенко считали бывалым солдатом. Он дважды был ранен, дважды ходил к немцам в тыл. На каске его темнела рыжая вмятина от немецкой пули, и полы куцей потрепанной шинели во многих местах были пробиты осколками.

— Живого немца разглядеть трудно, — отозвался он, закуривая. — Немец или зарывается в землю, или за танком крадется. А бывает, во весь рост, по-психически шпарит... Надвинется на тебя серая туча, и садишь в нее из чего попало. Тогда немец бежит. Как его увидишь?

Власенко улыбнулся и добавил:

— Вот разве мертвого, да еще пленного рассмотришь во всей красе. Но мертвый немец, скажу тебе, куда приятнее: не скулит, помилования не просит и санитарку финкой не пыряет.

Власенко затянулся дымом и, по привычке пряча папиросу в рукав, тихо сказал:

— У тебя, друг, сейчас только интерес. А как наглядишься, да перетерпишь всего — одна злоба чертова останется.

Я пришел на фронт недавно. От каски у меня еще болела шея, винтовочный ремень резал плечо, ворсистая шинель пахла складом. И мне на самом деле было интересно посмотреть, какая она из себя "высшая раса".

— Высшая, — насмешливо повторил Власенко. — Воображение и только. Решила дворняга, что она не дворняга, а, к примеру, собака сеттер. Вот и все.

В это время просекой с передовой вели пленных.

— Вон тебе и "высшая раса", — равнодушно взглянув на пленных, сказал Власенко, — полюбуйся.

Их было четверо. Шли они гуськом, а за ними неторопливо шагал наш Коля Васильев, маленький, в чересчур длинной шинели и огромных сапогах.

— Смирные какие, — удивился я.

Немцы представлялись мне совсем другими, непохожими на этих.

— Теперь смирные, — зло усмехнулся Власенко. — А может, вчера еще наших ребятишек кололи.

У штабной землянки пленные остановились. Пришел командир. Пленные забормотали наперебой. Длинный немец, с головой, замотанной байковым детским одеялом, упал на колени.

— Нет, нет, — брезгливо поморщился командир. — У нас этого не делают...

И заговорил с ними по-немецки.

Пленные забубнили развязнее, громче.

— Принесите хлеба, — сказал командир дежурному. — Вишь, они уж вторые сутки...

Когда дежурный принес буханку черного хлеба, немец в байковом одеяле быстро схватил ее, подержал на вытянутых тощих руках, будто прикидывая на вес, и, оскалив маленькие острые зубы, что-то прохрипел. Дежурный дал ему нож. Присев на корточки, немец повертел буханку, размерил ее длинными синими пальцами, сделал зарубки острием ножа и осторожно принялся резать.

Он разрезал хлеб на три части, аккуратно собрал крошки, бросил себе в рот и громко причмокнул.

Пленные обступили его. Немец с плоским, словно примятым и безбровым лицом, отломив с дерева ветку, измерил ею свой ломоть, потом приложил к двум остальным и, убедившись, что они одинаковы, довольно крякнул.

Хлеб достался всем, кроме бледнолицего пленного с узким хрящеватым носом и водянистыми глазами. Еще больше побледнев, он резко крикнул и рванулся к байковому одеялу. В лесу, точно выстрел, неожиданно хлопнула раскатистая затрещина. Байковое одеяло покачнулось и замерло.

Захлебываясь, трясясь, бледнолицый что-то кричал немцу.

— Чего это они? — не выдержав, спросил я.

— А он австриец, тощий этот, — сказал командир, нахмурясь. — Не ихней породы. Вот он и орет немцу: — "Это, мол, тебе не в Австрии!" — Тоже соображает, прохвост...

Тем временем немец отобрал хлеб, сложил вряд все три куска и, что-то сердито бормоча, принялся снова делить, уже на четыре части.

Мне стало тошно, голый лес показался темным и тесным, и меня потянуло отсюда на поляну, где под солнцем искрился чистый, нетронутый снег.

И я подумал, что им никогда в жизни нас не победить.

ГАРМОНЬ

Рота, в которую он попал с пополнением, была на отдыхе.

Смуглый, черноволосый боец, по-восточному поджав ноги, что-то живо рассказывал группе красноармейцев, и над поляной не смолкал громкий смех.

— Гармошка, никак, — послышался удивленный шепот, когда Коляда проходил мимо бойцов.

— Ей-богу, гармошка.

— Эй, парень, — крикнул смуглолицый мягким гортанным голосом. — Сыграл бы, может, а? — Круглые черные глаза его блеснули приветливо и лукаво.

Коляда улыбнулся смущенно, снял с плеча гармонь в белом полотняном мешке и, скинув жаркую скатку, устало опустился на землю.

— Это охоту иметь надо, такую бандуру таскать, — сказал боец с бритой головой.

Он чистил винтовку и, заглядывая в ствол, насмешливо щурил один глаз.

— Какая же это бандура? — обиделся Коляда.

— Ну, ясно, пианина тяжельше, — усмехнулся бритый.

— Без песни тоже не проживешь, — сказал Коляда.

— Тут, брат, одна музыка. Не заскучаешь... Верно, Сумбат? — повернулся бритый к смуглолицему.

— Не слушай ты Шумова, товарищ, — сказал Сумбат. — Он две недели назад в болоте просидел целые сутки, у него отсырело что-то... Вчера ночью, понимаешь, тихонько беседуем. Вдруг Шумов наш кричит: "Ракета!". Смотрим, а за лесом — луна. Мирная такая.

Бойцы рассмеялись.

Сумбат подошел к Коляде.

— Ты украинец, да? — он заглянул ему в лицо быстрыми черными глазами. — У вас песня есть:

И шумит и гудет,
Дробный дощик идет...

— Ой, как я люблю. Под нее даже плясать можно.

Коляда не спеша вытащил из мешка гармонь, перебросил через плечо широкий потертый ремень и, запрокинув голову, пробежал пальцами по белым перламутровым кнопкам. Гармонь широко и радостно вздохнула.

— Лезгинку, Сумбат!

— Давай лезгинку! — закричали бойцы.

Сбив на затылок пилотку, упершись руками в бока, Сумбат пошел на носках мелкими частыми шажками.

Солнце опустилось за лесом. С озера потянуло холодком и запахом водорослей. А Коляда все еще сидел в середине большого плотного круга. И командира заметили, когда, протискавшись сквозь густую теплую стену локтей и спин, он вошел в круг.

— Товарищ Адашидзе! — сказал он.

В то же мгновение Сумбат стоял перед командиром, запыхавшийся, возбужденный, подтянутый. Было странно видеть его немым и застывшим.

— Нужно поспать, товарищи, — негромко сказал командир. — Ночью выступаем.

Гармонь ахнула и умолкла.

Бойцы расходились медленно, нехотя.

В лесу было тихо. На озере плескалась рыба, и совсем близко шуршали одинокие шаги дежурного. Коляда не спал. Он лежал, держа во рту засохший стебелек; если бы не стебелек, зубы стучали бы мелко и часто, и Коляда не знал, от холода это или от чего другого.

В эту ночь он впервые пошел в бой.

От стрельбы у него звенело в ушах. Справа и слева оглушительно рвались мины. Низко над землей проносились, точно светлячки, трассирующие пули. И Коляде казалось, что если шелохнется, — они заклюют его. Он чувствовал леденящую пустоту в животе, ему хотелось пить. Холодные струйки пота, нестерпимо щекоча, скатывались за воротник.

Коляда выстрелил один раз, но тут же испугался, что может попасть в товарища, лежащего впереди, и больше не стрелял.

Несколько раз он поднимал голову, порываясь двинуться вперед, но оставался лежать неподвижно, только теснее прижимаясь к земле.

Сзади зашелестела трава, послышалось чье-то дыхание.

— Это ты... — проговорил Сумбат.

Коляда почувствовал, что у него вспыхнули уши.

Сумбат подполз ближе, обжег его горячим, порывистым дыханием.

— Страшно?

Коляда что-то пролепетал в ответ.

— Пройдет, — сказал Сумбат. — Ты ко мне ближе держись. Меня смерть боится, слово даю. Я с первого дня, уже научился. Сейчас в атаку пойдем. Я подмечаю.

На горе, где пылало село, неожиданно раздался одинокий крик, его подхватило сразу несколько голосов, и вниз, разрастаясь, заглушая стрельбу, покатилось "ура".

Впереди, с боков выросли темные фигуры и помчались вверх. Сумбат, вскочив на ноги, заревел и, пригибаясь, побежал. Коляда тоже кричал, но не слышал своего голоса. Кусты кидались ему под ноги — он перелетал через них.

Кончик штыка вдруг побагровел, как будто раскалился: с обеих сторон горели хаты.

Через дорогу метнулась сгорбленная, крадущаяся тень.

— Немец, — промелькнуло у Коляды в голове и, дико заорав, он ринулся наперерез.

Немец был совсем близко, и Коляда мог бы застрелить его или достать штыком. А он, повернув на бегу винтовку штыком к себе, широко размахнулся и ударил немца ложем, словно топором.

— Ай, не умеешь, — закричал, подбегая к нему, Сумбат и, размашисто орудуя штыком, приговаривал: — Чтоб не встал, не встал!

— Вот как надо! — крикнул Сумбат и, стряхнув немца со штыка, облегченно помчался дальше.

Коляда побежал рядом, а впереди, обгоняя его, колыхалось раскаленное, ищущее жало штыка...

Бой утих на рассвете.

Пахло гарью. Где-то пел уцелевший петух. На развороченной дымной улочке слышались детские голоса.

Сумбат принес гармошку, вокруг Коляды быстро вырос круг, но гармонист не смог вспомнить ни одной песни; пальцы у него стали каменными. Коляда чувствовал себя неудачливым, жалким, а гармонь казалась ему чужой.

Долгое время не играл Коляда. Прошло больше месяца, а он не прикасался к гармони. Несмотря на это, бойцы берегли ее, как дорогое оружие. Старшина подарил вещевой мешок, чтобы гармонь не промокла от дождя, а когда ударили первые морозы, Коляда закутал ее в ватную телогрейку.

После боев, в один из дней томительного затишья, Коляда заиграл. Его большие жесткие пальцы ожили, глаза стали неподвижными, невидящими. Порой он закрывал глаза, наклонял голову, и молодое, утомленное лицо его было задумчиво-спокойно, как у слепого.

Сумбат любовно смотрел на него издали. Он удивлялся перемене, какая произошла в Коляде за это время. Кто бы мог подумать, что этот неуклюжий хлопец, еще недавно такой боязливый и неумелый, теперь первым бросается в рукопашный и ловок и страшен в бою!

У Коляды был свой, излюбленный прием: он колол немца и быстро перекидывал его через плечо назад, словно вилами сноп. И когда в штыковой схватке над головами вдруг взлетал немец, все узнавали "колхозный" способ Коляды.

Кто бы мог подумать, что этот тихий гармонист, казалось, только умевший играть на колхозных свадьбах, три дня назад по дороге в штаб задушил в машине здоровенного немецкого унтера и лишь вчера вышел из-под ареста!

— Нет, я тебе не шеф, — сказал тогда ему Сумбат. — Сам обойдешься. В тебе злости на троих...

Но он все же старался быть ближе к Коляде и продолжал беспокойно следить за ним.

Шел бой. Снаряды ложились все ближе. Медленно оседали тяжелые тучи земли. Потом стало непривычно тихо, и над полем, тускло поблескивая, закачались черные немецкие каски.

Коляде чудилось, будто он слышит, как шуршит под ногами у немцев сухая трава.

Наконец, сквозь дробный треск немецких автоматов послышалась команда. Сбоку басовито и гулко застрекотал наш пулемет. Издали казалось, — пулемет рвется вперед, а пулеметчик сдерживает его, ухватившись за ручки.

Зеленая цепь вдруг зашаталась. Коляда быстро выбирал цель и стрелял. Когда цель валилась, он был уверен, что — именно от его пули и, довольно прищелкивая языком, выбирал новую.

Немцы залегли. Неожиданно пулемет умолк. Пулеметчик лежал на боку, поджав ноги.

Немцы кинулись вперед, заревели. Еще немного и их не остановишь...

Волоча винтовку, Коляда пополз к пулемету. Земля была твердая, холодная, колючая. Коляда не слышал ни треска автоматов, ни крика немцев, ни стука собственного сердца.

Отодвинув убитого, он сжал теплые и влажные ручки пулемета, и пулемет задрожал, стал вырываться. Коляда стрелял и ругался последними словами, неистово, до хрипоты.

И немцы повернули назад.

Тогда поднялись бойцы. Коляда тоже вскочил, но, покачнувшись, сел на мерзлую землю.

В рукаве было липко, тепло, а пальцы коченели, и почему-то страшно хотелось спать. К нему подбежал Сумбат. Он тормошил его, тыкал в рот холодное горлышко фляги. Коляда приподнялся.

Пуля прошла чуть повыше локтя, не тронув кости, но санитар хотел отправить Коляду в санбат вместе с другими ранеными.

— Зачем я пойду? — сказал Коляда. — Когда бы что сурьезное. Левая, она что для бою, что для гармошки не первой важности...

Сумбат спустился в блиндаж, сгреб в угол шуршавшее под ногами сено и, разостлав плащ-палатку, уложил Коляду.

Гармонь он повесил на бечевке к березовому накату, чтобы от сырости не попортились ее голоса. На ней было теперь три одежки: ватная телогрейка, белый полотняный мешок и зеленый вещевой, подаренный старшиной.

В полутемном блиндаже пахло далеким, родным. Согревшись, Коляда задремал, и ему казалось, будто он вернулся с поля и забрался в мягкое душистое сено.

Немцы не унимались весь день. Вал за валом надвигались автоматчики. Налетали бомбардировщики, и каждый разрыв отзывался на простреленной руке жгучей болью.

К вечеру немцы прорвали стык со второй ротой и подковой обошли высоту. Связь пропала. Убило командира. Ночь была светла от ракет. Падал снег.

В блиндаже разожгли вырытую в стене печурку; возле нее положили раненного старшину.

Немцы окопались в двухстах метрах и дальше не пошли. То ли они считали свои силы недостаточными, то ли знали, что в роте осталась треть людей, и решили взять их измором.

На рассвете Сумбат собрал тридцать два бойца, оставшихся в роте.

— Будет, как приказал покойный товарищ лейтенант, — сказал он. — С места не сходить.

А Коляде было обидно: в такой час, когда розданы все патроны и вставлены в гранаты запалы, он бесполезно валяется на сене. Рука была тяжелая, как бревно, затекшие пальцы не двигались.

Сумбат выставил охранение, приказал зарыться поглубже.

Выходя из блиндажа, он пристально всматривался вдаль. Подкрепления можно было ожидать справа. Там, за селом, осталась вторая рота. Но кругом — снега, снега, да синяя стена леса на краю неба.

Подмога не шла. Сумбат мрачнел с каждым днем. Он хотел было пробраться к своим, но это значило оставить немцам высоту, потерять считанных людей, а потом снова вырывать этот кусок земли, уже политый кровью.

На пятые сутки Сумбат уменьшил норму сухарей; накануне съели последние консервы, кончился сахар. Нераскрытый ящик с махоркой, стоявший в блиндаже, был единственным горьким утешением бойцов.

Сумбат делил сухари, по-аптекарски — терпеливо и точно. Половину своего пайка он отдавал Коляде.

— Ты кровь терял, — настойчиво твердил он.

В блиндаже было душно и тесно, трещали чурки в печи, на земляных стенах, на потолке из березовых стволов прыгали тени.

Бойцы молча курили. Тяжело дышал старшина. Ветер сильно рвал палатку, закрывавшую вход в блиндаж, засыпал снегом ступеньки.

— Не придут, — задумчиво сказал Шумов, ломая ветки и бросая их в огонь.

— Зачем так говоришь? — исподлобья взглянул на него Сумбат.

— А так, — грустно ответил Шумов, — сердце чует — не придут...

Сумбат усмехнулся.

— Не смейся, — сказал Шумов, глядя на пламя. — Сердце, оно чувствительное до всего. Особенно в беде.

— Это кто? Шумов? — проговорил вдруг старшина, приподняв взлохмаченную голову, и обвел блиндаж сухими воспаленными глазами. — А мое другое чует...

— У всякого по-разному, товарищ сержант, — отозвался Шумов.

Коляда сидел в углу на сене. Рана заживала, рука не была уже такой горячей и тяжелой, как прежде.

Он никак не мог разобрать, что чует его собственное сердце, но втайне радовался затишью: за это время рука окрепнет, и ему не придется отлеживаться, когда товарищи будут драться. И если бы не так сосало в животе, если бы патронов да гранат чуть больше — было бы совсем хорошо.

— А жить хочется, — негромко, нараспев проговорил Шумов. — Ой, как хочется жить...

— Ну и живи себе, сколько влезет, — сухо сказал Сумбат. Он пришивал к шинели крючок и мурлыкал какую-то длинную песню.

— Живи, — повторил Шумов. — С немцем на одной земле здорово заживешь.

Достав из гимнастерки потертый клочок бумаги, он осторожно развернул его, разгладил ладонью.

— А Лена пишет, сынок уже ходить начинает, "папа" говорит. "Ты его не узнаешь", пишет...

Шумов опустил голову, засопел, и всем показалось, что он всхлипнул.

— Мне батько рассказывал, — тихо заговорил Коляда. — В ту войну это было, под городом Лодзь. Чули про такой город? Ну, вот. Русских осталось всего двадцать семь. Немцев — две роты, не меньше. И уговорились они, двадцать семь, назад не смотреть. А немцы идут так само, как теперь, да еще в барабаны лупят. Подпустили их наши, как полагается. Им бы хотя один пулеметик, — ничего не было, окромя винтовок. Патроны вышли. Даже для себя не оставили про всякий случай, — все в горячке расхлопали. И пошли в штыковую. Это наши только могут, двадцать семь против двух сотен пойти! Немцы сразу одурели, стали назад тикать. А тут, как есть, вылетела наша конница... Правду сказать, шестеро пехотинцев полягло. Но позицию не уступили... Нам рюмать негоже, — сказал Коляда, взглянув на Шумова. — И не то переживем.

Он высвободил руку из-под косынки и, взобравшись на ящик с махоркой, принялся отвязывать гармонь.

Осторожно распеленав ее, он долго прикасался щекой к глянцевитым и гладким бокам гармошки, проверяя, не отсырела ли. Потом перекинул через плечо ремень и пробежал пальцами по белым пуговкам.

— Руку не потревожь, — сказал Сумбат.

Но Коляда, ощутив после долгой разлуки тяжесть гармони на плече, почувствовав знакомый запах клеенки и клея мехов, не в силах был оставить ее.

Большие серые глаза его стали неподвижными, невидящими, лицо, озаренное пламенем печи, казалось юным и спокойным.

И уже не было слышно ни потрескивания чурок, ни завывания ветра. Когда гармонь умолкла на минуту, слышалось легкое, шумное дыхание всего блиндажа.

Коляда любил медленные степные и задумчивые песни. На этот раз он играл только веселое, быстрое и звонкое.

Гармонь пела о казаке, копавшем криницу, о том, как поженился комар на легкомысленной мухе, о двенадцати веселых косарях, о родном, широком полюшке-поле.

В печурку забыли подбрасывать, она догорала, а в блиндаже, казалось, стало светлее, просторнее и теплее.

Старшина, лежа на спине, смотрел в березовый потолок и улыбался. Сумбат не сводил с гармониста сияющих глаз. Вдруг поднялся Шумов и, поправив винтовку, крикнул:

— Слушай, Сумбат! Сколько ж так сидеть будем? — Влажные глаза его светились решимостью, он не знал, что делать с руками. — Давай командуй! Голову кладу — наломаем дров. Шутейное дело: тридцать два черта!

— Да еще голодных! — смеясь, добавил кто-то.

Вскочив с чурбана, Сумбат похлопал Шумова по спине. — Придержи огонек, все в порядке будет, — восторженно прошептал он и подмигнул Коляде.

Гармонь замолчала и, переведя дыхание, запела снова.

Бойцы узнали песню и расступились. Семеня ногами, шурша сеном, на середину вышел Сумбат и, выхватив из ножен плоский штык, понесся вокруг гармониста.

В блиндаж, задыхаясь, влетел огромный, весь в снегу, боец.

— Товарищ командир! — тревожно крикнул он. — Зашевелились!

Сумбат остановился посреди блиндажа, разгоряченный, с дрожащим штыком в руке.

— Коляда остается со старшиной! Возьми гранаты! Остальные за мной! — скомандовал он.

Но Коляда, схватив прислоненную к стене винтовку, бросился к выходу.

— Назначай другого... — сказал он.

— Не нужно, — тихо отозвался старшина. — Я один...

— Иди, Коляда! — сказал Сумбат.

— Есть! — радостно выкрикнул Коляда.

Солнце ослепило его, он заслонил глаза ладонью и только сейчас заметил, что тащит с собой гармонь. Но возвращаться было поздно. Коляда торопливо сбросил гармонь и, поставив ее в снег у блиндажа, побежал к кустарнику.

Вблизи грохнула мина. Коляда пополз, падая на левую руку, а рядом, быстро разгребая снег, будто скользя, полз Шумов.

— Ты за мной лезь, — крикнул он Коляде. — По дорожке легче.

Справа, со стороны леса, неожиданно затрещали отдаленные выстрелы.

— Подмога, — вырвалось у Коляды.

Позади у блиндажа треснула мина, и вслед за разрывом Коляда услышал короткий, надрывный вздох гармони, похожий на тяжелый стон. Он оглянулся. Гармонь лежала не там, где он ее оставил. Она чернела на снегу, большая, распластанная, точно подбитая птица.

На мгновенье Коляда закрыл глаза, стиснул зубы, но встрепенулся и пополз быстрее.

Впереди показались немцы...

Вечером бойцы заняли немецкие блиндажи. Раненых отправляли в тыл, уже увезли Сумбата и старшину. Со старой позиции принесли несколько охапок сена, ящик с махоркой и пробитую осколком гармонь.

— И откуда она там? — удивленно рассуждал молодой боец, пришедший с подкреплением. — Смотрю, черное что-то. Взять боюсь. А разглядел — гармошка.

— Была гармошка, — сказал Шумов, беря гармонь из рук бойца. — И гармонист был.

Он осторожно стряхнул снег с ее продырявленных мехов и полой шинели вытер черный лакированный бок.

— Коляда, Иван Коляда, — негромко проговорил Шумов. — Что бился парень, что играл... — Качнув головой, он спустился в блиндаж, разостлал свою плащ-палатку и бережно завернул в нее гармонь.

В глубине кустарника стояла двуколка с брезентовым навесом. Санитары укладывали на нее бледного, молчаливого Коляду.

Шумов принес гармонь и, не видя ничего из-за слез, положил ее Коляде на колени.

Сдвинув брови, Коляда поглядел на зеленую ткань плащ-палатки, в которую была завернута гармонь, и неуверенно потрогал ее кончиками пальцев.

— Зачем? — чуть слышно произнес он и шевельнул коротким забинтованным обрубком левой руки.

— Ее исправить — пустяки, — сказал молодой боец из подкрепления. — Меха малость порвало, а лады целые и корпус тоже.

— Ни к чему она мне, — тихо сказал Коляда и слегка отодвинул тяжелую гармонь. — Ты играешь?

— Играю, — застенчиво улыбнулся боец.

— Возьми... Играй.

Боец радостно и недоверчиво взглянул на него.

— Возьми, чего ж...

Боец развернул плащ-палатку, и по тому, как он взял гармонь, по лицу его, по пальцам Коляда угадал гармониста.

— Как заиграю, тебя вспомню, — сказал боец.

— Бери, бери, — устало прошептал Коляда.

Двуколка тронулась, заскрипела и вскоре исчезла в сумерках.

ГАЛЯ ИЗ САНБАТА

Вечером с передовой пришли машины с первыми ранеными. В просторной хате санбата уже были расставлены носилки, чисто вымыты окна, и в углу на столе, покрытом новой простыней, стоял глиняный кувшин с полевыми цветами. Далеко где-то били пушки, дребезжали стекла, и кувшин покачивался.

Галя торопливо подошла к раненому, чтобы помочь уложить его на носилки, но, взглянув на промокшую, побагровевшую повязку, вдруг побледнела и выбежала из хаты.

Командир нашел сестру за сараем. Она стояла, закрыв лицо руками, прислонясь к перевернутым саням со ржавыми полозьями.

— Что с вами? Неужели крови не видали? — негромко спросил командир.

— Я... нет... этого не будет, — прерывисто, шепотом сказала она, отнимая руки от мокрого лица.

У нее был вздернутый, совсем ребячий нос и длинные пушистые ресницы, в которых блестели слезы. Командир подумал, что такие ресницы бывают только у малышей, и ему захотелось сказать ей что-нибудь ласковое. Но он ушел, ничего не сказав.

А Гале было стыдно возвращаться в хату в этот первый день своей работы в санбате.

Ей казалось, что никогда не свыкнется она с этой жизнью, что она позабыла все, что учила, и не сделает даже самой простой перевязки.

Но ни командир, ни раненый, никто из санбата не напоминал ей об этом случае.

Незаметно Галя привыкла к терпкому запаху крови, к стонам раненых, к бессонным ночам. И вскоре уже не замечала ни тяжести своей стальной каски, ни надрывного рева немецких самолетов, ни завывания бомб, пригибающего все живое к земле.

Не зная усталости, она успевала накормить и напоить всех, прочитать в палате вслух два-три рассказа, написать под диктовку раненых несколько писем на их родину, перевязать раны и вечером замаскировать окна.

Лишь к ночным дежурствам она никак не могла привыкнуть. Не потому, что ей хотелось спать, а потому, что очень уж скучно ночью.

Никогда так близко не видала она людей, никогда не знала о людях так много и никогда так быстро, по-детски не привязывалась ни к кому, как к этим людям, прибывающим в санбат.

И раненые, глядя на ее доверчивые, чуть испуганные глаза, поверяли ей все свои тайны.

Она знала о каждом все: откуда родом, что делал до войны, как зовут жену, детей. Знала, кто ругается во сне, кто сбрасывает с себя одеяло, кто спит по-птичьи, тихо. А когда раненых увозили в тыл и в санбате на время становилось пусто, Гале было тоскливо, тяжело, будто теряла она близких людей.

В один из таких дней ее послали на передовую.

Она поспешно уложила под каску густые каштановые косы и, перебросив через плечо брезентовую сумку, пахнувшую йодом, села в кабину, рядом с шофером.

Они помчались по кривым разбитым дорогам. Шевчук насвистывал что-то родное, украинское. Гале хотелось подпевать ему, но ее кидало в стороны, и у нее срывался голос.

Орудийный гром слышался все ближе и ближе. Тупой, отрывистый стук пулеметов напомнил Гале колотушку ночного сторожа.

В невысоком пыльном кустарнике Шевчук остановил машину. К ним вышла Оля Мищенко, с которой Галя кончала десятилетку и с которой вместе поехала на фронт.

Она была в каске, измазанной глиной (чтоб не блестела), в защитных вылинявших шароварах и больших не по ноге сапогах. На боку у нее из потертой кобуры выглядывала черная рукоятка пистолета.

Галя радостно бросилась к ней навстречу, но Оля рассеянно пожала ей руку.

— Раненых девать некуда, — сказала она, — открытое ведь поле. Скорее, скорее... — И привычным движением отряхнула пыль с колен.

Во взгляде больших синих глаз подруги, в твердо сомкнутых губах, в скупых движениях Галя заметила что-то новое, чего прежде не видела, — возможно, то была спокойная уверенность, а может, просто усталость. Казалось, Оля стала стройнее, выше.

Вблизи четко бил пулемет, явственно доносились крики бойцов, ухали пушки, и раз за разом вздрагивала земля и шевелился кустарник.

Галя с трудом удерживала желание спрятаться куда-нибудь, прижаться к земле. А Оля словно ничего не слышала, не замечала.

Внимательным женским взглядом Галя сразу угадала, что Оле приходится больше ползать, чем ходить; носки ее серых от пыли сапог были содраны, ремень исцарапан, шаровары на коленях покрыты штопками, точно вышивкой.

"И когда она успевает штопать?" — подумала Галя, завидуя и удивляясь спокойствию и бесстрашию подруги.

Вытащить раненого из-под пуль, чтобы кровью не истек, чтобы врагу не достался для пыток, — не ради ли этого она рвалась на фронт?

А что же санбат? Тишина́. Вечерний мирный чаек из самовара, неторопливые рассказы, письма.

И никогда не сравнится она с Олей Мищенко, всю войну просидит в тылу, в тихом санбате, а потом вернется домой, и ей не о чем будет даже вспомнить, потому что она ничего не видела, ничего нужного не успела сделать.

Галя с неохотой села в машину, чтобы ехать с ранеными обратно в санбат.

Теперь машина ползла, осторожно перебираясь через канавы, обходя каждую кочку.Шевчук всю дорогу насвистывал медленные и просторные запорожские песни, а в глазах его, Гале показалось, блестели слезы.

Эту ночь она не смыкала глаз. Едва дождавшись утра, пошла к командиру, чтобы просить перевода на передовую.

Необычное оживление сразу бросилось ей в глаза. В тени деревьев, на узкой немощеной уличке стояли машины, из хат выносили раненых, грузили ящики с медикаментами. Шевчук с озабоченным видом возился у своей машины.

— Прорвали нашу оборону... — сообщил он Гале.

Галя посмотрела на желтую дорогу, на пустое ровное поле с короткой щетиной стерни, и ей стало страшно при мысли, что немец истопчет это поле, обломает сады, сожжет хаты...

— Ничего, — сказал Шевчук, — наши отходят, чтоб размахнуться ловчее...

В опустевших хатах уже гуляли сквозняки, и ветер стучал ставнями. Раненых увозили в тыл; сизая пыль долго неслась за машинами.

Машины уходили и в другую сторону, на передовую.

В этот день Галя дважды ездила на передовую, где работала Оля Мищенко. Во второй раз она отправилась туда уже на закате дня.

Шевчук был задумчив, не свистал запорожских песен, а озабоченно посматривал по сторонам.

— Ой, была б у меня разумная голова, — проговорил он после долгого молчания, — я придумал бы машину, такую машину, вроде прожектора. Поставил бы ее на передовой линии — сунься! Эх, накосил бы гансиков, поспевай только собирать их, и в яму, чтоб не смердели. Я бы придумал, беспременно, только голова, вишь, у меня тугодумная...

Средь разговора кто-то дернул Галю за рукав. Она высунулась из окна. Никого не было. Взглянула на локоть и заметила на рукаве маленькую дырочку, пробитую пулей. Шевчук тоже посмотрел на рукав и улыбнулся:

— Счастливая...

Оля Мищенко встретила их у кустарника, молчаливая, встревоженная.

Немецкие снаряды уже корчевали кустарник. То тут, то там вздымалось вдруг черное развесистое дерево и тотчас же падало, рассыпалось.

Когда раненых уложили в кузов и Шевчук заводил машину, Оля Мищенко сказала:

— Смотрите, будьте осторожны. Говорят, они там десант высадили...

Она вдруг обняла Галю за плечи, притянула к себе и, ласково и грустно глядя ей в глаза, почти прошептала:

— Галька, Галчонок!...

И так же неожиданно выпустив Галю из своих объятий, побежала на перевязочный пункт.

А Галя, опустив руки, смотрела ей вслед, пока Оля не скрылась за кустарником.

— Не бойся, — сказал негромко Шевчук. — Я дорогу знаю. Проскочу.

Взобравшись в кузов, Галя опустила парусиновый полог и словно очутилась в крохотной полутемной палате. В потолке голубела круглая дыра; скупой свет падал на раненых. Их было трое: небритый пехотинец, вспоротые сапоги которого стояли у носилок, худощавый, бледный артиллерист с пробитым легким и пулеметчик — белокурый парень с тоскующими глазами. Он молча шевелил черными запекшимися губами, и Галя часто поила его из своей фляги.

Артиллерист задремал. Галя укрыла его шинелью и прислушалась: он дышал тяжело и вздрагивал во сне.

— Сестра, а какие раны самые опасные? — тихо спросил белокурый парень. Осколком мины он был ранен в живот.

— Самые опасные? Ну, в голову, в грудь, когда сердце задето.

— А живот?

— Это пустяки, — успокаивающе проговорила Галя. — Вытащат осколок, отдохнешь маленько, будешь киселек попивать. Я и не таких видала, думаю, не встанут уже, а они на второй неделе гречневую кашу требуют...

Галя знала, что это неправда, но что ей оставалось делать, если не утешать раненых? Вот Оля Мищенко, у той другая жизнь. Она осталась там и до последнего раненого вынесет с поля, а кто знает, удастся ли ей самой выйти из пекла...

В круглой голубой дыре показались голые верхушки деревьев, стало темнее: машина вошла в лес.

Сквозь шум мотора неожиданно донеслась длинная очередь.

— Автомат, — сказал пулеметчик, приподнявшись на локте и напряженно прислушиваясь к сухому треску.

— Наши, наверно... — сказала Галя.

Ее больше, чем выстрелы, тревожило то, что машина беспрерывно подпрыгивала, неприятно скрипела, — Шевчук гнал, забыв обычную при перевозке раненых осторожность.

Машина вдруг вздрогнула и остановилась.

— Что там? — испуганно спросила Галя. — Шевчук...

Ответа не было. Спрыгнув на землю, она подбежала к кабине.

Шевчук полулежал в сиденье, прижимая руку к груди.

— Шевчук, товарищ Шевчук! — закричала Галя, хватая его за плечи.

Он уронил руку, и пальцы его оставили на дне кабины кровавый след. Галя вытащила Шевчука на землю, расстегнула на нем гимнастерку.

Он не дышал. Черный муравей быстро прополз по его лбу и запутался в ресницах, глаза Шевчука остались открытыми.

Галя растерянно оглянулась кругом. Хоть бы одна машина! Один свой человек!

В отчаянии бросилась она к машине, нажимала педали, дергала рычаги, силилась повернуть тугой руль, машина не двигалась.

На миг ее взгляд задержался на мелкой, косо вырезанной надписи на гладкой черной спице — "Паша".

Почему "Паша"? — рассеянно подумала Галя и с трудом вспомнила, что Шевчука звали Павлом, и, вероятно, кто-то называл его этим коротким и ласковым словом.

Из-за леса донесся приглушенный шум машин, лязг танков. Где-то в стороне раздался человеческий крик.

Из машины тихо позвали:

— Сестра...

Галя узнала голос пулеметчика, но не откликнулась, боясь, что голос выдаст ее.

— Сбежала, — проговорил пулеметчик и выругался.

— Молодая она совсем — от смерти... — негромко сказал пехотинец.

На миг стало тихо. Потом с двух сторон сразу затрещали выстрелы, и эхо повторило хруст веток.

Галя побежала к машине, отдернула парусину.

— Я здесь, здесь, товарищи, — проговорила она, стараясь казаться спокойной.

Дрожащими руками она отстегнула с ремня флягу и протянула пулеметчику.

— На, выпей. Небось пересохло...

— Все будет хорошо, — пытаясь улыбнуться, сказала она. — Наши подойдут... конечно, подойдут.

Совсем близко застучал автомат.

— Простимся, что ли? — сказал артиллерист хриплым голосом.

Галя выскочила из кузова. Опустившись на колено перед Шевчуком, она поспешно сняла с его ремня два туго набитых патронами еще теплых подсумка, потом взяла из машины карабин и прилегла у дуба, шагах в пяти от машины.

В лесу пахло сыростью, пряным ароматом прошлогодних листьев и сосновой хвоей.

Эти запахи вдруг до боли в сердце напомнили родную Санжаровку, лес, такой же густой и старый, походы за грибами с подругами. У черного дуба звенел ключ, девчата становились на колени и пили воду, от которой ныли зубы.

Верхушки деревьев покрылись позолотой, в лесу густели сумерки.

Вблизи зашелестели листья, и меж деревьев тускло блеснула черная каска. Немец показался Гале огромным, страшным, хотя был невелик ростом и худощав. Впереди себя он нес автомат.

Галя боялась, что враг услышит, как стучит ее сердце. Она прижалась к земле и, затаив дыхание, подняла карабин. От выстрела она вздрогнула.

Немец вдруг подпрыгнул и повалился в кусты. В это время на просеку вышли еще двое и двинулись прямо к машине.

Галя вытерла рукавом влажный лоб и, чтобы сдержать дрожь во всем теле, крепче прижала к плечу карабин. Она хотела бить только наверняка и выжидала.

Наступило утро, солнечное, теплое. А в лесу было пасмурно и, как накануне вечером, пахло сыростью, прошлогодними листьями и сосновой хвоей.

На просеке валялась железная обгоревшая рама машины. На земле лежала девушка. Держа в руках карабин, она, казалось, ползла, но лишь на минуту остановилась, чтобы передохнуть.

Лицо ее было обезображено взрывом гранаты, на руках, смешанная с землей, запеклась кровь, косы расплелись, и одна прядь тяжело нависла над лбом.

В кармане ее гимнастерки лежало недописанное письмо к матери. Его нашли бойцы одного из наших подразделений, прочесывавших лес после отхода немцев.

Они молча обнажили головы и несколько долгих секунд стояли над Галей.

ПО СВОЕЙ ДОРОГЕ

Паровоз нужно было уничтожить во что бы то ни стало. И сделать это должен был сам машинист. Уничтожить маленький приземистый паровоз, с которым Дмитрий Ильич Остапчук не разлучался столько лет.

Слушая начальника депо, Дмитрий Ильич недоверчиво щурил глаза, хотя знал, что немцы уже недалеко. Ему все казалось, — туча рассеется или пройдет стороной. У Светлой речки будет заслон, там задержат немцев, измотают, сомнут, там остановятся, наконец, наши войска.

Так думал Дмитрий Ильич Остапчук.

И вдруг приказ.

Машинист молча вышел из кабинета и медленно побрел вдоль путей, посасывая угасшую трубку.

Паровоз стоял в тупике; от него несло жаром и горьким духом разгоревшегося мазута.

В будке, озаренный пламенем топки, орудовал лопатой Калюжный и что-то напевал. Дмитрий Ильич хотел было окликнуть своего помощника, но раздумал. Как скажешь такое?

Машинист неторопливо обошел вокруг паровоза и вернулся в депо. Он долго сидел там, обдумывая положение, и в конце концов решил, что это просто паника, что если немец даже подкрался совсем близко, то из этого вовсе не следует, что надо калечить паровозы. Можно, конечно, найти другой выход. Начальник же раньше времени раздувает тревогу. Прыткий, скороспелый хлопец.

Давно ли Дмитрий Ильич учил его подбрасывать уголь в топку, учил водить поезда? Правда, ученик хорошо перенимал науку, быстро стал машинистом. Но этот пост начальника депо ему совсем не по плечу.

И Дмитрий Ильич не постесняется сказать ему правду. Он придет к нему и скажет:

— Если ты потерял голову, так слушай людей понимающих. А гробить паровозы пока никому не дозволено!

Но когда Дмитрий Ильич опять явился к начальнику и подошел к его столу, он этого не сказал, а тихо, почти умоляюще проговорил:

— Может, угоним лучше, Андрюша? Я сам поведу.

Начальник нахмурился.

— Куда прикажешь, поведу, Андрей Иванович, — торопливо добавил Остапчук. — Сердца у меня не хватает.

Андрей Иванович поднял на него глаза и вполголоса терпеливо объяснил обстановку. Немцы обошли Светлую речку, сегодня на рассвете высадили десант в Дубровке, ночью они могут быть здесь. Надо успеть вывезти из депо все ценное, угнать лучшие машины. А паровоз Дмитрия Ильича своим ходом не дойдет, волочить же его на буксире нельзя — пробка на линии.

— Нельзя и про себя забывать, Дмитрий Ильич, — добавил он негромко.

Машинист опустил голову и, махнув рукой, ушел.

Из депо уже выкатывали на бревнах станок, напоминавший карусель. Чей-то низкий надорванный голос тянул: — Еще раз, взяли, — и неожиданно разражался матерной бранью. Трещал где-то электрический молоток, и стук его был похож на пулеметную очередь.

В вагонном парке звенели буфера, исступленно вскрикивали охрипшие рожки стрелочников, захлебывались свистки. Мимо депо с грохотом проходили бесконечные поезда.

— Нет, не догнать их маневрушке, — думал Дмитрий Ильич. — Стара...

На сухопарнике был привинчен медный, почерневший от времени паспорт паровоза; ему пошел пятьдесят четвертый. Для машины это уже безнадежная старость.

— В какое время велено? — хмуро спросил Калюжный, когда машинист подошел к нему.

— Парк разбросаем. Тогда... — сказал Дмитрий Ильич и отвернулся.

Паровоз без устали тащил вагоны к шумным нетерпеливым эшелонам, замирал на минуту, пока сцепщик внизу гремел крюком, и, запыхавшись, мчался обратно, в парк.

И в горячке, в грохоте дня Дмитрий Ильич на время забыл, что предстоит ему сделать. Порой казалось ему, — просто выдался жаркий денек, какие часто бывают в эту предосеннюю пору.

У вагонов суетились люди, над их головами, грузно покачиваясь, плыли корзины, свертки, неуклюжие тюки, слышались встревоженные голоса и тонкий, жалобный плач ребенка.

Дмитрий Ильич боялся, что скоро стихнет депо и наступит ночь. За водокачкой уже потухал закат. И когда Калюжный засветил фонарик у водомерного стекла, машинист понял, что ночь пришла. А светофоры не горели, и не зажигались огоньки стрелок. Последние эшелоны уплывали во тьму. Стало тише кругом, сцепщик свистел как-то придушенно, робко и не махал фонарем. Вагонного парка уже не было. Паровоз пошел на кладбище.

Когда он миновал стрелку, Дмитрий Ильич вдруг остановил паровоз и оглядел будку.

— Опять арматура заросла, — сказал он негромко, но раздраженно. — На что похоже! Манометра почти не видать.

Калюжный пожал плечами.

— Да, да, — повторил Дмитрий Ильич, — нет, чтобы медь песочком продраить и стекло протереть концами.

Достав кусок пакли, он сам принялся усердно тереть стекло манометра.

— Вот. Веселее даже стает...

Калюжный видел, что старик медлит, чтобы хоть еще немного побыть на паровозе, чтобы отодвинуть страшную минуту.

Калюжный торопливо начищал ручку инжектора. В конце концов из-за стариковских причуд они опоздают, не вырвутся отсюда, останутся в лапах у немцев.

Взглянув на часы, Дмитрий Ильич вспомнил, что смены больше не будет, и отпустил помощника.

— Ступай, голубок. Я сам... — проговорил он чуть слышно. — Сам управлюсь.

Но когда паровоз остановился среди мертвых машин и наступила тишина, Дмитрий Ильич пожалел, что около него нет Калюжного.

Обхватив руками голову, он опустился на ящик и долго сидел, припоминая что-то и бормоча. Потом вскочил и, распахнув дверцу топки, с лихорадочной торопливостью стал швырять уголь.

Изумрудный столбик в водомерном стекле упал недопустимо низко. Еще немного, и он совсем провалится, исчезнет, и тогда...

Дмитрий Ильич потянулся к инжектору.

— Воды. Сейчас же в котел воды!

Рука его повисла в воздухе.

Старый чудак! Запомнит ли он наконец, что ему нужно делать? В котле не должно быть воды. Ни капли.

Вода уже чуть покрывает дно. Значит, скоро. Очень скоро...

Дмитрий Ильич слез с паровоза, ощупью нашел буксу, выдернул фитиль и, зачерпнув с земли ракушки, песок, стал сыпать их в масленку.

Возле депо забуксовал какой-то паровоз. Было слышно, как тяжело вздохнул он, трогаясь с места, как запыхтел, набирая скорость. Поезд проходил неподалеку. Колеса стучали громко и часто, потом все реже, глуше и скоро затихли совсем.

Опустив руки, Дмитрий Ильич вглядывался во тьму, куда уходил последний эшелон. Теперь ему не на что было надеяться, некуда было спешить. Завтра здесь будут немцы.

Дмитрий Ильич вдруг почувствовал себя жалким, беззащитным; пальцы у него ослабели, разжались, и на ноги, шурша, посыпались ракушки, песок. Сердце колотилось, точно он быстро взошел на крутую гору, глаза застилало что-то похожее на рыбью чешую.

Задыхаясь, Дмитрий Ильич вскарабкался по крутым ступенькам и, открыв дверцу топки, стал хватать гаечные ключи, молотки, зубила и бросать их в огонь. Пламя запрыгало, заревело. А внизу, на решетке уже появлялись темные струйки воды — предвестники скорой гибели паровоза.

Пламя слизывало воду, но она снова текла и шипела. Паровоз начал мелко и часто вздрагивать.

В последний раз оглядев будку, Дмитрий Ильич погасил фонарик, взял железный сундучок, с которым всю жизнь выходил на смену, и спустился с паровоза.

Сгорбившись, он поплелся немыми, безлюдными переулками, обходя пустое, зловещее депо. Дорога показалась ему длинной и незнакомой. Не было слышно ни заливистых свистков, ни голосов, ни рева паровозов. Лишь издалека доносились раскаты грома, и за поселком вспыхивало и тотчас угасало желтоватое зарево.

Калитка была не заперта. Дверь в квартиру соседа была заколочена. Дмитрий Ильич нащупал шершавую неструганную доску, прибитую наискось; черная кривая трещина бежала по ней, обрываясь у самого края.

Он долго стоял у крыльца, еще раз тронул доску и пошел к себе.

5 Зак. 474

Ноги у него затекли, он не смог стащить сапоги и, не раздеваясь, повалился на кушетку. И сразу же увидел опустевшее депо, эшелон, узлы, качающиеся над толпой, услышал жалобный плач ребенка и стук колес.

Утром его разбудил старый Гнатенко, работавший в депо машинистом.
— Поздно спишь, Митрий Ильич, — упрекнул гость. — Тут свет поперек пошел.
— А что? Неужто немцы?
— Уже хозяйничают, людей сгоняют пути справлять.
Дмитрий Ильич растерянно взмахнул руками.
— И нас, чего доброго...
— Поволокут. Меня уже...
— Звали? — тревожным шепотом спросил Дмитрий Ильич.
— На улице перехватили и в штаб. В райсовете штаб ихний. К самому главному привели. Весь в крестах, важный. Синие очки на носу, видать, хворь у него глазная. Тычет мне сигаретку и на чистом, на русском: "Нам, говорит, честные люди очень даже необходимые".
— А ты ему что?
— А я что скажу: "Ошиблись, мол, пан немец, вовсе я не честный". Так, что ли? — Гнатенко дернул худым плечом. — Молчу, конечно, покуриваю. А сигаретка, Митрий Ильич, против нашей самосадки чистое дерьмо, хоть и с ободком она золоченым и в оловянную бумажку завернута. Тянешь ее и совсем не чувствительно.
— Да будь она проклята! — с сердцем сказал Дмитрий Ильич. — Ты про дело говори.
— Дело ясное, Митрий Ильич. Паровозники им нужные.
Подняв голову, Гнатенко пристально взглянул на Дмитрия Ильича из-под серых ветвистых бровей.
— Паны, значит, — тихо проговорил Дмитрий Ильич, хрустнув пальцами. — Черт им поезда поведет.
— Про черта не знаю, — усмехнулся Гнатенко, — а нашего брата впрягут.
У Дмитрия Ильича затряслась бородка.
— На коленки, значит, перед ними?
— На коленки — это по своему хотению. А работать доведется, потому на горло станут.
Дмитрий Ильич спрятал за спину дрожащие пальцы.
— А ты?
Гнатенко отвел глаза на засиженную мухами лампочку под низким потолком.
— Кому охота заместо пугала на столбе... — проговорил он тихо.
"И что его занесло сюда", — подумал Дмитрий Ильич, недружелюбно глядя на гостя.
А Гнатенко, понизив голос, рассказывал о том, как на Северном посту хозяйка заслоняла от немца петуха и как немец рассердился.
— Но какая дура — жизню за петуха отдала, — проговорил Гнатенко.
— А твоя уступила бы? — огрызнулся Дмитрий Ильич.
— Я сам через добро присох, Дмитрий Ильич, — хрипло и сурово сказал Гнатенко.
— Через добро?

— Именно. Коровенка, потом же домашнее всякое. Пока рядили, эшелон хвост показал. Да не в том соль. Не хочу я на ту бабу походить.

Гнатенко почему-то оглянулся на дверь.

— На позиции люди в рост не ходют, Митрий Ильич, а ползают, как звери какие, — прошептал он. — Согнуться нужно до поры. Вот и честь тебе и все. Гордость надо пока в сундук или еще подальше.

Дмитрий Ильич хотел сказать, что Гнатенко чересчур уж испугался немцев и, видно, спина у него гибкая... Но сдержался.

— Ее ежели нету, гордости, так не купишь. А есть — никуда не упрячешь. Каждый идет по своей дороге, — сухо сказал Дмитрий Ильич.

По улице проходили танки. Дрожал комод, и будильник покачивался на своих тонких коротких ножках.

— Сила у них агромадная, — проговорил Гнатенко придушенным голосом. — А обхождение ничего, пристойное. Тот, что в очках, на стул мне кивает. "Не знаете ли, говорит, кто еще из машинистов?" Тут уж я сплоховал, Митрий Ильич, — продолжал Гнатенко, не глядя на хозяина. — Брехать, думаю, негоже. Из машинистов, говорю, я да Митрий Ильич Остапчук.

— Врешь! — крикнул Дмитрий Ильич, бледнея. — Ты не знал, что я здесь.

— Нет, Митрий Ильич, из окошка ночью видел, окликал даже, только ты не отозвался.

Дмитрий Ильич опустился на зыбкий, скрипучий стул и устало закрыл глаза.

А хрипловатый голос Гнатенко продолжал:

— Чтоб явился немедля, — сурьезно сказал мне очкастый, — и фамилию твою в книжку вписал.

Дмитрий Ильич молчал.

— Серчаешь? — спросил Гнатенко, заискивающе наклонив голову. — Все равно пришла бы ниточка к клубочку. Так лучше без палки. Наши вернутся, — зашептал он вдруг, — поймут... А я думаю, дай зайду, чтоб человек в курсе был. Знаю ж тебя — сухопаристый. Далеко ли до беды!

Гнатенко достал из кармана большие старинные часы и заторопился домой.

Дмитрий Ильич не пошел его проводить. Когда стукнула калитка, он распахнул окно и, грузно облокотясь на подоконник, тяжело задумался.

Спустя часа два, цокая подковками, ввалился в квартиру Остапчука немецкий солдат и винтовкой показал Дмитрию Ильичу на дверь...

Он вел Дмитрия Ильича почти выгоревшим поселком, через длинный строй высоких закопченных труб.

Душный, пропитанный гарью ветер шуршал на пепелище, шевелил черные листья деревьев.

Синие очки долго и пристально рассматривали Дмитрия Ильича. Потом комендант показал машинисту на стул, подал ему сигарету и заговорил о порядке. Он говорил о том, что машинист Остапчук должен был сразу же выполнить приказ, переданный через машиниста Гнатенко, и тотчас явиться в штаб, не ожидая напоминания. Вот приятель его, машинист Гнатенко, поступил, как истинно благородный человек: он пришел сам, когда в штабе только расставляли столы. И командо-

вание, конечно, оценит это. Ему же, Остапчуку, следует знать порядок и не проявлять больше такую недисциплинированность. Завтра же надлежит ему повести к линии фронта военный эшелон...

Возвращаясь домой, Дмитрий Ильич заметил на другой стороне улицы Гнатенко и прошел мимо, не взглянув на него.

Гнатенко, идя позади, поглядывал на морщинистую дряблую шею Дмитрия Ильича, на узкую спину с оттопыривающимися лопатками и не смел его остановить. У ворот он догнал его, нерешительно тронул за локоть.

— Ну, как? Едешь? — спросил Гнатенко, стараясь казаться спокойным.

Дмитрий Ильич посмотрел мимо него.

— Верно, завтра.

— Ну, счастливого! — проговорил Гнатенко, протягивая ему руку.

— Ты тоже собирайся, — сказал Дмитрий Ильич как бы между прочим и, не замечая протянутой руки, открыл калитку.

— Два эшелона, что ли?

— Нет, один всего. За помощника поедешь.

На носу у Гнатенко собрались морщины, словно он хотел чихнуть и не мог.

— Машинисты, говорят, нужны опытные, — продолжал Дмитрий Ильич, глядя все так же мимо Гнатенко. — Он, верно, знает, что у тебя аварии случались. Тоже, вишь, не очень доверяет.

Дмитрий Ильич достал из кармана тонкую сигаретку с золоченым ободком и протянул ее Гнатенко.

— Это тебе, — проговорил он почти ласково. — Ты в них вкус знаешь.

И шагнул во двор.

Вечером Дмитрий Ильич пошел на кладбище, где была могила его жены. Он часто ходил туда раньше. Здесь Дмитрий Ильич точно издали глядел на себя, здесь проверял он свои поступки, намерения, стараясь угадать, как посмотрела бы на них его Ульяна. И часами просиживал у свежезеленой изгороди.

Теперь кладбище было неузнаваемо: железные ограды изуродованы, кресты сброшены, и во многих местах вырыты свежие ямы.

С трудом, по кривой тонкой березке, которая теперь была сломана, Дмитрий Ильич отыскал могилу своей жены. Крест валялся далеко в стороне, ограду он так и не нашел в потемках. На могиле лежала срубленная кем-то сосна, словно обняв ее колючими ветвями.

Дмитрий Ильич хотел приподнять сосну и откатить, но не сумел.

"И кладбище. И мертвых разрыли"... — подумал он и громко плюнул на землю.

— Вы чего плюетесь? — раздался вдруг за спиной негромкий голос.

Дмитрия Ильича так и подкинуло на месте.

— Уже не признаете? — насмешливо сказал человек.

И Дмитрий Ильич узнал, кто перед ним.

— Андрюша, голубок! Андрей Иванович! — прошептал он, протягивая ему руку.

— Верой и правдой, значит, им служите? — все так же насмешливо проговорил начальник, пряча за спину руки.

— Андрей Иванович! Дурень ты.

— Когда-то был дурень, — сказал грустно Андрей Иванович. — Это правда.

Дмитрий Ильич хотел что-то сказать, но глотнул воздух и, словно подавившись, приложил руку к груди.

— А на сердце жаловались понапрасну, — произнес Андрей Иванович, — сердце у вас ничего. Когда же приказано выезжать?

Дмитрий Ильич отвернулся и молчал.

— Выезжать когда?

— А ты сам... — сорвавшимся голосом вдруг воскликнул Дмитрий Ильич.

— Я вас спрашиваю.

— Сам узнавай, сам... — повторил Дмитрий Ильич и, спотыкаясь, пошел с кладбища.

— Все равно далеко не уйдете, — крикнул ему вдогонку Андрей Иванович.

Дмитрий Ильич не помнил, как прошел следующий день. Сумерки напомнили ему о предстоящей дороге.

Оглядев комнату, он взял с комода снимок в разрисованной фанерной рамке. Сын смотрел прямо на него, будто хотел что-то сказать. Глаза у него были глубокие и темные, как у Дмитрия Ильича, только поискристее, помоложе.

С угрюмой гордостью, с неизлечимой печалью смотрел Дмитрий Ильич на сына, погибшего на войне.

Потом спрятал снимок в бумажник и, взяв потертый железный сундучок, вышел.

С машинистом, который пригнал паровоз с ближнего разъезда, Дмитрий Ильич был знаком уже много лет, но едва узнал его.

— Под аварией был, что ли? — участливо спросил он, глядя на обвязанную голову машиниста, на затекший глаз его и грязную изодранную тужурку.

— Под немцами, — оглянувшись, сказал машинист, — вести не хотел, — так они внутренность какую-то отшибли, твари.

Он то и дело кашлял и держался обеими руками за левый бок.

Машинисты уже заканчивали осмотр паровоза, когда по соседнему пути прошел к фронту первый эшелон.

Мелькали длинные цистерны, платформы с тяжелыми орудиями и низкими, будто притаившимися, танками. Из крайних вагонов донеслись обрывки чужих песен.

— Ты второй поведешь, — задумчиво сказал машинист Дмитрию Ильичу. — А страшно. Засада или так подложут чего... Хотя мне все одно край сегодня, — проговорил он и обреченно покачал перевязанной головой. — Прикончут...

Дмитрий Ильич ничего не сказал, заторопился на паровоз. Следом за ним полез солдат. Усевшись на ящике, он снял каску, положил на колени автомат и оглядывал будку, блестя выпуклыми стеклами очков.

На тендере стоял Гнатенко. Кочегара не нашлось, и ему предстояло работать за двоих.

Дмитрий Ильич смотрел в окно, и дорога проносилась мимо, как воспоминание. Кто лучше его знал эти места, каждый подъем и спуск, каждый мостик, и полосатый столб, и гулкий разъезд?

Вот, зашумев, промелькнул тополь. Значит, скоро подъем. Потом снова потечет равнина, и за мостом начнется уклон. Родная, знакомая дорога!

Этот же тополь когда-то кивал верхушкой ему, кочегаришке Митьке, и кивал сейчас лысому машинисту Дмитрию Ильичу. Но когда-то машинисту было все равно, чем набиты глухие красные вагоны, он не думал, куда их ведет, и за спиной у него не торчал, как грозная судьба, часовой. Только уклон, крутой и длинный уклон за мостом всегда тревожил его. Теперь не было этой тревоги, наоборот, Дмитрий Ильич был рад, что впереди есть этот опасный уклон.

Гнатенко подбросил в топку и сел у окна.

Солдат, запрокинув голову, тянул из белой фляги.

Дмитрий Ильич закурил и, жадно затягиваясь, грыз трубку.

Поезд миновал подъем, вырвался на равнину. Ветер усилился. У Дмитрия Ильича слезились глаза, запеклись губы. Колени вздрагивали, стук колес отдавался в висках.

Украдкой он поглядывал на часы и, придерживая картуз, нетерпеливо высовывался в окно.

За поворотом, где всегда темнел мост, металось пламя.

Дмитрий Ильич вскочил с сиденья и оглянулся на Гнатенко. Тот дремал, положив голову на руку, солдат сонно покачивался на ящике.

Крепко сжав ручку регулятора, Дмитрий Ильич решительно потянул ее к себе. И сразу в висках у него застучало чаще, сильнее.

Мост был похож на скелет огненного чудовища. Пламя освещало груду перевернутых, вздыбленных вагонов.

— Андрей, — сразу решил Дмитрий Ильич. Он даже не подумал, что это мог сделать кто-то другой.

— Обскакал меня, — промелькнула досада.

В растревоженной памяти его пронеслись эти дни: синие очки в райсовете, пепел на улицах, кладбище, Андрей...

— "Далеко не уйдете"...

И колеса вдруг четко повторили:

— Не уйдете, не уйдете.

Паровоз дышал часто, легко.

Дмитрий Ильич почувствовал силу в себе. Горячую, неудержимую силу. Регулятор давно уткнулся в стальной упор, но старому машинисту казалось, что ручка еще поддается, и он тянул ее книзу.

Огненное чудовище быстро надвигалось на паровоз.

В последнюю минуту Дмитрий Ильич кинулся к двери. И в тот миг, когда, зажмурившись, выпустил поручни, он вспомнил, что в будке, под сиденьем оставил свой старый железный сундучок.



Виктор Стариков



Виктор Александрович СТАРИКОВ (1910—1982) в годы Великой Отечественной войны был корреспондентом "Известий" на Западном и Северо-Западном фронтах. С 1943 года работал в газете Уральского танкового добровольческого корпуса. За участие в боях был награжден орденом Отечественной войны I степени и семью боевыми медалями.

Первая книга В.А.Старикова "На партизанской земле" вышла в 1942 году. Военная тема становится основной на многие годы. Сборники "Красный камень", "Прорыв", "Звезда победы" печатались в Москве, Свердловске, Челябинске.

В.А.Стариков был в свое время ответственным секретарем Свердловского отделения Союза писателей, редактором альманаха "Уральский современник".



КРАСНЫЙ КАМЕНЬ

1

В позднюю ночную пору в деревню вошел боец-пехотинец Иван Мохнашин. Он отстал от своих и долго скитался один по глухим псковским лесам. Осторожно постучав в окно крайнего дома, он попросился на ночлег. Его долго расспрашивали: кто, откуда, — наконец открыли дверь.

Мохнашин остановился на пороге избы и, вглядываясь в темноту, спросил:

— Немцев в деревне нет?

— Не бойся, солдат, — сердито отозвался старушечий голос. — Далеко ушли немцы. А ты куда путь держишь?

— До своих, — ответил Иван.

— Быстро же ты идешь! — язвительно сказала старуха. — Сколько ваших через деревню прошло!.. Думали — все, а вот и еще один явился.

— Ты, мамаша, дала бы мне что-нибудь на ноги. Сопрели у меня портянки, месяц сапог не снимал.

Она громыхнула крышкой сундука и бросила солдату что-то под ноги. Нагнувшись, Иван в темноте нашарил рукой шерстяные носки и молча стал переобуваться. Голодный и злой от долгих скитаний, он не собирался уступать старухе. Он не ждал, что его встретят, как родного, желанного человека. Не за что! Но и попреков тоже не хотел слушать.

Он не собирался кончать войну, не думал ни о плене, ни о возвращении в родной дом. Он, верный присяге, нес с собой винтовку, две запасные обоймы еще хранились в подсумке.

— Голодный? — спросила старуха.

— Да уж не сытый!

— Слазь-ка в погребицу, достань солдату молока, — сказала она старику.

И пока тот лазил, старуха молча в темноте собирала на стол, потом повелительно позвала:

— Иди к столу! Только огня не вздувай. В темноте теперь живем, а увидят, не ровен час, кто пришел, — головы нам не сносить.

А когда Мохнашин наелся и в сытой дреме отвалился к стене, она сказала:

— Веди его, Ефим, в баню! Все дальше от чужих глаз.

Захватив во дворе по снопу, старик и Мохнашин прошли тропкой вниз, мимо кустов к бане. Где-то рядом, невидимая, плескалась река.

В маленькой баньке было тепло, обносило мятой и въевшимся в бревна запахом распаренного березового листа.

— Как тебя звать, папаша? — спросил Мохнашин тихого и молчаливого хозяина.

— Ефим Яковлевич, — ответил тот. — А тебя?

— Иван.

— Ты, Иван, не сердись на старуху. Крута Наталья на язык, а в делах мягкая. Не суди ее строго, — ну что баба в войне понимает!

— Хозяйка... — неопределенно сказал Иван, раструшивая по полку солому.

—Табаку у тебя, наверно, нет? — сочувственно спросил Ефим Яковлевич, видимо, не решившийся в избе предложить солдату закурить. — На, у меня и бумага есть. Крепкий.

Они свернули по цигарке, старик высек о кремень искру, и они закурили. Огоньки, разгоравшиеся при затяжках, освещали на миг темное скуластое лицо Ивана и черную бороду старика.

Старику хотелось смягчить неласковый прием, поговорить с солдатом о войне, отвести в беседе душу. Он не судил его так строго, как жена: знал по прошлой войне, что бывают поражения и отступления, на себе испытал. Старуха по-бабьи несет иногда несусветное, а не знает, как тяжело бывает на душе у солдата, отбившегося от части, от товарищей, от командира.

— Ты не горюй, — сказал он. — Доберешься до своих. А мать-Россия велика и сильна, не одолеть ее фашисту. Пришел он сюда, тут его в могиле и закопаем.

— Я не горюю, — сонно ответил Иван. — Я еще фашистов бить буду.

— Вот, вот... Ну, спи, — с сожалением, что не удался душевный разговор, сказал старик, затаптывая ногой цигарку, — завтра я тебя лесочком мимо немцев проведу, а там — свободная дорога, только шагай...

— Как ваша деревня называется?

— Красный Камень.

— Красный Камень? — удивился Мохнашин. — Так и мою деревню зовут.

— Сам дальний?

— Дальний. С Урала.

Старик ушел. Мохнашин, задвинув палку в скобу двери вместо запора, загнал патрон в ствол винтовки, улегся на соломе, накрылся шинелью, закрыл глаза, но уснуть не мог.

Воспоминания не давали ему спать. От таинственной сени опочецких лесов, от болот с одуряющим запахом гонобобели, от озер, затерявшихся в камышах, — пристанищ диких уток — цепочка воспоминаний тянулась к последнему бою на реке, когда они потеряли веселого молодого командира капитана Мартынова, убитого осколком мины, к тихой смерти друга Васи Кунщика, простреленного автоматной очередью в живот.

Сон внезапно навалился на него душной тяжестью.

Вдруг кто-то прошел мимо Ивана, — он услышал скрип половиц, вскочил и схватился за винтовку. Старуха стояла возле его. "Вот, ведьма, как она вошла?" — подумал он, вспоминая, что, заложив палку, он еще попробовал: туго ли держится дверь.

— Крепко спишь, солдат, — сказала старуха.

Скупой свет хмурого дня едва проникал сквозь маленькое мутное оконце. Но можно было разглядеть, что старухе лет под семьдесят, все лицо ее изрезано глубокими морщинами. В руке она держала узелок.

Иван молча смотрел на нее. "Ох, злая", — подумал он, заметив темные и недобрые глаза.

— Исхудал же ты, — сказала она. — Щетиной, как еж, зарос.

Мохнашин невольно провел ладонью по запавшим колючим щекам.

Старуха, развязав узелок, выложила на лавку мясо, хлеб, яйца и поставила кринку молока.

— Поешь тут, из бани не выходи. Как затемнеет, старик придет и проводит тебя.

Она еще повозилась в бане, переставила деревянные шайки, поправила кирпич в каменке и ушла. Мохнашин подошел к двери. "Как старуха вошла сюда?" Секрет был прост: оконце открывалось, если повернуть в сторону гвоздь; рука легко дотягивалась до скобы в двери... На таком запоре, видно, всегда и держали баню.

В оконце виднелась река с крутыми обвалившимися берегами, а на той стороне, по горе, поднимался березовый понурый лесок, иссеченный дождями. Темная, вянущая трава блестела. Скучный, хмурый осенний день...

Иван сел на лавку и, хоть горек хлеб, поданный неласковой рукой, все же поел и стал ждать вечера.

Пошел дождь. Иван сидел у окна, по которому сбегали водяные струйки, чистил винтовку и ждал, не идет ли кто.

Стемнело, когда он услышал шаги.

— Пойдем, — сказал Ефим Яковлевич и сунул в руки Мохнашина мешок. — Наталья на дорогу припас собрала.

Затянув поверх шинели ремень, взяв в левую руку винтовку, Иван поправил за плечами мешок и вышел вслед за стариком на улицу. Скользкой тропкой они прошли по берегу реки, по шатким мосткам перебрались на другую сторону и скоро свернули в лес. Темень была такая, что Иван задевал плечами деревья, оступался в ямины с водой и понять не мог, как его проводник находит дорогу.

Часа три шли лесом.

— Теперь недалеко, — сказал старик. — Тут, за леском, плотина будет, а за ней лежит твоя дорога. Сведу я тебя к леснику, а он уже дальше путь укажет. Деньков через пять будешь у своих.

— Спасибо тебе, отец, — растроганно сказал Иван. — Такое большое спасибо... Обидно было бы пропасть в этих лесах. До армии доберусь!.. Одна у меня теперь мысль: бить фашистов, пощады им не давать.

— Возьми табачку на дорогу! — старик сунул ему в руки кисет с табаком. — Бейте его да скорее к нам возвращайтесь. Тяжело в неволе жить. Старосту у нас в деревне немцы поставили. Был у нас тут до колхозов мельник Ивакин. Самого-то услали на север, а немцы где-то его сына откопали. Ходит он теперь по деревне, над народом издевается, новыми порядками грозится. Девок в Германию увозят на фабрики работать. Ивакин девок переписывает, говорит, что всех до последней мы должны гитлеровцам отдать!..

— Придем, отец, тогда уж несдобровать Ивакину, — пообещал Мохнашин.

Лес кончился, и они вышли на дорогу. Потянуло речной сыростью. Грязь чавкала под ногами, дождь струился по лицу.

Старик вдруг потянул Ивана за руку и опустился на землю.

— Никак кто-то на плотине стоит, — испуганно шепнул он. — Неужто немцы?

Он долго лежал, всматриваясь и вслушиваясь.

— Немец ходит, в каске. Не выйдет, парень, надо назад подаваться.

— Один? — шепотом спросил Иван.

— Не поймешь. Кажись, один.

— Держи! — решившись на что-то, произнес Иван и сунул в руки старика винтовку. — Жди меня тут, — и он пополз по дороге.

Руки его окунались в жидкую грязь, волочились тяжелые полы набухшей шинели, промокли шаровары. Но Мохнашин полз и полз, иногда останавливаясь и вглядываясь в темноту. Зорки стариковские глаза, если так далеко заметили гитлеровского часового.

Возле плотины, справа, темнела будочка, но немцу что-то не сиделось в ней, и он похаживал взад и вперед по дороге, напевая.

Мохнашин лежал в канаве, наполненной водой, и выжидал. Финский нож он переложил в карман шинели и старательно вытер правую руку, чтобы рукоять не скользнула в ладони. Он бесшумно приподнялся, сделал несколько шагов и присел. Когда часовой дошел до него и повернулся, Мохнашин вскочил и схватил его за шею, но не удержался на ногах и вместе с ним повалился в грязь, не разжимая рук. Немец хрипел и дергался, автомат, висевший на шее, мешал ему. Мохнашин и сам задыхался, словно его кто-то держал за горло...

В этот короткий миг немец успел крикнуть.

Его услышали. Где-то близко хлопнула дверь, мелькнула узкая полоска света. Мохнашин сорвал с часового автомат и помчался по дороге. Сзади уже раздавался топот ног, и начиналась беспорядочная стрельба.

— Сюда! Сюда! — приглушенно крикнул старик.

Мохнашин свернул с дороги на голос Ефима Яковлевича и, спотыкаясь о кочки, побежал по полю.

Сзади гремели выстрелы. Оглянувшись, Мохнашин увидел мелькающие огоньки на плотине и возле дома. Это гитлеровцы светили карманными фонариками.

Старик с Иваном достигли леса, когда над плотиной взвилась в небо осветительная ракета, залив зеленым светом пустое поле с редкими кустами, плотину и мельницу. Ракета погасла, и беглецы ходко пошли лесом, продираясь сквозь мокрые кусты, прислушиваясь к выстрелам.

— Убил фашиста, отец, и автомат унес, — восторженно сказал Иван. Он и сам не верил, что все кончилось так быстро и счастливо.

— Как бы нам, парень, до света домой успеть, — тревожно сказал Ефим Яковлевич.

Он казался испуганным и все оглядывался и прислушивался, нет ли погони. Но выстрелы смолкли, ничего не было слышно, только дождь шумел и шумел над лесом, да деревья сонно поскрипывали...

Рассвет застал их возле деревни. Только вошли они в баню, как появилась старуха. Видимо, она не спала всю ночь, дожидаясь Ефима Яковлевича.

— Немцы пост на плотине поставили, — виновато сообщил Ефим Яковлевич.

— Ой, Ефим, наделает он нам беды!..

— Сегодня другой дорогой поведу, — вздохнув, сказал старик.

Они ушли. Мохнашин вытащил из-под лавки тяжелый вороненый автомат, ласково похлопал его по прикладу, пересчитал патроны в обойме. Тридцать два патрона! С этим оружием он чувствовал себя сильнее. Достав из мешка припасы старухи, закусил и опять взял в руки автомат.

"А ловко все это вышло", — подумал он и засмеялся.

Надо было что-то сделать с дверью. Мохнашин осмотрелся, нашел палку, приставил ее к окну, а шайку привалил к ней боком. Теперь если кто вздумает открыть оконце, отодвинет палку, она повалит шайку со скамьи. Сонным его не возьмешь!

Разбудили Мохнашина женские крики. Он вскочил с полки и подбежал к оконцу, но отсюда видны были только река и раскачиваемый ветром лесок. А вопли и плач над деревней не стихали. И звуки эти, словно ножом, резали солдатское сердце. Скинув палку и открыв дверь, Мохнашин прошел в дощатые сени и припал лицом к широкой щели. На улице женские голоса были еще слышнее, да и ветер дул со стороны деревни. А сквозь щель он видел лишь соломенные крыши изб, перекопанные огороды, где, как мотки спутанных веревок, валялись картофельные плети. Потом раздался сухой длинный треск автомата, и сразу наступила тишина.

Когда Ефим Яковлевич пришел в баньку, он застал Мохнашина в сенцах.

— Что у вас там было? — спросил Мохнашин.

— Беда приходила, — тихо произнес старик. — Говорил я тебе, что наших девок забирают. Вот и увезли их.

Ему трудно было говорить, голос прерывался.

— Зачем же дали? Отбить не могли?

— Эх, парень, против винтовок и автоматов что сделаешь? Собирайся-ка! Дальняя у нас дорога будет!

— Надо бы с хозяйкой проститься.

— Покойницу обмывает. Убили они Дарьку, за дочь вступилась. Мужика дома нет, придет с войны, а у него ни жены, ни дочери. Трое малолеток осталось. Как вырастут?

Опять они двинулись в путь, обогнули деревню и долго шли мягкой полевой дорогой. Небо вызвездило, коромысло Большой Медведицы над головой указывало путь на восток, туда, где сейчас гремели бои с врагом. Что-то вдруг зашумело, и они свернули, притаились в кустах.

Шум быстро нарастал. Невидимые самолеты гудели в вышине. Рев их был ровный, грозный.

— Свои, свои летят! — взволнованно шепнул Мохнашину старик.

Они смотрели в звездное небо, стараясь увидеть хоть тень самолетов, жадно вслушиваясь в удаляющийся рокот моторов. Затем они услышали отдаленный грохот разрывов, увидели всполохи огня и бледное, вполнеба, зарево.

— Это они по станции Чихачево бьют, — произнес старик. — По немецким поездам метят, сказывают, уж много вагонов разбили. И как это они дорогу находят,по звездам, что ли?

— У них, папаша, приборы такие, что и до фашистской столицы доведут. Эх, отец, повоюем мы, еще поплачут фашисты от войны, которую сами затеяли!..

— Ну-ка помолчи... Немцы едут, — сказал старик.

Теперь и Мохнашин услышал побрякивание железа, скрип колес и чужую речь. Обоз двигался навстречу широкой полевой дорогой. В темноте замелькали огоньки папирос.

И то, что враги так спокойно едут по русской земле, покуривая и болтая, наполнило лютой злобой сердце Мохнашина. Он властно взял за локоть старика и потащил его в сторону бугра над дорогой.

— Ложись, — прошептал он.

— Ты что задумал, парень! — прикрикнул было старик.

— Молчи, — уже резко приказал Мохнашин. — Стрелять будем. Вот тебе винтовка. Стреляй по моей команде.

— Оставь, парень!

— Один стрелять буду, коли так, а не пропущу врага!

Обоз был совсем близко. Огоньки папирос плыли в темноте прямо на них. Мохнашин лежал рядом со стариком, крепко прижав к плечу автомат. Он не видел, но чувствовал, что и старик держит наизготове винтовку, напряженно следя за огоньками.

— Огонь! — тихо скомандовал Мохнашин и нажал спусковой крючок.

Короткий треск автомата на миг оглушил его. И тут же ударил винтовочный выстрел. Мохнашин опять пустил короткую очередь, и опять ударил выстрел. Он видел, как огонек папиросы описал крутую дугу, слышал перепуганные крики солдат, ругань, команду и бил по этим голосам, и казалось ему, что вся широкая равнина наполнилась грохотом выстрелов.

Фашисты еще не сделали ни одного выстрела, когда автомат сухо щелкнул: кончились в обойме патроны. Старик и Мохнашин отбежали к кустам, и тут только первые пули просвистели у них над головами. Пригнувшись, они побежали быстрее. Позади них трещало дерево, храпели лошади. Немцы палили длинными очередями, рассыпая веером трассирующие пули, но старик и Мохнашин благополучно уходили все дальше.

— Ну, парень, рисковый ты, — одобрил Ефим Яковлевич.

— Стукнули ладно! Спасибо, Ефим Яковлевич, за поддержку! В другой раз так не поедут!

— И опять ты у нас остался...

— Съест нас с тобой хозяйка.

2

Ефим Яковлевич сидел на лавке, щурил глаза, посмеивался важно в черную бороду и рассказывал:

— Вот, парень, дело какое ночью было. Едет, сказывают, фашистский обоз, везет шнапс — водку свою, муку, крупу. Едут они этак спокойно, сказки рассказывают, здешние места хвалят — хороший, дескать, мирный народ здесь живет. А тут и начали в них стрелять, по людям, по лошадям. Били их, били... А когда засветало, увидали немцы, что из тех людей никого уже нет, а у них лошади разбежались, телеги поломаны, водка растеклась, мука с солью смешалась. Хоть и неизвестно, сколько убитых и раненых, а только на трех телегах их повезли.

— Кто же это их так? — усмехаясь, спросил Иван.

— Народ и спрашивает: кто? Видать, говорят, немалый отряд приходил, что так храбро на большой обоз напали. На деревне сегодня праздник. Уже партизан в гости ждут.

Третий день жил Мохнашин в бане и первый раз на свету близко видел своего хозяина.

Невысокого роста, худощавый, черная борода без седины. Темное строгое лицо с раскосым разрезом глаз напоминало иконы древнего русского письма. Странно было, что он позволяет хозяйке верховодить домом и даже как будто побаивается ее.

— Теперь фашистам не страшно, — вздохнув, сказал Иван. — Нет больше у нас патронов.

Почесав бороду, Ефим Яковлевич посмотрел в окно и нерешительно сказал:

— Немножко, может, и найдется...

— Ефим Яковлевич! — взмолился Мохнашин. — Достань сколько-нибудь. Ну, куда я безоружный пойду?

— Не знаю, может, их уж и нет. Ведь много вашего брата через деревню прошло. Давали им патроны, пока были, безотказно.

— Найдутся, — ты попроси, походи!

— А и бедовый ты парень! Встретишь чужаков — опять бить будешь?

— Буду, отец, буду! Ни одного мимо не пропущу, — сказал Иван со злостью, сверкнув глазами. — У меня с ними счет большой. Мы их сюда не звали и не просили. Да я...

— Вот он! — сказала, войдя, Наталья. — Дружка себе нашел для беседы! — Поджав тонкие губы, она недобро смотрела на старика черными вороньими глазами. — Ищу,ищу... Что же, тебе и делов других нет? Ночью ходишь, днем спишь. Ему что? — она показала на Ивана. — А тебе надо дом конопатить.

— Отконопачу, — пообещал старик.

Мохнашину вдруг захотелось встать, взять винтовку и уйти, что бы там ни было впереди, какая бы беда не стерегла его. Но он не встал, не взял винтовки,не шевельнулся, только сказал:

— Потерпи еще одну ночь. Уйду я сегодня.

— Это все я виноват, —сказал Ефим Яковлевич.— Уж такой плохой проводник!

Она пошла к дверям, но остановилась и сказала Мохнашину:

— Несет от тебя! Вся баня пропахла. Сними-ка белье, постираю... К ночи высохнет. А вечером баню истопим, суббота сегодня...

Старуха вышла. Мохнашин встал, потянулся, с хрустом расправляя плечи.

— Уходить надо, — задумчиво сказал он. — Загостился...

Ефим Яковлевич принес свои брюки, синюю рубашку, поясок с кистями. Мохнашин переоделся в чистое и стал ждать вечера.

За два дня он немного отдохнул, и злое чувство одиночества стало не таким острым. Ему захотелось поскорее покинуть эту баньку,чтобы не видеть старуху, которая так откровенно тяготилась его присутствием.

Она опять появилась в бане и молча, не глядя на Мохнашина, наносила дров, затопила печь и натаскала в большой котел воды. Она мылась первая, а Мохнашин просидел это время в сенцах. В других дворах, наверно, тоже топили бани, и людские голоса слышались совсем рядом. Иван держался настороже: а вдруг кто-нибудь заглянет сюда по-соседски? Потом пришел Ефим Яковлевич, и вдвоем они парились до изнеможения, выбегая несколько раз в сенцы, чтобы окатиться холодной водой. Никогда не мылся с таким наслаждением Мохнашин, как в этот день.

— Наталья тебя в избу зовет, — сказал Ефим Яковлевич, когда они уже одевались. — Что глядишь? Идем?

Было уже темно, поздно в дорогу, да и отдохнуть после бани очень хотелось.

Окна в избе прикрыли овчинами и дерюжками. На столе стояла маленькая коптилка. У старухи было странно помолодевшее лицо.

— Куда теперь идти, — милостиво сказала она. — Поужинай с нами, ночуй сегодня в избе.

Эта неожиданная доброта удивила и тронула Мохнашина. "Не такая уж она злая", — думал он ночью, лежа на мягком тюфяке и вслушиваясь в громкое дыхание старика. От этой мирной ночи в чужом доме, где пахло хлебом и сухими травами, трещал сверчок и мышь скреблась под полом, а во дворе громко вздыхала корова, повеяло таким родным, что он чуть не заплакал, вспомнив все мытарства и беды последнего времени, свой родной и далекий дом в уральской стороне.

"Как можно хорошо жить, если бы не война", — думал он. Но не было у него и мысли о возвращении домой. О войне, а не о мире думал и в ту ночь Иван Мохнашин.

Днем, когда старуха вышла из избы, Ефим Яковлевич хитро усмехнулся и достал из кармана винтовочные патроны.

— Сгодятся, парень?

А ночью они опять пошли искать лазейку через вражеские патрули и заставы. Ночь была звездная, молчаливая. Мохнашина не покидала уверенность, что и сегодня что-то случится у них и утром, может быть, снова будут в Красном Камне.

Поэтому он даже не удивился, когда сквозь деревья блеснул неподвижный яркий электрический свет. Прокравшись, они залегли в кустах. На дороге стояли две фашистские грузовые машины, радиаторами друг к другу. Остановка, видимо, произошла из-за порчи мотора, свет фар был направлен на раскрытый мотор, и двое солдат возились с ним. Иван чувствовал себя очень спокойно. После тех ночных столкновений предстоящий бой казался нетрудным.

Неподвижный, мертвый луч фар освещал только переднюю часть машины. Все тонуло во мраке. Солдаты двигались не спеша, один из них куда-то ушел, но скоро вернулся. Подошли еще двое. Это уже осложняло дело!

Целясь, Мохнашин ждал, когда все четверо сгрудятся у мотора. В бою почти всегда запоминается только одно мгновение, когда человек еще готовится, а потом уже какая-то иная сила руководит им. Мохнашин видел, как первый солдат повалился на мотор, второй упал на землю, затем попытался встать, ухватившись рукой за крыло. Мохнашин выстрелил по нему еще раз, и он уже не поднялся. Но если бы Мохнашина спросили, сколько раз он стрелял, он не сумел бы ответить.

Перезаряжая на ходу винтовку, Мохнашин перебежал на другую сторону, чтобы определить количество врагов и место, где они сидят. Стреляли двое из-за машин. Он передвинулся, дал несколько выстрелов и опять перебежал. Фашисты отходили, отстреливаясь, двигаясь вдоль дороги, потом побежали. Странным показалось, что вдруг стало тихо. Фашист, уткнувшийся головой в мотор машины, так и застыл, у колеса валялся второй.

В кузове лежали тяжелые ящики. Мохнашин прикладом разбил один, запустил туда руку и нащупал патроны. Он стал набивать ими карманы. Во второй машине лежали такие же ящики.

— Быстро огоньку, Ефим Яковлевич, — приказал Мохнашин.

Он искал баки, нашел их, разбил прикладом, пригоршнями набирал бензин и поливал машину.

— Огня! — нетерпеливо крикнул он.

Ефим Яковлевич высекал из кремня огонь, но руки у него тряслись, трут не загорался. Мохнашин вырвал у него кремень и трут, высек огонь, поднес его к бензину; жаркое пламя пыхнуло ему в лицо, и загорелись руки и шинель. Иван, сбив пламя, побежал от машины.

В лесу, отойдя подальше, они остановились. Машины горели ярко, далеко освещая лес. Светлые языки пламени трепыхались над деревьями. Потом начали рваться патроны, и рой искр поднялся над пожарищем.

— Вот так делают! — озорно сказал Иван. — Домой, что ли?

В бане Иван снял шинель, повесил ее на гвоздик, достал обойму автомата и попробовал патроны: они пришлись впору.

— Вот и с боеприпасами!

Старик изумленно смотрел на него.

— Лихач!

...Так и установилось, что каждую ночь они выходили, молодой и старый, на лесные и полевые дороги, прокрадывались оврагами, пробирались берегами рек к мостам, обстреливали обозы и патрули. Они ни о чем не уславливались и не уговаривались. И старику все казалось, что он и в самом деле старается вывести Мохнашина на дорогу к своим.

Звездные сентябрьские ночи становились все длиннее и темнее, и два человека все дальше и дальше уходили от Красного Камня, все на новых и новых дорогах стерегли фашистов, неожиданно обстреливали их. Густые леса, овраги и кустарники помогали им далеко уходить от огня, от преследователей. Да и трудно ли уйти двоим в глухую полночную пору!

По всей округе говорили о храбрости партизан, которые на всех дорогах бьют наглых оккупантов.

Старуха догадывалась, почему так загостился у них Иван Мохнашин, но виду не подавала. Она, правда, теперь его не осуждала, но и не стала с ним ласковее. Встречаясь, они молчали. "В беду он нас втянет", — думала она, жалея старика, который заметно похудел за это время, — нелегко ему давались ночные походы. Днем Ефим Яковлевич старался пораньше выйти на улицу, чтобы соседи чего-нибудь не заподозрили, и с усердием конопатил избу. Работа, правда, подвигалась медленно, но старуха помалкивала. А Мохнашину эти ночные походы, казалось, пошли на пользу. Щеки его округлились, в голосе появилась звучность, румянец играл на лице.

Однажды Ефим Яковлевич пришел к нему в баню и тревожно сказал:

— Фашисты вон что о нас пишут, — протянул розовую листовку, в которой комендант предупреждал население окрестных деревень, что будет жестоко карать за помощь и укрывательство партизан.

— Солдат везде нагнали, — сообщил старик. — Здорово напуганы! По лесам с облавами ходят, партизанские отряды ищут. — Он засмеялся: то, что двое людей так могли напугать врагов, забавляло его. — А партизан-то всего-навсего... — сказал он.

— Зато какие партизаны! Большого отряда стоят, — ответил с гордостью Мохнашин.

Как-то под вечер старик вошел в баню и сказал:

— Гостя привел к тебе, Иван.

Невысокий, коренастый человек в пиджаке и брюках, заправленных в сбитые сапоги, стоял за спиной старика. Человек выдвинулся, оглядел внимательными быстрыми глазами Мохнашина и, лукаво улыбнувшись, сказал:

— Здравствуйте, товарищ командир партизанского отряда.

Взгляд у него был открытый и располагающий к себе. Но Мохнашин молчал, встревоженный болтливостью старика.

— Племянник мой, — сказал Ефим Яковлевич. — Ты его не бойся.

— Нет уж, не только племянник, — поправил его незнакомец, — председатель здешнего районного Совета Николай Иванович Горюнов. А теперь, Ефим Яковлевич, дай-ка нам вдвоем поговорить.

И когда они остались одни, он, все еще улыбаясь, сказал:

— В жмурки нам играть не стоит. Я командир партизанской группы. Слышал о ваших делах. Вот не ожидал такого геройства от старика.

Они разговорились, и Мохнашин рассказал Горюнову, как отбился от своей части, как шел, питаясь грибами и ягодами, плутал лесами и вот застрял здесь.

— Так вам со стариком долго не продержаться, — строго заметил Горюнов. — Уходится он скоро. Да и зима на носу, надо вам о своей судьбе подумать. Мне кадровые военные нужны — хотите в наш отряд? Мы действуем отсюда в шестидесяти километрах.

Мохнашин подумал.

— Не хочется из этих мест уходить, — задумчиво сказал он. — И такая война помогает врага бить. Но нельзя солдату одному. Ладно, иду в отряд.

Ночью Мохнашин с Горюновым ушли из Красного Камня.

3

Добирались они до партизанского отряда трое суток. Ночевали в деревнях, и Ивана Мохнашина поразило, сколько везде знакомых у председателя Совета. Не таясь, люди приходили в избу, где они останавливались, чтобы узнать о новостях. Горюнов вытаскивал маленькую, в лист ученической тетради, газетку, отпечатанную в лесной типографии, и, гордо усмехаясь, говорил:

— А зачем рассказывать? Вот газетку прочти, в ней обо всех новостях написано. Неважная, правда, на вид, но читать можно. Извини, что другой дать не могу. Последняя осталась...

Кое-кому он говорил что-то по секрету, другим давал всякие хозяйственные поручения и всех просил прятать в ямы побольше зерна на зиму, собирать все оружие, какое попадется.

— Видать, немалая война тут затевается, — сказал ему Мохнашин.

— Давно идет. Народ воюет! А такую силу никакая армия не победит. Видел листовки о партизанах? Беспокоим врага крепко. Они тут против нас дивизию держат. Ты солдат, и сам знаешь, какое это большое дело — дивизия.

— А мы думали, что листовка-то про нас с Ефимом Яковлевичем, — простодушно признался Мохнашин.

Горюнов весело рассмеялся.

— Ну уж это вы со стариком лишку себе приписали. А работа ваша все же заметна была. Только не думали, что вас всего-навсего двое.

— Как же вы про нас узнали?

— Плохим бы я был председателем, если бы не знал, что у меня в районе делается. На след ваш мы давно напали. Видели, что кто-то, кроме нас, тут воюет и все вокруг Красного Камня петляет. Подвернулось у меня дело в этих местах, вот я и расспросил, что о вас известно.

Вечером, когда они шли по лесу, Мохнашин вдруг очень ясно услышал, что где-то недалеко поют. Высокий голос вел знакомую с детства песню, и мужские голоса дружно подхватывали припев. Мохнашин так давно не слышал, чтобы люди пели, что остановился и растерянно посмотрел на Горюнова.

— Что вы?

— Да ведь поют!

— А чего же не петь, коли поется? Вот мы и пришли.

Штаб отряда помещался в низкой и тесной избушке, служившей когда-то пристанищем для охотников. В комнате было двое — пожилой чернобородый человек писал за маленьким столом, худощавый подросток растапливал железную печурку.

— Привел героя, комиссар, — сказал Горюнов, здороваясь с чернобородым. — Думал, там десяток разыскать, а их всего двое оказалось. Ну, а как у нас?

Пока командир и комиссар делились новостями, Мохнашин сидел на лавке у стены. Подросток одним ухом прислушивался к разговору и время от времени кидал на Мохнашина любопытный взгляд. Потом Горюнов поднялся и ушел куда-то по своим делам.

Комиссар встал из-за стола.

— Погуляй малость, Боря, — приказал он подростку.

Тот вышел. Комиссар подошел к Мохнашину и резко спросил, словно желая смутить его:

— Дезертир?

— Я сюда не каяться пришел, — оскорбленно сказал Мохнашин. — Ответ давать в армии буду.

— Ты не ерепенься, отвечай. Мы тут все — Советская власть и армия. Почему в тылу остался?

— Пройти не смог.

— Не смог или не хотел?

— Как тут уйдешь, фашисты кругом. Какой дорогой ни пойдем, все на них нарываемся. Ну, били их, само собой...

— Кем в армии был?

— Помкомвзвода.

— А в плену сидел?

— Нет.

— Партизанить хочешь?

— За этим и пришел.

— А мы тебе поможем в армию вернуться, — испытующе сказал комиссар.

— Еще лучше! — обрадованно откликнулся Мохнашин.

— Так и сделаем. Сейчас тебя проводят в роту, а утром приходи сюда. — Комиссар открыл дверь и крикнул: — Боря! Проводи его к Приходько! Скажи, чтобы накормили.

На улице Боря остановился и, заглядывая в глаза Мохнашину, с любопытством спросил:

— Это, значит, вы там действовали? А мы гадали, что за новые партизаны появились. Вы теперь совсем у нас останетесь?

— Еще не знаю.

— Оставайтесь. Люди у нас хорошие, смелые, боевые, — рассказывал он увлеченно. — Вот сейчас увидите Приходько. Знаете, какой это человек! Два вражеских состава под откос пустил. Очень хорошо понимает взрывное дело. В Кривом Роге бурщиком работал.

Тропинкой они прошли лес, уже окутанный вечерней темнотой. Кое-где между деревьями светились огни маленьких костров. Кто-то окликнул Борю и спросил, куда он идет.

— Нового товарища к Приходько провожаю, — ответил Боря. — Я сейчас к вам, дядя Степан, приду. Я для вас книжку новую нашел.

Приходько оказался степенным пожилым человеком. Он сидел у костра и, разгребая угли, вытаскивал печеную картошку. Боря присел рядом на корточки и сказал, кого привел. Приходько внимательно посмотрел на Мохнашина.

— Чем же накормить? Плохо у нас сегодня, только картошка и хлеб.

— А мне ничего и не нужно, — сказал Мохнашин. — Теперь всякая пища хороша, только бы жевалась.

Боре не хотелось уходить от них, и он все пытался заговорить с Мохнашиным. Но тот, все еще не успокоившийся от обиды после разговора с комиссаром, неохотно отвечал на вопросы и, съев несколько картошек, притворно зевнул и сказал:

— Так спать хочется... Неделю не спал.

— С дороги, — отозвался Приходько.

Боря поднялся, попрощался и исчез в темноте.

Ночевал Мохнашин в шалашике вдвоем с Приходько. Он не сразу заснул, опять раздумавшись о своей судьбе. Стоило ли ему идти к партизанам, не лучше ли было попытаться самому перейти линию фронта? А то ведь так получается, что его вроде как беглого доставят в какую-нибудь воинскую часть, а там пойдут расспросы и допросы, почему и как остался, где так долго бродил...

Приходько, заметив, что он не спит, спросил:

— Ты не из третьей ли армии?

— Оттуда. А что?

— Выходит, мы с тобой по армии земляки. Ну, не тужи! Быть в партизанах — это все равно, что в армии служить. А ты теперь и не думай, чтобы фронт перейти. Фашисты дальше Старой Руссы продвинуться не могут, и столько у них там теперь войск, что и зайцу проскочить невозможно.

— А кто знает, что я в партизанах? Вот попаду в армию, начнут спрашивать, где был, что делал.

— А тебе что, рассказать нечего? Если ты перед собой честен, то и никакой суд не страшен. Ведь и я вроде тебя, пристал к партизанам и знаю, что клятву свою военную не нарушил. А вот ежели человек перед самим собой сподличает, то тут никакой суд ему оправдания не найдет.

— Неизвестно, надолго ли она, эта война, — вздыхая, произнес Мохнашин.

— Ох, кажется, надолго. Много у гитлеровцев силы. Долго нам Гитлеру хребет ломать придется. Долго, земляк!..

— Не нравится мне здесь, — сказал Мохнашин. — Комиссар вот меня остерегается. Не верит.

— А это ты напрасно. Он человек хороший. А остерегаться приходится. Вот пришел ты, человек никому не известный, неведомый. Может, ты от смерти бежишь, а может, смерть к нам за собой ведешь. А он за каждого человека и за все дело в ответе. Ты подумай, что мы тут делаем,какую войну ведем. Дивизия против нас стоит и ничего поделать не может. На железной дороге каждую ночь поезда под откос валятся. А ты обижаешься! Понимать надо...

Рано утром Мохнашин пошел в штаб. Часовой сказал, что комиссар велел ему обождать. Мохнашин присел на ступеньку. Мимо него то и дело проходили люди. Подъехал молодой парень, высокий, с лихим чубом из-под кубанки, с маузером на поясе, лихо осадил жеребца у избы и, проходя мимо часового, бросил:

— Здорово!

— Здравствуй, Саша! — ответил часовой.

Из избы вышел Боря. Увидев Мохнашина, улыбнулся ему как старому знакомому и гордо сказал:

— В разведку ухожу.

Из избы крикнули:

— Мохнашин!

Он вошел в избу. Комиссар и командир отряда сидели за столом перед развернутой картой. Саша, стоя возле стола, отставив ногу, говорил:

— Все можно сделать в самом лучшем виде. Гарнизон небольшой, обложим — никто не проскочит, врасплох возьмем.

Он замолчал, оглядывая всех веселыми глазами.

— Ну, солдат, — сказал Мохнашину комиссар, — отложим временно твое возвращение в армию. Будешь у нас служить. Сегодня вот с ним в дело пойдешь.

Так продолжилась партизанская жизнь Ивана Мохнашина.

4

Налет на вражеский гарнизон был намечен на час ночи.

Командир партизанского отряда Горюнов и комиссар сидели в том самом лесочке, который виднелся из окна бани Ефима Яковлевича, и ждали начала атаки. Ночь выдалась черная, тихая, холодная. Комиссар осторожно посветил фонариком на часы — они показывали десять минут второго.

— Почему не начинают? — сказал он.

— Может, ушли фашисты из деревни, — ответил Горюнов.

Всякий раз, когда начало боя задерживалось, командирам казалось, что врагов в деревне уже нет. Тишина была глубокой и мирной, не верилось, что через несколько минут может начаться бой и будут убитые и раненые.

— Надо послать связного. Узнать, почему Мохнашин не начинает, — предложил комиссар.

— Подождем...

Было уже четверть второго. Просроченные пятнадцать минут казались вечностью.

— Придется, видимо, послать связного, — решил Горюнов и поднялся. Но как раз в эту минуту за рекой, в центре деревни, раздался сильный взрыв.

— Начали! — вскрикнул комиссар.

Тотчас и на других концах деревни загремели гранаты, донеслись первые пулеметные очереди. Ночной налет начался дружно, хорошо.

В проулке, где залег с бойцами Мохнашин, бил вражеский пулемет. Гитлеровцы ничего не видели в темноте и вели обстрел по площади. Трассирующие пули стелились над огородами.

За соседней избой послышались крики, стрельба. Там завязалась рукопашная. На минуту пулемет умолк. Когда он заговорил снова, то Мохнашин уже был у стенки сарая, кинул в сторону пулеметчиков вторую гранату и упал на землю. Осколки просвистели над ним, а Мохнашина словно что-то кольнуло в ногу.

Все село наполнилось выстрелами, частыми разрывами гранат. Вспыхнул пожар. Стали видны перебегающие от дома к дому фашисты. Загорелся еще один дом, на ули-

це стало светло. На правом краю деревни все настойчивее и настойчивее били пулеметы. "Неужели наши не ворвались", — со страхом подумал Мохнашин.

— За мной! — крикнул он, вставая во весь рост. И тотчас по ним открыли стрельбу из пулемета, установленного в чердачном окне. Но в эту минуту на крыше разорвалась граната, и юркие языки пламени побежали по соломе.

На краю деревни в небо взвились красная и зеленая ракеты. Большая группа фашистов пересекала дорогу. Мохнашин опять побежал, прихрамывая, стреляя, и увидел, как трое гитлеровцев один за другим упали, остальные подняли руки. В деревне уже появились партизаны, слышался треск горящего дерева.

Партизаны захватили Красный Камень.

Все было кончено. Громко причитали женщины, плакали перепуганные дети. У горящих домов появились люди с ведрами.

Мохнашин шел по деревне, отбитой у врага, направляясь к дому Ефима Яковлевича.

Он столкнулся с Горюновым.

— Что хромаешь, командир? — весело спросил тот.

И тут только Мохнашин почувствовал боль в ноге.

— Осколком задело, — ответил он.

— Сильно?

— Чепуха, — и торопливо пошел дальше. Ему не терпелось встретиться со стариками.

У памятного колодца он в недоумении огляделся. Здесь же стоял дом Ефима Яковлевича! Вдруг Мохнашин все понял. Отсвет пламени освещал кучу обгорелых бревен и печную высокую трубу. Это было все, что осталось от дома Ефима Яковлевича.

Стало так больно ноге, что Мохнашин с трудом дошел до крыльца ближайшего дома и снял сапог, полный крови.

К Мохнашину подошла женщина.

— Зайди в избу, сынок, — пригласила она. — Избавили вы нас, слава Богу!

— Дай-ка чем-нибудь ногу перевязать. Видишь, ранило меня.

Она побежала в избу и вернулась с полотенцем. Перетягивая ногу и слушая, как женщина благодарит его, он сказал:

— Тут дом Ефима Яковлевича стоял?

— Тут, сынок, тут. Сожгли его, окаянные. Хороший был человек, царство ему небесное. Расстреляли старика фашисты!

— А жена его?

— Наталья?

И вдруг он услышал, как сзади назвали его имя. Мохнашин обернулся и увидел старуху. Она стояла на крыльце, опираясь на перила, и слезы текли по запавшим морщинистым щекам.

— Иван! Иван пришел! Говорила я — придет он...

Старуха припала к нему на грудь, доверчиво обвив его шею тонкими руками, и он почувствовал ее горячие слезы на своем лице.

СЕРКО И ПОВОЗОЧНЫЙ АНИСИМ

Всю осень и зиму Серко, прозванный так за свою серую масть без единой отметины, возил людей в районный город возле крупной узловой станции. Обычно из деревни выезжали рано утром и до места добирались только к вечеру. Женщины провожали мужчин, плача и причитая, держась за телеги, они долго шли по дороге и отставали только за поскотиной. Мужчины, некоторые держали на коленях детишек, сидели угрюмые, молчаливые. Когда деревня скрывалась за лесом, между ними поднимались тихие разговоры.

Серко не был молодым и резвым конем. Некрасивость его бросалась в глаза: костлявая вытянутая морда, выпирающие ребра, раздутый живот, желтые полустесанные зубы, а на боках словно черная замша потертости. Но это был отличный рабочий конь, терпеливый к привычной крестьянской работе. Он не мог пробежать хорошей рысью и километра — уже не было в ногах прежней резвости, сердце давало перебои. Однако спокойно отшагивал за день семьдесят- восемьдесят километров с тяжелым возом по самой трудной дороге и в любую погоду.

Корней, рыжеватый, веселый человек, голос которого Серко узнавал еще издали, когда тот только появлялся в дальних дверях конюшни и громко здоровался с дедом Пантелеем, приставленным к лошадям, хорошо понимал эту наступающую рабочую старость. Зря не обругает, лишний раз не хлестнет.

Однажды, войдя на конюшню утром, Корней о чем-то дольше обычного поговорил с дедом Пантелеем, потом подошел к Серко и, потрепав как-то по-особенному сильно и ласково по холке, грустно сказал:

— Шабаш, Серко! Отъездились мы с тобой. И мне на войну... Запрягу тебя в последний раз — для себя, и все. Понимаешь?

Серко не понял того, что сказал Корней, но было что-то в голосе конюха такое, что заставило его настороженно поднять уши и потянуться к нему, ткнуться в плечо. Серко обнюхал руки Корнея, ничего не нашел, дотянулся до кармана пиджака и, учуяв в нем запах хлеба, вытащил его, но уронил и заржал виновато и печально.

Корней потрепал его еще, вывел во двор, запряг, а править сел уже другой — неизвестный парнишка, который до этого ни разу не был на конюшне. А Корней вместе с другими сидел в телеге, и жена его — ее Серко тоже хорошо знал — шла до самого выгона и плакала, вытирая слезы кончиком головного платка.

В городе у вокзала Корней опять подошел к Серко.

— Вот так-то... — сказал он. — Ну, робь теперь с другими, — сунул ему в зубы ломоть хлеба, взвалил на себя тяжелый заплечный мешок и пошел к часто хлопающим дверям вокзала не оглядываясь, и пропал за ними.

Так конюх Корней навсегда ушел из жизни Серко.

Теперь к Серко по утрам приходил тот самый парнишка Миша, с которым он отвозил на вокзал Корнея, и не очень-то умело запрягал его. С ним Серко ездил всюду — в поле, в лес, в город, на фермы, в соседние деревни. В новом конюхе не

было уважения к годам Серко. Перед крутыми подъемами он и не догадывался дать ему постоять немножко, как было при Корнее. Задыхаясь, обливаясь потом, Серко с большим трудом, подгоняемый криками и кнутом, одолевал крутизну, вытягивал воз. Потом, шагая, долго еще пошатывался, устало раздувал бока. Очень часто Миша забывал вовремя напоить его, а после тяжелой дороги оставлял Серко, разгоряченного, на холодном ветру, не бросив ему на спину дерюжки.

За это время в конюшне заметно попросторнело, многих лошадей куда-то увели. Теперь Серко очень мало отдыхал. Возили в город зерно и картошку в самую осеннюю распутицу. Потом работали в лесу, таскали бревна. Серко, и без того худой, заметно спал с тела, шерсть его залохматилась.

Ранней весной его вдруг отстранили от всяких работ и поставили на конюшню. В кормушке вдоволь появилось сена, засыпали даже и овес. В две недели отощавший трудяга оправился, даже начал жиреть от безделья. Потом его, с тремя другими лошадьми, обрядили в новую упряжь и налегке повели в город. Там, в центре большого поля с круговой беговой дорожкой, застроенного со всех четырех сторон скамейками, за столом сидели и стояли люди в белых халатах. К ним подводили лошадей, они долго осматривали и ощупывали каждую, потом командовали:

— В пробежку!

Подвели и Серко. Люди, окружившие его, стали ощупывать ноги, посмотрели зубы, ударили легонько в пах, заставив Серко выдохнуть воздух и поджать ногу, и в конце осмотра тоже скомандовали:

— В пробежку!

Серко пробежал несколько шагов по плотно укатанной дорожке.

— Годен! — крикнул кто-то издали. — Уводи...

Человек в военной форме взял из рук Миши повод и повел Серко за собой. В загоне на открытом поле уже стояло множество жеребцов и кобыл разных возрастов. Были здесь совсем молодые — четырех- и пятилетки, с гладкой блестящей шерстью, озорные, готовые схватить, играя, белыми зубами за холку, лягнуть, когда Серко проходил мимо, и такие, как и Серко, степенные, немолодые крестьянские трудяги.

Зачем привели его сюда и оставили в этом неуютном загоне, где не было ни деревца, ни травинки под ногами? Серко еще не забыл Корнея. Верно, при нем он так и продолжал бы жить в конюшне, где стояли новенькие ясли, всегда полные хрусткого пахучего сена, где весной под крышей ворковали голуби, а зимой дед Пантелей поил его теплой водой. А здесь вода казалась невкусной, пахла гнилью. В кормушках лежал овес, но Серко, мало видевший его в последнее время, только вяло растер несколько зерен на зубах, а есть не стал. Он тосковал по запахам своей конюшни и все посматривал, не идет ли за ним Корней, чтобы вернуть его в прежний мир, где было так хорошо и знакомо.

В этом открытом всем ветрам, солнцу и дождям скучном и тесном загоне, где молодые жеребцы зло задирали друг друга, норовили вырвать из-под носа корм, укусить при случае за бок, Серко прожил несколько недель. Потом всех лошадей погрузили в вагоны и куда-то повезли.

День и ночь в ушах стоял перестук колес, железное лязганье буферов, пронзительное гудение паровозов. Невозможно было заснуть. В глазах рябило от мелькающих лесов, полей, сел, шумных многолюдных станций и разъездов.

Однажды в середине ночи остановились на большой станции. Серко, только что задремавший, вскочил на ноги, услышав тревожный рев паровозов. Они надрывно кричали высокими и низкими голосами, предупреждая о какой-то близкой и страшной беде. Серко рванулся, ударился грудью о барьер, резко попятился и больно зашиб зад о стенку. Рядом метались другие лошади. Вытянув морду, стиснутый в тесном вагоне сбившимися лошадьми, он, как и другие, заржал. Красноармеец, приставленный для сопровождения, бил лошадей кулаком по мордам, но они, охваченные страхом, продолжали заливисто ржать.

Что-то пронзительно засвистело над головой и где-то совсем рядом ахнуло так, что вагон содрогнулся. Вслед за этим раздался оглушительный взрыв, и опять резко качнулся вагон. Стало вдруг светло, но свет был не такой, как в солнечный день, а странно неприятный: красновато-зеленый, оплывающий. Справа, слева, впереди, сзади что-то рвалось, и вагон ходил ходуном.

Вскоре все затихло, но Серко еще долго не мог успокоиться и унять дрожь, сотрясавшую его тело.

На рассвете их вывели из вагона возле сосновой худенькой рощицы и тотчас загнали в глубь ее. Здесь к Серко подошел пожилой степенный человек в распахнутом ватнике, чем-то удивительно похожий на Корнея, бегло оглядел его и весело крикнул:

— Этот, что ли, мне — серый?

Он потрепал Серко по губам. На жесткой ладони, остро пахнущей махоркой и смолистым дымком, подал большой кусок хлеба, посыпанный солью. Заботливо сказал:

— Отощал ты за дорогу, отощал. Ну, привыкай к службе, — и повел Серко за собой, оглядывая его со всех сторон.

В деревне, где стоял большой обоз, он накормил Серко, сводил к колодцу, окатил несколько раз водой, долго чистил его. Серко покорно подставлял твердой щетке бока, ноги, чувствуя, как отстают прилипшие зудящие куски грязи.

— Ну, как же тебя звать, дуралей? — спросил новый хозяин, покончив с работой. Он сел на колоду и раскурил большую трубку. — Наверно, Серко? Вон ты какой серый, хоть бы где пятнышко было.

Серко шумно вздохнул и доверчиво потянулся к нему.

— Ну-ну, не балуй, дуралей! — притворно-сердито прикрикнул новый хозяин. — Право слово, дуралей, — убежденно добавил он. — Тут тебе не деревня, а воинская служба. У меня чтобы без глупостей.

Нового хозяина звали Анисимом. С того дня началась для Серко новая трудная жизнь. Уже не было конюшни, где он мог бы отдохнуть, всегда над ним было открытое небо. Не бывало знакомых дорог. Редко-редко ему приходилось дважды ездить по одной дороге. Останавливались они всегда в разных местах. Ездили чаще

всего ночью, когда меньше тревожили самолеты. Возы были тяжелые, а корм Серко давали, когда придется и что придется: случалось, неделями приходилось жевать лежалое сено, а то и жесткую колкую осоку.

Там, где Серко жил, земля была сухая, веселая, с березовыми рощами на холмах, с заливными лугами на поймах рек. А здесь тянулось по низинам мелколесье, сменявшееся большими вонючими болотами, где росли только мох, уходивший под ногами, да горбатые маленькие осинки, ольха. И дороги тут были вязкие, тяжелые. Случалось попадать в трясины. Одолевал гнус.

Серко очень скоро привык к новому хозяину. Анисим и Корней слились для Серко в одно лицо. Все Анисим делал неторопливо, но основательно. Уж если отправлялись в путь, даже самый дальний, то не бывало случая, чтобы дорогой у них что-нибудь случилось. Анисим сам чинил всю упряжь, поправлял повозку. Груз он увязывал так ладно и крепко, что ящики никогда не падали с повозки.

Ездили много. Порой дороги выпадали очень дальние. Анисим никогда не забывал накормить и напоить Серко, вовремя его перековать. Повозочный был суров к нему, но справедлив. Только однажды, когда Серко, зазевавшись, свернул с дороги и завалил тяжелый воз, повозочный пребольно ударил его несколько раз. Зато перед подъемами он обязательно давал отдохнуть, да и сам упирался плечом в повозку, подбадривая криками: Серко, чувствуя эту помощь, особенно нажимал, старался.

Оба они тосковали по дому. Порой, стоя в лесу, где осенью пахло гниющими мертвыми травами, а с деревьев падали большие капли, закрыв глаза, Серко вспоминал новенькие ясли с пахучим клеверным сеном, молодые годы, когда жеребенком носился по мягкому скошенному лугу. Он шумно вздыхал, открывал на миг глаза, видел тусклый день и опять впадал в полудремотное состояние. Но если Серко ничего не мог рассказать из того, что ему грезилось, то Анисим иногда много и грустно говорил ему о деревне. От повозочного попахивало водкой, он становился особенно добрым. В такие минуты Серко получал не только хлеб, но, случалось, и кусок сахару.

— Тяжело, Серко, — вздыхал Анисим. — Вот теперь и сын — только подрос, на войну поехал. Зятя убили. Старуха моя одна с дочерью осталась. Поди, как плохо в хате...

Серко, словно понимая, встряхивал головой, а Анисим продолжал:

— Да и у нас с тобой жизнь несладкая. Но воевать-то надо. Кто же немцу шею свернет? Терпи, служака...

К вою снарядов, к пепелищам деревень с горькими запахами и трупам людей Серко скоро привык.

Очень часто, когда повозку разгружали от ящиков и мешков и в обратный путь везли раненых, Серко ощущал ставший привычным запах крови, слышал стоны людей. Он знал, что в этих случаях надо ступать ровнее, чтобы не получить от шагавшего рядом повозочного обжигающего удара кнутом.

Тянулась осень, дождливая и холодная, с темными и длинными ночами. Две недели они возили тяжелые ящики, которые оставляли в лесу, а обратно возвраща-

лись налегке. Отдыхать почти не приходилось. Горы ящиков в лесу росли и росли. Ездили только по ночам, когда по дорогам двигалось множество машин, орудий, танков, по обочинам шагали колонны людей.

Ночью это и случилось.

Обоз только втянулся в частый ельник, где в темноте слышались голоса людей, пахло железом, свежевзрытой землей. Кто-то сердито кричал, чтобы быстрее разгружались и уезжали.

Вдруг рядом выстрелило орудие и с такой силой осветило лес, суетящихся у пушек людей, длинный обоз и так грохнуло, что Серко, забыв обо всем, взвился на дыбы, рванулся в затрещавшие под ним низкие кусты. Но кто-то повис на нем. От удара кулаком по лбу в глазах Серко замелькали искры, и он, присев на задние ноги, испуганно заржал. А кругом стреляли и стреляли, и лес ежесекундно озарялся резким светом.

Когда наконец ящики сняли и Анисим сел в повозку, Серко налегке побежал от этого сверкавшего и гремевшего места. Плохо слушаясь повозочного, он все торопился и торопился и успокоился лишь, когда страшный шум остался далеко позади.

В этот день они еще раз побывали в том же лесу. Тут стало тихо. Сладковатый запах пороха прочно держался между деревьями, но пушек уже не было. Выстрелы доносились откуда-то из-за холмов.

В сумерки они с Анисимом потянулись на дальние звуки артиллерийской стрельбы. В ту же сторону двигались автомашины, пушки, люди, навстречу везли раненых. Вдоль дорог тоже брели раненые, опираясь на палки, с перевязанными головами, помогая друг другу, без оружия, с усталыми лицами.

Возбуждение весь день не покидало Анисима. Поминутно отбегал он в сторону к тяжело шагавшим людям, протягивал готовно кисет с махоркой, нетерпеливо спрашивал:

— Ну, что там, как?

— Вторую линию обороны сломали. Огрызается, стервец, здорово. Не хочет, да пятится.

Когда на дороге образовался затор и обоз остановился, Анисим сунул Серко чуть ли не полбуханки хлеба.

— На, лопай, дуралей, радуйся,—сказал он весело.

Стоял ясный, с легким морозцем, день осени. Все звуки слышались далеко и отчетливо — орудийная стрельба, резкая трескотня пулеметов, глухие взрывы. Чем дальше подвигался обоз, перевалив гряду холмов, тем дорога становилась хуже. Все больше на ней было воронок от снарядов, в кюветах и на поле валялись разбитые орудия, автомашины. Приходилось двигаться по обочине, далеко объезжать разрушенные мосточки.

Обоз втянулся в полусожженную и разбитую снарядами деревню. Запах гари плотно стоял в воздухе. Безобразно чернели трубы домов. Посреди улицы лежало несколько мертвых лошадей, сваленных одним снарядом. Люди быстро перебегали

через дорогу. Офицер закричал на повозочных, когда обоз занял всю улицу. Анисим схватил за узду Серко и торопливо потянул его с дороги к каменному амбару, где стояли пустые повозки. Выстрелы раздавались почти рядом, но не пугали, как ночью. Серко пытался добраться до соломы, разбросанной под ногами, помешал хомут. Расставив ноги, Серко отдыхал, чутко пошевеливая ушами.

На носилках приносили раненых, перекладывали на пустые повозки и увозили. Серко опять потянулся к соломе и, не дотянувшись, от мучительных голодных спазм в желудке несколько раз переступил с ноги на ногу и потряс шумно головой.

— Не балуй! — прикрикнул на него Анисим.

Вдруг что-то так толкнуло Серко, что он не устоял и повалился. Он с силой задергался, порываясь встать, повозка, лежавшая на боку, тяжестью своей прижимала его к земле, вожжи туго захлестнули шею. Серко бился, хрипя и задыхаясь. Еще и еще раз раздались близкие разрывы, и комья земли несколько раз больно ударили Серко.

Наконец все стихло. Откуда-то появилось множество людей. Они перевернули повозку и помогли Серко встать на ноги. Анисима он возле себя не видел.

— Смотри-ка, как повозочного-то, — произнес незнакомый голос.

Кто-то осмотрел Серко, заставил его переступить с ноги на ногу и сказал:

— Ничего, маленько ногу задело.

Тут Серко увидел, как бойцы подняли Анисима с земли и понесли к повозке. Голова его бессильно свисала, и длинные руки мотались. Люди переговаривались между собой.

— Как ударил...

— Пустое дело, не знает, куда бить: снаряды как попало бросает.

Поднесли еще раненых и уложили в повозку. Один, ковыляя, подошел сам.

— Дорогу знаешь? — спросили его.

— Доберемся.

— Коня-то тоже перевязать надо, — вспомнил тот, что осматривал Серко.

Правил раненый, сам доковылявший до повозки. Он чмокал губами и все приговаривал: "Но, но, резвый!" А то вдруг начинал сердито кричать и так бестолково дергать вожжами, что Серко терялся — то приостанавливался, то прибавлял хода, все сильнее раздражая случайного кучера.

Серко не мог понять, почему Анисим молчит, почему не возьмет в свои руки вожжи. Ведь он лежит в повозке и что-то бормочет.

Ехали километров пять до другой разбитой деревни. Серко видел, как санитары переложили на носилки раненых, среди них и Анисима, и внесли в дом, где окна были забиты досками. Серко отвели к соседнему дому и поставили в пустой сарай. Здесь он простоял всю ночь, забытый всеми, голодный, непоенный. Несколько раз он принимался ржать, вызывая Анисима, но никто не приходил.

Утром в сарае появился знакомый повозочный, который частенько бывал вместе с Анисимом, и увел Серко. Дней десять Серко ездил с разными повозочными, все ожидая, что Анисим придет к нему.

И он дождался: на десятый день пришел Анисим — похудевший, с темным лицом. Повозочные окружили Анисима, расспрашивая, что с ним было.

— К... к... к... контузило, — произнес, заикаясь, Анисим.

С этого времени он, по-прежнему заботливый, стал более молчаливым, словно стыдился, что заикается, и чаще раздражался.

— По... по... по... — начнет бормотать и, рассердившись, с силой молча дернет вожжами.

Похолодало. Тверже стали дороги, и словно полегчали грузы, когда Серко впрягли в сани.

В самом начале зимы с Серко случилось несчастье.

Они переезжали по легкому мосту, только что наведенному понтонерами, когда над рекой появились три немецких бомбардировщика. Зенитки резко и злобно затарахтели, открыв стрельбу. Самолеты, высматривая цель, прошли над переправой и сбросили бомбы. Справа и слева от моста поднялись высокие столбы воды и обрушились на деревянный настил. Впереди идущая лошадь рванулась и, повиснув в оглоблях, билась, захлебывалась в воде. Застрял весь обоз. Бомбардировщики делали новый разворот, намереваясь еще раз бомбить переправу. К застрявшему возу подбежали люди с топорами, начали дружно рубить постромки и оглобли. Но было поздно: быстрое течение подхватило и, крутя, понесло тонущую лошадь.

Анисим стоял возле Серко, положив на его шею жесткую руку. "Спокойно, спокойно, дуралей", — приговаривал он, растягивая слова, и Серко, прижав уши, смирно стоял, не двигаясь.

Груженные мешками сани наконец опрокинулись в воду, и дорога к берегу открылась. Анисим дернул за повод, закричал, Серко потянул воз. Справа снова поднялся голубой фонтан воды, настил моста закачался, и через него перемахнула волна. На миг Серко остановился, потом с новой силой рванулся вперед. Что-то больно ударило его по животу. Охваченный страхом, болью, Серко, под свист бомб и рев над головой самолетов, пролетел мост, выскочил на высокий берег и, не сбавляя тяжелого галопа, помчался вдоль леса.

Анисим еле остановил его. Завел в лес, нагнулся, осмотрел Серко и горестно охнул:

— Ох! Как тебя полоснуло!

В лесу собрался весь обоз. Повозочные возбужденно обсуждали происшедшее. Четыре лошади погибли от бомбежки. Серко хвалили за то, что выскочил и увлек за собой обоз.

Пришел командир роты, тоже посмотрел на Серко и приказал Анисиму:

— Сдавай его, а сам садись на другую.

Анисим стал умоляюще просить оставить ему Серко.

— Выхожу его, товарищ лейтенант. Такой конь!.. Зачем же отдавать? За две недели оправится.

Командир роты, не слушая, пошел дальше в лес. Анисим побежал за ним.

Скоро он вернулся.

— Уговорил, — облегченно сказал он. — Душа человек, покричит, покричит, а потом согласится.

Две недели Серко прожил на покое. Каждое утро Анисим снимал с него бинты, промывал теплой водой раны на животе и чем-то мазал. Всякий раз Серко, испытывая благодарность к этому человеку, тихо и признательно ржал.

— Ишь ты, — добродушно ворчал Анисим. — Поди, что понимает. Дуралей ты!

К концу второй недели опять появился командир роты и спросил:

— Как лошадь?

— Дня через три можно запрягать.

— Однако ты не очень рассиживайся, — сердито заговорил командир. — Тут тебе не дом отдыха. Через три дня в обоз. Да приведи все в порядок — сбрую, сани.

Когда он, пошумев еще для порядка, ушел, Анисим с гордостью сказал:

— Ох, строгий у нас командир! Ох, строгий! Все видит, все заметит.

Через три дня, как и говорил Анисим, Серко опять мог работать.

Как-то на рассвете, когда они стояли в лесу, Серко чутьем почувствовал, что происходит что-то неладное. На сани спешно грузили всякое имущество. Командир роты все подгонял, чтобы быстрее кончали со сборами. Все нервничали, суетились. Мимо беспорядочными группами проходили бойцы. В лесу гулко рвались снаряды. У Анисима, запрягавшего Серко, дрожали руки, и, пожалуй, впервые он с утра не покормил коня, хотя сено лежало рядом. Когда Серко заупрямился и, делая вид, что ему тяжело тащить сани, остановился, повозочный зло закричал на него:

— Ну, ты, шалый, побалуй у меня! — и ударил Серко.

Они выехали из леса. Впереди густо рвались снаряды, поднимая снег и землю. Поле чернело от солдат, шедших без дорог — напрямик. Анисим нес в руках винтовку и поглядывал зорко по сторонам, все подгоняя Серко.

Так, среди шагавших солдат, они проехали равниной, миновали две деревушки и остановились в овраге, заросшем ольхой. Анисим покормил Серко, но не распряг. Всю ночь Серко не спал, слушал давно привычный для него шум недалекого боя, видел огневые зарницы. Волнение Анисима передалось и ему. Анисим тоже не спал, ходил вокруг воза и что-то говорил сам с собой.

Ночью потянуло сырым воздухом, как бывает внезапно перед весной, потеплело. Пошел крупный влажный снег. Он густо облепил ветки, с них закапало.

Орудия стреляли редко, зато автоматная и пулеметная трескотня не смолкала. Звуки эти были так близки, что бой, казалось, идет рядом за оврагом.

Днем неслышно и мягко падал сырой снег, все более плотно оседавший на ветках. Время от времени большие хлопья срывались и беззвучно падали на землю. Один такой пушистый комок упал на нос Серко, и он, подняв голову, жадно втянув влажноватый и приятный воздух, долго смотрел на лес в белом наряде, потом заржал тихонько и радостно, чуя запахи весны.

Анисим с утра был еще в более беспокойном настроении, что-то мучило его, он ходил вокруг Серко, проверял и перевязывал воз.

Появился командир роты, и Анисим заторопился к нему.

— Товарищ лейтенант, — сказал быстро Анисим, — дозвольте в роту пойти. Не могу я так! Ведь мало там людей.

— Пойдешь, — отрывисто бросил лейтенант. — Всех собираем. Прорвались тут немцы. Надо эту щель закрыть. — Он выкрикнул фамилии других повозочных. — Быстро в роту! Оружие у всех исправно? Патроны есть? Возьмите гранаты.

Повозочные, тяжело ступая в валенках по снежной целине, гуськом пошли в ту сторону, откуда продолжала доноситься частая стрельба. Серко видел, что там, где проходили люди, с тонких веток осыпались пушистые хлопья снега. Серко рванулся за своим повозочным, но повод, привязанный к дереву, не пустил его. Серко долго смотрел на свежепромятую тропинку в овраге, по которой ушел Анисим.

Весь этот день никто не подходил к Серко, и он все ждал своего повозочного, вздрагивая, когда над оврагом свистел снаряд или близко рвались мины. Вздрагивали и настораживались его уши, дрожь волной пробегала по коже, он переступал с ноги на ногу и долго смотрел в ту сторону, откуда прилетал пугающий звук.

К вечеру ему захотелось пить. Он дотянулся до низкого куста, осторожно, не сронив и пушинки снега, взял в рот ветку, пожевал ее и отпустил. Разом, словно от испуга, она сбросила снег и стала зеленая, веселая. Серко посмотрел, как она качается, и призывно заржал, вызывая Анисима.

Снег, утром чистый, нетронутый, теперь был весь покрыт тропинками. С той стороны, где слышалась стрельба, подносили наскоро перевязанных раненых. На тропинках краснели пятна крови. Всякий раз, как появлялись люди, с той стороны, куда ушел Анисим, Серко поворачивал голову и шумно втягивал воздух. Но ни один из этих людей не был Анисимом.

Недалеко от Серко, возле двух сосен, солдаты начали копать большую яму. Запахло свежевзрытой теплой, как будто после дождя, землей. К этому месту поднесли нескольких мертвых и положили рядком на снег.

Показались еще два человека. Они несли на носилках вытянутое тело с темно-коричневым восковым лицом. Одного валенка на ноге не было. Серко настороженно, не отрываясь, косил глазом в их сторону, натягивал повод. Один из тех, что нес носилки, сказал:

— Скотина, а чувствует...

Внезапно Серко дернулся с такой силой, что оборвал повод, и, увязая в сугробе, уже был возле Анисима, лежавшего рядом с другими, торопливо и жадно обнюхивал его. Овраг огласился тоскливым ржанием, каким кричат лошади перед смертью.

Серко схватили за повод и опять отвели к дереву, где оставил его в последний раз повозочный.

Наступила ночь. Каким-то неведомым чувством Серко понимал, что больше не придет Анисим, не потреплет его по губам шершавой ладонью, пахнущей махоркой и смолистым дымком, и не скажет ему укоризненно: "Дуралей!.."

Обдав Серко тяжелым и резким дымом, ломая тонкие деревца, в ту сторону, где все еще шла стрельба, проползли танки. Утром Серко увидел, что там, где вчера копали землю, стоит свежий земляной холм, а на нем столбик со звездочкой. И он опять заржал тоскливо и горько.

В это же утро к нему пришел новый повозочный.



Владимир Шустов



7 Зак. 474

Владимир Николаевич ШУСТОВ (1924—1978) в 1942 году со школьной скамьи добровольцем ушел на фронт. Воевал на Центральном и Белорусском фронтах. Самое серьезное боевое крещение принял под Курском. Потом было форсирование Днепра и Припяти. После третьего серьезного ранения попал в госпиталь. Там и встретил День Победы.

В.Н.Шустов закончил факультет журналистики Уральского государственного университета им. А.М.Горького, работал в газетах, писал повести для детей, участвовал в создании журнала "Уральский следопыт". Повесть "Королевский гамбит", написанная в соавторстве с И.Г.Новожиловым, вышла в 1963 году и посвящена работе разведчиков в фашистском тылу. О войне же повесть В.Н.Шустова "Человек не устает жить".

За боевые заслуги В.Н.Шустов был награжден орденом Красной Звезды и двумя медалями "За отвагу".



ЧЕЛОВЕК НЕ УСТАЕТ ЖИТЬ

К ЛИНИИ ФРОНТА

Бездорожье, бездорожье! Вдвое увеличиваешь ты расстояния. Будто испытывая летчиков на выносливость, запропастились куда-то дороги, заботливо помеченные на карте. Подевались куда-то и звериные тропы, словно в этих, по всему видно, богатых зверем лесах вымерли внезапно все обитатели. Трудно идти по снежной целине: ровная на вид, скрыла она под собой выбоины и ямы, пни и стволы поверженных деревьев. Ступишь на рыхлую белую ровень, а под ногой либо препятствие, либо пустота. И окунешься с головой в холодный снег. И барахтаешься в нем, тщетно нащупывая опору. А он течет за голенища унтов, набивается в раструбы перчаток, сыплется за ворот. Тяжело идти по снежной целине: снег текуч и плотен, как вода. И комбинезон, словно водолазный скафандр, сковывает движения. И унты пудовым грузом оттягивают ноги. Трудно, тяжело идти по снежной целине, а вокруг — сказка! Солнце глядится в распахнутые настежь облачные окна. Яркие лучи дробятся в снежных кристаллах на мириады булавочных огней. Ели и сосны нахохлились в неприступной гордыне. И тишина прижилась здесь навечно. Но тишина эта — пуглива. Словно и пробудится она: из неведомых синих глубин леса налетит студеный ветер, игольчатые лапы уронят наземь снежные шапки, распрямятся и зашелестят тревожно...

Нет, пожалуй, в мире человека, который пребывал бы в равнодушии, оставшись наедине с погруженным в зимний сон лесом. Всем видится спящий лес по-разному. Летчиков подавлял он своим безмолвием. Деревья-гиганты, казалось, с высокомерным изумлением взирали на подвижные комочки — комочки, не больше! — что копошились внизу, упорно продвигаясь по снегу.

Аркадий тяжело взламывал снежный покров, оставляя за собой прямую и узкую нить свежей тропы. За Аркадием след в след вышагивал по-журавлиному Николай. Замыкал шествие Михаил. Он устал и двигался как-то по-крабьи — боком, уродуя кромку тропы рваными зигзагами.

Солнце показывало уже полдень, а они и не помышляли об отдыхе: в упрямстве, с которым карабкались через сугробы, в ожесточении, с каким преодолевали хитросплетения частых завалов, в жестах, которыми заменили речь, сказывались и

усталость и твердое намерение уйти за сегодня как можно дальше от вырубки, где покоились останки голубой двадцатки.

А глухомань кичилась перед ними своей многоликостью, преподносила все новые и новые сюрпризы: километры сгнившего на корню жердника, гектары уродливого смольевого корчевника, раскиданного по снегу и труднопроходимого, как противотанковые надолбы, обширные пустоши, вычерненные давними пожарами. Все это чередовалось с какой-то тоже изнуряющей последовательностью. В полдень они вышли к болоту. Среди редкого ольховника, скупо рассеянного по низине, торчали рыжие кочки с жидкими космами жухлой осоки на макушках. Гладкие проплешины между ними были испятнаны по белому черными, синими, бурыми наростами расползшихся наледей. В мелких порах ноздреватого губчатого льда пузырилась зловонная черная няша.

— Вляпались, дьявол подери всю эту музыку, — впервые за долгие часы лесного марша заговорил Аркадий, останавливаясь и оглядывая из-под ладони заболоченное чернолесье.— Неужто крюк придется выписывать нам на этом рельефе? Далековато... Северной кромкой — километров десять, а то и больше. Южной...— он измерил взглядом широкий южный рукав болота и махнул рукой.— Может, прямиком, а? — Михаил с Николаем не отвечали.— Попробуем? До того вон лесинничка всего метров четыреста по прямой. Как?

— Айда по кочкам! Хуже не будет,— согласился Николай, свернул с тропы, разгребая и утаптывая снег, пробился к груде валежника, прикрытого пухлым слоем снега, выдернул из середины сухую длинную сосенку, обломал сучки и копьем метнул ее Аркадию: — Держи подспорье!

Как сплавщики, что, пробираясь к залому по запруженной лесом реке, баграми испытывают надежность каждого бревна, на которое им предстоит ступить, так и они, ощупывая шестами каждую кочку, медленно перебрались через трясину, приманчиво покачивающуюся под ногами. Нелегкими оказались для них эти четыреста метров. Во времени тоже, пожалуй, выигрыша не получилось: оранжевый диск солнца успел пересечь зенит и теперь колол бока о вершины дальнего красного бора. Лиловые тени наводнили лес. Похолодало. Пар от дыхания свивался в замысловатые кольца. Звучно запохрустывал прихваченный вечерним морозцем снег. Тонкая прозрачная пленка наста лопалась под ногами, разлеталась со звоном на множество мелких угловатых осколков.

И по эту сторону болота дорога была не лучше. Высокий сосняк перешел в частый низкорослый ельник. Он резво карабкался на унизанный пнями бугор, скатывался по восточному крутому склону к болотцу, укутанному свалявшимся, как войлок, камышом, обтекал болото и, слившись за ним в широкую полосу, упирался в проселок, выныривавший из узкой и темной, будто щель, просеки в густом зрелом бору.

Параллельные строчки санных полозьев, виляя по снегу, спешили в чистый сквозной березняк и исчезали в нем. Обрамленная следами полозьев дорога зияла оспинами конских копыт.

Они обрадовались: след жизни! А затем призадумались: кто знает — жизнь или смерть обронила здесь в глуши свою визитную карточку в виде этого свежего санного наката?

У бровки остановились, затихли, прислушиваясь к безмолвию. Михаил скоро успокоился. А Николай долго не спускал глаз с подозрительных зарослей: и они не внушали штурману доверия, и санный след, и клочки сена по кустам.

— Гадаешь, Коля? — нарушив тишину, Аркадий устало шагнул к торчавшему неподалеку пню, сбил с него снежную папаху и сел. — Вид у тебя, — сказал, через силу улыбнувшись, — как у того витязя на распутье. Прямо пойдешь — фрица найдешь; направо пойдешь — фрица найдешь; налево пойдешь — фрица найдешь; назад пойдешь — опять же фрица найдешь. По сему случаю предлагается кратковременный отдых. Садись, где стоишь. Открываю военный совет. Ну, товарищи, кто желает держать речь?

Кто желает держать речь? — такими словами начинались оперативки в полку, а голос Аркадия звучал с теми же, что и у командира полка, интонациями: Дескать, в общем и целом, прошу действовать посмелее.

— Можно? — Николай поднял руку, как делали это на оперативках все желающие выступить. — Можно?

— Давай.

Николай злился. Злился на свою оплошность, на улыбки, которыми встретили ее Аркадий и Михаил, на неудачу, постигшую их в полете. Усталость обострила все его чувства, опасность взбудоражила мысли. Николаю надо было излить их, высказаться до конца, чтобы успокоиться. Ему стало казаться, что виноват в несчастье Аркадий, один лишь Аркадий. Сбросив бомбы сразу при поломке мотора, они имели возможность благополучно вернуться на базу. В конце концов, устранив неполадки в моторе, они в эту же ночь вторично могли вылететь на задание и выполнить его. Николай произнес, жестко глядя на Аркадия:

— Прежде всего, сообщаю вам, что голубая двадцатка не вернулась с боевого задания. Предлагаю почтить...

— Ты что, Коля? — тихо спросил Аркадий.

— Дословно воспроизвожу для тебя сегодняшний траурный митинг в конференцзале.

— Замолчи! — крикнул Аркадий и вскочил. — Замолчи! Траурный митинг! Да как у тебя язык повернулся сказать такое? Вспомни, сколько ждали мы Белова, сбитого под Вилейкой. Дождались? Дождались! А Сбоева? Вышли они через две недели! А Новиков?.. Рано себя хоронишь. Погибла машина! А мы...

— След за нами стелется ковровой дорожкой...

Михаил не вмешивался в спор. Сидя на снегу, он, морщась, усердно массажировал колено, ушибленное при посадке. Подошел Аркадий. Склонился. Ощупал железными пальцами коленную чашечку.

— Терпи, — сказал и, крепко захватив у лодыжек, с силой рванул онемевшую ногу на себя.

Михаил, ойкнув, завалился на спину.

— Все, Миша. Боль сейчас пройдет. Вывих был,— и обернулся к штурману: — Отошел, Коля? Успокоился?

— Да...

— Понимаю. Но сдерживать себя надо. И я ведь погорячился... Итак?

— Я предлагаю выйти на тракт,— сказал Николай.— Только так мы сможем запутать следы. Километров шесть-семь по тракту, а там и в лес можно возвратиться. И еще. Заглянуть в первую же встречную деревню, лучше хутор, и запастись харчами на дорогу. У меня — все.

— Тракт! Хутор! Это да-а! — Михаил вскочил на ноги и тут же опрокинулся на снег перед Николаем. — В таком наряде на тракт? В деревеньку?!

— Прижмет — в пекло полезешь.

— Знаю!.. Но деревня — это немцы, это полицейские, это предатели! А тракт?! Думаешь, нас немцы объезжать станут?

Теперь Николай досадливо поморщился.

— Не кипятись,— сказал миролюбиво.— Докажи, что не так. По тракту мы ночью пойдем. О предателях, о чужой душе, в которой всегда потемки... Не оригинален ты в этом. Помнишь, спор был в конференц-зале? Не отбивай у Колебанова хлеб: обидится. Полицейские и предатели — опасность для нас, Миша, потенциальная. К тому же, надеюсь, и пистолет у тебя не для близиру.

— С одним пистолетом?!

— Смелость города берет, а у тебя к ней еще и пистолет в придачу, оружие.

— Ну и ну! Ну и ну-у...

— Вот так-то вот!

— Распетушились. Это хорошо! — Аркадий посматривал то на одного, то на другого. Запальчивость, с которой товарищи обсуждали дальнейшие действия, нравилась ему. — Но давайте подумаем: скоро ли и наверняка ли обнаружат наш след немцы? По крайней мере, сегодня-завтра этого не случится: маловероятно. На тракте мы подвергнем себя излишнему риску. Допустим, след наш немцы все-таки обнаружили. Что тогда? Будут прежде всего блокированы дороги и взяты под наблюдение населенные пункты. Выводы. На тракт выходить нельзя: преждевременно. Пойдем по лесу. Кончатся продукты, наведаемся в деревню.

День угасал. Выцвели заревые краски на закраинах облаков, прикорнувших на ночь к срезу лесного горизонта. С последним лучом, словно вода, размывшая плотину, на землю хлынули сумерки, поглотив деревья, кустарники, валежины, пни... Темное зыбкое безмолвие нарушал лишь монотонный скрип снега. Иногда резко, как выстрел из засады, неожиданно переламывалась под ногами невидимая сушина, и короткий щелк этот бил по нервам. Брели на ощупь, натыкаясь друг на друга, на стволы, часто оступаясь. Чертыхались вполголоса и беззлобно. Возле нахохлившейся ели с растопыренными, будто крылья у наседки, ветвями Аркадий попридержал шаг.

— Отдохнем,— сказал.— У ствола, как в шалаше,— и, пригнувшись, нырнул под ветки.— Лето здесь, трава. Рассаживайтесь, только лбами громко не стучите. Как насчет еды? Пировать станем или потерпим?

— Пожалуй, сэкономим для начала,— сонно проговорил Николай.

— Тогда будем дремать,— прислонившись спиной к стволу, Аркадий вытянул ноги.— Эх, нам бы да на русскую печку бы! Люблю деревенские печки. Широкие они и знойные, как пустыня Сахара. В детстве, бывало, набегаешься по морозу. А у нас на Урале морозы не такие курощупы, а пупок к позвонкам прихватывают. Влетишь с великой стужи в избу и на печь. А там — благодать! Дедов тулуп кверху шерстью на кирпичах каленых разбросан. Уф-ф-ф! Слышите?

Но Николай с Михаилом уже согласно посапывали носами. Аркадий не без сожаления замолчал и, перемогая дремоту, мысленно отправился вперед по маршруту. Он шел, намечая путь полегче и покороче, огибал стороной нечастые деревни, пересекал в глуши шоссейные и железные дороги. Сбившись, он начинал все заново, терпеливо доискивался ошибки, примечал и учитывал каждую известную ему по карте мелочь. Проделывал это все обстоятельно, без спешки, как на полковой планерке при разработке боевой операции. Нет, он пока не видел на протяжении маршрута неотвратимой опасности. Но можно ли предусмотреть все варианты действий противника на его территории? Неожиданности. Они потому и называются так, что не дано их предугадывать.

...И потянулись дни. Дни, сначала только изнуряющие, затем изнуряющие и голодные. Если раньше, отдохнув, они чувствовали пусть и незначительный, но прилив сил, то теперь даже сон не приносил им облегчения. Сон был не сон. Спать, спать, спать... Хотелось улечься прямо в мягкий снег и уснуть. По крайней мере, не будет нудеть в ушах этот жестокий, как пытка, скрип снега, это вкрадчивое и льстивое, как сплетня, шушуканье ветвей над головой.

Сосны, ели, болота, ольховники... сосны, ели, болота, ольховники... Да будет ли им конец?! Уж не замкнутый ли, уж не заколдованный ли круг образовали они?!

Первое время они разговаривали. Потом разговоры, самые звуки речи стали причинять им душевную боль, и они умолкли. Обросшие щетиной бород и усов, мрачные, голодные и безмерно усталые, на привалах они избегали глядеть в глаза друг другу. Поднимались, когда вставал Аркадий, и брели напрямик по кощунственно белому снегу, среди кощунственно нарядных деревьев, бездумно считая шаги: раз, два, три, четыре...

Лунной ночью, подыскивая место для сна, они вышли к железной дороге. Неприступным редутом высилось насыпное полотно посередине просеки, рассекшей лесной массив. Аркадий прислушался, осторожно развел руками ветки, огляделся и прыжками побежал к дороге. По крутому откосу взобрался на четвереньках. Просияли натянутые струнами обкатанные нити рельсов. Опять откос. С него кувырком. До леса теперь каких-нибудь десять, пятнадцать метров, никак не больше. Сугробы на южной стороне полотна были глубже. Утонув в них, Аркадий гнал перед собой округлый шуршащий льдинками снежный вал. Позади учащенно дышали Михаил с Николаем, не отставали. Из подлеска, скрытого черной тенью старых деревьев, вышли люди. Коротко и тревожно хлестнул окрик:

— Хенде хох!

На бегу Аркадий вскинул пистолет и выстрелил. Передний выпрямился в рост, поднял над головой автомат, будто силился удержаться за него, чтобы не упасть, неестественно приседая, подался вперед и зарылся головой в снег.

— Назад! Немцы!

Темный, молчаливый подлесок осветился пульсирующими язычками пламени, огласился дробью автоматных очередей. Запоздалый ливень свинца посыпался на мерзлый щебень полотна, клевал его, с визгом и свистом рикошетировал от рельсов. В небо, сухо пошвыркивая, взлетела и повисла, роняя вниз мерцающие капли огня, белая сигнальная ракета.

Всю ночь уходили они с места стычки. Шли без остановок, быстро, и все же Аркадий нет-нет да и поторапливал товарищей. След. Он тянулся за ними упрямой сыскной собакой. И невозможно было избавиться от него никакими средствами.

С рассветом подул ветер. Солнце, взойдя, бродило за облаками, и тусклый свет его едва проникал к земле, чуть рассеивая лесные сумерки. Лениво, точно по принуждению, опустились к ногам первые редкие и крупные хлопья снега. Так вот она какая, оказывается, манна небесная, вот она какая! Снегопад с каждой минутой усиливался. Живая завеса, казалось, шуршала и была так густа, что небо и земля слились как бы в единое целое, имя которому — снег. Следы вскоре исчезли, сровнялись. Летчики, поуспокоившись, сбавили шаг.

А пурга разохотилась и все бесшабашней потрясала седыми космами. Снег валил и валил, щедро присыпая и без того согнувшиеся под его тяжестью деревья. Крупный и мокрый, он цеплялся за ветки, налипал комьями. Перед неподвижным взором обессилевшего Николая назойливо маячила покрытая толстой коркой снега спина шагающего впереди командира. И белый снег на этой ссутулившейся от усталости спине вдруг брызнул в глаза Николаю всеми цветами радуги. Потом враз потемнел, стал черным. В аспидной глухой черноте, в самой глубине ее возникла и ослепительно засияла солнечная точка. Она увеличивалась. От нее в темноту побежали радиальные волны, световые круги. Стало нестерпимо душно. Земля медленно пошла из-под ног влево, вправо и завертелась. Николай покачнулся, остановился, непослушной рукой рванул клапан застежки, распахнул на груди комбинезон.

— Аркадий! — и опрокинулся в снег.

Открыв глаза, увидел над собой расстроенные, озабоченные лица товарищей, шумно вдохнул холодный воздух и сел, придерживаясь за ветку подмятой при падении сосенки.

— Таки-ие де-ела-а...

— Ничего особенного,— поспешно успокоил его Аркадий.— Устал. И мы с Михаилом отдохнуть не прочь. Как, Миша? — А сам думал: "Только бы ты не свалился всерьез! Только бы не заболел!"

Придерживая Николая под руки, они спустились в овраг, перекрытый поверху упавшей сосной. Дерево, смяв крону об отвесную стенку противоположного ската, копьями вонзило нижние ветки в землю и обломило их тяжестью прогнувшегося в середине ствола. Они, разойдясь в стороны, щерились теперь частоколом крепостного палисадника. Верхние же ветви, отягощенные снегом, нависли над землей

многоступенчатыми козырьками. Под этой зеленой крышей летчики и расположились на отдых. Для Николая быстро соорудили ложе из тех же сосновых лап. Сами уселись возле: Михаил в изголовье, Аркадий в ногах. Михаил разговаривал со штурманом, а Аркадий старался и никак не мог припомнить что-то чрезвычайно важное. Что же надо было сказать? Сделать? Временами ему казалось, что важное это уже на кончике языка, что еще одно самое незначительное усилие мысли... и вновь в голове и перед глазами картины лесного марша, стычки у полотна, поспешного бегства, обморока... Голодного обморока?! Голод. Еда! Аркадий стряхнул с себя оцепенение, отогнул манжетку комбинезона и посмотрел на циферблат часов: двадцать два ноль-ноль. Можно! Нашарив за спиной полевую сумку, перекинул ее на колени, расстегнул, достал завернутые в тряпицу запасы и разделил все на равные части. Михаил умолк. Он и Николай не могли равнодушно следить за тем, как пальцы командира разламывают галеты и шоколад.

— Вот,— Аркадий помедлил.— Объявляю праздничный пир, настоящий! Сегодня... сегодня, ребята, седьмое ноября.— И, нарушая долгую паузу, вызванную сообщением, он взял дольку шоколада и поднял ее, как бокал. — Предлагаю тост за крепкую веру, за успех, за то, чтобы прошли мы через все беды достойно. Ну! Ад аугуста пер ангуста! — так, помнится, Алеша Сбоев древних цитирует?

— Через трудности к высокому! — подхватил Михаил.

— Вот-вот, к высокому!

Заговорили о товарищах. И вошли в холодное лесное убежище веселый балагур Сбоев, мрачноватый добряк Сумцов, верный суровый друг Новиков. Вошли со своими шутками, сели в кружок, чтобы поддержать ребят с голубой двадцатки.

Странно было слышать среди пурги в глухом лесу смех. Но он звучал под разлапистыми согнувшимися под тяжестью снега ветвями поверженной сосны. И усталость отступила, и неудержимо потянуло к друзьям, которые, быть может, в самый этот момент тоже отмечают праздничную годовщину. Правда, отмечают ее не с кусочками сухарей в руках и не под стоны пурги, а за более или менее богато сервированным столом в конференц-зале под приятный гул огня в печке-времянке. Конечно, о ребятах с голубой двадцатки они уже сказали доброе слово, выпили в их честь. За здравие или за упокой пили? Это не так важно в конце концов! В любом случае тост был провозглашен за них.

— Пошагаем? — предложил Аркадий, поглядев на приободрившихся товарищей.

— Пошли!

...Близнецы-овражки с ежиками кустов по кромкам и склонам, болотистые низины с пестрыми разводьями вспучившихся наледей и сыпью кочек, пологие увалы с поджарыми хлыстами сосен на взлобках опять потянулись нескончаемой чередой вдоль неровной тропы, которую Аркадий прокладывал попеременно с Михаилом. Пурга улеглась на покой в застланную ею же самой постель. Над лесом небо то чистое — синее, то облачное — серое. И снег впереди, сзади и по сторонам. И вязкое безмолвие вокруг. И в однообразии этом, кажется, застыло время, остановилось оно! День! Такой уже был. Ночь! Такая уже была. Где же они — деревни? Где же они — люди?!

Все трое стали по-настоящему испытывать голод. Приступы тошноты, вызываемые им, сменились постоянной сосущей болью под ложечкой. Она тревожила даже ночью во время сна. Чтобы притупить ее и обмануть чувство голода, ели древесную кору, жевали хвою. От коры жгло во рту, будто небо покрывалось слоем горчицы, а от хвои до судорог сводило скулы. Пробовали промышлять клюкву. Забирались в болотный кочкарник, ползали от кочки к кочке, сбивали с них снег и с тщательностью сортировщиков перебирали зябнувшими пальцами жесткий несъедобный мох.

В один из обычных дней одна из обычных, каких встречалось уже десятки, просека привела летчиков на обычную, похожую на другие лесную поляну. Но они увидели на ней груду присыпанных снегом обугленных бревен. И эти следы человеческого жилья вселили в них надежду. Они, казалось, обезумели. Накинулись на пепелище и принялись растаскивать маркие головни, расшвыривать кирпичи. Пот струился по лицам, застилал глаза. Мучила жажда. Грязными ладонями они черпали снег, поедали его, сплевывая черную слюну, и еще яростнее вкапывались в угли, поднимая тучи едкой золы.

Никто еще, пожалуй, не открывал крышку погреба с такой надеждой, с таким нетерпением, как они. Но... плесенью на стенах и могильной затхлостью встретила их пустая яма. Они пали на снег, отупело шевеля черными спекшимися губами. Дух разворошенного кострища приманил ворону. Тощая, встопорщенная, опустилась она на голый сук опаленной давним пожаром сосны, каркнула голодно и, склоняя голову то на правый, то на левый бок, разглядывала бусинами распростертых внизу людей: нельзя ли поживиться. Аркадий вытащил из-за пазухи пистолет, стиснул обеими ладонями ребристую рукоятку, прицелился. Выстрелил и, к счастью, попал. Бесформенный комок, рассыпая по ветру легкие перья, невесомо коснулся снега. Михаил кинулся к птице, упал на добычу грудью и, схватив где-то глубоко в снегу под собой, долго не решался выпустить из рук еще теплую костлявую в липкой крови тушку.

Наскоро запалили костер. Перекидываясь с хворостины на хворостину, бесцветные языки пламени добрались до синей в крупных пупырышках кожи, позолотили ее, подрумянили. Полусырое пресное мясо люди поглощали торопливо, жадно. С хрустом крошили и перемалывали зубами полые кости.

К вечеру с севера потянуло холодом, дохнуло ветром. Мелкий снег дымно завьюжился над поляной, затеснился в узкой просеке, как в дымоходе. И они двинулись сквозь колючую пыль, время от времени соскребая с обросших щетиной лиц холодные снежные маски. В сумерках вышли на лесную опушку.

Впереди, на холмах, покоилось широкое поле, уставленное скирдами соломы и зародами сена. Между холмами в узкой долине, уже занавешенной сумерками, приютилась деревенька — десятка полтора домов, и вкривь и вкось понастроенных в излучине речки, отороченной по берегам на всем видимом их протяжении ивовыми зарослями. За околицей, с юго-западной стороны, у самого леса среди сугробов зябла на поземном ветру одинокая изба с продавленной крышей.

Темнота подступала исподволь. Скрыла вначале низину, один за другим погасив робкие светляки деревенских окон, неторопко взобралась на холмы и окутала поля серой мглой. Все поглотила она, кроме избы, по-прежнему чернеющей среди поблекшего белоснежья.

И они направились к этой избе. Пошли с задворья... Долго таились за плетнем, наблюдая. Летний дощатый сарай с подпорками по бокам. Заметенный по крышу хлев. Поленница и под навесом сани-розвальни с задранными оглоблями.

— В окнах темно,— сказал Николай.

— Жилая,— сказал Михаил.— От крыльца, видите, свежая тропа к хлеву, поленнице и воротам. Лошади в хозяйстве нет: сани на приколе и двор не изъезжен. Тропа едва натоптана. Значит, народу немного.

Аркадий боком протиснулся в дыру, проделанную кем-то в плетне умышленно: лозины были аккуратно раздвинуты и закреплены мочалками, пересек открытую площадку и прижался к шершавым бревнам, источающим избяное тепло. Он чувствовал это тепло, несмотря на стужу и ветер. Взобравшись на завалину, Аркадий прильнул к окну и стал вглядываться в холодное стекло, заслоняясь от прозрачной темноты надвинутым поверх головы воротником комбинезона. Потом он осторожно постучал в переплет рамы. Окно изнутри осветилось неброским колеблющимся светом. На стекле обозначилась тень, придвинулась вплотную.

— Кто?

Даже сейчас Аркадий, как ни старался, не мог различить ни человека у подоконника, ни того, что скрыто в помещении. Прижавшись лбом к холодному стеклу, он смотрел во все глаза.

— Кто?

И Аркадий заговорил, заговорил торопливо, взволнованно.

— Свои. Мы свои! Не бойтесь!

Тень отшатнулась. Огонек мигнул и погас. Стекло потускнело. Аркадий поспешил к крыльцу, где ждали товарищи.

За дверью женский грудной голос проговорил:

— Ступайте, чоловики, с миром. Деревня недалече.

— Нельзя нам в деревню,— сказал Аркадий.— Никак нельзя!

Дверь распахнулась. Они не сразу переступили порог, а стряхивая с одежды снег, вслушивались чутко в тишину жилья. В избяном пристрое без потолка, но с полом, среди березовых веников, развешанных гирляндами по стенам, их встретила простоволосая женщина с пучком чадящей лучины в руке. Морщинистое лицо ее даже при свете лучины поражало болезненной желтизной. Аркадий осторожно притворил дверь, подумал и запер на крючок. Вслед за хозяйкой прошли они в жилую половину.

Лучина струила копоть к щелястому потолку. Неяркий свет раздвигал темноту, показывая то край скамьи с кухонной утварью, то прикрытые мокрыми кружками фанеры ведра с водой, то кадушку с булыжным гнетом. К нам, к нам, к нам, к нам,— призывно выстукивали в темноте часы-ходики. Широкоскулая русская печь с подслеповатыми норками печурок словно только что пробудилась и вовсю позевывала округлым провалом неприкрытой топки.

В горнице было чисто, пусто и прохладно. Крепко пахло свежей хвоей. Прямо, в простенке, зеркало, занавешанное простыней. Посередине горницы — стол. На столе, во всю его длину, покойник под белой холстиной. Летчики остановились у стола. Руки их невольно потянулись к шлемофонам. Может быть, впервые за трудные эти дни они растерялись, не знали, как себя вести. У женщины дрогнули уголки бескровных губ. Она откинула холстину с головы покойника. На столе лежал мальчишка. В колеблющемся свете лучины он казался живым. Хотелось сказать, хотелось позвать громко: "Вставай, паренек! Чего же ты, друг, так рано заснул?" Но сложенные на груди руки и оплывший огарок свечки меж пальцами ломали эту иллюзию жизни.

— Третьего дня словил Янека полицай, в лесу словил,— голос матери зазвучал низко, приглушенно. У глаз в излучинах морщин показались слезы. И, уже не в силах сдержать горе, она запричитала: — Изгалялся над дитем, нечестивец, мордовал... Силушки нету боле, моченьки нету боле... Сын помер, сын... В землю сына треба заховать... Больно мне, ой больно!..

И Аркадий сказал:

— Мы похороним его.

И Михаил сказал:

— Веди, мамо.

На опушке леса в затишье, на поляне, окруженной елками, мать выбрала для сына место. Поджарая гладкая сосенка крошила с ветвей снег, вздрагивала тонким стволом, когда лезвия заступов рассекали паутину корней. Могилу копали долго. Дно подровняли, выстлали досками. Принесли и опустили Янека. Простились поочередно, засыпали гулкой мерзлой землей. Опершись на лопаты, постояли простоволосыми над холмиком.

Аркадий, словно принимая клятву над прахом павшего в бою однополчанина-летчика, вскинул над головой руку со сжатым кулаком.

— Не забуду! — сказал твердо.

— Не забуду! — повторил Николай.

— Не забуду! — как эхо, откликнулся Михаил.

И темный тревожный лес вроде затих на ветру, прислушиваясь к их суровым хриплым голосам.

За поминальной трапезой, в теплой, заставленной домашней утварью кухне, женщина рассказывала Аркадию о жизни при немцах, о новоявленных властях. Она рассказывала и жалостливо наблюдала, с какой ненасытной торопливостью поглощали гости ячневую приправленную молоком кашу, как от обильной пищи запоблескивали бисеринки пота на их заросших щетиной и обтянутых потрескавшейся кожей худых лицах. Близость людей, тоже нуждающихся в участии, скрадывала на время ее тоску и боль. Николая с Михаилом сон сморил прямо за едой: один уснул, уткнув лицо в сложенные на столе кренделем руки, другой откинувшись к стене.

— Немец до нас не вдруг наведывается: опасается, — говорила Аркадию хозяйка.— И войска ихнего в нашей деревне на постое нету. У нас полицаи... Двое меньших — подневольщики, а заглавный лют. Ох, лют! Евсеем Пинчуком зовется заглавный-то. Пришлый в наших краях. Пес он шелудивый. Партизан вынюхивает, выискивает. Ден шесть тому было, сказывают, возле железки партизаны порчу немцу учинили. Евсей через это и взъярился, зазлобствовал. Сыск по избам учинил. Мужиков похватал. И Янека вот...

— Пинчук?

Аркадий бережно погладил худое плечо женщины. Он готов был сделать для нее все.

— Где квартирует Пинчук?

— У нас тут, в великой избе, возле колодца. Все полицаи там.

— С оружием?

— Не приметила ружей. Железы рогатые у них...

— Автоматы. Ясно.

Аркадий помотал головой: в тепле его совсем разморило. Хозяйка поднялась со скамьи, принесла из горницы старый тулуп, раскинула его на полкухни.

— Приляг,— сказала.— Я тем часом харчей соберу, одежонку какую поищу.

СМЕРТЬ СМОТРИТ В ЛИЦО

Писк и возня мышей под половицами разбудили Аркадия. На дворе по-прежнему буянила непогода. Ветер, задувая в печную трубу, свистел протяжно. О гребень крыши вровень, словно дятел о сушину, стучала доска. Темный квадрат окна уже оплеснула зыбкая предрассветная муть. В глухом углу неровно коптила лучина, время от времени скидывая в деревянную плошку с водой тонкие скрученные жаром угли. Они шипели в воде по-гусиному и выплевывали кверху фонтанчики белесого пара.

В горнице, за переборкой, хозяйка, вздыхая и бессвязно бормоча, перебирала что-то, судя по шелесту, матерчатое, поскрипывала крышками сундуков, часто вздыхала. Привидением появилась она в кухонных дверях. На руках ворох одежды. Прижимая его подбородком, она взглядом поотыскивала куда бы положить ношу, осторожно прошла к табурету, опустила на него одежду и неслышно удалилась. Аркадий сонно оглядел кухоньку. Пестрые вороха тряпья виднелись и на столе и на скамье, под которой в ряд выстроились пузатые котомки с наплечными лямками из мешковины. "Пора,— лениво подумалось Аркадию,— пора. Все готово." Сладкая дрема сомкнула веки, убаюкивая. И поплыли опять перед глазами голубоватые прозрачные сугробы, поплыли и деревья под белыми накидками, и овраги... Запосвистывала метель. Среди снежной круженицы возникло незнакомое лицо, пригрозило пальцем: "В лесу хоронитесь. Иначе — беда." Лицо стерла метель, а на месте этом тотчас же появился Янек, живой Янек. Опущенные скобками вниз губы шевельнулись с усилием, еще шевельнулись... "Не молчи! — потребовал Аркадий.— Говори. Я слушаю тебя. Налетели со всех сторон белые мухи, завихри-

лись. В их толчее затерялся Янек и вылезла омерзительная рожа с оскаленной пастью. Поговорили? Ха-ха-ха-ха! Ох-хо-хо-хо! Аркадий брезгливо отшатнулся от нее, затем ринулся к этой роже и... проснулся. "Ну и мразь,— подумал, вскакивая.— Приснится же!"

Из ближней к нему груды одежды отобрал синюю выцветшую рубашку-косоворотку, грубошерстные штаны и пиджак. Прикинул на себя, наскоро переоделся и глянул в пожелтевшее, усиженное мухами зеркало на переборке: перед ним — неуклюжий и, по всему видать, простоватый мужичок с добродушным осунувшимся скуластым лицом, заросшим по глаза грязно-рыжей щетиной. И ничего в нем знакомого. Разве что глаза? Только глаза. Аркадий подмигнул мужику: "Как самочувствие?" Как живется-можется? Тот — хоть бы хны ему! — подмигнул тоже: "Ничего живем. Терпим, не жалуемся." Аркадий пригладил пятерней взъерошенные волосы и беззвучно рассмеялся: значит, порядок! И, вполне удовлетворенный столь чудесным превращением, растолкал богатырски храпевшего Николая.

— Чего смотришь? — спросил, направляясь к Михаилу.— Не похож?

Николай сел, хмыкнул неопределенно и через силу как-то странно улыбнулся.

— Да, я это. Можешь пощупать.

— И ты на вид, и не ты,— сказал Николай, все еще приглядываясь,— спросонок сразу не определишь. И мне переобмундироваться?

Михаил просыпаться не желал, отмахивался от Аркадия, как от назойливой мухи.

— Пустая затея,— заметил Николай, напяливая тесную для него шерстяную фуфайку,— Михаилу встряска нужна. Подъем!

Старшинский возглас штурмана сделал свое: Михаил в одно мгновение оказался на ногах. Сильный, хряский удар пришелся Николаю в солнечное сплетение. Ойкнул и, придерживая спутанными фуфайкой руками низ живота, штурман кулем осел на пол. Аркадий попятился к печке. А Михаил, выхватив пистолет, прыгнул к порогу.

— Руки!

Аркадий машинально вскинул руки. Тут Николай, нащупав головой отверстие воротника, вынырнул наружу, косматый и рассерженный. Михаил вытянул шею, удивленный. Шагнул к Николаю. Остановился в нерешительности. Растерянно глянул на разложенную повсюду одежду, на Аркадия, распятого на фоне печной стены, и, поддавшись внезапной дрожи, сбивчиво залепетал:

— Так я... я... я хотел. Стрелять я хотел! — выкрикнул.— А вы, вы-ы... Эх! — И сел, и заперебирал трясущимися руками одежонку, сложенную рядом.

— Силен, — буркнул Николай. — С такими кулаками тебе, Миша, на ринг или в кузницу.

— Дела,— сказал Аркадий, стягивая унты. Густой шелковистый собачий мех ласкал ладони, искрился в свете лучины. И столько было в нем скрытого тепла, что Аркадий вздохнул, подумав о холодных сапогах.

Много ли надо для счастья? Какое оно, это счастье, на цвет, на вкус, на вид, на восприятие сердцем?

Для них счастье имело цвет бледно-желтый, цвет несмелого огонька над плошкой в углу, вкус топленого молока и ржаного хлеба, вид морщинистой заботливой женщины. Но со всем этим приходилось расставаться.

Они облачились в стеганые ватники, приладили заплечные мешки.

— Трогаемся,— Аркадий нахлобучил облезлый кроличий малахай.— Не обессудьте.

— Мы придем, придем, мамо, — сказал Михаил.

Она проводила их до ворот и, придерживая вздрагивающую под наскоками ветра калитку, долго смотрела вослед.

Деревня спала. Сонные избы вдоль дороги, накрепко смежив веки-ставни, дремали среди сугробов, на волнистой белизне которых поплавками рыбацких сетей чернели верхушки утонувших в снегу палисадов. Раннее утро без солнца окрасило все окрест в светлые сиреневые тона: и снег, и лес за околицей, и серые избы, и облака. Даже ветер струил сиреневую пыль.

У богатого дома с парадным крыльцом в четыре ступени и резными перильцами Аркадий остановился.

— Нас трое,— сказал,— полицейских тоже трое. У них автоматы, у нас пистолеты. Мы должны это сделать.— И первым поднялся на крыльцо.

Дубовая перекрещенная полосами листового железа толстая дверь колоколом отозвалась на удары. Рожденный ею звук упруго отбросило низкое небо, и он разнесся по деревне. С гумен на придорожные плетни высыпали воробьи. Где-то на задах взбрехнула собака, лениво взбрехнула, нехотя, и умолкла.

Но дом не отзывался. Дом затаился мертво. Аркадий обеспокоился: вот-вот деревня проснется, появятся люди.

В глубине дома наконец ржаво скрежетнули петли дверей. Осторожные шаги в сенях покрыл грохот опрокинутого ведра, и после недолгого молчания, нарушаемого прерывистым дыханием с той и с другой стороны, хриплый голос за дверью спросил, будто угрожал:

— Чего надо?

Еще вчера вечером, когда хозяйка рассказывала Аркадию о старшем полицейском все, чему была сама свидетельницей и что донесла до нее мирская молва, Аркадий дал себе слово, несмотря на опасность, которой должен был подвергнуть себя и товарищей, наказать предателя. Слушая немудреный рассказ о злодействах и бесстыжести Евсейки, выпущенца из брестской тюрьмы, о том, как снасильничал песиголовец на хуторе под Стругами заарестованных им солдаток и порешил их в зыбуне, как по своей воле тиранил и выдавал красноармейцев, палил заимки и потом каялся перед миром и поносил немцев, Аркадий раскусил и трусливую натуру Пинчука. Такой не сразу поверит простому человеку. И Аркадий решил схитрить, решил разыграть перед ним выпущенного из тюрьмы забулдыгу, каких,

судя по всему, в жизни Пинчука встречалось много. Вряд ли он мог запомнить их всех. Теперь Аркадию надо было войти в новую роль.

— Впускай, Евсей! — сказал он, безбоязненно назвав неизвестного по имени: за дверями, по расчетам Аркадия, должен был находиться Пинчук — трус не доверяет никому.

— Знаешь меня? А ну, ну? Где виделись?

— Не ты ли в Бресте бедовал? Да, открывай, что ли!

— Постой, постой...

Забрякала звеньями железная цепь запора, взвизгнула тоненько щеколда. Дверь приоткрылась. В щели метнулся глаз, и дверь захлопнулась.

— Не один ты вроде?

— Корешки со мной. Пуганый ты, как вижу. Что так?

— Не-е...— Пинчук успокоился, заметив, что у посетителей нет оружия. — Вторгайтесь, вторгайтесь, — и, взяв Аркадия под локоть, повел через сени. — Митрошкин! — крикнул зло.— Зажги свет! Обленились, сволочи! Все бы им пить, жрать...

В темноте, пропахшей самогоном и квашеной капустой, взбрякнул полупустой спичечный коробок, щелкнула спичечная головка, отбросив к порогу огненную каплю, и вспыхнула, осветив крупные костлявые пальцы с выпуклыми грязными ногтями. Осветилась и часть лица Митрошкина — скошенный подбородок, нижняя губа, тонкое основание выпуклого носа. Огонь петушиным гребнем затрепыхался на фитиле трехлинейной лампы. Захватанное потными пальцами стекло с наискось отбитым верхом рассеяло по сторонам жидкий свет. Пинчук засуетился, стал придвигать к столу табуретки. Он часто покрикивал на Митрошкина. Аркадий осматривал помещение.

Квадратная комната была захламлена донельзя: потолок в разводах, пол заслежен. Штукатурка на стенах местами выкрошилась, обнажив клетчатый переплет дранки. Кое-где даже проглядывали бревна с пучками мха.

Стол, к которому приглашал Пинчук, был завален хлебными корками, обрезками сала, огрызками огурцов. Пустые бутылки тускло поблескивали по углам, теснились на утыканном окурками подоконнике, позвякивали под столом, где невозможно было уместить ноги.

На лавке, занимающей широкий простенок между окнами, по-сиротски пристроив кудлатую голову на свернутое жгутом засаленное полотенце и подобрав к подбородку острые коленки, пьяно причмокивал мясистыми губами пожилой мужик. Одетый на нем немецкого покроя поношенный солдатский френч с нарукавным знаком полиции был грязен и залит щами. На позеленевшей медной цепочке от карманных часов, фасонисто пропущенной через верхнюю петлю, застряли крошки капусты. Испитое лицо щеголя украшал громоздкий, как рекламная вывеска, кривой нос, простроченный красно-синими прожилками. Редкие сивые бровки торчали двумя случайно прилепившимися репьями.

Пинчук убрал со стола пустые бутылки, смахнул рукавом объедки, успокоился и, разглядывая Аркадия, кивнул Митрошкину, притулившемуся к печке:

— Пошарь-ка в сенцах. Закуси волоки поболе и с верхней соответственно. Отогреть людей надо.

На столе появилась миска смерзшейся в прозрачные комочки квашеной капусты, с полдюжины соленых огурцов, шматок сала и непочатая коврига ситного хлеба. Отпотевшие в тепле бутылки самогона источали аромат ячменного солода.

— Ого! — Аркадий потирал ладони.— Богато живешь, Евсей. А было: комком, да в кучку, да под леву ручку...

Своей беззаботной болтовней, удивившей даже Николая с Михаилом, Аркадий без труда усыпил подозрительность Пинчука. Он шутил, посмеивался без умолку, а глазами отыскивал оружие. Один автомат висел на гвозде у входа. Два других чернели в закутке у печки- голландки.

Пинчук, нарезая хлеб, аппетитное белое с розовой прослойкой в середине сало, с удовольствием поддерживал разговор. Он вспоминал воровскую хазу в Таллине, казенный дом в Бресте, где мотал срок по мокрому делу, и распространялся о новом порядке.

— Немцы — они, гады, хозяева. Интеллигенция, сволочи. Щепку и ту — под номер и в реестр.— Он разлил самогон по кружкам.

Посапывающий на лавке полицейский завозился беспокойно и, как кролик, заработал носом-вывеской.

— Чует, сволочь, спиртное. Ишь, как корежится! Дар у его, у Дюкова, такой.— И к Аркадию: — В Бресте, значит, с тобой из одного котла баланду хлебали? В конце сорокового, а? Зачинаю припоминать.

Предположение, высказанное Пинчуком, устраивало Аркадия, и он не преминул воспользоваться им, кивнул головой. Кивок этот можно было прочесть: "Дескать, в самую что ни на есть яблочку попал; в десятку вмазал!"

— Помнишь воспитателя Власюка? Фигуристый такой, видный, зараза. Идейный, гад, был и липучий, как сопля.— Вытянув губы трубочкой, он загундосил: — "На таких, как вы, Пинчук, делают ставку враги рабочего класса, враги Советского государства". Пел он, этот Власюк. Власть, власть... Кто наверху, у того козыри! Да мне бы Власюка в сей момент! Я бы его, заразу...— мясистый кулак тяжко опустился на стол и сжался добела.— Поговорил бы я с ем. Ну, понеслась?

Запрокинув нечесаную голову, он стал глотать самогон. Крупный кадык широкими судорожными стяжками подавался вверх и вниз. Аркадий не мог оторвать глаз от этого кадыка. Но он видел другую — худую, прокаленную жаром металла жилистую шею и струйку молока, стекавшую вниз по синему воротнику рабочей спецовки. Мартеновский цех. Печной пролет. Тревожные звонки завалочных машин с шихтой. Дядя Леша Кобзев — высокий, сутулый, черный. В руке с крепкими, как стальные крючья лебедок, пальцами бутылка с молоком. Войлочная шляпа набекрень. Долгий, трудный кашель и после кашля — белый платок с алым пятном. "Пора, Арканя, варево выдавать. Распорядись-ка о ковше под шестую. Зальем

глотку мировой буржуазии". С врагами рабочего класса у дяди Леши Кобзева был особый счет: за простреленную грудь, за порубанную колчаковцами семью, за отца и брата, что остались навечно у расщепленных американскими снарядами горелых свай Чонгарского моста, в гнилом Сиваше... И, несмотря на недуг, не уходит дядя Леша от мартена, чтобы рассчитаться за все это сполна.

Аркадий очнулся. Вымучив улыбку, сказал:

— Покурить бы сперва.

— Валяйте.

— Доставай, братва, кисеты.

Это и был условный сигнал, о котором он заранее договорился с Николаем и Михаилом. Пистолеты враз легли на кромку стола.

— Тихо,— спокойно предупредил Аркадий.— Тихо. Николай, обыщи этого и тех. Миша, собери автоматы. У печки. Нашел? На косяке еще.

Зубы Пинчука зацокали по ободку кружки. Пальцы, только что любовно и бережно обнимавшие ее, разжались, и она выпала, сбрякала о половицы, покатилась к порогу, с пристуком переваливаясь через фигурную ручку и расплескивая самогон. Пинчук невольно потянулся за ней.

— Сидеть! — Аркадий привстал.— Сидеть! Коля, пошарь у него за голенищем,— и, когда кинжал с отточенным до синевы лезвием засверкал в руке штурмана, покачал головой: — Все ловчишь, Пинчук?

Митрошкин стоял на излюбленном месте у печки, грел спину и по-прежнему жевал бутерброд. Зато Дюков, безмятежно похрапывающий на лавке, сразу проснулся, приоткрыл веки, поводил бровками-репейниками, сел на лавке, сбычившись. Его затрясло.

— Ш-шу-шутки шу-шутите? — неуверенно спросил Пинчук и вдруг, всплеснув руками, с младенческой наивностью воскликнул восторженно: — Наконец-то, родненькие! А я с ног сбился, чтоб с партизанами свидеться! Давненько хотел свидеться!

— Неужели?! — вырвалось у Михаила.— Ну и ну.

— Ей-ей! Служить вам намеревался. Верой и правдой служить! Век свободы не видать!

— Свободы? В этом ты, пожалуй, прав. Держать таких, как ты, на свободе — преступление. Судить будем,— Аркадий поочередно обвел взглядом физиономии полицейских.— Начнем со старшего. Обвиняем мы тебя, Пинчук, в измене России...

— Не было того, не было! Я с умыслом к немцам подался, с умыслом. Вредить им решил, вредить!

— ...в расстрелах советских людей...

— Враки это, враки! Хоть у кого спытайте!

— ...в выдаче немцам группы красноармейцев, что посчитали тебя за человека.

— То патруль нагрянул, патруль! Да разве смог бы я наших родных советских людей...

— Смог. Мы приговариваем тебя, Пинчук, к высшей мере наказания — расстрелу.

— Наговор, наговор! — зачастил Пинчук.— Бабьи выдумки! Возвести на человека поклеп завсегда просто. Озлобились против меня деревенские. Харч я с них требую. А как быть? Немец, сволочь, с меня сало, масло, хлеб справляет! Вот и крутись! Кабы мог...

— Фальшивишь.

— Чего фальшивить-то? Не было того, не было!

Аркадий обратился к Митрошкину, который флегматично разглядывал судилище, словно был к нему непричастен.

— Говори.

— Чего он знает, чего?!

Митрошкин, неуклюже переступая ножищами, вышел из полутьмы на свет, встал у стола, посмотрел на Аркадия долгим тяжелым взглядом. Потертый суконный пиджак свободно болтался на Митрошкине, сбиваясь в складки. Грудь западала глубоко, и выступавшие вперед плечи хомутными клешнями сходились одно к другому.

— Было,— глухо сказал он и закашлялся.

— А сам, сам?! Помогал мне! И Дюков помогал! Чего, Дюков, молчишь. Ответь! Товарищи все знать должны, все!

— Скажу,— заговорил Дюков сочным басом и поднялся с лавки. Росту он оказался видного. Чувствуя неловкость, Дюков топтался на месте, громыхая подковами сапог с широкими короткими голенищами. Позеленевшая медная цепочка от часов раскачивалась на упитанном животе. Бас Дюкова перекатывался плавно, заполнял помещение: — Не брешет Митрошкин. Было. Все было, о чем говорили.

— Сука! Сука! В петлю толкаешь?! И вас к стенке приставят! Да! Приставят! Не одному отвечать, не одному!

В ставнях засветились щели. Утро, проникая с улицы, расчертило наискось белыми полосками пыльные доски, горшки с чахлыми увядшими цветами. Михаил, разглядывая злую физиономию Пинчука, ерзавшего на табурете, отстукал морзянкой: "Время. Кончай."

— Знаю, Миша,— ответил Аркадий.— Но, понимаешь... Как-никак мы все-таки судьи. Ну, Митрошкин? В полицию ты добровольно пошел, немцам служить? Ответь. В Советской власти разуверился, в силу нашу не веришь больше? Так?

— Разуверился? Не чумной я, чтоб в Россию не верить. Касаемо армии. Не нужен я в войске. Чахотка меня одолевает: кровью через горло исхожу. Полицаем силком сделали. Все он, Пинчук. Раз пять меня и Дюкова в Новоселье таскал к коменданту.

Времени было в обрез, но Аркадий не попустился ничем из известных ему норм судопроизводства. Он терпеливо выслушал каждого из обвиняемых. В открытую обсудив все за и против, приняли единодушное решение: Митрошкин и Дюков должны искупить вину перед народом и собственной совестью сами. Как — пусть подумают.

— Ну, с вами вопрос решен,— сказал Аркадий.— А ты, Пинчук, придвигайся поближе к столу и бери перо. Пиши. Я, Евсей Пинчук, старший полицейский при Новосельской комендатуре довожу до вашего сведения, господин комендант, следующее: до смерти опаскудило мне заниматься сволочными делами. Не человек я — ублюдок. Сажали меня, чтоб голову просветлить, и в тюрьмы и в лагеря. Иуде честь, что гадюке ласка. И вам, заразы, служить боле не желаю: опостылело. Ставлю я самолично точку на этакой хреновой своей жизни. До скорого увидания, господин комендант. Пинчук.

Было уже светло. Митрошкин задворками вывел их за околицу, к лесу, показал глухую тропу. Шли по ней. Молчали. Расстрел Пинчука оставил какой-то осадок на сердце. Они не сомневались в справедливости своего решения, но... Человека убить все-таки трудно, даже подонка трудно убить. И видишь его грязную душу насквозь, и знаешь наверняка, что это — мразь, что попадись ты ему в руки, не станет казниться раздумьями о твоей судьбе, а приставит к твоему затылку пистолет и нажмет курок. В этом ты не сомневаешься, и все равно трудно отобрать жизнь. Стоит перед тобой этот подонок, ждет смерти, а правильнее — возмездия. В руках у него никакого оружия, а у тебя — пистолет. Ты не просто мститель, ты само правосудие! И все же с каким трудом поднимается твоя рука.

— Да какой он человек! — с досадой проговорил вдруг Аркадий.

— И я так думаю, — с облегчением подтвердил Николай.

— Точно,— сказал Михаил.

За полдень небо просветлело. Кое-где в облачных разрывах показалась синева, и солнце прорвалось к земле. Из дальней дали, скрытой за дымкой лесного горизонта, долетал, чудом просачиваясь через расстояния, едва уловимый на слух неумолчный гуд. Даже, пожалуй, нельзя было назвать гудом то, что не слышалось, а скорее угадывалось, и не угадывалось, а подсказывалось желанием услышать с востока грозный, но приятный для них голос войны.

— Улавливаете? — Николай вытянул из-за пазухи карту.— Ну-ка?

Аркадий нахмурился.

— Откуда карта?

— Аркадий...

— Делаю выговор. Порви и зарой сейчас же! Карта — улика.

За круглой и плоской, как замерзший водоем, безлесой низиной возвышался лесистый бугор. Восточный склон его, вылизанный ветрами до земли, был изборожден оползнями. Метров с десяти он обрывался резко и падал отвесно к извивающемуся у подножия шоссе. Справа тянулось низинное заснеженное мелколесье. Слева неоглядно — густо-зеленый бор. Место было пустынное, и Аркадий решил рискнуть. Заметив чуть правее обрыва борозду, что пролегла по бугру сверху вниз до встопорщенных кустов шиповника, ежами подкатывающихся к кюветам, он наметил использовать ее для скрытого перехода. Зарослями обогнули они открытую делянку, пересекли болотину, спустились уже до середины бугра и...

— Хенде хох!

Николай с Михаилом враз присели, полуобернувшись на окрик. Аркадий, с треском оборвав карман телогрейки, выхватил пистолет и, щелкнув предохранителем, прыгнул к раздвоенному стволу низкорослой суковатой сосны. Сильный удар в спину сбил его с ног. Запорошенный снегом, он моментально вскочил, отыскивая взглядом врага. Лицо было мокрым. Глаза слезились. Но он увидел, как подминая кусты, неистово крутится вблизи живой рычащий и взвизгивающий клубок. Немцы! Засада! Сколько их? Не раздумывая дольше, Аркадий кинулся в эту многорукую и многоногую свалку, но тяжесть, внезапно навалившаяся сзади, вдавила его в снег. Невидимый противник рванул его руку назад, заломил за спину и выбил пистолет.

...Они вовсе не такие, как изображают их на карикатурах. Низенький чернявый немчик в ушастой пилотке, плаксиво морщась, посасывал разбитую нижнюю губу и сплевывал на снег розоватую слюну. Он все это проделывал так же, как и Михаил. И глаза у обоих заплыли, будто кровоподтеки возникли по одной мерке. У Николаевой телогрейки оборванный рукав болтался на нитках точь-в-точь как рукав шинели у носатого высокого ефрейтора с голубыми глазами и таким же, как у Николая, великолепным синяком на лбу. Какие они — немцы? Вроде обычные люди. Разгоряченные дракой, дышали они прерывисто и тяжело, и все шестеро исподлобья смотрели на схваченных ими троих совершенно так же, как Аркадий, Николай и Михаил изучали взглядами этих шестерых — своих врагов.

— Партизанен? — хрипло спросил голубоглазый ефрейтор, прикладывая к синяку комок снега.— Партизанен! У-у-у-у...

Не меняясь в лице, он шагнул к Николаю и наотмашь ударил его в подбородок. Николай сверкнул глазами, но не отступил, не отшатнулся. Тогда ефрейтор спокойно отвел руку опять, ухмыльнулся и молча ударил Николая еще и еще. Аркадий вступился за штурмана. Ефрейтор что-то сказал солдатам. Аркадия, Николая, а заодно и Михаила вновь повалили наземь, стали бить прикладами, пинать тяжелыми твердыми сапогами. Потом, закурив сигареты, шестеро наблюдали с любопытством, как трое, помогая друг другу, поднимались на непослушные ноги.

Вот когда понял Аркадий, что фронтовые пути меряются не километрами и верстами, не милями и лье. Разве заключить в тесные рамки какой-либо системы мер душевное состояние? Оно значимей любых земных расстояний. Разве думаешь о расстоянии, когда впереди, по бокам и сзади — конвой. Автоматы на изготовку — попробуй, отклонись в сторону. И ноги заплетаются: шаг — мука. А рядом — уверенный, гулкий постук чужих сапог по смерзшемуся гудрону дороги. Русской, нашей дороги! Иногда мимо, будоража дремотный лес веселыми голосами, проносились в крытых брезентом грузовиках краснощекие солдаты. Они пели. Пели! И запах чужого бензина, и песни на чужом языке были для троих горше и мучительней всех перенесенных и предстоящих в дальнейшем невзгод.

Шагая по скользкой бровке, Аркадий думал об этом и о том, помнят ли Николай с Михаилом, за кого выдавать себя на допросе. Скосясь на голубоглазого ефрейтора, он проговорил:

— Не поймешь вас, немцев. То из брестской тюрьмы выпускаете, то хватаете и лупите за милую душу. Не поймешь.

— Мольшать! Один слово есть капут!

Но Аркадий уже сказал товарищам то, что хотел.

За кюветом, на вогнутой бровке отполированного санными полозьями ухабистого своротка с шоссе, увяз в снегу телеграфный столб с мохнатыми от инея спутанными завитками оборванных проводов на макушке. Приколоченная к нему фанерная стрела-указатель с аккуратной надписью по-русски и по-немецки "Новоселье" была нацелена в медностволую грудь соснового бора. Казалось, однажды она уже проделала через него брешь, оставив после своего полета на темно-зеленом теле рубчатый шрам проселочной дороги.

Лес обрывался резко, и на равнине открывалось село. Редкие с окраин дома к центру теснились густо, черно, окружая нарядное одноэтажное здание, облицованное буковой плашкой. Его арочные окна с приоткрытыми фрамугами, отражая солнце, пылали пятью кострами. На площади, перед зданием толкался народ, и в морозном воздухе клубился белесый пар от дыхания. У плетня, захлестнутые людским половодьем, испуганно всхрапывали лошади, вскидывая заиндевелые морды. Звенели кольца коновязей. Слышался скрип оглобель и саней. Пахло махоркой, сбруей, конским потом и свежим навозом. Бабы в бессчетных одежках и платках, укутанные сопливые ребятишки с причитаниями и плачем вились возле угрюмых бородачей, часто попыхивающих цигарками. При виде конвоя и понуро бредущих избитых парней площадь смолкла. Народ расступился, открыв белую дорогу к дверям, над которыми лениво и надменно плескался багровый с черной свастикой в белом круге флаг.

Холодный громкий коридор усиливал дробный разнобой шагов от порога и до пустой приемной. Дежурный за канцелярским бюро выслушал ефрейтора и кивнул на двойную дверь:

— Битте.

В просторной светлой комнате, у свободного от бумаг письменного стола под зеленым сукном,— приятного стола, по размерам и по веселому цвету зелени схожего с весенней лужайкой, стояли, комкая в руках шапки, Митрошкин и Дюков. За столом, в кресле, сидел жандармский офицер и, сдвинув на лоб очки в золотой оправе, думал о чем-то, устало прикрыв глаза ладонью.

Ко всему готовили себя Аркадий, Николай и Михаил, ко всему, кроме встречи с полицейскими. Бурю самых разнообразных горьких мыслей и обманутых надежд породила в них эта нечаянная встреча. Она отразилась на лицах, выбелив их, и в мускулах, что мгновенно сжались в упругие жгуты и тотчас расслабли, и во взглядах, полыхнув огнем и угаснув.

Но полицейские даже не обернулись к вошедшим.

— Будем проверить,— сказал офицер, отнимая от глаз руку.— Это есть ошень плехо, ошень.

Опустив очки на выпуклый с горбинкой нос, он равнодушно оглядел каменно застывший у порога конвой и сбившихся кучкой задержанных: их обросшие лица, одежду, порванную в драке, скоробленные сапоги, вокруг которых растекались темные лужицы воды.

Митрошкину было явно не по себе. Шея то напрягалась, багровея, то, зайдясь в немом клекоте, опадала; грудь то вздувалась, как кузнечный мех, взлетая вверх короткими толчками, то враз оседала, со свистом выбрасывая воздух. И вот, казалось, из самой глубины нескладного источенного болезнью тела вырвались трескучие очереди кашля. Шаря по карманам платок, Митрошкин отвернулся, и покрасневшие от натуги слезящиеся глаза уперлись в Аркадия, уперлись и расширились, мерцая зрачками. "Нет! Нет!" — кричали глаза.

Драпировка на проеме двери в смежную комнату вспузырилась, заколыхалась. Раздвинув головой тяжелые коричневые портьеры, в кабинет шагнул рослый гестаповец. Очевидно, появлялся он так всегда, отработав заранее каждый шаг и жест, поддетые на плечи портьеры, провиснув за его спиной, заскользили спереди назад, являя взору вначале зеркально начищенные сапоги, затем бриджи с прямыми складками-стрелками и далее черный френч, перехваченный в поясе ремнем, портупею, железный крест на клапане нагрудного кармана.

— Was geht los? [1] — спросил гестаповец в пространство.

Офицер оживился и, уважительно привстав, заговорил, жестикулируя короткими полными руками. В холодных глазах гестаповца затеплился интерес. Круто повернувшись к столу, он взял протянутую жандармским офицером бумагу, в которой Аркадий распознал записку Пинчука, и углубился в чтение. Первые строки пинчуковских откровений вызвали у гестаповца лишь брезгливую усмешку, вскоре, однако, сменившуюся судорожным подергиванием левой половины лица.

— Mistvich! Haben Sie bemerkt, Karl, Jhre Slaven — Polizisten haben eine weigung, zur Philosophic und zum Schnaps.[2]

— Он первачом баловался, господин офицер,— протрубил, как пропел, Дюков.

— Первач? Что такое первач?

— Отменное зелье. Водка домашней перегонки. Покрепче шнапса.

— Horen Sie, Karl? Herr Pervatsch fugt ihrer nationalen Kadern Schaden zu. Jedoch rate ich Ihnen nicht zu verzweifeln. Ubergeben Sie des Schriftstuck unbedingt dem Kommandaten: eine fur ihn ausserst wervolle Errungenschaft. Und was sind das fur Menschen? [3]

— Ich melde gehorsan[4]. Партизанен! — выдохнул голубоглазый ефрейтор, прищелкнув каблуками.

— Какие мы партизаны,— сказал Аркадий.— Мы, господин офицер, выпущены из брестской тюрьмы германскими властями. Партизан отродясь не видали. По дороге вот... оказия вот... Одним словом, конфуз по дороге приключился. Не распо-

---

1 — В чем дело? (нем.).

2 — Грязная скотина! Вы обратили внимание, Карл, что ваши полицейские из славян имеют тяготение к философии? К философии и шнапсу (нем.).

3 — Слышите, Карл? Господин Первач наносит урон вашим национальным кадрам? Впрочем, рекомендую не отчаиваться. Документ непременно передайте коменданту: весьма ценное для него приобретение. А это что за люди? (нем.).

4 — Осмелюсь доложить! (нем.)

знали кто, что и подрались... Да нам и соображать было некогда: патруль напал неожиданно. А так. Со своими, можно сказать, и драться. Нет, не стали бы мы...

Николай с Михаилом согласно закивали кудластыми головами, воспринимая одновременно разговорную манеру и тон, заданные командиром.

— Случается такое,— неожиданно, совершенно неожиданно поддакнул Дюков, и голосом и видом выказывая сочувствие безвинно пострадавшим.— И со мною как-то...

— Отправляйтесь! Вон! — гестаповец даже притопнул.

— Да, да! Ехать домой, ехать! — поспешно заговорил жандармский офицер, взглядом выталкивая Дюкова и Митрошкина из кабинета.— Да, да.

"Случается такое!" — ведь это же сказал Дюков! Как далеко должна простираться вера в человека.

Неожиданно Дюков вернулся из приемной в кабинет, подошел к столу, ухмыльнулся.

— А старшим кто у нас, господин офицер?

— Ви есть старший, ви!

— Благодарствуем. Уж мы постараемся,— и, низко поклонившись, вышел.

Гестаповец присел на край стола, загородив спиной хозяина.

— Karl, ich bin neugierig auf ein Gesprach mit den Herren. Haben Sie nichts dagegen, Karl? [1]

— О-о-о! Пожалуйста!

— Gut. Gefreiter, lassen Sie den Findigen hier,— он указал на Аркадия.— Die anderen fuhren Sie einstweilen hinaus.[2] Итак, вы есть заключенный? — последовал полный сострадания вздох и после паузы стремительная четкая скороговорка:

— Когда вас освободили?! Куда вы шли? Сколько дней шли? Почему шли лесом? Отвечать! Быстро отвечать!

Мозг Аркадия заработал с горячечной поспешностью. Аркадий, как это ни странно было даже ему самому, вовсе не испытывал страха. Неожиданная и вопреки дурным подозрениям так благоприятно завершившаяся встреча с полицейскими сыграла, должно быть, роль катализатора, который поглотил часть опасений и в какой-то мере вселил слабую надежду на удачу.

— В июле нас освободили. Говорят, красноармейцы с июня по июль, аж по двадцатый день в крепости тамошней оборонялись. Пальба нам спать не давала. Сидели по камерам и боялись, что не осилить вам гарнизон, а нам на свободу не выбраться...

Гестаповец, выслушав Аркадия, соскочил на пол, приблизился вплотную и мучительно долго искал ответа в его глазах: не издевка ли? Гестаповец смотрел на Аркадия, покусывая губу. Потом отступил на шаг и ткнул кулаком в зубы. Аркадий пошатнулся, но устоял. Тыльной стороной ладони провел по разбитому рту, глянул на кровяное пятно и отер руку о штанину.

— Зря деретесь, господин офицер.

— Из Бреста!!! Где же вы проболтались три месяца?!

— В Бресте мы и были. Работали там...

— Сегодня откуда идете?! Ну?! Быстро!

1 — Карл, я любопытствую побеседовать с господами. Вы не возражаете, Карл? (нем.).
2 — Хорошо. Ефрейтор, оставьте со мной бойкого. Тех пока выведите. (нем.)

— Сегодня-то? Сегодня идем из Выселок. Ночь провели на поле в стогу: от людей хоронились. Не уважают здешние жители заключенных, боятся. Ну, а потом... Одним словом, потом конфуз-то и приключился. С вашими у большака столкнулись.

Выселки. Теперь эти Выселки не выходили у Аркадия из головы. Он помнил о них, бегло отвечая на вопросы, повторял про себя, шагая впереди автоматчика по "музыкальному" коридору. В холодных сенях, где ждали его друзья, нарочно споткнувшись о щербатый порог, он ворчливо, словно досадуя на свою нерасторопность,успел торопливо сказать:

— Брест. Конец июля — двадцатое. Работали в Бресте. Сегодня из Выселок... из Выселок. Ночевали в стогу за деревней. Вы-сел-ки.

Николая с Михаилом увели. Аркадий остался на попечении голубоглазого ефрейтора и двоих солдат. В грузном немце с мясистым сытым лицом и неправдоподобно яркими цвета спелой вишни щеками узнал своего удачливого противника по драке. Вторым был чернявый в ушастой пилотке. Он все еще плаксивился и посасывал вспухшую губу. Оба, казалось, не замечали Аркадия, всхлюпывали влажными носами и разговаривали вполголоса. Ефрейтор толокся у окошка с выбитым стеклом, и так и этак приноравливаясь просунуть голову в дыру, что щерилась оставшимися в раме осколками, как щучья пасть зубами. Виден был в оконце заснеженный двор и темная жилка тропы, сплотка тесаных сосновых бревен и широколобый пень с воткнутым торчмя топором, полусгнивший бревенчатый угол коровника. Ефрейтор вдруг вытянул шею и замер: по двору шла женщина. Вязаный шерстяной платок, накинутый по-старушечьи, ватное пальто и стоптанные валенки-тяжелоступы не скрывали ее ладной фигуры, а нарочито шаркающая походка — молодости. Ефрейтор обернулся, сияя, бросил автомат чернявому, причмокнул губами и выскользнул из сеней.

Короткий и приглушенный вскрик, последовавший вскоре, Аркадий отнес к шуму в коридоре. Топотом ног, ударами и голосами подкатился этот шум к двери, выбил ее, как пробку, грохнув о стенку заиндевелой ручкой, толкнул через порог Михаила. Телогрейка — полы вразлет. Рубаха от ворота до пояса — надвое. Он зло ругался.

— Парашник — этот в черном! Прыщ на заднице! В общем, нас кокнут!

Николай хмурился и был бледен.

— Все, Аркаша,— сказал и отвернулся.

Морозный воздух удивительно вкусно пах свежими — только что с грядки! — огурцами. Солнечные лучи резвились на снегу. В навозной куче у коровника базарили воробьи. Из-за плетня, с площади накатывался сдержанный гомон толпы. Совсем рядом, тоже на площади, забренчали удила, призывно заржала лошадь. Тпру-у-у, тпру-у ты-ы!

А они стояли посреди двора. Яркий день слепил им глаза. Они щурились. Они жадно впитывали, впитывали в себя эти шумы, запахи и краски жизни.

По ту сторону плетня кто-то захлебнулся плачем, запоскрипывали полозья саней: обоз тронулся.

— Хфилип! Вертайся скорешенько! Вертайся!.. Слышь, Хфилип?!

— Панкрат! Панкрат!.. Ох, лишенько нам...

Из коровника вышел ефрейтор. Лицо горит, довольное, успокоенное. Шинель в мякине и сенной трухе. Передернулся от головы до пят всем телом, как мокрый пес, отряхиваясь, затянул ремешок на штанах, пробежал пальцами по пуговицам ширинки и похабно загоготал. Он стоял молодой, голубоглазый, красивый, сильный и гоготал, радуясь, что он есть на земле, что он властен взять у жизни силой земные радости.

Взгляд Аркадия споткнулся о ефрейтора и... И краски дня померкли вдруг для Аркадия: клокочущая ненависть заполнила все его существо, полыхнула в глазах. И — никого во дворе, кроме Аркадия и этого гогочущего насильника. "Ох-хо-хо! Ха-ха-ха!" Мелкой дрожью пошли руки с тяжелыми кулаками, сухостью прихватило губы...

Чернявый принес и бросил к ногам охапку инструментов: две штыковых лопаты и заржавленный лом.

— Битте!

Жизнь! Неужели она оборвется сейчас, там вон за банькой в низине, где чернеет голая ива у ручья и где видны недавние холмики, и оборвется без трагедии для мира, обыденно и незаметно — был и нет. Мысли торопились, наседая разом,— спешили жить: "Ты не должен умирать просто. Ты не должен смиренно ждать..."

А тропа уже привела к вытоптанной поляне. Ефрейтор, играючи, вычертил на снегу прямоугольник.

— Битте!

А над головой неоглядная синь в солнце. Она над живым селом, над живым лесом, что неровной каемкой проступает вдали, над живой, укрытой льдом речкой. И синь эта зовется небом. Небом! Дорого оно человеку. А летчику?!.. Оно распахнулось над летчиками, копающими себе могилу, разлилось бескрайнее. И звало, звало, звало их в свои просторы!

ДОРОГА ВО МРАК

Человек человеку... Голубоглазый смотрел хуже волка — он смотрел равнодушно. Он стоял на краю уже обозначившейся могилы. Автомат на изготовку. Ствол направлен в левый угол. Сколько сантиметров до смерти? Еще два-три и яма в аккурат. Еще три-четыре — дрогнет куцый ствол автомата и, попыхивая дымком, проведет итоговую черту слева направо, начиная с Аркадия. Лом отскакивал от промерзшей земли, как от плотной резины, звенел, отбивал руки. Лопаты беззубо мяли бурую бугристую площадку. Чернявый немчик вовсе осопливел, продрог и приплясывал, не спуская глаз с Николаевой фуфайки. Фуфайка была старенькая, но теплая, ворсистая. Обратил на нее внимание и ефрейтор. Пригляделся. Сказал что-то чернявому, повел головой властно и спрыгнул в яму:

— Снимать! — он потянул Николая за фуфайку.

— Отстань,— сказал Николай, не выпуская лопаты,— отойди.

Аркадий распрямился, кинул быстрый взгляд на ефрейтора, на конвоиров и опять склонился, только пониже, удобно ухватив обеими руками лом, как дубину. Михаил, будто собирался в штыковую атаку, изготовил лопату и помалу придвигался к чернявому.

— Снимать рубашка. Снимать!

— Не хватайся, говорю! — Николай повысил голос.— Убьешь, все тебе достанется. Или вещь испортить не желаешь? Ничего. Заштопаешь потом. Того вон сопливого и заставишь. А сейчас — отойди!

Видать, добрым был тот черт, который принес новосельского коменданта Оберлендера из вояжа по району и внушил ему мысль лично допросить задержанных как раз в то время, когда обозленные немцы сгрудились над ямой, нацелив автоматы вниз. Голубоглазый с явным разочарованием выслушал запыхавшегося дежурного, выругался громко и погнал полураздетых Николая и Аркадия (над Михаилом властвовал чернявый) бегом по снегу назад к комендатуре, покрикивая на них с тропы:

— Шнель! Шнель!

И опять знакомый кабинет. Три стула у входа. И опять — "битте".

В ответ на сбивчивые объяснения жандармского офицера Оберлендер хмурился, метал колючие взгляды на парней. Он был так похож на сову, что, казалось, серое лицо его покрыто перьями.

— Какие партизаны?! — бросил он офицеру.— Разве они — партизаны?! — вскочил и стремительно приблизился к задержанным. Оглядел поочередно, забежал сбоку и громко скомандовал: — Встать!

Они поднялись разом, поднялись пружинисто, четко, как на занятиях по строевой подготовке. Комендант самодовольно потер ладони, рассмеялся:

— Da haben Sie den Helmuth. Lernen Sie, Karl, selbstandig zu werden. Sie sagen,— Partisane. Das ist eine Armee! Ins Lager mit ihnen! Zur Station und ins Lager![1]

...А может быть, тот добрый черт вовсе и не был добрым, а сделал все со зла? Может быть, лучше было остаться там, у голой ивы? А то — холодный пульман, не пульман,— склеп! — набитый людьми. В пульмане сыро и темно. Люки под крышей заколочены досками и светятся пулевыми пробоинами, нанесенными из автомата не беспорядочно, а по системе — правильными квадратами, решеткой. На нарах — сладковатый тошнотворный запах гниющих ран. На полу, покрытом жидкой и скользкой грязцой,— едкий до слез запах мочи. Как только через автоматные пробоины просочится в вагон утренняя заря, дверь со скрежетом сдвигается на сторону. Двое из сорока под дулами винтовок идут за суточным рационом — четырьмя буханками хлеба по килограмму и ведром воды. Все! До следующего утра!

Лишь через неделю эшелон вывели из тупика на магистраль и, забыв покормить людей, отправили. Сипло гудел паровоз, переругивались колеса. Вагон раскачивался из стороны в сторону. Поезд мчался среди лесов и снегов под солнцем. В темных провонявших вагонах вез он людей в неизвестность.

— Кто знает, братишки, порт нашего назначения? — прозвучал вдруг в густом затхлом мраке простуженный бас.— Далеко ли, близко ли?

— Сказывали, Псков,— ответил кто-то с нижних нар, справа от Аркадия человек через пять-шесть.— Сказывали, лагерь.

— Поколесим...

— К чему колесить-то?.. Тут, надо считать, совсем недалече.

1 — Вот вам и Гельмут. Учитесь, Карл, самостоятельности. Вы говорите — партизаны. Армия это! В лагерь их! На станцию и в лагерь! (нем.).

— Э-ээ, братишка! У фрицев география по-другому построена. Они запросто могут весь наш экипаж отсюда с заходом в Сингапур до Гамбурга отправить. А ты — Псков! Готовь сухари, точи якоря — плавание будет долгим. Ну, познакомимся, что ли? Под крышей одной — не первый день. Как?

— Так-то оно... Вишь, ли...

— Понял, братишка! Опасаешься? Верно. Провокатор, что краб, ходит бочком и ловчит клешней зацепить покрепче. Только предлагаю я, братишки, исповедаться без дураков. При такой иллюминации фотографий наших никто не узрит. Лежи себе и выдавай в потолок, что душа диктует,— и тебе легче станет, и другим для науки сгодится. В посудине этой, никак, сорок человек? До Пскова, если нам положено в нем ошвартоваться, все выскажутся. Начали? Эй, в кубрике!

— Вишь, как оно...

— Понял! Значит, я и должен? — бас откашлялся.— Для маскировки голос у меня самый что ни на есть подходящий: его я в графе особые приметы помечаю. Ну да шут с ним!.. Хрен ее знает, братишки, кто навел ее на нас — немецкую подводную лодку. Вынырнула она со дна морского... В общем, двадцать первого это было, в двенадцать ноль-ноль Москвы. Топали мы из Клайпеды в Ленинград с дизельным горючим и бензином в дип-танках. Танкер "Сиваш" сошел со стапелей осенью сорокового. Посмотрели бы вы на него, братишки! Картина — корабль! Бегун мирового класса! На траверзе Готланда шли мы со скоростью шестнадцати узлов в час. Узлы, конечно, не с барахлом. В каждом — морская миля, а в каждой той морской миле — одна тысяча восемьсот пятьдесят два сухопутных метра, во! День, братишки, был самый что ни на есть июньский: солнце ярче корабельной меди. Море! А море, братишки, было в тот день — песня! И не просто песня, а... Ну, радость в музыке! И чайки! Эх, братишки! До чего же хороши, знать бы вам, наши балтийские чайки! А ширь, а простор, а свобода, свобода-то, братишки!..— Он поперхнулся. Он плакал, честное слово, плакал, этот бас.

— Вишь, как оно...

— Понял, братишка! Только не от жалости, от злости лютой плачу!.. Короче, встретились мы с той подлодкой, раскланялись по флотским правилам, как говорится, на ходу. Особых симпатий ни мы к ним, ни они к нам не испытывали, рандеву провели накоротке. Видим, немцы мешкают, мнутся. Видим, сигнальщик ихний флажками запорхал. Код — международный. "Остро нуждаюсь горючем,— сыплет.— Прошу оказать помощь." Подивились. Случай на боевом корабле да еще такого типа, надо сказать, курьезный. А что делать? Экспертную комиссию для проверки не пошлешь. Поверили. Радист наш сообщил в управление, что подводная лодка эль-сто сорок германских военно-морских сил просит оказать помощь горючим, и, чтобы ликвидировать неловкость, возникшую в связи с запросом, выдал но корабельной радиосети танцевальную музыку громкостью на все страны Балтийского бассейна. Немцы довольны, улыбаются. Наши под музыку острят в их адрес: "Как бы не мы, дескать, на веслах до берега пришлось бы вам добираться,"— посудину ихнюю разглядывают. Хищная она, эта подлодка, на вид: тонкая,

бритвоносая. Палуба, что обух ножа, — развернуться по-настоящему негде. Управление ответило быстро. Повозились мы чуток с палубными трубопроводами, залили немцам горючего и потопали прежним курсом. А на другой день — война. Так, братишки, в жизни случается. И ко всем этим радостям — наша знакомая тут как тут. "Стоп машины! — сигналит. — Принять на борт конвой!" Куда денешься? Соперница зубастая — пулеметы, пушки, торпеды. У нас и дробового ружья на "Сиваше" нет. Савельев — капитан — отзывает меня в сторонку. "Слушай,— говорит,— нельзя отдавать немцам горючее. Сейчас шлюпку с правого борта спускать на воду станем. Этим я займусь. А ты с левого — шлюпки на воду. Незаметно только, чтобы немец не заподозрил. Ребят в шлюпки. Пусть отваливают от "Сиваша" подальше. Не мешкай с ними. Там управишься по-скорому и к насосам. Рукой помашу — включай насосы на полную мощность." Закурил он, с мостика спустился, спокойно к борту подошел. А немцы уже не улыбаются, как вчера, а этак по-хозяйски на танкер пальцами показывают: какой приз в первый же день войны отхватили. Распорядился я по команде и к насосам... Подвиг. Слыхивали ведь вы, братишки, о подвигах и, должно быть, не раз слыхивали. Я о них тоже наслышан был, книг в свое время о героях много перечитал. Представлялся он мне, подвиг, чем-то исключительным, не каждому смертному доступным. Так ведь, братишки, а? Живет человек, работает человек, как все люди живут и работают, на подвиг пошел и, смотришь, все у него, пишут, стало по-другому, вроде переродился он за минуту до неузнаваемости.

— Так оно...

— Не так! Песок — все эти рассуждения! Глаза мне выколи, а я видеть буду, как Савельев спокойненько по палубе прогуливается, как одергивает свой белый капитанский китель и рукой машет! Врубил я насосы! Выхлестнулось из дип-танков горючее, забурлило по палубе, заклокотало потоком, плеснуло водопадом через борт. Пленка радужная по волне шире, шире... Капитан зажигалку к трубопроводу... И занялось, братишки, над Балтикой. Тот жар мне все еще лицо палит. И гудок! Слышу, братишки, будто стон человеческий, тот прощальный гудок "Сиваша".

Темнота скрывала рассказчика, но каждый из сорока видел его. В болезненно страстном накале слов зримо вставало гневное лицо человека, знающего теперь цену бытию земному, испытавшего в полной мере и добро и зло, человека, который знает, что сделать в жизни, и пройдет к своей цели через все.

— Эль-сто сорок, братишки, эль-сто сорок. Я прошу вас, братишки, запомните это клеймо. И где бы, когда бы, через сколько бы лет ни повстречались вы с ней — топите, давите, не жалейте! А вдруг смягчится сердце, представьте картину: море, "Сиваш" в огне. И в зареве, как в крови, эль-сто сорок расстреливает из пулеметов наши шлюпки!..

— Вишь, как оно.

— Хуже смерти оно. В живых нас трое осталось. К вечеру наткнулся немецкий сторожевик. Эх! Уж было бы мне, братишки, кингстоны открыть в ту злую минуту!.. За колючкой в Вентспилсе зарыл я механика и матроса. Зарыл и бежал.

— Можно, выходит, бежать-то?

— Попробуй.

— Вишь, крепко я надеюсь бежать-то. Потому и справку навел. Обидел небось? Не серчай. Ты своей, я своей бедой маемся. Дадено бы человеку было допрежь знать, что станется. Вишь, как оно... Войну против немца зачал я, никак, двадцать восьмого: неделю на формировке злость скапливал. Впервой схлестнулся с ним в Белоруссии. Известное дело, пятился от Бреста, покамест притерпелся. Ну, а притерпевшись, само собой, и вкладывать ему зачал. Сурьезные мужики в отделении моем ходили: за зрячину лба пуле не ставили, в драке потылицы не казали. Притерлись мы друг к дружке, приноровились. Ладно дело-то пошло. Конешно, высевались мужики помалу. Как-то рота наша третья пополнение получила. Из роты, как водится, взводу выделили. Взвод наш одним бойцом пополнился. Мордастый из себя такой парень, при силе. Знакомлю его с мужиками, перед строем речь говорю. Вишь, говорю, Машков, с кем служить довелось. Громом мы все пуганы, железом крещены. У Нишкомаева, вишь, медаль. За отвагу дадена. Так на медали той и обозначено. У Дешевых — орден. Каким он делом его заработал, спроси — не утаит, расскажет все доподлинно. Воюй, как они,— в добрые люди выйдешь. Уразумел? Уразумел,— отвечает. Тогда наука солдатская впрок пойдет. Поговорили. Только парень, замечаю, все поближе ко мне жмется, возле крутится, угодничает. Тут-то промашку и допустил я, пожалел. Робеет с непривычки,— думаю,— вскорости оклемается. Характер-то у меня жидкий. Еще батя покойный говаривал: "Всем ты, Панька, в сибирский корень: и статью, и ликом, и силой. Однако, паря, духом ты шибко хлипок. Порожняя жалость, Панька,— заняток не мужицкий. Справедливость и сурьезность в деле верховодят". Батя — он брехать не горазд был. Принял я по Машкову, значится, решение. Доглядеть бы за ним, да некогда. Воюем без передыху. Приставил я Машкова к пулеметчику Седелкину вторым номером. Ядреный мужик Седелкин, храбрый до отчаянности. Возле деревни Луневки крепко сшиблись мы с немцем. Деремся день, два деремся. Ни тпру ни ну: ни мы их, ни они нас. Всю землю округ вспахали, ровно под зябь сготовили. Выколупывал, выколупывал нас немец из окопов, осерчал. Ни свет ни заря пустил с дюжину танков. Утро только занялось, страхопуды и поперли. Мнут под себя, все как есть на нас воротят. В хвостах, различаем, автоматчики рысят. Худо ли, хорошо ли, а воевать все одно надо. Мы диспозицию с мужиками прикинули, никак, пулемет должно на фланг пристроить, чтоб пеших с техникой разлучить. Седелкин, говорю, вишь, на бугре, что по праву руку, стропила вроде торчат? Там, говорю, где вечор Петросова накрыло? Дзота, говорю, не осталось, а яма — куда ей деться! Айдате с Машковым туда, закрепляйтесь и по обстоятельствам секите немца. Подхватились они, угнездились в яме, одно рыло "максимово" средь полыни маячит. А танки — вот они, рядом танки-то! Самое время Седелкину в бой встревать, а он молчит. Я ракету — молчит! Я — Трифонова туда. Убило. Мы штыками автоматчиков доставать стали, а потом и вовсе на кулаки приняли. Угодили мне чем-то по голове, я и завял. Очухался в плену. Голова, как после угару, тяжелая, гудет. Гляжу, Машков. Маню его пальцем: голос пересекло. Подошел он. "Почему, — хриплю,

— пулемет молчал?" — "Седелкина, — отвечает, — убило". "А ты что, — спрашиваю, — делал? Руки отсохли?" — "Грех, — отвечает, — на душу брать не пожелал." Не контузия — удавил бы я его! Жгу его глазами, а он проповедует:" Люди перед Богом все братья... Война — грех..." — "Сучья ты кровь, — говорю, — недоносок. Ты немцам это проповедуй!" Сектантом Машков-то состоял. Не он — отбили бы мы атаку, как есть отбили бы!..

...Километры с маху кидались под грохочущие колеса. Мчался эшелон с военнопленными. Блекли и загорались, блекли и загорались в путанице суток пулевые пробоины на заколоченных люках. Люди рассказывали, и в душном темном чреве пульмана на глазах у сорока свершались подвиги, творились предательства и проходили,проходили чередой люди корыстные и щедрые сердцем, трусливые и бесстрашные. Тридцать девять судеб — плюс своя собственная судьба. Вздор, что беда делает человека безучастным, лишает его чувства сострадания к чужому горю! Здесь, в пульмане, история каждого сопереживалась с такой остротой и непосредственностью, что казалось всем, будто она послужила прологом к их собственному несчастью. И было каждому в пору наложить на себя руки. Но жили они, жили! Жили и ждали тревожно-горького продолжения теперь уже, должно быть, общей для всех истории. В долгих беседах старались и не могли найти успокоения. Ждали — каково она обернется, судьба? Что станется с ними сегодня, завтра, послезавтра?.. Не забывались и во сне. Сон был коротким, жутким.

Знакомство пробудило в них надежду, а затем и уверенность. Они поддерживали друг друга как и чем могли, старались вытравить страшное чувство обреченности.

— Эй, там в кубрике! — и весело на сердце.

— Вишь, как оно бывает,— и задумывались над капризами судьбы.

Восемнадцатого ноября эшелон прибыл в Псков. Медленно протащился по пригороду, поднырнул под вскинутый к низкому серому небу кулак семафора, окутал черным дымом плоские крыши пристанционных пакгаузов и остановился. Паровоз шумно отдувался после долгого бега. Лязгнули буфера. Лязг этот короткой судорогой пробежал по составу. И все стихло на минуту. А потом сразу звонким хрустом рассыпались по заснеженному перрону шаги, много шагов. О дверь пульмана состукала приставная лестница, заскрежетал запор. Вместе с клубами морозного воздуха в спертую темноту хлынул дневной свет.

— Выходи-и-и!

А они топтались в дверях, щурясь.

Первыми выпрыгнули из вагонов те, кто покрепче. Ослабевших принимали на руки, отводили в сторону, поддерживая. Их пошатывало, кружилась голова. Свежий воздух огнем жег в груди, вызывал приступы удушливого кашля.

— Станови-и-ись!

Отхлынули от вагонов и медленно растекались по перрону, выравнивались в линию. Перед строем откуда ни возьмись появилась бабка в старомодной борчатке и шали с кистями, опустила к ногам пухлый узел, всплеснула руками и певуче заголосила:

— Родненькие вы мои-и-и... Соколики-и-и...

Один из немцев выпихнул ее в узкую калитку, подцепил на штык забытый узел и растряс его. По грязной, затоптанной площадке ветерок разметал белье.

Колонна двигалась по улицам города в тяжелом, подавленном молчании. С болью и жалостью смотрели на оборванных измученных людей редкие прохожие. В прихваченных морозцем окнах домов то и дело мелькали бледные взволнованные лица.

— Эх, братишки!..

Аркадий покосился на рослого, чуть сутулого широкоплечего соседа с низко опущенной лобастой головой.

Именно таким он и представлялся ему в темном пульмане.

— Горько и стыдно, братишки!.. Псков, Псков! Древний российский город!..

И Аркадий сжал до боли руку вышагивающего рядом Михаила: полные сострадания взгляды псковитян коробили его. Аркадию вдруг захотелось крикнуть и крикнуть так, чтобы голос был услышан повсюду: "Не смотрите на нас жалостливо! Мы — солдаты, мы — бойцы!"

Порядки домов с обеих сторон улицы поредели. Развалины топорщились обугленными бревнами, черными осыпями кирпичей и печными трубами. Давно остались позади Кремль с Троицким собором, Довмонтов город. Исчез под снегом ветхий забор последнего пригородного домика на отшибе. Из-за горбатых заносов вставал лагерь. Ржавые с пучками колючек нити проволоки, чуть провисая, тянулись параллельно от кола до кола, от стояка к стояку, образуя четкий квадрат. Первая линия ограды. За первой — вторая, пониже — третья. В промежутках между ними — витки спиралей Бруно. И сторожевые вышки. Зловеще возвышались они над лагерем, и с глухих площадок, обращенных бойницами в сторону бараков с низкими, крытыми толем, покатыми крышами, торчали стволы крупнокалиберных пулеметов.

Колонна остановилась на пустынном плацу. Было ветрено и холодно. Конвой ушел греться. А они мерзли. Часа через два из тепла комендатуры вышли начальник конвоя с худощавым офицером. Оба навеселе. Френчи расстегнуты. Белые нижние рубашки тоже. Прогулялись вдоль строя туда и обратно, поулыбались, разглядывая выбеленные морозом лица, и убрались в тепло, не сказав ни слова. Из караульного помещения, примыкавшего к комендатуре, тотчас же высыпала лагерная команда. Брюхатый высокий немец в русском дубленом полушубке с подвернутыми рукавами ткнул в Аркадия пальцем и, подбоченясь, спросил весело:

— Тебе есть хольод?

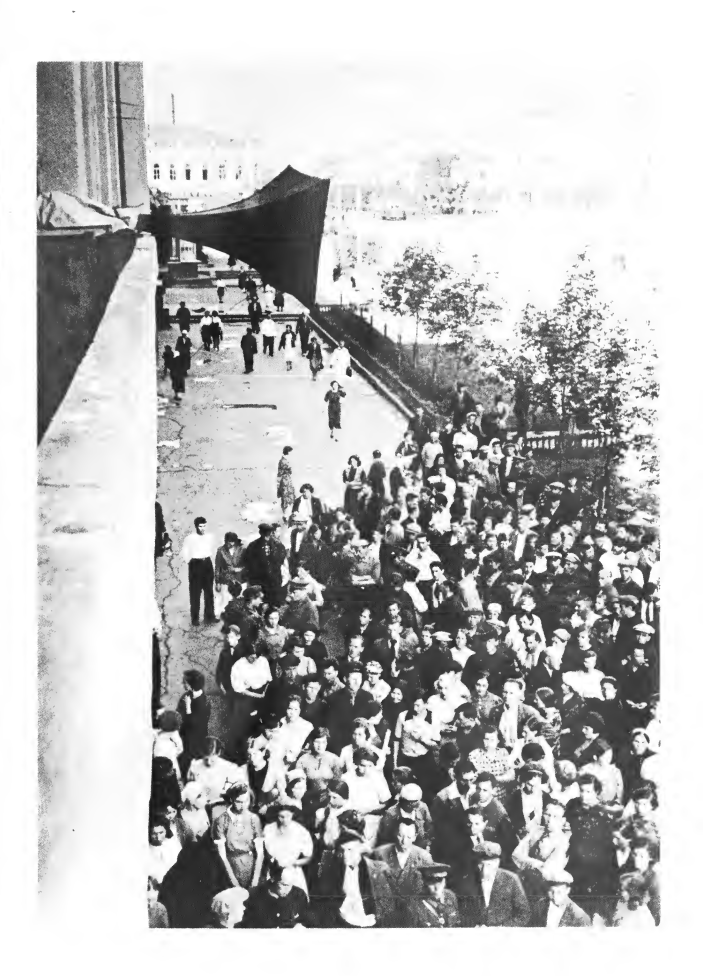
Аркадий промолчал.

— Перетерпим, — сказал кто-то сзади, во второй или третьей шеренге.

— Вас ист дас — перетерпим?

— Выстоим, то есть. Выдюжим.

— Перетерпим... выстоим... выдюжим,— немец добавил еще что-то, и охранники загоготали.— Сейчас мы будем делать для вас рюсский баня... Дождик... Кап-кап...

















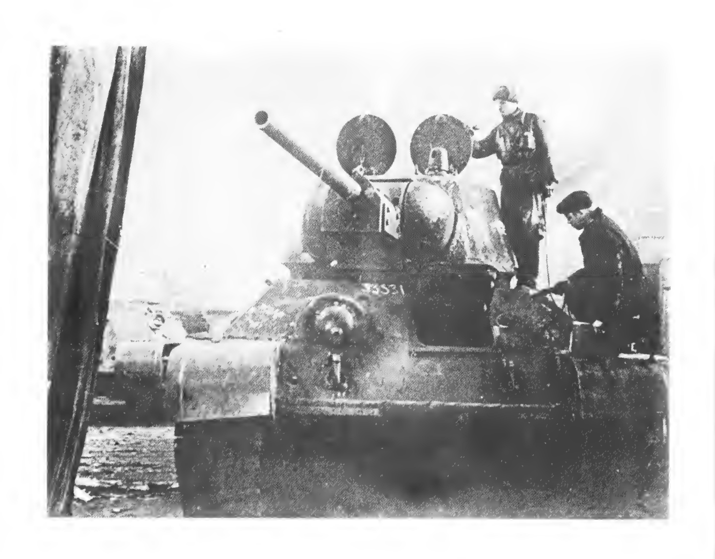






















По плацу раскатили пожарные шланги, укрепили брандспойты. Упругие кинжальные струи ледяной воды обрушились на колонну. Они сверкали, как стальные, и били так же твердо. На правом фланге возникло замешательство: струей воды был сбит с ног исхудалый красноармеец с костистым темным лицом и замотанной грязными бинтами и тряпками головой. Он с трудом поднялся, ощупывая и поправляя смокшую повязку. Немцы не отступились, вновь нацелили брандспойты, и вода обрушилась на раненого. Он не выдержал. Путаясь в полах мокрой шинели, увернулся от ледяного каскада и побежал, петляя, в глубь лагеря к баракам. С центральной вышки редко и гулко простучал пулемет. Красноармеец упал, прополз несколько метров, протянув за собой алую полосу, затем заметался потерянно на месте вправо, влево, приподнялся на руках, обернув к колонне бескровное лицо, и, подломившись в локтях, припал небритой щекой к мокрому снегу.

На правом фланге кто-то захохотал, захохотал беззаботно, радостно и страшно. Все притихли настороженно. На людном плацу слышались приглушенный свист вырывавшейся из брандспойтов воды да безумный счастливый смех сумасшедшего.

...А месяц спустя расстреляли комиссара Кабаргина. Голос этого большого замкнутого человека с ясными глазами и твердым взглядом Аркадий слышал трижды. Первый раз, когда после бани на плацу, разбив колонну по сотням, немцы развели военнопленных по баракам. Они не пустовали, бараки. В тусклой темноте тесных междурядий, разделяющих двухъярусные нары, новичкам приветливо пожимали руки, помогали раздеться, разместиться на верхних теплых нарах. И все это молча. Взволнованные заботой, новички не находили слов, да и не знали, как выразить свою благодарность, кого благодарить. Внезапно, как в том пульмане, простуженный бас выдал в потолок.

— Спасибо, братишки! Как живете — понятно. Провокаторы в нашем трюме имеются?

— Молчи, — твердо сказал кто-то в ответ.

Это был Кабаргин.

Второй раз — когда, вернувшись с каменоломен, где кололи и дробили гранит на крошку, и, выхлебав по черпаку брюквенной жижи, они с Николаем, забираясь на свою лежанку, заметили в углу клубок сцепившихся тел и хотели было разнять дерущихся. Их остановил твердый голос:

— Так надо!

Это был Кабаргин:

И в третий... Через день после самоубийства провокатора в каменоломне обнаружили написанные от руки листовки с сообщением о разгроме немцев под Москвой. Бригаду, на участке которой были листовки, выстроили на плацу, рассчитали на первый — десятый, и восемь человек сделали шаг вперед. Среди них оказался и Кабаргин. Им не зачитывали обвинений, их даже не избивали. На глазах у всего лагеря приказали раздеться и вывели за колючку ко рву.

Редкая в этих местах декабрьская оттепель растворила на плацу снег, перемешав его с грязью. Низкие облака крошили на землю не то дождь, не то град. А они

10 Зак. 474

шли через плац к воротам, шли редкой цепочкой. Кабаргин нес большую голову с мокрыми спутанными волосами гордо, высоко, словно не хотел смотреть на посиневшие босые ноги, утопающие в грязи. На кромке рва он еще больше выпрямился, будто вырос, приподнялся, заглядывая через колючку на молчаливые ряды, и крикнул:

— Фесенко!..

Сухой треск автоматных очередей заглушил его. Семеро по вязкому глинистому склону рва скатились вниз, а комиссар, запрокинувшись, скрылся в нем лишь по пояс. Над кромкой торчали босые ноги, широкие ступни и худые лодыжки, перехваченные завязанными бантиком тесемками кальсон.

Теперь уже Аркадий, Николай и Михаил, повинуясь голосу совести своей, вместе с товарищами бестрепетно исполнили последний приказ комиссара Кабаргина: этой же ночью Фесенко повесился на брючном ремне в темном углу барака, за нарами. Рано утром, обнаружив труп самоубийцы, дежурный по блоку побежал в комендатуру с докладом и вернулся оттуда сам не свой.

— Будет всем из-за этой падали,— сказал,— нашли где кончать. Вы бы его в карьере лучше прищучили...

Появление в бараке герр коменданта подтвердило мрачные прогнозы дежурного. Герр комендант был в обычном своем состоянии — навеселе. Поверх френча с расстегнутым воротом — короткая меховая безрукавка с опушкой из белки. Одна рука в кармане галифе, в другой — хлыст с вмонтированным в тяжелую рукоять электрическим фонарем. Герр комендант с улыбкой на плоском, как гладильная доска, продолговатом лице выслушал сбивчивый рапорт дежурного и, по юнкерской привычке вскидывая ноги, церемониально проследовал вдоль нар к месту происшествия. Труп самоубийцы осматривал долго и тщательно, затем исследовал земляной пол, стены. Обернув носовым платком ржавый гвоздь, к которому крепился ремень, попытался расшатать и, наконец, повисел на нем, подогнув голенастые ноги. Гвоздь не поддался. Первый этап расследования закончился. Но было видно, что комендант не думает оставлять все без последствий. Он удалился на сей раз торопливо и без улыбки. Опальный блок готовился ко второму этапу расследования — к испытанию на прочность.

Получасом позже в лагере поднялся переполох: из соседнего барака ночью бежали двенадцать человек. Выбрались они через слуховое окно, выставив раму вместе с решеткой. История Фесенко была на время забыта. Комендант распорядился погоней и приказал выстроить на плацу всех. И вот хмурое каре — военнопленные. Лицом к лицу с ними — автоматчики. Рогатые каски — на лоб. На груди автоматы стволами влево и на одном уровне. Комендант, разбрызгивая сапогами жидкий снег, метался внутри квадрата и, потрясая над головой скомканной в кулаке рукописной листовкой, оставленной беглецами, выкрикивал, утратив былое хладнокровие:

— Этот листовка есть грандиозный блеф, есть пропаганда! Москва капитулироваль! Наши войска давно есть в Москва!.. Ви меня поняль? Первий случай я сделаю вас наказать! Второй случай я сделаю вас расстрелять! Ви думать о побеге? Гут!

Тем временем солдаты вытащили на плац кусок спирали Бруно метров на семь-восемь, растянули его в длину по всем правилам фортификации, закрепили концы штыковыми железными штырями. Комендант измерил шагами протяженность сооружения, попробовал надежность креплений, присев на корточки, заглянул вовнутрь ржавой, топорщившейся колючками спирали, и на его плоском лице заизвивались в холодной усмешке губы.

— Я буду преподносить вам сюрприз, маленький тренировка. Это есть тропка на воля, на свобода. Битте.

И тренировка началась. "Битте!" Аркадий и его друзья знали цену этого слова. Но комендант настойчиво приглашал. Опустившись на четвереньки, Аркадий нырнул в тесное и цепкое нутро сужающейся где-то там в перспективе до светлого с копейку пятна спирали. Витки, витки, витки... Как много их на восьми метрах скрученной в пружину проволоки. И колючки!.. Сверху они пластают одежду, полосуют тело, а снизу — пропарывают ладони и колени. Мокрый снег внутри спирального туннеля порозовел, стал бурым, красным. На втором заходе застывшие руки и колени уже не отзывались болью на впивающиеся в них шипы, а ночью распухли, почернели и воспалились. Каждая рана горела невыносимо.

Побег изменил к худшему и без того жестокий уклад лагерной жизни. Перед выходом на работу в каменоломни изо дня в день подавалась команда: "По порядку номеров рассчитайсь!" Первый, второй!.. Комендант подходил к третьему. "Ви думать о побеге? Гут!" Значит, каждый третий. Значит, занимайся арифметикой: делится ли на три твой порядковый номер. Шестьсот сорок пять! Делится. Битте! И беги не мешкай под пинки, хлысты и дубинки охранников, выстроившихся в две шеренги лицом к лицу. В обед — первый, второй, третий!.. — комендант приближался к четвертому. Битте! Ужин — первый, второй, третий, четвертый, пятый!.. Каждый шестой, седьмой, восьмой... Битте, битте, битте!.. Арифметика, кто же тебя придумал?! Кто?!

...Как-то в поисках упавшего вниз малахая Аркадий забрался под нары и обнаружил хитро замаскированный лаз. Короткая доска стенной обшивки у самого пола едва держалась на гвоздях, вставленных в просторные гнезда. Он осторожно вынул доску и по плечо запустил руку в отверстие. Как далеко тянется лаз? Не тревожа понапрасну друзей, он в одиночку заполночь прополз по норе и оказался на грузовом дворе возле кухни. От патрулей площадку хорошо укрывал дровяной склад, от прожектора и наблюдателя с ближайшей вышки — шатровая крыша кухни. Часовые, надзирающие за бараками по ночам, просматривали площадку слева и справа, не пересекая ее. И, конечно, они могли бы заметить малейшее движение у стены, но стояки барачной обшивки служили надежным укрытием. Аркадий прижался к одному из стояков, и веря и не веря своему счастью. Он чувствовал свободу в мокрых звездах весеннего неба над головой, в запашистом влажном ветре с глуховатыми шорохами леса. Прожекторный луч, лизнув гребень крыши, высветил небо. И Аркадий, который уже считал себя почти на воле, подумал о летном поле, о прожекторах на взлетно-посадочной полосе...

Возбужденный вернулся он в барак и тотчас же растолкал товарищей. Он не мог говорить: из горла вырывались какие-то бессвязные всхлипы. И руки и тело сотрясались в радостной, неуемной дрожи. Николай пощупал шершавой горячей ладонью холодный лоб командира.

— Болен? — спросил.— Что с тобой, Аркаша?

Рассказу не поверили. Николай, схватив руку командира, подсчитывал пульс.

— Да отстаньте, черти!

И они поняли, что Аркадий не бредит, не шутит. Они заговорили наперебой.

— Чего тогда ждать? — сказал Николай.— Двинулись?

— Эх, пробежимся! Лес близко. Грязь все следы до утра затянет. Айда! — сказал Михаил.

— Чудики. От радости у вас это, что ли? А остальные ребята? А проволочная ограда? А кто замаскирует после ухода подкоп? Нет, поработать нам еще предстоит, потрудиться.

...Горсть земли. Должно быть, еще в устных преданиях древнейших времен стала она символом больших человеческих чувств. Прошли тысячелетия, а символ не померк. Не перечесть былин и сказок, поэм и стихов, посвященных этой святыне. И никто ныне не будет даже сомневаться в том, что взятая с дорогой могилы заветная горсть земли передает любовь и тепло неугасаемого сердца, что взятая на родной улице города или села заветная горсть земли приносит в бою силу.

Под колючими ограждениями концентрационного лагеря была тоже своя — российская земля. Эту горсть земли российской при свете чужих прожекторов стерегли чужие солдаты.

Темными ночами, когда лагерь погружался в сон, рабочие группы выходили на рытье подкопа, выходили парами: один взрыхлял железным скребком землю, проделывая под проволокой широкое и ровное, без крутизны, углубление, по горсти складывал землю в котелок и передавал напарнику. Тот уносил ее в барак и тоже по горсти рассыпал под нарами. Сорок горстей — котелок. Два котелка — смена. Они даже свыклись с этой работой, ухитрялись спать до поры, пока не коснется плеча осторожная рука сменщика, пока не проникнет в сознание шепот: "Братишка, на вахту!"

В понедельник должен был совершиться побег, но судьба распорядилась по-своему. Воскресным утром, после занятий по арифметике, помощник начальника лагеря Пактус, худой длиннорукий немец из Шлезвига, сказал, подслеповато щурясь, что в связи с побегом, имевшим место в декабре, часть военнопленных переводится в другие концентрационные лагеря, что отправка назначена господином комендантом на полдень, что он, Пактус, имеет поручение господина коменданта зачитать списки и просит приготовиться к отъезду всех, кто будет сейчас назван. Прошений и протестов администрация лагеря не принимает.

Аркадий и Михаил смотрели на Николая сквозь пелену, застилавшую глаза. Как ни крепились они, а не могли преодолеть ее. Седой, а раньше они этого не замечали, морщинистый (тоже не замечали) и враз безнадежно постаревший, стоял Николай среди тех, кто оставался в Пинском лагере. И надо было что-то сказать другу на прощание. Надо было сказать — пока предоставлялась такая возможность.

Аркадий взглядом настойчиво отыскивал глаза штурмана. А тот их прятал, боялся поднять на товарищей во избежание слез.

— Коля!

Ближайший автоматчик вскинул голову, оглядел притихшие ряды.

— Коля!

Человек, которому доведется увидеть такой взгляд, запомнит его навечно. Николай посмотрел на друзей.

— Ну, Колька!.. Как там!.. В общем, не забывай, что говорил Алеша Сбоев, помни...

— Аудентес фортуна юват,— прошелестел Николай одними губами, пытаясь улыбнуться, и на виду у автоматчика махнул рукой.— Эх, Аркаша... Миха-а...

...И бегут в зарешеченном вагонном окне прозрачные весенние перелески под голубым небом, проплывают, степенно разворачиваясь, будто устали они лежать под снегом и желают чуточку поразмяться, темные, набухшие влагой невспаханные поля. И ветер с воли гуляет по вагону, ворошит седые волосы молодых парней, гладит по запавшим щекам.

— Вишь, как оно получается,— сочувственно взглянул на молчаливого Аркадия бородатый и худой, как мощи, сосед. Помедлил немного, вздохнул.— Ядреный был дружок-то ваш... И этот, который братишка... Тот, что про море говорил нам, про германскую эль-сто сорок. Он тоже, по всему, ядреный парень. Не пропадут...

...Лагеря, лагеря, лагеря, лагеря... Псковский, Двинский, Режицкий...

Остановка. Концлагерь.

— Пленных не принимаем!

И опять переругиваются колеса.

Остановка. Концлагерь.

— Не надо! Везите дальше!

И гудок паровоза. И торопится, бежит весна в солнце и зелени по ту сторону зарешеченного вагонного люка. И пахнет свободой теплый ветер с воли.

Лужский лагерь, куда они попали в конце марта 1942 года, мало чем отличался от Псковского. Та же колючка, те же сторожевые вышки по углам и в центре, те же бараки. И разговорный ассортимент у охранников тот же — кулак, дубинка, сапог. Правда, к счастью, без арифметики. Первые дни, обживаясь на новом месте, Аркадий и Михаил вели себя сдержанно. Это и определило их дальнейшую судьбу. Уверовав в благонадежность молчаливых парней, комендант распределил их в лагерь лесорубов, что находился близ шоссе на Псков, километрах в шести-семи от Луги. Режим у лесорубов был помягче. В этом лагере Аркадий и сошелся с Николаем Смирновым, бывшим танкистом, рослым, чуть грубоватым сибиряком. Человек большой физической силы, нелюдимый и на редкость уравновешенный, Смирнов внушал всем уважение к себе, а немцы его, пожалуй, даже побаивались. Аркадий сблизился с ним не сразу. Сначала старался почаще встречаться с ним в лесосеке, выискивал работу где-нибудь поблизости, чтобы при случае можно было

перекинуться со Смирновым фразой, другой. Оба вскоре привыкли к такому соседству. Их первые разговоры носили самый безобидный характер и сводились обычно к житейским делам: жидкой брюквенной похлебке, одежде. Аркадий подметил, что всегда во время таких бесед возле оказывался Горбачев, денщик начальника участка. Сухонький, большеголовый, он тушканчиком замирал в тени кустов или за стволами и ловил каждое слово. В лагере все знали, что по наущению фельдфебеля Отто Горбачев занимается слежкой и наушничает. И, надо сказать, проделывал он это мастерски. Даже сама природа позаботилась о том, чтобы показать истинное призвание Горбачева: подбородок, губы и кончик носа клином выступали вперед и придавали денщиковской физиономии форму острой собачьей морды, а крупные уши, торчком прилепленные к треугольному черепу со скошенным лбом, как нельзя кстати дополняли это сходство.

Горбачев не был дураком, все понимал и осторожничал. И все же судьба подкараулила его близ делянки, где работали Аркадий, Михаил и Николай. Подпилив толстокорую сосну, они обрушили ее на расчищенную площадку и, прежде чем взяться за обрезку сучьев, присели на ствол передохнуть. Было душно. Согретая солнцем влажная земля парила. Вытирая пот, Аркадий заметил среди листвы физиономию Горбачева, не спеша поднялся и, озабоченно осмотрев пилу, громко сказал:

— Подправить бы надо. Мастер у себя?

Но к дощатой сараюшке, где всегда торчал Отто, Аркадий не пошел. Углубившись в ельник, он круто повернул в сторону, прихватил с куста брезентовый дождевик, который по утрам оберегал фельдфебеля от холодной росы, и, зайдя сзади, накрыл этим плащом Горбачева с головой, заткнув разинутый было рот комком промасленной ветоши. Синяки и шишки, полученные в темную, не пошли Горбачеву впрок, но зато окончательно сблизили Аркадия с Николаем Смирновым. Теперь они говорили обо всем откровенно.

Мысль о побеге подал Аркадий. За время боевых полетов над Псковщиной он достаточно хорошо изучил местность и при нужде мог разработать безопасный маршрут. Нужда такая приспела, и Аркадий начал деятельно готовить товарищей к побегу. Объяснял им, как ориентироваться по солнцу, по густоте древесных крон, по мху на стволах, по звездам...

Дождливой ветреной ночью все население второго барака покинуло лесной лагерь. В пустой темноте жилья глухо мычал привязанный к столбу Горбачев да шуршали дождевые капли, врываясь через выставленное окно.

Группы, сколоченные загодя, распались. В ненастной ночи потерялся и Николай Смирнов. Аркадий с Михаилом остались вдвоем. Холодное серое утро настигло их далеко от лагеря на пути к озеру Ильмень.

И потянулись дни... Нет, они были вовсе не такими, как тогда в зимнем лесу под Новосельем. Голодно. Но ведь свобода! Холодно и сыро. Но ведь свобода! Хочешь есть — отыскивай, пожалуйста, сладкий мучнистый корень. Он питательней

брюквенной бурды. Хочешь согреться — пробежись, спляши вприсядку, и никто не ткнет тебе под ребра автоматом. Дождь сеялся до полудня. Небо просветлело. Теплый ветер обсушил траву. Зашелестели ветви сосен и елей. И не вкрадчиво зашелестели, не льстиво, как там, под Новосельем, а по-весеннему мелодично и приятно. Свобода!

И они наслаждались свободой, впервые, казалось, по-настоящему прониклись неповторимыми красотами природы. Им нравилось встречать утренние зори. Задолго до рассвета забирались они в самую глушь, ложились на хрусткую прошлогоднюю траву и, глядя вверх, ждали. Темнота была непроницаема. Но вот в ней чуть прорезались, даже не прорезались, а лишь слегка определились неясными контурами кроны деревьев. И по мере того как выцветало небо, они все наливались и наливались густой, темной краской, простирали над землей ветви, как руки, ладонями вниз. А когда розовели просветы между ветвями, хвоя зеленела. Утренний ветер принимался ерошить иголки. Солнце — вот оно, солнце! И пробуждались птицы.

Таким свиданием с зарей встретили Аркадий и Михаил пятые сутки лесных скитаний. Поприветствовав первый луч, они умылись по пояс из холодного ручья и, взбодренные, размашисто зашагали по чащобе. Утренний лес оживал. Еще крепче запахло прелым листом, грибами, травой... На открытых солнцу полянах расправились венчики цветов. А над болотистыми низинами пока еще слоился туман. Он, казалось, парил над кочками, над камышами, над водой заросших хвощами бочажин. В синеве плавали облака, сбиваясь в плотную стаю.

К полудню в лесу стало душно и тихо, а вскоре брызнул мелкий и, судя по осевшему к земле серому небу, затяжной дождь. Еще не просохшая по-настоящему почва раскисла и, почавкивая, плыла под ногами. Но Аркадий держался этой узкой скользкой тропы, шагал по ней, оглядываясь на Михаила. Подул свежий ветер и принес запах большого водоема: где-то близко был Ильмень.

— Озеро,— сказал Аркадий, попридержав шаг.— Дышит озеро.

В шелесте дождя послышались голоса.

— Миша! — Аркадий бросился с тропы в кусты и пополз, вжимаясь всем телом в мокрую траву.— Это немцы, Миша, немцы... Давай к болоту, к камышам...

Сквозь серую пелену дождя пробивались навстречу им огни карманных фонарей. Аркадий круто метнулся в сторону — огни, в другую — огни. Кольцо! Аркадий повернулся на бок и, не вставая, виновато посмотрел на Михаила.

— Точка,— сказал,— все.

Лицо у Михаила стало жалким, губы запрыгали. Размазывая по мокрым щекам грязь, он поднялся в рост и закричал:

— К черту!.. Вот он — я, вот! Идите, хватайте!..

Аркадий встал рядом, встал плечом к плечу.

ОДИН НА ОДИН

Их разлучили в центральном лагере города Луги, разлучили сразу. Михаил был избит и брошен в карцер. Аркадий был тоже избит, но бросили его в арестантский вагон пассажирского поезда, следовавшего до Риги. Солдаты не церемонились, они швырнули Аркадия на пол. Но Аркадий не чувствовал боли, он как бы одеревенел. Кто-то склонился, бережно приподнял его разбитую голову и, заглядывая в лицо, спросил:

— Больно, друг?

Он промолчал.

— Место для тебя мы сготовили. Поднимайся.

Он попытался и не смог.

— Взяли, ребята! Под руки, под руки бери. Не дергай: изломан человек.

— Не иначе за побег его так...

— Ты не дергай!

На полке, куда его заботливо уложили товарищи по несчастью, Аркадий немного пришел в себя. Уставившись неподвижным взглядом в раскачивающийся потолок, по которому время от времени проскальзывали тени мостовых ферм, ажурных столбов, семафоров, он не думал, а грезил. Мысли воплощались в красочные картины. И Аркадий видел все-все. Командир полка дает задание. "Желаю успеха, лейтенант." Не удачи, а успеха... "А нам с тобой, Миша,— думал он,— как раз и не хватило этой удачи," — и увидел избитое в кровь лицо со слипшимися на лбу волосами. Потом посетил конференц-зал. В нем собрались все. Хоть по фамилиям перечисляй: Сбоев, Новиков, Колебанов... А это горит станция. Депо рухнуло. Огонь и дым. Эль-сто сорок расстреливает шлюпку с людьми. Николай в шеренге военнопленных... Фонари, фонари, как волчьи глаза... Бред кончился под утро. Аркадий выпил жестянку воды, смочил голову и до Риги не проронил ни слова. Молчал он и в черной берте — крытой арестантской машине, доставившей его в тюрьму.

Двадцать восьмая камера. Каменный мешок два метра в длину, полтора в ширину. Откидная койка, бетонная тумба. В толстой стене, под самым потолком — окно-амбразура. Решетка. Клочок голубого неба. Металлическая дверь с глазком для надсмотрщика. В коридоре гулко отдаются шаги кованых сапог — часовой. И звуки шагов будто вонзаются в мозг. Первый, второй, третий... Арифметика, кто тебя придумал?! Кто?! Ночь Аркадий провел в бредовом полусне.

Утром его повели на допрос. В обширном кабинете, у стены, под портретом Гитлера, стоял единственный стол, за которым пожилой лысеющий офицер не спеша перебирал бумаги. Он взглянул приветливо, улыбнулся и, надувая чисто выбритые щеки, сделал широкий жест в сторону стула.

— Битте.

Аркадий сел. Следователь не торопился. Изредка поглядывая на угрюмое лицо Аркадия, он достал из коробочки пилку для ногтей и сосредоточенно занялся мизинцем. Закончив маникюр, достал расческу, подровнял на лысине редкие волосы и спросил:

— На перегоне Уторгош — Батецкий был подорван воинский эшелон. Что вы имеете сказать по этому поводу? — Немец безукоризненно говорил по-русски.

— Я там не был.

— Превосходно. Тогда расскажите о побеге из лесного лагеря.

— Я там не был.

— Превосходно.— Немец пожевал губами, подумал немного и позвонил.

Вошли штатский благообразный седой мужчина в черном костюме с золотым пауком свастики на лацкане пиджака и два солдата с резиновыми дубинками в руках. Штатский, кивнув следователю, прошел к окну, раздвинул на подоконнике цветы и легким толчком ладони распахнул створки.

— Schweigt er? [1] — спросил, не оборачиваясь.

— Er wird reden.[2]

Солдаты сдернули Аркадия со стула, завернули руки за спину и подвели к кушетке. Клеенка на ней была холодная и липкая. Аркадий лег лицом вниз, закусил губу. Первый удар дубинки пересек спину огнем. Второй был уже не так страшен. По привычке Аркадий занимался арифметикой и прислушивался к разговору следователя со штатским. Тот, похохатывая, рассказывал:

— Erna schuitzt mich vor der hiesigen Kalte. Sieh mal, was fur eine warme Bauchbinde sie geschickt hat. Kamelhaarwolle. Fursorge... Liebe...[3]

Аркадий одернул рубаху, пиджак и, пошатываясь, приблизился к стулу.

— Битте! — пригласил следователь.— На перегоне Уторгош — Батецкий был подорван воинский эшелон. Что вы имеете сказать по этому поводу?

— Я там не был.

— Превосходно. Тогда расскажите о побеге из лесного лагеря.

— Я там не был.

— Превосходно. Ганс!

Дубинки не жгут, а кромсают живое тело. На клеенке расплылись кровяные лужицы.

— Meine Erna glaubt an die ewige Liebe. Fur siebin ich Monch! [4] — рассказывал следователь штатскому.

...И всю неделю перегон Уторгош — Батецкий, и всю неделю лесной лагерь, и всю неделю Ганс!

Аркадий и бровью не повел, когда во время одного из допросов в кабинет следователя вошел, кланяясь, Горбачев. Он было бросился к Аркадию, протянув руки, но, натолкнувшись на холодный взгляд, остановился шагах в двух.

— Вы знакомы? — спросил следователь.

— Как же, господин офицер! Мы очень даже знакомы! — заторопился Горбачев.— Очень даже,— и к Аркадию: — Ты же был верховодом. Ну? Меня в лесосеке избил. К столбу меня привязал. Смирнова ты сговорил бежать. Вспомни! Весь лесной лагерь взбаламутил!

---

1 — Молчнт? (нем.).

2 — Заговорит (нем.).

3 — Эрна бережет меня от здешннх холодов. Посмотри, какой теплый набрюшннк она прислала. Верблюжья шерсть. Забота. Любовь... (нем.).

4 — Моя Эрна верит в одиолюбов. Для нее -- я монах. (нем.)

— Я там не был,— сказал Аркадий и непритворно зевнул.— А встретил бы где такого подлеца, как ты, задушил бы.

— Ганс!..

...Очные ставки следовали одна за другой. Знакомые ребята, бежавшие из многочисленных концлагерей, разбросанных на псковской земле. Взгляд на взгляд с ними. И твердый их голос — ответ каждого:

— Я его не знаю.

И ответ Аркадия при каждой встрече с такими:

— Нет. Впервые вижу.

Незнакомые люди горбачевского склада то наглые, то льстивые.

— О-о! Господин офицер, это же тот самый, это наш командир. Мы были с ним в партизанском отряде под Уторгошем. Он! — и Аркадию: — Брось, командир, запираться: им все известно.

Честь, совесть! Неужели и вас можно превратить в товар?

В тот день Аркадий был избит до бесчувствия. В двадцать восьмую камеру его не понесли, а, отомкнув ближайшую, не заботясь, швырнули в двери прямо на окровавленного человека. Собрав остатки сил, Аркадий скатился с податливого распростертого под ним тела к стене и, прижимаясь горячим лбом к холодному отсыревшему бетону, слушал бессвязный, прерывистый бред. Сосед задыхался. В груди у него булькало, хрипело. Стараясь разобрать горячечные слова, Аркадий напрягал слух, придерживал дыхание. Что, что он говорит?! Как будто... И, вскрикнув от боли, Аркадий заставил себя сначала сесть, а затем повернуться к соседу. Растерзанное лицо того было сплошной раной. Он шептал, этот сосед, шептал как заклятие: "Эль-сто сорок, эль-сто сорок... эль-сто сорок..."

Умер моряк с "Сиваша" под утро.

КРЫЛАТЫЕ БЕГЛЕЦЫ

Разговор по душам, когда говоришь, что накипело, говоришь без боязни, зная, что тебе сочувствуют,— это приятно. А разговор по душам с самим собой, когда ты задаешь вопросы, ты отвечаешь на них, ты сам и осуждаешь себя и сочувствуешь себе,— это на грани безумия. В одиночке нельзя разговаривать вслух, нельзя ходить, если тебя держат ноги после очередного допроса, нельзя лежать на полу. Можно только сидеть на бетонной тумбе и — этого немцы запретить не в силах — думать. Николай. Жив ли он? Михаил. Жив ли он? Комиссар Кабаргин расстрелян. Моряк с "Сиваша" замучен гестаповцами... Ты остался один, Аркадий, совсем-совсем один. Скоро и твоя очередь. Ты устал. Для тебя смерть — избавление, счастье. Так? Но Аркадий гнал от себя эти мысли, боролся с ними, возражал гневно самому себе: "Не раскисать! Надо выжить, надо!"

Месяц допросы, очные ставки и размышления в одиночке. Второй и третий месяцы размышления в одиночке, очные ставки и допросы. Ничего не смог добиться следователь от "упрямой русской свиньи", что молчит под пытками, от которых и железо бы расплавилось. Аркадий потерял надежду вырваться из пекла... Это случилось совершенно неожиданно. Ночью щелкнул замок. Дверь одиночки распахну-

лась. Тюремный надзиратель грубо вытолкнул Аркадия в коридор. Два солдата, один впереди, другой сзади, вывели его в тюремный двор к черной берте.

И вот он — Рижский лагерь N 350 для русских военнопленных.

Во многих лагерях побывал за полтора года Аркадий, и всюду режим одинаков. Иногда только господа начальники вносили в этот режим некоторое жестокое разнообразие. Рижский лагерь отличался гуманным отношением к заключенным: их расстреливали за городом. Но все чаще и чаще военнопленные испытывали радость. С воли проникали в лагерь известия, что немцев отбросили от Волги, от Курска и Орла, что катятся они на запад. Конечно, по вымуштрованным гестаповцам, по внешне невозмутимым охранникам нельзя было определить, как там на фронте — хорошо ли, плохо ли сегодня, но факт, что военнопленных стали широко использовать на оборонных работах, говорил о многом. В лагере N 350 тоже сколотили строительные бригады. На подступах к Риге они рыли траншеи и противотанковые рвы, сооружали дзоты.

Однажды бригаду, в которой работал Аркадий, направили на Рижский аэродром. Аркадий ковырялся в земле и с завистью смотрел на широкое летное поле. С него один за другим уходили в небо самолеты. Гул моторов пробуждал и воспоминания горькие, но приятные, и тоску, и... Аркадий едва сдерживал слезы. На яму вдруг надвинулась тень. Аркадий вскинул голову и увидел незнакомого молодого парня в замасленном комбинезоне. Тот присел возле ямы и, щелкнув пальцами по черенку лопаты, рассмеялся:

— Глубоко не рой: там внизу — Америка! Откуда?

— Из лагеря,— ответил Аркадий, берясь за лопату.

— Это я и без тебя знаю, что из лагеря. Родом откуда?

— Родился на Урале.

— Тю-ю-ю! Так мы оказывается земляки? Я — ленинградец! — и опять засмеялся.— Давай руку. Владимир Крупский, бывший сержант пехоты.

Они разговорились. С того дня Владимир стал навещать Аркадия. Старший из немцев поначалу придирался, покрикивал на гостя, но, узнав, что тот работает на аэродроме, смилостивился и смотрел на эту странную дружбу сквозь пальцы. О многом рассказал Крупский новому товарищу в ответ на доверительную исповедь Аркадия о своих скитаниях по лагерям.

— Вместе бы нам быть,— сказал он как-то.— Я, Аркадий, постараюсь перетащить тебя на аэродром. Как?

Аркадий чуть было не закричал от радости, чуть было не выдал своего волнения.

— Хорошо было бы,— ответил сдержанно.— Вместе и горе меньше.

Дня три после этого памятного разговора Владимир не появлялся. Аркадий уже и надежду потерял свидеться с ним. Казалось, лучик счастья, сверкнув и ослепив, угас безвозвратно. А самолеты гудели призывно, проносились над головой...

Второго сентября утром, когда, прибыв на место работы, бригада выстроилась за инструментом, к Аркадию подошел Владимир и, наскоро пожав руку, сказал:

— Пойдем. Сватать тебя буду. Держись!..

Возле дощатой будки, где хранились лопаты, ломы и тачки, стояла открытая легковая машина. Худощавый узколицый немец в авиационной фуражке с высокой

тульей, развалясь на мягком сиденье, ощупывал взглядом Аркадия и постукивал длинными цепкими пальцами по лакированному черному борту дверцы.

— Этот, господин комендант,— говорил ему Крупский. Офицер смотрел на Аркадия не мигая и слушал.— Я знаю его, господин комендант. Фамилия — Ковязин, зовут — Аркадием. Первоклассный кочегар!

— Гут.

— Спасибо, господин комендант.

Пахнув бензинным перегаром, автомобиль умчался в сторону города. Счастливый Аркадий и слушал и не слышал Владимира. Но возможно ли это? Неужели это возможно?!

В лагере Аркадию официально объявили, что по личной просьбе коменданта аэродрома майора Келля он откомандировывается с завтрашнего дня в личное господина майора распоряжение. Этой ночью Аркадий не мог сомкнуть глаз, и длилась она бесконечно долго. Утром его привезли на новую работу. Инженер Хохрейтор дотошно выспрашивал о пребывании в плену, о гражданской профессии. И как раз к моменту выложил Аркадий в правдивом рассказе добрую науку дяди Леши Кобзева, показал себя перед инженером бывалым металлургом.

Старший подметальщик ангаров Лягушкин быстро ввел Аркадия в круг прямых обязанностей. Долго в этот день бродил Аркадий по ангарам с метлой в руках. Вокруг ни соринки, а он все бродил, все глядел на самолеты, вдыхал жадно запахи бензина и масла.

Угол Аркадию выделили в бараке. Крупский жил неподалеку тоже в бараке, но в отдельной каморке. Они стали часто проводить вместе вечера. Откровенные беседы укрепили Аркадия в мысли, что Владимир замалчивает, недоговаривает что-то. Он не понуждал его, так как сам пока еще не решался рассказать о своем замысле.

Семнадцатого сентября Аркадий пришел на аэродром раньше обычного, вымел дорожку перед проходной, поболтал несколько минут с Лягушкиным и, зажав под мышкой метлу, направился к открытому ангару. Поле перед ангаром было свободно, и готовый к вылету "Мессершмитт-109" смотрел из распахнутых ворот прямо на взлетную полосу. Аркадий огляделся — никого. Прислонив к фюзеляжу метелку, кошкой вскарабкался в кабину, включил все имеющиеся на виду кнопки, но мотор молчал. Пулей вынесся из машины. Бросало то в холод, то в жар. Руки дрожали. Долго не мог успокоиться, переживая неудачу.

Ночью, пригласив к себе Крупского, Аркадий рассказал все.

На другой день Владимир принес за пазухой комбинезона истрепанный немецкий авиационный справочник, по которому они выбрали подходящий для перелета тип машины и стали вместе готовиться к побегу. Все свободное время отдавали подготовке. Оба понимали, что вопрос жизни или смерти будут решать всего две-три минуты. Значит, малейшая оплошность грозила полной катастрофой. План захвата машины Аркадий разработал до мельчайших деталей. Прежде всего сам Аркадий должен был проследить, когда намеченный самолет заправят бензином и

маслом, опробуют мотор. Выбрав удобный момент, известив Владимира, пробраться в кабину; Владимир, подбежав, должен выбить из-под шасси колодки и...

— Надо раздобыть оружие. А вдруг!..

— Оружие, Аркаша, я достану.

— Пистолеты бы и гранат парочку.

— Достану.

Аркадий назубок выучил схему запусков моторов и каждодневно практиковался, наблюдая за летчиками. По их движениям в кабинах он мысленно прослеживал последовательность включения всех систем.

...Октябрьский день этот был на редкость погожим. Солнце грело по-южному. У метеобудки, на шесте, чулком болталась полосатая колбаса. В небе, как рыбы в глубоком омуте, серебрились неподвижные облака. Аэродром обезлюдел: мотористы и техники ушли на обед. Аркадий приглядел подготовленный к боевому вылету самолет-разведчик. Машина была опробована у него на глазах. Вихрем ворвался он в кочегарку.

— Собирайся, Володя! Живо!

Владимир побледнел, засуетился.

— Сейчас, сейчас... Пистолеты надо вытащить, гранаты,— и полез в темный угол к трубам.— Здесь.

Твердой походкой шли через поле к самолету. В синих комбинезонах они не отличались от немцев-мотористов. У конторки ангара сидели техники, закусывали, пили молоко прямо из бутылок, разговаривали. Чуть поодаль солдаты складывали в кузов грузовика бумажные мешки. Один из солдат, посмотрев на мотористов из-под ладони, махнул рукой. Аркадий нашел в себе мужество ответить ему небрежным коротким взмахом. Кабина самолета показалась знакомой. Аркадий сел в пилотское кресло, оглядел приборы. Нажал кнопку, стартер. Винт — ни с места. Повторил все сначала. Тишина. Винт — ни с места.

— Ну, Аркаша? Что у тебя? — Владимир смотрел лихорадочно горящими глазами. Лицо было бескровным. Лоб усеян каплями пота.

— Где-то выключено. А где...— Аркадий быстро перебирал все рычажки и кнопки.

На приборной доске вспыхнула лампочка. На крыльях тоже загорелись сигнальные фонари. Аркадий волновался: еще минута задержки и — провал. Мимо проехал на велосипеде моторист, притормозил, прокричал что-то, указав на зажженные сигналы, и запылил к комендатуре.

Аркадий был поглощен только одним — завести моторы.

Заметив с правой стороны на борту небольшой рычажок, он дернул его. Рычажок, спружинив, отскочил. Тогда, придерживая его, Аркадий давнул на стартер. Мотор чихнул раз, другой и... заревел, сотрясая машину. Завихрилась пыль. Лопасти винта слились в сверкающий диск.

— Летим, Володька! Летим!

Крупский ввалился в кабину.

А к самолету уже спешили встревоженные немцы. Они неслись через поле, кричали и размахивали руками.

— Битте! Битте! — вдруг заорал во все горло Аркадий, выруливая на стартовую дорожку.

Владимир тоже неистовствовал. Он смеялся и плакал. Выхватив пистолет, он стал стрелять в воздух, в бегущих немцев.

Машина уже оторвалась от земли и легла на курс 90 градусов. Под крылом проплыл пригород. Аркадий шел на бреющем. Высоко в небе пронеслись "мессершмитты". Вернулись. Дали круг. Ищите, ищите! Аркадий снизился еще. Шасси самолета почти касались деревьев. Колонна солдат на шоссе остановилась, наблюдая за лихачом. Владимир легонько толкнул Аркадия в плечо, показал гранату-, лимонку и, выдернув запальное кольцо, швырнул ее вниз.

— Битте! — весело крикнул Аркадий.

— Что? Не слышу? — Владимир приставил к уху ладонь.

— Правильно, Володя! Действуй! Аудентес фортуна юват! Правильно говорил Алешка Сбоев. Счастье помогает смелым!

Президиум Верховного Совета СССР Указом от 6 мая 1965 года наградил орденом Ленина бывшего летчика Аркадия Михайловича Ковязина за мужество и героизм, проявленные им в годы Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.



Венедикт Станцев



Венедикт Тимофеевич СТАНЦЕВ (1922) с первых дней Великой Отечественной войны на фронте — рядовой стрелок, пулеметчик, командир отделения. В тяжелых боях под Москвой и Ленинградом, в Сталинградской битве, в сражениях за Перекоп зарождались строки будущих стихов. С сентября 1944 года В.Станцев корреспондент газеты "Боевая гвардейская", с февраля 1945 года — газеты "Гвардеец". Первые стихи на Урале напечатаны в 1957 году. Ныне В.Т.Станцев — автор нескольких книг стихов, в том числе "Иду в бой", "Залп", "Звездный дождь". Им завершена документальная повесть о рождении гвардии.

В.Т.Станцев награжден орденами Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, восемнадцатью медалями.



ТАК НАЧИНАЛАСЬ ГВАРДИЯ ...

ДО СВИДАНИЯ, УРАЛ

Бойцы весело выглядывали из дверей теплушек. Вот и Пермь позади. Махали пилотками: — До свидания, Урал,жди нас к уборочной...

После Перми эшелоны резко замедлили ход. Шли больше ночью. Днем, как правило, стояли в глухих тупиках. Было приказано: у вагонов не толпиться. "Едем будто на войну," — говорили бывалые бойцы, хлебнувшие лиха на Халхин-Голе и на финской. "Сказали же — на маневры," — отвечали молодые, не нюхавшие пороха.

Солнце старалось вовсю. Майское солнце 1941-го. Войны еще не было, но эшелоны уже шли на войну. В Кремле знали: вот-вот.

Войска подтягивались к западной границе. Одной из первых погрузилась в эшелоны 153-я стрелковая дивизия. И года не прошло, как она была сформирована. Штаб ее находился в Свердловске, основные части — в Еланских лагерях. И вот дивизия вслед за солнцем катится на запад.

16 тысяч штыков. Сила.

В пути догнала депеша: разгрузиться западнее Витебска...

Утро выдалось тихое, светлое. Ни облачка. В небе звенели невидимые жаворонки. Наступил самый длинный день в году — 22 июня.

На берегу Западной Двины раскинулся палаточный городок. Бойцы спокойно и деловито устраивали свой нехитрый и строгий армейский уют. Фашистские бомбы уже рвали нашу землю. Но здесь об этом еще никто не знал. Смех, шутки, песни. Как и полагается в мирное время.

А в полдень дивизионная радиостанция приняла тяжкую весть: война! Сначала как-то не верилось: небо чистое, река спокойная. И — тишина. Но митинги уже были громом. Уральцы клялись не жалеть сил и самой жизни для разгрома врага...

От палаток до штаба — рукой подать. В одном из окраинных домов села Тарелки собрался командный состав: командир дивизии полковник Гаген, военком полковой комиссар Захаров и начальник штаба подполковник Черепанов. Пока втроем.

В открытое окно лилась слабая прохлада. Беспечно горланили петухи. Широкий, как колокол, репродуктор уверял с крыши сельсовета: "Если завтра война, если завтра в поход, будь сегодня к походу готов..."

11 Зак. 474

Все трое устало молчали. Пришлось много говорить на митингах. Но усталость была скорее от ответственности, которая так внезапно свалилась на их плечи. И еще от того, что они не располагали никакими сведениями о противнике, о сложившейся боевой обстановке. Из штаба армии пока никаких указаний. Подполковник Черепанов запрашивал по рации, сказали: ждите. А на войне нет ничего тревожнее неопределенности и бездействия.

Военком Захаров вдруг резко повернулся к Гагену: — Николай Александрович, давайте решать, каждая минута дорога.

Комдив, кивнув, встал: — Да, ждать нечего, начнем с рекогносцировки... За несколько часов обшарили всю местность. На машине это не так трудно. Начальник штаба на склеенных листах чистой бумаги снимал карту. Она была не ахти какая точная, но других не имелось. Обозначили на ней рубежи обороны, орудийные и пулеметные точки, словом, все, что полагается.

В Тарелки вернулись поздно. В штабных палатках никто не спал: ждали начальство — может, что-то уже прояснилось. Но начальству и самому не все было ясно.

Свет не зажигали. День не ушел, а только притемнился. — Николай Александрович, — заговорил начальник штаба, — вот что меня волнует: у нас, как выяснилось, нет соседей и, видно, не будет. А с голыми флангами много не навоюешь.

Немного помолчав, комдив ответил спокойно и деловито, как отвечает человек, принявший окончательное решение: — Я уже подумал об этом. Нужно максимально растянуть дивизию по фронту — километров на сорок. Если мы построим линию фронта до десяти километров, как требует Полевой устав, немцы быстро обойдут нас с флангов. А при сорока они надолго застрянут. Выиграть время — вот что сейчас особенно важно.

Откликнулся военком: — А не ослабим ли в таком случае свою оборону? — Конечно, ослабим. Но зря, что ли, не давали мы отдыха бойцам? Знают они свое дело крепко, это всем нам хорошо известно. Да и мужества уральцам не занимать — народ железный...

— Да, но чем будем воевать? — это начальник штаба. — На одно орудие по десять снарядов, да и те шрапнельные; винтовок — одна на двоих, а патронов — кот наплакал. Штаб армии ничего не обещает... Перебьют нас, как цыплят, это точно...

Комдив и военком подавленно молчали. Вдруг в комнату без стука вошел начальник особого отдела майор Захаров (однофамилец военкома) и прямо с ходу, будто слышал разговор, спросил, обращаясь ко всем троим: — Как быть? Только сейчас узнал, что на Витебск нацелился 39-й танковый корпус. А у нас — ни снарядов, ни винтовок, ни патронов. Это же полный крах, товарищи...

Судили так и этак. Наконец решили: тотчас же отправить телефонограмму начальнику Генерального штаба и начальнику Особого отдела СССР. Это была не телефонограмма в обычном понимании этого слова, а крик о немедленной помощи обреченной дивизии. В ответ — ни звука...

Тогда комдив, военком и начальник особого отдела рано утром выехали в Витебск. Пришли в областное управление НКВД, чтобы переговорить с Москвой по прямому проводу. Черепанову было приказано начать строительство оборонительной линии...

И тут случилось такое, что и писать-то страшно. — Паникеры! — заорал начальник управления, — без Москвы управиться не можете? Шпионы вы, вот кто!.. Арестовать!..

Не долго думая, особая комиссия при управлении вынесла решение: расстрелять!.. Скоры на расправу были тогда бериевцы...

Несколько часов просидели они в одиночках, ожидая исполнения приговора. Но где-то кто-то быстро разобрался, и всех троих отпустили. Потрясенные и растерянные, вернулись в дивизию. Полковник Гаген и военком Захаров долго не могли прийти в себя... И опять встал вопрос: что делать, что делать? Ведь вот-вот нагрянут танки...

Дивизия не получила ни одного снаряда, ни одного патрона. Растерянность, как видно, охватила и тех, кто там,"наверху".

Тем временем на оборонительном рубеже кипела работа. Тянули траншею, спешили с оборудованием артиллерийских позиций и пулеметных точек. День и ночь, день и ночь. Времени на раздумья не оставалось. Слышался уже отдаленный гул битвы, который ни с каким другим не спутаешь. Смертельной угрозой веяло от него.

Отдыхали три раза в сутки — в завтрак, обед и ужин. Рядом с бойцами с таким же упорством работали местные жители, все, кто мог держать кирку и лопату. За несколько дней подготовили не ахти какую оборону, но держаться уже было можно: не голое место. У командира дивизии стало чуть легче на душе. Мучило одно: мало снарядов, мало гранат, мало патронов. И что должны делать те бойцы, у которых нет винтовок? Не в тыл же отправлять...

Как всегда неожиданно в штаб ввалилась коренастая фигура начальника особого отдела: — Николай Александрович, я, кажется, придумал. — Что именно? — Вот этих, безвинтовочных, надо вооружить бутылками с бензином... — И что же они будут с ними делать? — Как что? Танки жечь. — Каким же образом? — недовольно покосился на особиста Гаген. — Очень просто. Сажаем двух красноармейцев в один окоп. Один бросает бутылку на моторную часть танка, а другой — вслед зажженную паклю, намотанную на палку...

Начальник штаба хмыкнул: — А где они, бутылки-то? Их же надо черт знает сколько... — К вечеру будут, — уходя, бросил майор Захаров.

Утром опробовали новинку. На задворках деревни, на самом краю леса, стоял давно списанный комбайн. Метрах в двадцати пяти от него вырыли окоп, посадили в него двух бойцов. У одного — бутылка с бензином, у другого — длинная палка с паклей, намоченной тем же бензином. — Давай! — крикнул майор Захаров. Бутылка — вдребезги. Треща, полетел факел. И комбайн тут же вспыхнул. — Вот так, — резюмировал майор. — Что ж, — заключил его однофамилец, — все-таки лучше, чем ничего, годится...

Поднатаскали немного тех, безвинтовочных. Все вроде бы получилось. Но вот как в бою будет получаться? Под снарядами и пулями... "Захаровскими гостинцами" прозвали бойцы эти бутылки с бензином. Поистине можно найти выход из любого положения, особенно,когда прижмет...

И тут вдруг радиограмма из штаба армии: встречайте члена военного совета дивизионного комиссара Леонова.

Комиссар приехал с одним требованием: стоять насмерть! Осмотрел позиции, похвалил. Лучшего момента для просьб и выдумать было нельзя. Комдив осторожно высказал главную: очень нужны боеприпасы. Член военного совета развел руками: — Склады где-то застряли в пути, обходитесь тем, что есть...

Обрадовал, называется.

Гул битвы надвигался все ближе и ближе. Разведчики донесли: идут танки, много танков...

Поднимался четырнадцатый день войны — 5 июля. И вдруг все стихло: ни орудийного грома, ни лязга гусениц. Известно, хищник перед решающим прыжком затихает, собирая силы в кулак. Так было и тут. Гитлеровцы намеревались взять Витебск с ходу. Пограничные части разбиты. Впереди — никого. Дозаправился — и вперед.

Уже потом немцы узнали, что путь им преградила 153-я стрелковая дивизия, неизвестно когда и откуда взявшаяся. И не только она... Если говорить по-современному, то дивизии крупно повезло: в полосе обороны дивизии оказался 293-й тяжелый артполк, потерявший связь со своим командованием. Полковник Гаген сразу же подчинил его себе. Это подняло настроение и самих артиллеристов, и, конечно же, всех бойцов-уральцев.

И ГРЯНУЛ БОЙ...

Зашевелились немцы. Каждый наш полк,каждый батальон, каждая рота, каждый дивизион, каждый боец — на своем месте, указанном комдивом еще накануне. Все получили строгий приказ: ни одного снаряда, ни одного патрона не тратить попусту, подпускать противника только на верный выстрел.

Вдоволь было только бутылок с бензином. Но бутылка — это все-таки не бронебойный снаряд..

Волнуются наши бойцы: каков он — враг, каковы силы у него, не спасовать бы...

И вот они — фашисты. Впереди мотоциклисты, за ними — танки, а за танками — машины с пехотой. Слышится какая-то маршевая песня. Весело идут, как по своей земле.

Полковник Гаген со своего НП обзванивает полки. Отвечают из полков: — Все готово...

Последний разговор с командиром легкого артиллерийского полка майором Воробьевым: — Без моей команды не стрелять!

293-й тяжелый артполк получил приказ для боевых действий еще накануне. На КП командира дивизии донесли: в колонне 26 танков...

Из-за далекого поворота танки выкатились на видное место. Люки открыты. Из люка переднего выглядывает офицер, не иначе — командир колонны.

Затаились бойцы, команды ждут.

Лязг гусениц все ближе, все слышнее маршевая песня, уже хорошо стало видно веселое лицо командира колонны. И тогда комдив выдохнул: — Пора!..

Первой ударила батарея лейтенанта Логвинова. Командир дивизии увидел в бинокль: колонна встала, будто наткнулась на невидимую стену. Вступил в бой весь полк майора Воробьева. Сдержанно заговорили пулеметы и винтовки: патроны — на вес золота. С тыловых позиций ухнули тяжелые 293-го. Слава Богу, хоть у них-то снарядов — полный боекомплект.

Взлетели в воздух искореженные мотоциклы, а там, где были машины с пехотой, осталась груда тел и обломков. Пылали четыре танка, остальные поспешно скрылись за поворотом.

Комдив посмотрел на часы: бой длился десять минут.

Придя в себя, немцы обрушили на наши позиции в буквальном смысле град снарядов и мин. Над окопами завыли пикировщики. Бомбы сыпались и сыпались. Землю трясло так, что колыхались телеграфные столбы. Людей выбрасывало из окопов, как мячики. В этом грохоте тонули крики раненых. Нечем было дышать: гарь от разрывов клубилась адским облаком. Орудия взлетали в воздух, будто невесомые.

И сразу же — танки!

И снова батарея Логвинова первой принимает бой: она ближе всего к атакующим. Стряхнув с себя комья земли, наскоро перевязав раны, к одному из уцелевших орудий бросились наводчик Петр Никонов и заряжающий Иван Елисеев. Бьют почти в упор — подпускают метров на пятьдесят. "Бутылочники" пока отсиживаются: далеко, не добросить.

293-й полк накрывает танки тяжелыми. Несколько танков окутываются дымом... Так и хочется повторить: дивизии "крупно повезло".

Стрелки молчат. Ни мотоциклистов, ни пехоты. Немцы, видимо, решили сокрушить дивизию танковым тараном. Не получилось...

Гитлеровцы переносят удар на фланги. Но уже без особой уверенности. Получив и тут отпор, они откатились и затихли. Надолго ли?

Похоронили убитых, тяжелораненых отправили в Тарелки. Торопливо восстановили разрушенные окопы, артиллерийские позиции, участки траншеи. Жизнь шла своим чередом и диктовала суровые обязанности...

Наступило утро седьмого июля. В небе появилась "рама", покрутилась с полчаса и тихо уплыла назад. И только уплыла, сразу же налетели "юнкерсы", ударили пушки и минометы. Ни головы поднять, ни прицелиться. С КП комдива хорошо было видно, как, поднимая облака пыли и стреляя на ходу, широким фронтом двинулись танки. И с десяток из них опять на батарею Логвинова.

Снарядов — раз - два и обчелся...

У бойцов — черные лица, черные бинты. И земля вокруг черная. Смерть смотрит прямо в глаза — тоже черная. Лежат мертвые, кому где пришлось. А живые делают свое справедливое дело.

Уже пятый танк наткнулся на уральский снаряд, а немцы все лезут и лезут.

Несколько танков насели на стрелковый батальон капитана Киселева. Выдержат ли? Полковник Гаген то и дело запрашивает: как идут дела? Отвечают из батальона : с места не сойдем!

Основной удар пришелся на отделение сержанта Устинова. А что в отделении? Несколько связок гранат да еще бутылки. Пришла, пришла их очередь... Только тогда, когда танк обдавал лица бойцов нестерпимым жаром, в него летели те самые "захаровские гостинцы". И было вот что удивительно: летела сначала бутылка, а за нею следом — факел. А танк вспыхивал еще до того, как факел ударялся о броню: это подхватывали огонь пары бензина, горячий воздух, горячая броня. И немцы опешили: что это за огнеметы такие у русских?

Какой же характер надо иметь, чтобы вот так встречать танки — лоб в лоб, почти на вытянутую руку? Отвечаю словами Алексея Толстого: русский характер! Не огонь пожирал танки, а неоглядное солдатское мужество, удивляющее и удивлявшее все страны и народы...

Но вернемся к бою. Впереди стрелкового батальона капитана Нефедова, прикрывая важный перекресток дорог, окопался орудийный расчет старшего сержанта Мифтахова. Танки двинулись на батальон, но не дошли. Три выстрела, и три машины, распластав гусеницы, замерли. Целая фашистская батарея била по орудию. Девять стволов на один. Но один ствол стоил девяти. У орудия остался только один — наводчик красноармеец Ануфриенко. Обливаясь кровью, он загонял кровавые снаряды в ствол — и бил, бил, бил... Неделю шел этот беспримерный бой. Фашисты ни на шаг не продвинулись там, где стояла почти безоружная уральская дивизия. И они начали огибать ее. Обойдя нашу оборону, немцы захватили Витебск.

Дивизия оказалась в кольце... Из огня да в полымя.

Вот итоги первого в истории дивизии сражения: "...фашисты оставили на поле боя 24 танка, 16 бронемашин, 12 минометных и 8 артиллерийских батарей, 18 мотоциклов, 42 станковых пулемета, много другой военной техники и снаряжения. Враг потерял убитыми и ранеными свыше 500 солдат и офицеров. 150 немцев взято в плен. Прикрывая витебское направление, 153-я стрелковая дивизия полностью выполнила боевую задачу. Было отражено 26 массированных атак танков и пехоты. Бои показали,что сильного противника можно успешно громить малым числом."[1]

И дивизия тоже понесла тяжелые потери, в основном в живой силе, так как ни танков, ни бронемашин у нее просто не было. Но если бы знали немцы, что на седьмой день боев дивизия израсходовала весь свой боезапас, оказалась полностью безоружной, от нее не осталось бы и следа. Разведка противника явно не сработала. Да он и не мог даже предположить, что у дивизии нет таких "пустяков", как снаряды и патроны. Можно и еще раз сказать: дивизии снова "крупно повезло". Да, но это "везение" было куплено мужеством ее бойцов и большой, очень большой кровью. "Крупно" повезло дивизии и потом. Это было действительно везение, так везение... Но все по порядку.

---

1 — Антипин Г. А. Третья гвардейская. Средне-Уральское кн. издательство, 1969.

В ОГНЕННОМ КОЛЬЦЕ

Для боя у дивизии оставались только кулаки. Тут нетрудно прийти в отчаяние. Комдив сидел на краю опаленного бруствера, обхватив голову беспомощными руками. Тут же — и комиссар, и начальник штаба, и командиры, оставшиеся в живых. И начальник особого отдела. Безмолвие. Никто не знал, что делать, как быть. Наступавшие немцы уже далеко. Но сюда может нагрянуть новая волна. И тогда...

Зной, как у летнего костра. Ветер разносит запах смерти. Вот они — убитые, считать не сосчитать...

Комдив встал и, ни на кого не глядя, тихо сказал: — Скажите жителям — пусть хоронят. Раненых и двух врачей оставить в деревне... А теперь давайте решать...

Спорить было некогда. Решили идти на прорыв. Иначе гибель полная... И дивизия двинулась на восток.

Знали, что в Белоруссии много болот, но чтобы столько... Какими только словами не проклинали бойцы эту бесконечную чавкающую жижу. Но они, эти болота, были и на руку дивизии. Она как бы растворилась в них, бесследно пропала. И немцы решили: 153-я дивизия больше не существует (много тогда было разбитых наголову дивизий). Фашистское радио, вещавшее на русском, сообщило (дословно): "Доблестными германскими войсками полностью уничтожена 153-я стрелковая дивизия". Это сообщение было перехвачено радистами штаба дивизии. Начальник радиостанции лейтенант Николай Космодемьянский — знаток своего дела — записал на каком-то бланке эту "победоносную" фразу. И — к военкому. Тут же и неунывающий начальник штаба.

— Вот что, лейтенант, размножь эту бумаженцию, и пусть политработники пойдут с ней к бойцам, она лучше всякой беседы поднимет их настроение. Живы мы, живы... — Раненая рука военкома не поднялась, а только чуть дрогнула...

Знаменитая на всю дивизию трубка начальника штаба (с каким-то чертиком) не дымилась: не было табаку. Да бог с ним с табаком. Не было самого главного — хлеба, соли, сахара. На каком-то полустанке наткнулись на вагоны с мукой. Но и той не густо. Мучную болтушку давали раз в сутки. Не разбежишься.

Оставшиеся "в живых" пушки и машины тащили на плечах, выбиваясь из сил: колеса утопали в грязи. Но приказ есть приказ: не оставлять врагу ни гвоздя. Если же попадались дороги, автомашины все равно приходилось катить вручную: бензин ушел на бутылки. Полковник Гаген совсем спал с лица, шинель как на крючке — какие сутки без сна. И военком Захаров чуть ли не падает: устал смертельно. У начальника штаба веселые искорки в глазах давно потухли... А каково же бойцам!

Снова — короткое совещание: решили пробиваться на Добромысль. Легко сказать — "пробиваться". А чем? Одна надежда — на ночь, штыки да на "ура".

Вот тут немецкая разведка сработала четко. Гитлеровцы не знали, что это за часть такая прорывается. Огонь был сплошным, пришлось спешно отходить. Убитых подбирать было некогда, тяжелораненых тоже. Так и остались многие из них "без вести пропавшими"...

Комдив приказал двигаться в сторону Дорогобужа.

Светало рано... И вдруг — в лесной чаще — красноармейцы,человек двести, растерянные и удрученные: отступают. Распределили их по полкам... Так, обрастая остатками разбитых частей, дивизия снова стала "штатной" — более 16 тысяч штыков.И не могли они остаться незамеченными, никак не могли. И немцы скоро обнаружили дивизию. К их удивлению, эта была как раз та самая, которая дала жару под Витебском — "уничтоженная 153-я"... И пошло: бомбы и снаряды, снаряды и бомбы. Тысячи...

А тут еще ... Всего ожидали от гитлеровцев, но такого... Появился самолет, но бомбежки не последовало. Посыпались листовки, туча листовок.Они прямо лезли в глаза: "Командир вашей дивизии Н.А. Гаген — немец. Он специально завел вас в болото, чтобы уничтожить". Этого еще не хватало. Пошли разговоры — измена. Военком приказал: — Немедленно собрать коммунистов штаба!

Секретарь партийной организации майор Дудник тут же созвал собрание. Внешне комдив был спокоен, но можно себе представить, что у него было на сердце. В Витебске чуть не расстреляли, а теперь вот — хуже расстрела.

— Да, происхождение мое действительно немецкое, — сказал комдив. — Но дед мой и отец родились в России. Это и моя родина. Воевал в гражданскую с Колчаком и Дутовым. Готов, если понадобится, отдать жизнь за нашу победу. А фашистским листовкам разве можно верить? Гитлеровцы готовы на любую подлость, только бы сломить наше сопротивление: уж очень мы им насолили. И еще насолим...

Слово взял начальник особого отдела майор Захаров (военная контрразведка пользовалась в те годы непререкаемой властью): — Полковник Гаген — преданный революции человек, я — за доверие.

Проголосовали единогласно — "за". Политработники тут же были отправлены в войска. Разъясняли, убеждали — и убедили. Разговоры об измене прекратились.

И снова, утопая в болотах, потянулась дивизия к Дорогобужу. Усталость валила с ног. И голод давал о себе знать. Но это еще полбеды. Беда в том, что воевать нечем. И хотя бы знать, где наши, все было бы легче. Но на постоянные вызовы радиостанции никто не отвечал. А комдив требовал: "Дайте связь!" Пробиваться вслепую, без боеприпасов — значит погубить людей. И неслось в эфир: "Клен, Клен, я — Береза, прием!" Но есть ли он, этот "Клен"? Может, и нет его вовсе. И неслось по радиоволне, как заклинание: "Клен, Клен". Сержант Подвойский, дежуривший на станции, уже хотел сбросить наушники, как вдруг... Вот повезло так повезло: — Е-е-е-сть связь, ур-а-а! — заорал сержант.

Напарник запросил: — Если это 153-я дивизия, попроси полковника Гагена, у аппарата — командир корпуса.

А комдив уже тут: — Я — Гаген.

В штабе корпуса засомневались: не провокация ли? Засомневаешься, если о дивизии который уже день — ни слуху ни духу. И хотя не очень верили сообщениям германского командования о полном уничтожении дивизии, но все же... И чтобы убедиться, что у аппарата действительно командир 153-й, командир корпуса, заяд-

лый охотник, задал такой вопрос, на который мог ответить только и только он — полковник Гаген, тоже любивший в свободное время побродить с ружьем по уральским лесам: — Назовите марку ружья военного прокурора дивизии Петрушкова (прокурор из той же охотничьей компании).

Полковник назвал марку ружья (какая-то редкая была). И сразу же получил приказ: прорываться в сторону Смоленска... Радостная весть, что наши не очень далеко, быстро облетела дивизию. А надежда на скорый прорыв из огненного кольца удваивала силы.

Говорят, беда не приходит одна. Значит, не приходит одна и радость. Во всяком случае, в этот же день дивизии еще здорово повезло. Просто невероятно. Полковник Гаген, обычно суровый и сдержанный, довольно потирал руками: "Живем!" —Живем, — повторяли и бойцы.

Майор Захаров,вездесущий начальник особого отдела, нашел в лесу несколько винтовок, заваленных хворостом. Значит, здесь отходили наши части. Они могли в спешке бросить не только винтовки, но и боеприпасы. Своей догадкой он поделился с подполковником Черепановым. Тот, не мешкая, снарядил на поиски несколько команд. К концу дня — удача. Цинковые ящики с патронами, грузовая машина, набитая снарядами, гранаты и запалы — нет, это не просто удача, а внезапно свалившееся с неба военное счастье.

И про голод забыли.

А вот за горючее пришлось биться. Начальник штаба рассуждал так: если у немцев столько техники, значит, есть и заправочные базы. Вызвал старшего политрука Васильева и приказал пошуровать в ближайших тылах противника: может, и отколется. Другого выхода не было.

Тихий вечер. Легкий ветерок освежает лица. Вдруг один из бойцов насторожился: вроде бензином попахивает. И к Васильеву: " Горючее, точно!" По-кошачьи пошли навстречу запаху. И вот... Железные бочки, много бочек, а вокруг них десятка два немцев толпится. Считают, что ли? Раздумывать было некогда. Стремительным броском, дошедшим до рукопашной, бойцы захватили базу... Машины пошли своим ходом: гора с плеч.

Но главное испытание было впереди. Гитлеровцы не могли примириться, что в тылу у них отчаянно воюет советская дивизия, нанося чувствительные потери, заставляя немецкое командование отвлекать силы, так нужные для захвата Смоленска. И снова немцы решили покончить с ней одним ударом. Две танковые дивизии (опять танки) — 17-ю и 18-ю бросили гитлеровцы против уральцев. И еще в придачу тысячи бомб и тысячи снарядов..

И сколько безвестных героев остались в этих лесах и болотах! Считать некому.

Несмотря ни на что, дивизия шла к Смоленску.

И вот наступили решающие для прорыва дни. 17 июля дивизия с беспрерывными боями пробилась к речке Черница. Немцы не давали ни минуты передышки, все туже затягивая петлю. Дивизия заняла круговую оборону, чтобы дать возмож-

ность саперам навести переправу, благо — лес рядом. Одновременно разведбатальон под командованием майора Насырова и старшего политрука Васильева начал ложную переправу в стороне от главной. Гитлеровцы оттянули туда часть войск. Теперь — только вперед! В авангарде — главные части: два стрелковых полка и несколько орудий. Приказ был кратким и суровым: во что бы то ни стало захватить плацдарм на другом берегу и обеспечить переправу всей дивизии.

Наступила ночь. Бойцы бесшумно заняли исходные позиции. Артиллерийские батареи (половинного состава) Логвинова, Потапова, Седова и Гусева поставили орудия на прямую наводку. Полковник Гаген тут же, в цепи бойцов.

Как только чуть посветлело, в небо взлетела серия красных ракет. — Вперед, товарищи, вперед! — пронеслось по цепи.

Загремело "ура". Бойцы бросаются в реку. Убитые идут ко дну. Раненые тоже, захлебываясь. Начальник штаба торопит: — Скорее, земляки, скорее!

Артиллеристы на месте — бьют по огневым точкам противника. Стрельба из-за речки слабеет. И поредевшая цепь, выскочив на противоположный берег, врывается в немецкую траншею. Началась рукопашная. Немцы отошли, но, удвоив силы, кидаются в контратаку. Отбиты одна, вторая, третья... Тогда они пускают танки. Но не тут-то было. Артиллеристы бьют без промаха.

Каждый метр брали уральцы с боем, каждый метр. И вот оно — долгожданное и завоеванное ценой многих жизней — мгновение.

24 июля в районе Смоленска дивизия вырвалась из кольца...

Как подкошенные свалились бойцы — спать, спать! Еще бы! Почти две недели бессонных ночей и дней бились они, прорываясь к своим. Потом подсчитали: более двухсот километров прошла дивизия рядом со смертью, но выжила и победила. Это был поистине массовой героизм. Военный совет Западного фронта за исключительную организованность и отвагу, дисциплину и стойкость объявил всему личному составу дивизии благодарность.

И всем павшим, многие из которых так и остаются до сих пор "пропавшими без вести"...

Что греха таить, бойцы надеялись отдохнуть после тяжелейших испытаний. Но было, увы, не до отдыха: развернулось кровопролитное сражение, известное в истории как Смоленское.

У ДНЕПРОВСКИХ ВОД

Гитлеровцы поставили на карту все — только бы пробиться к Москве. На пути встал Смоленск. Немецко-фашистское командование бросило на город целую группу армий "Центр". И снова путь противнику вместе с другими частями преградила 153-я. Всего сутки отдыхали бойцы. Да и что это был за отдых! Просто выспались немного. И умыться не успели, как опять в бой. Приказ гласил: "Задержать наступление баварской дивизии на Смоленск."

В ранцах у солдат баварской — новенькие мундиры для победного московского парада. Вот и лезут они напролом, горланя: "Германия, Германия превыше всего". И не сомневались эти самоуверенные баварцы: Смоленск завтра же будет у их ног. Именно завтра, ни днем позже — таков приказ самого фюрера...

Утро 25 июля. Накануне гитлеровцы овладели высотой 213,7 — одной из ключевых позиций для взятия Смоленска. Полковник Гаген получил приказ: отбить высоту!

Рассыпавшись редкой цепью, уральцы начали атаку. Немцы открыли огонь из всех видов оружия. Сыпали и сыпали бомбы "юнкерсы". Цепь ополовинела. Еще дважды поднимались наши бойцы, но безуспешно. И шагу не сделали вперед.

Знали немцы: отдать высоту — значит, Смоленск к сроку захвачен не будет. Поэтому не жалели ни солдат, ни снарядов, ни бомб, ни патронов.

Бой шел уже пятый час. Уральцы выбивались из последних сил. Цепь стала совсем редкой. Начали было продвигаться, но вскоре совсем встали. Убитых в цепи было больше, чем живых. Многие раненые оставались на месте, они изредка стреляли, стараясь хоть чем-то помочь товарищам.

И тогда ... И тогда вперед выдвинулись начальник штаба полка Лебедев, старший политрук Широбоков, политрук Бельский, командир роты старший лейтенант Авельченков. Огонь противника не утихал ни на минуту. Бойцы, прижавшись к земле, глотали дым и пыль. Казалось, нет выхода, пришел конец.

Старший лейтенант Авельченков оторвал окровавленный лоскут рубахи у мертвого бойца и, нацепив его на штык, рванулся к вершине: — За мной!

Вскочили те,что были рядом с командиром, за ними — остальные. Это был не шаг и не бег. Это был отчаянный прыжок... На высоте затрепетал лоскут, обагренный кровью. Немцы скатились к подножию. Но вскоре опомнились: на вершине-то почти никого. И вслед за огневым валом пошли в контратаку. Деловито, уверенно: встречная стрельба была совсем редкой.

Тут невольно подумаешь: все, конец!

Не хотелось мне писать: "И вдруг.. " Но это действительно было так неожиданно, так "вдруг", что обреченные бойцы сначала ничего не поняли. Сзади раздался какой-то прерывающийся скрежет, и через их головы полетели десятки полыхающих "чурок", хорошо заметные простым глазом. А еще через несколько секунд земля под ногами гитлеровцев затряслась, как в лихорадке. А когда взрывы затихли, бойцы увидели: на высоте, у ее подступов — никого, пусто. Только раскиданные трупы немцев, над которыми плыл густой черный дым. Да вдалеке чадящие танки. И все...

Как стало известно после, это дала залп знаменитая батарея реактивных снарядов капитана Флерова. Эти установки бойцы окрестят потом "катюшами": поют хорошо, лучше, чем та, которая из песни.

Наступление фашистов было задержано...

Но положение под Смоленском становилось все острее и острее. Танковые и пехотные дивизии гитлеровцев оттеснили наши измотанные в боях части. Танки Гудериана вошли в город...

Держать высоту уже не было смысла. Дивизия получила приказ оставить позиции, занять оборону на левом берегу Днепра и обеспечить переправу отходящим частям 20-й армии у села Соловьево.

Дивизия вышла на рубеж 2 августа. Траншеи, окопы, артиллерийские позиции — все это было оборудовано за сутки. Впереди установили проволочные загражде-

ния, привели в порядок противотанковые препятствия, отрытые местными жителями еще месяц назад. Пришло пополнение, но залатать им все дыры было невозможно: на боевом пути остались тысячи бойцов — на веки вечные. Но война заставляла жить и драться — до последнего.

Гитлеровцы бросили в наступление все силы, все огневые средства: танки, самолеты, свежую пехоту. Всякое видели уральцы за эти дни, но такого не видели, нет. Земля от разрывов не успевала оседать, дышать было нечем — дым, пороховая гарь, пыль смешались в одно облако. Некогда было хоронить убитых, перевязывать раненых. Сущий ад! И в этом аду уральцы продолжали сражаться, расстреливая густые цепи гитлеровцев ружейным и пулеметным огнем. А если это не помогало, вставали в контратаки. Артиллеристам было не до вражеской пехоты: они едва успевали отбивать наседавшие танки. Огромные потери несли немцы, но они сознательно шли на эти потери: скорее, скорее к Москве, до которой оставалось каких-то триста километров...

И на переправе творилось что-то невообразимое. Снаряды и бомбы рвались беспрерывно. Ржание лошадей, рев моторов, крики раненых, хриплые команды отчаявшихся командиров... Подбитые машины — в воду, покалеченных коней — в воду, убитых — в воду, только бы расчистить путь напиравшим сзади частям...

Днепр стал багровым. И неизвестно, чего в нем было больше — воды или крови. И сколько бы еще пролилось этой крови, если бы не стойкость уральской 153-й и других соединений...

И подвиги, подвиги, подвиги! Вот документы. Бывший в то время редактором дивизионной газеты И.Старцев так писал в "Уральский рабочий":

"На подступах к городу С. (Смоленску — *В.С.*) подразделения нашей части упорно продолжали продвигаться вперед, переходя неоднократно в ожесточенные атаки.

Отлично действовали подразделения тов. Лушникова и тов. Логвинова... Штыком и прикладом действовали бойцы подразделения тов. Филатова. Подразделение направлялось к намеченному рубежу обороны. Было известно, что в эту местность просочились отдельные группы немцев. Филатов знал коварные повадки врага: фашисты могли пропустить вперед, а потом с тыла внезапно напасть на колонну. Так оно и случилось. Фашисты, стреляя с разных сторон, кричали: — Русс, сдавайся!

Но филатовцы были готовы ко всяким неожиданностям. Немецкие солдаты вынуждены были принять рукопашный бой. Здесь-то гитлеровские молодчики и нашли себе могилу."

Из воспоминаний ветерана дивизии Г.А.Фарафонова — "Уральский рабочий" от 18 сентября 1971 года:

"В тридцати километрах от Смоленска части дивизии вели бои с крупными силами противника. 581-й гаубичный артиллерийский полк наносил чувствительные удары по врагу.Только за один день наши артиллеристы подбили 17 танков. Фашисты вынуждены были прекратить в тот день танковые атаки.

На следующий день дивизионы полка, которыми командовали капитаны Матяж и Герасимов, подбили более 30 танков. Фашисты бросили на батареи самолеты. С

небольшой высоты они бомбили артиллеристов. Начальник штаба полка майор Седякин из трофейного зенитного пулемета сбил два гитлеровских самолета. Немецкие летчики обрушили на Седякина огонь пулеметов.

Исключительно трудная обстановка сложилась в начале августа у Днепра. Переправы у Соловьево и Ратчино бомбились, на восточном берегу были выброшены вражеские десанты. Полковник Гаген поставил 581-му артполку задачу переправиться через Днепр,выбить автоматчиков,занять огневые позиции и огнем артиллерии прикрыть части,находившиеся на западном берегу Днепра. Как выполнить приказ? Об использовании переправы не могло быть и речи. Нужно искать брод. Его нашел командир батареи лейтенант Топкин. Переправа прошла успешно. Гаубицы тащили лошади, им помогали солдаты. Все батареи, выйдя на восточный берег, сразу же открыли огонь по врагу. Так 581-й полк,первый из артиллерийских полков армии, в трудной боевой обстановке смог переправить всю технику через Днепр".

О действиях дивизии неоднократно писала тогда "Правда". Привожу небольшие отрывки из корреспонденции О.Курганова от 4 сентября 1941 года. В тот день, который описывается в корреспонденции, немцы беспрерывно атаковали наши позиции — днем и ночью. И уже были близки к успеху. И тогда Гаген сказал Соколову (командир 666-го стрелкового полка, который он же и формировал — *В.С.*):
— Приготовьтесь к отражению атак.

Во время ночной атаки фашистская пехота двинулась уже не в рост, а ползком... Соколов поднял своих бойцов и повел в контратаку. В этом ожесточенном ночном бою враг оставил на склонах высоты до двухсот трупов. Когда к утру привели пленного унтер-офицера Фридриха Зельцинга, он пристально вглядывался в каждого красноармейца. Потом наконец произнес: — Когда вы ночью поднялись и пошли под огнем нашей артиллерии, мы думали, что никто из вас не останется в живых.

И еще из одной корреспонденции в "Правде" — того же автора:

"Ночью начался бой. Он длился десять дней, немцы встретили упорное сопротивление. Атаки врагов сменялись нашими контратаками. Леонид Рудаков сидел в окопе и поддерживал связь... Донесения командиров были лаконичны... По ним Рудаков знал, что политрук Сазонов крепко держит правый фланг, что разведчик Бурченко уничтожил фашистскую "кукушку", что на участке подразделения Метелева немцы несут большие потери, отступают, бросают автомобили, орудия, минометы. Невдалеке шел ожесточенный бой, но ему, Леониду Рудакову, приказано сидеть в окопе, поддерживая связь, и ни на минуту никуда не отлучаться...

Весь день телефонист передавал донесения, приказы, сводки о трофеях... Неожиданные выстрелы слева заставили Рудакова поднять голову. Он увидел врагов... Немцы тоже заметили Рудакова. Они начали окружать его. У телефониста были две гранаты. Он бросил их в немцев. Но фашисты продолжали двигаться к окопу. Вражеская пуля впилась Рудакову в плечо. В тот же момент загудел аппарат. Телефонист взял трубку. Начальник связи ждал донесения. Рудаков сказал:
— Я ранен, но буду держаться. — Еще одна пуля пробила руку. Пришлось дейст-

вовать одной левой рукой. Потом он позвонил, что фашисты окружают его окоп. Остальные два связиста ушли с командиром, потянули провод. Вот они его вызывают. Рудаков прислушался. Командир приказывал выдвинуть пулеметы и уничтожить отходящих гитлеровцев.

Рудаков отчетливо сознавал свое положение. Но он решил обороняться, драться до последнего вздоха.

Когда Рудаков поднялся, чтобы прицелиться, его ранило в третий раз... Он поспешил передать, что слабеет, осталось три патрона, но линия в порядке. Все это он проговорил залпом, словно боясь, что не успеет сообщить.

Рудаков расстрелял последние патроны, но фашисты продолжали ползти. И он сказал в телефонную трубку:

—Прощайте, друзья. В плен не сдамся!

Израненный, истекающий кровью телефонист схватил штык от винтовки. Он воткнул его тупым концом в землю и бросился на острие. Так умер телефонист Леонид Рудаков.

И таким подвигам не было числа...

Но вернемся непосредственно к боям. Маневрируя по фронту, то рассредоточивая силы, то собирая их в кулак, дивизия держала оборону больше месяца! И это на участке, где не осталось ни деревца, ни травинки.

Заключительным аккордом Смоленского сражения, героическим и славным, стал бой за высоту 249,9. С этой высоты все было видно вокруг как на ладошке. И потому немцы особенно укрепили ее, поставив для защиты дивизию "СС", которая слыла образцом мужества и преданности фюреру.

Уральцы еще находились на старых позициях, бои не вели: гитлеровцы внезапно прекратили атаки. Что за причина? Разведчики установили, что противник спешно перебрасывает из тыла по железной дороге свежие части и технику. Нужно было принимать экстренные меры. Но какие? Проще всего разбомбить вражеские эшелоны, но самолеты тогда на штуки считали. Только одна надежда на пехоту. И штаб 20-й армии отдает приказ: "153-й стрелковой дивизии выйти в район Могильцы, атаковать сильно укрепленную высоту 249,9 у реки Днепр, перерезать коммуникацию, снабжающую войска противника в районе Ельни, выбить гитлеровцев с этой высоты и отбросить их назад."

Приказ был получен 23 августа. Полковник Гаген вместе с новым комиссаром Хлызовым (военком Захаров погиб при прорыве из окружения) и подполковником Черепановым прикинули возможности дивизии. Мало осталось людей, совсем мало. В этом случае успех наступления решали три обязательных условия: внезапность, быстрота и натиск. Но чтобы обеспечить эти условия, нужна была тщательная разведка. Комдив сам несколько раз побывал у подножия высоты, определяя опытным глазом слабые места в обороне противника. Увы, таких мест не нашлось. Значит, надо их создать. Скрытно, в темные часы, подтянули поближе пушки, чтобы разом ударить по огневым точкам, которые были разведаны специальными наблюдательными пунктами, и проволочным заграждениям.

Весь штаб дивизии и штабы полков в назначенный час были здесь, на передовой. Во всех взводах и батареях проходили беседы. И вскоре каждый боец знал, где и как он должен действовать в наступлении.

Ночь выдалась душная. От болот, опоясавших высоту, поднимался белесый туман. Эта седая дымка позволила нашим бойцам тихо и незаметно выдвинуться к самому подножию высоты. Ни котелков, ни вещмешков, ни противогазов — только винтовки и подсумки, набитые патронами. Затаились бойцы, как омертвели.

И вдруг стало светло. Это ударила дальняя и ближняя артиллерия. Сотни снарядов колошматили и колошматили укрепления немцев — до самого рассветного часа. За миг до атаки бойцы, взглянув на высоту, увидели облысевшую вершину (только что она была покрыта молодым лесом) и пустоту там, где еще недавно в несколько рядов стояли колья, густо перевитые "колючкой".

Бойцы напряглись для атаки, ждут сигнала. Красная ракета,искрясь и шипя, почти вертикально взлетает в небо. И будто сработала невидимая пружина: цепь резко выбросилась вперед. Вот уже видна полузасыпанная вражеская траншея, еще чуть-чуть — и враг будет сломлен. И тут из почти развалившегося дзота, захлебываясь от ярости, ударил пулемет. Бил метко этот немец. Цепь споткнулась и залегла. Командир 666-го стрелкового полка полковник Соколов немедленно дал целеуказание артиллеристам. Выстрелы были на редкость точными: крыша дзота затрещала и рухнула.

Впереди цепи встал он, командир полка: — Вперед, за мной!

И словно крылья обрели бойцы. Через минуту они уже влетели в траншею. Эсэсовцы и не думали отступать: они превосходили числом и потому приняли рукопашный бой. К тому же знали: вот-вот подойдет подкрепление. С противоположного склона выкатилась контратакующая цепь. Полковник Гаген, получив сообщение об этом, отдал приказ полковнику Юдашеву, командиру 435-го стрелкового полка, стоявшего в резерве: "Не давая врагу опомниться, навалиться на него всеми наличными силами и полностью очистить высоту от немцев!"

Гитлеровцы защищались отчаянно. Уральцы вставали и падали, падали и вставали. И только семнадцатая (17-я!) атака принесла успех: бойцы буквально выдавили эсэсовцев с высоты. Комдив (как он только держался на ногах!) устало направился на самую передовую, к своим "орлам", как он звал красноармейцев. Знал комдив: если ему уже невмоготу, то им, его "орлам", в сто раз тяжелее. Знал также, что они совершили почти немыслимое. Полковник шел подбодрить героев, сказать им свое командирское спасибо за подвиг. И знал он еще, что немцы предпримут скоро все усилия, чтобы вернуть высоту. А ее нужно было удержать, чего бы это ни стоило. Хотя бы несколько суток — так диктовала боевая обстановка.

Теперь роли поменялись. Гитлеровцы штурмовали, наши оборонялись. Десятки "юнкерсов", сотни орудий дыбили землю — сплошной огненный смерч. Немецкое командование бросило в атаку сразу несколько свежих полков. С большим трудом продержались уральцы до вечера. Ночью подтащили боеприпасы, консервы. Командир корпуса подослал еще бойцов, но так мало, что поддержка была скорее моральной. И все-таки лучше, чем ничего.

Рассвет (лучше бы он не наступал!) не принес облегчения. Устилая трупами высоту, немцы продолжали штурм. Таяли ряды наших бойцов, держаться уже не было никакой возможности. Все ближе и ближе гитлеровцы. Положение становилось отчаянным. Один выход — контратака. Иначе — полный разгром. Взяв из рук убитого бойца винтовку, полковник Гаген с возгласом:"За мной, орлы!" повел уральцев в бой. Никто еще не выдерживал русского штыка. Не выдержали и эсэсовцы. На своей шкуре узнали они, "что значит русский бой удалый, наш рукопашный бой"!..

Командование армии понимало, что силы дивизии небеспредельны. Ездовые, повара, писари — все, кто мог держать оружие, были брошены на высоту. Из многочисленной дивизии осталось теперь что-то около тысячи до крайности измученных бойцов. И 8 сентября она была выведена в тыл... Дивизия сделала больше, чем могла, несравненно больше. Уральцы оттянули на себя значительные силы противника, сорвали темп его наступления. Около двух тысяч солдат и офицеров оставили на высоте фашисты. Движение по железной дороге было надолго приостановлено.

Вскоре дивизия расположилась на берегу Волги, неподалеку от Калинина: отдохнуть, пополниться, набраться новых сил для предстоящих боев — война только начиналась. В лагерной жизни никаких особых событий не происходило. Тишина, покой... И вдруг — приказ: всем на торжественный митинг! Многие недоумевали: что за торжество, если дела на фронте так круто складываются?

Перед строем вышел полковник Гаген. В новой гимнастерке, слева серебряная шашка — награда за боевые подвиги в дни гражданской, на груди только что полученный орден Ленина — за боевые подвиги в Отечественную. В руках комдива лист бумаги. Раздается команда "Смирно!" Полковник, заметно волнуясь, громко произнес: — Слушайте приказ народного комиссара обороны Союза ССР №308 от 18 сентября 1941 года.

Тихо-тихо. Только голос комдива: "Ставка Верховного Командования приказывает: за боевые подвиги, организованность, дисциплину и примерный порядок... переименовать 153-ю стрелковую дивизию — в 3-ю гвардейскую дивизию..."

Тишина взорвалась от громкого "ура". Один за другим выступали бойцы. Клялись бить врага, не щадя жизни, по-гвардейски.

И пяти дней не отдыхали бойцы. 20 сентября дивизия, пополненная людьми и техникой, погрузилась в эшелоны и направилась под Ленинград — бывшая 153-я, а теперь 3-я гвардейская. Навстречу новым испытаниям.



Александр Исетский



12 Зак. 474

Александр Иванович ИСЕТСКИЙ (1896—1963) рядовым ушел на фронт первой мировой, а затем и гражданской войны. С первых дней и до дня Победы воевал на фронтах Великой Отечественной войны. В общей сложности он носил шинель и шагал по солдатским дорогам 10 лет жизни.

В годы Отечественной войны написал ряд походных песен, поэму "Иван Астахов" и "Историю" своего воинского соединения. Боевой путь по Балканам и Европе дал богатый материал для творчества. Очерки А.Исетского "Белград" — первые из его военных записок 1941-1945 гг.

А.И.Исетский был награжден орденом Красной Звезды, медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германией", "За освобождение Белграда", "За взятие Будапешта".



РУССКАЯ ПАРТИЯ

Вовка сидел у чердачного окна и наблюдал, как по улицам поселка рыскала гитлеровская солдатня. На дороге стояли темно-зеленые транспортеры и грузовики, накрытые пестрыми маскировочными брезентами. Захватчики тащили из дворов к машинам трепыхавшихся кур и гусей, визжащих поросят, посудины с маслом и яйцами, узлы одежды. Порой во дворах раздавался плач или надрывный крик, после чего сухо хлопало несколько выстрелов.

Гитлеровцы весело переговаривались, хохотали, горланили песни. Простояв в поселке около получаса, транспортеры и машины умчались на восток, откуда глухо слышалась канонада.

Боя за Кондратовку не было. Новый оборонительный рубеж был подготовлен в восьми километрах от поселка на берегу речки Ужовки, и советские войска отошли ночью.

До отхода войск Вовка уходил на Ужовку вместе с поселковыми комсомольцами. По указаниям саперов они рыли окопы, ходы сообщения, ставили дзоты. В новом, только что отстроенном дзоте и приняли Вовку в комсомол. Тогда же и решил Вовка уйти в партизаны.

Но дня за два до прихода немцев секретарь организации Ефим Щепет сказал ему:

— Комитет получил указание... Часть ребят уйдет в партизанский отряд, часть останется в поселке. Некоторым разрешено эвакуироваться, если...

Вовке почему-то показалось, что к "некоторым" Ефим относит и его.

— Я в тыл не поеду! — не дал и договорить он Ефиму.

Щепет улыбнулся.

— Не торопись решать. Ты член организации и должен подчиняться дисциплине. Да мы и не предлагаем тебе эвакуироваться. Останешься здесь выполнять поручения партизанского отряда...

Вовка нахмурился: он уже свыкся с мыслью, что у него будет скоро автомат, гранаты, взрывчатка, а тут...

Щепет посуровел:

— Ты зачем вступил в комсомол? Говорил, что отдаешь всего себя Родине, а почему теперь ставишь свои условия?

Вовка молчал. А Ефим, помягчев, уже говорил, как нужно вести себя при немцах.

— Что узнаешь, будешь передавать штабу партизанского отряда через человека, который сам тебя найдет и скажет: "Лес шумит". Для других ты не комсомолец, комсомольцев и партийцев не знаешь. Ясно? Не вешай головы. Ты нужен Родине тут. Ну, прощай...

И вот Вовка сидит на чердаке и наблюдает за улицей. Переносье его перечеркнуто глубокой морщинкой. Он сидит и перекусывает соломинки от волнения.

А на улице уже снуют легковые машины, некоторые въезжают во дворы. Из автобусов расходятся по домам офицеры, за которыми денщики тащат тяжелые чемоданы и ящики.

"Эти, наверное, на постой", — думает Вовка.

Эсэсовский отряд и впрямь располагался в поселке, видимо, не на одну ночевку. Над зданием поселкового Совета затрепыхался флаг со свастикой, которая при колебании извивалась как черная многоголовая гадина. Над крыльцом появилась вывеска: "Комендант", и из новоявленной комендатуры по улицам побежали фрицы в мышастых френчах, расклеивая на заборах и столбах "приказы".

Населению приказывалось немедленно сдать оружие, в течение суток сообщить комендатуре о скрывающихся большевиках и комсомольцах, советских работниках; запрещалось, кажется, кроме дыхания, все: брать воду из колодцев, останавливаться и заглядывать в окна домов, где живут эсэсовцы, появляться на улице без неотложного дела, выходить и входить в поселок без пропуска, держать без разрешения скот и птицу, петь русские песни, закрывать ворота и двери...

Уже смеркалось, и Вовка спустился с чердака. Вдруг калитка с шумом распахнулась, и два гитлеровца вошли в дом. Окно сейчас же осветилось колеблющимся светом, и мальчик прильнул к нему, следя за фашистами, которые, освещая комнату электрическим фонариком, кричали, вызывая хозяев.

Из задней комнаты вышла бабушка Глаша и, ослепленная ярким лучом, закрыла глаза рукой. Фрицы прошли мимо нее в двери. Вышли они из комнаты, неся в руках клетчатый шахматный ящичек.

Это были Вовкины шахматы — первый приз областного пионерского шахматного чемпионата прошлого года. На ящике, на серебряной пластинке, было выгравировано: "Лучшему шахматисту — пионеру Володе Кравцову. Первый приз".

Фигурки были искусно выточены из слоновой кости, доска-ящичек с инкрустациями из той же кости и черного дерева с красивой золотистой рамкой.

И тут Вовка сделал неосторожный шаг. Он вихрем ворвался в комнату и вырвал ящичек из рук эсэсовца.

Дальше все произошло очень быстро. Гитлеровцы даже не ударили Вовку. Они просто заломили ему назад руки и связали их веревкой с длинными концами. Так, за веревку, они вывели Вовку на улицу и направились к комендатуре. В комнате остались онемевшие от страха старики.

"В первый же день... В первый же день так глупо попасться... — в отчаянии думал Вовка. — В партизанском штабе будут надеяться, что комсомолец Кравцов

считает орудия, танки, живую силу врага, выведывает вражеские военные тайны, следит за предателями, а он... а его волокут на веревке, как брехливую дворняжку, и весело хохочут. И даже пнуть этих эсэсовцев невозможно. А что будет в комендатуре?"

И Вовка, закрыв глаза, видит себя истерзанным, на окровавленном полу. "Нет, он ничего не скажет, никого не предаст".

Однако Вовку в комендатуре не стали бить и допрашивать. Ему словно даже обрадовались. Вылощенный эсэсовский офицерик с невероятно вздыбленной тульей фуражки, что должно было подчеркивать надменность духа и высоту его расы, побежал с шахматами в глубину здания.

По некоторым словам и жестам гитлеровца Вовка стал догадываться, что он представляет интерес для комендатуры не как маленький большевик, а именно как обладатель шахмат.

Так оно и было.

Комендант Эрих Гешке считал себя выдающимся шахматистом. В батальоне, которым он командовал, никто не побеждал его. Самодовольный "шахматный фюрер" не догадывался, что игроки поддавались ему из угодничества и лести, желая заслужить его благосклонность и быстрее продвинуться в служебной карьере.

Кондратовка была первым пунктом в Советском Союзе, где батальону капитана Гешке было приказано расквартироваться после долгого пути из Греции. Батальон должен был обеспечить безопасность продвижения гитлеровских полчищ, их защиту от партизан. Выполнить эту задачу эсэсовскому капитану казалось делом не очень сложным. Пока его головорезы займутся поисками связей населения с партизанами, он, Гешке, потешится за шахматной доской. Русские хвастаются шахматными достижениями. Он, Гешке, продемонстрирует русским медведям несомненное превосходство своей расы в этой области. Пусть сыщут ему здесь лучшего шахматиста.

Но поиски шахматистов в Кондратовке были безуспешны, и капитан впал в крайнее раздражение. Только к вечеру положение спасли двое завзятых мародеров, случайно напавших на шахматиста.

Мальчику развязали руки и втолкнули в кабинет коменданта.

Гешке сидел, развалясь за столом, в расстегнутом голубом кителе, увешанном гитлеровскими орденами, расшитом золотыми знаками и всевозможными фашистскими эмблемами.

"Выслужился, гадина!" — думал Вовка, хмуро глядя на нациста.

Мальчик напряженно соображал, как ему нужно держаться. Вспомнил инструкцию Ефима: "Быть мальчишкой, не лезть ни в какую ссору, вести себя как бы благожелательно, но при этом держать ухо востро..."

— Садись, — сказал эсэсовец по-русски. — Это твой такой чудесный игра?

Вовка утвердительно кивнул.

— Значит, ты есть Володя Кравцов? Лутчий шахматист? Я не будет тебя допросить, почему ты есть пионер. Ты еще дурак в политически вопросах. Тебе большевики набили голова разной красной дурьем. Ты будешь скоро забывать, что ты есть пионер. Сегодня я хочу смотреть — какой ты есть шахматист. Давай играть.

Гешке пододвинул к мальчику доску и сделал первый ход. Особо не раздумывая, выдвинул пешку и Вовка.

"Щепет и не представляет себе, где я сижу... А старики убиваются... Дать бы им знать, что живой... Куда лезешь со своим ферзем, скотина?!"

Вовка делал ходы машинально, и скоро нацист торжествующе выкрикнул:

— Мат! Лутшему шахматисту — мат!

Вовка ничего не ответил, соображая, как бы ему все-таки улизнуть отсюда.

В кабинет в третий раз приоткрыл дверь адъютант и, увидев, что партия окончена, доложил коменданту: "Пришел старик и просит отдать ему этого мальчишку".

— Но! Пошел домой, — сказал капитан. — Завтра будешь приходить снова. Эрих Гешке покажет тебе классический игра. Но ты выбрасывай из голова красный дурьем. Пошел!

Вовка протянул руку за шахматным ящичком, но Гёшке отбросил ее.

— Шахмат будут здесь.

Дед прослезился, увидев внука, и они торопливо пошли к дому. Бабушка Глаша долго целовала Вовкину голову и плакала, плакала и целовала, а он, утомленный впечатлениями и переживаниями дня, отказался ужинать и сразу уснул.

Утром тревожно вскочил, и первая его мысль была об Ефиме: "Как сообщить ему обо всем, что произошло? Как быть дальше? Где этот человек с паролем "Лес шумит"? А если он его не встретит?

Вовка быстро позавтракал и, несмотря на уговоры стариков, вышел на улицу...

* * *

Ефим Щепет сидел на чурбаке у шалаша и принимал разведдонесение от Василия Бочара. Бочар рассказывал:

— Часов в 11 бандиты из комендатуры стали расклеивать на столбы и заборы приказание Гешке о наборе "добровольцев" на работу в Германию. К объявлениям народ сошелся, Вовка тоже подошел. Я встал с ним рядом и тихо сказал пароль. Он вздрогнул, но не обернулся. Поговорили мы с ним во взорванной котельной МТС... — и Василь передал Ефиму на словах "оперативную сводку" от Кравцова и его вопрос — как ему быть — продолжать ли шахматную игру с комендантом...

...От Володи Кравцова с этого дня начали поступать очень важные "оперсводки". Партизанский отряд, пользуясь ими, начал успешно уничтожать на шоссе немецкие подкрепления, обезвреживать предателей в окружающих селах, а вскоре штаб партизанского отряда решил подготовить операцию по уничтожению всей банды Эриха Гешке.

Затишье в действиях отряда во время этой подготовки было истолковано капитаном Гешке как результат карательных действий его батальона. Высшему начальству он донес, что вверенный ему район очищен от партизан полностью.

* * *

Эрих Гешке почти не появлялся в своем кабинете. Заняв для квартиры чудесное помещение детского сада, Гешке весело проводил дни в обществе приехавшей к

нему в гости из Брауншвейга огненно-рыжей невесты. С утра до вечера она только и знала, что переодевалась в платья, наворованные ее возлюбленным в разных странах Европы.

Вовке тошно было смотреть на эту жирную, жадную "медхен Вильгельмину", объедавшуюся кондратовскими поросятами и курами, но он должен был скрывать клокочущую в нем ненависть и даже улыбаться, когда эта разодетая и намалеванная девка спрашивала его:

— Но, красни чертонка, карош Вильгельмина? Красиво?

Комендант часто вызывал Вовку то в комендатуру, то к себе на квартиру и, как он говорил, "тренировал свой мозг для будущих шахматных побед".

Вовка скоро убедился, что Гешке бездарный игрок, и выработал свою тактику: он то "давал зевков", к удовольствию капитана, то неожиданно, когда Гешке был уверен в выигрыше, вдруг оказывал ему яростное сопротивление, строил всяческие козни, красиво снимал его, казалось бы, надежно защищенные фигуры. "Шахматный фюрер" начинал нервничать. Вовка ослаблял натиск, и капитан снова хохотал, хлопал в ладоши. Вовка стремительно нападал, прорывался в глубокий тыл противника, громил и расстраивал его ряды. Тогда Гешке свирепел и требовал у денщика вина. Если же чувствовал, что полнейшее поражение неизбежно, багровел, начинал ругаться и в конце концов кричал на Вовку:

— Пошел! Пошел чертовой мать! Твой конь партизан! Такой ход дурацки! Пошел! — и, смахнув с доски фигуры, выгонял мальчика.

В один из вечеров Вовка пришел на очередной сеанс игры чем-то возбужденный, и это не укрылось от капитана.

— Ты много дурашился или мой денщик давал тебе вино?

— Я не пью, — сухо ответил мальчик. — Я хочу сегодня показать господину капитану русскую партию.

Гешке визгливо засмеялся.

— Хи-хи-хи... Он будет показывать Эриху Гешке свой дурацки русский партий. Хи-хи-хи... Но, давай показать твой глюпый выдумок.

Вовка побледнел, но сдержал себя, не отозвался на оскорбление.

Перед ним было сейчас шахматное поле, на котором он видел черную армию врага.

Этот враг разоряет нашу землю, хочет поработить нас, он отобрал у Вовки счастливую юность, любимые книги, радостные мечты...

Издевательская ухмылочка на выхоленном белобрысом лице эсэсовца сменяется хмурой задумчивостью, подергиванием щеки, суетливым оглядыванием шахматного поля. А Вовкина армия все грознее развертывается, все больше теснит коварного врага, на удар отвечает двойным ударом.

Заныл зуммер телефона. Не отрываясь от игры, Гешке берет трубку и рассеянно слушает. Дежурный по комендатуре, волнуясь, докладывает капитану, что с поста у Каменных Горушек поступило сообщение о подозрительном шуме, доносящемся с болота. Возможно, что около Кондратовки снова появились партизаны. Капитан раздраженно кричит в трубку:

— Надо поменьше пить вина — не будет мерещиться. В моем районе партизан нет.

Бросив трубку на аппарат, Гешке тупо глядит на доску.

Он едва вывел из-под удара своего последнего коня и теперь злится, что этот мальчишка не позволяет ему сегодня не только нападать, но ход за ходом взламывает его оборону и создает сильную угрозу на королевском фланге.

Новый вызов по телефону опять оторвал Гешке от игры. Он схватил трубку.

— Да, Гешке. Ну, Гешке, черт возьми! Какой олух висит на проводе?! Слышу, слышу, ну, в чем дело? Нет связи с Вальтером? Так что я тебе линейный надсмотрщик? Вот я проучу вас... Где Иоганн? Что? Где Иоганн? Алло! Алло! У, черт! Франц! — крикнул капитан денщика. — Пойди и узнай, какой олух сегодня сидит на коммутаторе, и чтобы немедленно мне дали связь.

В комнате наступила тишина. Наморщив лоб, Гешке уставился на доску. Положение его было безнадежно. Но вдруг лицо его прояснилось, он вскинул на Вовку злорадно сверкающие глаза.

— О, твой ферзь, как стрекоз, прибегает с белый на черный поле. Так полагается в русской партии? Хи-хи-хи...

Поправляя фигуру, Вовка сказал:

— Это вы сдвинули проводом, когда говорили по телефону. При чем тут русская партия? Можно проверить, что ферзь не мог тут оказаться. Когда вы сходили конем отсюда сюда, мой ферзь стоял...

— Не надо проверять! Ясно! — и капитан Гешке зло выругался.

Было очевидно, что он, придравшись к случайно сдвинувшейся фигуре, решил прекратить явно проигранную для него партию. Но на этот раз Вовка не хотел уступать и, побледнев, стал доказывать свою правоту, хотя и понимал, что это бесполезно, что гитлеровец все равно продолжать игру не будет и выгонит его.

"Как это некстати вышло, — нервно дрожа, досадовал мальчик. — Не надо было мне так поспешно напирать на него. А теперь может сорваться наша операция. И чего они медлят?"

Вовка тоскливо глянул в окно и вздрогнул — из черного квадрата рамы на него весело смотрел Ефим Щепет и подмигивал: "Действуй! Мы тут".

Мальчик встал и, зло ликуя, закричал пронзительно:

— А все равно мат! Мат вам, гады!

Эсэсовец крикнул: "Франц, ко мне!" и бросился к роялю, на котором лежал его парабеллум. Но в этот момент дверь распахнулась.

У Эриха Гешке сразу отвалилась нижняя челюсть, он медленно поднял руки.

— Ну, молодец, Володя! — опуская пистолет, сказал Ефим Щепет. — Мат ты ему закатил мировой. Забирай свои боевые шахматы. Пойдешь теперь с нами, в отряд.

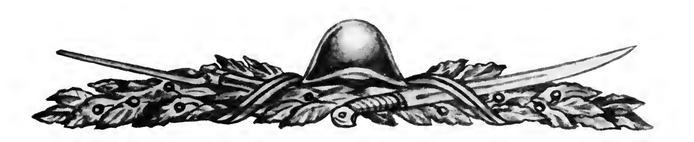
Меж тем Василь Бочар вытолкал из спальни простоволосую, обезумевшую от страха "медхен Вильгельмину".

На улице яростно затрещала стрельба.

В поселок ворвались партизаны.



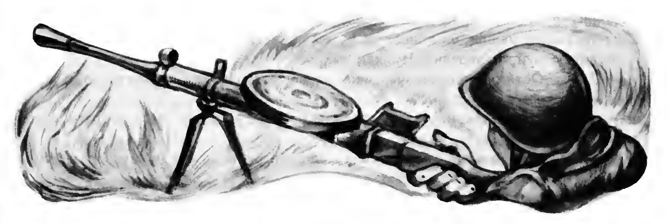
Николай Куштум



Николай Алексеевич КУШТУМ (1906—1970) еще до войны в течение многих лет был члено правления Свердловской писательской организации. Его первый сборник стихов "Бой" выш в свет в 1933 году.

С августа 1941 года Куштум — в армии, на газетной работе в Уральском и Киевском вое ных округах. Прошел боевой путь от Волги до Дуная. Имеет несколько правительственны наград, в том числе орден Красной Звезды.

После войны — ответственный секретарь альманаха "Уральский современник", с 1951 года — редактор художественной литературы в Средне-Уральском книжном издательстве. Свыше 30 лет Н.А.Куштум посвятил редакционно-издательской работе. Кроме стихов, публиковавшихся отдельными изданиями, а также в коллективных сборниках и журналах, Н.А.Куштум написал повести "Подвиг" и "Шумга".



ПОДВИГ

НАКАНУНЕ ЧЕРНЫХ ДНЕЙ

На окраине Киева, в поселке Куреневка, стояла маленькая хата-мазанка, укрывшаяся у глубине вишневого сада. Здесь жил двенадцатилетний Костя Ковальчук вместе с матерью Пелагеей Федоровной. Этой осенью он должен был пойти в шестой класс. Костя мечтал после окончания школы учиться дальше, и обязательно на железнодорожного машиниста.

Отец его был одним из лучших машинистов на дороге. Простудившись во время зимней поездки, он умер от крупозного воспаления легких.

Костя не раз слышал, как отец говорил своему закадычному другу токарю Остапу Охрименко:

— Думаю, в меня пойдет хлопец: машинами все интересуется. Как-то взял его в паровозную будку, так, веришь ли, он чуть не прыгал от радости. Еле выпроводил домой, пристал ко мне: возьми с собой.

— Что ж, — согласился Остап, — нехай интересуется. Твоя линия правильная.

Костя был не по годам бойким и смышленым пареньком. После смерти отца, забывая о детских играх, помогал матери по хозяйству. Ведь он уже не маленький, к тому же единственный мужчина в доме. Расцветал от счастья, слушая похвалу матери:

— Помощничек ты мой! Весь в отца, такой же торопкий и смекалистый. Кем-то ты будешь, когда вырастешь?

Но Костя про себя уже решил, кем он будет. Конечно, машинистом. Это же так интересно!

Но теперь, на исходе июля грозного 1941 года, Костя видел, что все дальше и дальше отодвигается исполнение его мечты. Война подступила вплотную к его родному городу. В тихие вечера уже доносился отдаленный гул артиллерийской канонады. Все чаще фашистские летчики совершали разбойничьи налеты, бомбя Киев. По примеру многих Ковальчукам следовало бы эвакуироваться, но об этом сейчас и думать было нечего. Вот уже вторую неделю матери нездоровилось. Не мог же Костя уехать один.

Накануне прихода фашистов вечером к ним зашел сосед Остап Охрименко. Сбросив с плеч мешок, он присел на краешек кровати.

— Здравствуй, Федоровна. Ну, как ты?

— Плохо, Остап Терентьевич. Никак не могу здоровьем направиться. То полегчает, а то опять скрутит.

— Надо бы вам эвакуироваться, пока не поздно. А то еще, чего доброго, фашисты замордуют вас тут.

— Что же мне делать? — заплакала женщина. — Ведь я и до вокзала не дойду, а не то что в дальнюю дорогу ехать.

— А давайте хоть Костю отправим,— предложил сосед. — Сегодня в ночь как раз эшелон уходит. Я его устрою.

— Ой, хорошо бы! — обрадовалась Пелагея Федоровна.

— Никуда я не поеду,— решительно отказался Костя.— Станет маме полегче, тогда мы, если что, в Камышевку уйдем, к тете. А одну я ее не оставлю.

— Так не поедешь?

— Нет!

— Ну что ж, ты, малец, пожалуй, и прав. Авось как-нибудь обойдется. Я тебе, Федоровна, кое-какой провизии принес. Припрячь. Мне она теперь ни к чему. Сам ухожу, старуха со снохой далеко, куда-то на Урал уехали. А вам сгодится.

— Спасибо, Остап Терентьевич!

— А вы, дядя Остап, тоже эвакуируетесь? — спросил Костя.

— Как тебе сказать? — замялся Охрименко. — Ухожу, хотя, может быть, и недалеко. Ну, соседка, прощай! Выздоравливай скорее.

— Прощай, Остап Терентьевич, прощай. Может, больше и не свидимся.

— Ну, ну, не плачь. Обойдется. Ты, Костя, береги маму, я на тебя надеюсь. А как только ей полегчает, лучше вам на село перебраться. Спокойнее будет! Ну, будьте здоровы!

Костя вышел проводить дядю Остапа. У самой калитки сосед остановился и взял Костю за плечо.

— Давай-ка отойдем в сторонку.

Они сели под деревом на траву. Над садом спустились сумерки. Потемневшее небо изредка прочерчивали лучи прожектора — воздушные сторожа города.

— Вот что, Костя, дай мне, как пионер, слово сохранить в тайне все, что я скажу тебе.

— Честное пионерское!

— Тише, тише, горячка, — усмехнулся Охрименко. — Ну ладно. Такое тебе поручение будет... Считай его как за важное задание. Чуешь?

— Чую.

— Запомни, если зайдет к тебе один человек...

— А какой он из себя будет?

— Не перебивай,— сердито сказал старик.— Я и сам еще не знаю какой... Да это тебе пока и знать не к чему.

— А он ночью, наверно, придет?

— Не днем же, не маленький ты, понимать должен.

— Я так и думал, что ночью, раз дело у него будет тайное, — продолжал Костя.— А я ведь сплю один, в маленькой комнатке.

— Ну и что же? — нетерпеливо спросил Охрименко.

— Я сейчас, сейчас,— заторопился Костя, испугавшись, что Остап уйдет, не дослушав. — И вот в эту комнатку протянута с улицы проволока, а на конце ее я приделал звоночек. Если ребята хотят позвать меня на рыбалку или еще куда, так они за проволоку дернут, звонок тихонько зазвенит, и я выхожу на улицу. Ясно?

— Куда яснее,— засмеялся Охрименко и погладил Костю по голове.— Молодец, пионер. Толково придумал. Ну а теперь слушай. Придет, стало быть, этот человек, вызовет тебя звонком на улицу и спросит: "Не у вас ли остановились богомольцы?" А ты должен ему ответить: "Были, да недавно в лавру ушли". Он тогда скажет: "Я их подожду." А ты ему: "Пожалуйста, проходите!" После этих слов можешь вполне довериться этому человеку и сделай все, что он тебе скажет. Понял?

— Понял!

— Запомнишь?

— Запомню.

— Ну и ладно. И никому ни слова. Слышишь? Даже матери.

— Хорошо, дядя Остап, все сделаю как надо. Не беспокойтесь.

— Тогда прощай пока!

Охрименко обнял Костю, поцеловал и исчез в темноте.

СБЕРЕГИ ЗНАМЯ!

После тяжелых боев Красная Армия оставила Киев. В город вошли оккупанты. Кругом пылали кварталы. Центральная улица, Крещатик, была превращена в развалины. Сказочно красив был Крещатик в недавние мирные дни. Весь в огнях, в сверкающих рекламах, наполненный ароматом южных цветов, веселой музыкой и многоголосым говором, Крещатик был любимой улицей киевлян. А сейчас здесь сиротливо торчат трубы и лестничные переплеты. На одной из площадей висят трупы с табличкой на груди: "Коммунист". Резкий ветер поднимает красные тучи пыли, по улицам непрерывно рыщут патрули. То и дело слышатся автоматные очереди и грубая чужеземная речь.

В Куреневке разместилась пехотная часть. Фашисты забирали у жителей ценные вещи, резали скот и птицу. Заняли все большие здания, в клубе устроили конюшню. Солдаты выгоняли хозяев из хат в сараи и бани. У Ковальчуков, к счастью, никто не поселился,— так мала была их старая хатенка.

Вечером Пелагея Федоровна сказала сыну:

— Костенька, спрячь-ка ты все, что получше, куда-нибудь. А то, неровен час, нагрянут и заберут последнее.

Костя вырыл в огороде яму и спрятал в нее наиболее ценные вещи.

Неожиданно тишину разбудили крики и выстрелы. Стреляли как будто в соседней улице. Затем все стихло.

И вдруг при слабом свете луны Костя увидел, как какой-то человек перелез через плетень и тяжело упал на землю. Он попытался встать, снова упал и простонал:

— Не могу. Что же делать?

"Русский," — подумал Костя. Пересиливая страх, он осторожно подошел к лежащему. Тот приподнялся:

— Кто? Не подходи — стрелять буду!

— Я, дяденька...

— Ты кто?

— Здешний. Идемте в хату.

— Я тяжело ранен... За мной гонятся... Я командир Красной Армии. А у меня... Эх! Да можно ли тебе довериться-то?

— Честное пионерское, дяденька. Я никому ни слова.

Издалека донеслись голоса. Раненый схватил Костю за руку и торопливо зашептал:

— Со мной знамя полка. Оно не должно попасть в руки врагу... Это будет... большой позор... и несчастье. Спрячь... сбереги.

Совсем близко раздался топот ног. Раненый протянул Косте сверток.

— Беги!

Костя кинулся в хату и спрятал сверток в чуланчике под ящик с картофелем. В огороде в это время послышался громкий говор. Заглушая шум голосов, советский командир крикнул:

— Думаете взять меня? Советские люди не сдаются. Получайте, гады!

Грянул оглушительный взрыв. Затем все стихло. Костя, дрожа, как от озноба, прислонился к стене. Мать с тревогой в голосе спросила:

— Ой, что там такое? Страшно-то как!

Но Костя ничего не успел ответить. Дверь распахнулась, и в хату ворвались гитлеровцы с автоматами наперевес. Один из них выстрелил. Звякнуло разбитое стекло. Мать лишилась сознания.

— Кто есть польшевик?! — заорал долговязый солдат, потрясая автоматом.

— Никого здесь нет, — ответил Костя, щурясь от яркого света фонаря.— Только больная мама.

— А чем она больна?

Низенький пухлый человек взял Костю за руку и устремил на него пронзительные глазки.

— Не знаю. Говорят, тиф, — пробормотал Костя.

Толстяк что-то быстро сказал солдатам. Те поспешно отошли от кровати.

— А здесь что? — и толстяк ударом ноги открыл дверь чуланчика.

Костя замер: сейчас найдут знамя, и конец.

— Никого нет,— сказал толстяк, выходя из чуланчика. Мимоходом он взял со стола будильник, повертел его в руках и сунул в карман.

— Пошли! — махнул он рукой.

Хата опустела.

Начинало светать. Костя так и не прилег в эту ночь — он мучительно думал об одном: куда бы получше спрятать знамя? Ведь он же дал клятву герою-командиру. А вдруг знамя найдут? Что он скажет нашим, когда они вернутся? Хотел посоветоваться с матерью, но вспомнил строгий наказ командира — никому ни слова!

Вынув сверток из-под ящика, Костя бережно развернул его. Солнце пробивалось сквозь щели чулана. Словно огонь вспыхнул — так ярко сияло знамя, знамя, доверенное ему, пионеру Косте.

За окном послышалась незнакомая речь: фашисты! Костя заметался по чулану в поисках укромного уголка. Наконец, спрятал знамя за доски обшивки. Голоса смолкли. Костя выглянул на улицу. Гитлеровцы вошли в хату Охрименко. Минут через десять они появились, нагруженные узлами. Один из них — тот самый долговязый, что ночью стрелял в хате,— на вытянутых руках нес большой пузатый самовар, медленно вышагивая длинными ногами, чтобы не споткнуться и не упасть. У второго в руках — гусь со свернутой шеей, на третьем поверх мундира — новое пальто Охрименко, купленное им зимой ко дню рождения.

Костя с ненавистью смотрел им вслед.

А в ушах неотступно звучал наказ командира:

— Спрячь... сбереги знамя!

НОЧНОЙ ГОСТЬ

Вечером Костя решил попытаться спрятать знамя где-нибудь в лесу. Он старательно свернул его и уложил в заплечный холщовый мешок.

Для отвода глаз взял кнут и кошелку. "Если станут спрашивать, скажу, что ищу корову," — думал он.

Сначала все шло хорошо. Ему удалось незаметно выйти .из огорода и сквозь кустарники пробраться к оврагу. Этот широкий и глубокий овраг тянулся до самого леса. Не раз Костя с товарищами играл в нем, подражая смелым разведчикам, выслеживал воображаемых врагов. Здесь ему были знакомы каждый куст, каждая тропинка. Но едва он вылез из оврага на опушку леса, как вдруг раздался грозный окрик:

— Хальт!

Дорогу Косте преградил огромный рыжий солдат с автоматом.

— Дяденька, пустите. Я корову ищу. Где-то в лесу потерялась.

Солдат заулыбался.

— Корофф! Зер гут! Млеко. Шпиг. И, айн минутен, пиф-паф! — Он выстрелил в воздух и оглушительно захохотал. А затем стал подталкивать Костю автоматом, повторяя:

— Шнелль, малшик, шнелль! Шпиг! Пиф-паф!

Костя понял, что гитлеровец хочет вместе с ним искать несуществующую корову в надежде поживиться молоком и мясом. "Как же теперь быть? — размышлял Костя, идя по лесу. — А что если он вздумает обыскать меня? Надо бежать!" Шаг за шагом они углублялись в низину, поросшую густым, непроходимым кустарником. И тут Костя сообразил, что ему делать. С криком: "Вот она! Вот она!" он ринулся в глубину чащи. Солдат бросился было за ним, но запнулся и растянулся во весь свой огромный рост, уткнувшись лицом в зеленую, заплесневелую болотную тину. Пока он, отплевываясь и чертыхаясь, выбирался из кустов, Костя уже был далеко.

В бессильной ярости фашист начал палить из автомата в том направлении, куда убежал Костя, но, конечно, бесполезно. А Костя кружным путем вернулся домой,

огорченный неудачей. Снова пришлось прятать знамя в чулане. А это, он понимал, убежище ненадежное.

Ночью, после пережитых волнений, Костя крепко заснул. Ему снилось, что он идет по густому лесу неизвестно зачем, но по очень важному делу. А впереди верхом на пестрой корове едет рыжий солдат с автоматом и все время покрикивает:

— Шнелль, швайн малшик! Шнелль!

На шее у коровы привязан колокольчик. Как только она споткнется или наклонится, раздается тонкий, дребезжащий звон.

Костя проснулся. Он явственно услышал тихий звонок, "ведь это же звонят ко мне," — подумал он. Накинул пиджак и вышел из хаты. По ту сторону сада кто-то негромко кашлянул. Костя приоткрыл калитку и выглянул на улицу. В небе тускло светила луна. Возле хаты, плотно прижавшись к изгороди, кто-то стоял. Приглядевшись, мальчик ахнул от удивления: "Да ведь это же наш учитель географии!"

— Здравствуйте, Назар Степанович! — радостно проговорил Костя и сделал шаг к нему.

Но тот, будто не узнавая Костю, остановил его легким движением руки и негромко спросил, не отходя от изгороди:

— Скажите, не у вас ли остановились богомольцы?

— Какие бого... — начал было Костя, но тут же осекся. Он вспомнил наказ Остапа Охрименко и после минутной паузы ответил:

— Были, да недавно в Лавру ушли.

— Я их подожду.

— Пожалуйста, проходите.

Назар Степанович молча последовал за Костей.

Это был высокий старик в зеленой шляпе и сером плаще. Когда они углубились подальше в кусты, он остановился и пожал мальчику руку.

— Ну вот, теперь здравствуй, Костенька!

— Назар Степанович, да как же...

— А вот так. Вопросов не задавай, это мое, учительское дело спрашивать. Ближе к делу. Есть тебе задание. Готов его выполнить?

— Всегда готов!

— Так вот. Завтра пойдешь в Камышевку. Дорогу туда знаешь?

— Знаю. Там наша тетя живет.

— Так вот... Разыщи кузнеца Панаса Карповича. Его там все знают.

— Да я сам его хорошо знаю.

— Опять хорошо, — обрадовался Назар Степанович. — Тогда постарайся незаметно шепнуть ему всего лишь четыре слова: "Дядя приглашает на вареники".

— И все? — разочарованно спросил Костя.

— Все... Не думай, что это пустяки. Понятно?

— Понятно, Назар Степанович.

— А коли понятно, тогда будь здоров!

И Назар Степанович неспешной стариковской походкой ушел, кивнув Косте на прощание.

Утром за завтраком Костя сказал матери:

— Мама, я сегодня хочу сходить в Камышевку.

— Зачем это? — удивилась Пелагея Федоровна. — Да еще в такое время.

— Потом еще хуже будет. Я думаю, пока не поздно, надо купить там кое-что из продуктов. Оставить их можно на время у тети. Как ты думаешь?

— Может, оно и так,— заколебалась мать.— Только боюсь я за тебя.

— Не бойся. Что мне сделают? Скажу, что иду к тете, и все тут.

— Ну, смотри,— со вздохом согласилась мать.— Ты ведь в доме давно уже за большака,— она вытерла концом платка набежавшие слезы.

Пелагея Федоровна уже привыкла смотреть на сына, почти как на взрослого, как на своего незаменимого помощника и опору. Сын платил ей за это нежной любовью и заботой.

Ему очень хотелось откровенно рассказать матери, зачем на самом деле он идет в село, но Костя все же сдержался. Ведь это была не только его тайна. И недаром же дядя Остап наказывал ему держать язык за зубами. Вот и о знамени он тоже не имеет права рассказывать.

Когда Костя пошел в Камышевку, на окраине его остановил поселковый полицай.

— Куда, мальчик, идешь?

— В Камышевку, к тете.

— Вот хорошо. Снеси-ка письмо тамошнему старосте. А то у меня других дел много. Да смотри не потеряй.

— Ладно,— обрадовался Костя. Ему такое поручение было кстати. С письмом полицая его никто не задержит.

Придя в Камышевку, он первым делом вручил старосте письмо, а потом явился к тете. Когда же стемнело, направился к кузнецу Панасу Карповичу.

Тот встретил его сначала недоверчиво и даже неприязненно. Ему уже сказали, что Костя передал какое-то письмо старосте, и это насторожило кузнеца.

Но мальчик, улучив минуту, когда поблизости никого не было, шепнул ему четыре условных слова:

— Дядя приглашает на вареники.

— Ладно, — буркнул кузнец и скупо улыбнулся.

Костя вернулся домой, гордый и радостный. Шутка ли, он помогает бороться с фашистами, он выполнил первое важное задание.

ТАЙНИК

Стояла ясная, погожая осень. Под ногами шуршали золотые листья, по утрам уже подмораживало. Чувствовалось скорое приближение зимы.

Нынче школы в Киеве не открылись. На улицах не звенели детские голоса, не видно было веселых и шумных стаек детворы. Не распахивались больше гостеприимные двери, не вызывали к доске строгие, но справедливые педагоги. Фашисты чувствовали себя в городе полными хозяевами. Если судить по их самодовольным лицам, по гордой походке, можно было подумать, что они здесь обосновались

прочно и надолго. Костя не верил этому. Он помнил прощальные слова старого Остапа Охрименко:

— Не горюйте. Мы еще вернемся!

Но Красная Армия отступила далеко на восток, где вела упорные оборонительные бои, партизаны скрывались где-то в лесах, а здесь на каждом шагу только и встречались ненавистные подлые завоеватели.

Однажды в воскресное утро мать послала Костю продать отцовское зимнее пальто и купить чего-нибудь съестного. С продовольствием в городе становилось все хуже и хуже.

На Центральном рынке было многолюдно. Бойко торговали ларьки и лавки откуда-то появившихся частников. Повсюду шныряли полицаи, шпики и гестаповцы, высматривая и выслеживая подозрительных. То тут, то там то и дело возникали перебранки и настоящие свалки. Раздавались пронзительные свистки, а иногда выстрелы. Вот мимо Кости провели рабочего со скрученными назад руками.

— Господи, боже ты мой,— прошептала стоящая рядом старушка. — Опять повели. И когда только конец этому будет?

— Что ты сказала? — грозно спросил ее незаметно подошедший полицай. — Чем недовольна?

— Да ничего я, мил человек, не говорю,— испуганно пролепетала старушка. — Рукавички вот продаю, сама связала.

И она поспешно юркнула в толпу.

Костя долго ходил по рынку, тщетно стараясь продать пальто. Продавцов было больше, чем покупателей. Дешево, за смехотворно низкую цену, какую ему предлагали, отдавать не хотелось. "Похожу еще часок, может, все-таки продам," — утешал он себя.

— Сколько просите за пальтецо?

Костя обернулся. Перед ним в неизменном плаще и шляпе стоял учитель Назар Степанович. Беря у Кости из рук пальто, старик тихо шепнул:

— Жди сегодня богомольцев.

Тщательно, с видом завзятого покупателя он рассматривал пальто, а затем, возвращая его, сказал с притворным вздохом:

— Нет, не годится. И цена неподходящая, и пальтецо мне не по росту.

— А сколько он запрашивает? — спросил высоченный мужчина, явный перекупщик.

Он выхватил у Кости пальто, небрежно осмотрел его и снова спросил:

— Сколько?

Назар Степанович тем временем уже исчез в толпе. А Костя, взволнованный неожиданной встречей, не стал особенно запрашивать и, сбавив чуть не половину намеченной цены, быстро продал пальто перекупщику и поспешил домой.

Матери дома не оказалось. Соседка на его расспросы сообщила:

— Мать велела тебе одному тут хозяйновать. Она денька на три в Камышевку отлучилась. Сестра за ней оттуда приходила, просила помочь ей по хозяйству управиться. Картошку перебрать, капусту засолить и еще что-то. Ты, хлопчик, не беспокойся, я за тобой пригляжу.

"Вот и хорошо," — подумал Костя, а вслух сказал:

— Что за мной глядеть, я и сам не маленький.

Глубокой ночью раздался тихий звонок. Костя на этот раз не спал, ожидая Назара Степановича. Он быстро выскочил в садик и приоткрыл калитку. Возле нее стоял неизвестный человек высокого роста. Костя в нерешительности сделал шаг назад.

— Скажи, мальчик, — тихо заговорил незнакомец, — не у вас ли остановились богомольцы?

"Свой," — подумал Костя и так же тихо ответил:

— Были, да недавно в Лавру ушли.

— Я их подожду.

— Пожалуйста, проходите.

Костя провел незнакомца в свою каморку. Он хотел зажечь коптилку, но незнакомец запротестовал:

— Не надо. Без огня спокойнее. А разве к вам никто сегодня не приходил?

— Нет, вы первый.

— Так...— задумчиво протянул незнакомец.— Вот что, пойди-ка ты на улицу и покарауль. Тут один человек должен подойти. Очень он мне нужен. А если что подозрительное заметишь, позвони. Тут есть другой выход?

— Есть. Через огород к оврагу.

— Хорошо. Иди!

Почти час простоял Костя на улице. Поселок окутал густой туман. Было сыро и прохладно. Костя хотел было вернуться в хату, чтобы одеться потеплее, но в это время увидел торопливо подходившего к хате человека. Испуганный мальчик хотел было уже дернуть проволоку, но услышал прерывистый шепот:

— Костя? Ты?

Это был Назар Степанович. Он тяжело дышал, держась за сердце. Против обыкновения, даже не обменялся условным паролем, а быстро вошел в ограду.

— Гость у вас?

— У нас.

— А мать дома?

— Нет, она в Камышевке, у тети.

— Вызови гостя сюда, да скорее.

Назар Степанович беспокойно озирался по сторонам. Видно было, что он чего-то опасался. Костя быстро привел незнакомца.

— Беда! — тревожно заговорил старый учитель.— Явка на Голосеевке провалилась. Я чудом спасся. Взяли Фому и Почтаря.

— Что же делать?

— Только без паники! — строго оборвал старик. — В Камышевку тебе сейчас идти нельзя. Опасно, да и другие дела тебе предстоят.

— А как же встреча?

— Это моя забота. Дай сюда пакет.

Незнакомец протянул серый конверт.

— А теперь иди. Предупреди наших. Да берегись: в городе идут облавы. Скажешь: сбор в роще, во вторник. Иди, не мешкай.

Незнакомец исчез в тумане. Костю бил озноб. Назар Степанович заметил это и спросил:

— Боязно?

— Нет. Холодно. Пойдемте в хату.

В каморке, не зажигая света, они сели на скамью.

— Слышал, какая беда стряслась? — заговорил учитель.— Конечно, далеко не все пропало, но дело усложнилось. Нам надо верного человека в Камышевку послать, а взрослому сейчас не пройти: везде усиленные патрули выставлены.

— А если я? — несмело предложил Костя.

— Вот и я то же думаю, что ты бы легче прошел. Какой с тебя спрос? Иду, мол, к тете — и весь сказ тут.

— Я так и скажу.

— А не побоишься?

— Нет, Назар Степанович, не побоюсь. Сейчас идти или как?

— Нет, не сейчас, а днем. В том-то вся и штука. Ночью тебя обязательно задержат, а днем ты не вызовешь подозрений. Завтра после обеда и пойдешь.

— Пакет понесу? Да? — догадался Костя.

— Думал я пакет передать, да теперь это рискованно. На словах передашь, что надо. Только слушай внимательно и запомни.

— Не бойтесь, Назар Степанович, все запомню.

— Так вот. Пойдешь снова к Панасу Карповичу. Там встретишь одного человека и скажешь ему вот что. Первое — оружие для них спрятано в том же лесу— у сосны Три креста. Пусть заберут. Второе — явка провалилась. Людей пока посылать в нашу группу нельзя, известим, когда можно будет. И третье, самое главное,— планы, он знает какие, достали и на днях пришлем в условленное место с верным человеком. Скажи пока только — подземный завод пусть ищут на Зеленой горе.

Костя внимательно слушал, стараясь не пропустить ни слова.

— Запомнил?

— Да.

— А ну, повтори.

Костя слово в слово повторил.

Назар Степанович удовлетворенно кивнул головой и встал со скамьи.

— Я пошел. Будь осторожен, Костенька. И помни: все мы делаем большое дело для Родины. Она этого никогда не забудет. Прощай!

Он поцеловал Костю и быстро ушел.

Мальчик почти не спал эту ночь. Наверное, раз десять, не меньше, повторил все, что ему было велено передать, чтобы лучше запомнить. Под утро неожиданная мысль окончательно отогнала сон: "А как же знамя? Что если без меня придут с обыском и найдут его? А если закопать его в огороде? Положить знамя в отцовский сундучок и... Только вот в каком месте закопать?"

Начинало светать. Часа через два выглянет скупое солнце.

Костя ходил по огороду, выбирая место для тайника. Но все не находил подходящего.

Громкое карканье прервало его раздумье. На срубе колодца, в дальнем углу огорода, сидели две вороны. "Ишь, не спится им," — подумал Костя, и вдруг его словно кто-то подтолкнул. А что если?.. Колодец давно уже пересох, вода из него ушла. Мать собиралась засыпать его, но все не решалась. А вдруг вода снова появится? Охрименко не раз по-ученому доказывал ей, что воды больше не будет, но мать не верила этому. Костя радостно засмеялся. О чем он думал раньше? Ведь это же самый настоящий тайник. Дома никого нет. Значит, можно спокойно и незаметно сделать то, что задумал. Прежде всего он решил осмотреть колодец. Притащив лестницу, примерил ее. Она оказалась в самую пору и даже немного не доставала до верху. Дно, как он и думал, было сухим. Теперь надо выкопать на дне яму и... но тут ему пришла счастливая мысль. Не лучше ли устроить тайник посередине? Ведь если у кого-нибудь и возникнет подозрение, то искать-то станут обязательно на дне колодца.

И Костя принялся за дело. Завесив окно, при тусклом свете ночника достал драгоценное знамя из-за обшивки, развернул и, как бы прощаясь с ним надолго, поцеловал его.

Затем завернул знамя в чистую холстину и уложил сверток в железный ящичек, оставшийся от отца-железнодорожника.

Захватив кирку, лопату и топор, поспешил в огород. Осмотрелся кругом. Никого, тишина. Спустился по лестнице до середины колодца, отодрал доску обшивки и начал выкапывать боковой тайник. Глина поддавалась легко. Не прошло и часа, как углубление было готово. Костя втиснул туда заветный ящик. Приколотил обратно ту же старую доску — и дело сделано. Теперь знамя будет лежать в надежном месте. Вряд ли кому придет в голову искать его здесь. Свежую глину Костя тщательно собрал в ведро и закопал в огороде. А в полдень отправился в Камышевку выполнять задание старого учителя.

СТРАШНАЯ ВЕСТЬ

Как и предполагал Назар Степанович, Косте без труда удалось под вечер пробраться в Камышевку. Патрульный на окраине Куреневки спросил его только, куда и зачем он идет, дал подзатыльник и отпустил. И в самом деле, в чем он мог заподозрить мальчика в рваном пальто, так жалобно просившего пропустить его к больной матери?

Мать и обрадовалась, и встревожилась, увидев сына.

— Ты зачем? Все ли у нас дома ладно?

— Все в порядке. Хату я закрыл на замок. Скучно мне там одному. Я тут с тобой поживу. Может, помогу чем.

— Пусть поживет,— приветливо сказала тетя Матрена Федоровна. — Одному, конечно, там жутковато.

В этот вечер, чтобы не вызвать подозрений, Костя не пошел выполнять поручение. А с утра принялся помогать по хозяйству. Подмел во дворе, наколол дров. Словом, провел весь день в хлопотах. После обеда тетя, словно угадав его желание, попросила:

— Сходи-ка, Костенька, к кузнецу. Чайник возьми у него, починил он его уж, наверно. Неделя, как отдала.

Костя тут же, не мешкая, пошел к Панасу Карповичу. В кузнице никого, кроме хозяина, не было. Кузнец, весь черный от сажи и копоти, возился у горна.

Костя окликнул его:

— Дяденька Панас, тетя меня за чайником послала. Готов он?

— Готов, — ответил Панас Карпович и, понизив голос, спросил:

— По делу пришел?

— Да.

— Чайничек-то готов, — неестественно громко заговорил Панас Карпович, — только он у меня дома лежит. Приходи попозднее, когда я здесь управлюсь.

В дверях кузницы стоял полицай и подозрительно смотрел на Костю.

— Что за мальчик? Откуда?

— А это племянник Матрены Федоровны,— спокойно ответил кузнец. — С матерью он тут.

— А-а, — неопределенно промычал полицай и протянул ему ружье. — Тут вот затвор поправить надо. Сумеешь?

— Чего не суметь — дело знакомое. Поохотиться собираешься? — спросил Панас Карпович.

— Да, надо кое за кем поохотиться, — усмехнулся полицай, — поправь к завтрему, я зайду.

Поздно вечером Костя пришел к кузнецу. Панас Карпович встретил его во дворе и повел не в хату, а на огород. На недоуменный взгляд Кости буркнул односложно:

— Иди за мной.

В огороде возле плетня притулилась низенькая баня. Панас Карпович легонько подтолкнул Костю, а сам остался снаружи на карауле.

Открыв дверь, Костя в замешательстве остановился на пороге. На лавке возле крохотного оконца сидел... Остап Охрименко.

— Затвори дверь, дует, — ласково сказал старик.

Костя прижался к его широкому плечу. Охрименко крепко обнял мальчика.

— Здравствуй, герой мой милый. Что, соскучился по старому?

— Соскучился, дядя Остап, — тихо ответил Костя, — ой, как хорошо, что вы живые!

— А что мне сделается: я двужильный,— пошутил Охрименко и тут же переменил тон, — ну, сказывай, с чем пришел.

Костя сбивчиво начал пересказывать то, что велел передать Назар Степанович. Старый токарь терпеливо, не перебивая, выслушал, а затем спросил:

— Все?

— Все, дядя Остап.

— Гм, — недовольно крякнул тот. — Как же так? Странно. А он ничего не говорил насчет чертежей... или как бы тебе сказать, планов там всяких?

— Ой, — спохватился Костя, — говорил, говорил. Как же это я забыл? Сейчас вспомню. Ага! Он велел сказать, что планы какие-то они достали и на днях пришлют, куда, вы, говорит, знаете, с надежным человеком. И еще,— Костя раздельно, отчетливо произнес: — Подземный завод, сказал, пусть ищут на Зеленой горе.

— Ну вот это — другое дело, — повеселел Охрименко. — Добре. А то мне без этих слов и возвращаться не велено.

— Дядя Остап, а что, скоро наши обратно придут?

— Скоро не скоро, Костенька, а что выметут фашистов с нашей земли — это уж дело верное.

— Эх, скорей бы, — вздохнул Костя.

— Ну, ничего, потерпи трошки, — он встал, чуть не стукнувшись головой о низкий потолок, и озабоченно сказал:

— Мне пора. Вести ты принес очень важные, и я скоренько должен доставить их куда следует. А тебе, дружок, придется пожить здесь недельку. Жди от меня новостей для городских товарищей. А потом шепнешь их кому надо.

...Больше недели пришлось прожить Косте в деревне у тетки в ожидании новостей от старого Охрименко. Мать уже вернулась в Куреневку, а он все еще ждал. Наконец как-то вечером, улучив удобную минуту, Панас Карпович сказал ему:

— Вертайся до дому. И передай там спасибо за вести. Чуешь?

— Чую, — ответил Костя.

— Ну, бувай здоров. Добрый ты хлопец!

В Куреневке Костю ждала страшная весть. Мать встретила его со слезами.

— Костенька, какая беда-то у нас стряслась.

— Что такое? — испуганно спросил сын.

— Забрали гестапы проклятые человек двадцать и всех повесили. И с ними — боже ты мой, кто бы мог подумать? — сказнили нашего учителя Назара Степановича. Да ведь он в жизни никого не обидел, добрейшей души человек был.

Костя навзрыд заплакал.

А мать, прерывая свой рассказ всхлипываниями, продолжала:

— Утром согнали нас на площадь. А там уже виселицы наготове,— она содрогнулась от страха и жалости.— И вот привели их, сердечных, измученных, избитых, окровавленных. А впереди всех, опираясь на палочку, идет наш Назар Степанович. Стали на него надевать петлю, а он оттолкнул палача и громко так крикнул

нам: "Прощайте, люди советские! Не бойтесь злодеев, бейте их без жалости!.." Тут его схватили и... — мать, не закончив свой рассказ, забилась в неудержимых рыданиях.

А Костя, словно окаменев, сидел у стола и не замечал, как крупные слезы одна за другой падали на скатерть.

Всю жизнь будет помнить он своего любимого учителя, отдавшего жизнь за Родину. И никогда не уйдут из памяти его слова: "Помни, все мы делаем большое дело для Родины. Она этого никогда не забудет. Прощай!"

— Прощай! — прошептал Костя и поднял руку, как бы давая клятву быть стойким и смелым пионером-ленинцем.

ВЗРЫВ

Февраль 1943 года. Неожиданно над Киевом разразилась сильнейшая снежная буря. На улицах Куреневки намело глубокие сугробы. Костя лопатой расчищал дорожку от хаты до калитки.

Мать ушла с утра на рынок продавать вещи, чтобы купить чего-нибудь съестного. Часа через три она вернулась возбужденная.

— Костенька! В городе вывесили траурные флаги.

Сын удивленно спросил:

— Умер, что ли, кто из главных фашистов? А что говорят?

— Шепчутся, будто у Волги наши окружили и разбили большую армию фашистов.

Костя радостно захлопал в ладоши.

— Вот это здорово! Значит, врут фашисты, что везде побеждают. Подожди, придет время, и Киев освободят.

Он сразу повеселел от этой радостной новости.

А в конце марта случилось новое событие. Уже начало теплеть. Снег с каждым днем все больше подтаивал. Еще одна трудная зима осталась позади. Однажды мать с Костей засиделись допоздна. Разговаривали, вспоминая прошлое хорошее время, вместе мечтали о том дне, когда кончится это тяжелое лихолетье и в городе снова установится родная Советская власть. Костя с печалью замечал, что мать сильно постарела, в ее черных волосах проступала седина. Сам он похудел, вытянулся и заметно повзрослел.

— Ничего, мама, — утешал он, — вернется еще хорошая жизнь.

— Дай-то Бог,— вздохнула Пелагея Федоровна и вдруг умолкла.

В дверь хаты тихо постучали. Они прислушались, встревоженные. Снова тихий стук. Мать приоткрыла дверь.

Костя из-за ее плеча напряженно вглядывался в темноту.

— Кто тут? — испуганно спросила мать.

— Это я, Федоровна, — услышали они знакомый голос Остапа Охрименко.

— Батюшки! — ахнула мать.— Да что с тобой?

— Ничего страшного. Помоги мне встать. А ты, Костя, выгляни на улицу, не увязался ли кто за мной?

На улице было пустынно. Когда Костя вернулся в хату, мать перевязывала старому токарю рану. Нога была прострелена сзади чуть пониже колена. Охрименко морщился от боли, но терпел. Наконец перевязка была окончена.

— Ну как, все спокойно? — спросил Остап.

— На улице никого нет, — ответил Костя.

— Значит, счастливо удрал,— радостно вздохнул Остап — А все-таки, Федоровна, надо бы меня куда-то запрятать от греха, пока нога не заживет.

— Мама, а если дядю Остапа в погребе спрятать? — предложил Костя.

— И то верно,— согласилась мать,— в погребе будет безопаснее.

— Тогда ведите меня скорее в погреб. Буду, как суслик, прятаться в норе,— пошутил Охрименко.— Только, Федоровна, чур — молчок. Вы меня не видели и знать ничего не знаете.

— Да что ты, Остап Терентьевич,— обиделась мать.— Али я не советский человек? Да хоть режь меня — ни слова не вымолвлю.

— Извини, пожалуйста,— оправдывался смущенный Охрименко. — Это я по привычке. Знаю, что вы люди надежные, не подведете.

В погребе быстро устроили постель и уложили на нее старого токаря.

— Отдыхай спокойно, Остап Терентьевич, тут тебя никто не побеспокоит, — сказала мать.

— Спасибо! — поблагодарил Охрименко. — А ты, Костя, посиди немного со мной.

Когда они остались вдвоем, Охрименко приподнялся на локте.

— Опять тебя, Костенька, приходится тревожить, но иначе нельзя. Сам видишь, что я пока никудышный ходок. А дело неотложное.

— Я, дядя Остап, на все согласен,— горячо сказал Костя.

— Спасибо, Костенька. Ты настоящий пионер. Герой!

Костя покраснел от похвалы.

— Так вот какое тебе задание будет, Костенька, — продолжал Охрименко.— Пойдешь завтра после обеда на Бессарабку. Там в съестном ряду найдешь женщину, которая будет торговать котлетами. Ты ее спросишь: "Фаршированные кабачки есть?" Она тебе ответит: "Придется подождать лета, тогда и кабачки будут." На это ты ей скажешь: "Мне ждать некогда, дайте котлетку, только поподжаристее." Ты скушай котлету, а потом отойди от нее, но крутись тут же, неподалеку. Когда она отторгуется и пойдет домой, издали иди за ней. А там она уже даст тебе знак, что дальше делать. Но будь осторожен, на шпиков не нарвись.

— А как я ее от других отличу? Ведь там не одна она будет торговать.

— Молодец! — снова похвалил Охрименко.— Голова у тебя работает. Эта женщина будет одета в черный полушубок, подпоясанный желтым шарфом. На ногах галоши, на голове зеленая шаль. А на столе у нее будет стоять пустая бутыль с отбитым горлышком. Ясно?

— Ясно!

— Тогда иди отдыхай. А завтра — за дело.

Костя на минуту замешкался. Он хотел было рассказать Охрименко о знамени, но тут же одумался, вспомнив строгий наказ погибшего командира. "Раз командир запретил говорить об этом до прихода наших — значит, нельзя," — подумал он и пошел к выходу.

Утром по улицам поселка несколько раз взад-вперед промчались мотоциклисты. "Ищите, ищите, — подумал Костя, — черта с два найдете." После обеда он направился на Бессарабку.

Все вышло очень удачно. Часа через два Костя издали шел за невысокой пожилой женщиной в черном полушубке. На углу переулка она остановилась и опустила свою поклажу на землю. Будто только сейчас заметив идущего следом Костю, крикнула ему:

— Мальчик! Помоги донести вещи. Я тебе заплачу.

Костя молча взял тяжелую корзину. Вскоре они свернули в переулок, а затем вошли во двор. Миновав сарай, юркнули в маленький огород и оказались возле ветхой избушки. Женщина трижды с перерывами постучала в окошко. Дверь открылась, в ней показался плечистый парень в потемневшей спецовке. Увидев женщину, он улыбнулся и вопросительно посмотрел на Костю.

— От богомольца, — коротко сказала женщина и тут же оставила их вдвоем.

А вечером, когда стемнело, Костя привел парня к Охрименко. Старик обрадовался и крепко пожал парню руку.

— У вас все в порядке? — спросил он.

— В порядке. Мы за тебя очень боялись. Наши видели Петруся, убитого возле оврага, а ты исчез. Думали, что в гестапо попал.

— Ну, не так-то сразу, — усмехнулся Охрименко. — Была маленькая стычка. Петрусь, как было установлено, задержал их, а я утек. Подранили только меня, придется несколько дней отлеживаться. Петруся вот жаль, хороший человек был.

Наступило горестное молчание. Костя хотел было уйти, чтобы не мешать разговору, но Охрименко удержал его.

— Останься, Костя, — сказал он. — Ты человек свой, проверенный. Может, еще понадобишься.

Костя остался. Но из последующего разговора он, по правде сказать, мало что понял. Охрименко спросил:

— Ну что, выяснили?

— Точно известно, бал будет через три дня.

Парень достал из кармана листок бумаги и развернул его. На нем карандашом был нарисован какой-то план.

— Вот здесь, — указал он на жирный крест в центре плана.

— Ага, — удовлетворенно хмыкнул Охрименко, рассматривая план, — значит, отметим день рождения господина Гитлера.

— Надо бы.

— Обязательно отметим. Как же иначе? — усмехнулся старик и добавил уже серьезным тоном: — План должен был доставить я, но сам видишь — не могу. Придется, Алеша, тебе. Пойдешь?

— Пойду!

— Вот и ладно, — повеселел Охрименко, — а я тут на иллюминацию посмотрю. Думаю, что наши не прозевают. Сейчас же отправляйся и передай план по назначению. Явка в сторожевой будке. Знаешь где?

— Знаю. Филипп объяснил.

— Ну, в добрый путь!

Тот попрощался и быстро ушел.

— Запомни этого человека, Костенька. Найдешь его, если надо будет?

— Найду.

— В случае чего, держи связь с ним. А теперь иди спи.

Больше недели отлеживался в погребе Остап Охрименко. Наконец рана его зажила. Но он еще прихрамывал и ходил, опираясь на палочку.

Однажды вечером он спросил Костю:

— Помнится мне, у вас на чердаке есть маленькое окошко?

— Есть,— ответил недоумевающий Костя,— а зачем вам?

— А вот заберемся на чердак, тогда и узнаешь.

На чердаке Охрименко приник к окошку и долго всматривался в весеннюю темноту.

— Пока ничего не видно, — вздохнул он. — Подождем. Сейчас, пожалуй, еще рано.

— А что будет? — спросил Костя.

— Если все пойдет ладно, то мы с тобой, Костя, увидим очень красивую иллюминацию.

Ждать пришлось долго. Костя зябко поеживался, но стойко ждал. И вдруг в ночной тишине они услышали глухие взрывы.

Костя выглянул из оконца. Вдали высоко в небо взметнулся столб огня.

— С днем ангела, господин Гитлер! — торжествующе засмеялся Охрименко.

...Как выяснилось позднее, в Киеве в ту ночь произошло следующее.

В офицерском клубе киевского гарнизона фашисты торжественно праздновали день рождения Гитлера. Гремела музыка, рекой лилось вино. Пьяные офицеры во все горло орали песни, произносили хвастливые речи в честь непобедимой гитлеровской армии, танцевали.

И вдруг в самый разгар бала грохнули взрывы, потолок рухнул, свет погас. Здание загорелось. Обезумевшие оккупанты в ужасе метались по горящему клубу. У выходных дверей возникла дикая свалка.

По городу пошли слухи, что это подпольщики минами подорвали здание. В течение трех дней после этого киевляне с тайной радостью наблюдали за тем, как с оцепленной площади, в центре которой возвышался офицерский клуб, вывозили на грузовиках откопанные из-под обломков трупы.

Радовался в ту ночь вместе с Охрименко и Костя, наблюдая за тем, как далеко на горе темную мглу прорезают языки яркого пламени.

— Так им и надо! — возбужденно шептал он.

— Это только первый подарочек, — вторил ему Охрименко, — будет им и еще немало гостинцев.

Рано утром старик распрощался с Костей.

— Пора и обратно. Загостился я здесь, — сказал он. — А ты не грусти. Теперь уж не так долго ждать. Скоро побегут гитлеровцы назад как ошпаренные. Будь здоров, Костенька!

Слегка прихрамывая, он исчез в предрассветной мгле.

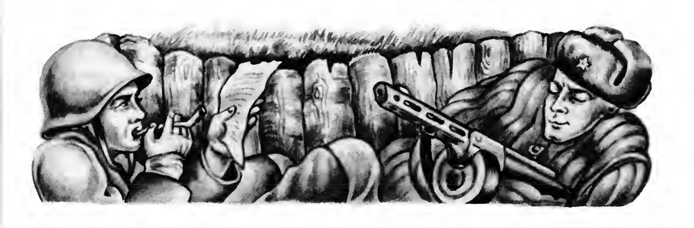


Климентий Борисов



Климентий Федорович БОРИСОВ (1899) красноармейцем Туркестанского отдельного артдивизиона с 1919 по 1921 гг. принял участие в гражданской войне. Командиром орудий различных калибров и старшим вычислителем артдивизиона воевал на Калининском и 3-м Белорусском фронтах в Великую Отечественную, был среди тех, кто штурмовал Кенигсберг. Закончил войну на Дальнем Востоке.

Первая книга К.Ф.Борисова — повесть "Дружная осень" — вышла в Свердловске в 1955 году. С тех пор им написано и издано более 15 книг. Память об Отечественной войне неизгладимо живет в его творчестве. Об этом свидетельствуют и последние сборники К.Ф.Борисова — "Полевая почта №..." и "Стезя".



ПОЛЕВАЯ ПОЧТА №

1

Кононовым, можно считать, везло: письма в обе стороны все эти два с половиной года шли исправно.

Номер полевой почты у Андрея за время фронтовой службы сменился не меньше десятка раз, а у жены оставался тем же, первым; Андрей сказал бы его без запинки, в какой час ночи ни разбуди. На войне ему больше и нечего было помнить, как только номер полевой почты жены. Когда-то, на первом году войны, комиссар артиллерийского полка придирчиво требовал, чтобы коммунисты помнили наизусть номер своего партбилета. Мог разбудить по телефону среди ночи, спрашивая номер... Но это, теперь казалось, было так давно. Где он, тот артиллерийский полк? Погиб вместе со своим комиссаром, и знамя полка было сдано, куда сдают осиротевшие знамена.

Кононов посылал письма в виде солдатских секреток и треугольничков; жена свои — в форменных конвертах. Случалось, что конверты она выкраивала из каких-то казенных госпитальных бланков. Андрей в этом случае осторожно расклеивал конверт, подолгу изучал, что написано с изнанки. Но там обычно были только медицинские записи, иногда на латыни. Только раз там оказался пятизначный номер, обведенный рамкой. И Андрей догадался, что Нина так сообщает ему номер госпиталя. Но по этому номеру угадать, где она находится, было столь же невозможно, как и по полевой почте.

Кононов пытался спрашивать своих медиков: где может находиться госпиталь с таким номером? Ему ответили не очень уверенно: где-то в полосе их фронта. А фронт велик...

В письмах жены некоторые фразы часто оказывались вымаранными черным; военная цензура не зря получала свой паек, по какой норме он ей там причитался. Кононов догадался, что вычеркнутые цензурой места в письмах каждый раз содержат географические названия. Жена всегда была простодушной; никакого способа похитрее, чтобы сообщить о своем месте нахождения, ей, очевидно, не придумывалось.

Но так уж, наверное, устроен свет: как раз простодушные умеют пересидеть на мякине хитрецов.

В одном из писем осенью Андрей прочитал фразу, которую сначала даже не постиг в ее простоте, и было сложил письмо, чтобы спрятать его на груди. Но развернул снова, и там было просто-напросто написано: "Может, летом в нашем Паневежисе и правда хорошо: это тихий и зеленый городок. Но сейчас, осенью, к тому же без тебя,— смертная тоска".

Кононов развернул карту, чтобы прикинуть точнее: выходило даже не по птичьему полету, а по дорогам около сорока километров.

В небе уже созревали ранние печальные осенние сумерки, когда Кононов шел обочь разъезженной кривой дороги к большаку. До КПП на большаке было километра четыре; Кононов шел размашисто, почти бегом, удивляясь, что не чувствует запала. Только в груди что-то тоненько сипело. Позади него в нескольких шагах трюхал солдат его батареи Трошин. Старше своего комбата лет, пожалуй, на десять, он скоро нагрелся, дышал тяжело. Кононов раза два останавливался, поджидая солдата, напоминал себе, что Трошину идти тяжелее, отобрал у него мешок. Но через несколько шагов опять забывал о своем спутнике, снова набирал крупный шаг. Что там у Трошина в мешке, он даже не спросил.

Командиром дивизиона у них лишь недавно, всего тому недели две, стал Николаевский. До этого года полтора оба они воевали комбатами. И Кононов счел это за перст судьбы: без долгих объяснений просто показал Николаевскому письмо жены, только то место, которое можно было показать, подогнув все остальное. И Николаевский понял все, только пристально посмотрел в лицо товарища, сразу постаревшее. Минуту помолчав, спросил:

— А если до утра не обернешься?

И Андрей горячо стал объяснять, как он все тщательно рассчитал. Но Николаевский прервал его:

— Конечно, ты все рассчитал: риск навесил на меня, остальное все твое. Старику докладывать поздно, нет его на месте, уехал в штабарм. А когда старик уезжает в верха, сам знаешь: жди дело крутого замеса. Что мне велишь, если какая экстренность? Врать велишь, вывертываться? Не стану я старику врать.

Стариком они называли меж собой полковника, командира бригады, которого не боялись, просто любили, что нечасто бывает в армейской цепочке снизу вверх.

Николаевский тянул минуты, хотя Кононов уже видел: отпустит.

Под конец он сказал то, о чем у Кононова и в уме не было. Велел зайти к старшине, взять что-нибудь в гостинцы госпитальным дамам.

— А это к чему? — спросил Андрей.

— Ты слушай того, кто постарше,— назидательно сказал Николаевский.— У нас с тобой первая норма снабжения, а у них... Я, впрочем, не знаю, какая у них норма. Но не в этом же дело, существует деликатное обращение... Я скажу старшине.

Слушай того, кто постарше? По возрасту Николаевский был моложе Андрея года на два. Разве только по должности теперь. Но выставлять свое старшинство по должности Николаевский как раз не станет.

2

Таким давнопрошедшим — не верится, что это было вообще,— теперь казалось то время, года за четыре до войны, когда Кононов с Ниной, оба робея, оба чему-то не доверяя, начали приглядываться друг к другу. Она приехала тогда в их город сразу после института. И они, как-то случайно познакомившись, сначала сделали навстречу один другому по маленькому осторожному шажку. Хотя у обоих к этому сближению не было никаких помех, не было ничего такого, в чем бы следовало признаваться, каяться из своего прошлого. Оба как будто добропорядочны, оба бедны. Наилучшее состояние, чтобы начинать жить наново. И второй шаг с обеих сторон получился уже посмелее.

Жилье у Кононова было не лучше, чем комнатенка в общежитии, что дали Нине. Это была комната узкая и тесная. Вдвоем в ней можно жить, если только перемещаться и поворачиваться обоим в одну сторону.

И они со своей, можно сказать, юношеской непрактичностью не придумали ничего лучше, чем задешево купить небольшой, на два окна, дом в окраинной слободе. Но дешево купленный дом оказался соответственным своей цене. Зимой, как бы с вечера ни была накалена печь, к утру в ведрах на кухне застывала вода.

Свою кровать они поставили к теплому боку русской печи. Нина говорила: ей хорошо, потому что слева печь, справа мужичок-моховичок. Он говорил: ему хорошо потому, что хорошо ей.

Утром Андрей вскакивал, совал ноги в валенки. Так, в валенках, трусах и майке, неторопливо ходил по избе. Малость гордился, что не позволяет себе срываться в знобкую спешку; проделывал гимнастику. Пробивал застывшую воду в ведрах, умывался. После умывания лицо делалось горячим и словно чужим. Когда хорошо разгоралась печь и в избе делалось теплее, будил жену. Она уже не спала и так, но притворялась спящей, ждала, чтобы он разбудил ее поцелуями. Обвисала у него на руках, притворяясь беспомощной, разоспавшейся.

Во вторую зиму супружества они уже так не мерзли в своей избе. За лето Андрей многое успел сделать по дому, по хозяйству. Один, без помощников, поднял на потолочное перекрытие сколько надо торфяной крошки. Пробил паклей пазы сруба. Заниматься этим ему удавалось только поздним вечером. Бочарный стук полубалодки при этом раздавался на весь поселок. И люди в поселке, сумерничающие в своих приизбяных садиках за ленивым чаепитием, говорили: молодая наша врачиха увивает свое жилье. Нину в поселке знали стар и млад; врач в народе — фигура, кому не известная? А Андрея по роду его службы — был он работником среднего звена, "районщиком", — знали меньше. Живет малый при своей жене и пускай себе.

Дни у обоих были заполнены беспокойной текущей работой, но вечерами в своем доме они оказывались заколдованными, словно ввергнутыми в золотистую полудрему, словно время для них остановилось на какой-то счастливой минуте и теперь долго-долго не стронется с места. И это странное чувство остановленного времени владело ими до самой войны.

14 Зак. 474

Война их расколдовала в один час. И сразу стало как-то даже совестно, что они эти четыре года прожили так счастливо. Будто настал час, когда надо расплачиваться за свое благодушие.

Детьми они еще не обзавелись, и потому Нину в первые же недели призвали в армию, на госпитальную службу. В военкомате вместо паспорта ей выписали воинское удостоверение. В нем было больше десяти страниц, но только на первой комиссариатский письмоводитель заполнил несколько граф. Потом открыл еще какую-то среднюю страницу, записал там размеры обуви и шапки и группу крови по Янскому.

Они вышли из военкомата, побрели домой, поталкиваясь плечами. Как принято у других-прочих ходить под руку, они никогда и раньше не хаживали. Просто ходили рядком, стараясь быть поближе один к другому...

День отправки пришел в свой черед. Отправлялся целый поезд, составленный из теплушек.

Нина все упрашивала мужа не спешить, не рваться в армию: ведь он нужен здесь, в тылу, у него бронь. Она советовала: конечно, не увиливать, если дело пойдет к тому, но и не набиваться, пока не попросят. Кому-то надо же позаботиться об их нехитром хозяйстве: дом, именьишко. Близких родных у Кононова не было вовсе, у ней — только старики родители, живущие неблизко.

Андрей выслушивал ее наставления, покорно с ними соглашался. Но когда состав тронулся... Меньше чем в километре от вокзала серебристая рельсовая дуга вонзалась в гору, в черное пятно тоннеля. Локомотив, входя в тоннель, издал такой жалостный вскрик, который тут же прервался, словно его заглушили наброшенным на голову состава плотным войлоком. И Андрей, смаргивая на ходу какую-то мутную пленку, полуослепнув, пошел не домой, а к себе в райком.

Прожил он дома без жены чуть больше месяца, показавшегося ему за год.

3

Попутный грузовик, подобравший Андрея с Трошиным, до центра Паневежиса не шел. Когда уж и город был виден, шофер свернул влево, на заправочную площадку под старыми, полураздетыми деревьями.

В городе найти госпиталь было уже нетрудно. Здесь его нашел бы и Трошин, про которого солдаты говорили, что до армии, дома, он уверенно находил дорогу только от сельской чайной до полатей в своей избе.

За вереей распахнутых решетчатых ворот, под крышей, способной защитить разве только от прямого дождя, коротал службу невооруженный дневальный. Только в госпиталях и только служивые из команды выздоравливающих так небрежно несут службу. Рядовых санитаров без нужды дневальными не ставят; у них невпроворот другой работы. Раненые, прикованные к постелям, исполняют службу согласно присяге: изо всех сил стараясь не умереть, а помаленьку выходить на поправку. Тем же, кто уже зачислен в команду выздоравливающих, тянуться по службе незачем: такой служивый здесь стоит уже только одной ногой, вторая нога пылит по дороге в запасный полк.

В глубине большого двора виднелась группа зданий. Кононов спросил дневального, в каком из этих корпусов живут врачи. Не потрудившись даже привстать, дневальный вяло сообщил:

— Врачей у нас много. Есть врачи-мужики, есть врачи-женки.

"Из северян родом солдатик, — подумал Андрей, пересекая квадрат подворья. — Помор, скорее всего".

В просторный полутемный коридор бревенчатого здания выходило больше десятка грубо окрашенных белилами дверей. Похоже, врачебные кабинеты; едва ли здесь окажется женское общежитие. И Трошин, с которым безмолвно, только взглядом, Андрей посоветовался на этот счет, тоже пожал плечами. Но одна из дверей была приоткрыта, и он заглянул туда. Потом открыл двери еще на ладонь шире, чтобы спросить позволения.

В комнате стояли четыре кровати, заправленные по-женски, а не по-солдатски, и три послушницы-жилички этой кельи сидели за столом, разбираясь в бумагах. И одна из них была Нина; он узнал ее с первого взгляда, хотя сидела она к нему спиной. Волосы она подрезала и здесь так же, как дома. Этот затылок он помнил с тех далеких дней, когда она появилась у них в городе молодюсенькой, начинающей врачихой.

И она не встала, не бросилась ему навстречу, только повернулась на стуле. Две другие повскакали с мест, а она осталась сидеть с помертвевшим лицом. Он смутно подумал, что и у него, наверно, лицо стало нечеловеческим, если они так вскинулись, когда вошел незнакомый офицер, что не могло быть у них таким уж необычным делом.

Он подошел ближе, Нина не поднялась со стула и тогда только начала тянуться к нему, как это делают дети, просясь ко взрослому человеку на руки. На женщин, подруг жены, он не глядел; разве только боковым зрением отметил, какими у них становятся умиленными лица. Чужой радостный толчок в сердце женщины как-то умеют углядеть в момент. Он поднял Нину за предплечья, крепко придерживая, понимая, что ее не держат ноги. Она прильнула к нему так порывисто, что, кажется, больно ударилась виском, щекой о его грудь, об ордена. По их окопной сноровке ордена, которые носятся на планках, он хранил в сумке, а те, что прочно привертываются на винт, носил всегда на гимнастерке.

— Девочки, это Андрей, — сказала Нина.

— Не слепые, видим сами, — дружно откликнулись девочки. Обе они выглядели старше Нины лет на пять, может, больше того; разве в плохо освещенной комнате и в такой ошеломленности приметишь такие подробности. Его все же поразило лицо одной из них: неподвижное, как косторезное, словно маска, на которой никогда не появляются живые чувства.

Подруги жены начали торопливо собирать бумаги со стола, намереваясь оставить их вдвоем, хотя Кононов успел сказать, что остается до утра.

— Со мной солдат, — смущенно проговорил Андрей. — Его бы устроить куда-нибудь на краткий отдых.

— Где он у вас? — торопливо спросила докторша со странно неподвижным лицом, словно обрадовавшись случаю пойти распорядиться.

— А он тут,— прокрякал за дверью Трошин, умеющий всегда находиться под рукой.

Обе девочки ушли, плотно прикрыв двери. Но Нина тут же встала, приоткрыла двери вновь. Пояснила при этом:

— Пусть пока так. Они придут...

Они еще пришли, но заглянули только на минуту. Одна из них, с пряничным, каким-то кустодиевским лицом, вполголоса сказала Нине, что у Софьи сегодня дежурство, а ей самой придется за полночь засидеться в ординаторской, писать выходные эпикризы. Вслед за ней в комнату еще раз зашла вторая, по-видимому, старшая. Она запросто собрала со своей кровати подушку и одеяло, свернула их валиком. Уходя, она насмешливо пожелала им ни пуха ни пера.

— Получается как-то неловко, — пробормотал Андрей.

— Не думай ни о чем,— горячо сказала жена.— Дашенька у нас необходимую сноровку знает. Она обо всем и всегда позаботится... Двери теперь можно закрывать.

— Какое-то у нее выражение лица...— сказал Андрей про Дашеньку.

— Выражения у ней нет никакого. Придется бедняжке жить без выражений лица. Сейчас с этим можно мириться, а как она будет с этим жить, когда кончится война...

Нина рассказала, что Дашеньку полгода назад ранило где-то в передовом районе. Мелкими осколками ей иссекло лицо.

— А вот у тебя выражение лица было действительно странное, когда вошел. Какое-то счастливо-несчастное лицо.

— Разве так бывает?

— У тебя было. И счастливое и несчастное в одно время.

Ночь может быть и бесконечно долгой, и короткой, как сполох зарницы.

Утром дверь в комнату женщин-врачей снова была приоткрыта. Андрей с женой сидели за столом, торопливым полушепотом договаривая, что еще не успели за ночь. Да и сколько ее им досталось — этой печальной и радостной ночи.

Нине надо было наскоро отлучиться по делам. Без нее сидеть в комнате стало совсем тяжело, и он вышел в коридор.

Еще было очень тихо, хотя в госпиталях и тишина бывает особенной. В ней немало разных госпитальных звуков, которые, однако, не идут в счет; их просто не замечают. Раненые не слышат этих звуков, потому что погружены каждый в свою боль, здоровые к ним привыкли, притерпелись. Оглядевшись, Андрей понял, что здание построено в два крыла, и из палатных отделений слышались хриплые стоны. И еще тонко позвякивал инструмент, который где-то сестра укладывала в бокс для кипячения.

Андрей прошел в конец коридора, где из незакрытых дверей, как золотистая ширма, виднелась полоса света. Это была, как он понял, дежурная комната медсестер. Там сидел и балагурил с тремя сестрами его ординарец. Он устроился тут вальяжно; сидел в гимнастерке, уже умывшийся, причесанный, благообразный.

Из коридора, еще незамеченный, Кононов несколько минут прислушивался к трошинской пустословице.

Сидит старик, млеет и важничает, овладев вниманием девиц. Им он кажется, конечно, стариком; Трошину уже за сорок. Они негромко и азартно смеются. Трошин доволен, что, кажется, произвел на них впечатление, в то время как они, может быть, смеются над ним самим.

Кононов негромко позвал ординарца, велел ему собираться.

Трошин, по штатному порядку говоря, и не ординарец вовсе. Ординарцев командиру батареи не полагается иметь. В штате он записан младшим вычислителем; исполнял же на деле все, что требовалось по нехитрому хозяйству батареи.

Андрей вернулся в комнату врачей. Нины еще не было там. Зато походкой Командора вошла Дашенька. Не потребовав от Андрея, чтобы отвернулся, она прошла в угол к своей кровати, сразу начав снимать халат. Андрей как-то спиной чувствовал, что она посматривает на него сердито. Одевалась она споро, по-солдатски, через минуту-две уже сидела перед ним за столом в гимнастерке с погонами старшего лейтенанта.

— Нинка сидит в ординаторской и плачет,— хмуро сообщила она.— Прямо изводится плачет. Слезы так и брызжут из нее. Что ты ей такого сказал?

Наверно, одинаковое количество звездочек на погонах позволяло, по ее мнению, говорить ему ты.

Рассматривая его пристально, словно хотела надолго запомнить, она сказала еще:

— Смотри, если ты Нинку чем-нибудь обидишь, мы тебя поднимем на ножи.

И Кононов чуть не всхлипнул от радости — понял, что подруги Нину любят и берегут.

Как только он вышел за ворота госпиталя, на него набросились волки. Трошина, ковылявшего сзади, они не тронули, потому что это были не натуральные живые волки, а текущие заботы и тревоги командира батареи. Трошину такие волки были не страшны; у него было свое заклинание от этих зверей: мое дело солдатское, пусть обо всем болит голова у комбата. А Кононов не мог не думать, что, может быть, ночью из старшего штаба в дивизион принесли пакет и в нем содержится задача каждой батарее на предстоящий бой. Там с точностью школьного расписания уроков бывает сказано: время, темп огня, расход снарядов и вся прочая привычная цифирь. Но самое главное в том, что каждый комбат должен к назначенному времени доложить готовность. И может быть, срок доклада о готовности уже опасно близок, а командир пятой батареи от своего НП в эту минуту находится в сорока километрах...

Все это подступило к нему, едва он вышел за ворота госпиталя. Но одновременно и рядом с этим вспомнилось, какое было лицо у Нины, когда он отрывал один за другим ее пальцы от своей гимнастерки. И в сердце у него с лязгом повернулся большой кованый ржавый ключ. До войны в деревнях он видал старинные амбарные замки, открывавшиеся с чистым, переливчатым звоночком. Один ключ от такого замка весил, пожалуй, как пистолет ТТ. И вот сейчас такой ключик дважды повернулся у него в сердце.

4

Приемник, он же сортировка, был самым мрачным местом в госпитале. За два с лишним месяца стояния в Паневежисе в палатах и операционных давно навели порядок если не образцовый, то терпимый для полевого передвижного заведения. В приемнике же все оставалось так, как бывает в дни обживания на новом месте: простыня, растянутая по потолку над рабочим столом, сиротский свет — четыре несильных лампочки на временной проводке, вместо ширмы — одеяло, подвешенное на веревке в углу.

Всем распоряжался в приемнике немолодой, давно ко всему оравнодушелый фельдшер Бондаренко. И никогда никто не мог бы сказать, насколько фельдшер трезв в каждый текущий час. За пагубное пристрастие его много раз наказывали, грозили отчислить в какой-нибудь медсанбат. Не отчисляли, наверно, потому, что и в медсанбатах ему пришлось бы доверять все того же окровавленного, израненного русского солдата.

Кроме того, Бондаренко в приемнике был на своем месте. Всю посильную хирургическую работу исправно и как-то механически делал сам при первичном обихаживании раненых, не брал на себя лишнего, но и никогда не перекладывал на других, что мог сам. И никогда не ошибался, растасовывая раненых по столам врачей-хирургов, с беглого взгляда видел срочность и очередность поступающих раненых, которые для других выглядят все на одно лицо.

И еще в одном на Бондаренко можно было положиться — в предсказаниях, какой предстоит день.

В это утро фельдшер мимолетно сказал дежурному врачу:

— Денек опять сегодня будет кругом-бегом. Вдобавок доктор Кононова годится разве только ассистировать. Ни на что большее.

Желая поставить дерзкого фельдшера на пристойное место, дежурный врач сказал:

— С чего ты взял? Доктор Кононова, как всегда...

Но это была их кланово-врачебная неправда. Доктор Кононова в это утро была плоха.

В госпитале, с кем что случилось, все узнают в тот же час. О приезде к доктору Кононовой ее мужа и о том, что она не в себе, не знали только те из врачей и сестер, что еще спали в этот ранний час; до общего подъема оставалось больше ста минут.

Фельдшер Бондаренко о свидании Кононовой с мужем только слышал от кого-то из сестер. Саму ее он встретил ранним утром в коридоре и при неверном свете слабой лампочки едва ли мог разглядеть, с каким потерянным лицом она прошла мимо. Но как-то сумел уловить, что доктору Нине сегодня работать с тяжелыми случаями не дадут.

А в комнате женщин-врачей не спал уже никто. Такая для них выдалась ночь... Нина сидела за столом, а Дашенька стояла рядом, обнимая ее голову, стараясь унять нервную дрожь, сотрясавшую тело подруги.

С той минуты, как Кононов ушел, Нина так и не сумела взять себя в руки. Ходила по комнате, гнулась, вжимая кулаки в грудь. Пробовала лечь, но уже через минуту вскакивала с нетерпеливым стоном.

В комнате находилась еще Лидия, четвертая их подруга, забежавшая на полчаса с дежурства.

— Дай ты ей наш обычный микстураль — бром с валерианкой,— посоветовала она Дашеньке.

— Пробьешь ее бромом с валерианкой, как же,— сердито отозвалась Даша.— Ей надо вколоть дозу пантопона. Если бы это было на ночь...

Эти женщины сами были врачи и состояний, которые называют нервными срывами, навидались достаточно. Если бы еще точно знать, как следует привести в норму человека, который сделался не в себе. Но точно они знали только одно: лучше дать человеку справиться с таким состоянием самому.

Впрочем, у Дашеньки для близких ей людей находились свои собственные методики. Так и на этот раз она неожиданно сказала:

— Что уж теперь. Ничего же сделать нельзя. Разве только я прочту тебе сейчас старушечий заговор.

И сразу же, как непризнанная, никому, кроме своей деревни, не известная сказительница, начала причитать, сказывать:

— Выду я, раба божья, скорбяшшая Нина на перекрестицу польских дорог, примусь я падать мокрым ликом в дорожный пыс. Раз на солнцевсход, раз на полудень, раз на заход солнышка, раз на полуночь. Покличу я матушку ратную Обережь. Матушка крепь-надежа, ратная Обережь, охрани ты мне нареченного мово воителя Ондрея от стрелы каленыйи, от сабельки булатныйи...

Лидия по другую сторону стола внимательно слушала, пристально глядя на подруг.

— А от танков, от авиации как? — хмуро спросила она. Но Дашенька только глянула сердито, кликушески продолжая:

— На море-окияне, на острове Буяне лежит бел-горюч камень. Доправлюсь я, раба божья Нина, до бел-горюча камня, размочу его своей жиночей слезой, порушу в порох перстами своими. Омою я мужу своему Ондрею женской слезой отверстые раны его...

— Может, лучше все-таки риванолем? — опять в задор спросила Лидия, не умеющая постичь Дашенькины заклинания.

Но Дашенька, может, для сворачивания под концовку, забормотала уж совсем бессмысленные слова:

— Шулан да булында, ярин да тулайка, чинчибри полынка, тутаринка...

Была ли эта прибавка к заговору, бессвязная считалка из детства или искаженные до неузнанности слова некоего ритуального бормотания на языке давно исчезнувшей народности, Даша, наверное, и сама того не знала.

Даша, сколько подруги ее знали, была такова: с чудачествами. И выдумщица, если надо было кому-то развеять напряженность и тревогу. Случалось, садилась гадать госпитальным женщинам на картах, и тогда со смеху можно было поме-

реть, слушая ее рыночно-цыганский диалект. Нина между тем понемногу выправлялась и без микстуры, без укола, которым ей грозила Даша. Она сказала, все еще всклоктывая от сдерживаемого плача:

— Сил нет даже пойти умыться.

— Да что это с тобой поделалось? Никогда тебя такой не видели.

— Сама не знаю... Вдруг представилось, что я его больше не увижу. Мы ведь чем живем? Живем надеждой, что кончится война и опять у каждой из нас будет дом, семья. Как это все лучезарно и как далеко. Пока мы вот так случайно не свиделись, у меня и мысли не было, что с ним может случиться что-то недоброе. Думалось: ну, ранят, могут ранить и тяжело. И мне представлялось: случись, Андрей поступит к нам, неужели мы его не спасем?.. А тут нагляделась на своего сокола и вдруг сообразила, что многое множество их вообще не попадает к нам в госпитали, остается там, под деревянными пирамидками со звездой. Как будто раньше этого не знала. Дура, конечно, дурой...

— Перестань. Тебе не за что себя корить.

— Есть за что. Вот поддалась своему горю. А это нам нельзя...

Дашенька пресекла разговор нетерпеливым движением. Ей все еще не нравилось настроение, с которым осталась ее подруга после нежданного краткого свидания с мужем. По ее мнению, Нина должна бы быть рада выше горных вершин.

5

Из своей полусамовольной поездки Андрей вернулся вовремя, за ночь не случилось никакой экстренности, он не попал ни в какую неприятность и не подвел никого из сослуживцев.

О возвращении следовало доложить тому, кто отпускал,— Николаевскому, и Андрей, прежде чем попасть на батарею, завернул на пункт командира дивизиона. Но оказалось, что Николаевский спит не в землянке, а в машине, метрах в трехстах воткнутой в кустарник. В последнее время у многих артиллерийских офицеров, кому полагалось иметь для разных надобностей полуторки, так повелось: в кузове сооружали небольшой фургон с дверцей и окном, а внутри два рундука по стенкам и столик.

Внутреннее убранство таких жилищ на колесах было у одних лучше, у других скромнее, но во всех случаях было подсказано тоской по самому мизерному гражданскому уюту.

Николаевский спал в фургоне, укрывшись с головой шинелью. В углу, против уютно топящейся жестяной печки, сидел солдат-связист с двумя телефонными трубками, висящими по обе стороны головы на петельках из бинта. Связист был также и недреманным часовым, охранявшим покой своего майора. Кононов пошептался с ним, спрашивая, давно ли спит Николаевский. Не желая беспокоить человека, который лег меньше трех часов назад, Андрей спустился с подножки на колесах, осторожно прикрыл за собой дверь. Но он не отошел и десяти шагов, как Николаевский появился в дверях в шинели внакидку. Свежий, словно и не со сна,

он коротко и звучно свистнул, по-мальчишечьи подбирая нижнюю губу. И Андрей вернулся, подтянувшись форменно, сказал:

— Осмелюсь доложить...

Иногда, если случалось с глазу на глаз, для разнообразия жизни они пользовались этим присловьем бравого солдата Швейка.

Николаевский спустился с подножки наземь, отошел к колесу. Андрей ждал его, пошатываясь от накопившегося в теле утомления. Думалось ему при этом как-то зыбко: что тут делалось ночью такого, что Николаевскому удалось поспать только часа три? Какой-нибудь артиллерийский переполох? А спит Николаевский чутко; они и разговаривали с телефонистом чуть ли не шепотом. Хотя чему удивляться: все мы за войну научились спать по-кошачьи. Бывает, даже артиллерийская стрельба нас не заставляет проснуться. Если, конечно, стреляет своя артиллерия. Будит нас обычно только что-нибудь непривычное, например, подозрительная тишина.

Андрей оглянулся: его ординарец шагах в десяти исправно спал, присев на пенек.

Андрей с интересом ждал: о чем спросит его Николаевский. Но у того нашелся только самый краткий, зато емкий вопрос.

— Ну? — Но Андрей замешкался с ответом, и Николаевский навел его на некоторые уточнения: — Все как следовало? Повидался?

— Все по диспозиции.

— Ну рад за тебя. Мог бы прибыть еще часа на два позднее.

Николаевский сказал напоследок, что ночью никаких варнацких выходок со стороны противника не наблюдалось. Андрей попенял командиру дивизиона: если имелось еще два часа резервного времени, почему не передал этого каким-нибудь способом внушения на расстоянии. Ему, Андрею, эти два часа были б дороже всех сокровищ.

На том и разошлись.

Отсюда до своего блиндажа Андрею с Трошиным оставалось бы километра полтора, но по прямой вдоль переднего края не ходят. Было уже достаточно светло, и утро выдалось артиллерийское. Так среди офицеров стало принято называть погоду, когда утро приходит не молочно-матовым, а сияющим, как чистой воды кристалл. Идти прямиком мешало бы даже не то, что слишком отчетливо видит немец; свои, солдаты-пехотинцы, сидящие в траншеях, окопчиках и щелях, будут сердиться, что какие-то двое шастают, демаскируя передний край.

Правее по ходу синел перелесок, на карте имеющий форму песочных часов. Но и пытаться пройти перелеском было неразумно: опушки его были щедро нашпигованы минами, теперь уж не разобрать — своими или немецкими. Из-за всего этого Андрею с Трошиным приходилось делать околицу километра в четыре.

Трошин плелся позади своего командира, квелый, безучастный, однако грыз на ходу сухарь. Сухарей у них, Андрей это знал точно, не было, не получали их в батарее уже давно. Скорее всего, Трошина в госпитале угостили девушки-медсестры, зря, что ли, он развлекал их солдатскими прибаутками. Когда Андрей оглянулся, Трошин и ему предложил, протянув на ладони, полсухаря. Это был сухарик из белого хлеба, таких в солдатском пайке никогда не бывало. Но Андрей, качнув

головой, отказался. Знал, что долго не сможет ничего есть. Ночью они с Ниной немного перекусили, но оба ели плохо, без удовольствия, словно делали какое-то непривычное дело.

На этом рубеже их бригада стояла больше двух недель, и Кононов думал, что он тут знает каждую тропу. Но сегодня он что-то с трудом узнавал местность. Или это тихий и пристальный утренний свет так меняет в глазах пейзаж, высвечивая одни подробности, притеняя другие.

Андрей шел, вперебивку думая о том о сем. Но о чем бы ни думал, когда вспоминал прошедшую ночь и отчаянное, исплаканное лицо жены, его пронзала ледяная игла.

Все, кажется, получилось хорошо. Человеку, повидавшемуся с женой, какой фронтовик, блиндажный сиделец, не позавидует? Но почему тогда такая боль и тревога, которых он не испытывал до поездки?

В одном месте вплотную к дороге подступал острый мысок спелого леса. И Кононов вспомнил: где-то здесь, в начале стояния на этом рубеже, их из лесу обстреляли бродячие немцы-окруженцы. Он мысленно впервые назвал немцев окруженцами и усмехнулся этому. Тут есть свои оттенки смысла. Первую треть войны нашим было суждено называть окруженцами самих себя. А теперь вот приходилось привыкать к этому слову в применении к врагу...

После Витебска фронт за каких-то две недели пробуравил сразу три области, и в тылах у него осталось множество мелких групп противника. Одни из них без лишней волокиты выходили из лесов и буераков к большакам и, вольно расположившись возле своего оружия, сложенного костром, терпеливо ждали пленения. Другие сдавались не сразу, успевая напакостить русскому солдату.

Разведчики из взвода управления дивизиона в дни наступления где-то сумели подобрать брошенный исправный "опель-кадет". Машину полагалось сразу сдать в тылы, но не такой уж христосик он, солдат с передовой, чтобы неукоснительно следовать тому, что полагается. На машине, если не выезжать на большаки, не рисковать проездом через контрольные пункты, можно было еще поездить в свое удовольствие. А во взводе умеющих водить нашлось сразу трое.

В тот раз они ехали в "кадете" вчетвером. Сержант-разведчик Валька Шевцов — за рулем, Кононов — рядом на переднем сиденье. Уже привечерело; к тому же весь день над полями и лиственными литовскими колками висела дымка. И как раз, когда они сравнялись с вершиной лесного мыса, по машине хлестнула короткая автоматная очередь. Позднее, когда они уже проехали опасное место, Валька Шевцов, будто его нисколько и не устрашила близкая опасность, проговорил:

— Во-о поганцы. Хорошие люди так не воюют. Если уж обстреливать машину, так с толком. А так зачем? Как мальчишки, которые, бывало, постучат в дверь и наутек.

Как-то не слишком потревожился этим дорожным происшествием и Кононов. Выскакивать из машины и преследовать бродяг немцев не имело смысла. Они уже, скорее всего, были где-нибудь далеко в глубине леса.

Одна пробоина в ветровом стекле пришлась как раз посредине, между Шевцовым, ведущим машину, и комбатом, вторая — под самым верхним краем стекла. Оставалось только похмыкать, отмечая, что счастливые случайности бывают на войне, может, и не реже несчастных. И весь остатний путь в пробоины с шипом втягивало вечерний холодный воздух.

Это было недели две назад, в первые дни стояния дивизиона на этом рубеже, но сейчас в памяти как-то все перетасовалось; без запинки было не сообразить: что, когда? Что происходило с ним раньше, что позже... И сама поездка в госпиталь представлялась радужным сном. Он знал: надо поспать хотя бы пятнадцать, десять, пять минут, чтобы прийти в себя.

НП батареи на этом рубеже был выбран и оборудован так, как они уже делали много раз раньше. В боевом уставе, который есть в полевой сумке у каждого офицера, не расписано во всех подробностях, как надо выбирать и оборудовать наблюдательные пункты. Там об этом говорится довольно общо. Война восполнила этот недостаток устава — научила устраиваться рационально. Обычно на линии передовых траншей "сестры" — так по упрощенному коду называлась пехота — отыскивалась какая-нибудь высотка, с которой сравнительно широко видать позицию противника, глубину его участка. В этом случае нечего было и мудрить с выбором места для пункта. Ясно, что на высоте, на несколько шагов ниже ее вершины — на склоне, обращенном к немцу. А не на самом лысогорье, потому что в этом случае НП был бы выпукло, как пуговица, на просвет виден противнику.

Жилые землянки взвода управления были вырыты у подножия высотки, в полусотне метров от самого НП. Траншейка на пункт, внизу только для видимости просеченная всего на один штык лопаты, становилась тем глубже, чем выше по склону, а на вершине углублялась в землю уже в рост человека. Метров на пять при входе в блиндаж она была даже перекрыта тонким жердьем и хворостинником. В последнее время — после Витебска — они авиацию противника, можно считать, и не видали, от маскировки с воздуха начали отвыкать и здесь траншейку перекрыли лишь для проформы.

Кононов отсутствовал в своем хозяйстве и всего-то меньше суток. И все-таки осматривал жилые блиндажи, траншейный подход к пункту так, словно приехал сюда как вновь назначенный и ему предстоит принимать батарею. Никаких перемен, однако, не было видно, да никаких работ по улучшению позиции и не требовалось. Он заглянул в небольшую землянку, где они жили вдвоем с Кузнецовым — командиром взвода разведки. Немного выше землянки артиллеристов начиналась траншея пехотинцев и, коленчато изламываясь, уходила вправо через отрожек. Везде вокруг было безлюдно, тихо, как всегда бывает днем при ведренной ясности.

В самом блиндаже наблюдательного пункта было полутемно, глухо, как в погребе. Незатененный свет сюда шел только через амбразурку, к тому же прикрытую сверху козырьком из фашины.

Солнце стояло пока еще сзади; в предвечерье оно будет заглядывать прямо в амбразуру, и этот распорядок, установленный для себя светилом, имел для артиллеристов свое значение. Что наши наблюдатели, что немцы — те и другие особенно азартно охотятся именно за блеском стекол. Та и другая стороны, если удалось засечь по блеску линз НП противника, следят за ним не спуская глаз.

На пункте за трубой сидел не солдат-разведчик, как всегда в часы затишья, а Кузнецов сам. И, кажется, даже в самой стереотрубе — коротком двурогом перископе — содержался определенный азарт, всегда присутствующий здесь, когда батарея ведет огонь. И Кузнецов даже не обернулся посмотреть, кто спустился к нему по трем земляным ступеням. И телефонную трубку держал по своей, известной всей батарее привычке — заткнутой на груди за борт шинели.

Впрочем, он тут же добыл трубку из-за пазухи, прокричав в нее:

— Смазать по нагару.

Эту команду огневики на батарее любили, как коты валерьянку. Она означала, что стрельбы пока что не будет, но расчетам следует находиться при орудиях. На батарее всегда найдется что-нибудь копать, но после команды "Смазать по нагару" людей на копку не отвлекают. Однако смазывают по нагару обычно после продолжительной пристрелочной работы, а Кононов, когда шел на батарею, стрельбы не слыхал. Он мысленно прикинул расположение на карте своих огневых позиций, НП и мест, по которым шел. Получалось, что шел как раз под траекториями фурлюкающих в воздухе снарядов, а вот не слышал столь привычных и знакомых звуков. Крепко же он задумался на ходу. Словно на какое-то время переселился из мира войны в какой-то другой мир.

— Что у нас тут делается? — спросил Кононов, небрежно поздоровавшись. Но мог бы и не спрашивать; по каким-то самому непонятным признакам он видел, что все на батарее, во всяком случае на НП, остается таким, как он оставил вчера. Ничего не прибавилось и на разведсхеме. Лишь на словах Кузнецов доложил, что ночью Шевцов, кажется, наколол у противника новую батарею.

"Наколоть батарею противника" не было выражением из многокрасочного солдатского жаргона. Если в полосе наблюдения сделана засечка даже ночью по вспышкам, ее еще не наносят на разведсхему как вновь появившуюся батарею противника. Ее пока отмечают только иглой на карте. Противник может просто имитировать вспышки; это не в редкость делается у нас; почему этого не делать и немцу? Это может быть и кочующая батарея: тоже не в редкость. Придется последить за нею, за этой новоявленной батареей. Когда она подтвердится несколько раз засечками с двух пунктов, только тогда можно будет докладывать о разведанной вновь цели...

Кононов даже не сел за прибор, не посмотрел на поле, давно изученное, на свой сектор обстрела — ушел в землянку, чтобы поспать сколько удастся. Но и засыпая, он почему-то не переставал думать о новой засечке, сделанной пока только в виде укола иглой на карте.

6

Когда Кононов снова, второй раз по приезде, спустился по трем ступеням и, пригнувшись, шагнул в блиндаж, там за стереотрубой сидел Шевцов, а Кузнецов — на полу, подвернув под себя ноги, приводил в порядок записи в тетради наблюдений. Он с первых слов сказал главное: что на батарею ночью подвезли еще два боекомплекта снарядов. Это многое означало, и Андрей понял: его друг со смыслом не сказал этого давеча сразу. Когда на батарею в достатке завозят снаряды, спать бывает не время.

Следующие затем два дня... Или два с половиной? С каждым может случиться так, что запутаешься в днях, в переходах из ночи в день. Следующие дни оказались такими, что и не задремлешь. Было много стрельбы, много вычислительной работы. И еще много разных дел по хозяйству, таких, о которых сразу же забывают. Батарея, конечно, не дивизия, не корпус, но и она хозяйство.

И весь этот отрезок времени Кононова не оставляло такое чувство, что поездка в Паневежис ему даром не прошла.

Все они к этому времени втянулись в войну, стали ее мастеровыми. Научились отбрасывать со своего пути все лишнее, мешающее основному делу. Кононов знал, что научился воевать со спокойным достоинством и без того безотчетного страха, который часто вынимает из людей на войне их живую душу. А теперь он будет бояться, может, даже больше, чем в начале войны. Бояться, что что-нибудь случится с Ниной; люди, бывает, гибнут и в госпиталях. Будет страшиться тяжелого увечья... Как бы то ни было, воевать теперь ему станет много тяжелее.

Под вечер другого дня опять разведрило. Все они уже заметили: в Прибалтике ненастье приходит как-то подкрадываясь и переход от ясности к дождям бывает почти внезапным. Кажется, только что небо мерцало голубизной, и вдруг уже моросит и низко висящее брюхо сплошной облачности простерлось от западного горизонта до восточного. Таков же переход от дождей к яснопогодью. Бывает, дождь еще не прекратился, а ворсистое и вислое небо, смотришь, вдруг посеклось, пошло прорехами, сквозь которые — синева...

В этот вечер облачное одеяло начало свертываться с западного края, и очень низкое, налитое оранжевым соком солнце глянуло прямо в линзы стереотрубы. Манипулировать прибором, пока не померкнет солнце, значило бы работать на противника. И Кононов с Георгием Кузнецовым ушли с пункта в жилую землянку.

В землянке они прилегли каждый на свой земляной рундук. Когда фортуна одаривает солдата получасом полноценного отдыха, от этого не принято отказываться. В траншее, вблизи от входа в землянку, Трошин погромыхивал чайниками.

— А все-таки как повидался с женой? — спросил Георгий. В первый день по возвращении комбата он ни одним словом не проявил интереса к этому. По своей сибиряцкой сдержанности не спросил бы и сейчас, но вечер выдался таким душевным, так яро и светло отгорала заря в просветах между сгребаемыми в кучу облаками. Таким все вокруг было тревожно-контрастным, подсвеченное сверху слабеющим полымем...

— А действительно, как повидался? — отозвался Андрей, тоже тронутый раздумьем и сладкой печалью. И неожиданно для себя сказал слова, которые сам за собой перестал числить: — Понимаешь, это было как первая любовь и первое свидание. Словно мы и не прожили до войны супружески четыре года.

Он умолк, и Георгий больше не ожидал никаких слов. Не в их привычках было разговаривать о том, что пристойнее держать при себе. Но когда он начал думать, что Кононов уже задремал, тот вдруг сказал:

— Конечно, в нашем положении такая поездка — великое счастье, но лучше бы она только приснилась. Мне теперь придется как бы начинать с того, с чего мы начали войну, впервые прибыв на фронт. Буду теперь всего бояться.

— Ну, бояться ты не будешь. Мы свое отбоялись. Так давно живем под страхом, что пора привыкнуть.

— А есть люди, которые говорят, что к этому нельзя привыкнуть. Будто смерти боятся все, только одни умеют скрывать свою боязнь, а у других она на виду. Но так рассуждает само слабодушие. Если есть тяжелый, болезненный страх, значит, нет мужества. Значит, смелый лишь тот, кто умеет казаться смелым.

— А есть выражение: презрение к смерти. С этим как?

— А с этим никак. Я этого тоже не принимаю. Смерть надо уважать так же, как мы уважаем все живое. Она только последний поворот ключа в дверях, которые никогда больше не откроются. В общем, у меня отношение к этому солдатское: живы будем — не умрем...

Чем-то Георгия растревожил этот вечерний разговор. Но у мужественных людей не принято обнаруживать беспокойство и волнение. И он сказал:

— Разговорились на болесть. У нас в Сибири,— пояснил он,— есть такая старушечья приговорка: на болесть. Если иными словами, то смысл таков: ни к чему эти разговоры, от них одна изжога.

7

Может, русским женщинам в войну, где бы они ни были, помогало держаться и все вынести больше всего воображение. Каждая из них хоть раз могла подумать так: мы здесь, а они там, и нам даже представить себе трудно, каково им там приходится.

И это заставляло женщин быть двужильными.

Как бы ни было, а доктору Кононовой понадобилось всего несколько дней, чтобы обрести прежнее состояние, сделаться опять такой, какой она была до встречи с мужем. Может, помогло то, что на фронте, в их секторе, после некоторого затишья опять начались бои. Это был еще не тот бесноватый госпитальный темп, когда хирургам по три-четыре раза в день меняют испятнанные рдяными разводами халаты, когда удается лишь изредка, держа руки приподнятыми наотлет, шагнуть за дверь операционной и там постоять самую малость, прикрыв глаза, и сделать пару длинных затяжек, если кто-нибудь милостиво сунет в рот зажженную цигарку.

Судя по потоку раненых, бои на их участке фронта еще не были такими, как на некоторых прежних рубежах, но они уже предвещали жаркое дело. Даже во всей

тыловой жизни как-то ощущалось, что у противника за спиной его государственная восточно-прусская граница.

И опять, словно заново втянувшись в привычную свою работу, Нина стала думать: пусть исполнится все, чему назначено быть. Мальчик мой жив, и ничего лучшего мне не надо.

Она была на три года младше мужа, но еще до войны в добрые супружеские минуты называла его так: мальчик мой.

Между тем в эти дни Андрей Кононов уже не был жив.

8

Армия имеет сложную систему разведки.

Разведка всегда конкретна. Есть общевойсковая — разведка пехотных частей и соединений, удальцы, которых в былых войнах называли пластунами. Есть разведка агентурная, техническая...

У артиллерийских разведчиков, пока держится устойчивый фронт, дело, можно сказать, однообразно: сиди на НП, улавливай вспышки орудий в линзах своих приборов, спиральки едва заметных дымков, когда покашливают где-то вдалеке батареи противника.

Это когда устойчивый фронт.

Но такие пересидки в обоюдной обороне случаются нечасто и подолгу не длятся. Приходит такой час, когда после большей или меньшей силы проглаживания вражеских позиций артиллерийским утюгом противник не выдерживает, трогается "нах куда уносят ноги". Бывает и иначе: противник, не дожидаясь нашей артиллерийской выволочки и последующих атак, среди ночи скрытно снимается с насиженной полосы.

С вечера он еще был весь налицо по всей полосе наблюдения; плескал из пулеметов на всякое проявление неосторожной жизни у нас, бросался мелкими минами. И ночью не прекращается пулеметное тыркание, прорастают стебли сигнальных ракет, склоненные в нашу сторону, и, с треском лопаясь, расцветают на этих стеблях какие-то невиданные соцветия зонтичных растений, угасающих в те же минуты. Но под утро понемногу умолкают пулеметы, не взлетают больше ракеты. И тогда разведчики-наблюдатели заподозревают неладное. И еще до рассвета опасения подтверждаются: противник ушел, оторвался, его траншеи и блиндажи пусты.

Отходу противника только бы радоваться, но это на непросвещенный взгляд. На самом же деле позволить ему скрытно отойти, потерять его, пусть хоть на короткое время, нельзя.

Где-нибудь он прочно сядет на новом рубеже, заранее подготовленном, и тогда предстоит заново позиционный бой.

В ротах и батальонах дивизии ждали в эту ночь, что немец подхватится на попят. Но за ночь не произошло ничего такого, что говорило бы о скором отступлении противника. Утром воздушный надзор даже отметил в его тылах на некоторых дорогах привычные пароконные повозки, идущие к фронту. В положенный час с

наших НП видели горбатые фигуры солдат, которые шли по мелким местами траншеям к передовой линии: несли в ранцевых термосах завтрак.

Но то, чего ждали, было все-таки назревшим. Противник таки начал отход, только не ночью, а среди дня. Как бы желая показать, что он, немец, не всегда воюет по принятому шаблону.

Около полудня и наземное, и воздушное наблюдение отметило, что по отводам нечетко видимых, не слишком наезженных дорог к большакам поволоклись кое-где его артиллерийские батареи на конной тяге, а выбравшись на большаки, сразу пускались в рысь. Похоже, оставалось на прежних позициях только несколько батарей, только кое-где. Зато эти оставшиеся принялись стрелять со всем усердием, дожигая оставшийся запас снарядов.

Кононов с утра томился странным чувством, что предстоит бесконечно долгий день. И еще, что сегодня что-то должно случиться. А что? Широкого наступления они не ждали, предвестие его имело бы определенные признаки, хорошо известные по прежним большим боям. Сегодня по всем признакам будут снова вскипать сполохи огневого боя то там, то здесь. Словно рокочущая, слепящая глаза гигантская шаровая молния станет перекатываться от одного фланга к другому.

Но Андрей ждал на этот раз чего-то другого, нечаянного. Накануне уже запоздно он получил пакет, и в нем были даны несколько новых плановых целей. Среди них батарея противника, которую ребята-разведчики обнаружили в ту ночь без него. Правда, за это время новую цель успели подтвердить другие, соседние пункты, но пока ее все еще числили незнакомкой.

И Кононов, пользуясь условиями освещенности — низко направленный свет с востока на запад,— начал привычную работу, пристрелку по рассчитанным реперам, не беспокоя пока самую батарею противника. Сидел, подолгу приникнув к окулярам прибора, произносил в телефон свои команды, следил за разрывами снарядов, которые исправно приходили туда, куда он их назначал. Разрывы были хорошо видны, они появлялись где и должно быть, напоминая издали не очень форменно скатанные шары из белой шерсти. Все шло как надо, но томило его какое-то нетерпение сделать это все скорее-скорее, боязнь чего-то не успеть.

А незнакомка тем временем, наверно, не поняв еще, что к ней примеривается русская батарея, вдруг начала стрелять куда-то левее по фронту.

Между логическим пониманием, что вражеская батарея стреляет по кому-то живому на нашей стороне, и тем, что видят глаза, есть большое несоответствие. Под снарядами ее где-то недалече, может быть, гибнут наши люди, а глаза видят только, что там, на стороне противника, километрах в трех, в заовражье над гривкой мелколесья, прорастают четыре дружных витых дымных стебля. Они едва различимы, почти прозрачны, невысоки, они слабо колышутся в вершинах.

Все получалось исправно. И все же Кононову чего-то в этом недоставало, хотелось в чем-то убедиться. И он, оттолкнувшись от стереотрубы, вышел из блиндажа, как-то скованно, тяжело поднялся на земляной холмик поверх бревенчатого наката. По траншее шагах в десяти на пункт поднимался Георгий Кузнецов. Он видел, как командир батареи встал на холмике с биноклем, нешироко расставив ноги, прочно утвердив локти на груди.

— Эй, пижон! — успел крикнуть Кузнецов возмущенно-предупреждающе. Выставляться так против светлого утреннего неба не следовало.

И Андрей успел усмехнуться тому, что Георгий прикрикнул на него, как на подчиненного. Оба они были смелыми людьми, но не терпели похвальбы смелостью. Называли себя мастеровыми войны. И, может быть, если бы Кононов увидел Георгия вот так же вставшим во весь рост на бугре блиндажа, он тоже крикнул бы ему возмущенно-предупреждающе: "Эй, пижон..."

Но сам-то про себя он знал, что не пижонства ради вылез на холмик. Стереотруба — превосходный прибор, надежный друг артиллеристов. Но она все-таки сужает поле зрения и искажает масштабы удаления. К тому же стрельбы в этот час, артиллерийской и минометной, было немало по всему участку. Вблизи репера, который он пристреливал, рвались еще и чьи-то другие снаряды.

Кононов обернулся на оклик: "Эй, пижон..." — и бинокля из рук не выпустил, но обернулся как-то замедленно, подгибая колени, словно бы осторожно начал валиться набок.

На войне умение падать, вовремя припасть к земле — одна из необходимых сноровок солдата. Но так не по-солдатски для самосохранения не падают.

Георгий вымахнул из траншеи, проворно стащил комбата на бровку, снова соскочил вниз, бережно принял на руки и опустил вниз при входе в блиндаж уже обвисающее как плеть тело...

Снайперская пуля пришлась Кононову в шею, пальца на два выше яремной ямки.

Военфельдшер Петя Трачук, лицом совсем еще мальчик, прибежал, осыпая локтями глинистые стенки, так скоро, как только мог. Но поспешность его была теперь уж ни к чему. Кузнецов успел только разорвать перевязочный пакет, прижать к ране подушечку с красной ниткой по изнанке. Но рана почти и не кровоточила.

Возможно, Петю Трачука не многому успели научить в его фельдшерском училище с ускоренным выпуском, но для того, чтобы распознать смерть, и не надо обширных знаний. Он выдернул у комбата гимнастерку из-под ремня, приложился ухом ко груди. Выпрямившись, сказал:

— Зато самая легкая смерть.

На четвертом году войны армия не может не быть хорошо отлаженной машиной. Уже через пять минут Кузнецов сидел на пункте за стереотрубой, занимаясь тем же делом, которое не довел до конца Кононов.

Он только что доложил о случившемся Николаевскому. Телефонист, сидевший тут же на пункте, при двух телефонных аппаратах, упустил, что сказал командир дивизиона на другом конце провода, зато отчетливо слышал ответную реплику Кузнецова:

— Это мы с вами думаем, что снайперы у немцев уже перевелись. А у него на этот случай еще отыскался какой-то шелудивый Виллибальд и при нем мушкет с оптическим прицелом.

Кононов к этому времени лежал уже не на земле, а на носилках с низкими ножками. Брезент носилок провис, и тело касалось земли. Никто не закрывал погибшему комбату глаза, не клал на них медные пятаки. Но глаза были плотно, покойно закрыты.

Кузнецову было горько думать, что ему не удастся даже похоронить друга своими руками.

Но пока пехота не начала продвижение, ему пришлось еще стрелять по цели, для которой не было подготовленных данных,— по перекрестку двух большаков. До перекрестка батарея доставала почти на пределе, стрельба была сложной, а ему вовсе не хотелось впервые за командира батареи отстреляться с сомнительным успехом.

Может, это вышло к лучшему, что в такой час его с головой захлестнули текущие дела. Без этого, наверно, было бы еще труднее пережить первые часы после гибели Кононова.

Этот перекресток дорог ему пришлось держать под своим огневым контролем, пожалуй, около часа. И только после этого командир дивизиона приказал ему покинуть НП. Все линии связи были уже сняты; оставалась эта — последняя. Но и ее связисты собирались сматывать; два солдата-телефониста уже стояли в дверях блиндажа, ждали конца разговора. Обычная обстановка, нервозная, словно подъем среди ночи по тревоге. Пора бы привыкнуть покидать обжитый рубеж, но, видно, солдат к этому не привыкнет никогда.

Командир дивизиона напоследок потребовал прочитать ему запись из офицерского удостоверения Кононова. Ту графу, где записаны имена родных погибшего, их адреса. Но Кузнецов, не глядя в документ, знал, что там значится лишь одно имя — жены, Нины Николаевны Кононовой, полевая почта №...

Сеялся частый длинноволоконный дождик, когда Кузнецов спускался с пункта в ложбину, к жилым землянкам. Носилки все еще стояли в уширении траншеи. Покойник лежал со строгим и посеревшим лицом, покрытый шинелью.

Кузнецов поднял шинель, чтобы покрыть и лицо друга. Она уже отяжелела, сделалась лубковатой от дождя.

В землянках, разумеется, никого не оставалось; разведчики ушли вперед, и ему предстояло их догонять. Но до чего же сиротским духом заброшенности сразу начинают пахнуть такие земляные берложки, едва их покинут солдаты — кратковременные жильцы.

О похоронах комбата позаботится командир дивизиона. Придут трое солдат-огневиков с лопатами и кирками...

Устремляясь прямиком через разлужье, которое еще недавно было нейтральной полосой, Кузнецов подумал, что весной окружающий пейзаж, должно быть, станет живописным, скромно-раздольным. Где-нибудь на склоне этого же холма, откуда широко видна плавно прогнувшаяся пойма речки и сизая марь кустарников по ней, и похоронят русского офицера.

В отряде

В эту ночь они не делали большого привала. Знали, что ночная ходьба — занятие неспорое; ночью часто получается так, будто не столько продвигаешься вперед, сколько сама дорога виснет на путнике и сволакивает его назад. Все кажется, что идешь по тем местам, где уже проходил.

Утром вышли на широкую луговину, которую полукружием ограничивал как-то исподлобья глядевший на них, незваных, хвойный лес. На поляне в нескольких местах отдельными группами, как щепотью посеянные, росли молодые березы, по шесть, по восемь деревцев в каждой куртине. Поляна была такой обширной, что в обе стороны дальний лес уже утрачивал свою натуральную окраску, казался вороненой стальной полосой с зазубренным верхним краем. Где-то вдали под нею угадывалась наезженная дорога, но ни души на ней не было видно.

Там, где луговина была выкошена, свежеподросшая трава светилась такой перистой зеленью, так непорочно белы были стволики берез, что словно душа умылась росой родины.

И словно отодвинулась куда-то война. Тишина и чистота во всем: в воздухе, в ковром стелющейся траве, подросшей после укоса, ровной, словно недавно подстриженный газон, особенно в этих юных березках.

И двое истомленных людей не удержались от привала. Они прошли к одинокому стожку посреди поляны. Стожок стоял такой опрятный, очесанный.

Загнанно дыша, Устюгов свалился возле стожка, глубоко, до плеча, погрузил в него руку и, вытащив из нутра горсть травы, долго внюхивался в нее. С удовольствием сказал:

— Шутем. Самый натуральный. Вам, городским, это не понять, для вас сено и есть сено — однородная масса. А здесь смотри: можно сказать, полный набор молодого клевера — красный, розовый, белый. А тут еще мятлик луговой.— Вольно откинувшись на спину, он пояснил: — Шутьмами в наших местах зовут такие вот залежи, ухоженные под покос. И сено с таких угодий называют этим же словом: шутем. Зимой на сенных базарах шутемное сено всегда ходило в полтора-два раза дороже всякого другого. Очень я любил когда-то эти субботние сенные базары. Подолгу, бывало, хожу среди возов, иной раз и не куплю ничего, зато нанюхаюсь. И сейчас как подумаешь, что немцу этот стожок отдавать... Какие-нибудь русские бабы накосили сенцо, на ногах плохо держась, а немец подъедет на своей паре лошадей, складет сенцо и даже "данке" не скажет.

И ведь знал лейтенант, что так нельзя. Должен был знать, что стоит им только прикорнуть возле стожка, как обоих сморит сон.

Тяжелые, урывочные сны без видений в эти дни были у него тяжелы и удушливы, как в заброшенном, цвелом колодце. Виталий и спал, может, всего какую-нибудь жалостную четверть часа; разве определишься, когда так изнурена, одурманена голова. Он проснулся резко и болезненно потому, что кто-то стаскивал с него сапог. Наверно, в ту же минуту проснулся и Устюгов, зашуршав сеном по ту сторону стога.

Женщина-бродяжка сидела, утонув коленками в густой зеленой мураве, поуточьи развернув ступни. Она деловито стаскивала с Виталия сапог, наполовину уже преуспев в этом.

Тоже исхудавшая не лучше солдата-окруженца, на изветрелом лице только губы цветут кровяными трещинами. И не по летнему теплому дню наряжена в два платка: один повязан низко, до бровей, другой, ветхий шерстяной полушалок, спущен на плечи.

— Проснулся, рома? — заговорила женщина цыганской скороговоркой. — Позолоти ручку, молодой красивый, я тебе хорошее слово скажу.

— Откуда ты взялась, ведьма? — сердито спросил Устюгов, неслышно оказавшийся рядом.

— Пошто бранишься, сердитый, седой? — выпевала женщина.— Может, еще спасибо скажешь, как меня послушаешь. Я лейтенанту справды все выкладу.— И снова Виталию: — Не пожалей только золота-серебра, молодой красавец.

"Серебро" у ней выговорилось по-старинному, по-сказовому, с ударением на первом слоге, и Виталию без усилия пришла догадка: вовсе она не цыганка, а русская женщина, хватившая самого лихого под оккупацией и, может, малость повредившаяся умом. Либо только прикидывается тронувшейся, если так выгоднее ей.

— Спасибо, мать, но гадать нам не о чем.

— Сынок выискался,— хмыкнула женщина.— Ты погляди на меня, погляди,молодчик.

Но Виталий, сколько бы ни глядел, не сумел бы оценить ее возраст. Пожалуй, и верно, еще молодица.

— Ты лучше скажи: какие тут близко населенные пункты?

— Не то спрашиваешь, удалая голова. Здесь ты куда ни пойди, везде тебе на картах выпадет казенный дом. Лучше ты, пригожий царевич, иди на закат солнышка...

— А толковее не скажешь?

— Спрашивать толк от бестолковой бабы...

— Учительницей была до войны? — со внезапной догадкой спросил лейтенант.

— Кем была, теперь и сама не помню. А вам, как вижу, дорога одна. Вон она виднеется вдоль яра. По ней вам надо до серого камушка. Не слепые, мимо не пройдете: каменная дикая плита, на ребре стоит.

— А на сером камне ворон сидит, — с усталой усмешкой подсказал Устюгов. Но женщина не ответила, только бросила на него рассеянный взгляд.

— ...Вам по дороге от серого камня ни направо, ни налево ходить не надо. Там в глубь леса просека поведет, ее и держитесь. Ночью только по просеке лучше не рисковать: где-то по ней мины накиданы.

— А дальше?

— А дальше думайте своей головой. Я и то сказала вам больше, чем надо.

Чем-то Виталия царапнуло минуту назад сказанное: пригожий царевич. Сейчас он вспомнил: где-то в этом краю есть небольшая речка — на карте только тоненькая нить — с пышным именем Царевич. Он спросил:

— А речку нам переходить придется? Она в этих местах сколь широка?

Женщина не ответила, словно задремав. И ушла вслед за тем так же неслышно, как появилась. Только что сидела здесь, подобрав под себя ноги, и вот уже нет ее. Лишь сказала напоследок:

— И вы не сидите тут на открытом месте. Не то и впрямь кто-нибудь сапоги стащит.

— Место тут у вас такое, что уходить не хочется, — сказал Устюгов.

— Место тут для вас опасное.

— Кто она, по-твоему? — спросил Устюгов, когда шли уже по просеке. Точнее сказать, шли лесом вдоль просеки, местами продираясь сквозь колючий подлесок. Женщина-бродяжка предупредила их насчет мин, а с этим не шутят.

— Думаю, что партизанская наводчица.

— Либо ищейка из полевой полиции,— недоверчиво пробормотал Устюгов.

Но выбирать им было не из чего. Приходилось идти по ее совету. Тем более, что лес успокаивал какой-то волокнистой по закатной поре тишиной, перевитой лишь птичьим посвистом. И такой сладкой печалью отдавались, резонировали в лесу птичьи пересвисты.

Еще не слишком низко на западе висело крупное солнце, когда они вышли как по писаному к реке. Если это и был Царевич, то очень уж скромное, захолустное ему досталось царство.

Им не пришлось долго искать бродок через реку; всего в полусотне шагов ниже по течению отыскался рябенький галечниковый перекат.

Эти лешевы тропы и тележные, еле заметные в траве следы вдоль просек, называемых визирками, чаще всего не ведут никуда. И Виталию подумалось: раз уж попали в такой, на удивление похожий на наш урало-сибирский лес, то теперь не пропадем.

Тропа, по которой они пришли, кончилась на берегу Царевича. Здесь, за рекой, никаких троп, никакого признака обитаемости. Сплошная непролазь. Но идти куда-то надо было, пока еще не померк золотистый вечерний свет. Может, ведьма, наряженная под цыганку, направила их в какую-нибудь ловушку. Но зачем ей это?

Наверно, о том же подумавший Устюгов пробормотал:

— Наговорила семь верст до небес... И все лесом.

Очень кстати здесь пришлась расхожая поговорка.

Они пошли, как ходят по незнакомому лесу, выбирая доступную для ходьбы редину, выправляясь только на открывающиеся то там, то здесь просветы. Должны же они где-то выбраться из елани на покосные поляны, на вырубки.

Лишь пройдя с километр, они услыхали какой-то новый звук.

— Кто-то вроде косу отбивает,— проговорил Устюгов. — Но какая в такую пору косьба?

Во всяком случае, это был русский звук. Немцы уж на ночь глядя в незнакомом лесу работать никак не станут.

И они пошли на звук.

Сначала выбрались на обширную лесосечную базу давностью не меньше чем лет в десять; вся она уже заросла мелким лиственным подлеском. В глубину вырубка простиралась на добрый километр, и по левой ее границе громоздился высокий и, кажется, свежий завал, не то буреломный, не то рукотворный.

— Сдается, вышли к людям,— пробормотал Устюгов. Хотя на глаза пока попал всего один мужичок в каком-то неприглядном лесном затрапезе. На нем был ватник с торчащей из многочисленных дыр серой ветошью, опорки-ичиги на ногах, кепка с переломленным козырьком. Маленькая штырьковая наковаленка была вбита в пень, и лесной человечек стучал по ней молотком, кажется, через раз — то по лезвию косы, то мимо него. Он не прекратил своего занятия и тогда, когда двое пришельцев подошли вплотную, только отвел косу в сторону и стучать стал пореже и уж явно вхолостую.

Виталий зорко оглядел вырубку. Пожалуй, мужик тут отбивал косу не совсем для отвода глаз. Косьба на вырубке велась, но не сегодня; уже успела хорошо подвянуть трава на кривых беспорядочных прокосах.

И что за косьба в глубине леса и осенью. Положим, и в доброе время рачительные хозяева не упускали взять сколько-нибудь сенишка по второму укосу. Но рачительные хозяева теперь воюют, а не покосничают. Скорее мужичонка посадили тут, чтобы стерег подходы к таким местам, куда не каждого можно допустить. И чтобы попутно накашивал воз-два в сутки для нужд какого-нибудь обоза, может быть, партизанского.

Если б это было так... Но, может, потому, что очень этого хотелось, Виталий как-то уверовал сразу, что вышел наконец к тем, с кем можно остаться. Но вместе с этой успокоительной мыслью пришло такое изнеможение, какого не испытывал за все время скитаний. Это была усталость, переродившаяся в саднящую телесную боль. Словно наглотался битого стекла, так было больно в горле, когда спросил лесного сидельца:

— Что за человек?

И тот буднично, скучно ответил:

— Это я должен спрашивать, что вы за люди, а вы отвечать. Не я к вам пришел, вы — ко мне.

Он цепко оглядел пришельцев. Отметил себе и петлицы с кубарями у Виталия,— их не у каждого окруженца обнаружишь на виду,— глубоко запавшие глаза, мертвенную серость лиц. Все-таки для порядка лесной человек спросил:

— Патронов много при себе? Документы есть?

Но предъявить документы не потребовал, и Виталий тускло подумал: "Проницательный и какой-то домашний дядька." С ним происходило в эти минуты то, что бывает с человеком лишь в критические минуты жизни: он как-то видел все вокруг и соображал и за себя, и за этого незнакомого смекалистого мужичонка. С позиции этого дядьки-лесовика он отметил бы себе в уме: конечно, окруженцы и, надо думать, скитались по лесам не меньше двух недель, остерегаясь заходить в селения. Оружия при них по две единицы на брата, а оружие в отряде никогда еще не бывало лишним. У лейтенанта, кроме того, револьвер в кобуре, съехавшей на самый копчик, и в барабане уж наверное оставлен лишь один патрон на самую крайность. А полевая сумка у лейтенанта раздулась от каких-то бумаг. И что у него, сердяги, может храниться в такой пухлой суме?

А у самого Виталия было в уме только одно: отойти в сторонку, сгрести ногой из прокоса охапку сена́ и повалиться на нее...

Дядька-лесовик между тем, ничего больше не спрашивая, поднес пальцы ко рту и пронзительно, по-варнацки свистнул. Виталий только сейчас заметил, что в буреломном завале есть лаз в какое-то укрытие. Оттуда не скоро, вальяжно вылез на четвереньках, лениво подошел парень в рубахе распояской, с непокрытой головой. Один глаз у него затек от пчелиного укуса. Недружелюбно оглядев пришельцев, он лениво спросил, не у них, у отбивальщика косы: "Что за типы?"

— Каково ночевал? — отозвался мужичонка.— Все никак не выспишься... А этих товарищей придется проводить на "Резеду."

— Была охота,— проворчал парень.

Откуда что берется в человеке? Еще несколько минут назад Виталий думал, что не в состоянии сделать и десяти шагов. Но пришлось идти на какую-то "Резеду", и ноги принялись переступать, словно механический привод. Правда, идти за проводником всегда легче, чем на свою ответственность. Что там у них за "Резеда?" Какой-нибудь партизанский кордон, пост, вынесенный от базы, может, на десятки километров?

— Ишь ты, "Резеда..." — проворчал Устюгов.— Как у взрослых кодовые названия.

Проводник, шагавший впереди, не оглянулся, не откликнулся на устюговский подковыр. Может, еще не отошел от своего мутного, предзакатного сна. Есть же люди, которым удается вволю поспать.

На "Резеде" оказался только хворостяной шалаш, устроенный под бахромчатой нависью старых елей. Да перед ним шагах в десяти, в аккуратно вырытом котлованчике, глинобитная печурка. Но шалаш добротный, хорошо увитый, такое убежище и прямым дождем не просечет. В шалаше можно было стоять в полный рост. Вдоль стен Виталий насчитал шесть лежбищ, сделанных тоже из мелких веток, и в изголовье каждого — сидор, судьбой предназначенный любому военному человеку. Была в шалаше и пирамидка для оружия.

Похоже на то, что они наконец прибыли к месту, где утвержден четкий воинский порядок. Это ободряло.

Виталий вышел из шалаша наружу, где его нетерпеливо дожидался Устюгов. Их оружие — два карабина и автоматы — он крепко держал в руках, казалось, боясь выпустить. Видно, все еще не уверился, что попал наконец в надежное место.

Они еще и не осмотрелись толком на новом месте, как из ближайших кустов вышел колхозного, бригадирского обличья абориген заставы. И почти одновременно с ним из чащи леса вышли еще двое. Из этих двоих один, наверное, был старшим, потому что нес ту часть поклажи, что полегче, второй тащил увесистую котомку.

— Что за люди? — спросил старший парня, их проводника, и тот скучливо поведал, словно хотел сказать, что его дело стороннее:

— Минеич принял. Его крестники.

И старший, ни о чем больше не спрашивая, тут же распорядился, повернувшись к тому плотному, что оставался на заставе за домовника.

— Раздели ужин по числу едоков.— И кивнул при этом на Виталия и Устюгова, как бы ставя их этим на довольствие.

В армии порядок и нравы одинаковы всегда и везде: интерес к жизни сразу повышается на два-три градуса, как только дело доходит до дележа провианта. И тут оживился даже парень-проводник, которого, казалось, ничем не пронять. Он со сдержанным энтузиазмом начал заглядывать через плечо того, что извлекал припасы из мешка. Но в мешке оказалась только повязанная холстиной, обложенная ветошью бадейка с пшенной кашей.

— А хлеб? — строго спросил парень.

— А хлеба сегодня Бог не дал,— спокойно разъяснил старший. — Пекаря не управились. У них, видишь ты, в печке свод обвалился.

Виталий с первого взгляда определил, что старший на заставе — еще очень молодой человек, может, года на три старше Виталия. Это было видать по бороде Очень молодая, аккуратная, словно скорняжной работы бородка.

Лейтенант стоял, пошатываясь, не понимая, что ему сейчас нужнее — поесть или уснуть. Он знал себя: если очень переголодает, то уж словно бы и не нуждается в еде. После голодания трудно и больно пережевывать пищу, приходится себя к этому принуждать.

Поесть Виталий сумел лишь немного. Сваливаясь на чью-то веточную постель, успел заметить, что Устюгов уснул еще раньше. Уснул прямо с кашей во рту. Все-таки он был лет на пятнадцать старше своего лейтенанта.

Оружие старший на заставе приказал поставить в пирамиду. Было непривычно засыпать, не чувствуя под боком жесткой надежности карабина или автомата с тяжелым, как булыжник, диском.

Засыпающему, ему еще почему-то вспомнилось, что у партизанских пекарей провалилась печь. Что там печь... Ее починят и снова будут деревянной лопатой доставать из нее горячий, благодатно пахнущий хлеб. Для них с Устюговым важнее всего то, что они добились до места — до какого-то партизанского отряда, может, бригады,— с целым хозяйством, в котором есть самое важное для жизни — хлебопекарная печь.

За день на заставе побывало немало незнакомых людей, самых разных. Приходили, оставались короткое время или даже не задерживались, а только перебрасывались парой слов и снова скрывались в лесу.

Но из того, что видел и слышал за день, Виталий понял, что они с Устюговым вышли в район действия крупного отряда. Понял также, что за эти две недели после прорыва немцев на большом участке фронта из окруженцев в отряд пришло немалое число, большими или малыми группами или вовсе в одиночку. А при таком наплыве свежего люда никто не станет разговаривать с каждым новичком сразу по прибытии.

Со старшим на заставе они в первый день обменялись лишь десятком слов. Виталий узнал только, что старшего зовут Ефим Лыжин.

Утром Лыжин показался лейтенанту разговорчивее, чем накануне. Он дружелюбно и простецки расспросил Виталия о их скитаниях в тылу противника. А в полдень ушел на базу, взяв с собой Устюгова. Когда вернулся, прежней приветливостью в нем не светило. Он объявил, что ближе к вечерней зорьке сам сведет лейтенанта в штаб.

Лыжин привел Виталия к оврагу, в котором уже скапливались сумерки, текучие, как черничный кисель. Овраг был невелик по протяженности, и Виталий подумал, что тут, наверно, размещены только основные службы штаба. Стоя на краю оврага, можно было увидеть, что в нем нарыто больше десятка землянок, просторных, хорошо замаскированных.

Вниз вела лестница, земляные ступени числом не меньше двух десятков. Они с Лыжиным спустились по лестнице, причем партизан велел лейтенанту спускаться первым. В охватившем его состоянии подозрительности Виталий в этом усмотрел недобрый знак.

В одной из крайних землянок горел карбидный фонарь, пахло газом. Немолодой партизан в свитере с воротом, растянутым, как хомут, сидел под фонарем, что-то писал на тетрадном листке, кивками припечатывая каждое написанное слово, как делают люди, которым писать приходилось нечасто. Землянка была просторной, в ней могло разместиться до взвода, и человек в свитере, которому Лыжин передал Виталия, был как раз, скорее всего, комвзвод.

Утром в дверной проем землянки просунулась чья-то голова — лицо против света разглядеть было невозможно, — фальцетом прокричала какого-то Лапшевича, которого звали в хозвзвод. На зов откликнулся партизан в свитере, и у Виталия тем самым в отряде появился еще один знакомец. В его положении узнать фамилию каждого нового человека уже составляло знакомство...

Кроме Лапшевича, он еще никого в землянке не успел узнать. Двое других партизан, ночевавших с ним, утром подхватились и ушли. Пришли вскоре еще трое, но эти сразу свалились спать; людям было не до знакомства с новичком,— только бы доправиться до постели.

Виталий вышел из землянки на волю.

В лесу бесконечным "теньзу, теньзу" жалобилась какая-то птаха. И казалось, птичьей жалобе, как и этому тоскливому дню, не будет конца. Вернувшийся Лапшевич принес завтрак и поделился им с лейтенантом. Завтрак снова был без хлеба. Виталий подумал: когда-то в отряде исправят обвалившуюся печь.

Днем в овраге все выглядело чужо и неприветливо. Высоко вверху тягуче шумел лес, вплотную подступающий к откосам. Местами из глинистых осыпей бородато торчали спутанные космы мелких сосновых кореньев. Чистым делом берендеево царство.

В шуме леса назойливо слышался как бы нескончаемый перезвон колокольчиков. Лес мощно шумел на ветру, который внизу почти не чувствовался.

В конце оврага Виталий нашел колодец-копанку и помятое ведро при нем. Чтобы скоротать время, принялся стирать в ведре гимнастерку, которая лопалась от грязи. Вместо мыла пришлось взять пригоршню какой-то синей глины. Гимнастерка выстиралась плохо, к тому же разлезлась, порвалась на загривке, где особенно истлела от пота. Рана сегодня болела больше, чем раньше. Виталий попытался извернуться, чтобы посмотреть рану, но она как раз и не давала извертываться в пояснице.

Ночью его разбудил подросток-посыльный. В землянке, куда он привел Виталия, горела цивильная керосиновая лампа. Вместо широких земляных нар, как бывает в общих солдатских землянках, в этой имелось только два рундука для спанья. Посредине — стол из двух досок на кольях, вбитых в выровненный подошвами пол. Обычный интерьер командирских землянок; Виталий всегда чувствовал себя в таких неуютно. На батарее он, имея свою отдельную, часто уходил спать в общую солдатскую, где на неширюких нарах ложилось человек по десять - двенадцать. Там хоть воздух был более жилым.

Человек в кубанке, надвинутой на глаза, сидел за столом над бумагами. Кто-то второй спал на земляном рундуке, укрыв голову штатским суконным бушлатом. На кубанке у партизана за столом была нашита наискось красная ленточка, изрядно заношенная. Ни у одного из тех, кого Виталий видал за эти дни, он такой партизанской отлички что-то не примечал.

— Садись, — неприязненно сказал парень с ленточкой, кивком указав на ящик, поставленный на попа метрах в двух от стола.

Ящик был — на глаз видать — шаткий, сидеть на нем не лучше, чем стоять, и Виталий не поторопился сесть.

— Я сказал: садись, — нетерпеливо повторил парень.

— Я слышал.

Чем-то этот партизан, возрастом лишь самую малость постарше Виталия, показался ему неприятным с первого взгляда. Чем? Лицом, конечно, не красавец. Узколиц, глаза как-то утоплены в глазницах. При таком узком лице был бы у парня хоть обыкновенный прямой нос... Но все портила продавленная переносица. С нею лицо было похоже на топор-колун.

Виталий все-таки сел куда было велено — на шаткий ящик.

— Ты находишься в расположении партизанского отряда "Смерть фашизму," — объявил человек за столом. — Я особотдел отряда.

— Особотдел в одном лице? — равнодушно спросил лейтенант. Ему подумалось, что все тут пока разыгрывается как-то не всамделишно. И название отряда, скорее всего, вымышленное.

— На вопросы отвечать кратко и ясно. Врать не советую, у нас на враном коне далеко не уедешь.

"Ладно, спрашивай, буду отвечать, — подумал Виталий. — Я же не могу себе позволить затевать с тобой перебранку. В отряде "Смерть фашизму" я пока еще новобранец. Во всех армиях мира новобранцам приходится быть терпеливыми."

— Первым делом оружие на стол,— приказал дознаватель.

— Первым делом нет,— спокойно сказал лейтенант. — Оружие мне выдано в части, записано в моих документах. Не думаю, что ты имеешь право его отобрать.

Должно быть, дознаватель и сам не был уверен в своем праве отобрать оружие. Он сказал:

— Ладно, в правах мы еще разберемся. А пока: фамилия, имя, отчество?

— На твоем месте я бы сначала попросил предъявить документы.

Записав фамилию, имя, почему-то без отчества, парень спросил о звании. @444

— Лейтенант Бревнов,— терпеливо доложил Виталий. Указав на петлицы, он заметил: — Ты мог бы видеть сам вот по этому...

— Если ты действительно лейтенант...

— Если ты действительно особист,— перебил его Виталий,— так должен бы знать порядок допроса. Или это не допрос, а одни турусы на колесах.

— Запомни себе: у нас ты будешь не лейтенант, а рядовой боец — партизан. Да еще останешься ли в отряде? Надо сначала разобраться, не подослан ли ты немцами. Лейтенант должен был вести за собой хотя бы взвод. А тут человек явился в отряд и привел за собой одного холуя.

— Со мной пришел не холуй, а боец Красной Армии Устюгов. И я на деле видел, что надежный боец. А вот тебя я еще не знаю, каков ты есть.

Виталий чувствовал, что накаляется и может сказать лишнее, о чем позднее придется пожалеть, но сдерживаться уже не желал.

— Хорошо, пусть так,— неожиданно смягчаясь, сказал дознаватель. — Тогда объясни... — он не договорил. Цепко схватил трубку телефонного аппарата в зеленом ящичке и отчетливо приказал: — Дежурный! Двух бойцов с оружием ко мне.

Между тем Виталий видел: от аппарата не шло никаких проводов. И когда дознаватель поставил палец на кнопку зуммера, знакомого потрескивания не послышалось.

— Слушай, как тебя? — резко сказал лейтенант.— Что за комедию мы с тобой разыгрываем?

— А вот я сейчас...— зловеще, замедленно отозвался парень, передвигая кобуру из-за спины на живот. Пистолет на нем был трофейный, парабеллум, коробчатая кобура для него делается с расчетом носить на животе, слева. Когда ее носят на русский манер — сзади, каждый раз при надобности ее приходится перетаскивать по ремню из-за спины на живот.

И лейтенанту стало тоскливо и смутно в землянке с глазу на глаз с этим парнем.

Ответить дознавателю он не успел. Человек, спавший на боковой лежанке, сбросил ноги наземь, выпростал голову из бушлата, резко сказав:

— Сунопля, опять за старое?

Человек шагнул к столу, немолодой, очень спокойный, усталый и не очень здоровый.

Виталий вглядывался в новое лицо, возникшее у стола, пытаясь определить возраст его, но как пережитые лишения в окружениях, так же, наверно, и партизанское бытие на втором году войны стирало приметы возраста, делало лица похожими, как неразличимы головни в костре. Этому, пожалуй, под пятьдесят.

Восставший от сна товарищ потолкал дознавателя в плечо, требуя освободить ему, старшему, табурет.

— Иди, Юхан, лучше приляг, поспи. Завтра у нас день может быть нелегким.

— А когда они были у нас легкими, наши дни? — проворчал Юхан Сунопля. Он попытался сровнять в стопку лежащие на столе листки серой бумаги со своими заметами, но старший поставил на них локоть. Опустил голову на руки, вжимая ладони в глазницы, отнял руки, поморгал, крепко смежая веки:

— Болят, понимаешь, глаза и болят. Неужели ослепну? Очень это было бы некстати.— И уже прямо обращаясь к Виталию, спросил: — Ну?

Лейтенант молчал, думая, что если это и вопрос, обращенный к нему, то, во всяком случае, не из тех, на которые ждут обязательного ответа.

— Ладно,— нарушая молчаливую переглядку, сказал старший.— Командирское удостоверение я все же прошу предъявить.

Виталий подал удостоверение; старший, не раскрывая его, попросил:

— Партийный абож комсомольский билет, если имеется, тоже.

Он долго, с первой страницы до последней, рассматривал документы, после чего уважительно закрыл, подержал в руке еще, словно взвешивая, вернул, протянув неправдоподобно длинную при свете лампы руку.

— Вижу, документы хранишь бережно. Храни и дальше.

За спиной Виталия колыхнулся соломенный мат, закрывавший вход. Это вышел дознаватель Юхан, не желая участвовать в разговоре.

— Не дали вы мне поспать, изверги,— пожаловался старший.— Я было сон какой-то увидал... довоенный. А довоенные сны сейчас в большой цене. Они не каждому по карману.— И тем же скрипучим тоном спросил: — С чего начнем? Вопросы есть?

— Вопросы? Но Юхан ваш с первого слова предупредил, что вопросы задает он, а мне разрешается только отвечать на них.

— Так то Юхан. А я хочу иначе: как на военном совете, первым дать высказаться младшему. Итак?

— Тогда первый вопрос. Этот испуганный пыльным мешком парень у вас действительно особотдел?

— Можно сказать и так. Только тут надо учитывать: мы живем и действуем в особых условиях. По штату у нас такой должности нет по той простой причине, что нет самого штатного расписания. Надо тебе пожить у нас подольше, и тогда многие вопросы отпадут сами собой. На Юхана ты не обижайся, у него есть причина быть таким... испуганным.

— А что за странная фамилия?

— Сунопля? Для него, наверное, не странная. Он латыш, точнее, латгалец. Еще вопросы есть?

— Если можно. Я ведь должен вас как-то называть. По званиям и должностям тут у вас не принято.

— Савелием больше кличут меня. Товарищ Савелий, и этого на первый случай довольно.

Конечно, кличка, подумал Виталий. Как-то странно и духоподъемно пользоваться сейчас прозваниями по обычаю прежних, дореволюционных конспиративных псевдонимов. И все же любопытно, как называли его в школьном обиходе ученики и коллеги-педагоги. Почему-то лейтенант решил, что "товарищ Савелий" был до войны, скорее всего, школьным учителем. Спросил:

— Учителем были в мирное время? И, по-моему, историю вели...

— Что там было до войны, все кануло, как в темную воду. А вот откуда ты взялся, такой знающий?

И у Виталия даже сердце заныло от такой резкой перемены в человеке. Пожилой сразу стал недоверчивым, как Юхан. И поди теперь убеди его, что никого о нем он, лейтенант Бревнов, не расспрашивал и все было просто не к добру пришедшейся интуицией.

Минуту сидели молча.

— Идите пока в землянку. Там Лашевич будет теперь ваш непосредственный старший.

— А я думал, его фамилия Лапшевич.

— Так его и зовут у нас. Но это у ребят вроде забавного прозвища человеку.

Виталий сказал напоследок: в сумке у него накопились документы — красноармейские книжки погибших в окружении бойцов.

— Надо бы мне их куда-то сдать. Не годится, чтобы люди числились в без вести пропавших...

— Кладите на стол,— хмуро, неприветливо сказал товарищ Савелий.

И очень нескладно, шершаво было на душе лейтенанта, когда он шел в темноте в землянку Лашевича-Лапшевича.

Вечером они опять остались в землянке только вдвоем. Лампу не зажигали, сберегая керосин, зато бородатый партизан растопил печурку и сидел против нее, подобрав под себя ноги, поддерживая лишь слабый огонь. Над лесом с мутного, хмурого неба высевался мелкий дождь, порой с крупными мокрыми снежинками.

Еще в первые дни, когда Виталий пришел в отряд, когда он еще не осмеливался удаляться за пределы овражного земляночного посада, этот иконописный партизан зазвал его на вещевой склад. Склад находился в коротком отложье, имеющем вид сапы, которые роют влево-вправо от основной траншеи, когда войска долго стоят в обороне. Сооружение это не было даже землянкой; возможно, когда-нибудь оно было конюшней-времянкой: только одна земляная стена, и навес, и фасадная стенка из жердочек стоймя.

Партизан велел Виталию присесть на ветроломное дерево близ цейхгауза, после чего вынес и предложил примерить еще исправные кирзовые сапоги.

— Снимайте свои, в них вы уже не воин. А сапоги у солдата — то же оружие.— И как бы стесняясь своей услужливости, внимательно оглядел вконец разбитые лейтенантовы сапоги, остался доволен, пояснив: — Считайте промен не без выгоды в мою пользу. Голенища у ваших еще сохранны, наши сапожники поставят к ним новые головки...

Странная это была вещевая каптерка — не то скопление бросовой ветоши, не то костюмерная захудалого театрика.

Несмотря на полутьму, Виталий разглядел, что хранятся здесь, как в чулане старьевщика, одежонки неимоверно сношенные. Лишь в дальнем конце шалаша были аккуратно повешены на плечиках из ивовых веток несколько немецких шинелей и мундиров разных родов войск с погонами и знаками на петлицах. На неко-

торых мундирах сохранялись орденские ленточки, которые у немцев нашиваются наискось, уходя в пуговичную петлю.

В тот раз Виталий только и насмелился спросить у кладовщика его имя. Того звали Авениром Павловичем.

Но сейчас, сидя перед печкой, он узнал об Авенире Павловиче больше. Спросил, кем этот человек был прежде, до войны, и тот, глядя в огонь, ответил:

— Помнится, был адвокатом. Даже не верится, что служил без малого двадцать лет в адвокатуре.

— По уголовным делам, по гражданским?

— Вот и видно, что вы, молодой человек, не имеете понятия об адвокатуре в районном городке. Там адвокату чем только не приходится заниматься. Разве только родовспоможением нет.

— Но как же все-таки: в прошлом адвокат, а сейчас кладовщик-тряпичник?

— Наверно, нашел на этом деле свое призвание.

— Не очень-то вы похожи на военного человека,— заметил Виталий.

— Я и сам думал, что не похож и не годен для войны. У меня и в документах было записано: ограниченно годен. Но пришла война, и оказалось, что все мы неограниченно годны для нее. Она неразборчива, подбирает всех подряд. У нас в отряде есть даже попович, из долговолосого сословия.

— Воюет?

— И даже с азартом. Видал я его в бою.

— А он вас тоже видал в бою?

— Понимаю. Хотите спросить, бывал ли я вообще в бою? Представьте, доводилось. У нас ведь как на флоте: можно исполнять любую обязанность в хозяйстве отряда, но по боевому расписанию изволь быть как штык на своем месте.

Виталий чувствовал: адвокату хочется сказать что-то свое, затаенное, но спрашивать об этом не надо. И вправду, вскоре адвокат невыразительно, словно отвердевшим на морозе ртом, произнес прямо в печку, в оранжевый квадрат ее незакрытой дверцы:

— Праздный вопрос: кому повем печаль мою? По нашему времени никому не повем. Общая народная печаль так велика, что наши частные дела кажутся при ней такими незначительными. Но ведь моя печаль, как нательная рубашка, облегает именно мою душу, а не чью-нибудь иную... Где-то у меня воюет мой...

— Сын? — круто спросил Виталий.

— Сын, продолжатель рода,— с бесстрастной горечью ответил адвокат.— Только лишь в сороковом году, как ты, закончил военное училище. Как раз ко кровавому застолью подгадал.

Адвокат подкинул в печку смолистых сосновых щеп и, когда они взялись ленточным жирным пламенем, вдруг сказал:

— Вы ведь вот живы, лейтенант Бревнов, пройдя через ваши тяжкие испытания, а мой, может быть, лежит где-нибудь в братской могиле. Почему?

Они посидели еще некоторое время, пока не пришли трое ребят, промокших до нитки. И место у печки пришлось уступить им. Даже в полутьме было видать, что парни прошли по ночному осеннему лесу немалое расстояние, а до этого, еще засветло, побывали в скоротечном ближнем бою где-нибудь на изломе оживленного шоссе.

Уже улегшись, Виталий стал перебирать в памяти длинную, казалось, уходящую вдаль вереницу лиц, которых перевидал за эти недели, от того дня, как его батарея погибла на Красненском рубеже.

...Тот сержант-вычислитель, который так и не бросил свою линейку-нормаль в длинном футляре, хотя ребята насмешливо называли его Меланьей с ящиком; и пожилой парторг батареи из их полка, душевный человек, и Устюгов; и женщины-оборванки из земляночного поселка в Безымянном логу, приютившие раненых.

Но из них особенно четко и врезанно будет помниться здешний кладовщик вещевого склада, бывший адвокат.

Он не знал — неоткуда было ему это знать,— что в землянке товарища Савелия в тот вечер разговаривают как раз о нем.

Отвечая на какой-то предыдущий вопрос старшего, Лашевич говорил:

— В таком положении и я бы чувствовал себя не в своей тарелке. Уже неделю человек живет без дела. Тут поневоле засомневаешься.

— А-а, да не о том говоришь,— сердито отвечал старший.— Хочешь, бери новенького, хочешь, кого другого. Но за поиск отвечаешь ты. И не отвлекайся на второстепенное. Главное, чтобы все у тебя пришлось стык в стык по времени. Вот о чем тебе надо особенно позаботиться.

Утром еще затемно Лашевич появился в землянке одетым мало сказать странно, а словно нарочито несуразно. На нем был очень отрепанный домотканый зипун, какие давно уж вывелись в самом глухом сельском быту. На ногах сапожонки с дырами, в которых виднелись грязные портянки. Он велел и Виталию идти в каптерку, где для него тоже приготовлен соответствующий наряд.

Предупрежденный с вечера, Виталий и спал в эту ночь по-петушиному, полуприкрыв глаза. Всю ночь его время от времени тревожно встряхивало; веки и при закрытых глазах все подрагивали.

Это была не боязнь, а только нетерпение, ожидание грядущего дня.

В каптерке Авенир Павлович выбросил Виталию какой-то кожушок, грязный, сбежавшийся на рукаве и уже потрескавшийся везде, где он был когда-то на своем веку подпален у партизанского костра. Понимая, что не надо ничего спрашивать, Виталий надел кожушок и молдаванские постолы на ноги. Такие постолы делаются из сыромяти, прежде чем надеть, их размачивают. Но на это времени уже не оставалось; к тому же по осенней сырости они через пять минут ходьбы размякнут сами по себе.

К чему только в жизни не приходится приспособляться, когда она втянет в свою мялку.

Километров двадцать они прошли пешком по незнакомым, глухим местам, большею частью без дороги. Посетили какую-то деревню, где Лашевич заходил ненадолго в две избы, а Виталий дожидался его на улице, у воротец.

В третьей деревне они еще с улицы через плетень увидели мужика, сидевшего на крылечке в армейской гимнастерке распояской. Он обстругивал кривым ложечным ножом липовую чурочку и не бросил этого занятия, когда партизаны вошли во двор. С десяток таких чурочек у него лежало рядом, и все вокруг крыльца было завалено стружкой.

— Здоров, комендант,— приветствовал хозяина Лашевич, устало валясь на скамью.

— Здравствуйте,— неприветливо ответил хозяин.

— Что же, в воскресенье с ложками на базар думаешь?

Мужик не ответил, астматически дыша бледной высокой грудью в расстегнутом вороте гимнастерки.

Они поговорили про урожай, про то, как людям прожить предстоящую зиму. Мужик, кажется, ни единым словом не обмолвился о том, какая беспросветно - тяжелая предстоит зима в деревне: умеющий понимать народную нужду поймет.

— А все-таки куда зерно ссыпать думаешь? — спросил Лашевич.

— А куда сказано,— спокойно и как бы даже благодушно ответил мужик.

— Кем сказано? У вас ведь теперь двойное начальство: немцы и мы.

— Вот я про то и говорю: у нас теперь двойное начальство. Кто сумеет раньше взять, тому и повезло.

— Ну вот что, комендант,— решительно сказал Лашевич.— Нам подводу надо.

— Далеко ли?

— Как придется. Зачем спрашиваешь?

Они получили у коменданта то, что им было надо, причем мужик впервые оживился, вроде даже обрадовался, узнав, что лошадь нужна что ни есть похуже, а вместо телеги какой-нибудь бросовый передок.

Он ушел с недоуздком за огороды и скоро вернулся, ведя такого коня, что Лашевич даже крякнул, иронически сказав:

— Н-да, силен в Судницыной комендант.

Конь был стар, ужасающе тощ, с болезненно плюшевой шерстью на широких и плоских, как сабельные клинки, ребрах. Над глазами у него от старости и истощения были такие глубокие лунки, что в каждую вошло бы по яблоку.

— А, годится,— сказал Лашевич, оглядев коня.— Такой даже лучше, мы его бросим где-нибудь в поле. Возвратить тебе его не обещаю.

— А бросай. Все равно с него одна шкура.

С полудня в полях пошли перевалки колючего, холодного, косого дождя.

Ведя своего одра в поводу, они ушли от деревни на немалое расстояние. Виталий все еще не понимал, что за интермедию им предстоит разыграть. Только заметил, что идут они на дело вовсе не вдвоем. Еще одна группа трудноразличимых из-за дымки и тумана людей следовала за ними, не приближаясь, однако, ближе чем метров на триста.

За время своих скитаний, присматриваясь к лесу, Виталий научился разбираться в местных древесных породах. Орешник он теперь различал по запаху, даже если попадал в него ночью.

И сейчас они остановились в лиственном колке, из глубины которого знакомо и жестко пахло орешиной. Тупой зубец леса здесь выходил почти к самому большаку. На опушке вблизи большака они подобрали кривое суковатое бревно, которое никто, похоже, не хотел взять даже на дрова. На скрещении проселка с трактом бурело пятно торфянистой топи, и Лашевич как раз туда очень умело загнал коня, запряженного в тележный передок с бревном, волочащимся по бездорожной хляби.

Конечно, он рассчитал все правильно. Это ведь какими глазами посмотреть. Если бы эту жанровую картинку увидел со стороны наблюдательный пожилой, а главное, русский человек, ему сразу бы многое в этом показалось подозрительным. Подумал бы: слишком уж убого одеты эти два здоровых мужика. И какой леший их загнал в самую топь, когда можно объехать по твердому? И бревно суковатое, вовсе нестроевое, нет надобности везти целиком; самый непутевый мужик сообразит, что его лучше распилить на коротье и увезти на телеге-площадке.

Но немцы, особенно чванливое их офицерство, пришли сюда с убеждением, что это есть нищая, до дикости отсталая страна. И первое, что такой немец подумает, взглянув на их одра и на них самих, топчущихся в грязи: "Эх, жаль, не взял фотоаппарат."

Они успели выкурить одну на двоих самокрутку, пока в серой дали на большаке показались три точки.

Лашевич достал из-за пазухи пистолет ТТ и наган, торопливо сказав:

— Бери одно из двух, к чему ты больше привычен. Эта штука, жалко, одна.

Эта штука была русской гранатой. Три точки на дороге выросли, оказались грузовиками с какой-то угловатой снастью под брезентами. Они промчались, не остановившись.

— Занятно, но эта роскошь нам не по средствам, — сквозь стиснутые зубы пробормотал Лашевич.

Но вскоре же через увал с другого направления перемахнула легковая машина.

— Так. Теперь слушай,— горячей скороговоркой начал Лашевич.

Но ничего, кроме этого, он сказать не успел.

Они оба налегли на колесо своего передка, понукая коня, но и осаживая его, стараясь вывезти, но чтобы и не вывезти из грязи свою поклажу.

Машина подкатывала все ближе, понемногу притормаживая.

— Эх, хлопчики мои,— певуче, отчаянно, весело сказал Лашевич, бросая возиться с колесом, нащупывая гранату в кармане.

Но бросить ее не пришлось. Машина остановилась, и двое офицеров вышли из нее размять ноги, подивиться на двух туземцев, на их нелепую возню в грязи.

Никакого знака, которого из офицеров взять на себя, Лашевич Виталию сделать не успел. Виталий первым, по внезапному и теперь уже знакомому вдохновению

дерзости, шагнул к офицерам, стащив с головы шапку и униженно держа ее в руках. Но вслед за этим выдернул из-за пазухи револьвер и выстрелил в лицо своего офицера, показавшееся ему только белым пятном. Выстрелил, не вынося руку вперед, но с такой уверенностью в точности, какой никогда не бывает на стрельбище, при тренировочной стрельбе.

Ему показалось, что был и второй выстрел, Лашевича. Но тот не стрелял, а свалил своего офицера ударом в сонную артерию рукоятью пистолета. И сразу крикнул Виталию:

— Шофера...

Метнувшись к машине, Виталий рванул дверцу. Шофер, заваливаясь на бок, уже тянул руки вверх. Выдергивая ключ зажигания, Виталий подумал: вот и неладно. Немцу-шоферу ничего не стоило бы ударить его ногой в живот. Но коли этого не случилось, он просто выволок шофера из машины, и тут оказалось, что все могло бы и не сойти так хорошо. У шофера был автомат, и он лежал на свободном сиденье, рядом. Как случилось, что солдат даже не сделал попытки схватиться за оружие? Кто может объяснить, почему все складывается так, а не иначе в ближнем бою, когда дело решается долями секунды?..

Виталий схватил автомат, проверил ход затвора, отогнал шофера в сторону от машины, стремительно огляделся: что еще необходимое надо сделать?

Но все неотложное было сделано. Лашевич возле машины встряхивал оглушенного своего офицера, предварительно вынув у него пистолет из кобуры.

Теперь им не резон было прохлаждаться на шоссе.

А Лашевич стал каким-то брюзгливо-медлительным, словно им некуда торопиться. С хмурой деловитостью он уволок с дороги в кусты убитого офицера, снял с него там плащ и мундир. Вышел снова на дорогу, свертывая офицерскую обмундировку в укладистый тючок.

— А поживее нельзя? — сердито и по-новому равноправно спросил Виталий.

— Не горячись. Теперь все,— успокоительно сказал Лашевич.

А было еще далеко не все. Живой офицер, из-за которого и была затеяна схватка на дороге, все еще сидел на земле, ошеломленный страхом и очень грамотным ударом Лашевича в шею. Тот все ставил его на ноги, а немец валился. Вдвоем они втащили офицера на заднее сиденье машины, но оставлять его там без присмотра было нельзя. Лашевичу еще пришлось вернуться на дорогу, чтобы позаботиться о коне. Запряжка у Лашевича была сделана сноровисто, по-крестьянски. Достаточно было только рвануть за кончик супони, чтобы клещи хомута пружинисто разошлись. Дугу Лашевич забросил в кусты, вожжи смотал на руку. Вывел коня из оглобель головой в поле, сильно хлестнул вожжами.

Но, сделав несколько хлипких шагов по дернине, конь остановился, оглянулся, как бы спрашивая: а мне-то куда теперь идти?

Лишь километрах в пятнадцати от места происшествия к ним присоединилась группа прикрытия, о которой догадывался Виталий, а видел ее только несколько раз мелькающей в сетке туманного дня.

— А стреляешь ты как-то по-чудному — из-под мышки,— говорил Лашевич по дороге. И Виталий не стал ему объяснять, что это не какая-то особая его сноровка, а незажившая рана в боку не позволяет ему резко выносить руку для выстрела.

Обратный путь был неблизок, и в разговоре они детально вспомнили все, что там, на тракту, произошло как-то механически. Вспомнили, что машину им чуть было не пришлось поджечь на дороге. Когда уже втолкнули офицера на сиденье рядом с шофером, оказалось, что Виталий не помнит, куда подевал ключ зажигания.

Но ключ нашелся вовремя в кармане кожуха. Внушая стволом пистолета шоферу, что от него требуется, Лашевич велел ему съехать с тракта на проселок. Со смехом вспомнили, как Лашевич кричал на шофера, обводя пальцем вокруг колеса:

— Цепи надо иметь, обормот. Какой ты есть шофер? Трахну тебя по черепу...

Может, как раз потому, что не хотел получить по черепу, немец как-то сумел выехать из колдобины. Проехали в глубину леса еще, сколько позволяла размокшая после дождей дорога. Загнав машину в чащобу, забросали ее валежником.

После того дела на большаке Виталий выходил на разные задания еще несколько раз. Ему даже в голову не приходило считать, сколько было таких эпизодов. Был один тяжелый бой, когда они истребили отряд полевой полиции человек в пятнадцать. Но и этот бой не врезался ему так, как то первое взятие офицера на тракту, можно сказать, вдвоем с Лашевичем.

А вообще-то Виталию казалось, что для отряда, если говорить по чести, он гораздо больше сделал в случае с теми пулеметами...

В отряде было два трофейных МГ, которые не шли. Один из них на предыдущем задании у кого-то уже отказывал. А причина была в том, что ленты пулемета небрежно хранились и были сами по себе не в обиходе. Виталий целый вечер просидел, чистя ленты, исправлял перекашивание. Когда вскоре после этого снарядили группу на перехват шоссе, попечителем ненадежного пулемета назначили Виталия.

Во время боя на шоссе пулемет работал исправно, и на обратном пути в отряд Виталий понял, что теперь эта легкая и послушная стреляющая машина, вся рябая от охладительных дыр по кожуху, от него не отвяжется. Пока есть ленты — быть ему пулеметчиком. И он прочно почувствовал себя при деле.

Для пулеметчика половина всей науки — выбор позиции. Было утешительно убедиться, что он это умеет и что люди видят: умеет бывший артиллерийский лейтенант воевать и в пехотном строю.

Осень между тем развертывалась во всем разнообразии своего нрава. Сначала это была самая акварельная осень, вся прописанная чистыми, прозрачными тонами, словно краски были замешены на безгрешной детской слезе. Потом пришла осень двухтоновая, блеклая.

Из того угла, где чувствовалась Балтика, пришли ветра, и за две ночи радужная печаль многоцветной осени сменилась пепельной серостью, и даже запахло в воздухе, кажется, тощищей давно не топленных печей в заброшенном крестьянском жилье.

А это брала за сердце тоска перед предстоящей зимой.

Еще несколькими днями позже полоса ветров, дерзко ошмурыгавших листву окрестного чернолесья, сменилась опять глубокой тишиной в лесах. И в свой срок пришли утренние заморозки с легкой крупяной метелицей.

На неделю установилась смиренная, какая-то жемчужная и самая негодная в партизанском бытье погода. На землю лег тонкий, сантиметра на три, снежный покров. Погода была нехороша тем, что на таком снегу в редколесье, по полянам, по всему лесному массиву, если где-то прошли всего два человека след в след, все равно это с воздуха виднелось как отчетливая тропа. И входы в землянки везде были видны как нанесенные тушью на бумажном листе.

Самолетам-разведчикам в такую пору не составляло бы большого труда набросать на своих планшетах самую наглядную схему партизанских становищ...

Только по скупым штрихам света, проникающего сквозь соломенный мат в дверях, и можно было отыскать землянку. Тьма в овраге лежала как в тоннеле, нависала, как пласт породы над головой в угольной шахте.

Поднырнув под влажный соломенный мат, Виталий по всей форме доложил товарищу Савелию о своем прибытии. Только этим он и мог выразить свое недовольство тем, что его подняли среди ночи.

— Ну, это ты мне брось,— сказал старший.— Оловянного солдатика мне не разыгрывай. Знаю сам, что разбудил тебя не вовремя. Но днем нам не выйдет даже поговорить: живем больше ночью. Полюбовно поделили с немцами сутки пополам: день ваш, ночь наша.

Эту партизанскую присказку Виталий слыхал не раз.

— Я ведь тебя зачем позвал,— продолжал товарищ Савелий.— Скажи, тебе ничего не говорит фамилия Бревнова?

— Ничего, за исключением того, что я и есть Бревнов,— недоуменно сведя плечи, сказал Виталий.

— Нет, ты меня не понял. В гражданскую был такой видный военачальник Бревнов.

— Видный — это, пожалуй, излишне сказано. Он был только комполка. К тому же это мой отец, а этого тоже недостаточно, чтобы называться видным.

— Ответ, достойный не мальчика, а мужа,— усмехнулся товарищ Савелий.— А я долго не мог вспомнить, где слыхал эту фамилию. Еле дошел. В одной военно-исторической монографии разбиралась интересная операция, автором которой был комполка Бревнов.

— Не читал, не знаю.

— Думаю, что не читал, хотя как раз надо бы. Книга была издана небольшим тиражом, к тому же вскоре была изъята из библиотеки по какой-то вздорной причине. А я, как видишь, вспомнил. Наверно, в людской памяти славные дела не пропадут. Вот, веря в это, и воюйте вы, молодые.

— Будем воевать,— согласился Виталий.— Что нам еще остается.

— Ранение твое как? Болит?

— Спросите лекпома.

Этим устаревшим армейским словом в отряде называли пожилого фельдшера, к которому Виталий несколько раз ходил на перевязку.

— Болит или нет? — настаивал товарищ Савелий.

— Можно сказать, нет. Только чешется так, что порой хочется затопать ногами. Если бы хоть посмотреть, но у вас здесь зеркал-трюмо нет. Чешется, как бывало в детстве, когда оспенный струпик после прививки хочется обязательно сковырнуть.

— Но ведь когда чешется — это значит подживает. А лекпом говорит другое. Удивляется, что рана у тебя вроде бы гранулируется, но все не подсыхает. И ему это не нравится.

— А может, довольно про мое ранение? — строптиво сказал Виталий.

Сам же подумал: "Значит, товарищ Савелий спрашивал у лекпома об этом. Зачем? В отряде, он знал, было, во всяком случае, несколько партизан, которые изнашивали не слишком тяжелые ранения на ногах."

— Я ведь зачем тебя позвал,— снова сказал старший, все сбиваясь с чего-то главного. — Считай, что тебе повезло...

— Да уж,— насмешливо сказал лейтенант.— Могу мое везение с кем-нибудь махнуть на новую шинель.

— Шинель ты, по-видимому, скоро получишь на армейском складе вещевого снабжения. Нам приказано при первой же оказии отправить тебя на ту сторону. Так что будь в готовности.

— Прикажете собирать чемоданы? — все еще не принимая разговора всерьез, сказал Виталий.

— Насколько мне известно, когда ты к нам пришел, у тебя не только чемоданов, котелка с ложкой не было, без чего солдат — не солдат.

— Ложка была,— деловито пояснил лейтенант.— Мне ее Устюгов сунул за голенище. Сам, наверное, без ложки остался. Кстати, где он находится, Устюгов мой?

Но старший не ответил. Может, и фамилии такой не слыхал. Не всех же поступивших в отряд он проверяет сам.

Виталий вышел из землянки товарища Савелия под редкие звезды, под шум сосен, высоко вознесенных над откосами оврага. Шум, ровный и чистый, словно осыпался сверху, как серебристый кварцевый песок.

Он, замешкавшись, поднял лицо к небу. Рад он или не рад предстоящему возвращению на ту сторону фронта, куда так рвался, скитаясь в окружении? Здесь он начал привыкать к партизанскому бытию. Здесь настоящее для военного человека дело — ближний бой. А там еще, может, придется не знаю сколько загорать в полку командирского резерва.

Впрочем, скоро это и не сделается. Еще почва на всех полянах вокруг непригодна для посадки самолетов. Когда-то еще добрый заморозок подсушит землю. И самолеты того типа, что прилетают в отряд, не берут больше двух человек. И наверное, у партизанского лекаря найдутся люди с более тяжелыми ранениями...

На войне не рассчитаешь свою судьбу даже на двое суток вперед.



Андрей Ромашов



Андрей Павлович РОМАШОВ (1926) в годы Великой Отечественной войны подростком работал штурвальным на комбайне. С 1943 по 1946 год находился на службе в Советской Армии. Участвовал в боях. Награжден медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг." и другими медалями.

Окончил историко-филологический факультет Пермского государственного университета.

Первая книга "Раннее утро" опубликована в Перми в 1957 году. С тех пор в Перми и Свердловске вышло более 10 книг, в том числе: "Повести" (1983), "Земля для всех" (1986), "Одолень-трава"(1991). Особенно ярко проявился талант писателя-историка в повести "Диафантовы уравнения". В журнале "Урал" за 1993 год опубликован исторический роман А.П.Ромашова "Осташа-скоморох".



ОГОНЬ

Жаркий безветреный день казался бесконечно долгим и нудным. Шла уже вторая половина августа, а солнце горячее, как в июле. Настасья Матвеевна не могла усидеть дома, взяла с лавки костыли и вышла на улицу. Она села на козлы, рядом с кучей нерасколотых дров, тихо улыбалась и думала о внуке. Опять он будет ругать ее, но сидеть без дела в душной избе — смертная тоска, да и руки ныли без работы.

На улице никого нет. Деревня, облитая теплом, будто вымерла: не лаяли собаки, молчал скот, только где-то далеко, за Малыми полями, без устали гудел комбайн.

Старуха поднялась с козел, взяла топор и, налегая высохшим телом на костыли, начала колоть вязкие еловые кругляши. Она часто отдыхала — больные ноги плохо держали ее.

Мимо по дороге шел знакомый мужик из соседней деревни. В руках у него была узда.

— Здравствуй! — закричала она ему. — От Коли идешь?

— От него, — ответил он, подошел ближе и попросил: — Напой меня, Матвеевна.

— Сейчас, сейчас! — Старуха обрадовалась живому человеку. — Квасу холодного принесу. Обожди.

Ходила она за квасом долго, мужик сел на траву, к воротам, достал пачку сигарет и, не торопясь, закурил. Дым от махорочной сигареты не рассеивался, стоял перед ним. Мужик разбивал сизые шапки дыма уздой и думал лениво, по привычке, о чем-то своем наболевшем и надоевшем.

Настасья Матвеевна сползла с крыльца, как малый ребенок, опираясь на руки, и поднялась. На груди у нее висела на пояске стеклянная банка с квасом. Она сняла ее и подала мужику.

— Вот на, испей... Жара какая стоит. Управимся нынче с хлебом, слава Богу, без городских. Под снег хлебушко не уйдет.

Мужик выпил без роздыха поллитровую банку кваса, вытер черной рукой рот и хотел идти. Настасья Матвеевна остановила его.

— Слышала я, будто Наталья ваша замуж выходит. Правда ли, нет, не знаю.

— Выходит, — нехотя ответил мужик. — За Якова, тракториста. Давно снюхались...

— Ну и хорошо. Пусть живут в радости... А я все одна. Как на грех, и радиво перестало у меня говорить. Как в лесу живу. Новостей каких нет?

— Партийный секретарь утром рассказывал: война, кажись, опять началась... не то в Америке, не то ближе где-то. Недослушал я, воду повез Миколе твоему. — Мужик торопливо закончил: — Сама знаешь, жнем. — И, не оглядываясь, ушел от нее на дорогу.

Она хотела задержать его, расспросить про войну, но не могла даже голоса подать: сдавил кто-то горло ей холодными, как лед, руками. Старуха кричала, а крик умирал в груди, не родившись. Уронила Настасья Матвеевна костыли, взмахнула руками и повалилась... Раскаленное белое солнце упало с неба на сухую землю и заполыхало огнем. Закрыла лицо трясущимися руками старуха, а огонь плясал и гудел перед ее глазами... Огонь, вырвавшийся из избы, метался по крыше, дразнил людей красными мохнатыми языками. Мать стояла на коленях, а отца не было.

Потеплело у Настасьи Матвеевны в груди, пришла она в себя и огляделась: сидит на земле одна, рядом костыли лежат, у крыльца роются куры. Смотрела она на белых куриц, на новую дверь в избу, на обломанную братину, смотрела с удивлением, будто все это видела впервые. Страшно показалось старухе, стала думать: что с ней, из-за чего памяти лишилась? Вспомнила она, что видела покойную мать, простоволосую, с пятнами сажи на побелевшем лице, красные языки огня... и поняла: это опять сиротское детство приходило к ней.

...С листьев поникших черемух скатывались на черное пепелище светлые слезинки дождя, стояла Настя с матерью у сгоревшей дотла избы, перебирала босыми ногами теплую еще золу и негромко ревела...

Зря падала мать на колени перед огнем, просила у него милости, а у Бога защиты: пожар не только сделал их нищими, но и оставил сиротами. Бросился тогда отец за лошадью в загоревшуюся от избы конюшню — и остался там, придавленный рухнувшими стропилами.

Поклонилась мать родным черемухам, вытерла концом платка глаза и сказала:

— Пошли.

— Куда? — спросила ее Настя.

— К добрым людям.

Десять лет ходила Настя по чужим людям, видела и добрых и злых, жила за няньку, пасла летом скот, батрачила у богатых мужиков. Как ни гнулась она перед всяким хозяином за теплый угол, за кусок хлеба, как ни старалась быть незаметной, но молодость и красоту не закроешь старым платком. Стали и на нее поглядывать парни, а бородатый хозяин, встречая, гладил по тугим бедрам и, довольный, гыкал:

— Гы, гы, гы! Справная девка выросла!

Она краснела и еще ниже гнулась перед благодетелем.

Федора Настя увидела на Пасху. Сидела она тогда в стороне от качелей, на бревнах. Подошел длинный чернобровый парень и насыпал в подол орехов. Начались

смутные ночи, полные неясного страха и счастливых слез. Узнала она сладкую радость девичьей мечты, первый раз почувствовала тело свое, которое стало вдруг таким тяжелым и будто чужим. Боязливо просыпалась в ней женщина, и росло в оживающей душе сироты теплое желание материнства.

Перед свадьбой Настя днем ревела, словно с волюшкой прощалась, а ночью — от радости.

Осенью стала она хозяйкой в своей избе и полюбила на всю жизнь Федора бабьей всепрощающей любовью. Мать ее умерла задолго до свадьбы, остался у нее один родной человек на земле — Федор Тарасыч. И не было лучше его на свете, да и впрямь хорошим мужем оказался Федор, работящим и ласковым. Разогнулась за ним Настя, огляделась кругом, увидела: каждое утро солнышко всходит, светлое, мягкое, деревня вся в зелени, как в саду, а рожь к крыльцу подступает. Жить да радоваться такой красоте.

...А в страду из волости вез мужик бумагу, вез быстро, гнал лошадь, как цыган, но еще быстрее бежала по деревням весть:

— Война!

Заревели бабы, запахло в деревне самогоном и царской сивухой. С утра до вечера ходили пьяные защитники царя и отечества из избы в избу, надсадно орали песни, дрались и ругались. Поганили душу свою уральские пахари вином и пьяной злобой, чтобы оторвать ее от земли.

С проселочных дорог на уездный тракт вылетали одна за другой телеги, плясали и рвались в сбруе ошалевшие от побоев крестьянские лошади. Вместе со всеми Настя провожала Федора своего до села. Он всю дорогу угрюмо молчал, борясь с похмельем, и только прощаясь, погладил ей волосы и сказал:

— Как-нибудь живи, Настенька! Телку продай. Сын будет — береги.

Простилась Настя с мужем и, не дождавшись загулявшего соседа, отправилась пешком домой. Прошла версты четыре по пыльному тракту, свернула на дорожку и пошла по ней, темными сырыми логами. Когда поднималась она из последнего лога в поле, шевельнулся под сердцем ребенок, больно толкнул ножками. Вздрогнула Настя, опустилась на траву, погладила правый бок и улыбнулась сквозь слезы. А кругом тихо и чисто, будто раннее лето вернулось. Золотились на солнце верхушки елей. Только казалось ей, что похожи они на маленькие кладбищенские кресты.

Кричала Настя в бане по-звериному, но не только от боли — получила она перед родами маленькую бумажку, а в ней написано: убит на войне ее Федор. Опять одна, будто в одночасье сгорело все, чем жила. Выла Настя от боли и горя, а в глазах плясал огонь, жег ей внутренности, лизал нестерпимо горячим языком низ живота...

Родила она сына, назвала Федором и стала жить.

Не знала вдова ни дня, ни ночи: и сына надо выхаживать. и о хозяйстве думать. Подсекутся, бывало, ноги на полосе, опустится она на колени и жнет, а дома пла-

чет от боли, лечит лампадным маслом и подорожником разбитые в кровь колени. Свое хозяйство — тяжелая ноша, а надо еще и людям отработать за вспаханную полосу, за привезенные из лесу дрова.

Состарилась Настя за два года — не узнать: посеклись волосы и скатались, как куделя, кожа на лице огрубела и покрылась твердыми, как сухая земля, рубцами. Только голубые глаза Насти не выцвели, все светились добротой и любовью. Не кляла она ни людей, ни Бога, хотя жила трудно, был у ней сын, рос здоровым и понятливым.

Восьми лет пошел ее Федя в школу, но проучился только три зимы. На двенадцатом году он бережно завернул книжки в тряпку, спрятал в ларь и взял в руки пастуший кнут.

Четыре года ходил он в подпасках, а как начались колхозы, пришлось ему расстаться с пастухом Пафнутьичем.

— Кончилась твоя ребячья жизнь, Федюха, — сказал ему на прощанье старик. — Теперя ты равноправный член. А коров будем, говорят, электричеством пользовать... Кои выживут.

Стал Федор работать в колхозе. Трудолюбивый и услужливый, он ни от какого дела не отказывался... Люди хвалили молчаливого парня, мать радовалась. Бывало, поспорит Настасья Матвеевна с соседкой, та ей и выговорит:

— Хорошо тебе новую жизнь хвалить. У тебя сын вон какой! За двоих работает.

А как не хвалить ей родной колхоз, в нем она опять человеком стала. Раньше ее и малые ребята Федорихой звали, а теперь, оказывается, и у ней фамилия есть. Видно, и сын это понял, прилип всей душой к новой жизни, в комсомол вступил, а вечерами учился.

Ожила Настасья Матвеевна, но до конца верить в свое счастье боялась. Ночью часто спускалась с полатей, подходила к уснувшему за столом сыну и долго глядела на большого чернобрового парня. Иной раз даже жалела, что в отца пошел Федор: такого не закроешь телом своим от беды.

Но беда обходила их дом. Начала Настасья Матвеевна забывать понемногу свою горькую одинокую жизнь, плясала и пела на праздниках, каждую субботу ходила за шесть верст в сельский клуб. Федор даже хотел учить ее грамоте.

— Не надо мне это, Федя, — отговаривалась она. — Некогда мне.

— Надо, мам. Книжки читать будешь, а то никакого интереса у тебя в жизни нет.

— Как же нет, Феденька. А ты? Грех тебе такое говорить.

Стал приносить Федор книжки домой, читал ей вечерами. Настасья Матвеевна слушала и улыбалась.

— Что ли, не нравится? — обиженно спрашивал сын.

— Ничего. Ты читай. А я вязать буду.

Так и жила Настасья Матвеевна: радовалась, глядя на сына, да потихоньку невесту ему присматривала...

Однажды зашел к ней Аким Силыч, конюх из третьей бригады, поздоровался, огляделся, поставил пол-литра на стол и сказал:

— У меня, Настасья Матвеевна, к тебе секретный разговор будет.

Носила она закуску, а сама думала: "Непременно сватом пришел Аким Силыч. Лучше дочки его Марии во всем сельсовете нет. Большое счастье Феде выпало. Жаль только, что порядок нарушили — нам бы надо было к Акиму Силычу сватов-то слать, как в старину бывало..."

Выпили они с гостем по стаканчику, закусили, выпили по другому, а сват молчит.

– Как здоровье дочери, Аким Силыч? — не утерпела, спросила Настасья Матвеевна.

— А Бог ее знает. Здорова была. Вчера в село укатила на какие-то курсы. Она у меня самостоятельная, много не говорит. На прощанье только и сказала: "Будьте здоровы, папенька. Не простуживайтесь..." А где это видано-слыхано, чтобы коренной русский мужик простужался! Я еще таких, как она, десять переживу, у меня кровь по всем жилам играет...

Она слушала гостя и ничего не могла понять — дочку выдавать хочет, а себя хвалит...

Допил Аким Силыч последний стаканчик из поллитровки, стукнул ладонью по столешнице и объяснил:

— Значит, Настасья Матвеевна, человек я прямой. Сама знаешь, четвертый год в конюхах состою. Не осуди, сватать я тебя пришел. Оба мы с тобой детей на ноги подняли, теперя и нам пора жить.

— Што ты говоришь, Аким Силыч! Одумайся! — испугалась Настасья Матвеевна. — Какая я невеста! Да разве можно! Старуха ведь я! Во мне живой косточки нет.

— А ты подумай, Матвеевна, я не неволю. Силой, говорят, милым не будешь. А баба ты еще в самом теле, и характер у тя золотой.

Гость ушел, она посмеялась над выдумкой конюха, поплакала, вспомнив свои молодые годы, да и пошла доить корову. А вечером рассказала все вернувшемуся из МТС сыну. Она подумала, посмеется Федя над старухой-невестой, тем и дело кончится, а получилось не так.

Обнял Федор мать и стал уговаривать:

— Выходи, мам. Какие твои годы? Аким Силыч человек хороший, а одной тебе с хозяйством трудно будет. Помучилась одна, знаешь...

— Как одна, Феденька! Ладно ли ты говоришь!

— Да ты не пугайся. Ничего не случилось. Просто в Красную Армию меня берут... Подошел мой год, надо ехать служить. Может, и поучусь еще в армии. Только ты не реви, сама знаешь, ведь надо.

Знала Настасья Матвеевна, что рано или поздно придется сыну служить. Если бы не взяли, даже обидно было бы: чем ее Федор хуже других. Знать знала, а как пришло время провожать, заболело материнское сердце. Собирала она сына в дорогу, а у самой руки тряслись, глаза свету белого не видели, слезами полные до краев. Успокаивала себя Настасья Матвеевна разными правильными словами, а в голове будто молоточки стучали.

— Од-на! Од-на! Од-на!

Проводила она Федора, а на сердце так тоскливо, хоть бросай все и к сыну беги. Для других отдых — радость, а для нее — пытка. Слышала Настасья Матвеевна от старых людей, что усталость тоску съедает, старалась работать больше.

— Молодец, Куприянова. Ты у нас стахановка полей, — хвалил ее председатель колхоза.

— Дни большие, Егор Иванович, такие длинные и конца им нет, — отвечала она председателю.

Прошло два года, пришел Федор из армии, пришел не один.

— Вот, знакомься, мать... Лена, жена моя.

Сняла Настасья Матвеевна руки с плеч сына, оглянулась. Стоит перед ней худенькая городская девушка, улыбнуться хочет и не может — в чужую семью попала, и не на один день. Жить ей в этой семье придется... Обняла и ее Настасья Матвеевна и заплакала.

— Ничего, Федя. Ты раздевайся. Это я от радости. И ты не обессудь, Лена. Старая я, реву, а чего реву, сама не знаю. Глупая и есть...

Оправдывается она перед молодыми, а сама думает: "Ты бы хоть, сынок, написал мне, что женишься, попросил бы у матери не благословения, а так для души моей, для радости..." Но жизнь есть жизнь, и нет никого мудрее любящей матери. Скоро привыкла Настасья Матвеевна к своей невестке, часто хвалила ее соседям:

— Ласковая она у нас, рукодельница.

— Барышня обходительная, — соглашались те.

Одно не нравилось матери: любила Лена корзину с мокрым бельем взять полегче, а кусок со стола послаще. "Наплачется с ней Федор", — думала она, глядя на невестку, но молчала. Не хотелось ей сына расстраивать.

Так и жили. Настасья Матвеевна плакала одна в рукав, а никому виду не подавала: все надеялась, что оглядится Лена, увидит, как люди живут, и сама добрее станет. Через полгода сын у невестки родился, взяла Настасья Матвеевна на руки внука и забыла все обиды свои.

— Весь в тебя, Леночка!

— Нет, мама. Больше он на Федю похож. И глаза его, и нос тоже.

— А на кого ему еще походить? — удивилась Настасья Матвеевна.

Федор сутками пропадал в поле на своем тракторе. Но и сына не забывал. Прибежит, бывало, наспех домой и сразу к Николке.

— Куда ты лезешь с такими руками! — закричит на него Лена. — Вымойся!

— Да мылся уж я! Сколько можно? Чего ты его бережешь, как куклу? Пусть к нашему запаху привыкает. Скоро сам механиком будет.

...Началась война с Германией. Настасья Матвеевна с сухими глазами проводила Федора на фронт. Сердцем своим материнским чувствовала: великое горе навалилось на родную землю. И не выплакать бабам этого горя...

Проводила она сына в жаркий июльский день и озябла вся. Закрыла грудь платком, выпрямилась, пошла домой.

А дома дел накопилось много, и как ни болит душа, а работать надо. Через неделю уехала от нее в город Лена. И не вернулась. Пропала без вести в суровой сутолоке войны.

Остались они с Николкой вдвоем: стар да мал.

— Не горюй, — успокаивала она двухлетнего внука. — Проживем. Лишь бы папка твой был жив.

...Как только убирали с полей хлеб, ложились на жнивье сырые тяжелые туманы. Они выплывали из логов с вечера и, покачиваясь, ползли на поля, давили теплую еще от хлебов землю, душили ее сыростью и болотным гнильем. Утром налетал ветер и гнал промозглые туманы обратно в лога, бросая им вслед пригоршни остывшей земли, и ревел весь день над мертвыми оголенными полями.

Таким хмурым и ветреным сентябрьским днем нес из сельсовета тринадцатилетний паренек письмо Настасье Матвеевне. Увидел он ее у ворот, суровую, большую, и не подошел, оставил распечатанный конверт в правлении колхоза. Вернувшись с фермы, председатель нашел это письмо у себя на столе, прочитал и спрятал в карман.

— Утро вечера мудренее, — вдохнул председатель и взялся за сводки.

Начинало светать, а в печке весело потрескивали дрова и поминутно стреляли раскаленные угольки. Настасья Матвеевна стряпала, то и дело бегала из избы в сени, но старалась не стучать громко, чтобы не разбудить внука.

В избу неслышно вошел председатель, остановился у порога. Она увидела в руках у него письмо и выбежала из кухни.

— От Феди!

Председатель мял в руках серый конверт и глядел вниз, на сапоги.

Она поняла, но еще раз спросила.

— От Феди письмо, Егор Иванович?

— Такое дело, Матвеевна. От пули, как от огня, не спасешься... Похоронная тебе.

Председатель положил на лавку конверт и вышел. Она взяла в руки письмо... И страшная невыносимая боль сшибла ее с ног. Опять запрыгали в глазах красные языки огня. Она вскочила, бросилась на кухню и стала вытаскивать из печки догорающие поленья... Она топтала их, выла и рвала на себе кофту, а огонь пылал и гудел, хватал ее за руки и обжигал нестерпимой болью сердце.

На улице председатель опомнился, вытер рукавом глаза и бросился обратно.

Когда он забежал в избу, Настасья Матвеевна лежала без сознания на полу, посреди кухни, раскинув обожженные и разбитые в кровь руки. Рядом с ней потрескивали и дымились головешки.

Он вылил одно ведро на них, другое — на Настасью Матвеевну и выбежал на улицу звать людей.

В тот же день две молодые колхозницы повезли ее в город.

По дороге Настасья Матвеевна то кричала: — Огонь! Спасите! Огонь! — то ласково уговаривала женщин: — Вы уж меня не бросайте. Отвезите к Феде. Он у меня добрый, обходительный. На левой щеке у него маленькое пятнышко, как горошинка.

В больнице Настасья Матвеевна пролежала полгода. Внука ее сначала хотели отдать в детдом, но председатель не согласился.

— Пусть пока малец у меня поживет. А там будет видно. Может, вернется Матвеевна — утешение будет старухе. А ходить за ним у нас есть кому.

Приехала из больницы Настасья Матвеевна ранней весной, сползла с телеги и на костылях поднялась в родную избу, вымытую и натопленную добрыми людьми.

— Гляди ты, обезножела. Это бы от чего? — удивлялись собравшиеся к ней соседки.

Или родной воздух, или внук вылечили Настасью Матвеевну, но через полгода она оставила костыли и пошла работать на птицеферму.

— Лечились чем, товарищ Куприянова? — спрашивали ее районные врачи.

— Ничем. Нельзя мне, дорогие, без ног остаться. Сидеть буду — кто Колю на ноги поднимет, кто накормит?

И опять день и ночь суетилась Настасья Матвеевна, недоедала, а на жизнь не жаловалась. Посветлели у нее глаза, разбежались от них по худому лицу ласковые материнские морщинки. Внук рос, а она старилась. Уже не могла Настасья Матвеевна далеко ходить без палки, но костыли не брала, пока Коля не закончил на тракториста.

Вот уже несколько лет каждый вечер встречала она внука, тихо улыбалась ему, успокоенная и счастливая.

Вот уже несколько лет смотрела на большого чернобрового парня, ее сына или внука, — она уже забыла, — смотрела и думала: "Дай, Господи, ему счастья... пусть два века живет Коленька — и за отца и за деда".

1959 г.



Вадим Очеретин



Вадим Кузьмич ОЧЕРЕТИН (1921—1987) был автоматчиком в Свердловской танковой бригаде Уральского добровольческого танкового корпуса, затем комсоргом батальона танкового десанта. Четырежды ранен, контужен. Награжден восемью боевыми наградами: три ордена и пять медалей. Войну закончил в звании старшины.

Вернувшись в Свердловск, много сил отдает публицистике. Первая повесть "Я твой, Родина" вышла в 1950 году в Москве и сразу же была переиздана в Свердловске. В ней рассказывается об Уральском танковом добровольческом корпусе, сформированном и вооруженном на средства уральцев, о боевом пути, окончившемся в Берлине. В последующие годы В.Очеретин пишет повесть "Первое дерзание", романы "Саламандра" и "Сирена".

Печатался во многих газетах и журналах, вел большую общественную работу. Был организатором журнала "Уральский следопыт", главным редактором журнала "Урал".



БАТАЛЬОН "СТРИЖЕЙ"

В феврале 1943 г. партийные организации Свердловской, Челябинской областей и других партийных ограницаций Урала с одобрения ГКО начали формировать Уральский танковый корпус. Весь личный состав корпуса был укомплектован из уральцев. На сбережения трудящихся, на отчисленный двух-трехдневный заработок были приобретены танки и вооружение. В мае закончилось формирование и боевая учеба, в июне корпус был направлен на фронт. Боевое крещение Уральский танковый корпус принял в летних сражениях на Курской дуге. В 1943 г. корпусу было присвоено гвардейское звание.

Поздней осенью сорок третьего наш Уральский корпус, в боях уже удостоенный звания гвардии, стоял, замаскировавшись в густых Брянских лесах, на переформировании. Нас отвели с передовой линии фронта немного в тыл — привести в порядок, пополнить людьми, техникой.

До фронта я был прокатчиком-листокатальщиком. Работа грубая, с клещами в руках — профессия, не сильно связанная с тонкостями техники. Поэтому на переформировке в Брянском лесу меня не послали в танковый батальон, в экипаж, а, учитывая, что перед боями в нашей танкодесантной роте автоматчиков выбирался комсоргом, командование решило сделать из меня политработника.

И фронтовая судьба прочно связала меня с нашим Батей.

Батей мы за глаза называли заместителя командира батальона по политической части Александра Андреевича Татарченко. Обычно — уважительно, иногда, среди командиров, чуть фамильярно. Он слыл малоразговорчивым, суховатым и суровым офицером, основную долю жизни он прослужил в Красной Армии и до всего дошел практическим опытом. Намного старше любого нашего солдата, сержанта или офицера, Александр Андреевич относился к каждому по-отцовски, что получалось у него всегда с трогательной искренностью и, я сказал бы, мудростью. Поэтому и — Батя.

Своих отцов из-за войны многие из нас не видели давно, некоторые и вовсе потеряли. А парни остро чувствуют их отсутствие. Поэтому и получалось, что нашего батальонного Батю мы все любили. Любили и побаивались. Бывало, и дерзили ему, но повиновались беспрекословно, как полагается в воинском коллективе.

Так вот Батя — тогда он был еще капитаном — вызывает меня и говорит:

— По моей рекомендации политотдел бригады назначил вас, товарищ младший сержант, комсоргом батальона. Приступайте...

— Но, товарищ капитан... — попытался я артачиться.

— Разговоры отставить, — прервал он.— Думаешь, комсоргом тебе будет легче?..— И неожиданно добавил, с сердцем: — Чокнутые вы, добровольцы,— вот что я тебе скажу. Рвались в армию, на фронт, а любое выдвижение по службе воспринимаете как оскорбление. Темнота!...

И вот прибыло пополнение.

Когда сейчас, бывает, по радио передают "Мальчишки, мальчишки, вы первыми ринулись в бой. Мальчишки, мальчишки, страну заслонили собой..." — я ухожу: от этой песни душа переворачивается.

С первых дней войны на фронте в основном дрались молодые люди. Семнадцатый, восемнадцатый год рождения... двадцатый, двадцать первый, двадцать второй — наше быстро поредевшее поколение. В 1943-м пришел черед призываться двадцать пятому году. Ребятам едва исполнилось восемнадцать. А многие сумели попасть в армию и раньше своего времени, прибавив себе год; делалось это просто: шестерка в документах подскабливалась и поправлялась — получалась пятерка, двадцать пятый год рождения вместо двадцать шестого.

Грустна была сцена появления мальчишек, что прислали нам в Брянский лес. Моросил плотный дождь, и дрожавшие меж могучих сосен густые осиннички роняли последние багровые листки. Стелились дымки печурок нашего батальона. "Пришли!.. Пришли!.." — разнеслось окрест. Мы вышли из землянок, что успели выкопать с расчетом и на пополнение, закрыть добротным накатом, протопить, прогреть. Нас было совсем мало.

Перед нами, на аллее, вырубленной в чащобе, стоял неровный строй худеньких солдат. Невысокие, они еще и сутулились в набрякших шинелях не по росту. Снимали шапки, подолгу вытирали подкладкой мокрые, словно заплаканные, лица, отряхивались, будто капли дождя были им уже непосильной дополнительной тяжестью. И изморось белесой пыльцой оседала на их остриженных под машинку головах.

Мы все понимали. И то, что война длится третий год. И бескормицу у нас, на заводском Урале, который, как и вся страна, лучшее отдавал фронту. И то, что они устали с дороги. И то, что они еще недостаточно подготовлены, придется их подучить. Мы-то бывалые, уже гвардейцы, среди нас есть уже и орденоносцы, иные успели пройти не только бои, но и госпиталь. И все-таки мы были смущены. Мы выглядели по сравнению с вновь прибывшими просто богатырями. Да и летами постарше. Кое-что видавшие бойцы, хоть и сами еще мальчишки, но чубатые, кудлатые, грудастые, сытые. А они — голомозые, подыстощенные пацаны.

Принял рапорт, поздоровался с ними, поздравил с прибытием зампострой Иван Куцурак, исполнявший обязанности комбата. Он до того огорчился, что тут же ушел к себе в землянку поуспокоиться, собраться с мыслями. Что делать, с чего начать? Ведь скоро — в бои.

Перед строем остался Батя: политработнику падать духом не положено, у него должна быть выдержка на весь батальон. И, может быть, поэтому Александр Андреевич так рано стал седым. И брил голову наголо. "Так оно — помоложе. Иначе неловко в молодежном батальоне", — шутя оправдывался он.

— Ну, как... стрижи?..— начал он с ничего не значащего вопроса, насмешливо и нежно оглядывая ребят.

Молчание.

— А мы не стрижи,— наконец возразил кто-то из строя, с самого левого фланга, тихо и обиженно.

Батя добродушно улыбнулся.

— Ого! И ерши есть?.. Как зовут?

— Доброволец рядовой Бадяев! — громко ответил паренек. И добавил:— Михаил Георгиевич! — Наверное, для солидности добавил.

— Молодец, — сказал Батя.

— Служу Советскому Союзу!

— Совсем молодец. Если все такие, значит, будете орлами. А пока — стрижи: стриженые все... как я...— Батя, словно ненароком, снял фуражку и деловито стряхнул с нее капли. В строю заулыбались. Нет, весь строй улыбнулся, осветился как-то. А Батя продолжал:— Кто из вас добровольцы — поднимите руку. (Он не стал командовать по-военному — "шаг вперед".) Я имею в виду тех, кто еще не должен был призываться, ну, скажем, год себе как-то прибавил или еще как-нибудь схитрил. У нас высоко ценятся хитрые, смекалистые.

Без малого треть из четырехсот подняли руку.

— Ну, вот...— Батя обернулся к нам, ветеранам, и подмигнул: — Видите, сколько прибыло новых добровольцев?.. Все правильно!.. Нам сообщили, что с Урала едет отличное пополнение. Надеюсь, все остальные тоже не возражали пойти на фронт?.. У кого отцы воюют?

Больше половины парнишек подняли руку.

Батя увидел помрачневшие физиономии остальных ребят, что не подняли, и добавил:

— А у кого отцы погибли?

Подняли руку почти все остальные.

В пыли дождя закружились снежинки. Батя задумчиво поймал одну на ладонь, вздохнул, глянул на серое, почти черное небо:

— Ну, вы не думайте, что погода здесь у нас все время невеселая. Бывает и солнце... Значит, станем считать наше знакомство начатым. Фамилия моя — Татарченко, служу в батальоне заместителем командира по политической части... Сейчас вас разведут по землянкам. Обсушитесь — потом будет обед...— Он опять кивнул ветеранам и закончил серьезно:— Это замечательно, что к нам прибыл настоящий боевой народ, не сынки от маменькиной юбки. Именно такие нам и нужны... Я поздравляю вас, дорогие наши новые однополчане, с прибытием к землякам, в свой кровный Уральский добровольческий корпус. Это для вас большая удача... Старшины, разведите свои роты!...

Как сейчас, вижу нашего балагура и плясуна, никогда не унывающего старшину Васю Корякина, железнодорожного машиниста из Кировограда. Несмотря на дождь со снегом, без шинели (взамен прожженной в нескольких местах, залитой танковым газойлом, ничего достать еще не успел), идеально заправленный, начищенный и на три метра пахнущий одеколоном "Жди меня", Вася Корякин подошел к строю по-парадному. Словно на асфальтовом плацу. Словно светило солнце и был праздник, а он собрался вести своих "стрижей" на танцы или в кино:

— Вторая рота! Напра-а-а-во!.. Левое плечо вперед — шагом ... марш!...

И "стрижи" пошли, расправив плечи, подняв головы.

Мальчишки... Мальчишки...

Не было более беспокойного и предприимчивого старшины. С ним мог соперничать разве что Николай Куликов, старшина 1-го танкового батальона, доброволец из Каменска-Уральского. Как-то на 1-м Украинском фронте, при переброске с фланга на фланг, нас занесло далеко в тыл, и старшин замучили инспекторы. Один требовал, чтобы все бойцы носили портянки, другой возмущался, почему не все в носках. И эти старшины распорядились, чтобы все ребята на правой ноге носили портянку, а на левой носок. При инспекции им оставалось только сообразить, что надо проверяющему.

Даже наш Батя — до чего уж знаток самых деликатных подробностей армейской жизни — и то, услыхав об этом нововведении, усомнился. Встретил роту возле кухни и скомандовал: "Снять правый сапог, потом левый!"

— Это издевка над бойцами, товарищ старшина!

— Никак нет! Не над бойцами!..

Хитры были добровольцы...

После того как прибыли наши "стрижи", назавтра самого маленького из них — Костю Верховых — атаковала собака. Среди бела дня. Он стоял на посту у склада с консервами, в каске, похожий на гриб, с автоматом на груди, и тщательно нес службу. И чего вздумалось пробегавшей мимо дворняге, которую где-то подобрали и прикормили танкисты второго батальона, заинтересоваться нашим Костей?

— Стой!.. Стой!.. Назад!..— отгонял он ее.

Но собака — то ли решила поиграть с ним, то ли рассердилась — схватила его за полу шинели. Мотая головой, потащила, порвала. Потом еще раз. И еще.

И парень заревел от неожиданности и с досады.

Наверное, такое нападение на часового и его растерянность выглядели презабавно: два других "стрижа" стояли в стороне и хохотали, пока не прибежал разводящий и не выручил Костю — отогнал собаку...

Стало известно, что нашему Уральскому добровольческому корпусу на днях будут вручать гвардейское знамя. Батя дал "стрижам" разговориться. Выясняли, что после очередного боя каждого можно рассматривать и представлять к званию гвардии. Но шустрый Миша Бадяев, что при первой встрече обиделся на прозвище "стрижи", сделал вывод безнадежный:

— Не видать нам гвардейского значка как своих ушей. Сперва со щенками надо научиться воевать...

Передо мной лежит старая Мишкина фотография: он в госпитале, в нательной рубахе, с привинченным на ней значком "Гвардия". Это у него любимый снимок на всю жизнь. Есть и другой: он идет в колонне ветеранов Отечественной войны по праздничному Челябинску в день 25-летия Победы. Михаил Георгиевич стал отцом четверых детей, теперь и дедушкой. Подковырщик в разговорах — как и прежде...

Тогда, в Брянском лесу, наш Батя взял перед ним Костю Верховых под защиту:

— Я не согласен с Бадяевым. Конечно, случай необычный. Но я уверен: если б это была не собака...

— Я им то же самое говорю! — не выдержал Костя Верховых. — И собака-то наша, не немецкая...

— А если б немецкая? — язвительно спросил Миша.

— Я дал бы из автомата предупредительный, а потом — очередь в нее! — не задумываясь, ответил Костя.

— Смерть фашистским оккупантам?

— А как же! Они у нас все уничтожают. И мы им... — В запале не хватало слов. — Вот дойдем до Германии!..

— Стоп, стоп, стоп, — утихомирил их Батя. — Мы, конечно, придем в Германию. Но с чем? Голова-то на плечах у нас останется?.. И думать, наверное, будем. А?.. Народ-то в Германии разный, не одни фашисты. Кто из вас объяснит смысл таких, например, фактов? Первый. Все знают недавний судебный процесс в Краснодаре: группу изменников и немцев-эсэсовцев мы приговорили к смерти за зверства, за уничтожение беззащитных людей; суд был открытым — все увидели подробности гнусных дел гитлеровцев и их пособников, наших предателей. Это как бы одно отношение к Германии. Верно? И второе: все так же хорошо знают, что в Москве состоялось собрание представителей немецких военнопленных, сформирован антифашистский комитет "Свободная Германия". И мы со всей душой поддерживаем этот комитет. И разве противоречим самим себе?

— Так то — не фашисты, демократия, — сказал Миша Бадяев.

— Да, на демократической, рабоче-крестьянской основе они собрались. В комитете есть даже какой-то внук Бисмарка, но тоже антифашист...

В сорок пятом, на последнем этапе прорыва к Берлину, то ли в Люббене, то ли в Котбусе, возле ворот какой-то фабричонки мы натолкнулись на двух пожилых немцев. В старых кожаных фуражках, в коротких грубых пальто, они молча стояли и смотрели на колонну ворвавшихся в город наших танков. И каждый держал поднятый кулак у плеча. Наши автоматчики, сидя на броне, тоже поприветствовали их — тоже подняли к плечу кулак: со времен войны в Испании, с детства, мы знали антифашистский салют — рот-фронт.

Через два квартала начался бой. Гитлеровские офицеры действовали по своему шаблону: чтобы уничтожить нас, пустили наши танки в улицы города, совсем не учитывая, что мы уже хорошо научились вести уличные танковые бои. Наши танкисты с десантом на броне старались проскочить как можно ближе к центру тес-

ного городишки. Затем автоматчики спрыгнули на ходу, и танкисты, взаимодействуя с ними, терпеливо выковыривали врагов, оборонявшихся в улицах, в административных зданиях. Маневренность и мощность наших Т-34 позволяли делать замысловатые и самые неожиданные обходы через дворы и закоулки, сквозь дома (орудием назад). А десантники помогали своим танковым экипажам, просачиваясь, проникая везде и всюду, орудуя откуда придется, даже с крыш.

И вот закончился тяжелый бой. Догорают два сожженных наших танка, потрескивает и коптит резина опорных катков в мелких язычках огня. Машины, оставшиеся в строю, урчат, выстраиваясь в колонну, чтобы следовать дальше.

На искореженной центральной площади городка, среди изломанных кустов по-весеннему зеленеющей акации танкисты-безлошадники роют братскую могилу. Работают молча и остервенело: танкист-безлошадник — это тот, кто потерял в бою машину, а значит, почти всегда, и товарищей. Автоматчики помогают.

На асфальте, исцарапанном, в бороздах от гусениц, а кое-где и пропаханном снарядами, разостлали брезент. На нем ровным рядом — погибшие. Обгоревшие, изуродованные тела в черных шлемах, в комбинезонах и несколько простреленных "стрижей" в бушлатах защитного цвета...

Подходит наш Батя, замполит батальона, стаскивает с себя фуражку, смотрит исподлобья на убитых. Голова — в седой щеточке: давно не брита, некогда. И это старит его. А может, не только это.

Он подолгу глядит на каждого лежащего на брезенте. Он хорошо знает каждого и не произносит никаких слов. Да и стоящие тут же в молчании танкисты и автоматчики все равно ничего не услышали бы, погруженные в свои горькие мысли: прощание с друзьями навсегда — ничего нет хуже на свете!..

Вдруг Батя всполошился: рядом с мертвым гвардейцем лежал морщинистый человек в кожаной старой кепке, в гражданском полупальто. Грудь прошита автоматной очередью.

— Это, товарищ гвардии майор, тот самый, что вышел встречать нас,— объяснил подскочивший автоматчик. — Помните? Только мы за окраину зацепились...

— Он же немец, — жестко произнес кто-то. — Ну и что? — возражал другой. — Он же рабочий.

А механик-водитель Полугрюмов, сталевар нашего Верх-Исетского завода, со слезами на глазах заговорил:

— Да что вы, ребята, не видели, что ли?.. Он же вышел со своим товарищем. Оба стояли, подняли кулаки к плечу — рот-фронт, значит... Все же видели! И свои же его застрелили, немцы... то есть не свои немцы, а фашисты... Второго тоже ранили...

Все смотрели на замполита. Батя опустил голову и прикрыл глаза, офицеру не следует выказывать свои чувства перед подчиненными, особенно когда чувства сложны. Многих своих бойцов похоронил наш Батя за войну. А сейчас? Почти возле Берлина? Гражданина вражеского государства класть в одну братскую могилу с нашими?

— Пригласите на похороны гражданских немцев из ближайших подвалов,— наконец сказал Батя.— Да поживее.

— Все сделаем в лучшем виде, товарищ гвардии майор,— заверили его.

В этом городе будущей Германской Демократической Республики мы были первыми представителями армии нашей страны.

...Свердловская танковая до вечера 11 января 1945 года, до нового наступления, стояла в Польше, за Вислой, западнее Сандомира, в районе Грызикамня, в низинном лесу. И за несколько месяцев после осенних боев на Сандомирском плацдарме, выбросить с которого нас приказывал сам Гитлер ("Вырезать этот аппендицит!.."), уральцы ладно обжились и благоустроились, если такое выражение уместно употребить для фронтовой обстановки. Пополнившись техникой и людьми, готовясь к новым боям, много делали и для того, чтобы жизнь была удобнее, уютнее. Народ-то мастеровой, на выдумку неутомимый. И соревновались беспрестанно — в конструировании коптилок, в совершенствовании труб к печуркам в землянках (чтоб и тянуло сильно, и дым стелился по земле, рассеивался), в маскировке, в устройстве дренажа под лежаками (болото не болото, а водичка просачивалась).

Наш Батя часто ворчал:

— Вечно у тебя комсомольцы что-нибудь мастачат!.. Надо все свободное время, после боевой подготовки, использовать на политическую работу. Не у себя дома находимся, в Европе!.. Уже темнеет, а где твои агитаторы?

— Истина конкретна, товарищ майор. В данный момент помогают дяде Васе делать мишени к завтрашним стрельбам.

На фронте, к сожалению, почти не было никаких пособий для учебы. И больше всего поэтому приходилось в нашем батальоне "выкручиваться" дяде Васе — Василию Ивановичу Сосновскому, артмастеру батальона. Надо приготовить мишени, но нет ни досок, ни гвоздей, ни краски. И дядя Вася, который пользовался всеобщим уважением и даже поклонением, потому что умел вмиг устранять любую неисправность у автомата и с трех патронов отрегулировать прицел по наивысшему классу точности, быстро изыскивал выход из положения, имея всегда помощников в любом количестве. Брали осину потолще, раскалывали на плашки, топором вытесывали поясной силуэт. Гвозди нарубали из немецкой колючей проволоки, ее в Европе было везде сколько угодно. Для черноты мишень обжигали на костерке.

Занятия по боевой подготовке велись очень интенсивно, ежесуточно, не менее десяти часов, и постоянно ночные. С сентября по январь на Сандомирском плацдарме — в дождь и слякоть, в мокрый снег и промозглый туман, днем и ночью — войска, находясь в напряженной обороне, учились. Поднимается батальон по тревоге, и не знаешь — то ли противник снова предпринял наступление, чтобы скинуть нас назад, за Вислу, то ли очередная "отработка взаимодействия танкового экипажа с автоматчиками десанта": бросок на пяток километров "пеше-по-танкову", т.е. бесшумно, без машин.

Работали курсы немецкого языка. Тренировались действовать ночью мелкими, по три-четыре бойца, группами. Овладевали новым автоматом ППС, поступившим

на смену ППШ, — более легким, более совершенным. Снова — прыжки с танка на полном ходу, и умей догнать его, взобраться на броню при любом маневре. А у танкистов — свое, но по тому же закону: "Все самое лучшее, обретенное в боях, должно стать достоянием всех". Это взаимозаменяемость экипажа. Это опыт боеукладки снарядов, сверх положенного. Опыт вождения ночью, в полной темноте. Опыт длительных дальних рейдов без остановки. И крупички опыта — действия танкистов с автоматчиками "в условиях улиц городского типа".

— Дальше, на западе, братцы, тесно: там не будет российских и украинских просторов, там не развернешь танки по фронту, станем действовать колоннами, маневрировать среди каменных зданий...

Эти слова командира нашей бригады гвардии полковника Николая Григорьевича Жукова вспоминаются до сих пор: далеко вперед умели глядеть наши командиры.

На занятиях организованной политшколы, где подробно все знакомились с Германией, на комсомольском собрании, на бюро, на ежедневных оперативках, в любом разговоре — главным были мысли о том, как мы станем действовать. Бывалый коллектив корпуса готовился к новым боям вдумчиво и серьезно. Разумеется, не без волнения. Еще бы! "Враг изгнан из пределов нашей Родины... Наступают последние, решающие бои за победу над гитлеровской Германией". Началась "освободительная миссия Красной Армии, очищающая Европу от фашизма"...

Это я привожу слова из газет того времени. И из фронтовой армейской, и нашей, корпусной, — "Доброволец". Это мысли, которыми мы тогда жили. Ими жили и комсомольцы (батальон стал полностью комсомольским) — наши "стрижи". Их продолжали так называть, хотя волосы у всех давно отросли, самодеятельные ротные и взводные парикмахеры исхитрялись делать самые модные прически.

В нашем батальоне ежедневно продолжала выходить "рукописная многотиражка" — "Автоматчик". Гвардии рядовой Слава Якубович, изготовлявший ее в десяти, а потом в двадцати экземплярах, настолько приспособился, что эта работа занимала у него час, не больше. Он очень ревностно выполнял это комсомольское поручение. После разгрома какого-то немецкого штаба в прошлых боях у Славы была кипа великолепной копирки и отличной тонкой, но плотной бумаги. Он закреплял на специально приспособленной дощечке десять экземпляров сразу и (уже имея наметанный глаз, набитую руку при несомненном природном даровании) рисовал тонким твердым карандашом всю страницу. По макету, который мы перед этим составляли, прикинув все заголовки, колонки, размеры заметок. Танк, гвардейский значок, автомат и прочие элементы оформления Слава умел изобразить несколькими штрихами.

Уникальная газета — своя, родная, батальонная, от желающих выступить в ней отбоя не было — не только пользовалась у всех популярностью, но и особой любовью: ее не раскуривали.

Один только наш Батя относился к ней несколько скептически. Нет, ему, конечно, было приятно, что во вверенном ему батальоне есть многотиражный боевой

листок, известный среди политработников на весь 1-й Украинский фронт. Но он не давал нам — комсомольскому бюро — почивать на лаврах передового опыта.

— Ну-ну, — обычно бурчал он, прочитав очередной номер от строчки до строчки. — На бумаге у вас здорово получается: вы уже готовы и Берлин штурмовать, и Гитлера повесить... Но как тут? — и он выразительно постукивал пальцем по огромному лысому лбу.

Чем он был доволен, так это повальным увлечением нашего комсомольского актива географией. Карту Европы, границы, линии фронтов ребята могли нарисовать на память. Могли перечислить все города и городишки от Сандомира до Берлина. Знали последние известия не только со всех наших фронтов, но и со всей страны, о делах тыла. И о делах союзников — о их трудных оборонительных сражениях в Арденнах. Да и стали "стрижи" дерзче, увереннее в себе: и боевой опыт появился за год беспрерывных действий, и своя- то земля освобождена... А свежий, постоянно возбужденный будоражащим настроением мозг впитывал столько, как теперь говорят, информации, что Батя только покряхтывал.

— Ну-ну, — напускал он на себя скепсис, охлаждающий нас. И медленно, нарочито нудно начинал перечислять промахи: — А во второй роте вчера стреляли на зачетных не все отлично. А в первой — часовой на посту уснул. Не у себя дома, бдительность нужна тройная, а вы, наверное, и не знаете — кто это опозорился.

— Знаем! Обсудили! Чистая случайность, товарищ майор. Танкисты механиков-водителей от наряда освобождают? Механик теперь в боях будет на особом положении. Тот, кто должен был пойти, письмо с Урала получил — его тоже от наряда освободили, ответ писать! А этого уговорили взамен постоять — он согласился, хотя сам две ночи не спал. Заметили-то сразу и заменили. Чепуховое дело!

— Вам, молодым, все — чепуховое. Вы готовы еще хоть десять лет воевать.

— Никак нет, товарищ гвардии майор! — подчеркнуто официально возражал Саша Перминов. — Дома работы накопилось много. В этом году обязательно должны отвоеваться.

Батя замолкал. Возможно, думал: "Выросли "стрижи". Сашу Перминова в роте молодые коммунисты уже выбрали парторгом... А может, Батя вспомнил, как однажды решил проверить солдатские вещевые мешки ("Многие лишним барахлом обросли"), — и почти у каждого "стрижа" обнаружил всякие портативные инструменты. У кого отвертку, у кого тисочки, плоскогубцы, надфили, сверлышки — трофеи из немецких походных мастерских после разгрома их танковых частей. И не лень было таскать с собой!.. Зато артмастер дядя Вася в своей летучке снабжался трофейным инструментом сверхотлично.

Когда гул артподготовки возвестил о наступлении 1-го Украинского фронта, каждый из нас чувствовал не только плечо товарища по батальону, но и левый и правый фланги до самого дальнего далека, насколько хватало воображения. Как-то даже буднично, с обычным легким возбуждением, словно на очередных занятиях, бригада оставила накануне свой лагерь и передвинулась на исходную позицию, к передовой линии...

И только когда заговорили разом сотни орудий...

— Наверное, у союзников дела совсем плохи в Арденнах — нам придется начинать досрочно, — предположил кто-то.

И оказался прав.

Известно, что утром 12 января 1945 года Советская Армия начала крупнейшее наступление. К нему приготовилось пять фронтов по всему советско-германскому фронту. Взаимно увязывалось несколько операций — славные страницы Великой Отечественной: Восточно-Прусская — силами 3-го и 2-го Белорусских фронтов и Висло-Одерская — войсками 1-го и 4-го Украинских фронтов. Была задача, которую знал каждый солдат: разгромить стратегические группировки врага и открыть путь на Берлин.

Уральский добровольческий танковый пошел вперед в составе 4-й танковой армии 1-го Украинского фронта. В многочисленных мемуарах о войне, в том числе у командующего 4-й танковой армии Дмитрия Даниловича Лелюшенко, который воздал нашему 10-му гвардейскому корпусу должное, подробно описана эта операция. После двухчасового огня артиллерии оборона гитлеровцев была взломана, перепахана — живого места не осталось, огневой вал перенесли в глубину расположения противника, а славная пехота 13-й армии пошла в атаку. И к вечеру танковые армии фронта были введены в сражение.

Освещаемая ракетами ночь. Лавина танков, окрашенных в белый цвет, стремительно течет по заснеженным полям. В несколько рядов.

Как сейчас, вижу какой-то высокий огромный сарай, и река танков, раздвоившись, чтоб не задеть его, огибает справа и слева чье-то мирное строение. Но оборачиваюсь, когда миновали его, — сарай развалился. Его никто не зацепил, он просто рассыпался: так дрожала земля под топотом массы тяжелых машин.

Уральский корпус двигался в голове 4-й танковой армии. Свердловская бригада вошла в прорыв вслед за Челябинской, чтобы, когда та задержится при встрече с противником, обогнать ее и мчаться дальше. Когда наткнется на тяжелый бой Свердловская, ее обойдет таким же маневром Пермская танковая бригада. А Челябинская тем временем сделает свое и догонит Пермскую. Так было задумано — кулак за кулаком, сменяя друг друга.

Главное — на запад. На запад!.. Через 40—50 километров танковые армии разошлись, каждая на свой маршрут, территория, занятая противником, резалась на лоскутья, и наступающий фронт успешно продвигался вперед. Под напором танков, прикрываясь группами разрозненных частей, враг не успевал откатываться на запад, разбегался по сторонам. Почти сутки наши тридцатьчетверки мчались без особых боев, сбивая на ходу в коротких стычках гарнизоны гитлеровцев, не успевавших подготовиться к встрече с нами.

Больше всего было работы автоматчикам десанта. Ящики с запасными патронами, приторочённые прямо на броне, быстро истощались. Хорошо — снабжение не подводило. Ребята нашего батальона, не знавшие перебоев с патронами и гранатами, до сих пор, когда вспоминают, говорят спасибо начальнику боепитания свердловскому добровольцу Михаилу Алексеевичу Зыкову. Он всегда поспевал вовремя, не дожидаясь, когда окончится бой.

Сейчас, через столько лет, мне очень трудно передать чувства танкиста, прорвавшегося во вражеские тылы, чувства автоматчика на броне (как только оставались живыми: ведь на броне, а не за броней. Атлеты были, циркачи!..).

...Челябинская бригада, обходя узлы сопротивления, быстро двигалась вперед. И в два часа ночи 13 января встретила сильный отпор врага на рубеже Гуменице — Малешова. Завязался жестокий бой.

Командир Свердловской бригады полковник Жуков, согласно своей задаче, оставил для прикрытия 1-й танковый батальон и повел бригаду на свой маршрут.

Снова наступил рассвет... Как обычно движется на больших скоростях колонной в тылах ошарашенного врага танковая бригада? Впереди — три танка, взвод разведки. На некотором расстоянии — головной батальон или рота. Еще далее — основные силы.

Помню, три танка вырвались на шоссе. Только что смяли, нагнав на ходу, группу противника. Раздавлены грузовики, гитлеровцы. Автоматчики с брони своим огнем, очередями и гранатами, уничтожали разбегающихся. Впереди — пока никого. Справа и слева, по всем приметам, подмерзшее болото. Надо быстро проскочить — место для боя, который возможен каждую минуту, не из лучших: шоссейка узкая. Вокруг пустынно. А головная машина вдруг останавливается.

Командир танка кричит механику-водителю по ТПУ (телефонно-переговорное устройство):

— Что там еще?

— Конь, товарищ лейтенант, — отвечает водитель.

— Какой конь? Я спрашиваю: что остановился?

— Конь... Живой.

Командир откидывает люк башни, встает, по пояс наружу, но ему не видно — что там, перед танком. Автоматчики спрыгивают на дорогу, вылезает из машины водитель.

— Конь, товарищ лейтенант. Раненый.

— Будь ты!..— Командир нервничает. По рации из задних танков запрашивают, ругаются. "Что случилось? Нашел где останавливаться! Приспичило, что ли?.."

Он тоже слезает, идет ко лбу машины. Там, перед самыми гусеницами, поперек шоссейки лежит лошадь с перебитыми ногами. Механик с автоматчиками пытается отодвинуть ее, но окровавленный круп пристыл, не поддается.

— Давай трос! — командует лейтенант.

Через минуту танки помчались дальше. И лошадь с обочины смотрит на них большими умными глазами...

К восходу солнца разведка влетела в Петроковице.

Через десяток минут к Петроковице подъехала с запада вражеская разведка. На двух бронетранспортерах. Их подпустили поближе. Выстрел нашего танка — и еще через десять минут, когда примчалась вся бригада, помощник начальника штаба майор Рязанцев допрашивал пленных. По данным противника, советские танки могли ему встретиться только в полусотне километров восточнее. А на Петроковице движется навстречу русским колонна в 60 танков 17-й немецкой танковой дивизии...

Комбриг полковник Жуков — невысокий, кудлатый, чернявый, шинель внакидку поверх комбинезона. Его познабливает: третьи сутки без сна, танки почти не останавливаются. Но голова свежа, он хитренько посмеивается и решает:

— От боя уклоняемся — выполняем свою задачу. Обходим стороной. Наша цель — Лисув: перекрестки дорог в первую очередь должны быть нашими. Пусть их колонна продвигается себе на здоровье — чем дальше они окажутся позади нас, тем хуже для них: там у наших артиллеристов стомиллиметровые противотанковые... По машинам!..

Обходной марш. Весь день и всю ночь. Гитлеровцы разбегаются из попутных деревушек, а некоторые гарнизончики так и спят, их и не будим: нам некогда. А вон какой-то часовой в рогатой каске, освещенный лучами наших ручных фонариков, открывает колонне шлагбаум, принимая за своих...

Утром передовой отряд ворвался в Лисув. Командовал старший лейтенант (разумеется, гвардии старший лейтенант) Володя Марков — блестящий, удалой офицер, любимец всей Свердловской бригады, танкист, как говорится, с головы до ног, парень, словно рожденный для воинской службы, для боя. Впоследствии командовал нашим самым лучшим 2-м танковым батальоном, стал Героем Советского Союза.

Гарнизон противника пытался дать отпор, но тридцатьчетверки давили и громили все, что попадалось на улицах городка. Автоматчики десанта прочищали квартал за кварталом. Отделенный Гена Балков — шустрый белобрысый "стриж" — со своими бойцами захватил вражеский штаб и командира 248-го артполка 168-й пехотной дивизии, который не успел и одеться как следует.

— Спишь много!.. — заметили ему ребята.

Но гитлеровцы не все проспали. Через полчаса их 168-я дивизия бросила в контратаку на Лисув батальон пехоты с 20 танками, подвезла шестиствольные минометы.

Первый натиск наши отбили. Противник подтянул тогда дополнительные силы. На помощь Володе Маркову примчался командир бригады с двумя батальонами танков и двумя ротами автоматчиков. Но вражеских танков появилось уже 60. Да еще полсотни бронетранспортеров попытались прорваться в центр городка во время второй и третьей контратак. Затем подошло еще 15 немецких штурмовых орудий и дивизион артиллерии. Шестиствольные минометы начали стрельбу по гвардейцам-добровольцам. Запылали дома...

Двенадцать контратак пришлось отбить танкистам и автоматчикам Свердловской бригады за этот день. Восемь часов непрерывного боя. Лисув горел, взрывы снарядов и мин вздымали с клубами дыма кирпич, штукатурку, доски. Тридцатьчетверки то маневрировали, отстреливаясь, то рвались вперед. Трассы бронебойных снарядов — "болванок", раскаленных добела, линовали воздух.

Вот строки из сохранившегося письма добровольца-прокатчика Николая Верховца на свой завод:

"...Новые, 85-миллиметровые орудия на тридцатьчетверках, доложу вам, подходящи. Командир танка Михаил Побединский в поединке с последней моделью немецкого — "королевским тигром" — великолепно пробил ему трехсотмиллиметровый лоб и прошил насквозь. Сам видел. Несколько десятков танков и бронетранспортеров уничтожили наши.

Некоторые наши тоже были подбиты, потеряли способность двигаться, но продолжали вести огонь, дрались. Пять "королевских" и восемь обыкновенных "тигров" стояли мертвыми впереди нас и мешали самому противнику, тогда он пошел в обход, "тигры" начали таранить крайние дома, где засели наши "стрижи". Еле отбили.

Но тут, дорогие товарищи, нашу бригаду облетела горькая весть: Погиб командир Жуков. Полковник Жуков погиб! Представляете? И наши рассвирепели. Рванули в атаку. Автоматчики вытаскивали снаряды из подбитых и горящих танков — переносили на действующие. Нелегко нашим "стрижам" в кромешном столкновении железа с железом. Но они молодцы!..

Танки с черными крестами на броне остановились, потом попятились, потом уползли. Преследуя их, наши рванули на их артиллерию и минометы... Рассчитались сполна..."

В дни сумасшедшей езды на танках, когда наша Свердловская бывала и за 80, и за 120 километров впереди линии наступающего фронта, какая в бригаде была организованность! На скоростях ни одна машина не должна отставать, бригада всегда в едином кулаке, готовая дать бой противнику в любую минуту.

А сколько раненых оставалось в строю? Чуть полегче ранение — не хочет парень отправляться в госпиталь. Его гонят, самолет предоставляют, казалось — радуйся, отдохнешь. А парень отказывается, продолжает действовать, стараясь, перевязанный, лишь начальству не попадаться на глаза. И сейчас, через много лет, уже можно признаться, что им помогал начальник санслужбы бригады майор Ираклий Матешвили. Его видавшая виды машина с красным крестом всегда была в боевых порядках танков, он подбирал себе только беззаветно смелых санитаров. "Не хочешь в госпиталь? Можешь не лежать? Правильно! Шевелиться надо — быстрее заживет. Жизнь — это движение!.." Норма работы мотора танка Т-34-85 была 250 часов. Но механики-водители в сложных маневренных операциях выжимали и по 320 и 350. Золотые руки Н.Яненкова, И.Морина, П.Морозова! И в скоростях не стеснялись. "Пока "тигр" поворотится, я вокруг него на своей тридцатьчетверке объеду", — говорилось ради красного словца, но не без основания.

15 января мимо освобожденного с боем Промника, где был ранен Володя Марков (это после городка Хенцины, который брали челябинцы, и мы снова сменили их, пойдя в голове корпуса), вечером в полутьме стала пробираться большая колонна войск. "Стрижи" Петя Чащин и Женя Троицкий, в боевом охранении, заспорили — наши или не наши: колонна шла с востока и в таком порядке, будто в наступление. Но поскольку знали, что со взятием станции Промник (г.Пекошув) наши танковые армии завершили окружение Кельце-Радомской группировки противника и отрезали ей последний путь отхода по железной дороге, ребята правильно решили, что вражеская колонна выскальзывает из кольца.

Доложили в штаб. Рота танков Владимира Гребнева ринулась колонне наперерез. В итоге атаки — подбитый вражеский танк, несколько бронетранспортеров, полсотни раздавленных автомашин, полторы сотни целых, брошенных гитлеровцами, 126 пленных. Но пропал сам Владимир Гребнев с тридцатьчетверкой Нестерова. Хороший экипаж, да еще командир роты! "Стрижи" больше часа искали исчезнувших. Облазили все рощицы, овраги, пока наконец танк не появился, вернувшись из погони за остатками разбитой колонны.

Новый командир бригады, бывший начальник штаба Василий Иванович Зайцев вызвал Гребнева и спокойно, коротко отчитал: ротного ищут, а он на танке за недобитыми гитлеровцами гоняется, мелочится.

— Мы, товарищ подполковник, за легковыми машинами, — оправдывался Гребнев. — И увлеклись.

— За легковыми? На танке?

— Ну, да. Дорога неважнецкая, их сдерживает, а нам — ничего. Штук пятнадцать нагнали, а две все-таки пришлось — снарядами: шоферы, видать, были высокой квалификации, и, наверное, начальство их драпало... А что? Наша тридцатьчетверка не хуже легковой ходит...

Комбриг смягчился и отдал распоряжение представить экипаж Нестерова к наградам — и механика-водителя Волкова, и стреляющего Былытова. — А вас предупреждаю. Чтоб в последний раз — такие авантюры, — добавил он. — Мы прибыли сюда не на мотогонки.

Однако и наши марши с короткими боями очень напоминали именно мотогонки. Окруженная Кельце-Радомская группировка германских войск уничтожалась соединениями фронта. А танковые бригады дезорганизовывали действия противника западнее. Свердловская была ежесуточно в движении, отсыпались на ходу: в экипаже на время сменяли механика-водителя, за рычаги садились командиры танков и научившиеся водить машину; "стрижи" дремали на теплом жалюзи позади башни, попеременке, не выпуская из рук автоматов.

...Налет на Радошице — и круговая оборона: опередили какую-то часть противника, направившегося туда. Марш на Коньске, где был разгромлен штаб 4-й танковой армии гитлеровцев, а они, не зная положения дел, продолжали двигать туда свои колонны, прибывающие из резервов и с Западного фронта. Затем приказ — махнуть и ворваться в Петроков (60 км северо-западнее), где пришлось "поработать" только автоматчикам десанта — вылавливали не успевших убежать солдат и офицеров вермахта.

Местное население, высыпавшее на улицы, помогало "стрижам". Толпы восторженных людей обступали наши машины, несли угощение, восхищались, обнимали ребят, звали к себе:

— Мы ждали вас! Но не думали, что вы придете так быстро и такими сильными. Пойдемте ужинать...

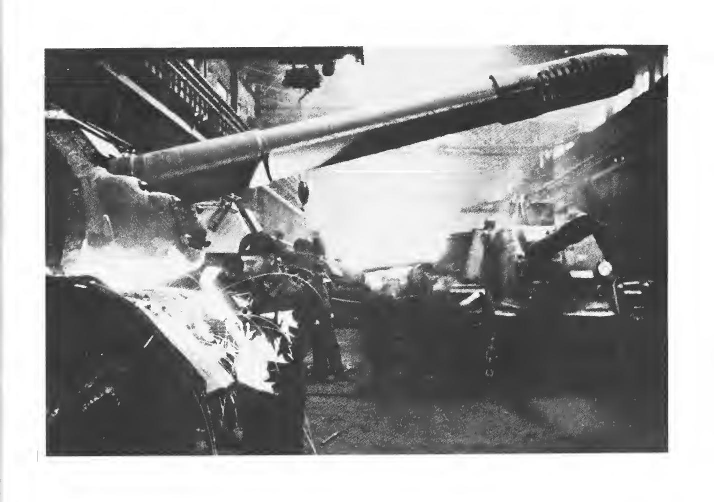
И мы с удовольствием рассказывали, что наши соседи справа — войска 1-го Белорусского фронта и Армия Войска Польского — освободили накануне Варшаву, поздравляли.

















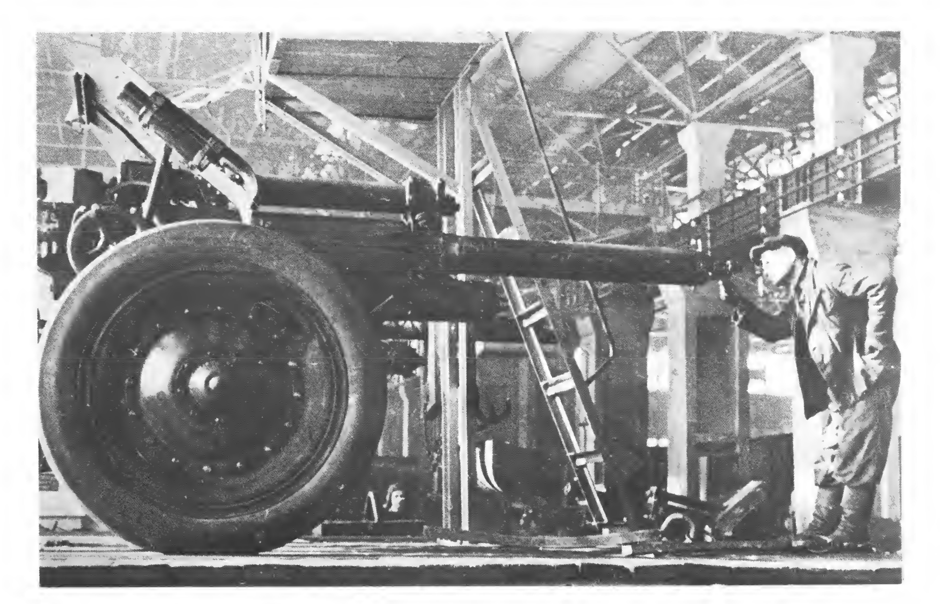


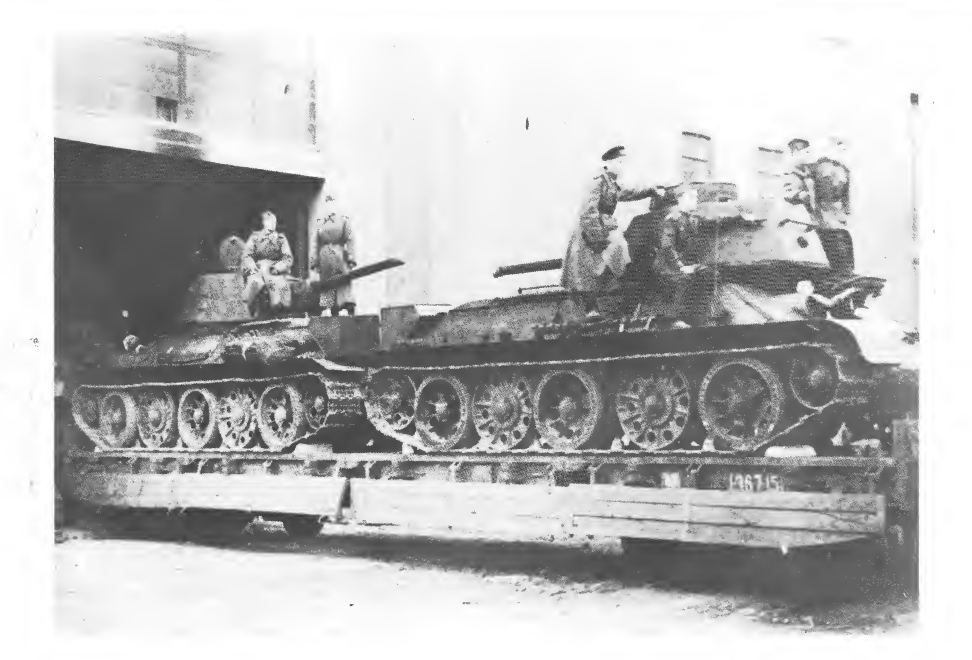



нашей славной
нашего великого
Красная Армия весь наш
победоносную
за за


6









Удивительно, как наши автоматчики быстро овладели польским языком. Потом так же было и с немецким, и с чешским. Говорят, у уральцев природные способности — прирожденные полиглоты. Возможно, потому, что наш край от века многонациональный? В Свердловской танковой бригаде служили ребята 20—30 национальностей, точно не знаю: тогда на это не обращал внимания.

Помню, заполняли наградной лист на Реваза Магомедова, спросили, какой он национальности, Магомедов, не задумываясь, ответил:

— Уралец, конечно.

В те дни, когда мы пробивались от Вислы к Одеру, Геббельс объявил на всю Германию, что изобретено новое сверхсекретное оружие, которое остановит лавины русских танков и совершит какой-то решающий поворот в войне.

— Тут что-то не так,— усомнился наш Батя. — О настоящем секрете по радио не рассказывают. Или дела у них совсем плохи, выдумкой себя успокаивают? В общем, ищите, ребята, будьте бдительнее...

И на самом деле что-то появилось. Среди танкистов пошли разговоры о неких "фаустниках". Несколько машин было выведено из строя неожиданно, невесть откуда прилетающими снарядами, проламывающими броню. Автоматчикам Пете Чащину и Саше Печенкину удалось захватить "фаустника". Фаустпатрон, коим гитлеровцы начали вооружать самых отчаянных, действительно теоретически мог остановить любой танк. Это легкая труба с мощной кумулятивной гранатой (то есть ее разрывной заряд действует направленно). Она с хвостом и стабилизатором — выталкивается из трубы сильным запалом, летит довольно точно в цель и взрывается, едва прикоснется к какой-нибудь поверхности.

Поначалу в нашем корпусе попробовали приваривать на кронштейнах по бокам танков фальшборты из тонких железных листов или металлических сеток. В правильном расчете, что фаустграната, коснувшись преграды, взорвется и самого танка не повредит. Получилось вроде бы эффективно. Но как действовать автоматчикам на броне, когда появились этакие загородки? Ребята приуныли.

Собрали комсомольский актив батальона:

— Этот геббельсовский фаустпатрон — соломинка тонущего. Изобретение шаблонное, оно дало бы результат против самих фашистских танков — они всю войну нарывались на засады, вот и придумали. Против тех, кто видит плохо. А на наших тридцатьчетверках на самой броне три-четыре пары глаз дополнительно. Верно? Или автоматчики десанта забыли, что их главная обязанность — охранять машины в бою?..

"Овладеть новейшим секретным оружием противника",— постановило комсомольское бюро.

И танкисты от своих фальшбортов очень скоро отказались.

— Стыдоба была какая-то!— вспоминая, посмеивается один из лучших механиков-водителей нашей бригады, мастер вождения танка Николай Яненков.

— Давали и эсэсовцам копоти на высшем уровне, принеслись Европу от фашизма освобождать, а машины с этими антифаустными экранами — ни тебе фигуры у тридцатьчетверки, ни красоты. Едет железный сарай какой-то...

19 Зак. 474

Отказались и потому, что в стремительном наступлении пронырливые, вездесущие и всюду успевающие "стрижи"-автоматчики не только понадоставали множество фаустпатронов, которые гитлеровцы не успевали применять, но и инструкции к ним на папиросной бумаге ("фаустники" съедали ее, чтоб не попала противнику). И изучили. И начали стрелять сами. И в считанные дни почти все овладели этим новым сверхсекретным оружием.

Оказалось, по старой поговорке: не так страшен черт, как его малюют. Во-первых, выстреливающий фаустгранатой непременно обнаруживал себя: он должен был, водрузив трубу на плечо, встать так, чтобы позади не оказалось стены или преграды, иначе спину и ниже ему обожжет вырывающееся пламя. Значит, если зорко глядеть, "фаустника" можно вовремя уничтожить, пока он приноравливается, прицеливается, подпуская танк, чтоб был не далее 150 метров. Во-вторых, гранату в полете видно, а значит, ее можно расстрелять и в воздухе хорошей автоматной очередью, и десантники наловчились делать это, словно на охоте за утками.

Передо мной — старый фронтовой снимок, сделанный погибшим впоследствии фотографом политотдела Алешей Кошковским. На нем в облачке дыма — Слава Якубович. "Производит выстрел из секретнейшего фашистского оружия — фаустпатрона", — как написано на обороте. И вспоминается случай перед самым Одером.

Несколько танков с автоматчиками должны были взять деревушку где-то на фланге. Едем, осталось с километр, ее уже видно. И возвращавшийся из разведки наш корпусной маленький самолет сбросил вымпел с запиской: "Осторожнее. Полно фаустников. Приехали на бронетранспортерах".

Танкисты развернули машины по фронту, чтобы, приблизившись, сбить обороняющихся — снарядами, огнем пулеметов. Вот уже видна на окраине сплошная шеренга "фаустников", выставивших свои трубы с грушами-дулями, гранатами, на концах. Приготовились встретить, будто заранее ждали нас.

Осталось четыреста метров, триста, двести пятьдесят... И танки остановились.

Пауза длилась секунду-две. Десантники спрыгнули с брони (клянусь, никакой команды никто не подавал) привычно, легко и ловко. Все водрузили на каждое плечо по трофейному "фаусту", развернулись в цепь и пошагали по полю к деревне, в полный рост, автоматы на груди...

"Мальчишки, мальчишки..." — поется в песне. Это все еще "стрижи", озорные и азартные, лихие, бесшабашные. Но это были уже уральцы-гвардейцы, уверенные в своем умении бить врага и правоте своего дела. А главное, с отличным знанием своего противника, с тонким психологическим, даже, сказал бы, — политическим расчетом своих дружных действий.

Они дали из "фаустов" залп, следом — другой. С криками: "Фауст!..Фауст!.." — гитлеровцы побежали.

— Урр-а-а!..

Наши танки двинулись в деревню, деморализованные "фаустники" повскакивали в свои бронетранспортеры и дали полный газ. Кто не сумел, разбегались в "пе-

шем порядке", падая под огнем автоматчиков. Отстреливался, пока не был уничтожен, лишь один пожилой офицер, высокий, в очках, со множеством наград на груди. И ему удалось смертельно ранить Костю Верховых — того самого Костю, на которого в первые дни службы напала собака.

"С 21 января войска 1-го Украинского фронта начали выходить на Одер... Раньше других к Одеру прорвались войска 4-й танковой армии..." — так написано в "Истории Великой Отечественной...". Среди танковых войск 1-го Украинского шел наш Уральский добровольческий, шла наша Свердловская бригада. В ней — наш батальон. В нем — наши родные "стрижи".

Они дошли до Берлина, затем освободили Прагу... И наша бригада стала к концу войны называться так: 61-я гвардейская Свердловско-Львовская ордена Ленина Краснознаменная орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого танковая бригада. Горжусь, что служил в ней.



Павел Макшанихин



Павел Васильевич МАКШАНИХИН (1908—1969) в годы Великой Отечественной войны был минометчиком на Волховском фронте. Был серьезно ранен. Над романом "Родимая сторонка" начал работать еще во время войны на госпитальной койке, а завершил его в 1963 году. В 1950 году, вернувшись в Свердловск, плодотворно работал на радио и в редакции журнала "Урал", заведуя отделом прозы. В 1954 году вышел его сборник рассказов и повесть "На большом тракте", в 1960 -м сборник рассказов "Серебристые тополя".

Награжден медалями "За оборону Москвы", "За победу над Германией", "За доблестный труд".



ХОЗЯЕВА

1

— Сержант Орешин, к лейтенанту Суркову! — крикнул с улицы часовой.

Согнувшись, Федор Орешин вылез из землянки и рысью побежал снежной тропкой к лесной сторожке, где жили офицеры. Чудом уцелевший от обстрелов и бомбежек маленький домик с крутой нерусской крышей и двумя высокими узкими окнами выглядел среди наспех построенных землянок настоящим дворцом.

Командир взвода лейтенант Сурков сидел за столиком и, держа в руке коптилку, читал книгу. На полу, укрывшись шинелями, спали два офицера, налево от дверей дремал в углу около телефона связист.

Орешин свободно, во весь рост, вытянулся и лихо козырнул:

— По вашему приказанию сержант Орешин явился.

Лейтенант захлопнул книгу, чуть не потушив коптилку, и поднял на сержанта усталые, с красными веками глаза. Он как-то особенно внимательно, с головы до ног, оглядел плечистую высокую фигуру сержанта.

— Землянку строить закончили?

— Закончили, товарищ лейтенант.

— Люди ужинали?

— Ужинали, товарищ лейтенант.

— Чем заняты сейчас?

— Отдыхают, товарищ лейтенант.

— Хорошо, пусть отдыхают.

Отставив коптилку в сторону, он взглянул сержанту в глаза.

— Что произошло у вас в отделении с Кузовлевым?

— Не слышал и не знаю, товарищ лейтенант.

— Почему же вы не знаете? Мне вот рассказывали, что сегодня днем Кузовлев один сидел в лесу, за расположением, и плакал. Может быть, его кто-нибудь обижает?

Сержант спокойно выдержал испытующий и требовательный взгляд командира.

— Не должно этого быть, товарищ лейтенант.

— Или, может, у него случилось несчастье?

— Не знаю, товарищ лейтенант, ко мне Кузовлев не обращался и ни на что не жаловался.

— Плохо, сержант, когда солдат не видит в своем командире товарища и не хочет с ним делиться ни горем, ни радостью. Вы сами-то по крайней мере могли спросить у Кузовлева?

Обветренное темное лицо Орешина потемнело еще больше, в серых навыкате глазах его застыла виноватая растерянность.

— Мы находимся на чужой земле, не сегодня-завтра пойдем в бой, а вы не знаете морального состояния своих бойцов и не интересуетесь этим. Как же вы будете воевать? — строго допрашивал командир.

Он опустил голову и невыносимо долго молчал. Орешин стоял, не шевелясь, не переводя дыхания. Лейтенант поднял наконец глаза и уже не приказал, а мягко попросил:

— Сегодня же выясните, что случилось с Кузовлевым, и завтра доложите мне.

— Есть, товарищ лейтенант, выяснить и доложить, — облегченно выдохнул Орешин. — Разрешите идти?

— Идите.

На улице уже совсем стемнело. Тропку занесло снегом, и сержант шел к себе, не разбирая дороги. Щеки его так горели, что даже ветер, морозный и пронзительный, не остужал их. Именно сейчас ему припомнилось, как в прошлом году лейтенант Сурков точно в такой же вьюжный вечер вызвал его к себе в землянку. Это было под Любанью, незадолго до наступления. Тяжелая тоска сжимала тогда Орешину сердце: родной город захватили оккупанты, и связь с семьей оборвалась. "Успел ли эвакуироваться завод, где работала жена? Уехала ли семья и куда? А если осталась в городе, то живы ли все они — жена с дочуркой, старая больная мать?" Мысли эти неотступно жгли его днем и ночью. Попав из госпиталя в этот полк, Орешин не успел еще сообщить жене нового адреса. Может быть, она по старому адресу и писала ему, но письма до Орешина не доходили.

Помнится, когда он вошел в землянку, лейтенант сидел на корточках около печки и искал что-то в планшетке, перебирая бумаги.

— Сержант Орешин, — волнуясь, объявил он. — Вам письма от жены, целых пять...

Орешин, забыв обо всем, почти выхватил у него из рук треугольные конверты и долго не мог вымолвить ни слова, пряча их за пазуху. Не своим, охрипшим сразу голосом сказал тихо:

— Большое спасибо вам, товарищ лейтенант...

— За что же мне-то? Почту благодарите.

Но Орешин в ту минуту уже не только догадывался, но и убежден был твердо, что лейтенант не зря выспрашивал у него задолго перед этим адрес прежней его части и фамилию командира. Очевидно, он не раз писал туда, пока там разыскали и выслали письма на имя Орешина.

— Почему же вы не идете читать их? — закричал вдруг лейтенант на Орешина, чтобы скрыть свою радость за чужое счастье.

И сердито скомандовал:

— Кру-у-у-гом! В землянку шагом марш!

Тяжелый стыд ударил сейчас сержанта в сердце при этом воспоминании. "Почему же я-то проглядел, что произошло с Кузовлевым? — горько укорил он себя. — Неужели и в самом деле Кузовлев не захотел со мной поделиться, не видя во мне товарища?"

Про Кузовлева Орешин знал только, что он колхозник и с первых дней войны ушел на фронт, а сюда, в роту, явился месяца четыре назад из госпиталя.

Небольшого роста, широкий в плечах, с глубоко сидящими под крутым лбом умными зеленоватыми глазами, он был несловоохотлив, даже замкнут. Делал все с внушительной важностью и, казалось, не спеша, а получалось у него и скорее и лучше, чем у других. В трудных случаях сержант безотчетно искал его глазами: один вид бывалого солдата, подтянутого и невозмутимо спокойного, прибавлял молодому командиру уверенности.

"Удастся ли мне сегодня поговорить с ним? — озабоченно думал Орешин. — Все устали и, наверное, спят".

В землянке было тепло, дымно и темно. Крохотный огонек самодельной коптилки освещал только солдатские котелки, стоящие рядком у стены, да ноги лежащих на земле людей. Сняв шинель, сержант молча лег на свое место около выхода.

Солдаты еще не спали.

В углах землянки вспыхивали огоньки цигарок, выхватывая из темноты то стриженые усы, то розовый нос и пухлые губы, то задумчивые широко открытые глаза.

Сырые дрова в железной печурке гулко стреляли и шипели; в трубе, сделанной из пустых консервных банок, отчаянно голосил, переходя в яростный визг, ветер. Голоса солдат звучали в землянке глухо и устало. Только ефрейтор Осьминкин неутомимо продолжал рассказывать начатую еще до ухода сержанта нескончаемую житейскую повесть, пока слушатели не оборвали ее дружным храпом.

Нимало не смутясь этим, Осьминкин пообещал, зевая:

— Дальше, братцы, пойдет еще интереснее. Завтра ужо доскажу...

И тут же сам засвистел носом.

2

— Не спите, товарищ сержант?

— Нет, не сплю, Кузовлев, — обрадованно отозвался Орешин.

Невидимый в темноте солдат откашлялся, собираясь, видно, что-то сказать, но чиркнул спичкой и стал прикуривать. Орешин увидел, что он сидит, опустив голову и опершись локтями на согнутые колени.

Сержант, не вытерпев, спросил:

— Дома, что ли, неладно? Замечаю, тоскуете который день.

Кузовлев взворохнулся на месте, и Орешину почудилось, что он горько усмехнулся, говоря:

— Сейчас, товарищ сержант, у всех дома неладно...

И лег на спину, тяжело вздохнув. Наступила долгая пауза.

Орешин растерянно молчал, досадуя на себя. Не умел он беседовать с людьми так просто и душевно, как лейтенант Сурков. Тому солдаты с первых слов открывали душу. А тут вот и хочешь помочь человеку, а не знаешь как.

— Елизар Никитич! — шепотом окликнул он Кузовлева, приподнимаясь на локте и вглядываясь в темноту. — Ты спишь?

— Нет, товарищ сержант, — шевельнулся в углу Кузовлев.

— Давай, брат, поговорим о чем-нибудь. Тоскливо что-то.

— И меня, Федор Александрович, думы одолели, — неожиданно и доверчиво признался Кузовлев. — Погоди, я сейчас поближе к тебе переберусь...

Он осторожно пролез между спящими к печке, подложил в нее дров и улегся рядом с сержантом.

— Я все думаю, Елизар Никитич, как до войны жил, — мечтательно улыбаясь, заговорил Орешин. — У нас город красивый, весь в садах. На реке стоит. Парк большой на берегу, в парке клуб, кино, театр летний, спортивные площадки разные. А с берега широкие луга видны, деревушки, рощи. Бывало, сядем в лодки да на ту сторону, в луга. На массовку. Народу много, и кто во что горазд. Старики те больше около пивной бочки толкутся, а мы танцуем, поем, игры да состязания разные устраиваем. Любил я одеться красиво, чтобы в настоящем виде на люди выйти — в театр, скажем, на вечеринку или там на гулянье. Да и возможность была: зарабатывал хорошо. Завод у нас был большой, машины разные для сельского хозяйства выпускал. Я на сборке там работал. Горячее было время: то машину новую осваиваем, то с планом нас торопят—побольше машин колхозам дать к севу или к уборочной. Да мы и сами понимали — нужно! Иной раз по суткам из цеха не вылезаешь, лишь бы до срока все сделать. И устали не знал. Ну, и почет, конечно, за свой труд имел. И на собраниях о тебе говорят, и в газетах пишут, и премии дают. Очень это подымает душу. Чувствуешь себя первым на своей земле человеком, хозяином: все твое, и за все ты отвечаешь. На работу, бывало, идешь, как на праздник. А сейчас, как вспомню, что фашисты город наш и завод разбили, сердце кровью обливается.

— Хорошо жили, что и говорить!— согласился Кузовлев.—Конечно, в колхозе у нас не было еще того, что в городе: театров или клубов, скажем. Но тоже дело к тому шло, потому что у людей достаток появился. Веришь али нет, Федор Александрович, ни воров, ни нищих в деревне нашей не стало. Люди даже двери перестали запирать. Зайдешь в хату к кому-нибудь — все открыто, а хозяев нет. В праздники, бывало, нищих сколько по домам ходит! А тут — ни одного. Всем нашлись в колхозе и работа и угол.

Кузовлев качнул задумчиво головой.

— Не доведется, видно, Федор Александрович, поглядеть нам с тобой, как люди после войны жить будут. А хотелось бы!

— Жить как будут? Опять города, села, заводы, фабрики начнут строить, коммунизм, одним словом...

— Конечно. Не мы, так дети будут строить. У тебя, Федор Александрович, дети-то есть?

— Дочушка одна. Четвертый год. Я ее и в глаза не видел. Без меня родилась.

Кузовлев тяжело вздохнул.

— У меня двое сыновей было, да убили старшего недавно, — просто и спокойно сказал он, и Орешин понял, что солдат уже пережил и перестрадал свое горе.

Ветром отбросило палатку, закрывавшую вход в землянку. С передовой донесло яростный треск пулеметов.

— Нервничают сегодня фашисты, — озабоченно прислушиваясь, сказал Орешин. — Что-то затевают, видно... Чуешь?

Кузовлев не ответил. Суровая печаль застыла у него на осунувшемся лице и в неподвижно устремленных на огонь глазах.

— Зачем же, Елизар Никитич, горе от людей таил?—участливо спросил Орешин. — Одному-то тяжело его носить.

— Моему горю никто не пособит. Хоть криком кричи.

Огонь в печке потух. Кузовлев подул на угли, и дрова занялись вдруг ярким пламенем, освещая его большелобую голову.

— У меня, товарищ сержант, сердце сейчас окаменело, мне теперь ничего не жалко — ни семьи, ни себя.

Передохнув, он со злобной решительностью добавил:

— Я Гитлера не трогал и к нему не лез. А если он захотел наш порядок, нашу власть свернуть да на шею мне сесть, тут уж держись. Раз он меня потревожил, я большой беды наделаю.

Кузовлев умолк и лег, тяжело дыша. И такая грозная тишина наступила в землянке после его слов, что Орешин не решился ни отвечать ему, ни спрашивать его больше.

3

Сержант был уверен, что успел только задремать, когда отчетливо услышал вдруг мерный мягкий стук, а затем тяжелые удары...

Постоянное ощущение опасности и ответственности приучило сержанта даже во сне чутко прислушиваться. Он понял: по мерзлой земле бежал к землянке часовой. Когда топот его разом смолк, а в землянку дунуло холодом, сержант уже вскочил на ноги.

— В ружье-е!

И первым выскочил на улицу. Гремя в темноте автоматами и касками, солдаты один за другим выбегали из землянок. Рота уже строилась на узкой просеке в две шеренги.

— Второй взвод, ко мне! — услышал Орешин тонкий голос лейтенанта Суркова и кинулся туда вместе с солдатами.

Рота немо застыла плотной серой стеной. Чуть повернув голову вправо, Орешин оглядел свое отделение. Лица солдат словно таяли, расплываясь в темноте. Сержанту хорошо видно было только лицо стоящего рядом Кузовлева, деловитое и спокойное, как будто он собрался на работу — копать землянку или рубить дрова.

Очевидно, начиналось уже утро, потому что в одном месте небо чуть- чуть поседело. Сверху не переставая сеялась снежная пыль, она залепляла глаза, набивалась за ворот и в карманы, оседала белыми околышами на шапки.

— Смирно! — раздалась отрывистая негромкая команда.

В желтом полушубке и серой шапке командир роты неторопливо прошел перед строем, оглядывая солдат.

— Сейчас мы пойдем в бой, — просто и спокойно сказал он, останавливаясь. Сержанту видны были только черные усы на его лице да белый воротник полушубка. Как всегда, перед боем Орешин почувствовал на какое-то мгновение щемящую тоску в сердце и холодок на спине. Но это ощущение тут же прошло, и он уже думал теперь только о том, чтобы не пропустить ни одного слова приказа.

— ...по данным разведки, у противника будет происходить на передовой смена батальона. Нам приказано воспользоваться этим и занять первую траншею. Требую во имя Родины от каждого из вас смелости и самоотверженности.

В настороженной тишине особенно четко и громко прозвучала команда:

— Нале-е-во! Шагом арш!

А через час рота, миновав сторожевое охранение, рассыпалась цепью и в белых маскировочных халатах пошла без шума вперед.

Очевидно, гитлеровцы заметили какое-то движение в мелком кустарнике перед траншеями. Большая красная ракета взвилась вдруг под облака и, вспыхнув там, начала медленно-медленно оседать кроваво-красным абажуром в зыбкую и розовую, как клюквенный кисель, снежную муть.

Солдаты припали к земле.

— Вперед! — тихонько скомандовал кто-то.

Когда до траншеи оставалось не больше семидесяти метров, противник открыл пулеметный огонь.

Низко пригибаясь, падая, отползая в сторону и снова отрываясь от спасительной земли, Орешин первым добежал до траншеи и мешком свалился туда. Следом за ним сверху упали еще двое. В утренних сумерках Орешин едва узнал своего командира взвода лейтенанта Суркова и Кузовлева.

Траншея была пуста: видимо, сменяющий батальон замешкался. Над головой беспрерывно повизгивали пули, иногда они попадали в бруствер, поднимая желтые облачка пыли. Слышно было, как с шорохом скатываются на дно траншеи комки мерзлой земли.

Лейтенант молча потирал ушибленную при падении ногу.

— Товарищ лейтенант! — тихо окликнул его Орешин. — Наши, видать, залегли. Он им подняться не дает. Что будем делать?

Все еще потирая ногу и морщась, лейтенант приказал:

— Посмотрите, что там за ящики?! — и неторопливо стал проверять пистолет.

Кузовлев открыл крышку одного из ящиков.

— Гранаты! — радостным шепотом сообщил он.

Сунув пистолет в кобуру, лейтенант подошел к нему.

— Ваш сектор обороны, Кузовлев,—левая сторона траншеи, мой — центр, а ваш, товарищ сержант, — правая сторона. С этой гранатой умеете обращаться?

— Умею.

Стрельба то утихала, то продолжалась с новой яростью. Где-то впереди, совсем близко, начали рваться снаряды: наши били по ходам сообщения между траншеями.

Все трое с трудом подтащили ящики с гранатами, каждый на свою огневую позицию и, осторожно высунувшись из траншеи, молча и напряженно стали вглядываться в серые утренние сумерки.

И вдруг в промежутке между разрывами снарядов явственно донеслась до них чужая речь. Впереди показались зеленовато-серые фигуры, перебегающие от куста к кусту.

Глянув на Орешина остро блеснувшими глазами, лейтенант глухо сказал:

— Идут.

Кузовлев все еще хозяйственно осваивал свою огневую позицию, утаптывал вокруг себя землю, расставляя гранаты вдоль задней стенки траншеи, сделал наверху приступочек для автомата. Так же неторопливо он положил автомат на приступочек и дал первую короткую очередь; слышно было, как после этого совсем близко закричал кто-то животным, отчаянным криком.

Орешин, заметив напротив себя прячущиеся за кустами зеленые фигуры, тоже дал очередь.

— Стрелять одиночными! — сердито остановил его лейтенант.

Сколько это продолжалось? Может быть, час, может быть, два... Но автомат дал вдруг осечку. Орешин бросил его, не поняв сразу, что патроны кончились.

— Гранаты к бою! — скомандовал лейтенант.

Пока гитлеровцы подходили на дистанцию броска гранаты, прошло минут пять. В эти-то пять страшных минут и поседели, наверно, у Орешина виски, потому что потом уже его охватило ледяное спокойствие, какое бывает только в виду неотвратимой, смертельной опасности.

Тонко и протяжно лейтенант закричал, как показалось Орешину, где-то очень далеко:

— Ого-о-нь!

Деловито и быстро Орешин хватал гранаты одну за другой и бросал их вперед. Но стоило только умолкнуть разрывам, как вражеские солдаты снова поднимались и бежали к траншее.

И снова Орешин быстро и спокойно, как на ученье, бросал гранаты. Он даже заметил, что первая граната не успевала упасть на землю, как он бросал уже другую, и слышал разрыв первой, когда наклонялся за третьей. Попадал ли в цель, не было времени смотреть, но вой и стоны после разрывов слышал.

Не видел он и лейтенанта с Кузовлевым и только по грохоту справа и слева заключал, что те живы.

Отчаявшись, очевидно, взять траншею в лоб, фашисты решили действовать минометами: слева впереди послышался звон устанавливаемой минометной плиты...

Орешин протянул, не глядя, руку к ящику и нащупал его дно. Взглянул и обмер: оставалось всего три гранаты. Это было так неожиданно, что он даже оглянулся кругом, думая, не взял ли их Кузовлев. Но тот спокойно стоял на своем месте. Гранаты у него тоже кончались. Пять штук их стояли у стенки траншеи. Перевернутый кверху дном, валялся рядом пустой ящик.

Отставляя в сторону одну гранату, Орешин подумал: "Эту для себя. Живым не дамся!.."

Лейтенант повернул к нему серое от пыли лицо. Светлая улыбка с трудом раздвинула его губы.

— Славно, сержант, повоевали!

То были его последние слова. Над головой зашуршала вдруг мина. Оба присели. Ахнул взрыв, и с жутким свистом во все стороны полетели осколки. Когда Орешин поднял голову и взглянул на лейтенанта, тот лежал на дне траншеи, и под ним расплывалось на буром песке большое вишневое пятно.

— Товарищ лейтенант! — кинулся к нему Орешин и, схватив под мышки, посадил спиной к стенке траншеи, потом поправил ему для чего-то шапку.

Лейтенант смотрел перед собой угасающими глазами, губы его шевелились, скрюченные пальцы скребли песок. Он маялся в смертной тоске. Подбежал с пакетом Кузовлев и молча стал снимать с лейтенанта мокрую от крови шинель. Но тот вдруг повалился на бок и, вытянувшись, замер. С лица его исчезло выражение тоски и боли, рот остался полуоткрытым, как у очень усталого и крепко заснувшего вдруг человека.

С минуту они растерянно сидели около командира на корточках, глядя в его побелевшее и сразу заострившееся лицо. Кузовлев снял шапку и вытер ею глаза.

Справа снова зашуршала мина и разорвалась где-то совсем близко. Комок сырой земли тяжело скатился сверху прямо на плечо мертвого лейтенанта. Орешин стряхнул приставшую к погону землю, пожал вялую руку лейтенанта и быстро поднялся.

Тут же он увидел, что Кузовлев, держась руками за стенку траншеи, медленно оседает вниз, ловя открытым ртом воздух и глядя вверх широко раскрытыми глазами.

Орешин охнул от страха и острой жалости, полоснувшей сердце. Дальше он уже смутно помнил, как собирал гранаты, как выскочил из траншеи и, страшно ругаясь, начал швырять их в каждый кустик.

— Сволочь фашистская! — кричал он, со злобной радостью глядя, как летят от взрывов кверху вместе с черными кочками и прутьями зеленые шинельные клочья...

Бросив последнюю гранату, Орешин хотел прыгнуть в траншею, но его ударило вдруг по ноге, словно поленом. Он упал на бок и скатился на дно. Лежа лицом вниз, услышал вдруг откуда-то сверху удивленно радостный крик:

— Товарищи, вы тута? Живы, стало быть?

Подняв голову, Орешин увидел над бруствером серую шапку и черные усы. В траншею съехал на спине маленький остролицый солдатик в новых желтых ботинках и с автоматом.

Не помня себя от радости, Орешин закричал что-то, порываясь подняться. А сверху уже прыгали вниз бойцы и разбегались вправо и влево, волоча за собой пулеметы.

— Товарищи, дорогие! — всхлипывая, приговаривал Орешин.

Кто-то закричал:

— Санитары, сюда! Раненые тут.

Два санитара с носилками остановились около Орешина.

— Посмотрите сначала вон того солдата, — указал он им на Кузовлева, неподвижно лежащего на земле.

Когда Кузовлева уложили в носилки и подняли, чтобы нести, он с трудом повернул посеревшее лицо к сержанту. Губы его пошевелились, но сказать он ничего не мог и закрыл глаза.

4

С полгода пролежал солдат Кузовлев в госпитале, думал, умрет. Но доктора сделали ему три операции и выходили его. К весне Кузовлев почувствовал себя совсем хорошо, а когда доктора сказали, что служить ему в армии больше не придется, затосковал вдруг и стал проситься домой. Его комиссовали раньше срока и отпустили по чистой.

Командира своего Федора Орешина Кузовлев после боя и ранения так и не встречал ни разу и ничего не слыхал о нем: увезли, видно, Орешина в другой госпиталь, а может быть, помер в дороге. Вспоминал его Кузовлев частенько, а как засобирался домой, не только про Орешина, а про всех на время забыл.

Двое суток ехал он в санитарном поезде, а на третьи сутки рано утром вышел из вагона на своей станции и тихонько побрел домой, благо до деревни было не больше четырех километров, да и имущество солдатское плеч не оттягивало: постукивали в мешке котелок с ложкой да лежала пара белья.

Над полями поднималось солнце, разгоняя туман. Небо было белое и теплое, как парное молоко.

Четыре года не видел Кузовлев такого мирного неба и не слушал такой ласковой тишины! Четыре года засыпал и пробуждался он под треск и грохот стрельбы да под гуденье самолетов; четыре года глаза его видели только обгорелые, развороченные дома, да черные скелеты садов, да обезображенную траншеями и снарядными воронками землю!

И теперь шел он, восторженно всему удивляясь: не пули цвинькают вверху, а с ликующей песней взлетают над полем жаворонки; не снарядами взрыта, а вспаханная плугом лежит на десятки километров теплая черная земля в немом ожидании плодоносного зерна; не танк, а трактор спускается навстречу с холма, и не вражеская пехота идет за ним редкой цепью, а это шагают по большаку телеграфные и телефонные столбы, разлиновывая небо тонкими проводами.

Вправо уже зачернел знакомый ельник, а слева затолпились на лугу зеленокосые, белоногие березки, из-за которых проглянули вдруг сизые крыши колхозных домов.

Все, все до боли памятно, дорого, мило! Сколько раз долгими ночами снилась ты, родимая сторонка! Увезут хоть за пять морей, хоть на край земли, а и туда унесешь ее в сердце своем. За тысячи верст видишь твои горбатые поля, каждый твой домик, каждую скворешню.

Открыл солдат Кузовлев скрипучие ворота околицы и остановился. И сюда, видать, дошла война: палисадники около домов покосились или упали, крыши ощерились старой дранкой, на мосту обвалились перила, вон у ближнего крылечка вылетела ступенька да так и валяется в канаве.

Мужчин нет, починить некому, а у баб руки не те, да и некогда заниматься этим. Вон и на улице только одни ребятишки да курицы. Нет, постой, кто-то у Зориных тюкает топором около дома! Не старик ли? Он и есть.

Не мог пройти Кузовлев мимо, хоть ноги так и несли его домой.

— Здорово, Тимофей Ильич!

Старик поднял голову, долго стоял, не говоря ни слова, потом бросил топор и пошел навстречу.

— Ты ли, Елизар?

— Я, дедко.

Ткнулся Тимофей сивой бородой Кузовлеву в щеку, прослезился.

— Руки-то нету, что ли?

— Есть, да перебита. В лангете, вишь, лежит.

— Хорошо, хоть сам-то живой остался.

Отвернулся в сторону и головой поник.

— Олешка вот у меня не вернется уж!

— Писали мне, дедко. Шибко я жалел его.

— И от Мишки письма давно нет.— Тимофей вытер глаза рукавом.— Поди, не жив тоже.

Вздохнули и замолчали оба.

— Мои-то как тут живут? — уважая чужое горе, спросил Кузовлев, погодя.

Тимофей почесал грудь, не сразу ответил:

— Старики, хоть и плохи шибко, да живы пока. Палашка твоя на скотном работает дояркой, а сын — в бригаде у Савела Боева.

— Дома сейчас Палашка-то?

— Нету, должно, на ферме.

Вот и отчий дом. Еще больше почернел и покосился он за эти годы. До самой крыши вытянулись молодые тополя, посаженные перед войной. Зашлось у солдата сердце, когда ступил он на родной порог.

Никто не ждал его дома. Высокий старик с лысой трясущейся головой встретил сына чужими глазами. Вытирая руки о фартук, вышла с кухни посмотреть на незнакомого человека мать, седая и полусогнутая. Кузовлев молча смотрел на ее жилистую шею и словно измятое глубокими морщинами лицо.

Нет, ошибся солдат Кузовлев, думая, что окаменело в нем за эти годы сердце: все поплыло у него вдруг перед глазами и мешок выпал из рук.

— Здравствуй... мама!

Простучали на крыльце ступеньки, взвизгнула сзади дверь. Не успел и оглянуться Кузовлев, как повис кто-то на нем с плачем, уткнувшись лицом в шинель. Только по крутым круглым плечам да по дорогой родинке на шее и узнал жену: когда-то досиня черные волосы ее стали чужими, серыми от седины...

5

Рана у Федора Орешина оказалась легкой. Недели через три он явился из медсанбата снова в свою часть, прошел с ней до Кенигсберга и опять был ранен, на этот раз тяжело. С загипсованной ногой его увезли лечиться в глубокий тыл. И случилось так, что попал он в госпиталь, расположенный около станции, до которой ехал домой Кузовлев.

Но Орешин не знал адреса Кузовлева, а помнил только область, откуда тот был родом. Поэтому ему и в голову не пришло разыскивать здесь своего боевого товарища.

Война огненным валом давно уже катилась по вражеской земле и, видать, заканчивалась. Но Федор Орешин все еще жил думами и чувствами фронта, пока не завернуло их в другую сторону одно небольшое событие.

В палату пришли раз в воскресенье шефы — две девушки из ближнего колхоза "Рассвет". Надев халаты, они несмело ходили от одной койки к другой, тихонько разговаривая с тяжелоранеными. Каждому из них девушки доставали из плетеной корзинки бумажные свертки со свежими продуктами, оставляя их на тумбочках. Среди раненых много было колхозников, и они жадно начали спрашивать девушек, как идет в колхозе сев, хороши ли нынче озимые, много ли вернулось с фронта людей...

Орешин внимательно прислушивался к разговору, хотя и мало понимал в колхозных делах. Его особенно поразило, что в колхозе сеют вручную. Оказывается, некому починить сеялки. В МТС не хватает тракторов, некоторые из них поломались, а запасных частей нет, и поэтому в колхозе пашут на лошадях.

— Кто же у вас пашет? — спросил Орешин у высокой девушки с карими глазами.

— Мы и пашем... — смущаясь и робея, сказала она.

— А сеет кто?

— Да опять же мы... — засмеялась девушка,— старикам одним не управиться, так мы у них выучились и сеем.

Она все запахивала большими обветренными руками халат, очевидно, стараясь скрыть под ним полинявшее, заношенное платье. Туфли у нее были старые, уже стоптанные, а чулки заштопаны и зашиты в нескольких местах.

Подумав, что девушка, собираясь сюда, надела, наверное, все лучшее, Орешин тяжело вздохнул и молча сел на койку. Что-то сдавило ему горло, мешая дышать.

А она стояла рядом и весело рассказывала, как училась пахать и сеять, потом с гордостью заявила, что их комсомольское звено получило самый высокий урожай по району.

— Как вас зовут? — спросил Орешин, невольно улыбнувшись.

— Марусей.

К ней подошла толстенькая кудрявая подружка, они попрощались вскоре со всеми и ушли.

В палате долго молчали, потом кто-то вздохнул восхищенно:

— Геройские девушки!

А худенький рябой солдат, перекатывая на подушке круглую бритую голову, чтобы видеть лица соседей, совестливо заговорил:

— Трудно им. Мы, мужики, лежим вот тут, нас кормят, одевают, ухаживают за нами, как за малыми ребятами, а они, девчата эти, да бабы одни почти в поле бьются.

Задумался, глядя в окно, и улыбнулся вдруг светло.

— Без Маруси мы, братцы, пропали бы! Она нам и оружие делает, и шинели шьет, и хлебом кормит... Меня, раненого, санитарка из боя вынесла. И всего-то ей лет двадцать, курносенькая такая, волосы, как лен. Спрашиваю: "Как тебя, милая, зовут, чтобы знать, кому жизнью обязан?" — "Марусей. А ты, говорит, молчи и лежи тут, а я за другим пойду". Ну, отвезли меня в медсанбат. Там попал я в руки хирургу. Лица не разглядел под маской, только вижу — женщина. Глаза большущие такие, строгие... Быстро она со мной управилась да так ловко, что я диву дался. А медсестра мне и говорит: "Нечему удивляться. Наша Мария Петровна, говорит, восемьсот операций уже сделала. Вот она у нас какая!" Ну, приехал я сюда, в госпиталь, и опять в Марусины руки попал. Няня Маруся вымыла меня, в кровать уложила. Другая Мария — Тихоновна — осколок мне из ноги достала...

— Нет, братцы, без Маруси мы — никуда! Ей бы, этой самой Марусе нашей, памятник поставить! Про нее бы песню сложить да спеть так, чтобы за сердце брала! Жалею горько, бесталанный я: не умею ни складывать песен, ни петь!..

Но песня про Марусю нашлась, хоть и не такая, о какой мечтал рябой солдатик, но душевная. Ее тихонько запели в углу двое пожилых солдат. В палате все призадумались, притуманились сразу, вспоминая кто жену, кто невесту. И вот уже вся палата запела, каждый встречал в песне свою любимую:

Здравствуй, милая Маруся,
Здравствуй, светик дорогой,
Мы приехали, Маруся,
С Красной Армии домой.
А ты думала, Маруся,
Что погиб я на войне,
Что зарыты мои кости
В чужедальней стороне...

Долго не спал Орешин в эту ночь. А утром пошел к начальнику отделения.

— Прошу, товарищ майор, в колхоз часика на три отпустить, тут — совсем рядом. По ремонту хочу помочь, слесарь я.

Майор, грузный старик с белой щетинистой бородой, суровый на словах, но добрейшей души, молча осмотрел у Орешина ногу:

— Хошь пляши, — бодро сказал Орешин, крутя ногой.

— Что мне только с вами делать? Одиннадцатого сегодня отпускаю: кого в колхоз, кого на завод, кому, видите ли, доклад в цехе нужно читать, кому ремонтом заниматься... Еле ходят, а туда же! Ох, подведете вы меня под трибунал!

И закричал сердито:

— Идите, да чтобы к ужину быть здесь!

Дорогу в колхоз указала Орешину женщина, ехавшая мимо госпиталя в телеге.

— Это в Курьевку, что ли? Прямо проселком так и ступайте, потом направо.

Орешин пошел проселком.

Пьяный от свежего воздуха и ослабевший от ходьбы, он добрался до колхоза часа через два. Отдохнув минут десять у околицы на траве, пошел переулком, при-

глядываясь, у кого бы спросить, как найти председателя. И вдруг остановился, словно его толкнули в грудь. На задворках, где чернели огороды, происходило что-то невероятное. Грузный черный старик в полосатой рубахе, босиком, тащил по земле за ручки плуг. Ему помогали две женщины, взявшись за постромки,— одна молодая, с высоко подоткнутым подолом, другая постарше, с темными руками и лицом, словно пропеченная на солнце.

Подняв плуг за ручки и воткнув его в землю, старик хрипло скомандовал:

— Ну, бабы, берись дружнее!

Женщины перекинули постромки через плечо и потянули за собой плуг, увязая в земле.

Когда Орешин подошел к изгороди, они тянули плуг уже обратно. Колесо плуга невыносимо взвизгивало и скрежетало, старик покрикивал на женщин, мелко семеня босыми ногами за плугом по рыхлой борозде...

— Провались оно пропадом!— злобно приговаривала пожилая женщина, напрягаясь так, что жилы на шее у нее вздулись и лицо побагровело.

— Стой!— неистово закричал Орешин.

Все трое остановились и с молчаливым удивлением, даже с испугом, уставились на него.

— Вы... что это делаете?

Старик опустил ручки плуга и неторопливо подошел к Орешину, приглядываясь к нему круглыми ястребиными глазами.

— Участочек свой подымаем, товарищ военный. Лопатой проковыряешься тут неделю... А время-то не ждет! Рассаду высаживать пора, да и картошки тоже хочется ткнуть маленько...

Бледнея от возмущения и внутренней боли, Орешин гневно спросил:

— Но почему же... на себе? Ведь это же, как бы сказать... позорный факт! Ведь люди же вы! Лошадей у вас в колхозе нет, что ли?

Губы его прыгали, руками он судорожно вцепился в верхнюю жердь изгороди.

Старик опасливо покосился было на Орешина, потом улыбнулся виновато, с жалостью глядя ему в лицо.

— Вы не принимайте близко к сердцу, товарищ военный. Все едино ведь, что лопатой, что плугом: и тут, и там храп гнешь. Стыдно, конечно, а что же сделать? Лошади-то все на севе заняты. Не дают их...

Орешин перебил его сердито:

— Где у вас председатель?

Повернувшись вправо, старик долго всматривался туда из-под руки.

— Должно, не он ли там, около кузницы...

— Не тот, что в военном?

— Он, он самый...

Подтянув ремень и одернув гимнастерку, Орешин сказал грозно:

— Сейчас мы с ним поговорим. По-своему. По-солдатски.

6

Плотный, широкоплечий солдат стоял спиной к Орешину около покосившегося навеса и, заложив руки за спину, глядел, как желтоволосый паренек запрягает лошадь в плуг.

— Пошевеливайся,— строго учил его солдат.— Не на гулянку едешь. Войлок-то под седелко подложил? А то холку лошади собьешь. Подпругу крепче подтяни.

Паренек молча и быстро исполнял, что ему говорил старший. Он уже хотел ехать, как солдат опять остановил его:

— Не так я тебя учил постромки завязывать. Завяжи как следует.

Помолчав, спросил:

— Куда пахать-то бригадир наряжал?

— За овражек,— сиплым голосом отвечал паренек.

— Поезжай. Я приду потом, посмотрю.

Заслышав сзади шаги Орешина, солдат оглянулся.

Как только глянул Орешин на широкое, крутолобое лицо с зеленоватыми глазами, так и остановился в удивлении.

— Кузовлев!

Солдат развел руки, радостно улыбаясь.

— Товарищ сержант! Федор Александрович! Жив?!

Они обнялись и расцеловались. Минут пять наперебой расспрашивали друг друга, не успевая отвечать.

Когда первый пыл встречи прошел, Орешин дернул Кузовлева за рукав.

— Садись. Не думал я, что при первой же встрече нам, Елизар Никитич, придется ссориться...

— А что?— встревожился тот, усаживаясь на бревно.

— Как ты мог допустить такой безобразный факт, чтобы колхозники свой огород на себе пахали? Как, спрашиваю?

— Где?— вскинулся Кузовлев.

Орешин молча махнул рукой в сторону задворок.

Обеспокоенно взглянув туда, Кузовлев нахмурился.

— Назар Гущин это. Экой мужик для себя жадный. Да кто его заставляет?!

Орешин насмешливо взглянул на Кузовлева.

— А ты ему лошадь дал, чтобы огород вспахать?

Еще больше нахмурившись, Кузовлев упрямо сказал:

— Лошадей никому не дам, пока колхозную землю не запашем. А Назар Гущин этот не в колхозе дохода ищет, а на приусадебном участке...

— Разве колхозу вред, ежели колхозник дополнительно получит с приусадебного участка?

— Самый настоящий вред,— не сдавался Кузовлев.—Займутся люди своими участками, а колхозную работу упустят.

— Нет, ты меня не убедил,— вставая, сказал сержант.— Я ведь хоть и заводской человек, а колхозный устав читывал. Приусадебный участок колхознику для подспорья даден, как бы сказать, для сочетания личных интересов с колхозными...

Вот поэтому должен ты помочь колхозникам вспахать участок. А в это время они пускай на колхозную работу идут.

Кузовлев молча жевал соломинку, тяжело раздумывая.

— Ладно, выделю завтра трех лошадей с полдня. Погляжу, что будет.

— Тогда пойди к Гущину и скажи, чтобы не мучился зря и людей не волновал.

Кузовлев сердито махнул рукой:

— Ладно, так и быть,— и пошел к Гущину.

Вернувшись от него, Кузовлев признался:

— До того я осерчал, товарищ сержант, на этого упрямого старика, что плуг из борозды у него выбросил, а постромки, те аж на крышу закинул...

Орешин посмеялся, но ничего не сказал больше.

— Ну, теперь, товарищ сержант, в гости ко мне прошу,—хлопнул его Кузовлев по плечу.— Пообедаем, со свиданием выпьем маленько...

— Спасибо,— улыбнулся Орешин.— Успеем еще. Я не за этим пришел. Девчата ваши вчера были у нас, сказывали, что сеялки в колхозе стоят. Хочу глянуть, нельзя ли что-нибудь сделать...

— С сеялками беда, это верно!— пожаловался Кузовлев.—Одну хотя бы наладить, а то ведь по старинке из лукошка сеем...

— Показывай сеялки,— хмуро потребовал Орешин. Оба пошли под навес, где валялись разные поломанные машины, побуревшие от ржавчины.

Осмотрев все неисправные сеялки, Орешин решил, что две из них можно наладить сейчас, если для них снять недостающие годные части с остальных. У Кузовлева нашелся гаечный ключ и молоток. Орешин тут же взялся за дело. Хотя от слабости его одолевала одышка, а больная нога "скулила" так, что не раз приходилось садиться отдыхать, все же одну сеялку Орешин исправил довольно быстро.

— Ну и мастерина же ты, Федор Александрович!— дивился Кузовлев, оглядывая и проверяя готовую машину.

Зато с ремонтом другой сеялки получилась заминка: нечем было заменить одну негодную деталь. Совершенно расстроенный, Орешин долго вертел ее в руках, что-то соображая, потом приказал Кузовлеву:

— Разогревай горн. Попробуем сварить...

В маленькой прокопченной кузнице было сумрачно и прохладно, пахло застоявшейся гарью, железом, землей. Посреди кузницы на толстом низком чурбане стояла наковальня, на другом чурбане, врытом в землю, укреплены были слесарные тиски. Растроганно перебирая руками немудрый инструмент, валявшийся в беспорядке около наковальни, Орешин улыбнулся светло и грустно. И такая тоска по родному заводу прилила вдруг к сердцу, что, когда зашумел и застрелял искрами горн, слезы закипели у Орешина на глазах.

Глянув на него, Кузовлев ласково сказал в потемках:

— Настрадался и я, дружок, по земле. Как приехал, неделю по полям ходил, наглядеться никак не мог.

Сварив сломанную деталь, Орешин не утерпел, отковал еще и новую. Пока он опиливал, подгонял и ставил ее на машину, Кузовлев успел сбегать домой, потом к бригадиру — сказать, чтобы вез обе сеялки в поле.

Обедать однополчане пошли усталые, но довольные. Пелагея, жена Кузовлева, высокая и статная, брови дугой, когда-то очень красивая, должно быть, молодо ходила по избе, накрывая стол и счастливыми глазами взглядывая на мужа. Видно было, что на душе у нее праздник. Да и в доме выглядело все праздничным: на полу пестрели всеми цветами новые половики, около зеркала висело ярко вышитое полотенце, старенькие, но чистые занавески белели на окнах. На столе уже шумел самовар.

— Угощать-то больше нечем,— виновато улыбнулась Пелагея, ставя на стол яичницу. Отперев облупившийся посудный шкаф, она осторожно вынула пузатый графин, на дне которого поблескивала водка.

Поставив графин перед мужем, села поодаль, на лавку, жадно прислушиваясь к разговору.

Однополчане выпили по рюмке за встречу, помянули с грустью лейтенанта Суркова.

— Трудно, поди, жили тут?— спросил женщину Орешин, глянув на ее побелевшие виски, на горестные морщины около губ и под глазами.

Спросил и пожалел: лицо Пелагеи некрасиво сморщилось, она молча отвернулась и вытерла слезы концом платка.

— Я, Федор Александрович, думал, что разруха у них тут полная,— заговорил вместо нее Кузовлев, отодвигая пустую рюмку.— А приехал и вижу: колхоз-то не пошатнулся! Хоть и поослабили хозяйство, а скот сохранили, да и сеют не на много меньше, чем до войны. Недаром на фронте мы нужды в хлебе не видали!

Помолчав, вздохнул:

— Тяжело, конечно, им, женщинам, тут без нас, что говорить! Да и обносились все. Купить-то нечего стало...

— Кончилась бы только война, всего опять наработаем,—уверенно, снова повеселев, сказала Пелагея и заторопилась.—На ферму идти мне нужно. До свидания.

Она подала Орешину жесткую крепкую руку.

— Чуяли мы на фронте вашу помощь,— горячо сказал Орешин и поклонился низко Пелагее.

— Спасибо!

За ней вскоре и они пошли в поле глядеть, как работают сеялки. По свежезабороненному участку белели вдалеке платки и рубахи севцов. Кто-то ехал оттуда на сеялке к дороге. Оба сели в ожидании на траву около канавки.

— О чем запечалился, Федор Александрович?— спросил Кузовлев, видя, что сержант сидит, опустив голову.

— Домой, на завод скорее надо...—сердито заговорил Орешин.— Теперь уж, поди, и без меня довоюют. Завтра же буду просить о выписке...

— Куда ты с такой ногой? Лечись знай.

— А землю ты чем обрабатывать будешь?!—закричал вдруг Орешин, выкатывая на Кузовлева злые глаза.— Ведь ежели по одной только сеялке каждому колхозу

дать, сколько же их сейчас нужно?.. А если еще по молотилке, по жнейке? Нам хлеба больше сейчас надо, народ-то натерпелся за войну. А без машин хозяйство быстро не поднимешь...

— Это верно. Трактором-то вон у нас один массив только обрабатывать успевают. Мало их сейчас, тракторов-то. Да и другие машины поломались все.

К дороге подходила лошадь, запряженная в сеялку. Уверенно держа в руках вожжи, на сеялке сидела девушка в клетчатом платочке, красной майке и кирзовых мужских сапогах.

— Елизар Никитич!—еще издали закричала она.— Семена кончаются. Пусть Аркадий везет скорее, а то стоять будем...

Чем ближе подъезжала она, тем больше убеждался Орешин, что это Маруся. Здесь, в колхозе, она совсем не была, видать, тихоней.

— Сеялки-то хорошо работают?— поднялся навстречу ей Кузовлев.

Ловко спрыгнув на землю, Маруся взяла лошадь под уздцы.

— Хорошо идут. Теперь мы, Елизар Никитич, по сельсовету раньше всех кончим...

В голосе ее было такое ликование, а глаза так живо блестели на загоревшем лице, что и Орешин не вытерпел, встал и подошел поближе, улыбаясь.

Она поздоровалась с ним, но по лицу было видно — не узнала, и это почему-то огорчило Орешина.

— Ой, какое вам спасибо!—услышал он ее голос над собой. Она уже влезла на сеялку и чмокала губами, дергая вожжи.

И пока красная майка девушки не исчезла за бугром, Орешин все стоял и смотрел туда.

— Савела Боева дочка, бригадира нашего...—говорил сзади Кузовлев.— Звеньевая она тут у нас, и участок этот ихний, комсомольский...

Орешин встряхнулся, обеспокоенно взглянул на часы.

— Пора мне.

— Не торопись. Я тебя на лошадке доставлю.

— Нет уж,— запротестовал Орешин.—Ты лучше на ней Гущину огород вспаши.

— Дался тебе этот Гущин...— недовольно бурчал Кузовлев, идя за ним.

Вместе дошли до овражка, за которым молодые ребята пахали пар. Около дороги, понурив голову, стояла запряженная в плуг лошадь. Черноглазый паренек с желтыми кудрями, тот самый, которого Орешин видел утром, стоял около плуга и устало вытирал пот с лица. Увидев Кузовлева, он бросил цигарку и затоптал ее ногой.

— Сын мой, Ленька, — пояснил Кузовлев, испытующе наблюдая за ним.—Первый год пашет. Оно бы и рановато еще, да что сделаешь?!

Подошел к борозде, поковырял носком сапога шоколадную землю, взял ее в руки, растер, потом смерил пальцем толщину пласта.

Недовольно спросил сына:

— Давно куришь?

Ленька густо вспыхнул и, избегая взгляда отца, сумрачным басом ответил:

— С год.

— Курить-то выучился, а пахать не умеешь,— уже ласково пожурил его Кузовлев.— Борозду прямей держи.

Кузовлев отвинтил от плуга ключ и чуть опустил колесо, подвернул покрепче отрез.

— Пошел я, Елизар Никитич,—сказал Орешин.— Не хочу начальника своего подводить. Прощай, брат!

— Прощай, Федор. Спасибо за помощь. Не забывай. Пиши. А то в гости приезжай!

— Не забуду,—улыбнулся Орешин.—Вот как только новую машину колхозу дадут, так и знай: Федор Орешин прислал.

— Ежели на то пошло, и меня не раз вспомянешь,— хитро засмеялся Кузовлев.— Возьмешь в руки хлеб нового урожая, помни: Кузовлев его вырастил.

— Во-во! Это правильно. Выходит, не обойтись нам друг без друга.

Помолчали оба в раздумье.

— Кто его знает, не пришлось бы нам лет через пяток опять в своем полку встречаться,— вздохнул Кузовлев.—За морем погода-то больно неустойчива...

— Занадобится, так встретимся,— нахмурился Орешин, но тут же поднял голову.— Только, Елизар Никитич, лучше бы в другом месте нам свидания устраивать. То ли бы дело в гости друг к дружке ездить, а?

Боевые друзья обнялись и расцеловались на прощанье.

Вытирая кулаком глаза, Кузовлев быстро пошел к плугу.

— Н-ну, трогай!..—сердито закричал он на лошадь и ровно, не качаясь, пошел за плугом. Земля послушно ложилась вправо от него широким черным пластом. Борозда была прямой, как полет стрелы.

— Чувствуешь?—спросил Орешин Леньку.

Ленька улыбнулся, тоже восхищенно глядя отцу вслед.

— Ага.

— То-то! Учись у отца-то.

Подмигнул Леньке и, потрепав его по плечу, неторопливо зашагал по дороге.

Пройдя метров сто, оглянулся. Пахарь с конем поднялись уже на вершину холма, резко означившись на вечернем небе. Видно было, как черный конь, мерно помахивая головой, твердо опускает в землю тяжелые копыта, а за ним, легко держа ручки плуга, задумчиво шагает солдат Кузовлев. Свежий ветер пузырем вздул у него на спине гимнастерку, растрепал и взвил черным вихрем гриву коня...

Сержант приложил руки ко рту трубкой и крикнул:

— До свида-а-ания!

Остановившись, Кузовлев снял пилотку и замахал ею над головой:

— Счастливого пути-и-и!



Яков Танин



Яков Гаврилович ТАНИН (1923) сразу после окончания десятилетки ушел на фронт, служил в звуковой разведке в звании рядового и сержанта. После войны закончил Оренбургский государственный медицинский институт. Работал врачом.

Первую книгу стихов для детей опубликовал в 1954 году в Оренбурге. Кроме нескольких сборников стихов, Я.Г.Танин написал автобиографическую повесть "Коновалова березка". Поездки автора на места боев, в которых он участвовал, и легли в сюжетную основу повести.

Я.Г.Танин награжден орденом Отечественной войны I степени и орденом Красной Звезды, медалями.



ЛЕЛЬКА

...А сердца стучали громко,
и любовь их вдаль звала.
И береговая кромка
им качелями была.
(Из песни).

Он бежал во сне широким, крупным шагом, стараясь как можно реже наступать на землю правой ногой. Но наступать все же приходилось и, каждый раз наступая, он догадывался, что бежит по минному полю. И ждал от соприкосновения с этим полем возносящего к небу взрыва.

Но взрыва все не было, только в правую стопу сквозь подошву сапога впивался грубый железный гвоздь. Острота боли учащалась. Ему даже захотелось зависнуть в воздухе, но эти балетные выкрутасы, зависанья, подпрыгивания и скакания на одной левой ноге не спасали.

— Господи-господи-господи! — Визгливо вскрикивал он во сне, вовсе и не уповая на милосердие Божье, ибо ни в какие святыни, кроме комсомольских, не верил. А милость Божью призывал инстинктивно, не изменяя своим наивно материалистическим принципам. И Господь непременно откликнулся бы и пришел на помощь, если бы не кратковременность случившегося с ним, и не незначительность испытываемой им боли по сравнению с происходящим вокруг несчастьем.

Взвизгивая по-щенячьи от пронзающей боли после каждого наступания правой ногой, он подпрыгивал все выше и приземлялся все чаще.

Наконец он странным образом ухитрился слитно наступить на этот, ритмично проявлявшийся во времени сна гвоздь, а когда частые колотые раны от наступания на ржавое острие гвоздя слились в единый ножевой разрез, закричал истошно: — О, Господииииш!.. — и отдернул ногу.

И сразу же открыл глаза. И увидел, что никакого минного поля не было. Вокруг стола, на котором он лежал, стояли молоденькие, ряженные в халаты, женщины. Они хохотали и были определенно счастливы. А та, что стояла в изголовье, держала в руках проволочно-марлевую маску, захлебывалась смехом и все приговаривала:

— Во дает... Во мужик... Ну просто — мокрый куренок...

Все это произошло, вернее — все это было проделано еще не забывшими детские игры девахами, врачихами и сестрами на полковом медпункте весной сорок третьего года над еще более молодым сержантом-звукометристом Глебом Тихониным, легко раненным в стопу правой ноги несколько дней назад. Рана была пустяковой, он было решил переходить ее, не обращаясь к медикам. Но началось нагноение, и уже вынужденно пришлось показать ногу девчонкам из медсанроты, стоявшей в том же лесу, где и глебова батарея.

Вообще-то, на полковом медпункте не оперируют. Тут вам не медсанбат и не — тем более! — госпиталь какой. Но год был сорок третий, в начале апреля дороги и тропы в междуречье Редьи и Ловати невообразимо расквасило. Вывозить раненых автотранспортом стало практически невозможно. Тут-то медсанбатовское начальство и проявило воинскую находчивость — направило в полковые медпункты, то есть в медсанроты, передвижные хирургические бригады: врач-хирург и сестра операционная.

Но как и всегда происходило и происходит с прекрасными починами в нашей, воспетой удивительно бодрыми довоенными песнями стране, а на войне это происходит еще чаще, чем в мирное время, так и эти передвижные хирургические бригады вполне естественно позабыли снабдить медикаментами и инструментарием. Так что Глебу, по его всегдашнему везению, ставшему первым подопытным кроликом в новой затее, долго не могли сыскать никаких средств ни для общего наркоза, ни для местной анестезии. Нашлась только уже распочатая и закупоренная натянутым поверх отверстия резиновым напалечником ампула хлорэтила, того самого, которым и до и после войны замораживали футболистам подбитые ноги.

Оказывается, этим хлорэтилом можно и усыплять. Правда, на короткое время. И Глеба даже не усыпили толком, лишь оглушили цыплячьей дозой. Но все обошлось. Красивые молодые женщины извлекли из глебовой стопы три мелких минных занозы, очистили ранки от гноя и, вставив турундочки, перевязали ногу белоснежным марлевым бинтом, по которому тут же поползли, успокоенные быстрой развязкой происшествия, мелкие фронтовые вши.

А пока врач и сестры что-то мазали там и бинтовали ногу, пока надоевшие за войну насекомые приспосабливались к новым условиям существования, Глеб закрыл глаза и снова погрузился в умиротворяющий сон. Голоса смеющихся врачих и сестер глухо и отдаленно сопровождали это погружение в блаженство.

Шел апрель сорок третьего.

Глеба встряхивало и качало. Он то задирал голову к верхушкам сосен, то дергался, словно в падучей, то ноги его оказывались вверху, а сам он резко опадал. Все происходило как на море в шторм. Особенно донимала бортовая качка, заставлявшая его то скользить вправо и ударяться о деревянный борт повозки, то увлекавшая влево, где приходилось придавливать соседа — беспомощного в неподвижности пожилого лейтенанта лет тридцати. Тот все время постанывал, независимо от положения своего на раскачивающейся по болотному кочкарнику армейской дву-

колке. Лейтенант плыл, не приходя в сознание, только дышал плохо перегоревшим в нем, влитым с противошоковой целью, разбавленным спиртом. Глеб все еще приходил в себя от проделанной над ним накануне в медсанроте издевательской операции. Разбудили его утром, когда прибыла неизвестно откуда взявшаяся двуколка, присланная за пехотным лейтенантом, которого приволокли ночью с передовой с развороченным позвоночником.

Лейтенант был в шоке — очень глухо стонал, ни на что не реагировал и смотрел в небо отсутствующим взором. Ездовой шел рядом с двуколкой, изредка придерживаясь за оглоблю. По временам он дергал веревочные вожжи, сопровождая подергивания незлым, в меру разухабистым матом. А послушная его кобыла обреченно тянула груженную двумя ранеными двуколку. В особенно натужных местах кочкарника она упрямо попердывала и выранивала круглые оранжево-коричневые шары из-под приподнятого в сторону хвоста.

Все это происходило возле то взлетающего, то опадающего в болтанке глебова затылка. И было до того естественно, что ему хотелось запеть. И если бы не дышащий перегаром лейтенант от инфантерии, которому неизвестно сколько осталось жить, то Глеб запел бы любимую свою песенку Паганеля из довоенного фильма.

Не смазанные дегтем в ступицах колеса нещадно скрипели. Копыта незадачливой кобылы неторопливо чавкали, выдираясь на каждом шагу из плотно засасывающей грязи.

Наконец впереди, на востоке, лес поредел, кочкарник почти полностью исчез. Двуколка, отдаленно напоминавшая Глебу среднеазиатскую арбу, выкатила из лесу влево и застыла на крутом берегу Ловати. Ездовой обошел свою повозку, поглядел на безразличного ко всему лейтенанта, затем помахал-посигналил кому-то на другом берегу и уселся на самом высоком, обрывистом месте яра.

По реке, недавно лишь вскрывшейся и очистившейся ото льда, наискось задергалась навстречу течению крупная плоскодонка с двумя бойцами на гребях и с нахохленной от ветра фигуркой женщины на корме. И пока гребцы старались одолеть ходкость весенней полой воды, пока лодка дергалась, здесь на яру ездовой спокойно мастерил самокрутку, завертывая крепкую моршанскую махорку в газетный обрывочек. Потом высек кресалом из невзрачного камня искру, зацепившуюся за хорошо просушенный трут, раздул ее — эту искру, и только потом — от всерьез занявшегося трута прикурил.

Глеб улыбался с повозки, глядя на спокойную деловитость ездового, на мужицкую невозмутимость его, и хотя у Глеба в кармане лежала трофейная зажигалка, предлагать огня он не стал. Любопытно было смотреть, как справляется с "катюшей" водитель кобылы.

Внизу, на реке, додергавшаяся плоскодонка ткнулась в берег. Бойцы с носилками и сидевшая на корме выскочили из нее и вскоре забрались на яр. Женщина оказалась молоденькой старшиной.

— Здорово, славяне! — крикнула она. И сразу же подошла к лейтенанту, поняв по его доходячести серьезность ранения.

Маленькая, выпирающая женскостью своей из грубой, плохо гнущейся на сгибах колючей шинели, она достала из-под борта лейтенантова бушлата сопроводи-

ловку, прочла и, вместе с санитарами своими, стала осторожно перекантовывать бедолагу на носилки. Глеб было подумал, что подобная сверхосторожность нелепа после многочасовой качки по бездорожью на пути до Ловати. Но по лицу молоденькой санинструкторши прочел, что еще не полный каюк лейтенанту, что еще можно на что-то надеяться. А когда санитары подхватили носилки и, словно переломив их на гребне крутого яра, заскользили с ношей своей вниз по тропе, тогда и Глебу стало понятно, что настоящее действо еще впереди.

Старшина-санинструктор уперлась взглядом в правую ногу Глеба, обернутую поверх марлевой повязки толстой байковой портянкою и сунутую лишь для вида и уверенности в старый, изношенный до бесцветности башмак сорок неопределенного размера. Женщина взяла протянутые Глебом документы, но не стала даже и смотреть на них.

— Допрыгаешь сам?

— А чего? И допрыгаю!

— Ну, валяй! — Она придержала сержанта за руку. Тот спрыгнул с двуколки и зачастил на одной ноге к обрыву.

— Стой! — закричала санинструктор. — Стой, дурень кирпатый!

Глеб остановился.

— Ну куда ж ты так? Да еще с кручи? — укоризненно задержала его женщина. А потом — обошла, стала перед ним, слегка наклонившись...

— Садись верхом!

— Что?! — Возмущенно вскинулся, весь уже залившийся краской, Глеб. Он был унижен этой санинструкторшей, которая вся выпирала из шинельного сукна категоричностью своего естества. Ни за что он не согласится! И Глеб только и сумел проговорить:

— Что ты сказала? Верхом? Да я в жизни на бабах не ездил! И не стану!

А она повернулась к нему, мохнатой, видимо, домашней еще вязки, варежкой обтерла щеки сгоравшего от стыда сержантика и ласково добавила:

— Еще поездишь. Не боись, кирпатенький.

И вдруг заорала:

— Садись, мать твою перетак! Времени нету!

Глеб растерянно обхватил ее за шею, прижавшись беспомощно к сильной спине. И распорядившаяся глебовой судьбой, маленькая, плохо понятная ему, но умевшая настоять на своем, женщина цепко подхватила его ноги — здоровую и раненую — в грязных ватных штанах. Руки Глеба скрестились на ее груди.

Удивительно ловко, привычно как-то, снесла женщина тяжкую ношу с кручи, к самой лодке, где к тому времени удобно пристроили носилки с лейтенантом. Глеб запрыгнул и уселся на носу, отвернувшись от всех. Первый раз ему было так стыдно. Словно подрастерял он свое мужское достоинство. И одновременно было томительно сладко. Он и не понимал толком, что с ним произошло: то ли это считать нужно позором каким, то ли повезло ему? Вода струилась вдоль борта, весла подхватывали поверху ее тугой напор и с силой отталкивались, образуя убегающие к корме воронки. Пологий берег, на котором вдоль леска разбиты были землянки медсанбата, быстро приближался.

Оформили Глеба в медсанбате непривычно для медицинских учреждений быстро, без волокиты. Фельдшер заполнил несколько строк в разграфленном толстом журнале, похожем на амбарную книгу. С легкоранеными не было никакой мороки. Только малость поехидничал над Глебом, прыгавшим на одной ножке, как девчонки прыгают, играя в классы.

— Охламон ты, парень! Не догадался палку какую-нибудь подобрать, пока лесом ехал. Ну, да ладно, хрен с тобой! На вот — возьми!

И он протянул Глебу старый деревянный костыль, валявшийся среди всякого хлама в углу землянки. Глеб попробовал опереться на костыль, сделал пару шагов в проходе и обрадованно рассмеялся. Ему и в самом деле стало значительно проще стоять и двигаться.

— Ступай, сержант, в четвертую землянку — вдоль берега на опушке. Там у нас выздоравливающие гнездятся. Нечего тебе с таким пустяком среди всерьез раненных болтаться. На перевязку ко мне придешь завтра утром. Ступай.

Так, со всей простотой фронтового медицинского этикета Глеб был принят и обласкан в медсанбате. Причем удалось поспеть задолго до ужина, так что чаша сия его не минула.

В четвертой землянке валялся на нарах всего один худющий белобрысый ефрейтор, объяснивший вновь прибывшему, что остальные выздоравливающие пока в лесу — сушняк для топки печей заготавливают. Всем известно — железные самодельные печурки слишком прожорливы.

— Нам тоже придется по дрова бегать? — спросил Глеб.

— Ни! Мы с тобой, служивый, в ноги ранетые. Нас не пошлют. Будем в землянке кантоваться, груши почем зря околачивать.

Вечером Глеб вместе с ефрейтором отправился на кухню. По пути осознал, что костыль, оказывается, — удобное приспособление. Похожий на жердь ефрейтор, управлявшийся при ходьбе с увесистой суковатой палкой, довольно смело приступал на раненую ногу, а палкой больше размахивал перед своим и глебовым носами. Вдвоем они подхватили черную от копоти, эмалированную некогда кастрюлю с овсянкой и не торопясь понесли благословенную кашу выздоравливающей братве.

Тут же подоспели и работяги. Заскребли ложки по котелкам. А на весело разгоревшейся печурке запел свою песню, забухтел и запузырился котелок, в который ефрейтор бросил щепоть заварки. На дворе быстро темнело.

— Кирпатенький! — позвал женский голос снаружи.

— Кого это кличет? — полюбопытствовал ефрейтор. Глебу снова стало ужасно неудобно.

— Чего тебе? — нехотя откликнулся он.

— Чего-чего... Выйди — узнаешь. Давай-давай, не задерживай!

Глеб высунул голову из землянки. В сгустившейся темноте было не так стыдно, как давеча. Старшина-санинструктор, осрамившая и чем-то сладко затронувшая Глебку Тихонина на переправе, ждала его в темноте у самого входа в землянку.

Была она без шинелки, от этого напряженность крепко слаженного тела лишь сильней взыгрывала, гимнастерка словно бы выпирала из-под ремня. И она теперь не приказывала, не командовала — просительно смотрела на вылезавшего из землянки Глеба, на его недавно приобретенный, но ловко тыкающийся в землю костыль. Видать, сержант вполне освоил это инвалидское орудие.

— Пойдем ко мне, кирпатенький, — робко позвала старшина.

— Да как же я? Да, нельзя же, наверное...

— Дурашка ты! — Она протянула руку растерявшемуся Глебу. — Пойдем. Тут недалеко. Я свою соседку попросила в другой землянке переночевать. Пойдем, Глеб!

Глебу сделалось жарко. Он почувствовал, что ее рука дрожит. И самого его охватило и стало волновать непонятное властное чувство. Он перехватил ее руку — отпустил кисть и крепко ухватился повыше, у плеча. И зашагал, подталкивая себя деревяшкой, не глядя под ноги, жадно зашагал за чем-то зовущим, чем-то неотвратимым.

В санинструкторской земляночке слабенько светила коптилка из гильзы от сорокапятимиллиметрового снаряда. Тени густо заволакивали нутро землянки, ребристо завершаясь, как на стиральной доске, на неошкуренных тонкомерных сосенках наката.

Женщина втянула за собой Глеба, обняла его жадно, падая с ним на застланные плащ-палаткой нары.

— Кирпатенький мой... Обнимщик мой неумелый. Да что ж ты? Ну! Просунь руку под гимнастерку...

И не дожидаясь, пока он справится с новым для него делом, она поймала его кисть и втащила под свою гимнастерку, под нижнюю солдатскую рубашку с толстыми швами и завязками. Ладонь Глеба уперлась во что-то упругое, набухшее преизбытком желания и судорожно сжалась.

— Ой! Больно же... Очумел, что ли? Ты помягче бери...

Она извернулась маленьким, гибким своим телом, и пальцы Глеба ощутили прикосновение зернистого нежного комочка. Он погладил его, комочек этот, и осторожно вывел через ворот гимнастерки, полностью расстегнутый. И при слабом свете коптилки разглядел черную поблескивающую ежевичину и впился в нее влажным и жадным ртом.

— Не кусайся же, дурень мой... Говорю — больно...

Но он не слышал ее — он целовал судорожно и взасос впервые ставшую доступной ему зрелую ягоду страсти. Женщина гладила его стриженый затылок, отрывала его рот от соска и прятала его лицо, его очумевшую голову, голову мальчика, пьяного от невероятного открытия близости, в ложбине между грудей. Потом поднимала ему голову, целуя плачущие глаза, и, замерев от счастья, раскрывала свои просящие губы.

— Возьми меня, кирпатенький... Ну, возьми, возьми...

Глеб неумелыми руками расстегивал ее солдатские полугалифе, стаскивал их вместе с белыми подштанниками с обжигающих бедер. И вдруг почувствовал, как

тело его узко, по-амебьи вдавилось во всю эту красоту, задрожало в безуспешных попытках спрятаться в женщине навсегда, а при самой последней попытке остервенело напряглось и судорожными толчками перелилось в другое тело, ставшее в это мгновение близким и как бы своим.

Они лежали расслабленно. Ее рука на умиротворенном естестве его. Его влажные от слез глаза, полуслепые словно у щенка, ресницами тревожили женскую щеку. А в пальцах все еще перекатывалась спелой зернистостью черная ежевичка.

— Никогда, — благодарно шептал он, — никогда не забуду сегодняшнего счастья. Как я только ухитрился жизнь целую прожить, не зная смысла ее. Девочка моя! Радостная моя! Не забуду.

— Забудешь, кирпатенький. Как и все. Ведь вы на словах только памятливы. Знаю, знаю — лучше меня ты уже и не встретишь. Таких ласковых дур на свете нету. Одна я — для тебя. А все равно память обветшает. И все забудешь, милок мой...

— Нет! — вскричал Глеб.

— Да, мой сладкий. Да, несмышленый. Ты ведь даже имени моего не знаешь. Так и не спросил ни разу.

Глеб тут же осекся: и вправду — он не знал ее имени. Все вышло глупо. Как же он не догадался спросить? Или — не нужно было? Оголенное тело его вдруг скукожилось от страха, что, вот, все он сам себе нарушил неисправимо. А женщина, ставшая первой в его жизни, а возможно, и самой главной, шепнула:

— Не прячься, не бойсь... Понимаю, что случайно так вышло. Предрассудки все это — спросил, не спросил... Нечего локти кусать... Лелька я. Лелька Федюшина. Из Торжка. Слыхал про такой городок?

Конечно, Глеб знал про существование Торжка. Все в стране знали об этом провинциальном городке из глуповатой кинокомедии конца двадцатых годов. Но обрадовался Глеб не тому, что узнал, откуда она. Обрадовался тому, что она — Лелька! Словно будь она Светкой или Шурочкой — меньше бы полюбилась. Он судорожно вздохнул, как всхлипнул. И перестал рассуждать о красоте и звучности имен. Радуйся! Радуйся, несчастный Глебка! Так он приказывал себе. Радуйся, что она — Лелька! Бывают же такие точные, наполненные светом и лаской имена. Ой! И чтобы радость узнавания лелькиного имени не исчезла среди многословия вскрикиваний и объяснений. Да, чтоб — не исчезла. Ради этого он стал часто и благодарно исцеловывать ее маленькое, ладно скроенное упругое тело.

— М-м-м... Лелька, Лелька... Ммммм-м... — промыкивал Глеб между поцелуями и наслаждался звучанием нерасплесканного, бескорыстно раскрытого ее имени.

За ночь все повторилось не раз. Пока он задыхался ее именем, сама Лелька посмеивалась и уверяла, что он все равно забудет ее. А перед рассветом он уснул. И благодарная женщина прикрыла своей шинелкой мальчишеское тело. Она приподнялась на локте, чтобы видеть всего Глеба сразу. И принялась его охранять.

Утром, когда на территории медсанбата пробудились признаки дневной суетни — торопливые шаги, окрики и хлопотливые заботы, когда огонь в железных печурках, презрев березовое дровяное сырье, стал пожирать преимущественно сушняк,

чтобы не было дыма, — этим ранним утром она растолкала Глеба и скоро переправила в землянку для выздоравливающих.

— До вечера не свидимся. Мне весь день на переправе торчать. Позавтракаю на скорую руку и — на берег!

— Ле-е-елька... — все еще сонно выговаривал Глеб. — Лелька моя...

— Молчи уж, кирпатенький. Глебка-хлебка! Говорить разучился за ночь. Бычок кирпатенький.

— Не дразнись.

— Да я и не дразнюсь, вовсе нет. — Напоследок она обняла его, вновь оробевшего от проявления чувств на людях. Потом чмокнула в щеку и помчалась по своим делам. Грубая шинелка, как и вчера, топорщилась на ней, но уже не противоречила ее таинственной женской сути. Глеб знал, что под серым и жестким сукном скрывается навсегда дарованное ему отныне тело.

Был день со всеми его треволнениями. От безделья Глеб толокся по всему медсанбату и несколько раз нарывался на свирепо ругавшуюся майоршу медицинской службы. Он не знал, кем была эта майорша, но порции ругани, выливаемой на него при каждом столкновении, были столь крупны, что скорее всего это была начальница.

Тихонин сходил на перевязку. Там врачи не стали его смотреть, поручив работу вчерашнему фельдшеру, который сменил повязку, удовлетворенно похмыкав. В смысле, что долго лежать Глебу не придется. И пожурил:

— Расплодил ты бекасов, дружок. Как же ты с ними воюешь? Не мешают? Привык, значит. Придется помывочку тебе устроить. И почему так происходит: пока наступаем, с места на место переходим, спим на снегу в лесу или в поле открытом — вшей не видать. Не любят они, видать, риска и опасности; едва же выйдем из боя, оборону займем, тишь сотворится на всем фронте — так сразу вши почнут одолевать. Да все мелкие какие-то, темные, без жира. По всему определить можно — солдатские. Лады, сержант, дня через два устроим всей вашей выздоравливающей банде помывку, устроим побоище бекасам твоим. Вытравим.

После перевязки Глеб пристроился на берегу, в укромном месте, на солнышке, на припеке. Всем оказался хорош занятый им наблюдательный пункт: переправа — как на ладони, а от крикливого начальства кустом густого тальника прикрыт — не углядит. По временам на яру противоположного крутого берега возникала силуэтно высвеченная вчерашняя двуколка. Солнце при этом слепило, заставляло жмуриться. Но чаще выезжали на яр другие, более привычные телеги о четырех колесах. Лелькина лодка, едва возникнет кто на яру, тут же отчаливала и, дергаясь, как и вчера — наискось против течения, — устремлялась к тому берегу. Потом Глеб задремывал на солнышке и ничего больше не видел. Так он то спал, то прерывал сон бдением.

В небе же, над переправой, с непонятной подозрительностью, ибо конные повозки и жалкая единственная лодка вряд ли могли серьезно заинтересовать фрицев, в небе кружила настырная в подготовке всяческих подлостей "рама". Она выла, вибрируя, в пронзительно синей апрельской чистоте неба весь день, до самого заката. Неизвестно когда и где подзаправляясь, она вроде бы и не покидала свода,

все шастала и шастала по небу, неизвестно что высматривая с немецкой дотошностью и аккуратностью, проклятая вражеская двухфюзеляжная штуковина.

За обедом Глеб спросил у ефрейтора, злобно замахнувшегося суковатой палкой на почти неподвижно зависшую в синеве немецкую соглядатайку.

— Слышь, земляк, ответь, пожалуйста, — чего она целый день над нами висит? Почуяла разве что?

— Какой тут день! Почитай неделю без отдыха в небе шастает. Чует сучка...

— А что здесь чуять?

— Как что! За поворотом, на верхнем плесе — саперы мост навели. Заканчивают скоро стройку. От яра, на котором раненых принимают, вывезенных к переправе, мост этот новый метрах в двухстах южнее строят. А сучка двухфюзеляжная все высматривает и высматривает. Того гляди — бомбовозы притащатся.

Впрочем, Глеб не поверил в возможность близкой и настоящей бомбежки. Такое затишье царило на всем фронте. Весь Северо-Западный осовело спит. Ни мы не шебуршимся, ни фрицы тишину рвать не желают. Разве лишь по ночам на передке свечки на парашютиках вешают да пулеметными очередями часы отмеряют. Даже собственное ранение Глеба, случайно попавшего под минный обстрел, — плюхнулся в мелкую воронку, лапы наверху остались, вот осколками сапог и прошило — даже это ранение на нарушало картины всеобщего фронтового затишья. Да то ведь на передке было. А чтобы тут — в тылу, собственно говоря, — ни за что! Такого не может быть. Он посмеялся над страхами тощего ефрейтора, помахал кулаком кружащей без устали вверху "раме". И пошел опять к переправе, на облюбованное с утра укрытное местечко.

После ужина Лелька снова разыскала Глеба. Но повела не во вчерашнюю землянку, а куда-то далеко в сторону. Глеб ни о чем не расспрашивал: ведет, значит, знает куда. Внизу по течению Ловати в невысокий берег были врыты две баньки: большая — с хорошо оборудованным предбанником, большой печкой из бочки, обложенной камнями, с несколькими окнами, и маленькая — в предбаннике которой едва можно было раздеться, а моечная была так тесна, что вдвоем мыться приходилось обнявшись. Едва они подошли к маленькой баньке, как пахнуло влажной свежей протопленностью. Лелька уверенно приоткрыла полог плащ-палатки, завешивавшей вход.

— Сюда! — позвала она. — Пришли.

Глеб, склонив голову, чтоб не задеть притолоку, втиснулся в предбанник. При свете коптилки они стали молча раздеваться. Все еще робеющий Глеб старался при этом не смотреть на Лельку. А той не было страшно.

— Давай ногу свою, — приказала она, — счас мы ее укутаем.

И поверх повязки она натянула на правую, раненую глебкину ногу отрезок автомобильной камеры, наглухо стянутый крепким узлом понизу. А приладив к ноге, еще закрепила, чтоб держалась надежно, резиновую чуню под коленкой.

— Глебка, ну, что ты? Опять засомневался — глянуть на меня боишься. Я же твоя теперь, кирпатенький.

Она поднялась перед ним, маленькая, ловко сбитая. И показалась крупной, настолько была взросла. Глеб с трудом поднял голову, увидел спелые, полные груди ее с полюбившимися ему ежевичинами, крепкий, еще не раскисший живот, и под ним — странно, двумя завитками почти черных волос прикрытое и — тем не менее — видное колдовское место. Не удержавшись, он сполз со скамьи на колени и уткнулся носом в приворожившие его завитки.

Лелька гладила ладонями стриженую голову его, радовалась и успокаивала.

— Ну, что ты, что ты, кирпатенький...

Они перешли в моечную. Женщина заботливо ополоснула две трофейные фрицевские каски — вместо тазов. И еще притащила из предбанника банку консервную, пошерудила в ней мочальным помазком, которым обычно белят в избах, и, придерживая другой рукою все, что не нужно смазывать, провела кистью по всем волосистым местам Глеба, намазывая на них вонючую слабобелесую жидкость.

— Ото вшей это, не боись. Мылом "К" прозывается.

Обмазанные вонючей жидкостью, они посидели немного на хорошо выскобленном полке. Сержант решил было попариться, но Лелька не дозволила — почему-то было нельзя.

Потом, набрав из котла воды, они терли друг друга, мыли и обливали из касок. Так уж вышло, что, поплескавшись из чужеземных касок, сомлели они и, обнявшись, уснули прямо на полке. Во сне Глеб собирал в глубоком каком-то овраге ежевику. Колючие кусты плохо расступались, и он перестал раздвигать их. Обняв самый густой куст, прижался к нему, несмотря на колючесть, и стал губами, прямо с куста, срывать и втягивать в себя спелые ягоды ежевики.

Лелька первая раскрыла глаза и попыталась высвободить сосок из губ Глеба, но сделать это было невозможно, и она смирилась с болью. А Глеб проснулся. И произошло у них все, как и в прошлую ночь. Только теперь уже — на полке в моечной маленькой фронтовой баньки. И все — в открытую, без путающихся одежд. И было им хорошо, как Адаму с Евой, когда отведали запретного плода. И все это длилось, пока банька не выстыла.

— Глеба! — обратилась к нему Лелька, когда стали одеваться. — А начальница моя, майорша, про все уже знает. Кто-то уже поспел донести. Не любит она, когда кто из нас с простым солдатом путается. Не с офицерами, значит. Считает, что дешевим.

Оторопевший Глеб перестал было одеваться.

— Знаешь что, Лелька! — вскинулся он. — Таких, как твоя начальница, я ...

— Не знаю, — спокойно ответила Лелька. — Не знаю. Да и ты не знаешь, как нам быть. Одно вижу — жить мне теперь трудно будет. Представляешь, как тошно под случайного мужика ложиться. А приходится. Война. И чертова дисциплина армейская.

Глеб и сам отлично понимал, что женщин в армию призывают не ради спасения солдатских душ. Хоть рядовой, хоть сержант, все одно — женщины не про него.

Бабы на фронте — офицерское удовольствие. Вопиющее неравенство это до сих пор только смешило Глеба. Проходился в разговорах всякими байками насчет офицерских ППЖ. Да ведь и во всем офицер солдату — не ровня. Из разного теста они сделаны. И особенно отвратительно было неравенство по отношению к женщинам в нашей так называемой советской стране. Только человеческие личные качества многих командиров превращали несправедливость некоторых привилегий в нечто, не задевающее солдатского достоинства. Конечно, конечно, — женщина не привилегия должности и звания берущего ее мужика. Но что-то неумолимо оправдывающее суть неравенства отношений оставалось, и Глеб понимал это.

— Я тебе, Глебка, право слово, ничего не могу обещать. Мы, девки, в армии — словно крепостные. Прикажет хозяин — ляжешь и не пикнешь. Нас все берут — кто посильнее. Еще хорошо, ежели сразу с сильным слюбишься: он защитит. Но хотеть, кроме тебя, мне теперь некого. Вот, ей крест, хоть и комсомолка я, Бога буду молить, чтоб понесла с этой ночи. Пускай демобилизуют. У нас с брюхатыми запросто: документ в зубы и — прощевай, служба!

— Лелька!.. — попытался было сказать о своем осознавший слабость свою, беспомощность Глеб...

— Эй, ты! Сержант! Ну-ка, подь сюда!

Пришлось отпустить лелькину руку. Звала вездесущая свирепая майорша. Лелька попыталась было подойти к начальнице вместе с Тихониным, но ее остановил окрик:

— А ты, Федюшина, — марш на переправу! С тебя спрос отдельный.

Понурившаяся Лелька сразу же развернулась и, — то ли вытирая выдававшую ее истинные чувства слезу, то ли отмахиваясь от майоршиных наставлений, — подняла руку к лицу. Уткнувшись в грубое сукно рукава шинели, независимо от причины взмаха рукою, она всхлипнула неслышно и отправилась к берегу таскать и перевозить раненых.

— Вы... Вы... — пытался выговорить свое возмущение Глеб. — Вы злая и нехорошая женщина!

— Мааал-чааать! Сукин сын! Бабник недотыканный. Юбочник дерьмовый! Решил, что можешь моих девок запросто портить? Хрен тебе! Не обломится тут. Завтра же отправлю в госпиталь — какой подальше. Ищи-свищи там свою Лельку!

— Значит, и правда — у вас бордель тут. Для тех, кто со звездочками. Для офицерья.

— Болван! Недотепа ты, сержант, — сбавляя тон, закруглила неуставную перебранку майорша. — Офицеры, суди сам, за поступки свои ответить могут. К себе в часть взять. Или — если девка забеременеет, то аттестат ей выпишут, в тылу с ребенком обеспечат на первых порах. Это вы, солдатня, — рвань и голь перекатная. Все. Не трожь больше Федюшину. Не то могу и в штрафбат упечь. Лучше расстанемся по-доброму. Приходи к вечеру в штабную землянку, документы оформлю. А утром отправишься в госпиталь под Молвотицы.

Майорша посмотрела вопросительно на молчавшего Глеба, фыркнула недовольно и, поняв, что инцидент исчерпан, пошла от онемевшего в горе Глеба.

А в небе все барражировала неусыпно все доглядывающая "рама". Выла она противно, но даже вой немецкой разведчицы был не так противен сержанту Глебу Тихонину, как вся, прозвучавшая только что, бабья, — сварливая, в чем-то точная, а в главном отвратительно лживая, как старшинская ухмылка при разливе водочного пайка на пять или на шесть дней одной и той же меркой, да, да — такая же лживая майоршина забота о подопечных бабах.

И все в нем взыграло. Не захотел он больше встречаться с майоршей-начальницей, выписывать документы, тащиться в дальний госпиталь. Вспомнил Глеб, что на той же Ловати, еще выше строящегося моста, километрах в пяти южнее, расположен хозвзвод их отдельного разведдивизиона. Решил плюнуть на документы, обещанные майоршей, и драпануть в свой хозвзвод. Оттуда и на свою батарею добраться несложно — подсыхает весной быстро.

Припадая на раненую ногу, твердо втыкая костыль в сухие проплешины на траве, заторопился к берегу.

— Здорово живем, братки! — поздоровался с санитарами. И тут же просительно взял за рукав старшину. — Лель, ты не сердись. Прогоняет меня ваша майорша. В госпиталь гонит утром. А я не хочу. Вы меня перевезите на тот берег, а там я запросто до хозвзвода нашего доковыляю.

Лелька-старшина ахнула, узнав о его решении. Помрачнела вся. Но отговаривать не стала. Поняла, что мать-командирша здорово достала Глеба. До печенки.

А тут на кручу противоположного берега выкатила повозка с ранеными. Разговаривать стало некогда. Глеб торопливо впрыгнул в лодку. Санинструктор Лелька махнула на все происходящее рукой, ибо начиналась работа. Санитары ударили гребями по воде, и лодка привычно задергалась супротив напора высокой полой воды. Когда же, надергавшись, лодка пристала к круче на том берегу, бойцы, привязав ее за нос к колышку, потащили в гору носилки. Глеб попытался было поспеть за ними на ходком своем костыле, но Лелька остановила его, зарыдала, прижавшись сырым, подурневшим от слез лицом:

— Никогда! Никогда не свидеться нам больше. Любимый мой! Кирпатенький мой!

Она жадно, лихорадочно быстро исцеловала глебкино растерянное, но упрямое лицо. Отвернулась на минуту и, выдрав из какой-то служебной инструкции, а может быть, и описи листок, быстро настрочила что-то на нем. Потом сунула листок в карман ватника Глеба. И тут же встрепенулась вся, словно и не ревела только что. И побежала вверх за ранеными.

Глебу взбираться было намного трудней. На середине подъема он потеснился на тропе, пропуская санитаров с носилками, и даже не взглянул на того, кого спускали с кручи. Потом опять запрыгал, преодолевая подъем с помощью костыля.

На гребне, возле повозки, стояла Лелька. Она что-то обнадеживающее говорила второму, тоже неходячему, горемыке. Глеб понял, что двоих одновременно на лодке перевезти нельзя, что Лелька будет ждать, пока санитары с носилками не вернутся. Он постоял возле нее, отчужденно подержал за плечи. И тоже ощутил тяжесть сострадания, переполнявшего маленькую, полюбившуюся ему женщину.

Прощаться они не стали. Он слегка стиснул кисти ее рук. Она расслабилась и поникла. Словно сговорившись, поняли вдруг, что это — конец их любви.

И Глеб заковылял. Но не в лес, откуда выехала повозка. Откуда раньше вывезли и его. Он запрыгал, опираясь на костыль, по лугу, по уже слегка пообсохшим тропам. Апрельское солнце было работящим и сушило, с помощью легкого ветра, весь мир вокруг. Глеб шел напрямик туда, где и впрямь, как рассказывал ему тощий ефрейтор, высились деревянные фермы свежеошкуренных бревен моста.

"А что же — "рама"? — подумал он, задрав в поисках соглядатайки глаза к небу. "Рамы" нигде не было. Вой ее давно уже оборвался. — Слава Богу! Хоть за то, что хищница эта перестала выслеживать, подглядывая и подворовывая сверху чужое счастье!"

И тут сзади что-то затянуло натужно другую песню. Что-то взвыло надсадно, с северо-запада вторгаясь в небо над Ловатью. По-хозяйски вторгалась чужеземная, попирающая все права и законы, армада груженных бомбами "юнкерсов". Легши на крыло, они прямо над Глебом вывернулись так, чтобы пикировать точно по линии моста. И до предела обострив свой рев истошно орущими сиренами, стали срываться в крутое пике, высыпая из-за пазухи кувыркающиеся бомбы.

Все взревело впереди, совсем близко. Глеб бросился на землю, в прошлогоднюю еще воронку. Разрывы с треском вспарывали тишину. Земля ходила ходуном, как при землетрясении. Взлетали в небо фонтаны грязной взбаламученной воды. Бревна почти достроенного моста с треском разламывались, как спички.

Фрицы отправились на второй заход. И в небе, где не видно было ни единого зенитного разрыва, спокойно прочертили курс для повторной бомбежки. Глеб повернулся на спину и смотрел на впрягшуюся в чертову колесницу, кружащую над мостом и его окрестностями смерть. Точно по кругу она заходила на мост. И Глеб именно поэтому считал, что ему повезло, что уж его никак не заденут. Впрочем, иные осколки долетали и до его воронки, но — уже на излете. При этом они фырчали успокоенно и плюхались в открытую глазам бесприютность луга.

Но последний "юнкерс" вдруг почему-то раньше времени перешел в пике, силуэт его в небе превратился в полосочку. Глеб сразу сообразил, что эти бомбы предназначены ему. И в самом деле, загрохотало со всех сторон, и осколки уже не фыркали вяло, а со свистом вонзались во все, окружавшее глебову воронку. Он навсегда распростился с жизнью, с землей, на которой жил и воевал за которую, с Лелькой...

С Лелькой?! Он же ее только что оставил на берегу! Он же всего метров двадцать отошел от переправы. Значит, этот последний "юнкерс" пикировал не на него, а на лелькину переправу, на Лельку, санитаров ее, лодку, дергавшуюся от берега к берегу, раненых... В неустоявшейся еще после бомбежки тишине, в еще оседающем дыму он явственно услышал чистый и неземной уже голос Лельки, прощавшейся с ним, прощавшей его. И, хромая, дергаясь на своем костыле, бросился к яру, который всего несколько минут назад покинул.

Крутой берег Ловати был взрыт воронками. Часть берега, та самая, на которую выезжали повозки с ранеными, сползла вниз. На краю оползня лежала еще подрагивающая ногами лошадь. Брюхо ее было разворочено.

Повозки не было видно. Людей — тоже. Он подошел к свежему обрыву и увидел внизу у воды, под осыпавшейся кручей, искореженной взрывом, лелькино тело. Лелька была неподвижна. Шинель разорвана. Обе ноги были срезаны взрывом и натекшая лужа крови довершала страшное зрелище.

Глеб хотел было спуститься с обрыва к ней, уже не существующей, но еще любимой. А с того берега уже дергалась к месту лелькиной гибели лодка. Санитары неизвестно зачем торопились грести. В лодке стояла начальница-майорша. Она властно распоряжалась всем, и Глебу стало понятно, что лелькино тело соберут и нормально предадут земле. Он свалился на землю и долго плакал на краю обрыва. Теперь, когда Лельки не существовало, его уже ничто не связывало с медсанбатовской жизнью.

Потом он нехотя поднялся, утер грязной рукой слезы и заковылял. Мимо взорванного моста. Мимо пережитого ада — на юг. К тому леску, возле которого приютился хозвзвод разведдивизиона. И где — приютят его.

По пути он ни о чем не думал. Шел тупо.

Лишь сунув зачем-то руку в карман, нащупал в нем бумажку и вспомнил, как Лелька, прощаясь на берегу, сунула ему что-то на память. Это была записка. С одним только словом: "Кирпатенький!"

1995 г.



Михаил Найдич



Михаил Яковлевич НАЙДИЧ (1924) в начале Великой Отечественной войны добровольцем ушел на фронт. Служил в воздушно-десантной бригаде, потом в артиллерии. Воевал на Украине, в Сталинграде, на Дону. Несколько раз был ранен. После четвертого тяжелого ранения попал в госпиталь города Уральска.

Закончил Уральский государственный университет им. М.А.Горького. Первые стихи напечатал в 1949 году. В 1959 году вышла в свет повесть "Шинель на вырост" — о молодых, ушедших на войну со школьной скамьи. М.Я.Найдич — автор более 20 книг стихов и прозы.

Награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом Славы III степени, орденом "Знак Почета" и семью медалями.



ЗВЕЗДЫ, ВСЕЛЯЮЩИЕ НАДЕЖДУ

Снаряд разорвался в двух шагах от Витьки. Конечно, так лишь говорится "в двух шагах", начни мерить — целых пять получится, а то и больше. И если бы все обошлось, он, дождавшись темноты, может, и отсчитал бы эти шаги — от своей неглубокой, поросшей колючками ямки, до свежей воронки, где, как всегда, в первое время сохраняется кисловатый запах пороха и дыма.

Но не обошлось. Ранение было множественным. Перебиты ноги, осколки вонзились в правую руку, повыше локтя, в левое плечо, один попал в голову — по касательной, правда. Кровь сразу же стала заливать глаза, но тут же появилась и успокоительная мысль: "Слегка задело. Кабы что серьезное, сейчас не соображал бы вовсе". А вот с ногами худо, особенно с правой. Сперва даже показалось, что огромная тяжесть, ну, грузовик, даже больше — дом, свалилась, придавила ногу, расплющила. Серые пропыленные обмотки стали быстро темнеть, будто пропитываясь обыкновенной водой. До наблюдательного пункта было несколько метров, и Витька пополз.

Он вгорячах сумел даже встать, отодвинуть плащ-палатку у входа и ввалиться в землянку. Капитан Солодков, комбат, оторвался от стереотрубы, сердито зыркнул, ругнулся, — чего, дескать, демаскируешь. Но увидев побледневшего Витьку, его мокрые, теперь уже малиновые обмотки, ругнулся вторично. И в третий раз произнес "ё-моё", и стал, торопясь, разрывать зубами индивидуальный пакет. А лейтенант Кушнир уже разматывал мокрые обмотки.

Пакета оказалось мало: на одну чалму бог знает сколько бинта ушло, а плечо и перевязывать не стали, — крохотный осколок ушел глубоко, рубаха присохла к ранке; спасибо и на этом. Витька старался не стонать, но плохо получалось, хриплые звуки срывались с его раскаленных губ. А глаза были сухие. Витька мог плакать от обиды, от злости, от душещипательного романса, наконец, но не от боли. От боли стонут, ревут, ругаются, даже бессвязно поют порой, чтобы заглушить её, проклятую. Так, по крайней мере, было у него, уже дважды раненного: и в прошлом году, и в сорок первом.

Но то были царапины. А нынче ...

Обстрел усилился. Стены землянки дрожали. И все же трудно было выбрать более удачное место для наблюдательного пункта. Хороший обзор; а справа, поблизости — ходы сообщения вплотную к реке. Это там льдисто сверкал Донец, еле видимые бугорки воды.

— Сейчас ему врежем, дадим ему, — сказал Солодков, не отрываясь от стереотрубы. Было ясно, кому это "ему". Солодков схватил телефонную трубку и передал команду на батарею; он так и прикипел к окулярам, крутанул колесико, добиваясь резкости, замер. А через несколько минут, когда снаряды провыли где-то над головой, комбат всмотрелся в дымные столбы на горизонте и прокричал:

— Так их, туды их, з-зараза... — И Виктору, тем же повышенным голосом: — Косенков! Поглядеть сможешь? Погляди, как мы их в лепешку! — Он не сказал — это, мол, за тебя, но, наверное, хотелось.

— Не дотянуться мне до стереотрубы, — простонал Витька, ему стало и вовсе плохо, и, продолжая стонать, он добавил: — Жмёт, ослабить бы чуток.

Солодков догадался: это он о поясном ремне, которым перетянули ногу; поглядел на лейтенанта. Кушнир покачал головой.

— Жгут ослаблять нельзя, потерпи, слышь, не раскисай. Меня на прошлой неделе в спину ранило, и ничего, хожу.

— Так то в спину, — с трудом выговорил Витька. Попытался сдержать стон, но теперь его стало лихорадить, защелкали зубы.

Солодков присел рядом на корточки, приблизил свое лицо.

— Потерпи, сынок, ну часик еще, другой. А там отправим.

Витька уже плохо соображал, то ли от потери крови, то ли от этой чертовой лихорадки, но удивился страшно. Конечно, капитан старше его лет на десять, а может, и на пятнадцать, но... сынок?.. За все эти месяцы ни разу не приходилось слышать от него такое. Да и Кушнир заговорил столь же ласково, мечтательно:

— Вот отправят тебя в Новосибирск, пойдешь в театр. Там, знаешь, какой театр, во!

Витька знал, что Кушнир учился в Новосибирске, в железнодорожном институте, но с первого же курса ушел в артучилище. И все-таки удивился: "Почему именно в Новосибирск? Да хоть куда могут отправить". На мгновенье представил себе большой тыловой город, где нет ни выстрелов, ни взрывов, и люди спят в постелях, даже подушки под головой. Такое было давным-давно забыто, казалось, неправдоподобным; мелькнуло — погасло. Как вспышка отсыревшей спички.

Силы уходили. Витька прикрыл глаза, но темноты не было — были какие-то круги, зеленые, розовые... Новосибирск, Сибирь?.. Как еще добраться туда!.. Сперва дадут прикурить в санбате да в полевых госпиталях — начнуть кромсать, рвать тело, железо всякое вытаскивать. Это он уже знал, хотя после первых двух ранений дальше медсанбата не попадал.

Лейтенант Кушнир, согнувшись, выглянул наружу, повертел головой и решительно кивнул. До рощицы, сказал он, не более четырехсот метров, ну, полкилометра, в крайнем. Надо попытаться туда ползком.

— Ляжешь на плащ-палатку, поволоку тебя.

Витькино согласие — "угу" — было очередным хриплым стоном.

Худой, жилистый, гибкий в поясе лейтенант оказался крепким парнем, да и в Викторе наверняка менее четырех пудов. Палатка легко скользила по сухой степной траве, но так было до первой колдобины, до первого бугорка. Витька взревел от жесточайшей боли, захлебнулся собственным криком, закашлялся. Показалось ему, что отрывают ногу, всю правую стопу. Поблизости стали рваться снаряды, мины, в стороне прочертила воздух трассирующая пулеметная очередь. Можно было подумать: услыхали Витькин крик на той стороне — и навалились огнем и сталью. Всё, конечно, по-иному, но казалось, что именно так.

Они испуганно прижались к земле, голова к голове.

— Толя! Ничего не получится, накроют нас, — прошептал с трудом Витька.

Кушнир хмуро кивнул, скорее даже не кивнул, а моргнул.

— Придется назад. Черт бы их побрал! — И потащил обратно.

Его смуглое лицо, вдобавок почерневшее от напряжения и неудачи, покрылось потом, блестело. Шумно глотая воздух, он все же утешал Витьку: мол, ерунда, не из таких переделок выходили, да и раны не очень страшные...

Когда они снова появились на НП, Солодков досадно крякнул и снова стал звонить на батарею:

— Егорунин? Это двадцать третий. Как стемнеет, подводу сюда, разведчик у нас ранен ... да, Косенков, да, тяжело ... Как завечереет — сразу и посылай!

Остальное Витька помнил не очень. Батарея по команде Солодкова продолжала вести огонь; капитан, скорее всего, был доволен, но все время говорил вполголоса:

— Маловато снарядов, жаль.

В наступающих сумерках появилась не только поскрипывающая телега, но и несколько человек связистов. Начали сматывать кабель — по всему видать, батарея меняла позицию, да и наблюдательный пункт перемещался. Витька временами впадал в забытье, проваливался, потом снова приходил в себя, видел небо — теперь уже не синее, а грязновато-серое, с едва заметными светлячками звезд. Связисты находились недалеко от телеги, на которой лежал Витька, но почти никто не глядел на него, каждый занимался своим делом.

Внезапно Витька догадался, почему никто к нему не подходит. "Решили, что каюк мне, раз башка кровавой чалмой обмотана. Нет уж, братцы-кролики! С башкой всё нормально: кожу повредило на виске, ну, наверное, еще клок волос выдрало, пустяки это ... Ноги, ноги!"

... Палатки медсанбата находились недалеко от реки, в узком овраге. Витьку внесли в одну из них, и он вскоре оказался на столе, под светлой и большой, как кулак молотобойца, лампой. Долгое время к нему не подходили, затем над самым ухом раздался голос: "А этот с чем пожаловал?" — и стали отдирать присохшие бинты. Прелесть, самое приятное в жизни! — Витька заскрипел зубами и приказал себе: только не напрягаться, ни в коем случае! Расслабиться, так, еще, еще ... Обезболивающий укол принес облегчение; с ногой еще что-то делали, резали, наверное, но все теперь было вполне терпимо. Из разговоров он понял, что на ногу кладут не гипс, а шину.

— А с головой что? — услышал Витька слегка насмешливый голос и узнал его: да это же хирург Иванов Валентин Саввич, майор медицинской службы, старый знакомый, можно сказать. Хирург привычно, ловкими движениями снимал повязку.

— Вы не узнаете меня? — Витька хотел спросить бойким голосом, получилось, однако, как-то жалобно.

Бинт был снят, брошен в тазик. Врач всмотрелся.

— Косенков, никак? Теперь узнаю, снова, брат, тебя значит... А концерты наши помнишь?

Витька зажмурился: еще бы не помнить.

Год тому назад с несерьезным пулевым ранением в левое предплечье он уже побывал в этом медсанбате. Сперва думал — больше двух недель не продержат, продержали четыре. Правда, как и другим легкораненым, пришлось тогда Витьке поработать здесь: в те дни шли бои на Дону, на подступах к Волге, потери росли, людей не хватало. А работали в санбате так, что валились от усталости. Впоследствии Витька частенько думал о том, что же придавало силы врачам, сестрам? Чувство воинского долга? Призвание спасать человека — это? Да, конечно. И еще одно. Они, медики, в любой час и любую минуту со всей наглядностью видели: другим-то хуже, тяжелее. Но если даже можно притерпеться ко всему, в том числе и к людским страданиям, то все же не настолько, чтобы забыть эту простейшую истину о себе самом и тех, кто рядом. И пусть говорят: плакать над каждым изувеченным и убитым — слез не хватит; это говорится умом. Есть еще и сердце.

Вспомнилось Витьке, как, впервые попав в медсанбат, он в тот же день услышал звуки скрипки. Музыка доносилась со стороны рощицы, где стояли санитарные машины. Оказалось, что отправляют в полевой госпиталь очередную партию раненых, и врач Иванов решил на дорожку поиграть им. Стояла тишина. Когда Иванов закончил играть, аплодисментов не было. Было большее: задумчивые улыбки, просветление на лицах людей. "Вот человек! — говорила санитарка Фрося, нескладная веснушчатая дивчина. — Ему бы отдыхать после операций, а он за инструмент хватается!"

Иванов играл соло, безо всякого сопровождения, это его не очень устраивало. Он ежедневно подходил то к одному, то к другому раненому:

— На баяне не играешь? А на гитаре?

Подошел как-то и к Витьке. Огорченный его ответом, уже отходил в сторону, но Витька вдогонку сказал:

— Товарищ майор, я на мандолине умею.

Иванов на мгновенье задержался, вздохнул:

— Играл бы на гитаре, мы бы тебя здесь оставили, стал бы медбратом. — Он проговорил эти слова так, будто подарок сделал. Витька даже обиделся.

— Какой из меня брат! — И попытался сострить. — Я в семье один, ни братьев, ни сестер.

Но Иванов уже обдумывал что-то свое. Он сказал, что по соседству стоит химрота, а в химроте есть мандолина /сам видел!/, а на ней никто из этих физиков-химиков ни бум-бум. Витька пошел на попятную:

— Да я уж и позабыл, как на ней тренькают! В школьные годы посещал струнный кружок при Дворце пионеров, а с той поры и в руках не держал.

— Ничего, подержишь, — отрезал Иванов. — Тебе, учти, при твоем ранении одна только польза, разминка пальцев. Скорее выздоровеешь.

— Ну, ежели так...

К вечеру принесли мандолину. В тот день Иванову, однако, было не до музыки: операция за операцией, раненые все прибывали. А Витьке удалось выкроить несколько минут, чтобы настроить мандолину. Настраивалась она, кстати, как и скрипка, — по квинтам: соль-ре-ля-ми. У Валентина Саввича Иванова нашлись даже ноты: "Песня без слов" Чайковского и один из "Венгерских танцев" Брамса.

— Разбирай пока, — сказал мимоходом хирург.

— Ладно, попробую ради хохмы. Все равно ни хрена не получится, — согласился и одновременно усомнился Витька, и подумал: "Попробовать можно. И ту и другую пьесу в общем-то знаю, и по радио слышал, и так ..."

Через несколько дней, вечерком, уселись они под скособоченной липой, ноты с собой прихватили. Витька даже продекламировал: "Проказница мартышка, осел, козел да косолапый мишка затеяли ..."

— Осла и козла нет, вместо них мы с тобой, — хмуро отрезал Иванов. — Давай сперва "Дунайские волны" попробуем, в ля-миноре. Только не торопись, держи ритм ... три-четыре!

Что-то у них получалось, по крайней мере, лучше, чем Витька предполагал. Конечно, мандолина тоже солирующий инструмент, она не для аккомпанемента создана, — звучал в основном унисон, но в отдельных местах Витьке удавалось находить аккорды, сопровождая основную мелодию. Хуже шло дело, когда они принялись за Чайковского и Брамса: ошибок больше и однотонность, однотонность, которая больше всего сердила Валентина Саввича:

— Послушай, да нельзя же так, дорогой! Здесь надо тихо-тихо, как бы сойти на нет, а вот здесь громче, еще и еще, и постепенно дойти до форте, а к концу снова убавить звук до предела. А ты! Одно да потому, никаких у тебя оттенков.

Он всерьез расстраивался, глаза в такие минуты становились печальными, а нос с горбинкой опускался. В такие минуты Иванов был похож на армянина или еврея, вздыхал, покачивал головой.

Витька понимал свою неправоту, но ему почему-то хотелось позлить Иванова. Он обращался к нему сугубо официально: "Товарищ майор медицинской службы!.." — и далее говорил, что для укрепления пальцев надо играть "без всякого Якова", без этих самых нюансов, а жать на всю катушку.

— Ты мне эти катушки брось! Тут тебе не войска связи, тут музыка! — свирепел Иванов.

— А я, между прочим, не связист, — ехидно уточнял Витька. — Я разведчик.

И все же утихомиривался под конец, соглашался, старался играть с чувством.

Как это все далеко теперь. Одно дело — легкое ранение, санбат, передышка между боями. Нынче же все по-иному: правая нога перебита, костылей не миновать; хоть бы и вовсе не оттяпали ее в госпитале, подумал Витька. И откровенно спросил об этом Иванова.

— Наверное, оставят, — неторопливо сказал Валентин Саввич.

Витька поверил, обрадовался, попытался опять сострить:

— Оставят на добрую и долгую память?

Иванов промолчал. Затем приказал сестрам:

— Голову не перевязывать, он этой своей чалмой только братьев-славян пугает, хватит с него и наклейки.

И снова Витька попытался пошутить:

— Бинта пожалели, Валентин Саввич?

И тут же вздрогнул от прикосновения к виску холодной и влажной марлевой салфетки. Наверное, пропитали мазью Вишневского или риванол это, может, — салфеточка ведь чем-то желтым пропиталась. Каждый, кто по ранению попадал в санбат или госпиталь, конечно же, сразу становился "знатоком" — мог перевязать, а то и осколок извлечь, если поверхностный. А уж эти мази, видали мы их!

Кратковременное возбуждение, вызванное встречей со знакомым врачом и воспоминаниями, гасло, уходило; боль постепенно усиливалась; Витька снова начал стонать. Лежал он сейчас на траве, возле хирургической палатки, под ним была старая, неизвестно чья, шинель, вся побитая то ли осколками, то ли просто временем. Яркие звезды висели над землей. Звезды были привычные, такие, как в детстве: одна Медведица, другая; а вон и планета, огромная и беспокойно мигающая.

Мимо прошел высокий плечистый санитар, Витька припомнил его фамилию и окликнул:

— Мосин, а, Мосин!

Тот подошел, глянул с самого верхотурья на то, что у ног. — Не узнаешь, Мосин?.. Ладно, хрен с тобой, принеси попить, дружище, хоть четверть фляги.

Мосин подумал и ответил:

— Нельзя тебе, не положено, тебе ж наркоз только-только давали.

— Да не давали мне, — рассердился Витька. — Ей-богу, не давали! Укол в правое копыто сделали, а наркозу не давали.

Мосин недоверчиво пожевал губами, наконец изрек:

— Не имею полного права, дам попить, а тебя рвать начнет. Все вы про наркоз одно и тоже, отрицаете. Ну вас! — И пошел дальше, виляя ниже спины.

— Бугай! — вслед ему прошипел Витька, поглядев на его широченные шаровары. Шаровары Мосин носил и год назад, они были пошиты из трофейного пятнистого маскхалата и округло, как у запорожцев, опускались на сапоги.

В полночь стали вывозить раненых. Тяжелых среди них не было, парни, помогая друг другу, почти без труда, ненатужливо влезали через откинутый борт в кузов. Один, правда, подходил к машине с трудом, опираясь на плечо медсестры. Это бы-

ла Вера, Верка, как чаще называли её подруги, — пышнотелая влюбчивая хохотушка, Витька помнил её с прошлого раза. Опять, наверное, в кого-то влюбилась. Обычно она, — Витька хорошо знал, — провожая кого-либо в дорогу, напевала довоенное танго "Мы с тобой случайно в жизни встретились, оттого так просто разошлись"; показалось, что и сейчас что-то такое мурлычет.

"Чего ж они, туды их в дрезину, меня не кладут", — забеспокоился Витька, и, словно на расстоянии услышав его, рядом возник, вынырнув из темноты, Валентин Саввич.

— Тебя мы на телеге отправим.

— Воля ваша, — простонал Витька, теперь опять каждое его слово сопровождалось хрипловатым стоном. — Однако трясти будет больше, в машине-то помягче.

— Зато в телеге свободнее. Один ты, в случае толчка никто не придавит.

Вскоре и телега подкатила, перенесли на нее Витьку, накрыли все той же старенькой шинелкой. Санитар Мосин по-хозяйски схватился за вожжи, а сопровождающей назначили Фросю.

— Езжайте, — сказал Валентин Саввич, и уже одному Витьке: — Лечись, чтоб скорее мог за мандолину взяться.

Когда они отъехали на некоторое расстояние, Мосин насмешливо сказал о майоре: — Называется напутствие: скорее, мол, за мандолину берись! Почему, спрашивается, за мандолину, а не за винтовку? А?..

Сказал он это так, как порой говорят разозленные фронтовики о тыловых крысах. Витьке стало обидно за Иванова, он наверняка вступил бы в перепалку с Мосиным, если б чуть меньше болела нога, рука, все тело. Ну и субъект! Пристроился здесь, так всю войну и просидит. Витька знал, что в медсанбатах и других тыловых подразделениях используют выздоравливающих, а тех, кто покрепче, отправляют на передовую, — возможно, указание на этот счет имеется. Но этот тип окопался основательно, его и танками не вышибешь. Хотя с другой стороны, подумалось отходчиво Витьке, силушка и здесь нужна: не все же такие хиляки, как он, Витька,а ежели, к примеру, ранят комбата Солодкова, его семипудового не каждый поволокет — тут такие Мосины позарез требуются. И все же не по душе он был Витьке, даже редкостное имя его Тит не нравилось. Наверное, из раскулаченных, с бухты-барахты решил Витька.

Телега плавно покачивалась, дорога была ровной, прямой, изредка по обе стороны появлялись кусты — неподвижные, мохнатые, как звери. В сиянии звезд и в лунном свете они казались совсем ручными, слегка таинственными, но не страшными ... Господи, как прекрасно было бы плыть сквозь такую же лунную ночь куда-то в неизвестность — и чтобы никакой войны, никаких тебе ранений. Ведь сколько раз уже бывало на его веку, на веку восемнадцатилетнего парня, когда мир, огромный, многозвучный, широкий, как эта слегка тронутая ветром украинская степь, вдруг начинал суживаться. И суживался до больничной койки. И исчезало его многозвучие, оставались лишь одни протяжные хриплые звуки — как стон подбитого человека или зверя...

Прошло не менее часа, телегу несколько раз тряхнуло на ухабах, Витька аж задохся от боли, всхлипнул, захотелось даже крикнуть: не дрова, мол, везете! Сознание на какой-то миг затуманилось, оборвалось, но вскоре он, ослабевший, со

взмокшим лбом, снова лежал с открытыми глазами, глядел на звезды — такие высокие, недосягаемые. И кажется, забылся, вздремнул.

Это был не сон, а лишь жалкое подобие его: нелепые, горячечные обрывки каких-то событий, звуков, слов, произносимых и услышанных в пустоте. И самым безболезненным было здесь одно — провалы, когда исчезают звуки, слова, искаженные несуразные события, и ничего уже не остается, — ничего реального.

Витька медленно выныривал из забытья, а когда вынырнул и, боясь шелохнуться, хватанул раскрытым ртом синий ночной воздух, не на шутку встревожился. Он внезапно почувствовал что-то новое, доселе неведомое. "Почему стоим?" — удивился он, хотел спросить, а может быть, и закричать, но вместо вопроса получилось что-то нечленораздельное, словесная каша какая-то. Тишина. Ни мягкого стука копыт по пыльной дороге, ни скрипа колес. И тут откуда-то справа, из кустов, раздался смущенный голос Фроси:

— Счас, миленький, счас, родненький, поедем. — Она подходила к телеге, оправляя на себе одежду. Застегивая штаны появился и Мосин, он стал высекать искру кресалом; трут, вернее всего, занялся, потому что запахло дымком, а затем и махорочкой от самокрутки. "Тоже мне, нашли время забавляться, — презрительно подумал Витька. — Им же приказали поскорее доставить тяжелораненого. А они!" Он хотел красиво, творожистым комком, сплюнуть, но это у него не получилось, потому что горло пересохло, спазмы сдавили его, а по щеке неожиданно покатилась слеза. Глупая, одна-единственная ...

Мосин, как бы догадавшись о Витькином пересохшем горле, миролюбиво предложил:

— Попить хочешь? — И протянул флягу. — На, держи.

Витька демонстративно повернул голову в другую сторону, но жажда, сперва подавленная, опять стала донимать его.

— Ладно, дай глотну.

Мосин протянул металлическую с крышечкой баклажку в плотно облегающем суконном чехле и сказал, что у него таких ого сколько и что Витька даже вполне может оставить ее себе, в качестве подарка. Витька, конечно, знал, что в госпиталях положено сдавать все военное имущество, и флягу в том числе, но возражать не стал, послушно положил ее рядом с собой, у плеча. А тут еще Фрося затараторила: "Скоро тебя, миленький, подлечат, на ноги поставят, на танцы будешь ходить".

"Ну да, на танцы ... в Новосибирске, — криво усмехнулся Витька. — Даже утешить по-людски не умеют ... На танцы! Будто других забот на свете нет!" А в общем, не так уж и плохо. Ведь где-то остались и танцплощадки. И яркие лампы, и прожекторы, которым не грозит светомаскировка, приятно, должно быть, прийти туда, пусть и опираясь на палку.

Хотелось поворчать, но ни одного слова больше не сказал Витька ни Фросе, ни Мосину, сам уже почувствовал — оттаивает. Тут только начни! Он почти не сердился на них: дело, дескать, молодое. Внезапно вспомнилось, что они к тому же земляки, — Мосин из-под Красноярска, а она, кажись, с Алтая. Может, после войны поженятся? Может, еще и встретимся где? Хоть на тех же танцульках, а что! — всякое случается. Витька нащупал левой, сравнительно здоровой рукой на-

грудный кармашек на гимнастерке. В нем, тщательно завернутые в свежую дивизионную газету "Сталинская гвардия", лежали две медали, полученные за последние полтора года. А главное — он начинал и правда верить, что не все так уж страшно, как спервоначала показалось. Жизнь продолжается. И звезды над ним такие же, как в лучшие дни и годы — огромные, вселяющие надежду. А то, что сейчас они начинают бледнеть, так это же просто-напросто светает. Солнце, отдохнувшее за ночь, начинает свою обычную прекрасную работу. И, между прочим, в том довоенном танго, которое постоянно поет влюбчивая Фросина подруга Верка, есть слова не только про то, что "случайно встретились и просто разошлись", но и другие: "Видишь, утро снова разгорается, разгоняет солнышко туман".

На взгорке показалась деревня, Мосин присвистнул, хлестанул лошадку.

— Приехали? — спросил Витька. — Тут, что ли, госпиталь?

— Нет, миленький, — ответила Фрося, обрадованная, что он наконец-то заговорил, — не здесь. А вот следующая деревня — точно наша.

И они, не останавливаясь, пролетели дальше.

В ОДНОМ ГОРОДЕ

Отрывок из повести "Шинель на вырост"

...А в родном городе происходили трагические события.

На следующий день после отъезда Григория и Володи фашистские моторизованные части пытались с юго-запада выйти к Днепру и закрепиться там, им на помощь было брошено парашютно-десантное подразделение. Немцы из орудий и минометов начали жесточайший обстрел города через реку. Город запылал. Среди части населения началась паника, люди, схватив кое-какие вещи, а то и вовсе без вещей, кинулись вон из города. Десятки машин и сотни телег тянулись по всем дорогам на северо-восток, к станции Кобеляки и дальше на Полтаву. Раненые лежали прямо на улицах, их едва успевали перевязывать. На заводах поджигали цехи, выводили из строя машины, чтобы они не достались врагу.

А между тем фашисты были остановлены и отогнаны от Днепра на несколько километров. Но регулярных частей Красной Армии было мало, им на помощь, спешно вооружаясь, шли батальоны народного ополчения. Переправлялись через реку на баржах и лодках.

Одной из рот ополчения командовал Александр Александрович Стороженко. В первом взводе этой роты находились Петька Вовчок и Жора Котов; в пулеметном расчете вторым номером был Сема Штейнберг. Работник типографии Медведев, хорошо владевший пулеметом, только покачивал головой:

— Ну и ну! Дали же мне второго номера—очкастого! Как же ты стрелять будешь, если тебе вдруг стекла поломают?

— Ничего!—спокойно улыбался Сема.—Ближе подпускать буду.

Петька Вовчок до самого вечера переправлялся с одной стороны Днепра на другую, должность связного ему нравилась, хотя к концу дня он буквально шатался.

Глаза ввалились, руки ныли от весел. Добираясь переулками к оставленной у берега лодке, Петька очутился рядом с домиком Игоря Кругляша. Поправив на плече карабин, стукнул в окно. Никто не ответил. "Наверное, в погребе сидят",—подумал Петька и только тут заметил, что на подоконнике стоят цветы, а на окнах белеют кружевные занавески, которые Маргарита Васильевна вешала по праздникам.

— Эх, гады!—выругался Петька.—Я же говорил, что они немцев ждут. Гранату бы им в окно, чтобы костей не собрали!

Подойдя к лодке, положил на днище карабин, взялся за весла. Справа и слева падали мины, поднимая фонтаны зеленоватой воды. Но огонь был не прицельный, да и утихал понемногу. Небо хмурилось, затягивалось лиловыми тучами, несколько раз сверкнула молния. Петька налег на весла, откидываясь назад и почти касаясь банки, обрызганной смолой. "Нужно дотемна добраться в роту",—думал он. Когда стал накрапывать дождь, лодка носовой частью врезалась в песок. Схватив карабин и выбросив цепь, Петька выскочил на берег.

Бой шел где-то за рабочим поселком, не прекращалась перестрелка, горизонт заволакивался дымом. На ходу досылая патрон и ставя карабин на предохранитель, Петька пробирался по улицам поселка. Безмолвие — не слышно даже собачьего лая, попрятались старики и дети, ждут, надеются, что отгонят фашистов. Только возле некоторых домов деловито дымят походные кухни, стоят груженные хлебом фургоны. Интенданты готовятся кормить красноармейцев и ополченцев, ведущих бой на западной окраине поселка.

Поднявшись на бугор, Петька оглянулся. Сквозь косую сетку дождя увидел огни за рекой—горел город. "Как старики мои? Благополучно ли доберутся до Полтавы! Хоть бы не разбомбили их!" Еще раз взглянул на колеблющиеся языки пламени, до боли сжал челюсти и пошел, не оглядываясь, дальше.

Темнота сгущалась, постепенно умолкала стрельба. За крайними домами поселка бойцы рыли окопы, ходы сообщения. Пока дождь сыпал мелко, было приятно после знойного дня подставлять ему навстречу голову и распахнутую грудь, но с каждой минутой он усиливался—намокала одежда, по телу пробегали холодные струйки. Люди группами уходили в дома—передохнуть, обсохнуть.

Петька нашел Александра Александровича в глубокой траншее и доложил о своем прибытии. Тот молча кивнул, пробираясь по узкому ходу к полуразрушенному домику. Сзади шли командиры взводов. Отстав на несколько шагов, Петька последовал за ними.

В домике было темно и пахло дымом. Завесив единственное окно, Петька наладил коптилку. Колеблющийся язычок пламени выхватил из темноты суровые лица людей, их тяжелые руки, сжимающие оружие. Александр Александрович, чуть горбясь, подошел к столу, захрустел белой картой. Ладонями расправив ее и подкрутив коптилку, жестом руки попросил командиров приблизиться к столу. Послышался шум сдвигаемых табуреток.

— Вот здесь немцы, в Горбуновке, это пять километров отсюда.—Александр Александрович еще ниже склонился над картой.—Завтра будем вышибать их. А до утра нужно произвести разведку: узнать расположение артиллерийских и мино-

метных позиций, количество стволов, захватить языка. Для этого я и собрал вас, давайте подумаем вместе.

— Чего тут думать,— сказал один из командиров, вставая.—Я поведу. Разрешите.

Петька, находясь у самых дверей, с напряжением следил за происходящим. Он знал командира, который вызвался возглавить разведку. Это был младший лейтенант запаса Сальников, участник войны с Финляндией, заядлый футболист.

Александр Александрович минуту сидел молча, раздумывая и глядя то на карту, то на младшего лейтенанта. Наконец он сказал:

— Хорошо. Сколько человек вам нужно, чтобы выполнить задание?

— Четыре. Я пятый. Людей можно будет отобрать среди добровольцев.

— Александр Александрович!.. Товарищ старший лейтенант!..—Петька, не имея сил больше молчать, подошел к столу.—Пошлите меня в разведку! Я не подведу! Вот увидите!..

Староженко из-за плеча взглянул на него сердито. Отвернулся. Постучал карандашом по карте.

"Не возьмут!"—ужаснулся Петька и заговорил взахлеб:

— Александр Александрович! Товарищи командиры! Я... я... Пошлите меня! Ну прошу вас!

— Обращайтесь к младшему лейтенанту, он отберет людей по своему усмотрению.

Петька с мольбой смотрел на младшего лейтенанта Сальникова, а тот изучал его пристальным взглядом. Стороженко повернулся к ним и проговорил насмешливо:

— Парень он ничего. Но невыдержанный, больно горячий.

"Ну, все! Отказ!"—решил Петька и даже отступил на полшага.

— Воля ваша,—покорно и тихо сказал он.—Но учтите, я Горбуновку еще с детства знаю, там у меня тетка жила. Каждый дом, каждую тропинку...

Младший лейтенант закурил папиросу, спрятал обгоревшую спичку в коробок и коротко сказал:

— Беру! Отдыхайте пока, Вовчок, и готовьтесь.

— Есть!— и Петька попятился к выходу.— Есть! — снова повторил он у порога и стремглав выскочил на улицу.

Больше всего боялся, что кто-то окликнет его, прикажет вернуться и скажет, что все это шутка и в разведку пойдет не он, а совсем другой человек. Шел, не разбирая дороги, напрямик, по лужам. Хлюпала под ногами грязь, надрывно всхлипывали дождь и ветер, брызги ударяли в лицо. Но что ему теперь и грязь, и ветер, и брызги!

Дойдя до землянки, нырнул вниз. Задел карабином за бруствер траншеи, посыпалась земля на голову, но он и этого не заметил. Растолкал Сему, Жору и Медведева, зажег спичку и поднял ее над головой:

— Эй, лежебоки, вставайте, я в разведку ухожу. Ежели желаете, идите проситесь... может быть, тоже возьмут.

— Ну!— вскричал Сема.— Это Александр Александрович посылает?—и ринулся было к выходу.

Жора пыхтел, надевая сапоги, встал, не говоря ни слова.

— Куда?— закричал Медведев.— Ты, Котов, можешь идти, дело хозяйское, ты мне не подчинен, а тебе, Штейнберг, приказываю остаться. Ясно?.. Кто у нас первый номер? Я. Вот я и выясню, что это за разведка затевается, а ты лучше еще раз пулемет проверь.

Медведев еще утром прикрепил к петлицам по одному треугольнику. Как-никак, младший сержант. Сема вздохнул:

— Есть проверить пулемет!

Спичка в руках Петьки погасла, но он хорошо представил, какое сейчас лицо у друга.

— Не переживай, Сема. Может быть, и тебя пошлют.

Сема отрицательно покачал головой.

— Нет, чувствует моя душа: о себе-то Медведев договорится, а обо мне говорить не станет.

Предчувствие не обмануло Сему. Через пятнадцать минут вернулись Медведев и Жора—веселые, возбужденные, было ясно, что и их включили в разведгруппу младшего лейтенанта Сальникова. Снимая мокрую плащ-палатку, младший сержант хлопнул по плечу своего подчиненного:

— Чего ты, Сема, нос повесил? Хватит на твой век и разведок, и атак, и наступлений: еще придется фашиста гнать.

— Да-а, вам хорошо рассуждать, товарищ Медведев, сами-то на задание уходите, а я остаюсь.

— Ну и что! Нельзя тебе идти; какой же из тебя разведчик—в очках?

Сема вспылил:

— Опять вы про очки! По-вашему, если человек смотрит невооруженным глазом, так ему можно и в разведку идти и куда угодно, а мне...—и он огорченно склонился над пулеметом, протирая в который раз все части и давая понять, что разговаривать на эту тему больше не желает.

Вскоре Петька, Жора и Медведев ушли в землянку младшего лейтенанта Сальникова. Там, кроме него, находились Александр Александрович и широкоплечий, угрюмого вида старшина — пятый человек, вошедший в разведгруппу. По каске Александра Александровича медленно катились дождевые капли, он снял ее, вытер платочком лоб и попросил разведчиков сдать все документы. На снарядном ящике, заменявшем стол, вырастала горка бумаг. Трепетный свет от коптилки скользнул по обложкам комсомольских билетов, справок, аттестатов. Петька задержал в руках фотографию, вскинул глаза на Александра Александровича.

— Товарищ старший лейтенант, разрешите мне оставить это у себя!

Сдерживая волнение, Стороженко рассматривал карточку. Три года тому назад. Школьный двор. И он, классный руководитель, в окружении учеников,—Вовчок, Гриша, Володя, девочки. Все улыбаются и чуть жмурят глаза: летний день, солнце— в лицо.

— Разрешаю,—выдохнул Стороженко и нахлобучил каску.

Потом осматривали оружие: автоматы, запасные диски, гранаты, примеряли пятнистые немецкие плащ-палатки—первые трофеи, захваченные еще днем. Обжигаясь кипятком, пили чай вприкуску, отдыхали. К двенадцати часам потянулись к командному пункту, расположенному на западной окраине рабочего поселка. Короткое прощание—и, минуя крайние дома, разведчики исчезли в темноте, в густой и мелкой сетке дождя.

Холодные капли, совсем осенние; в двух шагах не видать друг друга. А вдали темноту прорезают частые вспышки ракет, за которыми следуют автоматные очереди. Чаще всего — короткие, и только иногда разойдется автомат, зачастит скороговоркой, но куда палит, неизвестно. "Может быть, заметили нас?"—тревожно думают разведчики, камнем падая после очередной перебежки. А земля сырая, липнет к одежде, к рукам.

— Однако не прицельно стреляют... так, в воздух,—приглушенным басом говорит младший лейтенант Сальников.

Его слова действуют на всех успокаивающе.

Деревня Горбуновка находится за широкой проселочной дорогой. Как пересечь ее? Сальников задумался, всматриваясь в темноту. Он уже рассчитал примерное время между двумя вспышками ракет. Стремительной перебежкой можно проскочить через дорогу, но опасно: интервалы между ракетчиками на этом участке незначительные: сто — сто пятьдесят метров. Ползти в сторону? Сплошная грязь там, измучаются люди, время уйдет, а ведь главное впереди. Но Сальников решительно отдает команду. Разведчики поползли вправо, вдоль дороги, в ста метрах от нее. При каждой вспышке ракет приникали к земле, лежали недвижно. Через час они благополучно перешли дорогу и добрались до Горбуновки.

Засели в кустах, у крайних домиков деревни. Впереди глухо и раздраженно урчали автомобили, чужая, непонятная перебранка долетала оттуда. "Эх,—вздохнул Сальников,—язык бы знать". Вскоре мимо кустов, где спрятались разведчики, стали проходить цепочкой гитлеровцы, перетаскивая что-то тяжелое. До боли в глазах всматривались бойцы в темные фигуры.

— Ага! Снаряды перетаскивают,— тихо сказал Сальников,— машины, значит, боеприпасы привезли, а эти тащат их на огневые позиции.

Напряженно молчали разведчики, стараясь проследить, куда немцы уносят снаряды. Прошло еще немного времени. Петька затряс Сальникова за плечо и горячо зашептал в ухо. Шептал так, что трудно было различить его слова:

— Товарищ младший лейтенант! Разрешите мне к ним пристроиться. К фашистам. Сойду за подносчика. Ведь темнота. Разрешите, прошу вас!

Сальников вспомнил слова Александра Александровича о Петьке: "Невыдержанный, горячий", и хотел было оборвать его, но внезапно, тяжело задышав, согласился:

— Действуй. Только... смотри, осторожней!

— И мы пойдем! — сказали остальные разведчики.

Обогнув крайний домик, трое — Петька, угрюмый старшина и Медведев вышли к тому месту, где стояли машины с боеприпасами. Хорошо, что не прекращался дождь. Плотнее запахнув трофейные плащ-накидки, взяли по снаряду. Казалось, что сердце бьется не только в груди, но и в горле.

Вскоре, однако, успокоились: фашисты, мокрые от дождя, по-прежнему понуро перетаскивали снаряды, не обращая на окружающих никакого внимания. Им и в голову не могло прийти, что здесь, в двух шагах от них, находятся советские разведчики. Со снарядами в руках шли то в одном направлении, то в другом: нужно было разведать все огневые позиции, пересчитать стволы. А младший лейтенант Сальников и Жора Котов сидели в кустах с автоматами в руках, готовые в любую минуту открыть огонь и обеспечить отход своих товарищей.

Вскоре разведчики были снова вместе. Сальников, удовлетворенно покачивая головой, выслушивал каждого в отдельности, иногда переспрашивал. Первая удача сильнее вдохновила бойцов, настроение у всех было торжественным.

— Добре, добре,— шепотом басил Сальников.—Теперь главное: языка захватить!

Дождь наконец-то стал утихать. Пятеро настороженно шли в густой темноте, крадучись от дома к дому. Руки, сжимающие оружие, мокры — то ли от дождя, то ли от пота; указательные пальцы — на спусковых крючках. Впереди подслеповато мигнул и качнулся огонек. Разбрызгивая во все стороны грязь, мчался по ухабистой дороге, разделяющей деревню надвое, мотоцикл. В коляске, развалившись, дремал гитлеровец. Разведчики притаились за колодцем, брызги из-под колес долетели до их лиц. Мотоцикл свернул на одну из улиц и вскоре остановился. Через несколько минут в одном из домов сквозь затворенные ставни пробились узкие полоски света. Мотоцикл той же дорогой поехал в обратную сторону — мимо разведчиков.

— Наверное, привез какого-нибудь генерала!—первым нарушил молчание Петька.

— Так уж и генерала,— насмешливо протянул Жора.

— Тише!— приказал Сальников и, махнув рукой по направлению к домику, первым пошел туда.

Низенькая деревянная ограда. У калитки широкая лужа, словно небрежно вырезанный круг жести. Трава скользкая, Петька чуть не упал в воду. Старшина поддержал его за локоть, выругался вполголоса.

Открыли калитку, тихонько подошли к окнам, стали смотреть в щели ставен. В расстегнутом мундире сидел за столом офицер, переливалось тускло наплечное серебро. Перед фашистом стоял раскрытый чемодан, почти весь наполненный синеватыми металлическими предметами.

— Что это? — прошептал Петька. И тут же узнал. — Револьверы! У-ух, как много!

Счастливыми, будто завороженными глазами офицер смотрел на содержимое чемодана, перебирал оружие белыми выхоленными руками.

Лейтенант Гельмут Рике, уроженец Берлина, был заядлым коллекционером и спекулянтом. На протяжении двенадцати лет Гельмут Рике коллекционировал папиросы различных марок, трубки и коробки от папирос. Какая это была коллекция! И как все закончилось глупо, нелепо. Приехал как-то погостить к нему двоюродный брат — шестнадцатилетний Пауль. Решил Гельмут показать брату свое богатство. Пауль брал в руки папиросы, совал в рот трубки, одобрительно покрякивая. Внезапно он замолчал и взглянул искоса на Гельмута:

— Так ты, оказывается, вот чем занимаешься! — На ладони у Пауля лежали советские папиросы.

Гельмут не на шутку испугался, ибо знал, что у Пауля есть знакомые в гестапо. Оставшись один, ходил по комнате и нервно вздыхал. "Если в слове "Беломор", — думал Гельмут, есть намек, то в названии папирос "Совнаркомовские"— явный подрыв гитлеровской власти". Он сам себе казался преступником.

Все обошлось благополучно. Пауль не донес, но Гельмуту Рике уже не хотелось коллекционировать папиросы—продал их за бесценок. А два года тому назад у него появилась новая страсть — оружие. Первыми в этой коллекции были манлихер, парабеллум и шмайсер, они достались Рике довольно легко. Вскоре коллекцию пополнил никелированный, переламывающийся, как охотничье ружье, смит-вессон. Постепенно в заветный чемодан ложились новые образцы: браунинг, вальтер, маузер, ортгиз, веблей-скотт, чешско-зброевка.

Многие из них были связаны с романтическими историями, женщинами, картами, спорами. Гельмут Рике, который служил на севере Германии, не жалел ни времени, ни денег для пополнения своего чемодана. Так, например, он, не задумываясь, поехал на юг, в Мюнхен, чтобы приобрести там у толстомордого колбасника восьмикалиберный намбу; этот же человек продал ему тяжелый, угрюмый кольт. Золотое кольцо с бриллиантом отдал Рике за итальянский пистолет баретта.

О, Рике стал большим знатоком оружия!.. Стрелять? Стрелять он тоже любил. Его, правда, нельзя было назвать метким стрелком, но зато он очень хорошо знал, каким пистолетом как нужно прицеливаться. Если в его руках был, например, байярд, или омега, или астра, Рике знал, что по законам деривации нужно в данном случае брать чуть правее от мишени, а не левее, ибо в этих системах направление нарезов левое. Но лучше всего он знал, за сколько марок, франков, крон и лей можно продать на черных рынках тот или иной образец.

Сейчас лейтенант Гельмут Рике осматривал свой новый, недавно приобретенный экземпляр,— советский пистолет ТТ образца 1933 года. Но, как ни странно, он большой радости Гельмуту не приносил, счастливое выражение исчезло с его лица, в глазах — страх. Разве можно забыть, что из этого пистолета советский лейтенант, начальник заставы, уничтожил шесть гитлеровских солдат? К Гельмуту пистолет перешел из мертвой руки пограничника, затвор находился в крайнем заднем положении — не осталось ни одного патрона.

Разведчики молча наблюдали за немцем.

"Как же нам его сцапать?" — лихорадочно думал Сальников. Он дважды обошел дом, прислушиваясь, нет ли еще кого-нибудь в нем. Тишина... Фашистский лейтенант захлопнул чемодан и, на ходу потягиваясь, направился к дверям.

— До ветру собрался,—шепнул Медведев.

Разведчики встали по обе стороны дверей, замерли.

От сильного удара автоматом по голове Рике мешком свалился на землю. Медведев крутил руки, а Петька запихивал фашисту в рот перевязочный пакет в прорезиненной оболочке. Лейтенант не шевелился.

— Не до смерти ты его?—беспокойно спросил младший лейтенант Сальников у старшины.

— Не должно,—угрюмо отозвался тот.

На соседней улице затарахтел мотоцикл, он приближался к дому. Разведчики затаили дыхание, связанный фашист лежал у их ног. Мотоцикл остановился, низкорослый солдат в каске направился к воротам. И тогда произошло непоправимое: Гельмут Рике, пришедший наконец в сознание, ударил сапогом по воротам. Звякнула щеколда, немец в каске отпрянул назад и, вскинув автомат, дико закричал. Медлить было нельзя. Перегнувшись через ограду, Сальников выстрелил в него. Немец упал, но тотчас же вскочил и бросился наутек, оглашая деревню страшными воплями.

— Промахнулся! В трех шагах промахнулся! —скрипел зубами Сальников.

Началась пальба; ракеты со всех сторон — светло, как днем. Подхватив пленного, разведчики бросились бежать. На окраине деревни им наперерез выскочила группа автоматчиков. Жора и старшина метнули по гранате, два взрыва почти слились в один.

— Куда! —закричал Петька. —Мы не туда бежим!

— Знаю! За мной! — прокричал Сальников.

Расчет его оказался правильным. Если бы они сразу же кинулись к рабочему поселку, где находились свои, их наверняка бы скосили вражеские пули. Сейчас они благополучно отходили в противоположную сторону. Через двадцать минут, обессиленные, упали на мокрую колючую стерню.

— Не задохся наш фашист? —спросил Сальников, тяжело дыша.

И опять ответил старшина угрюмо и односложно:

— Не должно...

Медведев перекосил лицо и зло улыбнулся:

— Ему-то что! Как принца несем!.. У-у, козявка!

Гельмут Рике, приоткрывший было один глаз, снова испуганно закрыл его.

Нужно было пробираться к своим. Сальников обеспокоенно смотрел вверх. Краешек неба на востоке начинал светлеть. Тяжело оторвавшись от земли, разведчики снова отправились в путь. Стрельба не прекращалась. Но через полчаса они благополучно пересекли проселочную дорогу и вскоре были в поселке.

На передовом наблюдательном пункте изо рта пленного наконец-то выдернули перевязочный пакет. Гельмут Рике осторожно водил челюстью, смешно высовывал язык, словно желая удостовериться, действуют ли они.

Не дожидаясь прихода командиров, Петька, сильно возбужденный событиями этой ночи, начал было допрос:

— Из какой части? Отвечай!.. Почему молчишь! Ты разве не ферштеешь русиш?

Пленный испуганно вздрагивал, выкатывал белесые глаза.

— Отвечай человеку! —прикрикнул на него Медведев.— А то как вдарю по организму!

— Прекратить!— устало приказал Сальников.

В блиндаж вошли незнакомые полковник и капитан, которых сопровождал Александр Александрович Стороженко. Сальников доложил о результатах разведки. Полковник, улыбаясь в усы, крепко пожал руки разведчикам:

— Молодцы, молодцы! А сейчас ступайте отдыхать!

Сальников показывал на карте расположение огневых позиций противника. Затем был допрошен пленный.

Сквозь редеющие гряды облаков несмело проступал рассвет. Птицы, пробуя голоса, заливчато переговаривались друг с другом. Вот и землянка. Не зажигая коптилки, Медведев, Жора и Петька легли на нары. Сема Штейнберг отвернулся к стене и сделал вид, что спит. Наконец не выдержал:

— Ну, как?

— Порядочек! — ответил Жора. — Офицера приволокли!

Сема тихонечко вздохнул и проговорил чуть-чуть завистливо:

— Хорошо, ребята! Вы настоящие герои.

— Ничего, Сема, в следующий раз мы и тебя возьмем, — тепло сказал Медведев.

— Ладно уж, не успокаивайте меня. Жди теперь, когда такой случай представится.

Медведев дипломатично промолчал и вскоре захрапел.

Спать, однако, им долго не пришлось. Через два часа началась артиллерийская подготовка. Пехота накапливалась на исходном рубеже, готовились к наступлению. Петька и Жора со своим взводом лежали недалеко от проселочной дороги, над их головами проносились снаряды. Было видно, как в Горбуновке загораются дома. Переползая по-пластунски вперед, хлопцы все время думали с гордостью, что артиллерия бьет сейчас по целям, которые они засекли ночью. "Только бы точнее прицел брали!" — Петька полз в двух метрах от Жоры и переговаривался с ним, тот утвердительно кивал головою.

Впереди возникали черные фонтаны разрывов, пулеметные и автоматные очереди встречали наступающих. Фашисты засели в домах, превратив их в маленькие крепости. Густой дым окутал Горбуновку, мешая вести прицельный огонь, но помогая продвигаться вперед. Воздух накалился, напряжение возрастало. Красноармейцы и ополченцы короткими перебежками с криком "ура!" устремились к крайним домикам деревни. Сильный пулеметный огонь заставил их залечь. "Неужели захлебнется атака?" — Старший лейтенант Стороженко бросился вперед, за ним рванулись бойцы разведвзвода, но пулемет снова прижал их к земле.

Медведев и Сема Штейнберг лежали в овраге, рядом с первым взводом.

— Вон откуда бьет! Второй дом слева! — кричал Сема.

— Вижу, — спокойно отвечал Медведев, прижимая к себе вздрагивающее тело пулемета.

Внезапно он расслабил руки и ткнулся головой в низкорослый клевер.

— Медведев! Товарищ младший сержант! — испуганно зашептал Сема.

Тот с трудом приподнял голову, глотнул несколько раз воздух:

— В плечо... Держи пулемет!

Сема растерянно оглянулся вокруг и закричал:

— Санитары! Скорее!

К ним уже ползла девушка в пилотке с сумкой через плечо. Она взглянула на Сему, задержала на мгновение взгляд, затем стала перевязывать Медведева. Он тихонько стонал и умоляюще смотрел на ее флягу.

— Пить хотите? Сейчас, товарищ. — Она отвинтила крышку фляги и стала поить Медведева. Повернула голову к Семе: — Вы меня не узнаете, Сема?

Лицо у Семы потеплело. Он узнал Веру — свою знакомую по лагерю.

— Значит, и вы здесь?

— Как видите! А где сейчас Гриша?..

Из-за домов выскочили серо-зеленые фигуры: фашисты, видимо, решили контратаковать наступающих. Сема нажал на спусковой крючок. Он видел, как гитлеровцы падали на землю и в панике уползали за дома. Это наполняло его душу радостью, придавало уверенность, спокойствие. А рядом Петька Вовчок кричал:

— Бей, Сема! Давай, Сема! Молодец, Сема!

И Жора Котов рядом. Он целится спокойненько, как в тире. Мушка у него всегда посередине прорези, наравне с ее верхними краями. На спуск нажимает плавно. После каждого выстрела падает немец. Жора думает горячо, но в то же время спокойно: "Интересно, убиваю я их, или только раню?.."

Фашистский пулемет во втором доме слева продолжал бешено поливать землю свинцом. И тогда Петька с гранатами в руках пополз вперед.

Пятьдесят, двадцать метров осталось до дома. Не прекращая огня, бойцы с тревогой наблюдали за своим товарищем. Что-то ударило в ногу. Петька прижался к земле и оглянулся... "Ха! Каблук пулей сорвало. Придется после боя ремонтировать сапог!" Он продвинулся еще метров на десять и одну за одной метнул две противотанковые гранаты. Одна попала в угол дома, но вторая—прямехонько в цель. Два сильных взрыва, подхваченные мощным "ура!",—бойцы поднялись в атаку. Гитлеровцы удирали, сдавались в плен. Петька поднялся в полный рост и, вздымая над головой карабин, протяжно и громко закричал:

— Вперед! Впе-е-ред!

Облитый лучами августовского солнца, он сейчас был похож на бронзовый памятник. Внезапно он покачнулся и упал, автоматная очередь прошла через его грудь. Жора бросился к нему, осторожно расстегнул гимнастерку. Белые и синие полоски морской тельняшки пропитывались кровью.

Бой утихал, Петьку перенесли к стене дома, в тень. Жора остался на месте, обессиленный, лежал на земле и, дыша раскрытым ртом, смотрел на людей, окруживших Петьку. Не видно товарища — плотное кольцо людей, плечо к плечу. И только там, где медицинская сестра, стоя на коленях, держала флягу с водой, бойцы расступились.

Жора чуть слышно шептал:

— Петька!.. Ты слышишь, Петька?.. Ты сейчас встанешь. Ты... ты должен встáть!

Внезапно Жора увидел, как руки бойцов потянулись к головным уборам, к фуражкам и пилоткам. Кто взял за козырек, кто прямо за верх,—и медленно сняли с головы. И тогда Жора уткнулся лицом в землю, в еще сырую от ночного дождя траву и заплакал навзрыд...

Хоронили товарищей на высокой круче. Внизу звенели птицы, доносился тихий плеск волны, а по небу плыла курчавая цепочка облаков. Сема Штейнберг, белый, как бумага, вытирал платочком стекла очков. Александр Александрович печально наклонил голову. Засеребрилась седая прядь, раньше ее не было.

А потом, над белым фанерным обелиском прозвучал салют. Внизу, протяжно и спокойно, отозвался, как эхо, далекий пароходный гудок. Жора глянул вниз, на голубую ленту воды. Приставляя к ноге карабин, шепнул Семе:

— Над самым Днепром... Как Тарас Шевченко.

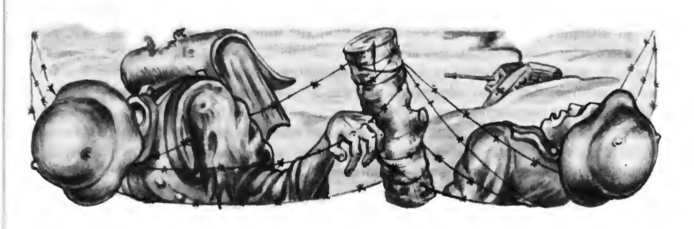


Семен Самсонов



Семен Николаевич САМСОНОВ (1912—1987) в марте 1943 года добровольцем Уральского танкового корпуса ушел на фронт, где был корреспондентом газеты корпуса "Доброволец", парторгом инженерно-саперного батальона. За участие в боевых операциях награжден орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды и медалями.

С 1947 года в сборниках и периодической печати публикуются рассказы, очерки и заметки из фронтовой жизни. Повесть С.Н.Самсонова "По ту сторону" выдержала множество изданий. Это книга о мужестве и борьбе советских людей против фашизма, о героизме детей. С боевыми действиями Уральского добровольческого танкового корпуса связана повесть "Танк"Пионер" (1957). Воспоминания о войне легли в основу повести "Вдали от Родины". В 1964 году издан сборник рассказов С.Н.Самсонов "Мужество". В сборнике "Добровольцы" (1965) опубликован его очерк "Саперы, саперы".



УЧЕНЫЙ СКВОРЕЦ

1

— В разведвзвод пришел я из тыла, из запасного батальона, — начал свой рассказ бывалый солдат Тюлькин. — Командир спрашивает: "Воевали?" Никак нет, говорю, не приходилось. "И фашистов не видели?" Видел, товарищ лейтенант, на картинках да в газете.

Тут при командире солдаты сидели... все ха-ха-ха! И один другому шепчет: "Вот Тюля, а разведчиком хочет быть". Только командир, спасибо ему, поддержал меня.

— Что тут смешного? Ну, не воевал человек, ну, не видал еще врага. Да ведь и вы тоже не сразу гитлеровцев увидали. А что касается фамилии, то тут тоже смешного мало. Вот Трибабунько тоже фамилия не ахти-какая, а разведчик хоть куда.

Погодите, думаю, я тоже покажу себя.

Но показать себя негде было. Была, как писали в газетах, оперативная пауза. Мы тогда на реке Сбруч стояли. По одну сторону мы, по другую немцы. Стоим друг против друга и побухиваем из пушек да из пулеметов строчим. Время идет медленно. Наш взвод расквартировался в доме одной вдовы. У нее фашисты убили мужа, он партизан был. И был у этой вдовы сынок, Серегой звали. Вот я и познакомился с ним. Он такой дошлый, смелый мальчуган. Сидим как-то вечером, а он спрашивает:

— Можно мне к вам разведчиком поступить?

— Нет, говорю, мал ты еще.

А он начинает расспрашивать меня:

— Хорошо у вас на Урале?

— Хорошо, даже преотлично! — отвечаю.

— Птиц у вас там много?

— Много.

— А какие?

— Всякие: утки, гуси, глухари, косачи, рябчики и прочая дичь.

— А голуби есть?

— Есть.

— А скворцы?

— И скворцы есть.

Тут я Сереге рассказал не только про птиц, но и про волков, лис, медведей, коз, сохатых. Про наши огромные, всегда зеленые леса, про уральские реки, горы, города. Вечерами, когда был свободен от службы, я рассказывал Сереге про Урал. И за это он полюбил меня. Подружились мы. Только ребята наши шутили: дескать, нашел себе дружка-приятеля.

Наступила весна. Закапали с крыш светлые капельки, заговорили ручьи, запели птицы, а там, где снег сошел, зазеленела травка, перелетные птицы потянули в наши края. Как-то раз я смотрю: тащит мой Серега из кладовой скворешню. Принес он этот домик в хату и говорит:

— Дяденька Фрол (это меня так зовут), помогите, пожалуйста, скворешню выставить.

Поставили мы птичий домик, а через несколько минут бежит ко мне Серега и кричит:

— Дядя Фрол! Дядя Фрол! Дедушка тоже выставил. Посмотрите-ка!

И правда. Через реку на вражеской стороне в деревушке, что на пригорке, возле белого домика увидел я скворешню на шесте.

— Там мой дед живет, — пояснил Серега. — Он, наверное, заметил мою скворешню и свою поставил.

— Что, — говорю, — небось, к деду хочется?

— Ух, как хочется! — с тоской отвечает Серега.

— Ну, погоди малость. Вот пойдем в наступление, вышибем фашистов из той деревушки, и увидишь ты своего деда, разузнаешь, как он живет.

— Да это, пожалуй, мы и раньше узнаем, — говорит Серега.

— Как это так? — спрашиваю.

— Очень просто, — отвечает Серега. — Вот только бы скорее прилетел мой "ученый" скворец, и все будет в порядке.

Тут, признаться, я сначала ничего не понял. Стал расспрашивать Серегу подробнее. А он и говорит:

— А это еще два года назад было. Я тогда у деда жил, мне было восемь лет. Как-то раз прилетел откуда-то скворчик, и бац на нашу крышу. Дед говорит мне: "Скворушка-то, видать, подбит или больной. Лезь, Сергунчик, на крышу, он там упал". Я скорее на крышу. И правда. Скворец лежит на боку, клюв раскрыл, глаза белой пеленой заволокло, и тяжело дышит. Я взял его и к деду. Оказалось, что кто-то переломил скворушке лапу и крыло повредил. С неделю я скворушку держал в хате. Лечил, поил, кормил. Потом он летать начал. Я тогда выпустил его на волю, и начал он жить в нашей скворешне. Только, когда открыли окна в хате, скворец нет-нет и прилетит в комнату. Я тогда стал собирать ему червей, наливать воду в блюдечко. А он поест, попрыгает и снова улетит. Прямо ручной стал, привык. Открою створку, начну его манить: "Скворушка, скворушка!", а он и прилетит. А дедушка посоветовал мне такую штуку сделать. Ты, говорит, Сергунчик, унеси его со скворешней домой, к себе. Я унес. И что вы думаете? Ведь то же самое стал делать скворец и у меня дома, что делал у деда. Открою окно, поманю его, и он тут как тут... А дедушка сделал другую такую скворешню, ну, прямо не отличишь от первой. И стал наш скворушка летать то к деду, то ко мне. Я корм

запасаю: червей, крошек, зернышек, семечек. И хитрый же: то прилетит и поклюет все у меня, то опять к деду — и там все приготовленное поклюет. Потом начал я посылать со скворушкой почту. Привяжу к лапке бумажку и отпущу. А в этой бумаге напишу деду: "Жди вечером, дедусь, меня в гости". Или еще что-нибудь. Через год скворка снова прилетел. Правда, был сначала диковат, а потом опять привык и так же стал летать от деда к нам, от нас к деду...

— Вот это, Серега, штуку ты мне открыл! — удивился я и задумался насчет того, как этого скворушку приспособить к военному делу.

А наш командир как раз очень уж хотел знать, как живут немцы в той деревне, где дед Сереги находился, что у них есть там в смысле обороны и прочее. Я возьми да и скажи ему насчет скворца. В ту пору скворцы прилетели, и "ученый" скворец Сереги от деда уже весть принес. Я взял да и брякнул командиру: "Могу кое-что проделать насчет разведки той деревни при помощи ученого скворца".

— Как? — спрашивает командир.

— А вот как, товарищ комбат. Скворец ученый есть, который нам может сослужить службу как связной при разведке.

И рассказал комбату весь свой план.

— Хорошо, — говорит, — попробуем, Тюлькин.

Дело в том, что лазить в разведку через линию обороны, да еще через реку — дорогое дело. Потери большие неизбежны. В то время разведчикам надо разузнать все до тонкости: где у врага огневые точки, где минные поля, много ли сил.

Вот я и предложил такой план: я пробираюсь к немцам, останавливаюсь у деда Сереги, разузнаю, что полагается, и посылаю донесения со скворцом.

— Ну и Тюлькин! Ну, и чудак же ты, — шутят солдаты, а я только помалкиваю.

Обсудили мы с Серегой насчет его участия. Только я не сказал, конечно, что ночью ухожу к его деду, но договорился, что все записочки, какие Серега будет находить у скворца, пусть мигом передает нашему командиру. На том с ним и порешили.

2

К деду Сереги я пробрался ночью. Его хата была самая крайняя в деревне, у самой реки Сбруч. Фашистов дед ненавидел. Они его сына, отца Сереги, расстреляли. Ну, рассуждаем с дедом о том о сем, а я ему и говорю:

— Я к вам, папаша, от Красной Армии по служебному делу.

— Все, — говорит, — понимаю. Мы знаем, что за речкой наши, да только не время, видать, вот и не приходят до нас.

В ту же ночь я узнал, что враги имеют у самой речки окопы и ночью и днем там сидят, а когда холодно или дождь, то идут в село: спят, варят кур, гусей, поросят — все, что отберут у сельчан.

Узнал я это, записал на тонкую курительную бумагу, а утром дед заманил скворца, намотал бумагу на ножку, привязал ниточкой, и скворушка улетел. Вечером, когда я вылез из погреба, где скрывался днем, дед подал крохотный клочок бумаги. Там было написано: "Спасибо. Все получено." Тут меня такая радость взяла, что я готов был смеяться и плакать. Ну, опять с дедом за дело. Он кое-что разведал. Я тоже.

— В деревне, — говорит дед, — штук двадцать танков, только стоят они в саду, с километр отсюда будет, там раньше совхоз был. А за деревней, в овраге, стоят у них минометы и пушки. Овраг тоже недалеко, версты полторы, не больше. — И опять я все записываю.

Вечером получаем вторую бумажку: "Благодарим дедушку". Больше ничего не пишут. А так нам хотелось знать, что там наши думают. И вдруг ночью слышим — советские самолеты летят. Прошло минуты две, не больше, как начали рваться бомбы.

На третьи сутки докладываем, что наши самолеты подожгли в саду десять танков, машины с горючим и боеприпасами. И тут же сообщаем опять про овраг. Теперь враг перегнал туда оставшиеся танки.

Когда наши овраг разбомбили, фашисты взбесились. Всех жителей из деревни угнали в тыл и деда тоже.

— Что делать? Как быть?

Я скрывался в селе один-одинешенек. Утром осторожно вылез из ямы, осмотрелся кругом и забрел в избу. Сижу. Окно во двор приоткрыл. И вот вижу скворушка прилетел. Я и так, я и этак, а он видит меня и не допускает, не признает. Так я и не мог ничего сделать, улетел скворушка с бумажкой, которую наши с ним прислали.

Зло меня гложет, обида берет. И только тут я вспомнил, что на подоконнике ничего не было: ни червей, ни семечек. Начал я искать. Нашел банку, а в ней черви. Я их на окно, а сам опять сижу и жду. Прилетел скворец и давай уничтожать еду. Я кое-как поймал его, говорю: "Скворушка, скворушка", — а сам бумажку от ножки отвязываю. Руки у меня трясутся, волнуюсь. И совсем не заметил, как гитлеровцы в соседний двор забрели. Они птицу искали: уток, гусей, кур. Я поторопился скрыться и свою бумагу-донесение не успел пристроить к ножке скворца. Улетел мой "связной".

Смотрю, а мне приказ: "Разведать место, где можно было бы наиболее безопасно пройти минерам".

Ночью мне удалось все разведать, как о том приказывали, а утром я заранее припас бумагу и жду скворца. С трудом поймал его, отвязал бумагу и привязал свою. Хорошо мне стало, приятно, что задание выполнил. Сразу захотелось спать. Ночь-то целую занимался разведкой. Прочитал я бумагу. А в ней написано: "В чем дело? Почему нет донесения?" Вот, думаю, хороший ответ послан.

На следующий день пришли наши минеры. Трибабунько и еще четверо, да я пошли ставить мины на перекрестке большой дороги, которая идет за оврагами... Когда все сделали и перешли Сбруч, к своим, Трибабунько и говорит мне:

— Утром наше наступление будет. Когда фашисты будут драпать, так их машины полетят на воздух от мин, которые мы поставили.

Командир встретил меня ласково, поблагодарил и сказал:

— Сереге за "ученого" скворца командир соединения медаль "За боевые заслуги" выдал, а тебе, Тюлькин, медаль "За отвагу". И деду Сереги тоже медаль "За отвагу".

Вот и все. Потом я заезжал к Сереге и деду, когда ехал с фронта в отпуск. Живут хорошо. Оба медали носят. Встретили меня как родного. Рассказали они мне, что скворец ихний жив и здоров и улетел куда-то в теплые края: дело к зиме было. Но на следующую весну ждут они опять скворушку к себе.

ПОЕДИНОК

Военная карьера Кости Верховых поначалу сложилась неудачно. И все из-за того, что он имел маленький рост, щупленькую фигуру и совсем детское веснушчатое лицо. До призыва в армию ему оставалось ждать не больше года, но Костя решил идти на фронт немедленно. Председатель колхоза не хотел отпускать его и только отшучивался:

— Подрастешь, тогда и с богом, сами проводим.

Но Костя настойчиво твердил:

— Все равно уйду!

А тут Костю назначили везти добровольцев в район, и он как уехал с ними, так и не вернулся.

В учебном батальоне тоже началось неладное. Костю не захотели принимать. Командир спросил его:

— С какого года?

Костя ответил не сразу.

— Уже давно пора служить, — сказал он и покраснел.

— Ну, какой же из тебя солдат, ты и винтовки-то не унесешь, — усмехнулся командир.

— Я, товарищ капитан, трактор водил. Понимаете, трактор? — Костя поднял сухие, тонкие руки, словно хотел показать, как управляют трактором.

— Убедил! — с улыбкой согласился командир. — Оставайся, посмотрим, что из тебя получится.

Костя был любознательным малым, но вопросы его, особенно о борьбе с фашистскими танками "тиграми", вызывали у солдат добродушную усмешку.

— Гранатой "тигра" уничтожить можно?

— Можно, только осторожно, — отвечал ему кто-нибудь из бойцов, намекая на Костин неказистый вид.

Но Костя всерьез задумал стать истребителем вражеских танков.

И, может, все было бы хорошо, если бы не случай с шинелью, который, прямо скажем, окончательно испортил Костину репутацию. А произошло это уже в прифронтовой полосе.

Однажды Костю послали с донесением в штаб. Тут-то и случилось несчастье. Костя и сам точно не знает, как все это произошло, но получился форменный конфуз. Костя не любит вспоминать об этом случае. Только бойцы нет-нет да и спросят:

— А где твоя шинель, Костя?

Костя пробовал отмалчиваться, но тогда кто-нибудь из солдат такое начинал рассказывать, что уж и совсем конфузно получалось. Вот почему он старается рассказать все сам, подробно, чтобы другие ради смеха не перевирали фактов.

— Она была замаскирована в соломе...

— Кто она? Шинель?

— Собака... Я прохожу мимо и ни о чем не думаю. Вдруг сзади кто-то бросается на спину — и хрясь меня на землю, рычит и кусает. Ну, думаю, пропала новая шинель. А отбиваться не могу, рукава длинноваты, да и сама шинель не по мне, запутался.

Все покатываются от смеха.

— Ну, хорошо, шинель пропала, а зачем ты плакал?

Костя снова объясняет:

— Вот вы смеетесь, зубки моете, а шинель была новая, мне жаль ее, да и обидно, что какой-то пес до воротника разодрал ее...

После этого товарищи безнадежно заключали:

— Какой ты, Костя, истребитель "тигров", когда с собакой не совладал.

Так и пошло все к одному.

...Раз ночью их отделение встретилось лицом к лицу с врагом. На щупленького Костю навалился сзади огромный солдат. Схватил его за плечи, словно железными тисками, и, казалось, пришел конец Косте, да не тут-то было. Костя повернул ствол автомата назад, под левую руку, и нажал спусковой крючок. Вражеский солдат так и осел, как куль с мукой.

— Хорошо действуешь, — крикнул командир, бежавший на выручку. С этих пор за Костей утвердилась добрая слава храброго и ловкого человека, но все же сослуживцы говорили:

— Фашистский солдат — не "тигр", Костюха, берегись!

Костя молчал. Он, конечно, думал, что и с "тигром" справится, но сказать пока не решался, чтобы не давать повода к пустым разговорам. Дело покажет.

Теперь Костя видал "тигров" своими глазами, но встретиться один на один не приходилось. Поединок, о котором идет речь, произошел неожиданно. Когда взвод был в обороне, залег в окопах, Костя принес с собой связку гранат, два диска с патронами для автомата и мешочек табаку с запасом на месяц. Друзья шутили: "Табачку-то на взвод запас". Но потом, когда не стало табаку, многие просили у Кости на цигарочку.

Стрельба шла с обеих сторон. Неожиданно появились три "тигра". Два вылезли на пригорок и бьют. А третий подошел совсем близко к нашим окопам и остановился. Затаив дыхание, Костя лежал в окопе.

Когда "тигр" подошел еще поближе и опять остановился, Костя решил действовать. Вылез из окопчика и ползком к танку. Бросил связку гранат под гусеницы и рванулся обратно в окоп. И не успел нырнуть в яму. Услышал взрыв — и больше ничего не помнит.

Три дня Костя, контуженный, пролежал в медсанбате, а на четвертый пришел к своим. Ребята говорят:

— Ты, Костя, "тигра" подбил, а мы вражеских танкистов, что из него вылезли, поймали.

— Спасибо, — отвечает Костя, — спасибо, ребята. — А сам думает: "Смеются"...

А они ему:

— Нет, это тебе, Костя, спасибо. Ты настоящий гвардеец-истребитель.

С тех пор Костю всерьез стали называть истребителем "тигров", а командир части вручил ему орден Красной Звезды, назвал его не Костей и не просто Верховых, а Константином Николаевичем Верховых.

СОРОКА ПОМОГЛА

Историю эту рассказал мне пожилой снайпер. До войны он был лесником, охотником, хорошо изучил повадки птиц и зверей.

— Дело зимой было, — начал он, — в это время мы оборону держали. Место лесистое, тихое, кругом снег, сосны, изредка березки голые да осины. В лесу хорошо, и казалось мне, будто я не в Брянских лесах, а у себя на Урале.

Рассказчик закурил и продолжал:

— Только одна неприятность — враг близко. Стоишь в лесу, в секрете, и смотришь в оба. Фашистские молодчики ходили в разведку или рано утром, или под вечер, а ночами не решались. Зато мы делали вылазки больше ночами. Ходим по лесу свободно, умеючи, да и птица в ночное время спит — не мешает.

Вот, значит, стою я раз в секрете. Вернее сказать, не стою, а полусидя укрываюсь в траншее. А траншея прикрыта хворостом и снегом занесена, точно медвежья берлога. Только "окна" оставлены. Через них все кругом видно.

Стою, а сам думаю, скоро ли смена будет. Дело перед утром было. Уж сквозь сосны зорька зарделась, морозец крепчать начал, ветерок повеял. Ну, думаю, в такую пору, чего доброго, враг полезет. Раз ветерок, значит, шумно в лесу станет, легче пробираться. И только подумал так, слышу: где-то застрекотала сорока. А, матушка, проголодалась, стрекочешь, думаю я, и сразу веселее стало. Как-никак живое существо голос подает. И так мне захотелось закурить, размяться... да нельзя.

А сорока-плутовка все ближе и ближе голос подает. Да так настойчиво тарахтит. Я только тут понял, что кто-то ее беспокоит. Дело в том, что по крику сороки обычно птицы и звери узнают об опасности. Всматриваюсь в ту сторону, где она тарахтит.

Так прошло несколько минут. Наконец вижу: сорока пролетела и скрылась где-то на дереве, а сама выводит: "Тра-та-та-та-та!" Ну, думаю, будешь ты, зверюга, сегодня в большом горе: сорока и позавтракать тебе не даст. И вдруг совсем недалеко от меня в стороне мелькнула лисица. Ах, это ты, голубушка, думаю, ну, так тебе и надо. Опять, поди, охотилась за глухарем или зайчишкой. А самого так и подмывает прицелиться и выстрелить. Преотличный бы воротник вышел. Да только не имею права — служба. А сорока перепрыгивает с дерева на дерево, смотрит вниз и все продолжает "тра-та-та-та-та, тра-та-та-та-та". Лисица посмотрит на нее, остановится, залезет в мягкий снег, один хвост торчит, и лежит. Тоже хитрющая. Думает отделаться от сороки.

Вдруг где-то треснула ветка, послышался неясный шорох. Тут моя лисица как прыгнет!.. Только ее и видели. Но сорока осталась и перелетает с дерева на дерево, стрекочет, волнуется. Ну, думаю, тут что-то совсем не то, кто-то еще есть. Мне даже весело стало, дремота прошла. И только хотел я вылезть из своей "норы", проверить, кто беспокоит сороку, как послышался отдаленный хруст снега.

Притаился я, слежу из щели, а хруст все ближе и яснее. Вижу: у молодой поросли сосняка стоят три гитлеровца с огромной собакой. Вот оно что! — думаю. Сорока не зря тарахтела. Один солдат поднял бинокль в мою сторону. "Пора, Иван

Петрович", — говорю я себе. Осторожно поднимаю винтовку и целюсь. А у самого руки почему-то трясутся. То ли оттого, что враг так близко, то ли действительно немного замерз. Только бы не промазать, не оскандалиться. Прицелился — и трр-рах! Фашист, что с биноклем был, сунулся вперед, другие хотели подхватить его, но я снова выстрелил и еще одного свалил. Третий кинулся наутек вместе с собакой... Тут я еще два раза выстрелил вдогонку.

— Вот какие штуки бывают, — закончил Иван Петрович и показал на ложе винтовки, где среди многих зарубок стояли три свежие.

ЖУРАВЛИ ЛЕТЯТ НА ЮГ

Наша танковая часть уже около недели находилась в тылу врага. Уничтожая немецко-фашистские гарнизоны, их склады с горючим и боеприпасами, танкисты были неуловимы. Ворвутся ночью танки в село, занятое фашистами, разобьют гарнизон, уничтожат технику врага и скроются. Время было осеннее, ненастное. Целыми днями лили дожди, стояли густые туманы, и это помогало танкистам. Враг опомнится, соберется с силами, кинется преследовать, да не тут-то было: танкистов и след простыл. Уже по всей округе носились слухи о неуловимости русских богатырей, которые появляются на стальных машинах-танках то тут, то там. Фашисты приходили в ужас, а наши советские граждане с нетерпением ждали своих освободителей и радостно говорили: "Вот придут наши да как тряхнут немчуру, так только мокренько будет!"

Однажды герои-танкисты решили напасть на один город, где у фашистов были сосредоточены большие силы. Командир части, отведя свои танки южнее города, километров на 30—40 в степь, решил сначала разведать путь. В разведку он послал два танка с самыми храбрыми и находчивыми танкистами. Они должны были дойти до небольшого села и разузнать о силах противника. Прощаясь с танкистами, командир наказал им вступать в бой лишь в крайнем случае, если вынудит враг.

Танки шли ночью. Повел их лейтенант Лукьянов, командир умный и храбрый. Он не раз уже выполнял рискованные боевые задания.

Ночь выдалась темная и холодная. Лукьянову иногда казалось, что он сбился с пути. Несколько раз он останавливал танк и высылал вперед бойца или ходил сам, чтобы проверить дорогу.

Наконец они добрались до села. Немцев там не было. Лейтенант Лукьянов собирался возвращаться, но жители предложили танкистам отдохнуть немного, обогреться и закусить. Те не стали отказываться, тем более, что им нужно было поподробнее расспросить о неприятеле.

За беседой незаметно прошло минут сорок. Вдруг из-за печной трубы показалась черная голова и детский голос известил:

— Дяденька, кажется, еще танки идут...

И, действительно, танкисты услышали характерный глухой рокот вражеских машин, шедших на село.

Не успели танкисты встать из-за стола, собраться, как с печи шмыгнул крепкий мальчуган и, торопливо накидывая поношенный ватник, сказал командиру:

— Дяденька, я покажу вам место, где можно укрыться.

— А мы и не думаем укрываться, — сказал командир.

— Будете стрелять?

— Может, и будем, — улыбнулся Лукьянов, рассматривая мальчика и надевая шлем.

— А мне можно посмотреть?

— Это тебе, мальчик, не в кино: смотреть опасно. Лезь лучше в подполье, — ответил командир.

— Я не боюсь, дяденька! — упрямо настаивал мальчик, и Лукьянов только теперь разглядел детское лицо с упрямым подбородком и смелыми черными глазами, которые как бы говорили: "Я тоже воевать хочу!.."

— Тебя как зовут?

— Вася.

— Ну, что же, Вася, добре, идем, может, пригодятся твои сведения.

Танкисты и Вася вышли из хаты и направились к танкам. Перед Лукьяновым встал вопрос: как быть? Идти обратно было поздно, принимать бой — опасно. Посоветовавшись с товарищами, командир все же решил принять бой. Ведь враг не знает, сколько у него танков, да и у него, может быть, не больше машин, чем у Лукьянова... Если же советские танкисты не дадут опомниться врагу, встретят его по-боевому, то напуганные фашисты отступят.

Решив так, лейтенант вывел танки на окраину села, тщательно замаскировал их и приготовился к бою. Вскоре показались огни вражеских танков. Не подозревая о засаде, они подошли совсем близко. Лукьянов приказал открыть огонь и первыми же выстрелами поджег две неприятельские машины. В первую минуту внезапного нападения советских танкистов враг растерялся, но тут же выключил свет и развернулся для боя. Пока вражеские танки шли со светом, Лукьянову легко было отыскивать цель, сейчас же положение усложнилось.

Хотя Лукьянов менял огневые позиции, но фашисты быстро сообразили, что противник имеет меньше сил, и начали окружать село.

Бой продолжался долго. Одна машина Лукьянова получила повреждение ходовой части и могла вести огонь только с места. Другая, продолжая менять позиции, наносила врагу урон. "Ничего, в родном селе и стены помогают", — подбадривал Лукьянов товарищей, а сам думал о том, как предупредить командира, кого послать. У него и так было мало людей. В селе остались одни старухи, женщины и дети.

И тут он вспомнил о мальчонке. Сейчас Вася сидел в поврежденном танке. Лейтенант позвал его.

— Вася, ты знаешь дорогу в деревню Луговую? — спросил командир.

— Знаю.

— Найдешь ее ночью?

— Найду, — твердо ответил тот.

— Так слушай: у деревни Луговой, в овраге, стоят наши танки. Я тебе дам записку, и ты беги туда. Только скорее, как можно скорее...

Теперь лейтенант Лукьянов больше уже не думал о том, как ему быть. Он знал, что полчасика-час он еще сможет продержаться, а там и помощь подойдет.

Вася выбрался из села и побежал в сторону Луговой. Летом он не раз бывал там и никогда не ходил дорогой, а всегда напрямик, степью. Это сокращало путь вдвое. Теперь он тоже побежал напрямик в густую темноту ночи.

* * *

Время перевалило за полночь. Уже пора быть в Луговой, а деревни все не видно. Вася устал, измучился. Он присел на холодную и мокрую траву и заплакал. "Заблудился, не выполнил приказа лейтенанта... Они там, может, кровью обливаются, ждут помощи, а я тут плутаю", — думал мальчик.

Он стал прислушиваться к разрывам снарядов, чтобы определить, где их село, но глухие разрывы, казалось, доносились с разных сторон. Это совсем сбило его с толку. Он хорошо знал, что ему надо идти на юг, но как в эту темную беззвездную ночь определить, в какой стороне юг.

Вася сидел и плакал, думая о том, как ему быть. Ждать утра нельзя. Идти искать Луговую, — можно дальше уйти в степь. Идти обратно он тоже не мог, так как теперь уже не знал, в которой стороне родное село, а главное, стыдно перед командиром.

"Что делать? Как быть?" — спрашивал он себя. Вдруг высоко над головой мальчик услышал журавлиный крик: кур-лы, кур-лы, кур-лы. Журавли кричали где-то далеко, потом все ближе и ближе и, наконец, прямо над головой, только высоко в небе.

— Милые мои, родные, — шептал Вася, догадавшись, что это журавли летят на юг, в ту сторону, куда и ему надо спешить.

Он вскочил и побежал за улетавшими журавлями, все время прислушиваясь к их тревожному курлыканью.

Кто знает, сколько бы Вася бежал так, если бы не налетел в темноте на изгородь у деревни Луговой.

А через несколько минут советские танки неслись к Васиной деревне. И хотя Вася проблуждал больше положенного времени, танки подоспели вовремя.

Когда бой кончился, командир поблагодарил Васю, снял со своей гимнастерки медаль "За боевые заслуги" и вручил ему.

Через день танки русских богатырей разгромили фашистов в городе.

МУЖЕСТВО

Мы сидели в палатке на опушке густой рощи. Перед нами открывался замечательный пейзаж тургеневских мест с вековыми кленами и могучими дубами. Наступал вечер. Далеко на западе пряталось ласковое солнце. Ярко-золотистые лучи играли бронзовым отливом на листьях веселой рощи. Стояла необыкновенная тишина, и только узорные листья деревьев чуть-чуть трепетали от свежего и тихого ветерка.

После жарких боев мы чувствовали себя здесь, в тридцати километрах от переднего края, как на даче, и не спеша распивали чай.

Но тишина и мирные размышления скоро были нарушены. Глухие разрывы бомб, доносившиеся с передовой, сразу напомнили нам картины недавних боев.

— Это, наверное, наши бомбят, — сказал мой собеседник, но, немного помолчав, добавил: — А может, фашисты опять лезут...

— Вам приходилось бывать под бомбежкой? — спросил я.

— Бывал, конечно.

— Ужасное ощущение?

— Честно говоря, страшно... Но когда я находился в окопчике, то оттуда я наблюдал за разрывами бомб так же спокойно, как вот сейчас из этой палатки мы смотрим на рощу. Но позднее я видел людей под настоящей бомбежкой... Вот им, наверное, было действительно страшно...

Собеседник отпил глоток чая и начал рассказывать. Говорил он не торопясь, словно опасаясь, как бы не пропустить важную деталь.

— Случилось это вот так же, под вечер. На подступах к городу Орел наши части вели бой за одно село. К переднему краю нужно было срочно подвезти снаряды. К несчастью, дорога оказалась перерезанной фашистами, а другого пути к передовой шофер Сидоркин, наш уралец, не знал. Он остановил машину на окраине только что освобожденного села, полыхавшего в огне, и задумался, как быть, как проскочить к своим людям, которые ждут снарядов? Сидоркин знал, что у артиллеристов боеприпасы на исходе и они ждут его с минуты на минуту. Чувство ответственности за выполнение боевого долга, за товарищей, которые, быть может, в эту минуту отбиваются от врага врукопашную, охватило его. С другой стороны, шофер знал, что рисковать машиной с драгоценным грузом он не имеет права и потому не может необдуманно лезть напролом.

"Вот если бы проскочить где-нибудь сторонкой, в обход противника, — думал Сидоркин, — было бы дело. Но кто укажет путь, если в селе нет ни единой живой души?"

Прошло несколько минут. Шофер решил посигналить, не отзовется ли на его зов кто-нибудь из местных жителей. Он нажал несколько раз на сигнальную кнопку машины, оглядываясь по сторонам, но никто не показывался. Сидоркин продолжал подавать протяжные зовущие сигналы. И вдруг за углом чудом уцелевшей от огня хаты он увидел белую, как лен, голову.

— Эй, кто там, подойди сюда! — крикнул Сидоркин. Голова сразу исчезла. Тогда шофер начал снова сигналить, на этот раз часто и отрывисто.

И вот из-за угла снова выглянула девочка. Маленькая, худенькая, с испуганным взглядом, с коротко подстриженными, как у мальчика, волосами, она издали наблюдала за машиной с детским любопытством.

— Подойди сюда, не бойся, — хотел ласково сказать шофер, но огрубевший голос его от волнения прозвучал сурово, и девочка, выйдя из-за угла, не пошла к машине, а остановилась у дома.

— Не бойся, доченька, подойди.

— Да я совсем вас не боюсь, — сказала она и медленно направилась к машине.

Ей было лет двенадцать. Она подошла к шоферу. Тот спросил:

— Доченька, кто-нибудь в селе есть из взрослых?

— Не знаю.

— Как же так ты не знаешь, ведь не одна же ты тут?

— Ни, одна.

— Так-таки никого, одна?

— Похоже, одна, всех фашисты угнали, а я заховалась за хату...

— М-да, — произнес Сидоркин. — Знаешь, доченька, может, ты мне поможешь... Понимаешь, я везу снаряды нашим бойцам. Они фашистов бьют на передовой, а у них уже, наверное, все снаряды кончились... И проехать по дороге нельзя, ее враг занял... Вот если бы как-нибудь другой дорогой проскочить к селу Ш. Где-нибудь сторонкой. Не знаешь?

— Та как же не знаю, я усе тут знаю, — ответила она живо и, уже совсем осмелев, встала на подножку машины.

— Садись в кабину, — пригласил Сидоркин.

— Ни, я тут буду, — ответила девочка, ухватившись худенькой ручонкой за дверцу кабины.

"Бойкая", — подумал шофер и сказал:

— Тогда держись хорошенько.

Машина мчалась по узкой проселочной дороге, вздрагивая и подпрыгивая так, что белая головка девочки качалась из стороны в сторону. Встречный ветер развевал светлые волосы и так рвал уголки воротничка ситцевого платья, что они трепыхались, как листья дерева в бурю. Сидоркин правил машиной и время от времени взглядывал на эту худенькую девчурку с серыми доверчивыми глазами. Ему вдруг стало жаль ее. Он сказал:

— Может, ты, доченька, больше не поедешь, боишься?

— Ни, не боюсь.

Проводница была немногословна, за дверцу машины держалась крепко и время от времени на развилках и поворотах дороги показывала свободной рукой путь шоферу. Так они подъехали к оврагу и, чтобы не обнаружить себя, решили проехать оврагом метров триста, но, как нарочно, машина застряла. Сидоркин заволновался: и так уже изрядно задержался, а тут снова неприятности.

В это время фашистские самолеты начали бомбить овраг. Воздух наполнился ревом моторов, трескучим шумом зениток и противными воем падающих бомб. Осколком бомбы шофер был ранен в ногу. Другая бомба подожгла машину. Пламя подбиралось по горящему брезенту к ящикам с боеприпасами. Казалось, взрыв неминуем. Перепуганная девочка, по сигналу шофера, начала срывать брезент, но у нее не хватало ни сил, ни уменья.

Превозмогая боль, Сидоркин с помощью девочки боролся с огнем. Осыпаемые осколками рвущихся бомб, они торопливо срывали горящий брезент и, бросая обгоревшие куски материи на землю, топтали ногами.

— Уходи, доченька! — вдруг испуганно вскрикнул Сидоркин. Пока они возились с брезентом, на другой стороне машины загорелись ящики. Еще минута — и машина вместе с боеприпасами, с шофером и этой маленькой смелой девочкой взлетит на воздух. Шофер видел это, но, пренебрегая опасностью, с самоотверженной яростью сумел спасти боеприпасы.

Эта драма разыгралась в трехстах метрах от нас. Мы не сразу заметили это, а заметив, кинулись на помощь. Не добежав до места метров пятидесяти, мы увидели, как машина рванулась и скрылась за поворотом оврага, туда, где шел бой. Девочка оставалась некоторое время на месте. Она постояла секунду-другую и бросилась бежать назад.

Собеседник умолк, залпом допивая остывший чай.

— Кто же была эта девочка? — спросил я.

— Никто не знает ни фамилии, ни имени. Шофер тоже не знал, — ответил мой собеседник и, как бы уточняя, добавил:

— Потом, после боев, я узнал, что Сидоркин заезжал в село на обратном пути, но девочки там не нашел. Он рассказывал об этом каждому встречному, надеясь, что это поможет разыскать ее. Однако поиски не увенчались успехом. Потом он написал письмо в редакцию фронтовой газеты и просил рассказать о мужественном подвиге юной патриотки.

Я слушал об этом с волнением и дал себе слово: все равно, когда это будет — теперь, когда идут бои, или после, когда наша Родина вновь обретет мирную счастливую жизнь, — но я обязательно напишу об этом патриотическом подвиге неизвестной девочки из села Сорокино Орловской области и разыщу ее.

В госпитале, который стоял на опушке тихого уральского леса, в такой же теплый вечер с красивым закатом, как тогда на фронте, я вспомнил об этом случае и решил рассказать о нем юным читателям. Кто знает, может, и та девочка прочтет о себе и более подробно расскажет, как она помогла Родине в борьбе с оккупантами.



Анатолий Трофимов



Анатолий Иванович ТРОФИМОВ (1924—1993) был призван в ряды Советской Армии в августе 1942 года. Окончил Одесское артиллерийское училище. В должности командира взвода артразведки и командира батареи воевал на 3-м Белорусском и 1-м Украинском фронтах. Участвовал в штурме Берлина. Трижды ранен. Награжден орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды и медалями.

Книги о Великой Отечественной войне — художественное свидетельство очевидца событий ("Повесть о лейтенанте Пятницком", "Угловая палата"). А.И.Трофимов — лауреат премии им. Н.И.Кузнецова за лучшее героико-приключенческое произведение года, посвященное работникам милиции.



ИХ БЫЛО ДВЕНАДЦАТЬ

Главы из повести "Угловая палата"

Разведгруппа ушла в тыл к немцам еще до взятия Вильно — в начале июля. Предстояла глубокая разведка. Очень глубокая — аж под Вилкавишкис. Помимо главной задачи необходимо было найти отряд "Дайвонос партизанс" и восстановить с ним связь, передать инструкции штаба партизанского движения на период, когда начнется форсирование Немана.

Руководители операции не знали тогда, что в тот район передислоцировался особый полицейский батальон фашистского выкормыша Импулявичуса и вытеснил отряд в другой район, и потому разведчики не нашли "Дайвонос партизанс", но главную задачу выполнили почти исчерпывающе: у каждого из группы в тайнике одежды имелся зашифрованный маршрут планируемого наступления армии прорыва с пометками немецких оборонительных сооружений, которые встретятся ей на пути и которые придется взламывать в ходе движения или, когда надо, оставлять за спиной на съедение другим, следом наступающим. К середине августа 3-й Белорусский фронт намерен был выйти на государственную границу и, если не иссякнут к тому времени силы, форсировать реку Шешупе и захватить плацдарм на территории Восточной Пруссии.

Их было двенадцать: одиннадцать мастеров спорта, комсомольцев — лейтенантов и младших лейтенантов. Двенадцатым был командир группы. Тоже спортсмен, боксер, бывший одесский беспризорник капитан Аронов. Он старше всех, ему двадцать три, и он — коммунист. Им чертовски везло на пути туда — потеряли только четверых. Повезло, что эти четверо отличнейших ребят были убиты, а не ранены.

Дико, кощунственно говорить — повезло, что парни убиты. Но иначе не скажешь. И они, мертвые, когда были живые, говорили: повезет, если будут убиты, не повезет, если будут ранены. Вот их имена: Николай Кожевин из Перми, Евгений Перевалов из Тюмени, Виктор Смородинов из Нижнего Тагила, Юрий Окишев из Москвы.

Каждый из восьми оставшихся, не тронутых ни осколком, ни пулей, тоже страстно хотел, чтобы не ранило. Пусть уж сразу насмерть. Кровное фронтовое братство обязывает спасти раненого, вынести к своим, а это означает провал задания.

Двенадцать наших парней, физически сильных, разносторонне подготовленных и натренированных, умных и отчаянных, закаливших нервы до стальной упругости, трезво сознавали, куда и зачем они вызвались идти, отчетливо представляли, что такое везет и что такое не везет.

Везло на пути к Вилкавишкису — потеряли только четырех. Везло группе и на обратном пути. Удачно выходили к объектам, ранее снятым на кроки, и вносили уточнения, обнаруживали и фиксировали новые объекты, ловко ускользали от огневого общения с противником. Повезло, что с противником было всего три стычки, и пятеро из восьми остались живы, продолжали нести к своим добытые разведданные и память о семерых.

Троих из этих восьми потеряли в последней стычке: сшиблись все же с бандой националиста Импулявичуса. Потеряли харьковского чемпиона по боксу Павла Иванца, альпиниста из Камышлова Демьяна Каширина и Иорама Мтварадзе, прозванного на курсах Лунным Витязем за фамилию и невероятную силу. [1]

Отбиваясь от полусотни литовских белоповязочников, отряд капитана Аронова углублялся, как показывала карта, в болотистый и пустынный лесной массив. Но черт бы побрал эти карты, заготовленные, видимо, задолго до войны! Чтобы оказаться в сосняке с густым подлеском и окончательно оторваться от преследования, им оставалось перейти ручей, обозначенный на карте синей жилкой, но на месте ручья оказался пруд, разлившийся на целый километр. Шумела на водосбросе вода, шлепало плицами колесо водяной мельницы, а за кирпичным мельничным зданием виднелось несколько жилых домов. Оттуда и высыпали немцы с собаками на длинных ременных лонжах. Ароновские ребята были зажаты с двух сторон.

— Кому-то надо остаться, сковать их тут, — загнанно прохрипел младший лейтенант Мтварадзе.

— Одного мало, — хмуро поправил его командир группы капитан Аронов, и это была жестокая правда. Повернулся к Ивану Малыгину: — Иван, душа из тебя вон, но доведи группу. Я остаюсь здесь. — Обвел взглядом друзей, сказал Иораму Мтварадзе: — Останешься со мной.

Мтварадзе решительно, не сомневаясь в своей правоте, отрубил:

— С тобой группа, капитан. С тобой все, за чем ходили. Остаюсь я и... — повстречав взгляд Демьяна Каширина, закончил: — Со мной — вот он, Демьян, и Паша Иванец. Все, точка, капитан. Не медли! — И, как бы извиняясь за непозволительную резкость, выбирая из родного языка самые теплые слова, притронулся к Аронову: — Иди, Миша-джан, уводи людей, батоно.

Заняв каменное строение мельницы, Мтварадзе, Каширин и Иванец активным боем держали возле себя полицаев и немцев, давая возможность пятерым уйти как можно дальше.

Что стало с Иванцом, Кашириным, Мтварадзе, возможно, никто и никогда не узнает — ни в Харькове, ни в Камышлове, ни в Махарадзе, который Иорам по старинке называл Озургети. Во всяком случае, пятеро, продолжавшие продвигаться к фронту, были убеждены, что их друзья все сделали как надо. На самую последнюю минуту, для себя, разведчики всегда сберегают связку гранат.

1 — Мтваре — луна (груз.).

Но какая подлая эта война. Удача отвернулась от разведчиков уже в конце рейда: до Немана, на правом берегу которого уже должны быть наши, оставалось каких-то тридцать-сорок километров.

В тех местах хуторам тесно, что семечкам в подсолнухе. Как ни стереглись, приметил кто-то. На засаду наскочили в полночь. Рукопашный бой был скоротечным и жесточайшим до безумия. Ребята показали, на что они способны, когда на одного — пятеро. И все же группа была выключена из дела. Погиб сибирский охотник Олег Самарин. Командир разведчиков, коммунист, бесприютный одессит в прошлом Михаил Аронов и цирковой борец из Омска лейтенант Сергей Ерастов были изувечены взрывами гранат. Свердловчанин Иван Малыгин, заместитель командира группы, вобрал в себя беспередышливую, на полрожка, автоматную очередь, и лишь могучий организм еще позволял ему жить. Только его земляк Вадим Пучков отделался сравнительно легко: пуля пробороздила лопатку по касательной. Но активность лейтенанта Пучкова как боевой единицы тоже оставалась крайне ограниченной — на его плечи легла забота о троих, получивших ранения.

Едва продираясь через непролазь ольшаника, Вадим Пучков оттащил младшего лейтенанта Самарина в глубь зарослей, укрыл собранным на ощупь сушняком. Больше ничего для него не мог сделать: жгучие мысли о трех, которые еще живы, торопили назад.

Они лежали все там же — под шатровой елью. Капитан Аронов неведомо как, какими силами, но сумел намотать бинт поверх маскировочного комбинезона на свой распоротый живот и теперь пытался как-то помочь другим двум товарищам, но у него ничего не получалось — мешали темнота и собственная слабость. Прикосновения, попытки вслепую отыскать раны на теле Ерастова и Малыгина приносили только мучения — и ребятам, и ему самому. Пучков опустился на колени рядом с Ароновым, вытолкнул из стянутого удушьем горла:

— Сейчас, капитан, вот только фонарик...

Аронов перебил вопросом:

— Где кроки? Кроки Сереги Самарина?

О-о, черт! Пучков метнулся обратно к ольшанику, где оставил Самарина. Он не смел забывать о кроках даже в том случае, когда была бы возможность похоронить Серегу Самарина!

Вадим приостановился на мгновение, вскинул голову. Небо, затянутое с вечера тучами, начинало мало-помалу светлеть. Надо спешить уйти отсюда. Он знал: всех немцев уложить не удалось, сколько-то скрылось, и они могли вернуться к рассвету с подмогой.

Пучков прополз до груды хвороста, рукой распознал место — складку рубашки, где шифровка, срезал кинжалом. Метрах в десяти от зарослей вонзил кинжал в почву, расшатал дернистую рану земли, вогнал в нее обрывок материи, примял, пригладил место, где навек укрылась шифровка разведки. Кроки теперь оставались только у них, пока живых. И нельзя было забывать ни на минуту, что и у них они не должны оставаться долго. Большой кровью добытые данные надо доставить туда, откуда ушла группа, тем, кто их направил в разведку.

24 Зак. 474

От места схватки с немецкой засадой еще до начала нерадостного рассвета сумели отдалиться километров на пять. Не сохранилось в памяти, затуманилось, забылось, как это удалось: сами шли-ползли или тащил Вадим Пучков. Так или иначе, расстояние преодолели приличное, следы, насколько можно, приглушили перетертой смесью табака и перца.

Отлеживались в густом сосновом перелеске, ставшем парным и душным, когда взошло солнце. Капитан Аронов угасал быстро. Строгостью глаз отталкивал флягу с водой, отстранял участливую руку со свежим бинтом — берег для других, сознавая, что его ничто не оживит, не поднимет на ноги.

Высшая целесообразность в данных обстоятельствах — это наступить на свое сердце, покинуть раненых, ставших обузой на пути к цели, и во что бы то ни стало доставить разведданные по назначению. Они, эти данные, оградят от смерти сотни жизней других товарищей, увеличат число мертвых во вражеском стане. Такое поведение логично и отвечает установленному заданию. Ведь когда идешь в атаку и рядом падает истекающий кровью друг, ты не бросаешься к нему со своим милосердием — воинский долг обязывает продолжать атаку. В атаке, этом частном виде войны, все предусмотрено мудро, мудро даже с учетом того, что война сама по себе — безумие: следом идут санитары, следом идут похоронные команды. Они перевяжут твоего друга, они снимут шапки над могилой убитых. Милосердие — их обязанность, твоя обязанность продвигаться вперед и убивать врага, тогда, быть может, не будешь убит ты, не будет убит еще кто-то из тех, кто наступает рядом с тобой. Вот оно, твое боевое милосердие!

Но опыт военных поступков не может быть однозначным. В данной ситуации Вадим Пучков даже во имя наивысшего смысла не мог растоптать свое сердце. Главенствующее положение заняли теперь человечность и человеколюбие. Закон целесообразности переставал быть законом, следовать ему означало перестать быть человеком, означало разрушение в человеке всего человеческого.

В исключительных обстоятельствах желать себе или другу не тяжкого ранения, а смерти — это человечно; оставить на произвол беспомощных даже под давлением тактических или стратегических соображений — бесчеловечно. Вот от каких корней родилось и стало потом расхожим выражение: "Я бы с ним пошел (или не пошел) в разведку."

И все же капитан Аронов пытался поставить целесообразность на первое место: суровостью затухающего взгляда требовал, чтобы лейтенант Пучков шел дальше один, требовал и в то же время понимал, что никуда Вадим Пучков не уйдет, не бросит товарищей, лишенных сил противостоять даже одному задрипанному полицаю.

Умер капитан Аронов совсем неслышно, в полдень, а через час, постонав, прокатив по щеке тягучие и мутные слезинки, умер Сергей Ерастов.

Вадим Пучков ковырял могилу до самого вечера и похоронил все же Аронова и Ерастова, а потом неимоверным напряжением воли заставил себя уснуть. Надо было набраться сил для двоих — для себя и Ивана Малыгина.

Иван Малыгин и Вадим Пучков жили в одном и том же заводском поселке в Свердловске на соседних улицах. Виделись время от времени, враждовали улица с улицей, бывало, что дрались, мирились — и никогда не думали, что могут сойтись так близко. Свела, накрепко связала дружбой учеба на спецкурсах, а потом и совместные вылазки в неприятельский тыл. Вот этот изувеченный и беспомощный теперь Иван Малыгин, когда Вадиму Пучкову грозило отчисление с курсов, до одури, до припадков бешенства занимался с ним и помог научиться всему, чем сам овладел успешнее других: переносить голод и жажду, управлять психикой, безоружным обезоруживать противника, стрелять с обеих рук из любого оружия, любого положения и многим другим способам и действиям, которые потом не раз пригождались в дальних и близких разведках. Все курсанты — спортсмены в прошлом, они и здесь называли себя многоборцами.

Могучее тело Ивана Малыгина, искусно развитое, с детства не знавшее болезней, сейчас, лишенное способности двигаться, огрузло, многократно утяжелилось, и более мелкий по комплекции Вадим Пучков смотрел на друга с отчаянной тоской. Он не представлял, как понесет или поволочит Малыгина дальше, но твердо знал одно — будет делать это до последнего вздоха.

Часть дня Пучков затратил на перевязки товарища. Жгутами из поясных шнуров комбинезона остановил кровотечение, в шинах из черемуховых стволов закрепил в неподвижности ноги и правую руку, обрезком подушечки индивидуального пакета заткнул рану на груди и наложил бинт. Собственную рану, чтобы заботиться о ней, считал незначительной. Борозда от пули на левой лопатке подсохла сама собой, знать о себе давала только тогда, когда терлась о гимнастерку.

В том же черемушнике срезал ветки подлиннее и смастерил подобие волокуши.

Силы у Ивана Малыгина оставалось ничтожно мало, но этой малости хватало, чтобы не терять сознание, трезво рассуждать и оценивать обстановку. Он открыл глаза, спросил Вадима Пучкова:

— Можешь определить, где находимся?

— Приблизительно сориентировался. До Немана километров тридцать осталось, не меньше.

Малыгин снова закрыл глаза, думая и восстанавливая силы, изрядно иссякшие во время перевязок.

— Тайник с рацией найдешь? — трудно, с паузами спросил Малыгин.

— Не беспокойся, Ваня. Найдем.

Тогда, в начале июля, перейдя фронт, они пошли на север и в десяти километрах от Немана в горелом лесу оборудовали тайник, в котором оставили портативную рацию. Потом, круто повернув, шли строго на запад. До Вилкавишкиса шли четырнадцать дней, за это время фронт должен был продвинуться вплотную к Вильно, а сейчас уже подойти к Неману. Но натренированный слух Пучкова не улавливал ни единого звука боя даже ночью. Не слышно тех, кто может принять их сигналы, да, собственно, нечем и просигналить — до рации еще надо добраться.

Вадим Пучков тащил товарища всю ночь. Продвижение было позорно медленным. Выносливость, физическая подготовленность каждого офицера, отбираемого в группу, учитывались по высшей категории трудности и с плюсовой поправкой на

особые осложнения. Осложнения для Вадима Пучкова оказались выше его предполагаемых возможностей.

Скользящее ранение пулей можно назвать царапиной и не придавать ему значения, когда ты не один, когда есть кому присмотреть за твоей царапиной. Но сейчас ранение раздражающе напоминало о себе. Едва подсохнув, борозда на левой лопатке начала лопаться, гноиться и кровоточить.

Давали о себе знать жажда и голод. Считанные капли воды и обломок шоколада, уместившийся в спичечном коробке, Вадим берег для обескровленного Ивана Малыгина.

Но всего сильнее изнуряла дума — каково Ивану? Разведчики не ходят проторенными тропами. Волокуша то и дело цеплялась за корни, валежник, стволы деревьев, проваливалась в дождевые вымоины, вползала на бугры и камни и еще черт знает на что, не различимое в темноте.

Лежащий на волокуше Иван, сцепив зубы, какое-то время стоически переносил эти муки, но однажды, когда Пучков вместе с волокушей угодил в яму, Иван потерял сознание. Пучков с трудом вытащил товарища, проверил дыхание и снова впрягся в черемуховые оглобли. Все чаще и чаще посещала его и становилась навязчивой мысль, что ни до горелого леса, где тайник, и тем более до Немана добраться он не сможет.

Занималось туманное утро. Не известно, сколько бы еще шел сопревший Вадим Пучков, если бы не новая оказия. Туман стлался над землей плотным пологом. Вадим не видел собственных ног, не видел волокуши с Малыгиным, только ее тяжесть показывала, что он там, не потерялся. Вадим стремился до полного рассвета пройти как можно больше и двигался на одном упорстве, ничего не видя и не слыша. Когда сорвался в овраг, ему бы выпустить из рук волокушу, а он, инстинктивно боясь потерять товарища, еще крепче вцепился в черемуховые палки. К счастью, туман поднялся из оврага, и он быстро нашел откатившегося в сторону Малыгина. Там, в овраге, когда Малыгин пришел в себя, и произошел этот разговор.

Малыгин не раз настаивал бросить его, он не мог не настаивать на этом, как не мог бы и Вадим Пучков, окажись он на месте Ивана. Но все эти просьбы и начальственные повеления лишь задевали слух Вадима, не больше. И вдруг после того проклятого падения в овраг Иван сказал такое, отчего Пучков оторопел. Сказал Малыгин вяло, изнуренно, но можно было разобрать, что сказал, хотя и не верилось ушам своим.

— Добить хочешь? — сипло спросил Малыгин.

Вадим еще не успел переварить услышанное, как раздался тот же севший от долгого молчания и слабости умоляющий голос:

— Прости, Вадим... Черт те что... Прости...

Молчали долго. Потом Малыгин заговорил снова:

— Пока туман — тащи. Палку срежь мне, буду отталкиваться, помогать.

Вадим Пучков оторвался от своих тяжелых дум, требовательно прикрикнул на Ивана:

— Лежи! Не смей шевелиться!

Он понял, догадался, о чем сейчас думал Иван, а когда услышал — тащи, окончательно утвердился, что понял правильно. Добить хочешь? — вырвалось у измученного, полуживого Малыгина непроизвольно: от адских страданий, от гнилостного духа его могучего когда-то тела, от ненавистной Ивану беспомощности. Но неосознанно вырвавшееся натолкнуло Ивана Малыгина на другую мысль: не хочет Вадим оставить его живого, пускай оставит мертвым, он сам лишит себя жизни. Только тогда, быть может, доберется Вадим до своих.

"Если буду волочить дальше — подумал Пучков, — Иван не выдержит, окончательно истечет кровью. Иван понял это и захотел этого... Ну нет, Ваня, этот номер у тебя не пройдет."

— Постарайся уснуть, — хмуро сказал Пучков Малыгину. — Пошурую поблизости, может, вода где.

— Оставь... мой. На всякий случай.

Пистолет Малыгина давно лежал в кармане Вадима. Негде его хранить затянутому в повязки Ивану, и не смог бы он, случись надобность, воспользоваться им. Сейчас, на остановке, в отсутствие Вадима, смог бы — левой рукой, которая еще действовала.

На просьбу Ивана хотелось зло сказать: "А черта лысого не хочешь?", но Вадим только предупредил:

— Я поблизости буду.

Пучков ушел, не переставая думать: "Поклялся волочь Ивана до последнего вздоха. Выходит, не своего — его последнего вздоха."

Ручей отыскался неподалеку. Умытый, освежившийся и приободренный, Вадим скоро вернулся с полной флягой. Влажным платком протер лицо Малыгина, хотел скормить обломок шоколада, но Иван не расцепил зубов.

— Не надо, мутит, — через силу произнес он. — Проглоти сам.

Пучков прибрал кроху съестного обратно в коробку и взялся за перевязку Ивана. Обмыл раны на груди и ногах, сменил тампон, наложил новые повязки. Пропитанные кровью марлевые ленты простирнул в ручье, расстелил на скрытой кустами поляне. Лучше бы на кустах развесить, но поосторожничал.

Ничего, ручей рядом, успокаивал себя Пучков, сутки ни с места, полный отдых. Здоровое, сильное сердце Ивана отдохнет, погоняет кровь по уцелевшим жилам, подживит тело, а тогда снова можно вперед. Разумно размышлял Вадим, но покой и свежий воздух не велика подмога обескровленному, осажденному полчищами бактерий организму Ивана. Требовалось что-то еще, более существенное.

А что существенное в западне этой? И неужели западня? Неужто не выкрутимся? Вадим перебирал все варианты — и чисто теоретического плана, и те, что проверены на практике в подобных передрягах. Обошлось же тогда, под Смоленском. Семнадцать суток пробирались к своим, Вадим нес в ноге две пули. Правда, Лунный Витязь — Иорам Мтварадзе, хотя и с перебитой рукой, шел на своих двоих и помогал ему, Вадиму. Правда и в другом: дважды удалось подхарчиться горя-

чим, а сухари не переводились до конца рейда. И тех трех изувеченных ребят удалось пристроить у колхозников, которые обещали подлечить их и переправить к партизанам... Н-нет, та разведка в сравнении с этой прогулка.

Может, использовать опробованный вариант — доверить Ивана попечению местных жителей? Хороший вариант, да не совсем. Все прежние вылазки в глубокий тыл врага велись на земле, где всегда можно было найти надежную поддержку населения, теперь разведчики находились на территории Прибалтики, а здесь Советская власть существовала без году неделя. Нельзя, конечно, думать, что тут кругом враждебно настроенные люди. Но и распахнуться перед каждым встречным-поперечным было бы верхом беспечности. Конечно, иной хуторской крестьянин всей бы душой принял раненого офицера Красной Армии, разведчика, да вот рядом с такой сердобольной душой немало и черных душ — кулачья и буржуазных националистов. Так что отмахнется крестьянин, испугается — и за себя, и за того, кого ему предложат укрыть. Тем более тяжелораненого, требующего за собой постоянного присмотра. Человек не предмет, который ни пить, ни есть не просит, которому не нужны йод и бинты, который можно сунуть в потайное место и не оглядываться на него до прихода советских войск.

Посображал Вадим Пучков вот таким образом, взвесил все доводы за и против и... решился. Когда на рассвете ходил к ручью, по некоторым приметам догадался о близости жилья. Тогда подумал об осторожности, о том, что надо ускорить передислокацию, сейчас подумал о другом: до того как перебраться на новое место, не нанести ли визит на хутор? Посидит в скрадке, приглядится, что за хуторяне, чего они стоят. Вдруг да и пристроит у них Ивана Малыгина! А не пристроит, то, может, поживится чем. Конечно, мысль о том, чтобы надежно пристроить Ивана — совершенно дохлая, такой вероятности с гулькин нос, а вот поживиться... Огород-то наверняка есть, а то, даст Бог, под стрехой какая-нибудь травка сушится. Он уж выберет нужную. Подлечит Ивана, вольет в него капельку силы, а тогда сам черт не страшен.

Вылазка к жилью могла боком выйти Вадиму Пучкову. Он отчетливо понимал это. Но что, что он мог еще сделать?

К хутору Вадим присматривался в течение получаса. Жилой дом с нешироким длинным корпусом. Поперек разделен двумя капитальными стенами. Как назвать? Шестистенок? Снаружи вертикально обшит тесом. Крыша пологая, двускатная, под черепицей. Крыльцо в семь ступенек, хотя и четырьмя обойтись можно. Что это, почтение к святой семерке? Над крыльцом козырек, как и крыша, — двускатный. Подперт резными балясинами. Козырек тоже под черепицей... Никакой не шестистенок. Типичная занеманская грича. Правда... Высокий фундамент из валунов — это уже отступление от стиля. И окна в отличие от обычной гричи увеличены в размерах. Судя по дымовым трубам, отапливается не только хлебной печью из кухни, но и голландками в левой и правой от кухни комнатах. Такие усовершенствования гричи не с руки крестьянину малого достатка. Вон и

кровля лишайником не тронута, новая. Сменили черепицу не так давно. Скорее всего, при немцах. Крашеные завитушки оконных наличников тоже обновлены. На фронтоне крыльца — распятие. Не бедняцкая оловянная отливка местечкового кальвялиса (кузнеца) — солидное латунное изделие.

Колодец с журавлем. Рядом — вместительная водопойная колода. Почва возле нее свежеизбита скотиной. Хлев (твартас, кажется?) вместительный. Под навесом какие-то машины. Одна, похоже, лобогрейка. Двор и огород ухожены. Усадьба обнесена не черт знает чем, а дощатым забором. Баня (пиртис, по-ихнему?) не по-черному топится.

Какой же вывод, товарищ Пучков? — вызвал Вадим к жизни голос начальника курсов. — А вывод прост, как детское дыхание: уносить ноги от такого хутора...

Но вот и живая душа появилась. Женщина. Лицо обветренное, без морщин. Лет двадцать пять, не больше. Вязаная душегрея от длительной носки вытянулась, протерлась в локтях. Клетчатую поневу не жалко и выбросить. Босая. Кто же эта особа? Батрачка? Все возможно. Но недолго и промашку дать. Убогость одежды — не доказательство. Но лицо вот, лицо... У хозяек, даже затюканных зажиревшими мужьями, таких лиц не бывает, должны быть какие-то отметины от сытой, обеспеченной доли. У этой лицо давно разучилось изображать радость.

Допустим, батрачка. У батрачки должен быть хозяин. Где он? Где другие обитатели хутора? Вон сколько мужского белья на веревке. В отъезде? Бричка без передка не в счет. Должна быть разъездная. Нет и рабочей телеги. И собаки нет. Цепь с карабинчиком заброшена на будку. Не за подводой ли увязался псина? Или по лесу шастает, пропитание добывает?

Аж озноб продрал по хребту. Не наскочил бы пес на беспомощного Ивана. Скорей обратно! Но соблазняет, магнитом тянет Вадима сохнущее на веревке белье.

Набрав охапку дровишек, женщина вошла в дом и тут же вернулась. На этот раз с тазом. Стала снимать стираное. Какая-то неподвластная разуму сила толкнула Вадима, и он в несколько прыжков достиг штакетника, в мах пересигнул его. Женщина выронила таз, в испуге прижала руки к груди, в широко раскрытых глазах вспыхнул животный страх.

Испугаешься, перетрусишь. Вид у Пучкова не для свиданий. Оброс, изодран, заляпан кровью. Форму советского офицера, видную из-под истрепанного камуфляжного комбинезона, ни с какой другой не спутаешь. В руках автомат, расстегнутая для готовности кобура с пистолетом передвинута на живот.

Мягко, как только мог, ласково даже посмотрел Вадим на женщину и предостерегающе прижал палец к губам. Заговорить по-немецки? По-немецки он объяснился бы, но как бы чего ненужного не вышло из этого, а по-литовски он знал с пятого на десятое. Лучше уж по-русски, может, что-то усвоила за время Советской власти.

— Тихо, — не приказал, попросил Пучков. — Пожалуйста, тихо.

— Уходи, немедленно уходи, — женшина с ужасом оглянулась на дорогу, что шла от хутора к лесу и пропадала в нем. — Импулявичус гостит у нас, немцы с ним. Сейчас вернутся.

Женщина в неописуемом страхе поднесла перекрещенные тяжелые руки к исхудавшей шее. "Русская", — успел подумать Вадим и, приняв ее тревогу, поспешил сказать о своем:

— Пару исподнего, простыню, — повелительно кивнул на веревку с бельем.

— Нельзя, заметят, — опасливо замотала головой и тут же с тревожной досадой прикрикнула: — Да не стой ты посреди двора, спрячься. Я сейчас.

Она заполошно кинулась на крыльцо, рванула дверь в сени.

Вадим быстро спятился в заросль молодых лип, густо заселенных омелой. Держа автомат наготове, присел у стены хлева. Осмотрелся. Возле ног расстилаются розетки подорожника. Листья в затененности выросли сочные, крупные. Вадим стал лихорадочно, прямо с корнем, рвать эти розетки, совать в карман. Покосился на пучки листьев омелы, этой вечно зеленой дармоедки — не пригодится ли? Вспомнить бы, что говорила Нина Андреевна об омеле. Уж очень мало отводилось ей часов для занятий с курсантами.

Омела, омела... Кажись, помогает при гипертонии. Это им с Иваном ни к чему. Им бы крепкую, сочную головку лука, такую, чтобы надрезал — и слезы из глаз ручьем. Луковицу бы на раны растертую... В огород разве сунуться? Не выйдет, и без того наоставлял визитных карточек. Посмотрел туда, где с женщиной разговаривал. Полянка ни овцами, ни свиньями не тронута, устлана зеленью гусиной лапки, теперь на этой зелени — его сапожища. Наследил. И под липками траву пообщипал. Ничего не воротишь, ничего не исправишь...

Женщина вышла, кинула затравленный взгляд на опушку леса, туда, где дорога, тем же взглядом поискала нежданного гостя. Вадим высунулся не сразу, повременил — не появится ли из гичи еще кто. Женщина подбежала, торопливо сунула в руки сверток.

— Товарищ, — губы затряслись у нее, — извиняй, ради Бога, со стола смела... Ничего не могу больше. Насмерть забьют меня, до тебя доберутся. Уходи быстрей, уходи.

— Откуда ты здесь, как тут оказалась? — не удержался Вадим от вопроса.

Женщина вскинула полные изумления и страха глаза.

— Г-госпо-о-оди, — простонала она, — нашел время... В тридцать девятом еще связалась с одним... Да уходи ты. Когда солнце вот так вот стоит — правь в ту сторону, — показала, на какой высоте должно быть солнце, чтобы взять направление. Получалось — на северо-восток. — Там болото, зато жилья нет. Можно пройти, дождей давно не было. Ну что ты стоишь! Беги. Кобель вперед хозяина прилететь может. В куски испластает.

Права, кругом права эта заблудшая, подневольная теперь женщина. Спешить надо отсюда. Спросил уже от забора:

— О партизанах не слышно?

— Откуда они! — замахала женщина руками. — Тут Импулявичус с полицейскими партизанит. Немцы кругом. Болотом уходи или пересиди там, даст Бог, выживешь, дождешься своих. Скоро должны быть, слышала — немцы Вильно сдали.

— Спасибо за добрую весть. Прощай и... Я не хочу угрожать, но... Понимаешь?

— Вот попадешься, потом на меня грехи. Иди же!

— Прощай!

У скрадка, откуда наблюдал за хутором, остановился, посмотрел на двор. Женщина ухватила из-под навеса метлу, стала заметать, расчесывать помятую траву. "Чтобы и духу моего не было, — подумал с горькой и благодарной усмешкой. Тут же поправился: — Точнее, чтобы последний дух из меня не вышибли. Молодец тетка... Откуда ты, какая тебя судьба-веревочка повязала тут?"

Вынул кисет с пыльцой, неугодной собачьему нюху, осыпал насиженное место и подходы к нему и двинул в противоположную сторону от того лесочка, где оставил Ивана Малыгина. Табачок на свои следы — это хорошо, но и попетлять нелишне.

Дорогу оставил слева метрах в трехстах. Собака на обратном пути после дальних прогулок далеко от коня не уходит. Это когда со двора, тогда по сторонам рыскает, тешит песью душу, сейчас, поди, плетется, язык набок. Если и убежит, то только вперед, к дому.

Не обманула женщина, правду сказала. Послышался стук подков, донеслись голоса. Похоже, три или четыре телеги направляются к хутору. В мешанине слов различил немецкую и литовскую речь. Разговор шел в той возбужденности, когда людям не слушать, а говорить хочется. Трудно было в этом гомоне разобрать что-то, выхватить какую-либо фразу. Но вот, перекрывая гвалт, заорал немец: "Их хабе фюбер!" В ответ раздался хохот, послышался высокий звук бербине и пьяная песня: "Ой, забористое пиво! Ой, забористое пиво! Видно, добрый был ячмень!" Только и понял Вадим из литовской песни, что пиво да ячмень.

Немец снова обиженно-пьяно объявил, что у него жар. Пучков сжал скулы. Падла, жар у него... Тебе бы Ванюшки Малыгина жар, ты бы поверещал, пьяная сволочь. Жар у него... Лупануть на весь рожок — и пиво будет, и хворь вышибет...

Заныло сердце, сунул руку к нему, наткнулся на узелок. Что в нем? Говорит, со стола смела. Объедки, что ли? Довольствуйся, Вадим Пучков, и такой милостыней. И-иэх, йоду бы пузырек!

Подводы удалялись, удалялся и Вадим Пучков.

Иван Малыгин лежал рядом с волокушей. Пучков испуганно метнулся к нему. Повязка сорвана, по всей груди запеклись комья крови, бинты сползли и с руки. Палки, фиксирующие перелом, отброшены. Что с ним? Бился в беспамятстве? Или пробирался к мешку, искал пистолет? Ваня, Ваня, выбрось ты это из головы. Вот устраню кое-что, оставленное нашим присутствием, прибью малость запахи, и двинемся мы с тобой на северо-восток, к болоту, будем там, как хмыри, отсиживаться. Ты уж потерпи. Обмою, подорожник на раны приляпаю, перевяжу, полегче станет...

Пучков тянул волокушу из последних сил, часто останавливался. Передохнув, снова шел в ту сторону, куда указала хуторская женщина. Часа через полтора под ногами зачавкало. Теперь другая забота навалилась — сыскать среди зыбучих мшаников место повыше да посуше. Вадим побродил окрест, нашел удобный, заросший ивняком бугорок. Ни на этом, ни на других холмах сенных сараев не было — не было сенокосов в этой глуши. На бугорке и устроились. Малыгин не приходил в сознание. Посмотрел на него Пучков — и под ложечкой пусто стало.

Вода во фляге есть, раны обмыть хватит. Для питья болотная сойдет. Побудут в ней ветки черемухи, помокнут минут десять — и пей на здоровье (не упустил случая, припас прутиков). О фитонцидах черемухи медичка Нина Андреевна тоже говорила. Сюда бы те заросли, где волокушу изладил, — от гнуса. Сожрут тут комарики, живьем сожрут...

Вадим развязал узелок. В нем вскрытая консервная банка, на дне банки — недоедки тушенки, туда же ссыпаны обрезки свиной кожи от сала. Отдельно — пригорелые, срезанные с каравая, корки хлеба, пригоршня жареной картошки в крупках остывшего жира, перемятые стрелки лука... Не зелень, саму бы репку луковую. Эх, молодица, молодица... Что еще? Все из съедобного. Не густо.

Без горечи порадовался тряпью: две в прах изношенные рубашки, штанина от кальсон с заплатой на коленке, рваное полотенце, еще какие-то тряпки из тех, что, выстиранные в последний раз, приберегаются для всякой кухонной надобности. Вот спидница еще крепкая. Свою, наверное, положила, посчитала, что такая пропажа не будет замечена хозяином. А веревка-то зачем? Пусть. Как говорил мудрый Осип, давай веревочку, и веревочка в дороге пригодится. И не веревочка это вовсе, свивальник. Не истлел, крепок. Спеленаю тебе ноги, Иван, такие коконы сделаю — как в гипсе будешь... А вот пузырька с йодом нет...

Балагурил Пучков в мыслях, тешился, как ребенок, подобравший цветной черепок, а тяжесть на сердце становилась все ощутимее. Может, послушаться Ивана, оставить ему пистолет, а самому обратно на хутор? Шумнуть напоследок, забрать с собой к праотцам Импулявичуса со всей его свитой?

Изгонял из себя вольнодумство, прислушивался к ночным звукам, пытался отыскать в них что-нибудь, что приободрило бы, вселило надежду, но на тысячи верст лишь шелест листвы, сонные вскрики пичуг и слабое, булькающее дыхание изнемогающего Ивана Малыгина.

Надо идти, во что бы то ни стало надо идти. Строго на восток, к Неману. Пусть приостановилось наступление, но не навек же оно приостановилось... Перевяжу, приведу Ивана в порядок и пойду... С тем и уснул Вадим Пучков. Рядом бы с Иваном лечь, пригреть его своим телом, но сторожился Вадим. Оружие в стороне не оставишь, а с оружием лечь... Малыгин уже не раз пытался здоровой рукой дотянуться до автомата.

Проснулся Вадим от сырости. Наползли тучи, окатили землю. Вода подобралась под волокушу, не спасла Ивана Малыгина и плащ-палатка. Мокрый до нитки, прикрыв глаза рукой, Иван ловил ртом дождинки. Различив в водяном бусе вставшего на колени Вадима, Малыгин сказал:

— Не мучай меня, Вадим... Все равно конец.

Пучков молчал, стал резать кустарник для настила. Малыгин опять к нему:

— Чего сопишь, слышишь ведь.

— Возьми себя, Ваня... Зубами. Ты же сильный.

— Был... Сломал меня немец... Много я ихнего брата... Теперь и мой черед...

— Я же с тобой, помогу.

— Уходить тебе надо, Вадим. Может, дойдешь. Работу сдашь нашу... Повезет — и моих повидаешь...

— Сам повидаешь.

К полудню дождь стих. Пропитанные кровью и гноем, набухшие от дождя повязки снялись легко. Отжав принесенные с хутора тряпицы, Вадим заново перевязал воспаленные, гноящиеся раны Малыгина. Тот лежал расслабленный, не пытаясь ни помочь, ни воспротивиться. Видно, снова ушло сознание.

Не удалось и покормить Ивана кашицей, в которую превратились хлебные корки. Вадим прибрал тюрю в консервную банку и, мусоля свиную кожицу, наслаждаясь ее вкусом, снова изнурял мозг разными планами. Ни один из этих планов не годился.

Сколько прошло дней их пребывания на болоте? Вадим не мог определить этого. После того ночного дождя ливни стали возобновляться, одежда не просыхала. Теперь подлая слабость окончательно скрутила и Вадима Пучкова. Свело изнутри глотку, кишки пекло нестерпимым жаром и резало их на части. Запас прутиков черемухи, нарезанных неподалеку от последнего места боя, иссяк. Вадим, как святую матерь, молил Нину Андреевну явиться в его память со своим кладезем знаний. От ее лекций в мозгу мало что сохранилось, помнились лишь фитонциды лука и черемухи. Все же копался в придымленной памяти, в своих дилетантских познаниях трав. Что на болотах? Кубышка желтая, аир, дягиль, череда... Болото — вот оно. Набухшее дождями, стонущее топью, оно еще ничем, кроме страданий, не одарило. Череда... Кажись, годна при золотухе. Девясил возбуждает аппетит. Вот уж действительно — в точку, только аппетита им и не хватает... Отвар бы из наростов шиповника, успокоить кишки...

Отвар... Примус еще тебе, кастрюльку...

След от пули на лопатке загнивал, боль растекалась по всей спине, Пучкова лихорадило и трепало. Жестоко не отпускал, выворачивал наизнанку кровавый понос. Временами вязкой наволочью застилался рассудок, и Пучков обихаживал израненного Ивана уже в обморочной одури.

Обмытый, вновь перевязанный, очнувшийся Иван Малыгин подозвал однажды взглядом Вадима Пучкова.

— Вадим, я схожу с ума...

Пучков с усилием вникал в то, что говорил Малыгин. В своей еще большей недоле тот не замечал физической беспомощности друга, не видел его душевных страданий, говорил как с человеком, который еще способен пусть на тяжкое, но живое дело.

— ...с головой неладно, — продолжал Малыгин. — Сейчас с полковником Трошиным говорил... как с тобой.

Действительно, то, что привиделось Ивану Малыгину, он не мог объяснить не чем иным, как помрачением рассудка. Наплывала, обволакивала ватная тишина, уходила боль, возникала дурманная тяга ко сну, дурманная и присущая только здоровому организму. Веки смыкались, наступал покой, и на этом присущее здоровому кончалось — Малыгин продолжал видеть то, что видел только что: кусты можжевельника, болотистое пространство с окнами черной тины, поодаль, на буг-

рах, корявые стволы сосен. Этот унылый пейзаж начинал неестественно покачиваться, подрагивать, оживать цветными блестками и звуками. Поначалу звуки доносились со всех сторон, неразборчиво, но в какое-то мгновение слились, обозначились хлюпаньем ног по болоту, человеческими голосами, и Малыгин увидел в мареве ивняка, ольхи и крушины смутные, колеблющиеся, как под слоем воды, фигуры полковника Трошина и его заместителя, который, провожая их, давал последние наставления. Когда увидел их, голоса стихли, только стало что-то гулко и через равные промежутки бухать. Люди молчали. Молчал и пораженный Малыгин. А метрономные удары продолжались, они несли в изнуренный мозг все четче и четче проясняющуюся мысль: "Сон, надо открыть глаза."

Малыгин разлепил веки — призрак сгинул, а буханье осталось. Понял — это его еще живое сердце. Тотчас захотелось вернуть видение, не упустить его, и Малыгин поспешно закрыл глаза. Рассудок мутнел, Трошин и его зам снова возникли в обмане чувств. Они стояли на том же месте и будто всматривались во что-то, искали что-то. Малыгин решился подать голос: "Николай Антонович, вы слышите меня?" И как удар током: "Слышу, Ваня. Где вы? Где отряд?"

Тут не ошибешься — его голос, голос полковника Трошина.

Бухает сердце, подкачивает, толкает в мозг нездоровую кровь. Но что-то есть в той крови и живое, свежее — мутнеет обманчивая картина. Малыгин распахивает глаза, в них бьет дневной свет, в угарное сознание проникает свежая струйка: бред это. И все же Малыгин вновь спешит к призраку: смыкает глаза, здравый смысл теряется, надвигается бредовое, болезненно мнимое, и оно опять воспринимается за реальное.

— Николай Антонович, это ведь сон, вы пришли ко мне во сне.

— Это не имеет значения, Ваня, — отвечает полковник Трошин. — Сообщи...

Сердце замедляет движение, щемит надежда, но Малыгин, хотя и смутно, сознает чушь происходящего, сознает и не хочет возвращаться в реальность, спешит сказать полковнику Трошину:

— На северо-восток...

— Мы придем, ждите.

Не хочется расставаться с надеждой, Малыгин пытается удержать возникшее состояние, но через дрожание ресниц проникает реальный свет реального дня, странность истаивает...

В глубоко запавших глазах Ивана, обнесенных страдальческой чернотой, вспыхивает испуг:

— Вадим, я не хочу умереть помешанным... — Испуг сменяет мольба: — Не мучай... Днем раньше, днем позже...

Захирел дух, заплутал рассудок Ивана...

Пучков молча пересиливал жалость, поил товарища, обтирал его мокрой тряпицей.

— Слюнтяй... Ты... Отдай пистолет...

Пучков стискивал челюсти, глотал обиду. Бредовые выходки полуживого Ивана Малыгина не могли пошатнуть в нем человеческое, ослабить братскую связку.

В мареве июльской жары шевелится сырой болотный воздух, беспощадно жрет комар и мелкий гнус, облепляют тело Малыгина невесть откуда налетевшие здоровенные и мерзкие мухи. Противными голосами орут лягушки. В близком сосняке тарахтит дятел. Прочищая горло, неуверенно подает голос кукушка: ку-ку, ку-ку... Замолчала, переждала малость, посоображала — стоит ли продолжать свою монотонную песню. Снова закуковала. Загадать? А что ответит эта птаха? Годы, дни, часы? Кому? Ему, Вадиму Пучкову, или Ивану Малыгину? Или обоим вместе?

Счет дням давно потерян. Однажды часы не были заведены и теперь безбожно врали. С той стороны, где Неман, — ни звука. Выходит, стал фронт, зарылся в землю?

Может, вопреки здравому смыслу, сходить все же на хутор? Будь что будет! Живым не возьмут! Выманить ту тетку-молодку, припугнуть, привести сюда...

Какая нелепость! Никуда теперь Вадиму не уйти. Переместились от хутора километров на шесть, такого расстояния он не одолеет, если одолеет — не хватит сил, чтобы вернуться к Ивану.

Все не то, не то...

А что — то? Сидеть и ждать? Что ждать? Когда исполнят обещание призраки, явившиеся Ивану?

Хуже смерти это ожидание. Тело немощно, но душа-то жива, действий требует. Бездействие, пассивность — вот что унизительно, вот что раздражает, давит на психику...

Когда возвращалось сознание, Иван Малыгин опять и опять наседал на Пучкова. Пучков собирался с силами, упрашивал:

— Ваня, не надо, не рви себе душу.

Иван хрипел по-звериному. От этого хрипа начинала горлом идти кровь, слепляла губы. Вадим обтирал лицо Ивана, пальцами сдавливал уголки губ, губы выпячивались хоботком, обнажали стиснутые, испачканные кровью зубы. Вадим лил на них воду. Иван не мог противиться, глотал, водил глазами туда-сюда и снова:

— Вадим, тяжко мне... Сжалься, не будь... кислятиной... Не поднимается рука — дай мне...

В сотый раз запечатывался кадык Вадима, он отвергающе мотает головой. Малыгин булькает сырым от крови горлом, просит с необоримым упрямством:

— Вадим, не будь бабой...

Вадим костенеет, выдавливает с огромным трудом:

— Не дам.

— А если немцы? Голыми руками возьмут... Этого хочешь?

— Тогда дам.

— Тогда не смогу.

— Я смогу. За тебя и за себя.

...Ждать, ждать... Пусть давит на психику, но ждать. А что ждать? Счастливого конца? Как в кино? Беспощадная шашка занесена над головой героя, рот его рас-

пялен в предсмертном прощании, в проклятии врагам, еще миг... Но меткий выстрел друга — и шашка выбита из вражеской руки...

Сцепить зубы, сжать нервы в комок и, как Чапаев, — "Врешь, не возьмешь..." Но в том фильме как раз и не было счастливого конца, в том фильме все было как в жизни...

Малыгин стонет, его искаженные близкой смертью губы снова выжимают мольбу. Вадим льет ему воду в рот, на лицо и твердит свое:

— Будем ждать, Ваня.

— Глупо... Бесполезно. Действовать надо...

— Действовать? — Вадим с неимоверным трудом поднимает голову. — Разве ждать — не действие?

Да-да, действие. Еще какое действие. Только оно сложнее по своей структуре, требует не одной энергии мышц, но и энергии духа, непостижимого напряжения воли. Почему мы должны отказываться от этой формы действия? Или у нас есть другой выход из адского положения?

Что-то вот такое хотел сказать Вадим Пучков, но не сказал, сил не хватило, хотя в мыслях было все это. Затрудненно высказал неоспоримую истину:

— Фронт рано или поздно двинется...

Тогда облитые кровью губы Малыгина вышептывают:

— Рохля, тюфяк... Будь проклят...

Потерян счет дням.

Часы показывают неверное время.

Над болотом висят растеребленные бахромистые тучи и сеют водяное просо.

В камышах блеют бекасы.

Малыгин выговаривает Пучкову грубо и мерзко, просит:

— Дай пистолет... дай...

Пучков встает на четвереньки. Звенит в тяжелой голове, и Вадим утыкается в прохладу сырого мха. Это приводит его в чувство.

Снова встал на четвереньки. Резь в животе вроде стихла. Попробовать на ноги? Уцепился за куст, поднялся, шагнул к Малыгину.

Лицо Малыгина песочного цвета, колодезная темень в провалах глаз. Живой ли? Вздрагивают ресницы, разлепляются губы. Живой. Просит:

— Пистолет...

Сжимаются и разжимаются пальцы левой руки — тоже выпрашивают.

Вадим дошагал все же, опустился рядом, смотрит на Ивана помутневшими глазами и цепенеет от сознания того, что решил сейчас делать.

— Не дам, Ваня... Не могу... Ты возьмешь его сам. Прости...

Вадим с усилием расстегнул кобуру, вынул пистолет, ткнул ствол себе под левый сосок, но тут же, мгновенно, отвел руку... Ну нет, лейтенант Пучков, это не выход...

Он долго сидел, опустив руки между колен, смотрел на ставший вдруг неимоверно тяжелым пистолет. Откуда-то подкралось навязчивое и тоскливое желание

обыденного армейского — разобрать его, почистить. Заметил на потершемся затворе, возле предохранителя, коричневое пятно ржавчины, обтер о штанину... А рядом мысли совсем не обыденные: что же все-таки делать? Действовать? Как?.. Ну что ж, давай будем действовать, как велишь, Ваня...

Малыгин ничего этого не видит, он уставился в затянутое низкими тучами небо, пошевеливает пальцами уцелевшей руки, ждет обещанного. Прощаясь, Вадим вглядывается в его сухое серое лицо, подтягивает за лямку вещмешок поближе, кладет на него ТТ с загнанным в ствол патроном.

— Оставляю на всякий случай... И вот что, Иван,без глупостей. Дождись меня. Постараюсь к дороге... Лошадку, может... Уговорю или... — Вадим отомкнул рожковый магазин автомата, проверил его наполненность. Поднимаясь, встретился со взглядом Малыгина. Тот согласно сморгнул.

Ноги Пучков переставлял с величайшими усилиями, голова моталась на тряпичной шее и все время тянула к земле. Скорее бы из болота... Останавливался, прислонясь к дереву, впадал в горячечное забытье. Очнувшись, вспоминал направление и не спешил с первым шагом — слишком дорого даются ему эти шаги.

Ухваченный за рукоятку, опущенный вниз стволом ППС ободряюще шоркается о голенище...

Близость межхуторской дороги угадал натренированным чутьем. С дальнего расстояния выбирал путь с меньшими помехами, делал очередной шаг. Находил опору, отдыхал, напрягал слух, но, кроме кровяного шума под черепом, ничего не слышал. Снова и снова тянуло подумать о сумасбродной затее — куда он, зачем? Но Вадим зло отгонял эту мысль: решил — так действуй!

Конское ржание застало его близ дороги в тесно переплетенных кустах. Он даже не услышал его, это ржание, лишь угадал — так водопадно шумела в голове нездоровая кровь. Раздвигая ветку за веткой, увидел наконец крестьянскую бричку с грузом под брезентом и ее хозяина. Он насаживал колесо. Направив все внимание на то, чтобы не упасть, Вадим шагнул через затравеневшую пустяковую канавку. Обратного шага сделать не успел, да он и не собирался его делать: на дороге оказалось несколько подвод. У той, что ближе к нему, стояла группа вооруженных людей. На Пучкова враз уставились темные дульца нескольких карабинов. Вадим сделал резкое кистевое движение, левой рукой поймал рожок вскинувшегося автомата и, уперев автомат в живот, нажал на спусковой крючок. Очередь была длинной. Она продолжалась и тогда, когда Вадим лежал мертвым. Судорожно сжатые пальцы не отпускали крючка, и автомат, сбивая дорожную гальку, жил до тех пор, пока не опустел магазин.

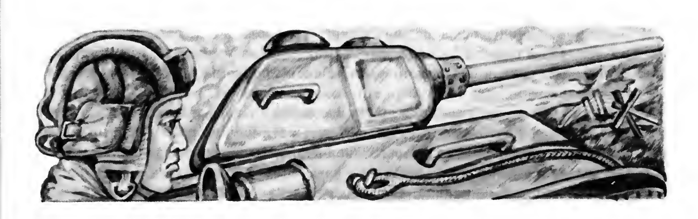
Яков Резник



25 Зак. 474

Яков Лазаревич РЕЗНИК (1912—1988) в 1943 году ответственным секретарем газеты "Доброволец" ушел в составе Уральского танкового добровольческого корпуса на фронт. Прошел боевой путь от Орла до Праги. Как журналист он был лично знаком со многими героями фронта и тыла. Это позволило ему создать целую "серию" документально-художественных книг. О лучшем сталеваре Магнитки, погибшем смертью храбрых в годы войны, — книга очерков "Вторая жизнь Алексея Грязнова". О создателе танка Т-34, главном конструкторе Михаиле Кошкине — документальная повесть "Сотворение брони". Повесть "Рассвет над Влтавой" рассказывает о борьбе Ю.Фучика и чешских коммунистов с фашистскими захватчиками.

Я.Л.Резник был награжден двумя орденами Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, медалями "За боевые заслуги", "За трудовую доблесть" и другими.



НАШ УРАЛЬСКИЙ ТАНКОВЫЙ

Братья Спеховы

Это произошло на второй месяц после тяжелейших боев Уральского добровольческого танкового корпуса под Орлом.

29 августа корпус был выведен в резерв — надо было пополниться личным составом и техникой. Лишь Свердловская танковая бригада, доукомплектованная частью людей и остатком боевых машин Челябинской и Пермской бригад, получила задачу: вместе с 63-й армией прорвать оборону противника; перерезать железные дороги Брянск — Льгов и Брянск — Киев и, совершив обходной маневр по тылам врага, содействовать освобождению Брянска и Бежицы.

В ночь на 1 сентября оборона немцев была сокрушена, и утром бригада, устремившись в прорыв, на высоких скоростях помчалась на запад.

Выжженная земля лежала на нашем пути. Команды фашистских карателей и факельщиков, отходящие последними из деревень и городов, сжигали дома, вешали, расстреливали тысячи мирных, ни в чем не повинных людей.

На исходной позиции перед броском первого батальона к деревне Сныткино у нового комбрига полковника Жукова не оказалось времени, чтобы поговорить со мной, работником редакции корпусной газеты, об отличившихся в предыдущем ночном бою. Он показал мне стоявшего на лужайке офицера с орденом Ленина и Золотой Звездой Героя Советского Союза.

— Видите? Это мой заместитель. Он вам все расскажет.

Я подошел.

— Майор Спехов, Федор Яковлевич, — назвал себя офицер.

Так вот почему скуластое лицо его с первого взгляда показалось мне знакомым!

— Павел Константинович — ваш родственник?

— Вы знаете Павла? Вы с Уралмаша?..

Разговорились.

Федор Спехов рос под одной крышей с Павлом, и тот, гораздо старше, был для него не только двоюродным братом, а близким другом, наставником в жизни.

С малолетства Федя знал, какие муки перенес старший брат на Павловском заводе от самодурства мастера, с кулаками набрасывающегося на рабочих.

— Такого вредного человека в жизни не видывал, — часто повторял Паша.

И ненависть, накипевшая в сердце против произвола и несправедливости, проявилась у Павла в боях за власть Советов. Два года, на Урале и в Сибири, дрался он с белогвардейцами и одним из первых со своим полком Красной Армии вошел во Владивосток.

Отгремела гражданская война, и другая началась у Павла жизнь.

Помня каторгу подневольного труда, теперь Павел шел на работу как на праздник. Он работал на Уралмаше с первых дней пуска, и вскоре его признали лучшим токарем завода.

Он не прятал в кубышку свой опыт, как это делали старорежимные мастера, а щедро передавал молодежи свои навыки и знания: только во второй половине тридцатых годов обучил в стахановских школах своего цеха десятки искусных токарей.

В первые месяцы Великой Отечественной войны многие ушли на фронт. На их места прислали из ремесленного училища неоперившихся, совсем юных ребят и девчат. Коллектив заволновался: пока они освоят танковые детали — мы провалим план...

Спехов подходил к станкам новичков, помогал преодолеть робость, терпеливо объяснял и снова помогал.

И однажды Павел Константинович решил: попробую в один наряд! Это подхлестнет ученика...

Задумка на первый взгляд выглядела простой: задание учителю и ученику вносится в один наряд, выполняют это задание вместе, а заработок делится между ними согласно их разрядам. Но практически все оказалось сложнее.

Начал Спехов с наиболее старательного парнишки, Лени Терентьева, предложил ему станок рядом со своим, спросил:

— Хочешь со мной работать в один наряд?

Парень не верил своим ушам:

— Как это?.. Вы — универсал, а я — ноль без палочки...

Спехов подбодрил:

— Через полгода будет из тебя классный токарь, только не ленись.

Закончился пробный месяц — Терентьев выиграл вдвое по сравнению с прежним заработком, Спехов потерял половину своего.

— Неладное задумал, Константиныч,— твердили иные друзья по цеху и жена,— скоро и трети не будешь получать.

— Пусть... Не это главное. Мои братья — Федор, Василий, а ныне и меньшой, Владимир,— на фронте. Они там небось о себе не пекутся...

На четвертый месяц Леониду Терентьеву уже по плечу были работы по шестому разряду.

А Спехов, пустив паренька в самостоятельный полет, рядом с собой поставил к станкам трех учеников и тех научил. Потом — шесть в один наряд.

И весь Урал, а там и вся страна узнали о школе Спехова, о методе его. И доброе это дело подхватили на многих заводах.

— Ноги как у Павла? — забеспокоился майор Спехов.— Знаю, больные. Как ему стоять по одиннадцати часов в смену?

Я умолчал, что Павел Константинович порой вовсе домой не уходит. Переспит на топчане в бытовке часа три-четыре и — снова к станку, к ученикам своим.

— Вы не слышали? В феврале Павла Константиновича наградили орденом Ленина. Мы в заводской газете целую страницу посвятили ему. Так и озаглавили: "Спеховы защищают Родину". Мы поместили и стихи о братьях-богатырях: один — танкист-герой, второй — зенитчик, а старший у станка достиг успехов — десятки классных токарей растит любовно Павел Спехов.

Так мы и разговаривали — об Урале, о том, как люди в тылу работают, фронту помогают... Но когда, спохватившись, я попросил майора Спехова оценить прошедший бой, назвать лучших танкистов и расстегнул планшет, в котором вместе с картой носил блокнот, было уже поздно. Зарокотали двигатели танков первого батальона, вытягивающегося из леса и строящегося в колонну на полевой дороге.

Лицо майора, до этой минуты улыбчивое, полное добродушного внимания, стало строгим, почти суровым.

Минут через двадцать танки первого батальона приблизились к узкой речке с крутыми берегами — метрах в двухстах за противоположным берегом виднелась деревня Сныткино.

До выхода танков с исходной позиции пехотная разведка сообщила, что мост, ведущий к Сныткино, цел, но, видно, разведчики были тут задолго до того, как прибыть танкам: от переправы остались обломки.

Едва танки остановились, как посыпались вражеские снаряды и мины. Девять автоматчиков и саперов-десантников выбыли из строя.

Танки ответили огнем, заставили немецкие батареи приутихнуть. Спехов и автоматчики десанта перешли речку у крутого берега, выбили из деревни остатки пехоты противника. А вскоре саперы нашли место с пологими берегами, танкисты форсировали злополучную речонку, и комбат майор Аверин повел батальон к высоткам за северной окраиной, откуда немцы недавно обстреляли колонну.

Чтобы установить расположение вражеских огневых средств, комбат направил взвод разведки. Пройдя оврагом на север от деревни километра два, разведка возвратилась, сообщив, что ни пушек, ни минометов, ни живой силы не обнаружила. Оставалось загадкой: либо немцы покинули в последний час свои огневые позиции, либо так мастерски их замаскировали, что словно растворились.

Чтобы не проморгать врага, экипажи вынуждены были двигаться с открытыми люками. Этим и воспользовались гитлеровцы. Из окопов, из-за кустов полетели в открытые люки ампулы. Разбиваясь внутри танков, они заполняли их ядовитым веществом. И опять заговорили немецкие батареи.

Открыв ответную стрельбу, охваченные азартом боя, танкисты не сразу почувствовали отравление, а когда ощутили опасность, не могли защитить себя. Кто, выйдя на боевое задание, не захватил с собой противогазы, жестоко поплатился. Батальонные медики немедленно отправили пострадавших в медсанвзвод.

К счастью, отравление было не смертельным. Но все же некоторых пришлось серьезно лечить. Среди них был и командир роты старший лейтенант Сухов, которого комбат заменил командиром взвода Заикиным.

Встретиться с ним мне удалось только в 1974 году. И только через тридцать с лишним лет ветеран корпуса Иван Лукич Заикин рассказал мне подробности того давнего боя в Сныткино.

— Взвод разведки, высланный Авериным в сторону высоток, возглавлял Иван Абрамов. Танкист что надо! Но немцы влезли в землю, замаскировались — казалось, живой души нет.

После возвращения Абрамова мы тронулись колонной в обход пологого холма: танк майора Аверина — в середине колонны, я — третьим. Но и экипажи передних машин ничего подозрительного не обнаружили.

Обогнув холм и высунувшись по пояс из люка, я заметил, как над землей поднимается плащ-палатка и из-под нее пистолет в мою сторону. Нырнул в люк, но пуля немца опередила меня, оставила незначительную отметину. Хлопнув крышкой, я скомандовал механику, чтобы дал задний ход. Надо отойти — машина от немца метрах в пяти. Бей не бей, все равно не попадешь — мертвое пространство. Когда отошли, я выстрелил из пушки и тут услышал по радио голос Аверина: "Ты же своих бьешь, Заикин!"

Я вздрогнул: может, напутал, может, действительно послал снаряд в своих... И все же для проверки высунулся из люка, кричу: "Хенде хох!" Вижу: немцы по траншее драпают. И другие наши увидели. Добрая половина танков из нашей колонны пошла утюжить окопы и траншеи. Но не все немцы бежали. Минометчики с обратного ската холма вели меткий огонь. Наши снаряды тоже достигали их, покалечили изрядно.

В этот момент немецкие автоматчики и стали бросать в наши открытые люки стеклянные ампулы. В числе пострадавших оказался и старший лейтенант Сухов. Майор Аверин приказал мне возглавить роту и двигаться к станции Брасово.

Рота выехала из ложбины на бугор, освещенный последними лучами солнца. Заметив нас, немцы со второй высотки открыли сильный пушечный огонь. Плохо пришлось бы нам, если бы не приказ Аверина по рации: "Отойти в Сныткино!"

По пути к деревне я остановился возле танка лейтенанта Бородулина — ему надо было оказать техническую помощь. Огляделся и узнал окоп, откуда немцы стреляли в меня и куда я послал свой снаряд. Подумал: "Может быть, найду пистолет, из которого немец едва не убил меня?" Скребу пальцами мягкую, развороченную снарядом землю и чувствую в руке волосы. Потянул их к себе и увидел длинного с позеленевшим лицом ефрейтора. Он трясется, и я трясусь, сам не знаю отчего.

Когда взял его в плен, увидел взрыв возле танка, где только что стоял Бородулин.

Совсем стемнело. Мне и моему экипажу пришлось на ощупь искать Бородулина: нет и нет его... В это время вражеская пуля угодила мне в грудь, задела легкое и вышла в руку. Сразу боли не почувствовал, не предполагал даже, что ранен, пока не увидел кровь...

Потеряв сознание, Заикин уже не видел того, что произошло, когда танкисты возвратились в деревню, где их ожидали Спехов и Аверин.

— Где Бородулин? — строго спрашивал комбат механика-водителя танка, командира роты.

— Убит...

— Захватили с собой?

— Нет... Темно...

Аверин кричал, что надо было вывезти тело убитого, а послать за ним не послал — жалел бойцов, боялся новых потерь.

Он сел, беспомощно склонив голову на грудь и опустив ноги в кювет, а Спехов вполголоса ругал майора Аверина.

— А может быть, жив Бородулин? Не ошибся ли механик? И если даже мертв, все равно — вынести!

— Убитых сколько...— пытался Аверин смягчить Спехова.

— Постройте людей, спросите, кто желает пойти, — приказал Спехов.

...Глубокая ночь. Лишь вспышки выстрелов и редкие осветительные ракеты немцев выхватывают из черноты лица танкистов. Они кажутся застывшими. Кто отважится ползти в лощину искать тело лейтенанта?

— Кто пойдет добровольно?..

Гнетущая, как перед взрывом, тишина. Они только начали воевать. Кто пересилит робость?

— Я пойду!...— Это голос механика танка Бородулина и шаги его тяжелые.

— Я!.. Я!.. Я!..

Все танкисты, стоявшие в строю, сделали шаг вперед. Послали четверых.

...Уже они принесли тело убитого комроты; уже вышли из боя танкисты Заикина, очистив высоту; уже был допрошен и отправлен в штаб ефрейтор, который кричал: "Гитлер капут!" и утверждал, что он по русским не стрелял, утверждал до той минуты, пока из его кармана не были извлечены три медали, полученные на Восточном фронте. А меня все еще преследовала навязчивая мысль: правильно ли поступил Спехов, отправив четырех ребят почти на верную смерть?

На рассвете на освобожденной от врага высоте мы похоронили лейтенанта Бородулина. Выступили механик-водитель и замполит батальона Брехов. Потом был автоматный салют танкистов над могилой. И там, на высоте, глядя на строгие, печальные и возмужавшие за эту ночь лица бойцов, я, кажется, понял причины неотступности Спехова. Молодые танкисты постигли что-то очень важное. Наверное, то постигли, что дружба боевая — не красное слово, что солдат пойдет за командиром, вынесет его с поля боя, будь он тяжело ранен или убит, чтобы не попался врагам, чтобы они ни над раненым, ни над мертвым не измывались. И командир пойдет за солдатом, не оставит его ни в какой беде. И еще мне показалось тогда, что танкисты Аверина другими глазами смотрели на Спехова, поняли, должно быть, простую на первый взгляд истину: не может командир быть в бою размягченным, он обязан раскрывать в солдате невыявленные силы, которые находятся в душевном резерве до той минуты, до того часа, когда обстоятельства ставят его перед большим испытанием, таким, что, если выстоишь, не сломишься, и о тебе скажут: ты — настоящий солдат, ты — герой.

Мало кто в корпусе знал, что Спехов получил свою Звезду еще в 1939 году за Халхин-Гол: Федор Яковлевич не любил о себе рассказывать.

В последний раз я видел Спехова — уже в звании подполковника — в январе сорок пятого на Сандомирском плацдарме. Мы долго разговаривали, он дал мне прочитать написанное крупным почерком Павла Константиновича коротенькое, как телеграмма, письмо: "Работаю. По моему методу воспитывают молодых ребят

не менее сотни человек на Уралмаше и, говорят, тысячи людей на многих заводах страны. Кажется, скоро конец войне, да, Федя?.. Довоюй, выживи, прошу тебя, и приезжай — ноги подлечу и поохотимся..." Письмо было написано на оборотной стороне замасленных нарядов, и в лесной землянке запахло металлической горячей стружкой, сладковатой эмульсией...

Погиб Федор Яковлевич на стыке трех границ — Польши, Германии и Чехословакии — 1 апреля 1945 года. Как жил и воевал, так и погиб коммунист-уралец Спехов за свой народ, за нынешних Спеховых — юную поросль рабочего класса, творцов и воинов, готовых к подвигам во имя Отчизны.

Федор Яковлевич Спехов — первый Герой Советского Союза, которого танкисты Свердловской бригады увидели в нашем корпусе в боях.

Павел Константинович Спехов. Его имя было отлито золотом в верхней строке мраморной Стены почета Уралмаша.

Братья-уральцы — живое олицетворение единства фронта и тыла, которое стало крепче любых сверхтвердых сплавов.

Звезды героев

Укротители "тигров"

Каждый из тридцати восьми Героев Уральского добровольческого танкового корпуса шел к своей Золотой Звезде единственным, неповторимым путем.

Танкист Григорий Сергеевич Чесак, бронебойщик Николай Александрович Худяков первыми получили в Уральском добровольческом корпусе звание Героя Советского Союза.

Они показали себя в боях на Правобережье Украины в марте 1944 года бесстрашными гвардейцами, умелыми укротителями немецких "тигров" и "пантер".

Задача была невероятно трудная. В "тиграх" воевали опытные фашистские офицеры и солдаты. Им приказали во что бы то ни стало вернуть станцию Волочиск и поселок Фридриховку, восстановить движение немецких составов по железной дороге от Тернополя на Проскуров и Винницу. Немцы, по-видимому, разведали, что в Волочиск и Фридриховку, занятые 6 марта, вошло мало нашей пехоты, танков и самоходных пушек... Они рассчитывали, что в весеннюю распутицу советскому командованию не удастся быстро подбросить новые части. Поэтому гитлеровцы шли самоуверенно и нагло, предполагая если не к вечеру, то на следующий день уничтожить здесь последнего нашего солдата. Они надеялись на то, что пушка "тигра" может пробить броню тридцатьчетверки на дистанции до тысячи метров.

Но уральцы, прошедшие суровую школу на Брянском фронте в 1943 году, знали уязвимые места "тигров" и силу своей тридцатьчетверки. "Тигр" грузен, неповоротлив, в полевых условиях резко падает у него скорость. А тридцатьчетверка — быстрая ласточка, как ее называли еще в начале войны,— легка, стремительна, прекрасна для молниеносного маневра на любой местности. Да, "тигр" выигрывает в толщине брони, а ты ему противопоставь свое тактическое мастерство и сме-

лость. Хочешь подбить "тигра", устрой засаду, подпусти его на триста, двести, еще лучше — на сто метров или, используя свое превосходство в скорости и маневре, подлетай к нему на близкую дистанцию и, если неудобно бить в борт, бей в гусеницу — тут уж без промашки твой снаряд перебьет "тигровые лапы."

Так и действовал в начале марта 1944 года танковый экипаж добровольцев из Свердловска — механик-водитель Виталий Овчинников, командир башни Дмитрий Курбатов, радист-пулеметчик Александр Бухалов и отважный командир тридцатьчетверки лейтенант Григорий Чесак.

Произошло это на исходе первой ночи в той самой Фридриховке, где уральские добровольцы в течение недели отбивали контратаки превосходящих сил противника.

Перед рассветом, когда сон, казалось, вот-вот одолеет танкистов, ребята из экипажа Чесака услышали нарастающий гул моторов и звон гусениц, увидели надвигающуюся на них колонну из девяти "тигров". Тридцатьчетверка стояла одна в засаде у перекрестка. Начать бой?.. Не бессмысленно ли это, если поблизости имеется лишь боевое охранение автоматчиков и ни одной противотанковой пушки? Отсидеться в засаде?.. Колонна пройдет к станции Волочиск, а там мало сил, там могут не выдержать прорыва "тигров".

Значит, остается одно — действовать, воспользоваться единственным в этих условиях преимуществом перед экипажами девяти "тигров": те не заметили тридцать четверку, притаившуюся в укрытии за домом.

Какую надо было проявить выдержку, в какие тиски зажать нервы, чтобы подпустить к себе голову колонны менее чем на сто метров и лишь тогда скомандовать механику-водителю вывести танк на огневую. Несколько секунд понадобилось Овчинникову, чтобы включить мотор и рвануть машину навстречу и в бок головному "тигру". Курбатов быстро зарядил пушку, и Чесак первым же выстрелом подбил "тигра". Колонна немедленно пустила восемь снарядов в сторону тридцатьчетверки, но той уже не было на огневой — Овчинников успел ее завернуть в другое укрытие и оттуда выйти на вторую позицию.

Фашисты озлобились. Их снаряды рвались кругом — один отбил кусок днища. Но выстрел тридцатьчетверки оказался точнее — второй "тигр" остановился с разорванной гусеницей, а Т-34 опять отошла в надежное укрытие.

Экипаж, искусно маневрируя и ведя прицельный огонь, бросал свою стремительную боевую машину то за дом, то на новую огневую, пока не подбил третьего "тигра". Остальные тяжелые немецкие танки повернули вспять.

Через несколько дней, когда гитлеровцам все же удалось вывести из строя танк Чесака, его экипаж отремонтировал гусеницу одного из трех трофейных "тигров" и воевал на нем, пока уральцы не прислали в корпус новые тридцатьчетверки с могучей 85-миллиметровой пушкой.

— Гриша приручил "тигра"...— смеялись друзья.

Двух бойцов из расчета противотанкового ружья не сравнишь с экипажем танка Т-34. Вся защита бронебойщика — окоп или угол дома, вся надежда — на свое мастерство.

Известно, человек не рождается бесстрашным. Жаром и холодом обдавало бойцов, когда они впервые оказались лицом к лицу с "тигром".

Добровольцу с Челябинского инструментального завода младшему сержанту Унечской мотострелковой бригады Николаю Худякову приходилось вести огонь — и успешный — против броневика, нескольких автомашин, против пехоты. Но с "тиграми" он столкнулся лишь в Фридриховке в марте 1944 года.

Можно описать подробности этих схваток. Но вернее, чем рассказал сам Худяков в газете "Доброволец" в те весенние дни, никто, пожалуй, не расскажет.

Вот что писал Николай Александрович Худяков в статье "Как я подбил три тяжелых танка":

"Наше подразделение противотанковых ружей совместно со стрелковым подразделением находилось в обороне на правом фланге местечка Фридриховка. Танки типа "тигр" и немецкие автоматчики беспрерывно атаковали нас.

Вот и на наш участок обороны пошли "тигры". Я хорошо замаскировался и подпустил один немецкий тяжелый танк до ста метров к себе. Машина шла прямо на меня, я выстрелил, но пуля не пробила броню. Второй раз угодил в башню и заклинил ее. Все же "тигр" продолжал приближаться к окопу. После третьего выстрела танк остановился. Из него начали выскакивать фашисты. Их уничтожили наши автоматчики.

Это была моя первая встреча с "тигром", и я еще боялся, что ружье не возьмет его. В другой раз "тигр" стоял на улице. Решил подняться на чердак дома, откуда мне прекрасно видна была крышка моторной части. Я хорошо прицелился и выстрелил. "Тигр" загорелся, выскочивших фрицев я убил из автомата.

С третьим танком встретился на улице, ведущей к нашему штабу. Командир взвода приказал мне выдвинуться вперед и открыть огонь. Я притаился за углом дома и, когда "тигр" приблизился ко мне метров на 70, прицелился в башню. Танк продолжал идти, заметил меня и выстрелил из орудия. Меня легко ранило. Сменил позицию. Залег в другом конце дома, замаскировался. Теперь танк был на расстоянии 30 — 40 метров, я тщательно прицелился в гусеницу и перебил ее. "Тигр" застыл поперек улицы, преградив путь другим. Так была предотвращена опасность, которая угрожала штабу".

Вскоре добровольцу Николаю Александровичу Худякову присвоили звание Героя Советского Союза. Он продолжал воевать умело и бесстрашно, пока вражеская пуля не сразила отважного комсомольца.

В тех же боях за поселок Фридриховку и станцию Волочиск отличились и юные добровольцы автоматчики Свердловской танковой бригады.

Бойцы занимали оборону у дороги. Кончились гранаты и бутылки с горючей жидкостью, а к окопам приближались шесть немецких танков с десантом.

— Занять огневые позиции в доме! Стены кирпичные, толстые — "тигры" сюда не полезут. Бить по десантникам, а с "тиграми" наши танки справятся,— скомандовал командир взвода.

Ребята нашли на ближнем складе ящики, заполненные железом, заложили ими окна, оставили щели для наблюдения и стрельбы. На стене написали: "Здесь стоят уральцы, комсомольцы-добровольцы".

Столько фашистских снарядов угодило в стену, что от надписи осталось два неполных слова, а бойцы не отходили.

Гайфутдин Шахиев, перед боем принятый в комсомол, прикрывал огнем ручного пулемета переправу автоматчиков. Уже несколько солдат перешли реку, когда осколки вражеской мины врезались в голову Шахиева. И тут же он получил второе ранение. Но продолжал стрелять.

Костя Верховых. Самый маленький из автоматчиков роты лейтенанта Добровидова. Цепь фашистов приближалась к его окопу — Костя стрелял из автомата, отбивался гранатами, пока фашисты не отказались от атаки в лоб. Когда двум отделениям врага удалось его обойти, он попросил товарища из соседнего окопа прикрыть его с фланга и, забравшись в амбар, где хранился уголь, через окна увидел: гитлеровцы пробираются по тракторному парку меж машин. Понял — окружают. Выполз из амбара и открыл такой меткий огонь, что лишь одному офицеру посчастливилось удрать. Кинулся было за ним, а тут из-за угла амбара — лейтенант Добровидов. Увидел измазанного углем бойца, раскричался:

— Почему не в окопе?!

Костя слова не мог произнести.

— В уголь от противника зарываешься?..

От обиды Костя разревелся.

— Еще и слезы! — возмутился офицер,— чего ревешь?

— Один убежал...

— Кто?

— Да не я!..— Костя показал на трупы и кинулся в свой окоп.

Лейтенант насчитал 14 убитых солдат противника.

Всех их уничтожил маленький и тихий Костя Верховых.

Нас и смерть не берет...

Яков Давыдович Хардиков был годами и опытом старше, чем первые Герои Советского Союза, получившие это звание в нашем корпусе.

С первых дней войны находился на фронте и приобрел немалый боевой опыт. Весной 1944 года командовал в Унечской мотострелковой бригаде огневым взводом.

Артиллеристы Хардикова шли на штурм Каменец-Подольского в составе передового отряда корпуса. В километре от переправы через реку Смотрич гвардейцы наткнулись на оборону противника. Автоматчики роты старшего лейтенанта Козлова своим огнем отвлекли внимание немцев, а расчеты огневого взвода Хардикова, увязая в грязи, на руках потащили орудия на прямую наводку. За шесть часов боя на окраине города артиллеристы Хардикова уничтожили "тигра", три пушки, бронетранспортер, несколько пулеметов и минометов.

Ворвавшись вместе с танкистами и десантниками Свердловской бригады в город через Турецкий мост, артиллеристы стали пробиваться к центру и сожгли еще четыре танка, два захватили, уничтожили семь орудий, шесть бронетранспортеров.

Величайшую храбрость, стойкость, презрение к смерти проявили артиллеристы у железнодорожного вокзала, куда подошел немецкий эшелон с пехотой, а вскоре и танки противника. На этом участке остались три орудия расчетов Демидова, Шлыкова и Струихина да один пулемет с бойцами Гусаковым и Проненко. Договорились: два орудия бьют по танкам, третье орудие и пулемет — по пехоте. Едва успели приготовиться, как увидели противника.

Хардиков позвонил по телефону командиру дивизиона:

— На нас идут семь "пантер" и до ста пятидесяти пехотинцев. На участке, кроме нашей батареи, никого.

Командир дивизиона велел действовать по обстановке. А минуту погодя Хардикова вызвал к телефону командир бригады полковник Смирнов:

— Ни шагу назад!.. Стоять насмерть! Передай это всем батарейцам.

А танки приблизились уже на двести метров. Одновременно началась орудийная дуэль. Три "пантеры" пошли в обход справа (батарейцы этого не заметили), а четыре — в лоб. Головную "пантеру" подбил сержант Демидов и упал тяжелораненный. Сержант Шлыков подбил второй танк, метким выстрелом поджег третий. Хардиков встал за орудие Демидова, когда четвертый танк был от него в полсотне метров. Снаряд Хардикова поджег и эту "пантеру".

На минуту пришло облегчение. Много вражеских пехотинцев было убито, другие залегли. Но тут внезапно появились с фланга три "пантеры". Одна раздавила орудие Струихина.

Хардиков с бойцами расчета Демидова повернул орудие и поджег танк, со вторым расправился расчет Шлыкова, но и его пушку разбили.

У единственного орудия остались четыре гвардейца, Хардиков — за наводчика. Щит орудия разбил снаряд, осколками убило заряжающего, Хардикова ранило в голову и руку. Но когда гусеницы последнего из семи фашистских танков наползали на орудие, Хардиков успел выстрелить в него в упор.

Придя в себя в походном медсанбате, Хардиков увидел Демидова, Шлыкова, Гусакова и других своих батарейцев, которых, как и его, спасли танкисты Свердловской бригады.

Зрелость

Звания Героя Советского Союза удостоились воины корпуса, отличившиеся в боях за освобождение Львова: командир Челябинской танковой бригады Михаил Георгиевич Фомичев, танкисты этой бригады — механик-водитель Федор Павлович Сурков, командир взвода Дмитрий Мефодьевич Потапов, командир танка Павел Павлович Кулешов и командир мотострелкового батальона Унечской бригады Ахмадулла Хозеевич Ишмухаметов.

Передовой отряд, как ему полагается, ворвался во Львов первым. Рядом были стрелки батальона гвардии майора Ишмухаметова, корпусные саперы и разведчи-

ки, могучие ИС тяжелого танкового полка, артиллеристы — истребители танков. Мотострелки, поддерживаемые огнем танков, выбивали из чердаков и подвалов зданий засевших там немецких автоматчиков и снайперов и расчищали вместе с саперами и разведчиками путь для танков.

Батальон Ишмухаметова, прорвавшись вместе с челябинскими танкистами к центру города, уничтожил из противотанковых ружей и гранатами три "тигра", шесть "пантер", четыре пушки, а автоматным огнем — более трехсот солдат и офицеров противника.

Раненный в голову, Ахмадулла Ишмухаметов продолжал командовать батальоном.

Зрелость участников войны с ее первых дней — Михаила Фомичева, Ахмадуллы Ишмухаметова, Дмитрия Потапова — сочеталась с бесстрашием юных гвардейцев.

На улицах города затруднился маневр для разведчиков-танкистов. Отовсюду били танки, орудия. На одном перекрестке из засады ударила "пантера". Потапову и Кулешову удалось на большой скорости проскочить мимо удачно замаскированного танка. Но не оставлять же опасную "пантеру" живой! Гитлеровцы были застигнуты врасплох: не успели они развернуть орудие, как снаряды двух возвратившихся к ней тридцатьчетверок пробили ее башню и борт. "Пантера" загорелась.

Была еще успешная дуэль с несколькими пушками противника, а потом Потапов и Кулешов потеряли друг друга, нарушилась связь и со своим батальоном. К несчастью, горючее и боеприпасы были на исходе. Правда, к Потапову сумела проникнуть группа наших автоматчиков. Двое суток шел бой с "пантерами" и немецким батальоном. В конце концов гитлеровцам удалось поджечь тридцатьчетверку Потапова, второй раз ранить его, но смельчаки удержали до подхода батальона захваченные кварталы города.

Павлу Кулешову было, пожалуй, еще труднее. После того как он вывел из строя "тигр" и несколько орудий, его танк загорелся от попадания вражеского снаряда. Павел остался один возле сгоревшей тридцатьчетверки — израненный, обожженный. Больше суток, истекая кровью, отбивался он от врага и выжил, дождался своих.

В 4-м томе "Истории Великой Отечественной войны Советского Союза" отмечена ведущая роль Уральского добровольческого танкового корпуса в освобождении Львова. Вот что мы читаем на странице 216:

"Наши бойцы и офицеры проявляли в этих боях массовый героизм и отвагу. Особенно отличились воины 10-го гвардейского Уральского танкового корпуса под командованием генерал-майора танковых войск Е. Е. Белова.

Навсегда вошел в историю подвиг экипажа танка Т-34 "Гвардия" 63-й гвардейской танковой бригады. Командование поставило экипажу задачу прорваться к центру города и водрузить красный флаг на львовской ратуше. Танком командовал лейтенант А. Н. Додонов, вел машину механик Ф. П. Сурков, огнем из пушки дорогу расчищал башенный стрелок Н. А. Мельниченко. Радисту А. П. Марченко, хорошо знавшему город, было поручено указывать путь танку, а затем подняться на ратушу и укрепить красный флаг. 22 июля танк "Гвардия" прорвался к центру

города. Сурков подвел машину к самому подъезду ратуши. Марченко с группой автоматчиков, уничтожив вражескую охрану, ворвался в здание, поднялся на башню и водрузил на ней алый флаг. Гитлеровцы, увидев советское знамя, открыли ураганный огонь по ратуше и танку. При выходе из здания Марченко был тяжело ранен и через несколько часов умер. Шесть дней танк "Гвардия" вел бои в городе. За это время экипаж уничтожил свыше ста фашистских солдат и офицеров и сжег восемь танков врага. Наконец противнику удалось подбить советский танк. Лейтенант Додонов был убит, башенный стрелок Мельниченко и водитель Сурков тяжело ранены. По инициативе трудящихся Львова на улице Ленина на высоком постаменте установлен танк. Он напоминает о героизме советских воинов в борьбе с фашистскими захватчиками".

Бесстрашно сражались за Львов все гвардейцы корпуса и среди них Тит Никитович Кононец — командир взвода Пермской танковой бригады.

Командир бригады полковник Денисов приказал двигаться впереди батальона к центру города.

Удалившись от него на два-три квартала, мчались танки Кононца и лейтенанта Олешко. Кононец стоял в полуоткрытой башне — иначе на узких улицах города противника не увидишь. Только свернули вправо, как впереди замелькали бронетранспортеры, пушки, немцы в касках и с автоматами. Одни в панике удирали, другие стали обходить наши танки. Дальше двигаться было нельзя — гитлеровцы окружили со всех сторон. Танкисты маневрировали, отбивались из двух пушек и четырех пулеметов. Вскоре в открытый люк танка Олешко из окон дома полетели гранаты — танк Олешко замер.

А немцы наседали, приближались и к танку Кононца, разворачивали пушку на прямой выстрел в левый борт, но командир орудия Саша Прудник вовремя заметил это, разнес пушку первым снарядом.

Снаряды были на исходе, и подкрепления нет. Рация не работала — сбита антенна. Как быть?

Продолжали бой, пока заряжающий Вася Черепанов не доложил, что осталось три снаряда и два диска патронов к пулеметам.

Тут уж надо было отходить. Зарядили пушку и пулеметы. Кононец взял в руки две гранаты, открыл люк. И на высшей скорости помчались к батальону. Слева — переполненный противником переулок. С короткой остановки, с расстояния двухсот-трехсот метров стреляют последними снарядами, и в переулке все смешалось в кучу. Но откуда-то из-за поворота возникли и бегут наперерез танку два немца с фаустпатронами. Одна за другой полетели гранаты, и танк вырвался из кольца.

Когда завернули на улицу Зеленую, где находились танки батальона, комбриг не поверил глазам своим — их уже считали погибшими. Оказывается, экипаж убитого Олешко выскользнул через десантный люк подбитого танка и, добравшись до батальона, доложил, что танк Кононца сгорел вместе с экипажем.

Пока машину заправляли горючим и заполняли боеукладку снарядами и дисками, ребята несколько остыли от жаркой схватки, и как только командир батальона автоматчиков капитан Лысак запросил поддержки, экипаж опять двинулся на врага.

На этот раз ему не повезло. Кононец стоял в открытой башне, и в тот момент, когда танк повернул в одну из улиц, случился взрыв. Кононец очнулся, когда уже задыхался от дыма и огонь жег его лицо и руки. Собрав все силы, выжался на руках в люке и, вывалившись из него через голову, упал на мостовую. И сразу же вскочил на ноги. Танк был охвачен огнем. Взводный кинулся помочь экипажу, но приблизиться к танку уже было невозможно. По мостовой растекался горящий газойль. Левая гусеница лопнула.

В этот миг Кононец увидел немцев, бегущих к танку. Выхватив пистолет, стреляя по врагу, он отскочил к корме и скрылся в дымном облаке горящего газойля. Глаз не раскрыть. С рук слезла кожа. Обожженными руками бил по охваченному пламенем комбинезону и старался вслепую пробиться к отставшим от танка автоматчикам.

И тут кто-то начал срывать с танкиста комбинезон. Подумал: конец, немцы... Но это был капитан Лысак, он спас Кононца.

В 1974 году Тита Никитовича Кононца, заместителя председателя колхоза, и других ветеранов-танкистов пригласили на праздник 30-летия освобождения Львова от гитлеровских захватчиков. Они ходили по улицам, вспоминали однополчан, отдавших жизнь свою за освобождение этого прекрасного города, за мир и счастье людей.

Прыжок через Одер

С бугорка на опушке небольшого леса командир взвода — доброволец из Верхней Салды — младший лейтенант Виталий Смирнов видел широкий Одер. Почти вплотную к западному берегу придвинулись высокие дома. Город, как каменная глыба, врос в берег. От него на наш берег тянулись два больших моста. Железнодорожный немцы сумели разрушить. Мост для автотранспорта был цел только с одной стороны — предпоследний пролет у западного берега противник успел взорвать.

Наступила ночь. Саперы бесшумно поползли на мост и досками прикрыли брешь. Немцы обнаружили смельчаков, обрушили огонь по тонкому настилу. Когда рассвело, гвардейцы увидели: со стороны нашего берега остались только две доски — малонадежные узкие нити, соединяющие длинный и короткий пролеты моста.

Взводу Смирнова приказали прикрывать продвижение пехотинцев и вместе с ними перейти на тот берег.

Только группа автоматчиков поднялась на мост, как вражеский берег ощетинился стволами пулеметов и автоматов.

Два наших пулемета с бугорка открыли прицельный огонь, а затем и пулеметчики выкатили "максимы" на мост. Под прикрытием их огня взвод автоматчиков добрался до взорванного пролета.

Несмотря на точный огонь немецких снайперов, поднялись двое гвардейцев. Они стремглав перебежали по доскам и упали на пролет моста у вражеского берега. Другие автоматчики последовали примеру бесстрашных. Их поддерживали огнем гвардейцы Смирнова. Перекатывая пулеметы, они приблизились к месту схватки.

Ураган огня бушевал над головами, но около двух десятков автоматчиков все же перебежали на ту сторону. Стало темнеть. Смирнов решил перекатить пулеметы.

Но в этот миг раздался взрыв. Вражеский снаряд упал рядом, сломал доски. Пропасть снова разрывала мост.

Ночью саперы притащили перекидные лестницы. Виталий и его бойцы помогали саперам. Утром немцы, увидев переброшенные лестницы и наших бойцов, подтянули свои силы для решительного боя.

Смирнов приказал командиру расчета Гумерову подкатить пулемет вплотную к лестнице, но осколками снаряда ранило двух бойцов.

— Вперед! — крикнул Смирнов. Но стена вражеского огня стала на пути воинов. В этот момент гвардейцы увидели младшего лейтенанта. Шинель он сбросил. С поднятым автоматом подскочил к лестнице, обернулся на миг к бойцам и с возгласом "За мной!" кинулся на ту сторону.

Гумеров и наводчик Кушнир поднялись за командиром. Застучали колеса пулемета по лестнице, проложенной над пропастью. Заволновались наши: Пройдут ли? Через несколько секунд вздохнули облегченно: "Прошли".

Вовремя появились пулеметчики. Засевшие в кустах у самой реки гитлеровцы бросились в контратаку на наших бойцов, сошедших на вражеский берег. Смирнов подбежал к пулемету, поставил его за балками и с удобной позиции повел меткий огонь по контратакующим немцам.

Несколько яростных схваток выдержали трое пулеметчиков. В самый тяжелый момент, когда противник вновь бросился в контратаку, Смирнов услышал доносившиеся с юга артиллерийские раскаты. Выстрелы орудий, а затем, западнее, разрывы снарядов говорили опытному воину, что наши форсируют Одер южнее. Мелькнула мысль: "Мы оттянули силы, облегчили маневр". В этот момент что-то обожгло ногу, Виталий сказал нагнувшемуся к нему Гумерову:

— Прими взвод, я уже не смогу...

Весенний солнечный день. Празднично на душе воинов. Им вручают правительственные награды,

Перед строем стоит Виталий Степанович Смирнов. Зачитывается Указ Президиума Верховного Совета о присвоении ему звания Героя Советского Союза.

От Орла до Праги

Много славных имен вписано в историю нашего корпуса, но есть среди них одно, которое после каждой боевой операции неизменно встречалось в документах штабов и политотделов, на страницах газеты "Доброволец". Это имя было на устах большинства солдат и офицеров: Володя Марков!

Двадцатилетний лейтенант свою службу начал командиром танка в Пермской бригаде. Его первыми боевыми наставниками были опытные и бесстрашные офицеры: командир танкового батальона майор Б. К. Андреев и командир роты старший лейтенант Е. И. Елкин.

Утром 30 июля 1943 года танк Маркова первым прорвался сквозь шквал огня на занятую врагом господствующую высоту. Меткими выстрелами экипаж уничтожил восемь немецких пушек и перебил около полусотни гитлеровцев. Используя успех Маркова, через Нугрь переправились остальные танки, а также батальоны мотострелковой бригады. За этот бой Володя был награжден медалью "За боевые заслуги".

В конце августа 1943 года оставшиеся в строю танки Пермской и Челябинской бригад с экипажами (среди них и экипаж Маркова) были переданы Свердловской танковой бригаде, начавшей 3 сентября наступление на городок Локоть (южнее Брянска).

Проскочив ночью вражеские позиции, взвод разведки в составе трех комсомольских экипажей — Маркова, Богаткина и Семятицкого — ворвался в городок. Не ожидавшие внезапного появления наших танков гитлеровцы в панике бежали на запад. По заданию комбата взвод Маркова двинулся вслед врагу. Больше десяти часов три танка находились в непосредственной близости к вражеским частям, а временами и в самом их расположении — маневрировали, выскакивали из засад, выводя из строя гитлеровцев и их технику.

Этот рейд взвода Маркова по тылам врага способствовал успехам всей бригады и армейских частей. 8 сентября враг был отброшен за Десну.

Владимира Маркова первого в нашем корпусе представили к званию Героя Советского Союза. Но тогда он был награжден орденом Красного Знамени.

В ночь на 19 июля 1944 года Свердловская танковая бригада, находясь в авангарде корпуса, прошла так называемый Колтувский коридор, по которому наши войска входили в прорыв на Львовском направлении. Танковая рота Маркова с десятком автоматчиков была передовым отрядом бригады.

Рано утром, перескочив окопы, ворвались в село Ольшаница. Но немцы предприняли контратаку. Из-за холмов выползло восемь тяжелых немецких танков. Силы оказались неравными. От разорвавшегося вблизи снаряда вышел из строя пулемет уралмашевца Володи Шестакова. Подбит танк младшего лейтенанта Сухонина. Несмотря на сильный огонь противника, Марков выскочил из своего танка, перебежал к танку Сухонина (в нем все члены экипажа были ранены, а командир убит) и вывел машину в безопасное место. Пришлось отойти от села. Через несколько часов подошли артиллеристы корпуса и Унечской бригады. Дружными действиями враг был вновь выбит из Ольшаницы.

Маркову не раз удавалось малыми силами наносить врагу большой урон и при этом иметь самому минимальные потери. Так было и в польском местечке Лисув, где часть Свердловской бригады оказалась 13 января 1945 года один на один с танковой дивизией немцев; так было и в ночь на 15 января, когда Марков с отрядом в семь танков и десантом автоматчиков захватил село Промник, перекрыв последний путь выхода противника из окружения в районе города Кельце. В той ночной схватке Марков был ранен осколком гранаты.

26 Зак. 474

После возвращения из госпиталя Маркову было присвоено звание капитана и он был назначен командиром танкового батальона. "Молодой комбат,— писал командир корпуса Е. Белов о Маркове, — всегда действовал решительно и быстро. Он обрушивался на врага как снег на голову, не давая ему опомниться. Именно так действовал Марков в Верхнесилезской операции под Нейсе и Ратибором".

На подступах к Берлину, в районе поселка Шенхаген, находился действующий аэродром противника. Получив задание уничтожить его, Марков приказал танкистам захватить побольше трофейных фаустпатронов. Остановив машины за километр до аэродрома, комбат велел экипажам ждать его сигнала с аэродрома и с группой разведчиков исчез в темноте. Вскоре разрывы фаустпатронов всколыхнули тишину. Вспыхнуло здание ангара. В небо взвилась зеленая ракета, и батальон рванулся вперед. И получаса не прошло, как были уничтожены все находящиеся на аэродроме самолеты.

Столь же стремительно танкисты выбили противника из городка Зармунд, ворвались 23 апреля в южную часть Потсдама, отбросив немцев за канал Хавель. А через неделю, возвратившись по приказу в городок Беелитц, продемонстрировали высочайший героизм и стойкость, отбивая атаки отчаянно рвущихся на запад остатков берлинской группировки немцев.

В южной части Беелитца Марков с одним танком и двадцатью автоматчиками отбивался от наседавших врагов. Три наших танка были подбиты еще в начале боя. На исходе боеприпасы. Стреляющий командирского танка старший сержант Пименов, израсходовав весь боекомплект, бил из автомата, пока вражеская пуля не сразила гвардейца. Гусеницами давил гитлеровцев механик-водитель Доценко.

— Собирай всех, кто жив! — приказал Марков лейтенанту Кузнецову.

На помощь пришли легкораненые, шоферы и солдаты обслуживания штаба. Вооружились трофейным оружием, встали в строй недавно освобожденные из фашистских лагерей. В бой вступил знаменный танк бригады, офицеры штаба и политотдела.

Кончились боеприпасы, но тут подоспела подмога. Заместитель комбата по политчасти Афанасий Сила прорвался на танке к тылам бригады и возвратился с пятью танками. Их вел заместитель комбрига по техчасти Е. Н. Ширяев. Были доставлены и боеприпасы. Подошедшие танки вступили в бой.

Убедившись в безрезультатности попыток прорваться на запад, немцы начали сдаваться в плен. Обширное поле восточнее Беелитца было густо завалено трупами гитлеровцев, разбитыми немецкими машинами.

На главной площади городка танкисты хоронили павших в бою товарищей. Гвардейское знамя бригады было скорбно приспущено над телами уральских добровольцев.

За умелое руководство боевыми действиями танкового батальона и личное участие в Берлинской операции гвардии капитан Владимир Марков был удостоен звания Героя Советского Союза.

Тринадцатилетний боец

Среди раненых на Одере оказался самый юный воин Уральского танкового, парнишка из Нижнего Тагила, сын корпуса Толя Гончарук. Ему в ту последнюю зиму войны шел тринадцатый год.

Можно, конечно, придраться к слову: какой это солдат в возрасте ученика пятого класса? И все же фронтовики не грешили против истины, называя Толю добровольцем. Они знали, что он подался в корпус, чтобы отомстить врагам за любимого старшего брата — бойца Красной Армии. Он добрался до Брянских лесов в момент погрузки в эшелоны частей Уральского корпуса, направляющихся на 1-й Украинский фронт.

Парень притаился под брезентом танка (чтоб не нашли раньше передовой), миновал Днепр и оказался в новом районе, исходном для наступления корпуса.

Его заметили бойцы мотострелковой бригады — боевые парни с орденами и медалями за освобождение Орловщины и Брянщины, Унечи и Новозыбкова, с отливающими свежей эмалью значками "Гвардия". Сперва они хотели вернуть Толю в тыл страны. Он злился, сказал, что сбежит от любого конвоя. И ясно было: сбежит.

Мальчику сшили солдатскую форму, подправили его на солдатских харчах и зачислили в зенитно-пулеметную роту. Дескать, в этом подразделении будет меньше опасностей, здесь можно удержать его чуток подальше от гибельного огня. Но бой есть бой. И спрятать кого бы то ни было в передовых частях не просто. Так и получилось, что при штурме Каменец-Подольского 26 марта 1944 года Толя оказался в доме один на один с двумя здоровенными немецкими солдатами и открыл по ним огонь из автомата. Командование, оценив храбрость двенадцатилетнего гвардейца, наградило его медалью "За боевые заслуги".

После случая в Каменец-Подольском начальник политотдела корпуса полковник Илья Федорович Захаренко забеспокоился:

— Еще погибнет парнишка... Возьму.

И взял к себе Толю вроде как ординарцем.

— Илья Федорович,— говорил Толя,— относится ко мне, как добрый отец. Но... на передовую не пускает, с собой в части, когда наступаем, не берет. Я, конечно, ухитряюсь уходить...

Должно быть, понял Захаренко, что не удержать ему Толю в политотделе, и сдался настоятельным просьбам корпусных разведчиков, давших слово оберегать парнишку, придумать для него службу полегче.

Толя ликовал, гордился необыкновенно — как же, попасть в батальон отчаянных храбрецов! Но легко ему там не было, да и быть не могло.

Сохранились фотографии военной поры. На одной — рота разведки совершает по весенней распутице многокилометровый марш. На первом плане Толя с винтовкой за плечами.

Больше 50 километров без единой жалобы прошагал Толя вместе с закаленными бойцами. А какой он был ростом! Временами казалось, что перед тобой ребенок восьми-девяти лет, на которого надели военную пилотку, гимнастерку и шинель за неимением другой одежды.

Сыном корпуса Толю называли без натяжки. После разведбата он воевал — при взятии Берлина и освобождении Праги — в составе Свердловской танковой бригады. Когда командира разведчиков подполковника Беклемишева перевели начальником штаба к свердловским танкистам, тот взял Толю с собой: не хотел и не мог, должно быть, расстаться с отважным, самым юным солдатом корпуса.

Если поразмыслить, то дело и не в отваге Толи, и не в том, ходили в атаки, в разведки или не ходили он и его сверстники — сыны полков, батальонов (они были почти во всех частях). Пожалуй, не храбрость мальчишек так сдружила их с солдатами и командирами. Тут было более глубокое и емкое чувство. Эти ребятишки приносили фронтовикам необходимое в тех условиях тепло человеческое, нежность и, наверное, какую-то нетронутую чистоту, которая бывает у детей. Присутствие подростков облагораживало бойцов. И дрались взрослые за детскую радость еще горячей.

Анатолий Владимирович Гончарук 26 лет работает в медницком цехе Уралвагонзавода. Поначалу слесарем-сборщиком, потом мастером — работает самоотверженно, умело, с огоньком гвардейским.

В высоком звании передового рабочего Анатолий Владимирович Гончарук внесен в Книгу трудовой славы победителей соревнования Свердловской области.

Анатолий Владимирович Гончарук постоянен в своих привязанностях — фронтовых и трудовых. Он переписывается, встречается с ветеранами корпуса, принимает часто гостей, юных следопытов, идущих по следам формирования и боев корпуса.

Наследники добровольцев

Память о ратных и трудовых подвигах танкистов-добровольцев живет в документальных и художественных произведениях литературы, кино, живописи; в экспонатах школьных, краеведческих и военных музеев; в памятниках героизму уральцев; в наименовании улиц и площадей городов и сел нашей Родины и братских, освобожденных нами стран. Живет и, надеемся, долго будет жить эта память в сердцах молодых уральцев, пришедших на смену фронтовому поколению; живет в славных делах всегда юной, постоянно обновляющейся прославленной Уральско-Львовской добровольческой танковой дивизии.

В эту дивизию ежегодно вливаются сыновья и внуки добровольцев. В их руках, крепких и верных, боевое гвардейское знамя. Они продолжают традиции великой преданности народу, готовности в любую минуту встать грудью за любимую Отчизну.

Отцы и сыновья

Есть что вспомнить, есть чем гордиться мастеру Челябинского тракторного завода Михаилу Григорьевичу Акиншину, который воевал в корпусе с первого до последнего сражения, начиная с командира танка до комбата.

Молодым лейтенантом он обучал военному делу механика-водителя Федора Суркова, получившего за освобождение Львова звание Героя Советского Союза, стрелка-радиста Александра Марченко, водрузившего красный флаг над Львовом и навечно вошедшего в историю Великой Отечественной войны.

Гвардии капитан Акиншин находился со своим батальоном во главе бригады, когда она в последние дни войны совершала марш на труднейшем участке Рудных гор. Благодаря его мастерству и отваге, героизму и умению других танкистов Челябинская добровольческая танковая бригада — передовой отряд корпуса — первой на рассвете 9 мая заняла центр Праги.

Но наибольшая, наверное, гордость Михаила Григорьевича — его сыновья-танкисты. До чего похожи они на отца. Так же лихо закинуты головы, как у него, та же статность, которую он, воин и тракторостроитель, сохранил с юности до нынешнего времени. И характером, целеустремленностью они тоже в отца. Сперва жадными глазами и ручонками тянулись оба к его боевым и трудовым орденам и медалям; потом, к радости отца, прикипели сердцем к делу его жизни — скромной и героической — в корпусе добровольцев и в цехе тракторного завода. Они мечтали о военной службе, о боевых машинах, и еще до окончания школы оба заявили отцу: мы пойдем в танковое училище!

И пошли сыновья по стопам отца. Его честность, высокая верность долгу, терпение и стойкость в самых трагических ситуациях, его мужество в борьбе с врагами Родины становятся чертами сыновей, избравших тот же нелегкий путь офицера танковых войск.

Леонида можно назвать добровольцем, конечно, не в том прямом смысле, как это было с его отцом, Алексеем Васильевичем Волковинским, настоявшим в Челябинском обкоме КПСС, чтобы ему, секретарю горкома партии, разрешили пойти на фронт добровольцем. Леониду не пришлось столько доказывать, добиваться, как отцу,— тогда речь шла о праве участвовать в кровопролитнейших боях за освобождение Отчизны от захватчиков, а тут — о праве служить в прославленном гвардейском соединении. Но и он стремился не к легкой жизни, и ему пошли навстречу.

Да как же ему было не стремиться в добровольческое соединение, славу которого добывал отец вместе со своими друзьями-добровольцами с Урала. Леонид знал его историю задолго до призыва в армию, видел, как отец все свое свободное время отдает ветеранской работе, устанавливает связь с раскинутыми по всему Уралу, по всей стране однополчанами, как он годами искал и нашел наконец всех корпусных кавалеров ордена Славы, о судьбе которых почти никто ничего не знал. Леонид почувствовал, как важно продолжить традиции ветеранов, и, попав в добровольческую дивизию, сделал все, что полагается комсомольцу, чтобы быть готовым к защите Родины.

Отличник боевой и политической подготовки, классный специалист, он был включен в состав делегации дивизии на празднование 250-летия родного Свердловска.

На передний край

— Я хотел попасть на передний край — в Уральскую добровольческую танковую дивизию. И желание мое сбылось.

Хорошо сказал Рудольф Деляляев: на передний край...

Мы с ним сидели в музее лобвинской школы N 11, в которой он учился с первого до восьмого класса, был председателем совета дружины, первым командиром

отряда "Доброволец". Почти полтора десятка лет минуло с момента создания отряда, а в памяти Деляляева все свежо и ярко, словно происходило вчера.

Идею в души подростков заронила старшая пионервожатая Клавдия Григорьевна Судницына, и загорелся в них тот живительный огонек, который, раз вспыхнув, ведет человека дорогами поисков и свершений. Высветилась цель: ни одного из боевой семьи добровольческого танкового не оставить забытым, героев корпуса, живых и мертвых, сохранить в памяти уральцев.

Поиск начался с переписки, получения фотографий, документов и похода летом 1966 года по боевому маршруту корпуса от Орла до Львова. Участвовали в нем ребята старших классов, лучшие из сводного отряда "Доброволец". Деньги на дорогу они сами заработали в Лобвинском леспромхозе вечерами и по воскресным дням.

— Незабываемые двадцать семь дней прожили мы тогда,— вспоминал Деляляев Орловщину, Каменец-Подольский, Волочиск и особенно Петровку, где ребята нашли бойца Унечской мотострелковой бригады Николая Эргарда — единственного человека, который был рядом с Галей Гордиевич до последней минуты ее жизни.

— Мы за тот месяц собрали и привезли столько бесценных реликвий, рассказов добровольцев, что в пору было бы открыть музей. Но где? Школа, как видите, маленькая, старая, денег на строительство не было. Спасибо директору, бывшему фронтовику Мирону Савельевичу Усольцеву, — раздобыл немного средств, и с участием старшеклассников был возведен пристрой для музея. Он был открыт 23 февраля 1967 года.

А в мартовские каникулы лобвинцы по приглашению Надежды Петровны Малыгиной поехали в Волгоград, побывали на Мамаевом кургане и в музеях, стояли на посту N 1 у Вечного огня с фронтовыми автоматами, которыми дрались за Сталинград его бессмертные защитники.

— Когда мы стояли в почетном карауле, мне казалось, и мы воевали в Сталинграде, и я защищаю Родину. Вот тогда я стал бредить военной службой — мне везде виделась Уральская добровольческая танковая дивизия.

И он попал туда, в ее мотострелковую часть, стал командиром расчета ПТУРС, потом командиром отделения, помощником командира взвода и в 1970 году участвовал в учениях армий стран социалистического содружества.

Летом 1971 года Рудольф приехал в отпуск и на другой же день поспешил в школу. Ему не терпелось пожать руки своим наставникам-воспитателям Клавдии Григорьевне и Мирону Савельевичу, посмотреть новинки в музее, обнять ребят, обогащающих себя и коллектив следопытскими делами. Встретили первого командира отряда "Доброволец" с ликованием, как героя. Чем не герой, если на груди у него почетные знаки верной службы: гвардейца, отличника боевой и политической подготовки и классного специалиста. И ко всему еще улыбка Деляляева показалась им действительно очень похожа на открытую всему доброму на свете улыбку Юрия Гагарина.

Это было четырнадцать лет тому назад. Более десяти из них Рудольф Александрович живет снова в Лобве, работает помощником машиниста тепловоза на гидро-

лизном заводе. У него славная семья, двое детей. Они требуют заботы и внимания, как и его общественная деятельность . И все же Деляляев нет-нет да выкроит час, чтобы приехать на улицу Уральских танкистов, в свою школу, в музей, с которым за семнадцать лет ознакомились почти 15 тысяч человек, не только живущих в Лобве, в Серове, а во многих далеких селах и городах Урала и страны. За большие заслуги в патриотическом воспитании детей и взрослых решением райисполкома музею присвоено звание народного.

С ним, Рудольфом Александровичем, здесь советуются как со старшим другом, делятся планами, знакомят с новостями и школы, и дивизии: ребята ведут постоянную переписку с ее подразделениями, с командирами и бойцами.

С одним из таких писем нас познакомила Клавдия Григорьевна.

"Дорогие лобвинцы! Дорогие ребята отряда "Доброволец"! Рады вашему письму, рады вам сообщить, что наша славная орденоносная танковая часть Уральско-Львовской ордена Суворова и Кутузова добровольческой дивизии в минувшем году с честью выполнила свои социалистические обязательства. За прошедший год у нас стали отличными две роты, 17 взводов, а 39 процентов личного состава — отличниками боевой и политической подготовки. Министр обороны СССР высоко оценил самоотверженный ратный труд наших танкистов, наградив часть Вымпелом за мужество и воинскую доблесть.

В список одной из рот навечно зачислен Герой Советского Союза гвардии лейтенант Ерофеев Алексей Васильевич, чье имя занесено в Книгу вечерней поверки. Ежедневно звучат в тишине слова: "Герой Советского Союза гвардии лейтенант Ерофеев пал смертью храбрых за свободу и независимость нашей Родины". Эти слова произносит секретарь комсомольского бюро роты гвардии старший сержант Владимир Черненко. Он по праву заслужил такую честь. На протяжении всей службы он отличник боевой и политической подготовки. Он явился инициатором соревнования за право называться экипажем Героя Советского Союза Алексея Васильевича Ерофеева.

Экипажем имени Героя может стать лишь тот экипаж, все члены которого являются отличниками боевой и политической подготовки, мастерами своего дела, кто содержит вверенную технику в отличном состоянии, кто не имеет нарушений воинской дисциплины, кто является примером выполнения воинского долга.

Комсомольцы собрали большой материал об Алексее Васильевиче Ерофееве, оборудовали комнату его имени. На стенах — стенды о нем. На возвышении — заправленная кровать Героя. А на тумбочке всегда стоят живые цветы. Традицией стало принятие молодыми воинами присяги в комнате Героя. Эти торжественные минуты навсегда остаются в памяти.

На стрельбах — лучший огневик стреляет за Ерофеева. На вождении — лучший механик водит за Ерофеева.

На тактических учениях девиз: "Действовать на учениях так, как действовал в бою Герой Советского Союза гвардии лейтенант Ерофеев!"

Они приносят ветеранам радость

Поиск — хлопотная и важная работа. Отряды красных следопытов школы-интерната N 10 Свердловской железной дороги под руководством педагога Ирины Александровны Очкиной совершали походы по боевому пути корпуса. Они организовали к 30-летию Победы музей и при нем военный совет, который планирует работу на год и каждые две недели дает задания отрядам, проверяет, что сделано, лучшим следопытам вручает знаки отличия.

Ежегодно 17 мая с участием членов президиума совета ветеранов Уральского добровольческого танкового корпуса проводится отчетный сбор следопытов. Ветераны ставят отрядам оценки поисковой работы за год и сажают на память деревья в пришкольном дендрарии.

Отряды юных следопытов этой школы избрали себе благородный девиз: "Приноси ветеранам радость".

Прекрасный девиз.

Очерк Я.Л. Резника был опубликован в 1976г. (Прим. ред.)

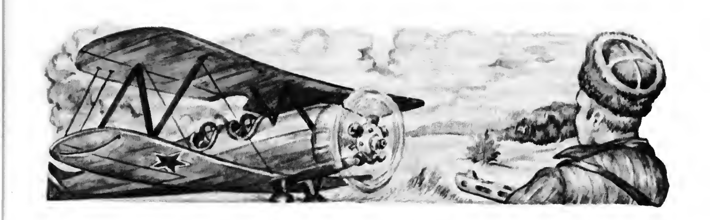


Николай Петропавловский



Николай Владимирович ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ (1921) в июле 1941 года добровольцем ушел в армию. После окончания Троицкой школы младших авиаспециалистов по вооружению направлен на фронт. Воевал на Калининском и 1-м Прибалтийском фронтах, принимал участие в освобождении Белоруссии, Прибалтики и в партизанском движении. Награжден пятью орденами и многими медалями.

После войны окончил Ленинградскую Краснознаменную военно-воздушную инженерную академию. Служил в различных регионах страны. Н.В.Петропавловский публиковался в различных газетах и журналах. В 1985 году в Москве вышел его сборник стихов "Надежность". Несколько рассказов о войне вошли в сборник "По дорогам Великой Отечественной" (1994).



ВСПОМИНАЯ ВОЙНУ

Предлагаемые зарисовки — подлинные эпизоды из жизни авиаторов Полоцкой 314-й ночной легкобомбардировочной авиадивизии, в которой автор служил механиком по вооружению. Соединение формировалось в г.Алатырь в основном из уральцев — выпускников Троицкой ШМАС и Ишимской школы пилотов. В составе 3-й воздушной армии дивизия участвовала в Белорусской, Прибалтийской и Восточно-Прусской операциях, а также много работала на связь с партизанами. В одной из последних страниц ее боевой летописи сказано: в ночь на 5 апреля 314-я дивизия бомбила город-крепость Кенигсберг, где и встречала День Победы.

ВАСИЛЕК

1

Расскажу об одном фронтовом эпизоде, который до сих пор не дает мне покоя.

Это было зимой 1943 года, под Витебском. Наш 391-й авиаполк ночных бомбардировщиков стоял в прифронтовой полосе в 10 — 12 километрах от передовой. Поэтому боеготовность была особая. Опасаясь вылазок гитлеровцев, охрану аэродрома несли круглосуточно усиленными нарядами. Днем стоять на посту — безбоязно, а вот ночью, когда темень хоть глаз выколи и от стужи похрустывает снежок, — страшновато. Каждый кустик шевелится.

В ту памятную декабрьскую ночь очередь идти в наряд дошла и до Борисова. А кто такой Борисов? Если сказать, что он долговязый шестнадцатилетний подросток с огромными васильковыми глазами, который со школьной парты удрал на фронт и правдами и неправдами оказался в нашем полку — не ахти уж какая невидаль. Не он первый, не он последний. И все же "Василек", как его окрестили острословы, сразу же приглянулся. А когда узнали, что у Борисова погиб отец под Москвой и он прибавил себе пару лет, — совсем прикипел к сердцу. Здесь была не только романтика.

К моей радости, Василька определили в наше звено стрелком по вооружению. Я и сам пацан желторотый, младший сержант — от такого доверия враз повзрослел. Поэтому все, что знал, что умел — все Васильку.

Особенно каверзным был пистолет-автомат системы Шпагина с дисковым магазином. Он имел свободный затвор с обратной отдачей, что при ударе приводило автомат к самопроизвольной стрельбе. Но Василек оказался смекалистым учеником и вскорости с завязанными глазами разбирал и собирал ППШ. Но не случайно у оружейников бытовала фраза: "Один раз в году и палка стреляет". Именно из-за этого злосчастного ППШ и приключилась эта история. Но все по порядку.

Итак, первый наряд Борисова. Не на кухню, а на аэродром, в лес, где под маскировочными сетями упрятаны наши У-2. Я еще раз учинил Васильку экзамен. Сам проверил автомат, подбодрил и отправил, как говорится, с Богом. Я, конечно, только мог предполагать, как Василек ежится от стужи и переносит ночные страхи в ожидании гитлеровских разведчиков из-за каждого куста. Но за его ППШ был совершенно уверен.

Эх, эта наивная уверенность, когда она зелена и не обстреляна...

...Наша эскадрильская землянка уже видела третий сон, когда раздалась сухая, лающая автоматная очередь. "Фрицы", — первое, что пришло в голову. В одно мгновение все были на ногах и увидели такую картину: в полутьме мигающей гильзы, возле стола, склонившись набок, стоял Борисов в задубелом полушубке. На рукаве болтался ремень от ППШ, а по жердяной столешнице, отбивая чечетку, прыгал автомат и поливал потолок огненной очередью. И тут же с верхних нар раздался дикий стон и ядреный мат. Я мгновенно понял, в чем дело. Подскочил к оцепеневшему Васильку, схватил автомат и двинул предохранитель. Очередь захлебнулась.

2

Утром был построен весь полк. На заснеженную опушку леса морозные блестки снега падали неспокойно и вьюжно.

Из штабной землянки вышел Батя — наш командир полка гвардии подполковник Хороших. Следом за ним появились начштаба майор Пидручный и уполномоченный "Смерш", рыжий капитан. В полку он держался особняком и мало кто знал его фамилию. И я не знал. Но про себя, с немалой опаской, мы звали его: "Рыжий".

Все ждали, что скажет Батя. Зачем построен полк? Но он молчал, опустив голову. И тут все увидели, как из глубины леса, под конвоем сухопутного лейтенанта и двух автоматчиков ведут Борисова. На нем была какая-то короткополая шинелишка без ремня и обмотки. Василька поставили перед строем, недалеко от Рыжего. Строй замер. В наступившей тишине было слышно, как тяжело дышит Батя и тихо шелестят снежинки. И вдруг, как удар о рельсу, расколол тишину гортанный голос.

— Товарищи! — одержимо, как на митинге, громко заговорил Рыжий. — Перед вами фашистский шпион! Гражданин Борисов умышленно скрыл год рождения, чтобы обманным путем проникнуть в наш полк. По заданию вражеской разведки он должен был уничтожить главного инженера полка майора Лукашевича. Но шпион просчитался. Лукашевич жив! Он только ранен в ногу.

Рыжий с чувством исполненного долга торжествующе осмотрел строй и отчеканил:

— Согласно законам военного времени гражданин Борисов подлежит расстрелу перед строем. Смерть фашистскому шпиону!

Строй оцепенел, вздрогнул, качнулся и замер, словно ослышался. Как по команде, повернулся к Бате, потом перевел взгляд на Рыжего и остановился на Борисове. На его огромных васильковых глазах. Нет! Они еще ничего не понимали, что происходит вокруг. Красивые, по-ребячьи чистые, они широко смотрели на мир. И только, когда конвойные автоматчики умело и споро сорвали с Борисова погоны и, встав на изготовку, щелкнули затворами, Василек вдруг взвизгнул и, захлебываясь, пронзительно закричал: "Ма-а-а-ма-а!.."

Не знаю. До сих пор не знаю, что произошло со мной в эту минуту, что двигало: страх за Василька, протест, правота ли, но пронзительный крик: "Ма-а-а-ма-а!.." пулей выстрелил меня из строя. Я подбежал к конвойным, встал между Борисовым и автоматчиками и закричал что есть сил: "Расстреливайте и меня!.."

Борисова не расстреляли. Его отправили в штрафной батальон, а меня перевели в соседний 389-й авиаполк. С Васильком я больше не встречался, но слышал, что после штрафбата он вернулся в полк и дошагал до Кенигсберга.

Вот, собственно, и вся история, если смотреть на нее глазами тех лет. В ней все достоверно и правильно: и беспомощность Бати, и всесилие Рыжего, и послушность строя. И только выпад младшего сержанта не укладывался ни в какие рамки того времени. Это был не бросок на вражескую амбразуру, а нечто совсем иное. И может быть, это "нечто", поставив в тупик Рыжего, и спасло жизнь Борисова.

СНЕГУРОЧКА

Наш 389-й авиаполк стоял под Полоцком. Местность здесь была ужасной. Не только деревни, но и лесные массивы были выжжены и изрыты воронками. Желтый от гари снег лежал и на взлетно-посадочной полосе, а вдоль нее, в уцелевшей рощице, хоронились землянки и наши славные самолеты У-2.

Они были воистину воздушными чудо-богатырями! В войсках их любовно называли "уточками" и "кукурузниками", а гитлеровцы иронически окрестили — "русс-фанер". И не без основания. Как в глубокую старину русские избы ставились одним топором, так и этот первенец советской авиации был сработан только из сосновых реек, проволочных расчалок да еще перкаль-парусины.

Ввиду малого веса и простоты "уточки" были настолько маневренны, что могли свободно садиться на огороды и взлетать с деревенских улиц. Они неуязвимо шныряли по оврагам и лесным просекам, как летучие мыши. Одним словом, в природе не существовало более пригодной машины для связи с партизанами. С этой целью и перебазировали наш полк поближе к линии фронта. Ночами, как только позволяла погода, мы перебрасывали в партизанские отряды оружие и патроны, взрывчатку и медикаменты, газеты и школьные учебники, а обратно вывозили раненых и детей. Да мало ли что еще? А на этот раз задание было какое-то необычное.

Командир полка подполковник Каменский вызвал к себе экипаж старшего лейтенанта Карпикова. Это значит: Сашу, штурмана Ваню Антонюка и меня как механика. Правда, меня в командирскую землянку не пригласили, но приказали ждать. "Точно, пойдут на бомбежку, коли "секреты", — прикидывал я... Но вот и мои асы. Рядом с крупнокостным Иваном низкорослый Саша выглядел подростком. Гля-

нув на мою вопросительную физиономию, Ваня загадочно пробасил: "Цікава справа, Микола", а Саша добавил: "Заходи. Пойдем за "забор", на спецзадание".

"Забор" — это линия фронта. А за ним — вражеский тыл, где в заснеженных, голых лесах зимой бедствуют партизаны. Только наивные люди представляют себе партизанские отряды этакими стройными ротами. На самом же деле — это кочующие деревни. Летом — на колесах, зимой — на санных обозах со всеми мирскими атрибутами: с роддомом и поселковым Советом, хлебопекарней и детским садиком, больницей и школой, то есть со всем тем, чем жив человек на земле. Хорошо, когда лето, когда распустившиеся леса маскируют землянки, а тропинки в зыбких болотах непроходимы. Совсем другое дело зимой. На снегу каждый шаг на виду, каждый дымок — ориентир, а промерзшие болота становятся проходимыми не только для карателей, но и для танков.

Зима 1943 года для белорусских партизан была самой тяжелой. Предчувствуя летние наступления советских войск, гитлеровское командование приняло решение любой ценой уничтожить Лепельскую партизанскую республику, устроить ей, как хвалились листовки, "заключительную мясорубку". Но это — особая страница минувшей войны. Отмечу только одно — ничто не сломило волю советского человека! Его исконные привычки и традиции, в том числе и новогодние.

...Над "цікавой справой" усердствовали не только Сашин экипаж, но и девчата-радистки из штаба. Они что-то мастерили, шили и паковали. Наконец все было готово. Но, как назло, густо запуржило. Видимости — никакой! О вылете не могло быть и речи. Нельзя. Но есть еще и другое русское слово — "Надо!"

Подполковник Каменский сам пошел выпускать самолет Карпикова. На КП вспыхнул знакомый зеленый свет командирского фонарика, и в тот же миг, протаранив кромешную темноту, прожектор осветил взлетно-посадочную полосу. Самолет, качнувшись на лыжах и оставляя снежный бурун, рванулся вперед и тотчас же провалился в ночной темени...

...А там, далеко за "забором", чертыхая погоду, ждут не дождутся "уточки". Она на своих стрекозьих крылышках должна была притащить окруженному партизанскому отряду саму жизнь — патроны! Но где уж там по такой непогоде! Даже посадочные костры пригасили. И вдруг послышался далекий приглушенный рокот. Потом все громче и громче. "Идет!.." — и дежурные аэродромщики опрометью бросились кочегарить костры, чтобы обозначить посадочную площадку.

Самолет еще не приземлился, а на опушку леса бежали люди. Когда "уточка" зарулила на стоянку, собралось, наверное, пол-отряда: взрослые, школьники и совсем маленькие. Я не возьмусь описывать всю радость людей в эту минуту. Они ждали патроны, а на крыле самолета вдруг появилась настоящая, живая Снегурочка! На ней был блестящий, из парашютного шелка, белый сарафан, на голове — сказочная корона из дюраля. Это был Саша. Еще не опомнились от увиденного ребятишки, как на второе крыло вышел плечистый Дед Мороз с длиннющей бородой. На нем была красная шапка, полушубок, опоясанный кушаком, и огромный мешок новогодних подарков! Это был Ваня Антонюк. И конечно же — патроны. Целых 30 ящиков!..

А где-то рядом, совсем рядом, густо лаяли немецкие автоматные очереди, и в ответ — редкие одиночные выстрелы.

МОСТ

На Витебщине догорала третья военная осень. Над криволапой летной полосой, сжатой с обеих сторон обугленным разнолесьем, висела промозглая ночь. Нескончаемо поливая землю дождем и мокрым снегом, осень будто и вправду решила затопить все пожары войны. Если бы не огоньки карманных фонарей да вкрадчивый добрый рокот самолетов У-2, то сам черт бы не поверил, что в этом выжженном до последнего пня гнилом перелеске, уткнувшемся в передний край фронта, окопался целый полк ночных бомбардировщиков и вот уже неделю еженощно бомбит Езерищенскую группировку фашистов.

Вот и сейчас над крайней землянкой, где разместился КП полка, вспыхивает зеленый глазок фонарика. Это сигнал на очередной вылет. Тяжело отрываясь от земли, самолеты один за другим уходят за линию фронта. А на раскисших стоянках мокрые до нитки и шаткие от усталости оружейники готовят очередные боекомплекты.

Только Коли Березкина нет среди них. Он сегодня не гнется под скользкими "сотками", не заряжает пулеметы ШКАС. Он одиноко сидит под щербатой лазаретной березой и не замечает ни мокрого снега, ни змеиного посвиста снарядов, пролетающих над лесом, ни ленивого осеннего рассвета. Солоно, эх, как солоно у Березкина на душе! Давно ли их комсомольский экипаж гремел на всю дивизию? Не Карпиков ли, его командир, по заданию штаба 3-й воздушной армии первым бомбил немецкие штабные бункеры в Витебске? Не его ли редкое летное мастерство, бесстрашие и удачливость прозвали в полку "летучей мышью"?

Коля устало закрывает глаза и снова, словно сквозь размытое дождями стекло, видит, как неестественно ныряя носом и волоча за собой лоскуты перкаля, юзом приземляется самолет и медленно сваливается на крыло... Как он на руках выносит из кабины обмякшего, словно без костей, Сашу Карпикова и его штурмана Ваню Антонюка... Потом всплывает лазаретная береза, под которой Саша и Ваня лежат на носилках. Белые от бинтов, они словно прикрыты ее снежными ветвями. Горячо алеет развернутое знамя. Железной скобой стоит строй полка. Командир дивизии полковник С.Ф.Плахов зачитывает Указ Президиума Верховного Совета, подходит к носилкам и прикрепляет Карпикову и Антонюку ордена Красной Звезды.

...В ненастную погоду рассвет поднимается томительно- лениво. Серая, как шинель, осенняя заря часами просушивает водянистое небо, прежде чем выпустит на волю холодные, как стеклянные нити, первые лучи солнца. И хотя в лесу стоит еще бесцветный мрак, сквозь дымчатую пелену тумана можно рассмотреть, как техники маскируют самолеты, а оружейники стопорят бомбы. Как поэскадрильно собираются летчики и штурманы и идут усталой медвежьей походкой к землянке, где их ждет боевая чарка и беспамятный сон на жердяных нарах.

Предутренне дремлет и лазаретная землянка. Тускло желтеет огонек снарядной гильзы.

— Опять ты, полуночник...

Коля извинительно улыбается сестричке и достает из-за спины увесистый котелок со свиной тушенкой. Письмо...

А Ваня будто и не спал. Сбрасывает здоровой рукой одеяло и садится на нары. На его горбоносом лице огнисто вспыхивают сливовые глаза:

— От Саши? Читай скорей!

"Здравствуйте, боевые друзья! Пишу из санпоезда. Скоро Ижевск. Буду проситься,чтобы высадили на родине. Обо мне не беспокойтесь. Обе ноги хорошо чувствую, и руку тоже. Так что скоро вернусь и за все отплачу фашистской гадине... Готовь, Ванюша, карты, а ты, Коля, штопай нашу "коломбину".

— Вот человечина! Живого места нема, а уж в бой собрался!

То останавливаясь, то поскрипывая костылями, Ваня ходит по землянке и, словно боясь потерять нить рассказа, говорит и говорит о Саше. И кто его знает? Не приди в это утро письмо, Коля, быть может, никогда не узнал бы о подробностях езерищенского полета. А было это так.

...Опасаясь наступления советских войск, фашисты спешно сгоняли войска под Витебск, Невель и Езерище. На железнодорожных станциях каждую ночь шла выгрузка живой силы и боевой техники. Чтобы задержать переброску войск к фронту, необходимо было взорвать железнодорожный мост через реку Оболь. Эту нелегкую задачу и поручили экипажу Карпикова. Операция усложнялась тем, что район Езерища был плотно прикрыт эшелонированным зенитным огнем, а железнодорожный мост — в особенности. Надежда была только на низкую облачность, темную ночь и боевое мастерство.

— Гляжу на карту, — продолжает свой рассказ Антонюк, — скоро должна быть линия фронта, а мы никак не доберемся до облачности! Саша лучше меня это понимает и, что называется, выжимает из мотора все его 125 лошадиных сил! Но перегруженная машина едва-едва скребет небо.

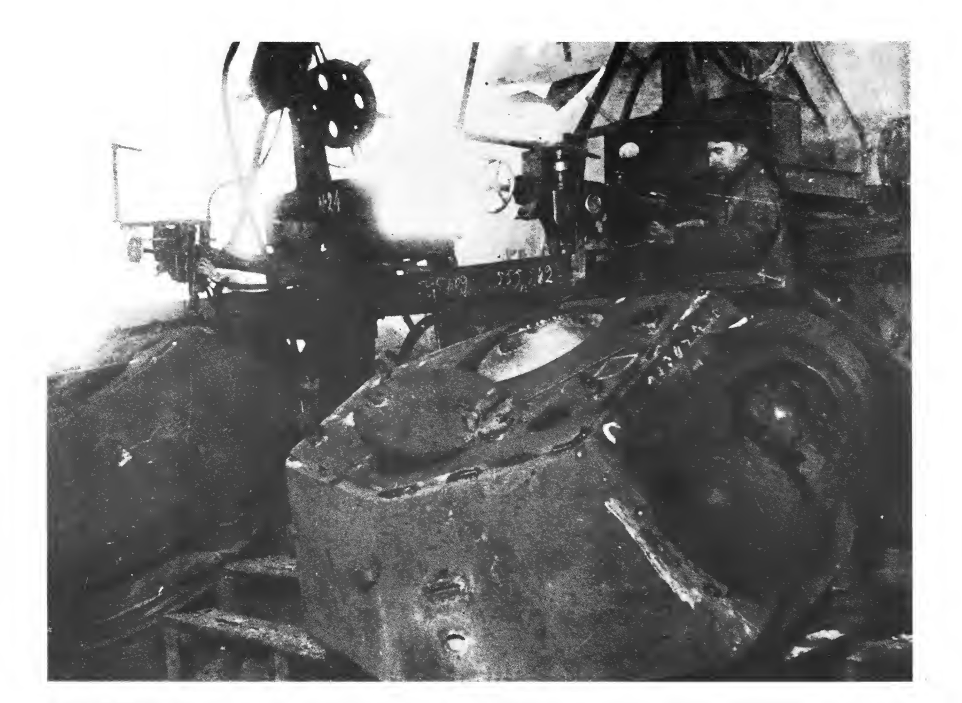
С воздуха линия фронта кажется извилистой огненной рекой, окутанной багровыми куренями пожаров. Наконец самолет плотно зарывается в сырую, рыхлую облачность. Включаю в кабине подсветку приборов. По моим расчетам через десять минут должна быть цель. Где-то под нами лежит сейчас основное кольцо зенитных батарей. Но вокруг подозрительно тихо. "Либо фрицы не слышат нас, — думаю, — либо готовят какую-то подлость". И вдруг облачность обрезается, как ножом. Мы беззащитной мишенью зависаем над Езерищем. Впереди отлично видно характерное, как груша, озеро, а чуть левее — наш злополучный мост.

" Спокойно! Спокойно, Ванюша! — необычно жестким голосом приказывает Саша, — приготовиться к бомбометанию!"

И, как по команде, на земле вспыхивают сразу несколько прожекторов. Метнувшись в разные стороны, они скрещиваются и выхватывают из черного неба наш У-2, как белую бабочку. Десятки пулеметных трасс, раскачиваясь, как удилища, поползли к нашей машине. А Саша словно очумел: ведет машину прямо на мост сквозь огненные трассы и разрывы снарядов. Самолет резко подбрасывает и переворачивает на крыло. Я взглянул за борт и обмер: вместо нижней плоскости, как две оглобли, торчат голые лонжероны. Обшивку с крыла напрочь сорвало взрывом.

"По-шел! — диким и властным голосом кричит Саша.— Поше-е-ел!"

















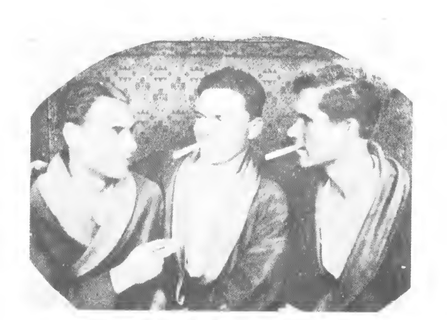






















На какое-то мгновение я отчетливо вижу мост и цепочку вагонов. Со всей силой дергаю бомбосбрасыватели. Все четыре "сотки" одновременно отделяются от самолета и попарно идут на цель. Оглядываюсь: над рекой огромное пламя огня. Это вместе с мостом горят цистерны. Вагоны, как костяшки домино, грудкой скатываются в реку. От ликующего чувства удачи хочется во все горло кричать, но грудь и глаза обжигает нестерпимая режущая боль. Липкое тепло быстро наполняет рукав комбинезона. Перед глазами проплывает огненный мост и проваливается в темноту.

Я поворачиваюсь к Саше. Ищу его глазами. А его нет в кабине. Нет!..

— Верь не верь — продолжает Ваня, — но зубы сами начали чечетку выбивать. Тогда я не знал, что в его теле сидит 27 осколков, перебиты ноги и левая рука и что он не может сидеть. Сгоряча я даже подумал: "Не выбросило ли Сашу из самолета?" Заглянул за ветровое стекло. Неловко подобрав под себя ноги, Саша странно лежал поперек кабины. Правой рукой держит штурвал, а в зубах ... сектор газа! Честное слово! Как вспомню — мурашки по коже. Страшно идти в прожекторах сквозь зенитный огонь. Но когда увидел Сашу с сектором в зубах, почему-то не страх обуял меня, а необоримая вера в жизнь. Такие рождаются не для смерти...

СВОИМИ ГЛАЗАМИ...

Байки эти — фронтовая память Васи Нетрепкина, ефрейтора обозной команды. Из-за скромности характера о себе он умалчивал. А вот то, что видел "своими глазами" охотно рассказывал. Поэтому не удивляйтесь, что Васе приходилось бывать и поваром, и летчиком, и разведчиком, и большим начальником, и ... На фронте всякое могло быть у походного костерка, когда выпадала минута затишья.

МЕРТВАЯ ПЕТЛЯ

В годы войны младших командиров пекли, как блины. Учился в нашей военной школе пилотов первоначального обучения некий курсант Никита Орлов. С виду — орел! А сядет в самолет — что-нибудь да отчудачит.

Все курсанты давно с мешком песка утюжат "коробочку", т.е. летают самостоятельно, только один Никита — на инструкторской "удавке". Кибардин — так звали инструктора — так и эдак подлаживается, чертыхает и похваляет Никиту — бесполезно. Не берет, паршивец, спарку — и баста! Давно бы Орлову в пехоте топать, да план выпуска — железный. Стопроцентный!

Тут требуется пояснение. По-научному спарка — это синхронная система управления. А по-простому это две палки на общей тяге. Одна ручка управления в кабине инструктора, вторая — у курсанта. Одним словом, двойное управление.

В тот день над аэродромом стояло светлое майское утро. Курсанты, закончив обучение, весело жировали и готовились к отправке на фронт. И только два неудачника, хоронясь от всех, понуро сидели возле своего все понимающего У-2. И вдруг инструктор Кибардин осветился. Он вспомнил, как отец учил его плавать. Весело глянув на Никиту, твердо скомандовал:

— В самолет!

И вот они в воздухе. Какая благодать вокруг! Над головой голубое небо, под крылом серебряная змейка речушки, а за ней — летная зона для высшего пилотажа.

Когда самолет набрал предельную высоту, Кибардин спокойненько так, по-домашнему, с хитрецой и говорит Никите в переговорную трубку (а сам смотрит в зеркальце):

— Как себя чувствуешь, любэзный?

Или Никите не понравилось такое обращение, или в его душе опять что-то "сыграло", но он озорно передразнил:

— Прэкрасно, любэзный!

— Давно бы так, — не замечая дерзости, так же спокойненько продолжил инструктор. — Пока твои приятэли еще не уехали на фронт, сады машину. Сам сады! — И бросил ручку управления.

Никита посмотрел за борт на серебряную речушку, потом на приборную доску, но к ручке управления не притронулся. Неуправляемый самолет, круто вздыбившись, "посыпался" на хвост. Выправлять машину пришлось инструктору, и это он сделал без малейшей паники. Он упрямо шел к своей задумке. Заложив пологий вираж над зоной, он снова глянул в зеркальце:

— Любэзный, тэбэ жить хочется?

Потом не торопясь отсоединил свою ручку управления, показал ее Никите и преспокойненько выбросил за борт:

— Жить хочешь — посадишь.

Кибардин просчитал все возможные варианты поведения курсанта. Все! Но только не этот. Никита, не моргнув глазом, тоже отсоединил свою ручку управления, показал ее инструктору... и выбросил...

Даже человек далекий от авиации живо представит себе, что стало с абсолютно неуправляемым самолетом. Нехотя переваливаясь через крыло, он клюнул носом и камнем сорвался в штопор...

Что в эти короткие мгновения видел Кибардин: землю, кружащуюся, как в калейдоскопе, речку, в которую выбросил его из лодки отец? Что не знаю — то не знаю. А вот то, что Никита вывел машину из штопора, учудил "мертвую петлю" над аэродромом и после этого "притер" самолет у самого "Т" да еще на "три точки", клянусь, видел своими глазами!

Потом среди курсантов много ходило легенд вокруг Орлова. Одни утверждали, что у Никиты была запасная ручка управления, другие божились, что тут замешана нечистая сила. А оказалось все просто. Орлов еще до школы окончил аэроклуб и ждал вызова в истребительное училище. Но военкоматовцы, а затем и школьное начальство, выполняя "железный" план, взбунтовали Никиту, и он решил по-своему решить проблему.

Вот он что написал из-под Берлина своему инструктору: "Летаю на МИГ-3. Получил орден Боевого Красного Знамени... Спасибо вашему отцу, любэзный. Иначе меня бы не заметили".

КУРИНЫЙ "ЯЗЫК"

Штабу дозарезу был нужен "язык". Но сколько ни ходили разведчики — пусто. Бывает и такое! По себе знаю: когда дозарезу надо — не везет.

И вот рядовой Курочкин — совсем еще юнец, которого разведчики, если и брали с собой, то только до "нейтралки" — вдруг выставился:

— Приведу!

Конечно, никто из бывалых прыть эту всерьез не принял. Улыбнулись только. Но отделенный сержант Десятков сказал:

— Задержись, Сеня...

...Осенняя хмурая ночь быстро вступает в свои права. В полумраке хорошо видно освещенное здание склада. И часового тоже. Положив руки на автомат, он методично курсирует от здания до проволочного ограждения, за которым чернеет заброшенная сараюха.

И вдруг, нарушая ночную тишину, раздается кудахтанье и звонкое: "Ку-ка-реку!" Потом — еще и еще...

Фриц останавливается. Нет, он не ослышался: в сараюхе куры. И вот любитель курятины деловито идет к строению и влезает в узкую дверь...

...Конечно, "тотальника" по всем правилам упаковывал не Сеня, а сержант Десятков. Но чья идея!

А главное — сдержал слово.

ГНЕЗДО В ГИЛЬЗЕ

Два дня гремел бой за березовую высотку. От орудийных разрывов земля вздрагивала и гудела, как колокол. И вдруг — тишина! Да такая, что уши ломит.

Вылез солдат из окопа и пластом повалился на изрытую черную землю. Ни одной березки! Глубокие воронки да гарь вокруг.

Закрыл глаза солдат, и не поймешь: плачет он или мертвецки спит.

А над ним, словно на серебряной паутинке, трепыхается маленькая пичужка и надрывно плачет: "Чи-у! Чи-у!.."

Открыл глаза солдат и видит: под его автоматом, в стреляной артиллерийской гильзе — гнездо. А в нем — два голубых, как довоенное небо, яичка.

Потеплели у солдата глаза. Он осторожно убрал с гильзы автомат, поправил гнездо. Серая пичужка безбоязно села на гнездо и звонко-звонко закричала: "Чи-у! Чи-у!.."

Поднялся солдат над окопом и зачарованно посмотрел вокруг. То ли наяву, то ли во сне, но над черной высоткой поднялась белая-белая роща.

ПОЖАРСКИЕ КОТЛЕТЫ

Когда шибко наступали — говелись в основном сухим пайком. А в этот день — не помню какого года — наш повар, одессит Жора, сварганил настоящие котлеты с жареным луком!

Приволок в землянку дымящийся ароматный противень и в душевном довольствии объявляет: "Пожарские!" Но не успел он занести руку, чтобы раздать, как "Бах-тара-рах!" — немецкая мина.

Поддало по всем правилам! Меня землей привалило. Но чувствую — живой: нос так и нюхает, так и нюхает...

Выгребаю из воронки и вижу: ползает по траве Жора с пустым противнем и чертыхается на чем свет стоит: "Сволочи! Все котлеты порушили!.." А у самого по щеке кровь хлещет.

Обидно все же. И не только Жоре, но и нам, артиллеристам. Эх! И устроили же мы тогда на голодный желудок такой сабантуй, что после этого урока фрицы Жорино хозяйство на сто верст обходили.

Так что с "пожарскими" в полной сытости и спокойствии мы дотопали чуть ли не до самого Берлина.

КОРОЛЕВСКАЯ КРОВАТЬ

В последние месяцы войны фрицы хотя и огрызались, но крепко приутихли. По такой вольготной диспозиции мои разведчики, прямо скажу, разбаловались. Оно и понятно. Сидим в одном доме: окно — в окно. Чего тут разведывать?

А бывало, сутками деревенеешь в стылом сугробе, пока выследишь "языка". Да и на отсидке, в окопе, не комфортней. Вся твоя походная постель — шинелька да автомат заместо подушки. А тут, прости, дева пречистая, — пуховая кровать в полной натуральности! И разные на ней рюшечки-подушечки накрахмаленные. Одним словом — королевская кровать.

Вот и подумалось: "Завалюсь-ка я в это лебединое царство, вытяну свои натомившиеся ножки во всю длину и досытичка одним разом отосплюсь за четырехлетнюю войну."

Внушаю своему ординарцу, внятно и строго внушаю: "Бди в оба глаза! Чтоб муха не пролетела. Но меня не буди. Хоть сам Гитлер заявится с капитуляцией — не буди! Пока сам не проснусь..."

И все-таки разбудили,архаровцы. Слышу: кругом стрельба на чем свет стоит. Палят кто из чего! Палят и орут как оглашенные: "Ура-а-а-а! По-бе-да-а-а-а!"



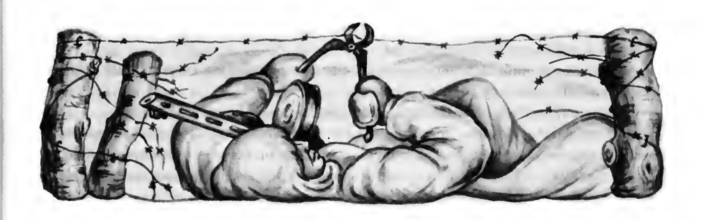
Павел Кодочигов



Павел Ефимович КОДОЧИГОВ (1923) в декабре 1941-го, после окончания школы, призван в армию и направлен в Московское Краснознаменное пехотное училище им. Верховного Совета РСФСР. Закончил училище лейтенантом и в августе 1942 года прибыл на Волховский фронт, стал командиром минометного взвода в 299-м стрелковом полку 225-й Краснознаменной стрелковой дивизии.

Дважды ранен. Второе ранение — тяжелое. Был демобилизован. Закончил юридический институт. Увлекся журналистикой. Первая книга — сборник рассказов "Я работаю в редакции" вышла в 1960 году в Тюменском издательстве. П.Е.Кодочигов автор многих книг о войне, о ее героях. Среди них: "Как ты жива осталась, мама", "На той войне. Второй вариант", "Так и было", "Марта Лаубе".

За участие в боях награжден орденами Отечественной войны I и II степени, медалями.



НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Главы из повести "Второй вариант"

Командиром взвода пешей разведки Полуэкта Шарапова назначили во второй половине октября сорок третьего года, когда ему не было и девятнадцати. Вызвали вдруг с передовой к новому командиру полка подполковнику Ермишеву, все за полчаса и решилось. Предложение о новом назначении было, однако, до того неожиданным, что Полуэкт растерялся и переспросил:

— Меня? Командиром взвода разведки?

— Вас, вас, — подтвердил Ермишев, продолжая прощупывать низкорослого и тщедушного Шарапова черными пронизывающими глазами.

Новое назначение польстило, но не обрадовало. На разведчиков Полуэкт насмотрелся, пока был в резерве и жил на КП полка. Держались они независимо, обособленной и привилегированной кучкой. Таинственно уходили на передовую в пятнистых маскировочных костюмах, с автоматами наперевес и гранатами на поясах, какой-то особой валкой походкой и так же таинственно возвращались. Слова цедили сквозь зубы и посматривали на всех свысока. Знал Шарапов и другое: за два месяца, что полк принял новую оборону, разведчики не могли взять "языка". Чтобы добыть его все-таки, бывший командир полка был вынужден создать разведгруппу из офицеров-добровольцев, только успевших прибыть на фронт после окончания училищ.

Часового у землянки разведчиков не было. Шарапов распахнул дверь и замер на пороге — так резко ударило в нос запахом сушившихся портянок, пота, махорки и еще чего-то застарелого и кислого. Задержал на секунду дыхание и шагнул дальше. Деланно-громким от волнения голосом поздоровался:

— Здравствуйте, товарищи разведчики!

Коптящий в гильзе фитиль выхватил из темноты лежащие на нарах фигуры. Разведчики не спали, но никто не поднялся и только один отозвался на приветствие, продолжая покачивать задранной вверх ногой:

— Здравствуйте, если не шутите.

— Не шучу.

— По какому вопросу, если не секрет, пожаловали? — нога все еще была задрана вверх и продолжала покоиться на колене.

В училище кто-нибудь позволил бы себе так разговаривать с офицером? Ответил сдержанно, не повышая голоса.

— Младший лейтенант Шарапов. Назначен к вам командиром взвода.

На нарах зашевелились. Десятки глаз словно приклеились, разочарованно оглядывая с головы до ног щуплую фигуру нового взводного, его обыкновенную, не комсоставскую, шинель, солдатский ремень, растоптанные кирзовые сапоги. Задранная нога опустилась, ее хозяин поднялся, пригнул голову, чтобы не удариться о потолок, и, возвышаясь над Шараповым, вздохнул:

— Это плохо, что вы младший лейтенант. Произносить долго и трудно, и раньше у нас всегда лейтенантики были.

— Ваша фамилия, сержант?

— Гаранин. А что?

— Надо же знать, кто со мной разговаривает.

— А-а-а... Вопрос можно, товарищ... младший лейтенант?

— Можно.

— Вы хоть одного живого немца видели?

Сержант вел себя так, как обычно ведут ребята с других улиц, стараясь раззадорить, вызвать на драку и отлупить. Прием знакомый, и Шарапов знал, что отпор надо давать сразу.

— Разрешите присесть... сержант? Так вот, если помните, "языка" взяли не вы, а офицерская разведка. Я в ней участвовал и живых немцев видел. Мертвых — тоже.

— Фью! На нейтралке-то? Вам просто повезло. По вам даже не стреляли, а вы почему-то убитого сапера у немцев оставили. Нас потом две ночи за ним гоняли.

— Так уж получилось, — не нашелся на лучший ответ Полуэкт.

— А если бы из траншеи, дзота пришлось брать, тогда бы что получилось?

— Взяли бы и из траншеи, или полегли бы там, — начал закипать Полуэкт.

— Полечь дело нехитрое, а...

— Подожди, Гаранин! — перебил сержанта чей-то рассерженный голос. — Надо серьезно поговорить, а у тебя все шуточки. Вы не обижайтесь, товарищ младший лейтенант, но у нас столько перебывало... Вы из "сучка" хоть умеете стрелять?

— Из какого сучка?

— Наган мы так называем.

— Приходилось.

— Может, попробуем?

— Если патроны есть.

— Нам дают.

До поляны шли вместе и в то же время разрозненно. Шарапов с помощником командира взвода старшиной Спасских — он появился, когда выходили из землянки, — впереди, разведчики сзади.

— По какой цели стрелять будем? — спросил Полуэкт, когда пришли на место.

— А вон ту консервную банку видите? В нее и бейте, — ответил Гаранин.

Банка валялась далеко и попасть в нее было трудно, но Полуэкт не стал спорить:

— В банку так в банку. Начинайте, сержант.

Гаранин хмыкнул, а разведчики запротестовали:

— Ближе надо ставить. Чего зря патроны жечь.

Гаранин ругнулся, вбил банку каблуком в бугор, всадил в нее три пули и вопросительно посмотрел на Шарапова.

Полуэкт сделал вид, что не заметил этого взгляда и предложил крепышу с выбивающейся из-под пилотки черной челочкой:

— Теперь вы постреляйте.

— Командир первого отделения. Сержант Бахтин, — назвал тот себя.

— Один человек Строевой устав знает, — улыбнулся Шарапов. — А то приглядываюсь, все сержанты, старшие сержанты, старшины даже, а дисциплина... Начинайте, Бахтин.

Бахтин тоже не сделал ни одного промаха.

— Теперь сами постреляете или еще кого-нибудь проверять будете? — не вытерпел Гаранин.

Полуэкт взял наган, покрутил барабан, прицеливаясь, неумело поводил стволом и опустил его. Раздались смешки. Он тоже улыбнулся и, мигом обретя стойку и твердую руку, начал всаживать в банку пулю за пулей.

— Еще?

— Хватит, убедились, — ответили разведчики.

— Кто заметил, какой прием я использовал? — Показал, как вместе с рукояткой у него был прихвачен рукав гимнастерки.

— Ну и что из этого?

— Попробуйте.

— Правда, удобнее! Будто с упора. Кто научил, товарищ младший лейтенант?

— Взводный в училище. Может, из винтовки постреляем?

— Нам из этой дуры ни к чему, — возразил Гаранин. — Мы вот так!

Высокий, жилистый, со все еще недружелюбными глазами, он вскинул автомат и в мгновение ока дал три очереди: вправо — стоя, прямо — в падении и влево — после немыслимого кувырка через голову, оказавшись в заранее присмотренной яме, из которой можно вести прицельный огонь безопасно для себя.

— Так не умею, — восхитился Полуэкт. — Научите?

— Само собой, — охотно отозвались разведчики.

— Будем считать, что проверка закончена?

— Это мы так. Извините.

— Я тоже "пока так", — пообещал Полуэкт. — Из винтовки вы стрелять не захотели. Вам это "ни к чему". Не уверен, но пусть будет так, а рукопашный бой должны знать. Кто первый? Гаранин?

Раззадоренные разведчики один за другим "выбывали из строя", а ему не могли нанести ни одного удара. С Бахтиным лишь пришлось повозиться. Хитер был этот паренек, напорист и реактивен, но и он получил свое.

— Достаточно, — сказал Шарапов, повернулся к Спасских и уже другим, командирским, голосом: — Я к ПНШ-2. Вернусь через час. В землянке к этому времени прибрать. Дневальных назначать ежедневно.

— Есть! — козырнул старшина.

— А с ним не заскучаешь, — протянул Гаранин, глядя вслед новому взводному.

— Ничего парнишка. Шустрый. Кому как, а мне понравился, — сказал Вашлаев.

— Еще бы! В консервную банку пять раз влупил. Посмотрим, как в деле себя покажет...

— Вот что, ребята, — вмешался старшина Спасских, — поволынили, испытали, и хватит. А ты, — из-под черных бровей взглянул на Гаранина, — иди дневалить. Там и пары выпустишь.

К возвращению командира взвода в землянке царил порядок, а ему было приготовлено самое удобное место, в правом дальнем углу у печки. При первом появлении у разведчиков Полуэкт не раздевался. Теперь, почувствовав себя дома, скинул шинель, и на его гимнастерке сверкнула медаль. Чего-чего, а этого не ожидали. Косились на нее — какая? А разглядев, удивились еще больше: надо же — "За отвагу!"

К Полуэкту тут же подсел пожилой разведчик Вашлаев, спросил для начала, кем он командовал ранее.

— В училище отделением, а в полку еще не пришлось, — смущаясь, ответил Шарапов. — Два месяца был в резерве, потом наблюдателем в четвертой роте.

— Американским? — подковырнул Гаранин.

— Да подожди ты, дай поговорить с человеком, — отмахнулся от него Вашлаев и задал главный вопрос, ради которого и разговор начал: — Тогда медаль, извините, за что же успели получить?

— За уничтожение двадцати двух фашистов. Из винтовки, которую сержант Гаранин "дурой" обзывает.

— Так вы снайпер? — присвистнул Вашлаев. — А мы вас на стрельбе хотели завалить. И что же, по вам, поди, тоже стреляли?

— Было дело, — подтвердил Полуэкт и, поверив, что его судьбой интересуются по-хорошему, рассказал о своем поединке с немецким снайпером.

... Он пристрастился к охоте на немцев, когда был наблюдателем. Ротный снайпер старшина Климанский увлек: "Чего на фрицев напрасно глаза пялить да их появление в журнальчик записывать. Увидели и — бейте". Он убил первых пятерых, и на немецкой обороне появился снайпер. В роте сразу возросли потери. Солдаты заволновались: "Жили спокойно, так растравили. Рой сейчас носом землю, жди каждую минуту своей пули!" Вражеский снайпер был хитер и опытен. На ловушки не поддавался, бил без промаха, и обнаружить его не удавалось: он или менял каждый день позиции, или имел одну, отлично замаскированную, а его помощники путали карты, после каждого выстрела снайпера открывая стрельбу едва

ли не по всей обороне. Климанский спешно подготовил еще десять хороших стрелков, каждому отвел по узенькой полосе и предупредил, чтобы ни на какие цели не отвлекались, стреляли только по снайперу.

В первый день его засечь не смогли. К вечеру второго дня распогодилось и еще больше похолодало. Сырая плащ-накидка не грела, руки коченели, в сапогах хлюпала вода.

Полуэкт опустил бинокль и засмотрелся на Волхов. Вода в реке отдавала синеватым отливом, вдоль дальнего берега плыло бревно. Бугор глины на глаза попался. Что-то хотели строить, выкопали яму, да война, видно, помешала, а может, фрицы что ковыряли. Отвлекся на минуту и не заметил, как навалился на приклад винтовки, как подался ее ствол вперед и блеснул в лучах заходящего солнца. Возле уха тут же взвизгнула пуля. Отпрянул от амбразуры, затаился. Передний край обороны противника в таком положении не просматривался, лишь кусочек нейтральной полосы, и на ней, в тени, отбрасываемой от бугра солнцем, парило едва заметное белое облачко. "Бездымный порох в сырую погоду бывает заметен", — учил Климанский.

Так вот где снайпер! У самого берега! Потому и не могли обнаружить!

Поставил прицел на шестьсот метров. Укрыв за стенкой окопа левое плечо, прильнул к окуляру, обостренным зрением увидел на верху бугра выемку, голову снайпера в ней, вымазанную глиной каску. Вздохнул поглубже, перекрестие прицела выровнял, а воздуха не хватает, сердце где-то под горлом колотится.

Нажать на спусковой крючок не успел. Вторая пуля снайпера попала в ложе винтовки, вспорола основание большого пальца, выше локтя впилась вырванная из приклада щепка.

Снова посадил соперника на перекрестие. "Ну не тяни! Убьет же! — подгонял себя. Другой голос сдерживал: — Не торопись, надо наверняка, чтобы не прятался... Затаить дыхание, хорошо прицелиться..."

Третья пуля обожгла правый висок, хлынула кровь.

На немецкой стороне поняли, что с их снайпером что-то неладное — сделал подряд три выстрела! Вразнобой защелкали винтовки, застрочили пулеметы. Наши стали отвечать.

А к Шарапову вдруг пришло спокойствие. Цель взял быстро, плавно нажал на спусковой крючок и поверил, что выстрел будет удачным. Опередить противника не удалось и на этот раз: четвертая пуля просвистела рядом, ткнулась позади во что-то твердое и с подвыванием ушла в небо.

Выпавшая из рук фрица винтовка сползла вниз, тело от удара подалось назад, и на вершине бугра четко обозначилась выемка. По привычке доводить начатое дело до конца и для верности Полуэкт всадил в снайпера еще две пули и опустился на ящик из-под гранат, на котором простоял весь этот длинный день. Посидел так в крайнем изнеможении, достал индивидуальный пакет и стал бинтовать сначала голову, а потом и руку...

— Какой же это снайпер, если четыре раза мазал? — не поверил Гаранин.

— До этого убивал с первого выстрела, а тут, я думаю, он нервничал, а может, и перемерз — целый день на земле под дождем лежал.

— Возможно, — согласился Спасских, — вы-то чего дожидались? Надо было сменить позицию, других стрелков предупредить, чтобы ударить из нескольких винтовок.

— Мы так и договаривались, но если бы я ушел, он спрятался бы за бугор, и ищи ветра в поле.

— Все-таки очень рискованно действовали, — раздумчиво сказал Вашлаев. — А где вы стрелять научились?

— Продолжаете испытывать, — рассмеялся Полуэкт. — В пионерских лагерях. Каждый раз по значку "Юного ворошиловского стрелка" привозил, а в девятом классе на "ворошиловского" сдал. Ну и Климанский подучил. Он настоящий снайпер.

— А рукопашному бою?

— В училище. Я там три раза победителем в соревнованиях выходил.

Другие разведчики в разговор вступили. Стороны продолжали прощупывать друг друга.

Шарапов прочитал список личного состава взвода и вздохнул — он самый младший. Большинство разведчиков были из кадровых солдат двадцать первого и двадцать второго годов рождения, а Вашлаеву, Родионову и Селютину перевалило за тридцать. Совсем старички. Образование имели почти одинаковое, от пяти до семи классов.

— И все не женаты? — спросил у Спасских.

— Так когда было? До армии не успели, а потом фронт.

Спасских говорил быстро, но слова по-московски потягивал. Он был коренным москвичом, и это чувствовалось.

— Вот что, старшина, расскажи-ка коротко, кто чего стоит и от кого что ждать можно. Андрейчук?

— Этот надежный. Сибиряк из Алтайского края. Терпелив, настойчив, общителен и слухач отличный.

— Слухач? Как это понимать?

— Слышит хорошо, вот мы его так и зовем. Оружие любит и стреляет прилично.

— Понятно. Бахтин?

— Тракторист из Кировской области. "Вячкий", как у нас поддразнивают. Знаете поговорку: "Вячки люди хвачки — семеро одного не боятча!" А я бы Васю на семерых не променял. Прирожденный разведчик, — заметив недоверчивый взгляд Шарапова, Спасских улыбнулся. — Правильно, ходит вразвалочку, увальнем кажется, но увидите в деле, согласитесь со мной. За Бахтина, как за себя, ручаюсь.

— А что скажешь о Гаранине?

— На этого как найдет. Больше всех воду мутит. Будь моя воля, списал бы его, хотя иногда и хорош бывает.

— Калинин?

— Прибыл из госпиталя. До войны работал в Ленинграде, там же был ранен. Знает саперное дело и вообще умелец на все руки — что дом построить, что печь сложить.

— Карянов?

— Дружок Калинина и Бахтина. Магнитогорец. Воевал под Москвой, участвовал в прорыве блокады Ленинграда, к нам тоже после госпиталя поступил. Саперное дело освоил. Сильный, выносливый. Вы его запомнить должны: невысокий такой, курносенький, с перевязанной шеей ходит и голова набок. На КП ему случайно осколок прилетел.

— Что скажешь о Латыпове?

— Наш оружейник, — с удовольствием отозвался старшина. — Хорошо ориентируется на местности, память отличная. Нужный человек во взводе.

— Скуба?

— Шахтер из Караганды. Недавно кандидатом в члены партии приняли. Надежный.

— Тинибаев?

— "Сыном степей" его зовем. Земляк Скубы и соперник Андрейчука.

— Тоже слухач? — догадался Полуэкт.

— Точно.

— Кто же лучше слышит?

— Трудно сказать. Иногда Андрейчук, другой раз Тинибаев, а судьи нет, так спорами все и кончается.

— Капитоненко? Он что-то у тебя не по алфавиту записан?

— Забыл нашего лучшего певца. Хороший разведчик и мужик сильный.

Короткие характеристики Спасских кое-что проясняли, но не раскрывали главного: все хорошие, все надежные и опытные, а "языка" добыть не могут. Не вязалось одно с другим. Спросить, почему так получается, постеснялся. Не чувствовал еще к себе доверия и не захотел, чтобы Спасских "крутить" начал. И "сын степей" Тинибаев прибежал, по всей форме доложил, что товарища младшего лейтенанта вызывает ПНШ-2.

ПНШ-2 — помощником начальника штаба полка по разведке — был старший лейтенант Лобатов. Из кадровых. Отношения с ним с первого знакомства сложились натянутые и неопределенные. Какую-то неприязнь к себе чувствовал Шарапов, а почему, понять не мог.

— На тот берег надо сгонять. За "языком", — без предисловий начал Лобатов, и его стальные немигающие глазки уставились на Полуэкта. Отметили и запомнили, как дрогнул от этих слов новый взводный и его лицо покрылось бисеринками пота. — Хочешь сказать, что к людям не присмотрелся? Так вот там все и рассмотришь. Под микроскопом, — хохотнул Лобатов. — Место поиска на этот раз выбирайте сами.

А ночка темною была...

Ранний ноябрьский снег, казалось бы, надежно укрывший землю, растаял. Но после хорошего бурана пришла зима — с тихими ночами и прозрачным морозным воздухом. И тоже ненадолго. Вдруг пошел дождь, за ним снова снег, и вот так заколебалась, задурила капризная новгородская погода.

Занятия продолжались, но шла и подготовка к новому поиску. Артиллеристы приучали немцев к ночным перестрелкам, связисты — к вечерним концертам. Вражеские солдаты охотно слушали "Катюшу", "Пожарного", "Там на шахте угольной", романсы Козина и отзывались огнем из всех видов оружия на песни "Широка страна моя родная" и "Вставай, страна огромная..." Полковой агитатор Колпаков в разное время передавал сводки Совинформбюро. Их тоже слушали внимательно, если какие-то слова заглушала пулеметная очередь, просили повторить. Колпаков выполнял такие просьбы, а закончив чтение, добавлял несколько слов от себя, не особенно стесняясь в выражениях, и кричал:

— Гитлер капут! Гитлер капут! Гитлер капут!

Немцы открывали ошалелую стрельбу и в свою очередь кричали:

— Рус капут! Сталин капут!

Эти выкрики позволили установить, что в выбранном для нападения дзоте караульную службу несут четверо. Самого старшего окрестили "Мефодием", младшего — "Николаем", еще двоих — "Кириллом" и "Дмитрием". "Мефодий" стрелял редко и почти не пускал ракет. Его сменщик "Николай" строчил беспрерывно. Брать решили старшего — менее активен, наверняка хуже видит и слышит.

Дзот "Мефодия" находился между опорными пунктами Стрелкой и Кречевицами и не очень далеко от берега. Немцы на этом участке были непугаными и вряд ли допускали возможность преодоления русскими сложного водного пути — из Малого Волховца в Волхов, когда появились забереги и вот-вот должен стать лед.

Операция началась с перестрелки артиллеристов. Под ее прикрытием первая лодка отчалила от берега. Деревянная, на которой плавали раньше, с наступлением холодов сильно примерзала к земле, столкнуть ее в воду не хватало сил, да и по замыслу поиска нужны были две лодки, и пришлось их делать самим, каркасные, обтянутые плащ-палаточным полотном. Гвоздей не было, сверлить отверстия нечем, но тут развернулись Шиканов, Калинин и Латыпов. Отверстия пробивали пулями и стягивали части ремнями. Лодки получались легкими, но не очень устойчивыми и надежными. БМР — братская могила разведчиков — прозвали их ребята.

Однако первая "скорлупка" ходко пересекла приток и под его левым берегом вышла в Волхов. Шарапов подал команду на отплытие второй. Ребята замерли на высоких сиденьях, боясь шелохнуться, чтобы не качнуть хлипкое суденышко. В Волхове мощная струя подхватила его и понесла к противоположному берегу, к промоине в забереге, которую продавила первая лодка.

— Осторожно, не торопитесь, — тихо предупредил Шарапов.

Но куда там! Сколько ни отрабатывали высадку, многие черпанули в сапоги воды. Бахтина вынесли из лодки на руках. Он должен быть сухим.

— Как у вас? — с тревогой спросил Полуэкт у Спасских.

— Плохо. Хватили бортом.

Шарапов примолк: если сорвется первый вариант и придется работать по второму, поиск затянется на неопределенное время. Продержатся ли так долго на декабрьской стыни промокшие ребята?

— Будем переформировывать группы. Всех "сухих" ко мне, — приказал помощнику командира взвода.

Скоро рядом пристроились Тинибаев, Андрейчук, Карянов, Калинин, Шиканов, Вашлаев, Бербиц, Скуба, Латыпов. Еще Бахтин и Спасских. Не все потеряно!

При наблюдении метрах в ста от вражеских траншей был замечен небольшой обрывчик, подточенный паводковыми водами Волхова. Добрались до него, а дальше, к проволочному заграждению, поползли Карянов, Калинин и оба слухача. Скрылись из глаз, слились со льдистым после недавней оттепели снегом. И застопорилось время, переключилось на новый ход, потянулись часами минуты.

Карянов лежит на спине, чтобы лучше видеть проволоку, ждет пулеметные очереди и под их шумок у самого столба режет колючку. Калинин удерживает туго натянутую, рвущуюся из рук нить, отводит конец в сторону и приматывает к верхнему ряду. Холодное железо прихватывает, сдирает кожу с пальцев, а перчатки не наденешь, руки без помех должны чувствовать ножницы, проволоку, иначе можно и нашуметь.

Андрейчуку и Тинибаеву проще. Они слушают, подставляют рогатки под верхние ряды и следят, не тянутся ли от колючки тонкие проводки к минам, не подвешены ли к ней консервные банки? И кажется слухачам, что резаки работают медленно, они бы справились с этим быстрее. И Шарапов так думает. Поманив за собой Шиканова, выбирается из-под обрывчика и ползет к заграждению, чтобы подогнать Карянова, а может, и самому взяться за ножницы.

Шесть человек у проволоки, и пройден ее последний ряд. Калинин — его задача обезвредить мины — чертит в воздухе большой круг, и Полуэкт догадывается, что противотанковые. У них могут быть поставлены три взрывателя. Верхний Калинин вывернул быстро. Бокового не оказалось. А вот есть ли донный? Боясь подорваться, немецкие минеры, учил сапер, их ставят редко, но проверить надо, на кусочки раздолбить, раскрошить ножом промерзшую землю, сделать "проход" руке, чтобы она могла ощупать дно мины. Взмок Калинин, пока убедился, что нет донного взрывателя. А сколько на это ушло драгоценного времени!

Полуэкт послал Шиканова за группой нападения, и уже подползла она к проволоке, как что-то встревожило "Мефодия". Пустил ракету. Сначала в одну, потом в другую сторону побежали от нее по снегу тени столбов и исчезли. Пулемет зачастил. Соседи стали бросать ракеты, и светло, как днем, стало на берегу.

Почувствовав неладное, Лобатов приказал проиграть "Катюшу". Соседи притихли, а "Мефодий" гонит и гонит в ночь ракеты, и одна, не догорев, раскаленным метеоритом упала у заграждения, подпрыгнула и угодила на спину Скубе. Дернул-

ся было Костя, чтобы сбросить ее, и застыл в неудобной позе. Масккостюм прогорел мгновенно, зашаяла телогрейка. Еще меховой жилет на парне, гимнастерка, теплая нательная рубаха, но долго ли продержится человек с костром на спине? А не выдержит, вскрикнет от адской боли, шевельнется даже — всех изрешетит "Мефодий". Каких-то шестьдесят метров до ствола его пулемета.

Вжались в снег разведчики, слились с ним, не дышат. И Скуба лежит, зажав крепкими молодыми зубами рукав масккостюма и закрыв глаза, чтобы не передалась его боль товарищам и не натворили они чего не надо. Полуэкт непроизвольно тоже хватает зубами свой мокрый рукав. Он уже заледенел, холодит пересохший от волнения рот. Стихла оборона врага, догорела в небе последняя ракета. Тут же накрыли, содрали со спины Кости факел, задавили руками, дыру на телогрейке засыпали снегом. А горелой ватой (или мясом?) на всю округу несет. Хорошо, что ветер от немцев.

Связисты заканчивали концерт. Над обоими берегами неслась песня о родной стране. Под ее шумок Шарапов добрался до Скубы.

— До лодок сам сможешь?

Не разжимая рта, Костя кивнул.

— Там перевяжут, но придется нас дожидаться.

Снова кивок.

Надо бы еще что-то сказать Скубе, но не находит Полуэкт нужных слов и вместо них осторожно, выше локтя, пожимает Косте руку, боясь и этим легким прикосновением причинить боль.

Костя ползет медленно, неестественно прямо держа обожженную спину, то и дело останавливаясь, чтобы перевести дух.

Непредвиденные задержки выбили из графика. "Мефодия" упустили. Через несколько минут пост примет "Николай". Придется ждать, пока он освоится и перемерзнет как следует. Под разрывы немецкой артиллерии, нащупывающей громкоговорящую установку, отошли к обрывчику.

Пока ползли, чуть-чуть согрелись. Но ненадолго. Холод шел сверху, от узкого рогатого месяца, и морозил спины. Он донимал снизу, от заледенелой земли. Встречный ветер пробирался в рукава масккостюмов, под шапки, в рукавицы, проникал в голенища сапог.

Перед выходом на задание растерлись спиртом, в портянки заложили сухую горчицу, но мороз усиливался, телогрейки и жилеты давно не держали тепло, ноги пристывали к подметкам сапог, особенно у тех, кто набрал в них воду.

Пролежали час, снова прошли проволоку, минное поле и наткнулись на малозаметное препятствие, противопехотные мины под ним. Сделать проход и обезвредить мины в двадцати-тридцати метрах от бдительного "Николая" нечего было и думать.

Шарапов махнул два раза рукой — вступал в силу второй вариант поиска. "Сухие" отошли к обрывчику, "мокрые" покинули спасительное убежище и сосредоточились у проволоки, где Бахтин успел вырыть неглубокий окопчик.

Выждал Вася, пока "мокрые" отдышались, приготовились к стрельбе, и стукнул автоматом о проволоку. "Николай" будто того и ждал. Взвились в небо освети-

тельные ракеты, над головами засвистели пули. По пулемету ударили из автоматов. Поперхнулся и смолк. От соседа слева взлетела зеленая ракета и была продублирована соседом справа. Сигнал опасности и одновременно обозначение места нападения — догадались разведчики и, чтобы сбить вражеских солдат с толку, дали несколько ракет в другом направлении. Немецкая оборона притихла. Хлопают лишь ракетницы.

Разрядив диски, "мокрые" продемонстрировали паническое бегство. Полуэкт бежал с ними последним. У обрывчика, за которым укрывались "сухие", вскрикнул и, изображая раненого, беспомощно взмахнув руками, упал лицом к реке.

По пути к лодке кого-то ранили или убили по-настоящему — было видно, как его подхватили и потащили к лодке. Добежали! Дали красную ракету, и не успела она погаснуть, из-за реки понеслись снаряды, стали крушить дзоты и траншеи врага.

Снова все небо в осветительных ракетах, но сколько ни вглядываются оставшиеся на нейтральной полосе разведчики в узкую полоску реки, лодки не видно. Мечется она где-то вдоль берега, спасаясь от огненных струй пулеметов, от мин и снарядов, и неизвестно, доплывет ли до своих. Еще ждать и ждать, терзаться сомнениями, пока не взлетят на своем берегу две зеленых — сигнал о возвращении первой лодки и о продолжении работы по второму варианту.

Взмыли! Живы ребята! Прорвались! Скубу, вероятно, в медсанбат повезли!

Повеселели оставшиеся, сбились в кучу, прижались друг к другу, чтобы хоть так сохранить остатки тепла, и стали ждать, когда начнет действовать Вася Бахтин.

Немецкие артиллеристы постреляли еще немного для острастки и успокоились И пулеметы замолчали: русские разведчики убежали, остаток ночи пройдет спокойно. Можно и о доме подумать, и на звезды полюбоваться.

А поиск продолжался. Сначала тихо, потом громче и с такой болью в голосе, что показалось, будто и на самом деле ранен, застонал Вася Бахтин. Правдиво стонать его учили долго и ничего не получалось, а тут откуда что и взялось. Не может здоровый человек изобразить такую боль, разве что перемерз окончательно.

Будь проклята эта ночь и чертовы фрицы! "Раненый" разведчик у самого дзота остался, а они носа из траншеи боятся высунуть. Несколько раз подал голос Бахтин — не идут. Галдеж только устроили. Может, не знают, как пройти минное поле, и послали за саперами?

Пристыли к спинам гимнастерки, свело руки и ноги, закоченели тела, но надо лежать и ждать. Жда-ать! Шарапов не сводит глаз со светящихся стрелок трофейных часов. Еще пятнадцать минут, десять, пять, три, минута, и он даст команду на отход. Проходит это время, назначает новое: тридцать секунд, еще тридцать... Последний раз — три минуты, — и пропади все пропадом! Но истекает и этот срок, а он снова медлит.

Приглушенные голоса? Скрип снега под ногами? Неужели пошли? Идут!

Точно идут! Уже видно!

Автоматная очередь у проволоки! Из ППШ. Бахтинская. Скорее туда, пока нет ракет, пока не разобрались фрицы, в чем дело. Каким-то чудом ожили ноги, стали

послушными тела, сердца захлестнул азарт. Второй вариант прошел: трое немцев, скошенные очередью, на снегу, четвертый пытается вырваться из-под Бахтина.

Связывать и заталкивать кляп некогда. Схватили пленного за руки и ноги, побежали. От множества ракет ночь вновь превратилась в день, и рвут ее пулеметные очереди, разрывы мин и снарядов. Поняли немцы, как их перехитрили, неистовствуют.

Недалеко уже до реки, но и пулеметные очереди вот-вот перекрестятся на отходящих. Сошлись, прижали к земле.

— Командир, пленного ранили! И наших троих!

— Бербиц!

Бербиц тигром метнулся к немцу, поднял на руки и побежал, защищая спиной от новых пуль. Ребята подхватили раненых. Быстрее, быстрее к лодке! Едва спрыгнув под обрыв, Шарапов кинулся к Бербицу:

— Живой? — Это о пленном.

— В грудь ранило. Хрипит пока.

— Неси в лодку. Осторожно.

Лодка отчалила от берега и закружилась, заныряла, кренясь то на один борт, то на другой, среди рвущихся к небу фонтанов воды, возникающих и исчезающих на глазах воронок.

Полуэкт проснулся от негромкого разговора. Карянов допытывал Бахтина:

— Вася, а ты каким приемом его свалил?

— Каким? — хмыкнул Бахтин. — Я так продрог, что все приемы забыл. Сбил как-то, прижал к себе, чтобы ножом не пырнул, и молил Бога, чтобы вы скорее прибежали.

— А если бы их больше пришло?

— Вначале я тоже этого боялся, а потом, думаю, пусть хоть взвод, лишь бы поскорее. Как вспомню, чего мы натерпелись и все коту под хвост пошло, так заплакать хочется. Я еще в лодке знал, что "язычок" наш на тот свет отправился, но не хотел расстраивать командира.

Классическую разведку провели, а вернулись снова с одними документами. Вспомнил Шарапов, как уходили в поиск, и того горше стало. А уходили необыкновенно. Разлили по кружкам водку, постояли тесным кругом, спели "Волховскую застольную" и поставили кружки до возвращения.

У лодок командира полка увидели. Сам отдал приказ на разведку и пожелал успеха. Совсем воспрянули духом, поверили, что захватят пленного, и взяли, а привезли никому не нужный труп. Нелепая случайность или снова допустили какую-то ошибку? Пожалуй, не надо было в кучу сбиваться. Потащил бы "языка" один Бербиц, может, и обошлось, а возможно, и еще хуже получилось. Нет на этот вопрос ответа. И не будет. А что невезучий он, Полуэкт Шарапов, так это точно. Не одно, так другое, и все к нему прилипает.

Перевернулся на другой бок и охнул. Каждая мышца болела и ныла, словно его цепами молотили.

Взят! Живой!

На четвертый день нового года Лобатова и Шарапова неожиданно вызвал командир полка. Едва поздоровался, объявил:

— Обстановка сложилась так, что через три дня, не позднее, "язык" должен стоять вот тут, — ткнул пальцем на дверь землянки. — Никакие трудности и чрезвычайные обстоятельства во внимание приниматься не будут. За пленными пойдут разведки всех полков, но пора его взять и нам. При выполнении задания, отличившихся представим к наградам, а тебе, Шарапов, при первой возможности сверх того обещаю отпуск на десять дней. При невыполнении — не взыщи.

Обратную дорогу ехали в кошеве бок о бок и молчали. Полуэкт успел прикинуть несколько вариантов поиска, выбрать наиболее выгодный и подумать о том, как хорошо бы съездить в отпуск, появиться дома в новеньком обмундировании, с погонами на плечах и наганом на боку. Замечтавшись, спросил:

— Как вы думаете, товарищ старший лейтенант, Ермишев не обманет?

— Ты о чем? — не понял Лобатов.

— Отпуск даст, если притащим пленного?

Лобатов отстранился от него, чтобы рассмотреть получше.

— Дитя ты, дитя. Поманили игрушкой, и обрадовался. Какой отпуск, если со дня на день наступление начнется! К маме ему захотелось!

— Точно, товарищ старший лейтенант, я ее почти год не видел. А вам разве не хочется побывать дома?

— Мне отпуск не обещали, — отрезал Лобатов. — Я кто? Всего пэ-эн-ша-два, все время "околачиваюсь" в тылу, с артиллеристами, чтоб лучше вас прикрыли, договариваюсь, простыни шью, колесную мазь ворую. — В голосе Лобатова звучала обида, но закончил он мирно, хотя и не без иронии: — Обмозговывай операцию со своими орлами и приходи.

Лобатов предлагал обсудить предстоящий поиск с разведчиками! Это было до того ново, что Полуэкт не нашелся, что и ответить.

А разведчики засиделись без дела и известие о новом и спешном задании восприняли с радостью. Выдвинутое для затравки предложение брать пленного на той стороне Волхова, в районе быков, отвергли категорически.

— На тропу надо идти. Мы уже думали.

Шарапов сидел веселый, светлые глаза его довольно щурились и поблескивали.

— Интересно у вас получается: я всего два часа назад узнал о задании, а вы уже все решить успели.

— Так ведь не отдыхать нас сюда послали, — отозвался Вашлаев, — когда-то и поработать надо.

— Ну что ж, давайте обсуждать конкретно, — предложил Полуэкт, убедившись, что разведчики пришли к той же мысли, что и он.

О тропе в Кириллов монастырь рассказали местные солдаты. Шла она почему-то не напрямик от вала восточной части города, где между ним и монастырем было

кратчайшее расстояние, а с южной стороны подходила к левому рукаву Волховца — Левошне, какое-то время шла вдоль нее, потом пересекала речку и устремлялась к монастырю. Ходили по ней немцы два раза в сутки, в вечерние и утренние сумерки. Видимо, доставляли гарнизону пищу и боеприпасы. Подходы к тропе тоже казались удачными: от вала недалеко до Правошни, по ней пройти к Левошне и там, где тропа ближе всего подходит к берегу, сделать засаду. Крюк придется большой делать, но зато под прикрытием берегов можно идти в рост. И мин на речках наверняка нет.

— А если тропа прикрыта спиралью и заминирована? — вспомнил Шарапов о первой неудаче под Зарельем.

— Так сейчас у нас все саперы, командир. Разминируем.

О деталях договорились быстро, а вот сколько народа брать, Шарапов решил не сразу. Встреча предстояла, скорее всего, с большой группой противника, но есть ли смысл уравновешивать силы? Не лучше ли отобрать самых надежных? Меньше будет шума, потерь и всяких неожиданностей. Еще раз взвесив возможности каждого, объявил:

— На задание пойдут Спасских, Бахтин, Бербиц, Тинибаев с Андрейчуком, Карянов с Калининым, Латыпов и Шиканов. Идем завтра. Готовым быть всем. Вопросы есть?

— А нас когда возьмете?

— Мы тоже хотим, — обиделись новенькие.

— Не беспокойтесь. Еще находитесь.

— Хоть бы фриц попался маленький да тощенький, чтобы тащить легко было, — пробасил из своего угла Бербиц и этим как-то смягчил возмущение "обойденных".

Утром разведчики, к удивлению местных солдат, высыпали из землянки в сапогах. Вырядились в них потому, что всю ночь топили печку и сушили валенки — в мокрых, как ни осторожничай, снег скрипит под ногами. К четырем часам дня поисковая группа была готова. Встали кругом и тихо запели любимую песню волховчан:

...Вспомним о тех, кто командовал ротами,
Кто умирал на снегу,
Кто в Ленинград пробирался болотами,
Горло ломая врагу.
Пусть вместе с нами семья ленинградская
Рядом сидит у стола,
Вспомним, как русская сила солдатская
Немцев за Тихвин гнала.
Выпьем за тех, кто неделями долгими
В мерзлых лежал блиндажах,
Бился на Волхове, бился на Ладоге —
Не отступал ни на шаг...
Вспомним и чокнемся кружками стоя мы —
В братстве друзей боевых,
Выпьем за мужество павших героями,
Выпьем за славу живых!

Хороша песня, будто специально для разведчиков написана. Перед поиском ее только и петь, когда жизнь свою наизнанку выворачиваешь, перебираешь по косточкам и гадаешь, вернешься невредимым, калекой, или фриц тебе на тот свет подорожную выпишет. Разбередила душу песня почти до слез, и не удержались, повторили две последние строчки:

Выпьем за мужество павших героями,
Выпьем за славу живых!

Вышли из землянки, на вал поднялись, от него на Правошню двинулись. Берега ее оказались не такими высокими, как предполагали. Местами пришлось в три погибели сгибаться, кое-где и ползти. Из Левошни, еще светло было, разглядели спины четырех немецких солдат. Они опередили группу. Полуэкт не выдержал и побежал и бежал до тех пор, пока его не схватил за руку Спасских:

— Не успеть!

Еще раз прикинул расстояние. Чуть-чуть бы пораньше выйти! Пришлось залечь и пропустить четверку в монастырь. Может, еще пойдут? Другие?

На тропу сползал Спасских и доложил:

— Метров пятьдесят до нее. За тропой на кольях телефонная связь. Удобное местечко.

Часа три пролежали в засаде — и новые не идут, и четверка не возвращается. До утра осталась в монастыре, а возможно, и до следующего вечера.

На обратном пути, чтобы выиграть время при следующем выходе, спрямили угол между Левошней и Правошней, проторили между ними борозду и как-то не особенно расстроились, что вернулись пустыми. Настроения не испортил даже Лобатов, накинувшийся на Шарапова:

— Надо было дождаться возвращения четверки, а то сходили на прогулочку.

— Вот утром и дождемся.

— Если они опять раньше вас не проскочат...

В землянке, остыв после стычки с Лобатовым, Полуэкт поделился с разведчиками мыслями, которые донимали его всю обратную дорогу:

— А что, ребята, на тропе "языка" взять можно. Если даже пошлют погоню, то она нас в Левошне искать станет, а мы в это время уже в Правошне будем.

— Возьмем, командир, такого вариантика у нас еще не было, но бери-ка ты нас всех, чтобы в случае чего и от погони отбиться.

— Правильно! Пойдем всем взводом!

Ребята предлагали дело, и Шарапов с ними согласился.

Остаток ночи прошел в тихих разговорах, а под утро, когда настала пора собираться в дорогу, дремавший Вашлаев вдруг поднял вверх указательный палец:

— Лучше на вечер отложить, командир, чтобы впереди ночь была, а не светлое утро.

— Проснулся! И как всегда вовремя! — развел в крайней досаде руками Спасских.

— Я не спал. Я думал, как сделать лучше, а вы смотрите, — миролюбиво возразил Вашлаев.

— Стратег! — начал заводиться Спасских, но тут же и замолчал и продолжил с сожалением в голосе: — А ведь он прав, ребята.

Спасских недолюбливал Вашлаева, но был справедлив и объективен даже в гневе, а вот что скажет ПНШ-2?

Лобатов, узнав о новом решении, взвился по-настоящему:

— Вы же там наследили! Нельзя тянуть до вечера!

— Следы заметены. Не обнаружат.

— У тебя все легко получается, вот только дела не видно.

— Товарищ старший лейтенант! — повысил голос и Полуэкт, но Лобатов оборвал его.

— Тебе старшего лейтенанта мало, тебе надо с командиром полка поговорить. Я ему сейчас и доложу о твоих фокусах.

И доложил. С улыбкой протянул трубку:

— Ему все объясни, если ты такой грамотный.

Пришлось выслушать еще один разгон.

— Что молчишь? Я тебя слушаю, — раздался сердитый голос Ермишева.

— Товарищ Пятый, задание будет выполнено. Откладываю его по сложившимся обстоятельствам. Больше по телефону ничего добавить не могу.

Ермишев долго молчал, потом жестко сказал:

— В случае срыва пеняй на себя. Миндальничать больше не буду.

— Приказал идти утром? — с надеждой спросил Лобатов.

— Нет, пойдем вечером, — подражая в тоне Ермишеву, ответил Шарапов. — Вы-то чего боитесь, товарищ старший лейтенант? Вся ноша теперь на мне, а с вас как с гуся вода: " Не послушал, сделал по-своему".

— Но-но-но, не зарывайся.

— Где уж мне. Разрешите идти?

— Иди, иди, — с угрозой в голосе разрешил Лобатов.

Плохо начинался этот день для Полуэкта. К ругани Лобатова он привык и сносил ее легко, осадок же от слов командира полка и особенно от его тона остался тяжелый. Не заходя к себе, поднялся на вал — еще раз прикинуть план операции, новую расстановку сил,— и не успел. Деньги к деньгам, беда к беде. В траншее вдруг появился незнакомый младший лейтенант, маленький, худощавый. Спросил неожиданно громким басовитым голосом:

— Где здесь разведчики располагаются?

— А тебе зачем? — учитывая возраст и равное звание, сразу перешел на "ты" Шарапов.

— Назначен командиром взвода.

— Вот как? Ну что ж, пойдем провожу к пэ-эн-ша-два.

Еле затолкал бинокль в футляр и пошел, придерживаясь рукой за стенки окопа, ненавидя и себя и своего преемника, который заявился на все готовенькое и вечером, конечно же, возьмет пленного. Обида копилась в сердце и толчками отдавалась в висках: "Лобатовское дельце! Позвонил Ермишеву и еще что-нибудь наябедничал".

— А что случилось? — спросил младший лейтенант, заметив, что Шарапову не по себе.

Шарапов не ответил, дверь землянки ПНШ-2 рванул без стука, вошел в нее с полыхающим лицом.

— Прибыл новый командир взвода. Знакомьтесь, товарищ старший лейтенант,— со злостью выговорил Лобатову. Увидел, как у того забегали глаза, как суетливо он заперебирал какие-то бумаги, опасливо взглянул на телефон. Еле сдерживаясь, чтобы не сказать лишнего, спросил: — Разрешите идти?

—Погоди, Шарапов, надо объясниться.

—Зачем? Мне все ясно.

—Далеко не все. Товарищ младший лейтенант, посидите у меня. Мы скоро вернемся. — На улице предложил: — Вот на бревнышке и устроимся. Садись, Шарапов.

— Перед начальством привык стоять, — продолжал дерзить Полуэкт.

— Да не петушись ты! Нашел время. Да, я просил дать еще одного офицера, но не на должность командира взвода, а дублером, помощником, если хочешь..

— Вместо Спасских?Так Олег же раз-вед-чик, а этот пока кот в мешке,— неприязнь к Лобатову невольно перешла и на прибывшего младшего лейтенанта.— Два офицера в одном взводе! Это что-то новое, товарищ старший лейтенант.

— Опять за свое, — повысил голос и Лобатов. — А нового-то как раз ничего и нет. Ты был стажером-наблюдателем? В стрелковых взводах были стажеры при командирах? Вот и его считай стажером. Ты не двужильный, а взводу скоро придется действовать на два фронта. Разве плохо, если вторую группу поведет офицер. И, если откровенно, все мы под Богом ходим, Шарапов. Сегодня ты есть, а завтра тебя нет. Кого тогда прикажешь назначить командиром взвода?

В словах Лобатова была своя логика, но было и такое, что не укладывалось в сознании Полуэкта, и он решил выяснить все до конца:

— Кто поведет разведку?

— Ты, ты, а Смирнов возглавит группу прикрытия. Сразу и проверим, на что он способен.

— Вы могли об этом стажере раньше сказать? — еще не уступал Полуэкт.

— Мог, и надо было, но не хотел тебя волновать до разведки — Смирнова позднее должны были прислать. Удовлетворен?

— Не знаю, как его примут ребята. Мне они вон какую проверку устроили.

— А вот это во многом будет зависеть от тебя, — отрезал Лобатов.

—Хвалить должен? А за что? Я же его не знаю.

— Сейчас узнаешь. Остыл? Тогда пойдем побеседуем.

Новенький оказался вологодским пареньком. До ранения служил в разведке, имел тогда звание старшины, участвовал в четырех поисках, в одном из которых был взят пленный. За эту операцию награжден медалью "За отвагу", а офицерское звание получил после окончания курсов "Выстрел". Держался Смирнов независимо, чувствовалось, что парень с характером. Понравилось Шарапову и то, что из-

вестие о стажировке Смирнов принял без обиды, даже с некоторой радостью. И отошла, смягчилась готовая было озлобиться душа Полуэкта, на веселых ногах побежал подготовить ребят к встрече с новеньким, расположить к нему, дела кое-какие сделать и нос к носу столкнулся с Селютиным. Разведчик попросил не брать его на операцию.

— Почему, Селютин? — удивился Полуэкт. — Все рвутся, даже повар Забаров решил отличиться, а вы?

—Предчувствие имею плохое, товарищ младший лейтенант.

Шарапов взглянул на него внимательнее, вспомнил, что дня два уже Селютину не по себе, он все старался уединиться, беспрерывно курил, представил, как нелегко было Селютину обратиться с такой просьбой, и сказал как можно мягче, чтобы не обидеть человека:

— Мне надо кого-то оставить у пулеметчиков. Вот вы с ними и побудете, пока мы ходим. Договорились?

— Спасибо, товарищ младший лейтенант, — повеселел разведчик, — а то давит меня и давит, как будто смерть свою чувствую.

— Ладно, чего там. Со всяким бывает. Вы не переживайте.

Известие о Смирнове разведчики встретили холодно, но когда узнали, что он из "своих", потеплели и спросили, посмеиваясь:

— Испытывать будем?

—Обязательно. Возглавит группу прикрытия.

— Так сразу?

— Он же разведчик.

— Но надо бы присмотреться.

— Вопрос решен.

— А как с Лобатовым?

— "Заложил" я себя и без пленного не вернусь. Прихвачу сухарей, ночь пролежу, но возьму.

— Не переживай, командир, и мы прихватим. Надо будет, все останемся.

— Спасибо, ребята!

Вышли на этот раз пораньше. Знакомая дорога давалась легко, и в Левошне оказались быстро. Но едва Шарапов выглянул из-под берега на поле, увидел — идут, восемь человек и почти там же, где вчера. Выдохнул:

— Группа нападения за мной! Прикрывающим не шуметь!

И снова бегом к месту засады. Только бы успеть, только бы не упустить! Сердце рвется и режет в груди, не хватает дыхания. Скорее! Скорее! Вот оно, место засады. Опередили!

Рядом задышливо падали в снег разведчики. Пока бежали, группы нападения и прикрытия перепутались и залегли не в том порядке, как намечали, но перестраиваться поздно. Сойдет.

Немцы приближались.Тропа все ближе подводила их к берегу. Метров на десять еще можно подпустить и — подавать команду. И тут не выдержал нервного напряжения, нажал на спусковой крючок повар Забаров. Ему дали тумака, но дело было сделано, пришлось пустить в ход автоматы, нападающим ринуться на немцев — положение мог спасти лишь стремительный бросок на сближение. Справа от Полуэкта, грудь в грудь, неслись Спасских, Бахтин, Бербиц, Андрейчук и ... Смирнов. Он-то почему? Крикнуть, вернуть назад некогда, и сердцу не выдержать крика — и так бьется в груди молотом.

Фашисты лежат, как поленья. Крайний слева вскакивает, оглядывается, чтобы бежать, и меняет решение: хлесткая автоматная очередь от живота. Кровь заливает лицо, но Шарапов продолжает бежать. Бежит от него и немец, спотыкается, падает. На ходу автоматом по голове ему и дальше — к проводу. Связь не должна работать, и эта обязанность на нем. Выпластал кусок гупера, осмотрелся.

Двое офицеров убегают. По ним не стреляют, чтобы не вызвать ответный огонь. Правильно. Четверо, кажется, убиты, а один окружен, но не дается. Бербиц валит его мощным ударом. "Не убил бы, черт окаянный!" — вздрагивает Полуэкт, но немец кошкой вскидывается с земли, выхватывает гранату. Еще удар. Лежит. Его подхватывают и волокут к реке.

Хорошо сработали. Молодцы! И еще одного можно прихватить, которого он автоматом стукнул. Шарапов бежит к нему. Не двигается. Притворяется, гад! Проверил пульс, дыхание. Мертвый! Со страха, что ли, скончался? Он же его совсем легонько ударил. Забрал автомат, документы и бегом к реке. Там собрались уже все.

— Отходим, быстро! — командует Полуэкт, а Смирнову напоминает: — Ты возглавляешь прикрытие.

Бербиц взваливает пленного на плечи, как когда-то Бахтина, и бежит первым. Пропустив вперед группу нападения, отходит и Шарапов, на ходу бинтуя голову. Рядом пристраивается Карянов.

—Еле иду, — жалуется, — так пнул фриц чертов, что чуть ногу не сломал.

В землянке Шарапов увидел кровь по правому боку и рукаву Бербица.

—Тоже ранили? Сильно?

— От него вон, — кивнул Бербиц головой на пленного.

У Полуэкта подкосились ноги:

— Опять ранен? Куда?

— Сейчас посмотрим. В ногу, кажется.

Стянули с дрожавшего пленного белые, все в крови, бурки.

— Икра прострелена, командир, — поднял голову Бахтин и рассмеялся. — Мужественным разведчиком Забаровым.

— Посмотрите, нет ли еще ран?.. По-русски понимаешь? — спросил у пленного. Тот промычал что-то невразумительное.

— Все остальное в порядке. Пахать на нем можно, — доложил Бахтин.

Шарапов облегченно вздохнул и, почувствовав головокружение, слабость, привалился к стене. Рана начала рвать и "токать".

Сестра прибежала, взглянула на него и рассмеялась:

— Кто это вас так укутал, товарищ младший лейтенант?

— На ходу бинтовался. Сначала его перевяжите, — указал на пленного.

— Вот еще! Подождет, — фыркнула сестра и, все еще посмеиваясь, начала разматывать бинт. Осмотрела рану и сдвинула брови. — Будь иной поворот головы, и не в ухо бы вышла, а в затылок. Повезло вам, товарищ младший лейтенант!

— Повезло?! Если так везти будет, то пока до Берлина дойдем, без ушей останемся, — не согласился с ней Вашлаев.

Засмеялись. И шутка была удачной, и настроение подходящее.

— Его перевяжите, укол и все что надо сделайте, — снова попросил Шарапов, боясь, чтобы не началось заражение и не умер их первый пленный.

Шумно в землянке и дружно. Все довольны, ни у кого никаких огорчений. Всем поговорить хочется, впечатлениями поделиться. Не заметили, как пулеметчик вбежал, услышали только его голос:

— С фрицем веселитесь? А вашего разведчика убило. Эх, вы!

— Когда? Где? Кого?..

Оказалось, Селютина. Пока были на нейтралке, немец бил по валу. Вспомнили, что и разрывы слышали, и свежие воронки видели — одну совсем недалеко от землянки, — да на радостях не обратили внимания. По той причине и о Селютине забыли. Что ему сделается, если дома оставался?

Рванулись на вал, в траншею. Выбросило из нее Селютина взрывной волной и изрешетило так, что сразу не узнаешь.

В тыл на одной подводе ехали четверо: Лобатов и пленный в штаб полка, Шарапов туда же, а потом в медсанбат, Селютин в свой последний путь на кладбище дивизии в деревне Мшага. Разведчики похоронят его завтра.

Полуэкт лежал рядом с Селютиным и ругал себя за его смерть. "Помог, называется, человеку. Оставил дома!" Понимал, что вины его в случившемся нет, но все равно было не по себе, как будто вина в чем-то и была. Откажи он в просьбе, и жив бы был Селютин, веселился бы теперь вместе со всеми. Смерть свою он чувствовал верно, а где было от нее спасение, не отгадал.

— Как Смирнов? — прервал тяжкие размышления Полуэкта Лобатов.

— Все в порядке.

— Вот видишь, прав я был, прав, — обрадовался Лобатов. — Человек и в деле побывал, и себя показал. Легче ему с твоими орлами управляться будет.

— Да, все так, — согласился Шарапов и не стал рассказывать о том, как Смирнов, забыв о своих обязанностях, ринулся на немцев с группой нападения. — Все хорошо получилось, — подтвердил он, прислушиваясь ко все усиливающейся боли.

Верные приметы

Задание показалось легким: проверить, нет ли противника на хуторе, что значился на карте километрах в полутора от гравийки.

— Сумеете взять пленного, тащите, а специально не гоняйтесь. Время для выполнения — час, — предупредил начальник штаба полка капитан Цыцеров, скользнув взглядом по осунувшемуся лицу лейтенанта Шарапова, сбитой набок пилотке, из-под которой торчали по-мальчишески оттопыренные уши, и посочувствовал: — Знаю, что всю ночь вас гонял, но и полк поставить под удар не могу. Иди давай — после войны отоспитесь.

Они были назначены на свои должности почти одновременно. Шарапов на глазах Цыцерова из несмышленыша превратился в опытного офицера, и начальник штаба был уверен, что его приказ будет выполнен в срок, а потом он, может быть, сумеет выкроить пару часов для отдыха разведчиков.

Чтобы сэкономить время, больше половины пути бежали. Метрах в пятистах от хутора перешли на шаг, проверили на ремнях гранаты, пальцы привычно легли на спусковые крючки автоматов. И тут Шарапову показалось, что за ними следят. Это ощущение не было новым. Все вокруг мирно, никто по тебе не строчит, но что там, в домах и за ними, один Бог знает, и потому каждый раз идешь в неизвестность, глаза отыскивают и запоминают все неровности: в случае чего спасение за этим вон бугорком, в той вон ямке.

Сотни километров прошли за зиму и лето разведчики в боевом охранении полка: двое дозорных впереди, столько же по бокам, ядро взвода или отделения сзади, и, чтобы риск был равный, через два часа смена.

Пока бежали, такой порядок и сохраняли. Теперь рассыпались в цепь, всматривались в черные окна чердаков, сверлили глазами темные, без занавесок, окна.

Не нравятся командиру взвода сумрачные дома, вытянутая языком к ним поляна. Еще больше не внушает доверия окружающий хутор густой ельник. В домах и сараях роту упрятать можно, в лесу — целый полк.

Тихо на поляне, мертво, и бьет эта тишина по нервам, стучит в висках взбудораженная близкой опасностью кровь. Ребята тоже идут настороженно, тянут шаг, беспокойно оглядываются по сторонам. Еще держится ночная прохлада, в воздухе ни пыли, ни гари. Босиком бы сейчас по травке, чтобы ноги отдохнули от сопревших портянок и кирзы. Пройдешься тут! "Легкое задание", чувствовал лейтенант, начинало осложняться, как бывало не однажды.

До хутора метров сто. Лейтенант резко поднял руку, бросился на землю и дал короткую, якобы прицельную очередь. Распластались разведчики, тоже обстреляли хутор.

Он на огонь не отозвался.

Шарапов снова нажал на спусковой крючок, на этот раз подольше. Прослушал очереди ребят.

Хутор молчал.

Подавая сигнал, значение которого хорошо знали и немцы, Шарапов хотел ввести в заблуждение прежде всего их — не выдержат, откроют огонь, почувствовав себя обнаруженными. Не открыли. Пуст хутор, или там тоже не дурачки засели?

Шел десятый час ясного августовского дня. В траве резвились кузнечики, порхали капустницы. Стрекоза примостилась на бинокле и не хотела улетать. Шарапов рассматривал дом за домом, сады, изгороди, но ничто не выдавало присутствия человека.

Лейтенант поднялся и пошел к домам. Он не сводил с них глаз и в то же время замечал все, что делается справа и слева от него, пытался и не мог избавиться от мысли, что давно посажен на мушку и до смерти не "четыре шага", как поется, а четыре вершка. Угрюмые дома, высокие, с крутыми крышами, сараи равнодушно наблюдали за приближением растянутой цепочки разведчиков.

Оставалось каких-то полсотни метров. Самая подходящая дистанция для прицельного огня из автоматов. Шарапов окинул взглядом ребят. Их лица были сумрачными. Один Капитоненко улыбнулся ему и помахал рукой — не беспокойся, лейтенант, все будет хорошо. Родные Капитоненко были в оккупации, и он совсем недавно узнал, что остались живы. С тех пор человека словно подменили: все смеялся и напевал Капитоненко, все тихо улыбался чему-то и писал домой письма. И теперь шел рослый, сильный, широко развернув плечи, будто знал, что огня не будет.

Хутор был покинут жителями. Они ушли без спешки, но двери домов, подвалов и хозяйственных построек оставили незакрытыми и этим как бы безмолвно просили: заходите кому надо, живите, но ничего не ломайте. Мы вернемся.

— Культурный народ, предусмотрительный. Отсидятся где-нибудь в тихой заводи и назад оглобли повернут, — не то похвалил, не то осудил хозяев Капитоненко. Остальные неопределенно хмыкнули и покосились на просторные, для себя рубленные хоромы. Не привыкли еще к Латвии, ее быту и поведению местного населения.

Окурки немецких сигарет у колодца, свежие следы сапог с тридцатью двумя граненными шляпками гвоздей свидетельствовали о недавнем пребывании на хуторе фрицев. Знать бы еще, далеко ли ушли и надолго ли, да спросить не у кого.

Как и предполагал лейтенант, за домами была низинка, и немцы скорее всего отошли лишь с приближением разведчиков. И снова вопрос: кто они, отставшая от своих небольшая группа или организованная боевая часть?

...Неделю назад разведчикам приказали установить связь с соседями. Помощник командира взвода старшина Спасских пошел с одной группой на правый фланг, а он, Полуэкт, на левый. Прошли с километр лесом, оказались на большой поляне со свежими копешками снега, и в это время на полк налетели "юнкерсы". Первый бомбардировщик, как им показалось, сбитый, падал прямо на разведчиков. Разбегаться было поздно, бросились на землю без всякой надежды когда-нибудь подняться. Огнедышащий смерч втянул в себя и потащил, руки намертво вцепились в траву и в землю. Но самолет не был сбит, они волею случая оказались в месте выхода его из пике. Следующие "юнкерсы" бойцы встречали лежа на спине и ос-

тервенело били по ним и попадали, наверно, но вся девятка бомбардировщиков благополучно миновала неожиданный для нее огневой рубеж и ушла на новый заход, на этот раз со стороны солнца.

Поднялись, а поляна пустая, копешки с нее точно корова языком слизнула, и в дисках, даже запасных, патронов почти не осталось. Обойдется, поди, не с врагом предстояла встреча, а со своими. Пошли дальше. Вблизи опушки поперек дальнего конца поля не таясь прошла группа солдат и скрылась в лесу, где должна быть дорога. Один задержался и, похоже, поджидал их. Свои, конечно, вот и связного оставили и прошли открыто, но что-то насторожило тогда Шарапова. На всякий случай послал вперед двоих, с остальными задержался. И вовремя: "связной" вдруг настильно, по направлению к разведчикам, пустил красную ракету, и десятки очередей справа, от дороги, и слева, от леса, прижали к земле.

Интересная картина получилась: им нечем было стрелять, а немцы решили, что в этом кроется какой-то маневр, и, соединившись, стали спешно отходить, даже раненого не подобрали. От него узнали, что столкнулись с немецкой разведкой, которая ходила в наш тыл.

Ценнейшего пленного тогда привели, а теперь... Предчувствие беды, уверенность, что враг близко, не покидали лейтенанта.

— Костя, — позвал к себе лейтенант разведчика Скубу, — пройдись с кем-нибудь в открытую, можете даже "подраться" у леса на виду.

— Есть, командир! Шиканова возьму — мне ему давно морду набить хочется, — повеселел заскучавший от безделья Скуба.

— Еще посмотрим, кто кому, — угрюмо отозвался Шиканов. У него болел зуб, и он с утра был не в духе.

— Валяйте, но смотрите, чтобы не подцепили.

— Как-нибудь, лейтенант.

Скуба и Шиканов вдоволь побродили по хутору, во время "драки" из-за какой-то тряпки разом упали и прочесали из автоматов начало уходящей в лес дороги.

— Что там? — обрадованно крикнул Шарапов, высовываясь из чердачного окна.

Скуба поднялся, безнадежно махнул рукой:

— На поклевку хотели выманить, да пустой номер.

— Были бы, отозвались: когда двое дерутся, у третьего всегда руки чешутся, — поддержал Скубу Бербиц. — Нам какое задание давали? Установить, есть ли на хуторе противник. Его нет. А в лесу? Так лес, может, до самого моря тянется.

Бербиц был прав. Задание можно считать выполненным, но Шарапову мешала принять решение об отходе неизвестность. Уйдешь, а немцы через час-другой полезут из леса, ударят во фланг или тыл. Как ни крути, а лес проверить надо. Всем идти не следует, лучше небольшой группой.

Заглядывать в лес разведчикам не хотелось. Лейтенанту — тоже, и, предупреждая возможные возражения, он объявил приказ:

— Будем проверять! Со мной пойдут Скуба и Капитоненко.

Он решил взять с собой этих разведчиков, зная, что они любят работать вместе и хорошо дополняют друг друга. На скуластом, обожженном солнцем лице Скубы заходили тяжелые желваки, у Капитоненко потемнели оспины, но больше они ничем своего неудовольствия не выдали.

Трое проверили оружие, спустились с чердака и разошлись, чтобы не попасть под одну очередь. Левым шел Капитоненко, правым — Скуба, Шарапов придерживался дороги. Он мог поклясться, что лес занят противником, но что стоила эта клятва до первого выстрела. Интуиция, он давно убедился в этом, оправдывается часто, но истиной не считается. Надо идти. Возвращение в полк возможно лишь после того, как их обстреляют.

От домов взгорок спускался к лесу полого, ровным и чистым полем. Ни кустика на нем, ни деревца, лишь высокая трава у опушки. Всех троих отлично видно. Автоматы наготове, на лес направлены еще десять стволов, но надежды на это мало. С чердаков ребятам придется стрелять на звук, по троим станут бить прицельно.

Шарапов взглянул на часы и прибавил шагу. До леса оставалось шестьдесят метров... Пятьдесят...

Скуба поднял руку. Он ее еще поднимал, когда с опушки оглушительно загрохотал немецкий "МГ-34", отличный пулемет, легкий, с заменяющимися стволами и лентами, которые можно присоединять одну к другой без конца. Пулеметчик повел стволом справа налево. Первым, словно от удара, дернулся Скуба. Шарапова спас автомат. Пуля попала в диск и едва не выбила ППШ из рук. Изображая убитого, он рухнул на землю и ящерицей отполз в старую, заросшую травой яму. На Капитоненко очередь задержалась и поднялась к домам, откуда прошивали лес автоматы разведчиков.

— Я ранен! — крикнул Скуба и побежал к хутору с повисшей плетью рукой.

Пулемет начал бить по нему, потом снова сек траву над самой головой. Стреляли по Капитоненко. Лейтенант помог разведчику добраться до ямки, укрыл в ней почти всего Капитоненко, не вместились только его длинные ноги. Пока укладывал, осмотрел раны. Одна пуля попала в голову, еще три прошили спину и руку. "Не жилец!" — с тоской подумал лейтенант и не ошибся. Струйка крови полилась из открытого рта, захрипел Капитоненко, задергался в конвульсиях и стих. Шарапов сменил диск, но стрелять не стал. "Пусть немцы думают, что перебили всех. Так будет лучше", — решил он.

Перестрелка пошла на убыль и стихла. Добежал Скуба или добили? Добежал. Прикрывать стало некого, и ребята прекратили огонь. Они давно сработались друг с другом, и языки развязывались лишь на отдыхе. В деле обходились без слов, часто без команд, все понимая по выражению глаз, мимолетному движению бровей, по тому, кто как идет, лежит, стреляет и многим другим только им понятным приметам поведения каждого. Лейтенант был уверен и в другом: Скубу немедленно доставят в полк, а Цыцерову передадут донесение о встрече с противником. Задание можно считать выполненным...

Пока гремели выстрелы, он чувствовал себя в безопасности, теперь же забеспокоился: трава у опушки высокая, немцы могут подобраться незаметно для ребят. Ну что ж, пусть ползут. У него два автомата и три диска к ним, четыре гранаты, наган, нож, здоровые руки и ноги. Пока суд да дело, стал разгибать усики чек. Левая рука будет занята, так вытащит зубами.

Ветер откуда-то прорвался. Трава заходила волнами. Попробуй разгляди, где она клонится от ветра, а где ее раздвигает рука человека.

Что-то хрустнуло в лесу, будто на сучок наступили. Если полезли на дерево, придется сшибать. Откроют огонь ребята, под шумок можно и ему выстрелить. Шарапов перевел автомат на стрельбу одиночными и лег так, чтобы его приняли за мертвого, сам же он мог хорошо слышать и следить за вершинами деревьев...

В начале лета, в лесах Псковщины, вовсю резвились кукушки."При первой кукушке брякни деньгами, чтобы водились", — вспомнил кто-то из разведчиков. И о другой молве не забыли: "Сколько раз кукушка натощак кого обкукует, столько лет тому и жить". Денег у ребят не было, и к первой примете отнеслись равнодушно, на вторую же погадали вдоволь, и всем выпало жить долго, все после войны домой должны были вернуться. Шарапов однажды тоже спросил: "Кукушка, кукушка, сколько мне жить?" Досчитал до пятидесяти и бросил — пустое дело.

Пока ему везло. Сколько раз мог быть убитым, изувеченным, но проносило. Как многих. Любой фронтовик мог привести десятки примеров небывалых избавлений от смерти: сделал шаг вперед — и уцелел; снаряд в двух метрах упал, но не взорвался почему-то; граната совсем рядом рванула, и ни одного осколка. Все это до поры до времени, а еще шагать и шагать до Германии и по ней. Сколько впереди будет хуторов, деревень и городов, которые надо "проверять" и брать. Тысяча смертей впереди! От одной утром спас автомат. Не попади пуля в его диск, прошила бы живот, и лежать бы ему рядом с Капитоненко, безучастным ко всему на свете...

Балвы немцы оставили без боя, а за Гулбене будут драться. Это угадывалось по возросшему в последние дни сопротивлению фашистов и по усиливающемуся впереди с каждым часом бою — батальоны, видимо, вступили в соприкосновение с противником.

Укрытый высокой травой Шарапов лежал в своем случайном прибежище между хутором, где были ребята, и лесом, с засевшими в нем немцами, и благодарил судьбу за то, что избавила его от курения.

На хуторе раздался звук пилы. Она была старая и тупая, а дерево свежее, и пила вгрызалась в него немощно, часто останавливаясь и спотыкаясь. Шарапов насторожился: что там задумали ребята, и как на эту затею отреагируют немцы?

Лес молчал. Огрызнулся утром пулеметом, подбил Капитоненко и Скубу и затих.

Сначала пилили размеренно, потом начали злиться: вжик, вжик, вжик. Застучал топор. Гриха Латыпов! И тут нашел какое-то дело. Изгородь решил починить или калитку поправить? Чуть выкроится свободная минута,достает Гриха свои инструменты и давай "молотить". Всем ребятам портсигары, украшенные орденами,

мундштуки наборные сделал и рукоятки для ножей — гляди на них и не наглядишься, и рука потная не соскользнет. Тисочки ручные, резцы, напильники — все с собой таскает.

Утром, когда немцы только положили Полуэкта, ему вспомнились слова Лобатова: "Умный найдет выход из затруднительного положения, а мудрый не попадет в него..." — застучали молоточками в голове, и он начал лихорадочно отыскивать свой единственный верный выход. В предельно простой ситуации: он не может отойти без трупа Капитоненко, ребята — без них обоих. Перебрав десяток вариантов, остановился на двух. Первый привлекал быстротой и привычностью исполнения. Он отходит немедленно короткими из стороны в сторону бросками,каждый раз подтягивая за собой труп Капитоненко. Ребята прикрывают. В веревке пятнадцать метров. Десять раз перебежать, упасть, отползти, подтянуть... Стоп! Стоп! Здесь его укрывает трава, метров через двадцать начнется чистое поле, взгорок к тому же. Он будет виден немцам, как на ладони, и они подшибут его тоже десять раз, если не больше. Ребята бросятся на выручку, и их перебьют. Нет уж, двоих потеряли и хватит, больше он не отдаст ни одного!

Второй выход — схорониться в ямке до наступления темноты — замаячил одновременно с первым, казался надежнее, но был не по душе тем, что обрекал на бездействие и полную зависимость от немцев. Перед тем как принять окончательное решение, Полуэкт взвесил возможности ребят, не попытаются ли они обойти фрицев лесом, ударить по ним с флангов или тыла, чтобы отогнать от опушки? Немцы "показали" им пока один пулемет. Что у них еще в запасе и сколько их, неизвестно, а ввязываться в бой, не зная сил противника, опрометчиво. Ребята так и не поступят. "Снова придется действовать по "второму варианту", — усмехнулся Шарапов. — Ни у меня, ни у ребят другого выхода нет".

Раскаленное, обезумевшее от собственной жары солнце занимало все небо, накалило стволы автоматов, землю, воздух. Одежда давно не защищала от его прицельно бьющих лучей, сама накалилась и жгла распластанное на земле тело. Воздух был сух, как в парилке, даже ветерок унялся, и наступило, как казалось истомленному жарой Шарапову, удушливое предгрозовое затишье.

Помимо непроходящей настороженности — лежал он совсем недалеко от немцев — Полуэкту приходилось бороться с собой, чтобы ежеминутно не смотреть на стрелки. Он ненавидел их, почти остановившиеся, и все-таки смотрел, запрещал себе думать о воде, и думал безотрывно, мысленно тянулся к ней спекшимися черными губами,всем своим маленьким, усохшим на жаре телом.

Едва ли не первый раз за полтора года пребывания на фронте лейтенант был один и ему нечем было заняться. О многом передумалось, но почему-то чаще всего вспоминались не бои, а тяжкий воинский труд. На особой полочке память хранила дожди, холода и слякоть. Без конца виделось глиняное поле. По нему надо ползти. В проложенной борозде копится вода. Весь ты в глине и жмешься к ней же, холодной и мокрой. Ползешь, думая о том, как лучше выполнить задание, и подспудно

— о теплой землянке, в которой можно обогреться и обсушиться. Возвращаешься полуживой от усталости, с тебя течет ручьями, ножом соскабливаешь с одежды и сапог грязь, а порой и на это не хватает сил... Остановились где-то — надо копать ячейки, потом окопы, строить землянки. Все сделали, не успели обжиться, и снова вперед, до следующей остановки, а там опять зарываться в землю и начинать все сначала. Но лучше бы холод и голод, чем эта адская жара, это осточертевшее солнце, немилосердная жажда и томительное, изнуряющее бездействие.

Лес безмолвствовал. В нем начали копиться вечерние тени. Жара пошла на убыль, а солнце, перед тем как уйти на отдых, стало полнеть и набирать красноту. Лейтенант дал зарок пролежать еще час, честно выдержал его — кто бы знал, чего это стоило! — и стал готовиться к отходу. Загнул усики чек, пристроил гранаты на одном боку, чтобы не мешали ползти на другом, оба автомата закинул за спину, пополз, подтягивая за собой Капитоненко.

Где-то вдали, за лесом, позеленело и косо понеслось к земле посветлевшее небо, донесся слабый хлопок ракетницы. Через несколько секунд, уже ближе, взвилась вторая зеленая ракета и с опушки, в обратную сторону, — третья. Ракеты были сигнальными и приказывали либо атаковать хутор, либо отходить от него.

Шарапов вернулся в ямку. Снова два автомата под рукой, снова разогнуты усики чек, и каждая жилка трепещет: "Если не наткнутся, пропущу и ударю с тыла — устрою им, гадам, заварушку!"

На опушке по-вечернему гулко загрохотали пулеметы. Строчки трассирующих пуль прошлись по хутору. Разведчики на огонь не ответили, но через некоторое время раздался трубный голос Бербица:

—Заходите, гости дорогие, чего стучитесь? Для вас и чаек готов и кое-что на присыпочку.

Из леса прокричали что-то на немецком, рассмеялись, но стрелять не стали. Послышалось, что в глубине леса стихают шаги.

Страдальчески-счастливое изумление охватило Шарапова. Верить или нет? Он поверил и пополз, потянул за собой Капитоненко. На половине пути встретил Шиканова и Латыпова. Они удивленно посмотрели на лейтенанта, но ничего не спросили. И у ребят на хуторе был непривычно-растерянный вид, словно они провинились. Шарапов опустился на ступеньки первого крыльца и прохрипел:

— Пи-и-ть!

Он молчал весь день, и у него пропал голос.

Пил долго и жадно, захлебываясь, заливая водой одежду и радуясь, что она намокает и холодит тело. Остаток воды вылил на голову, мокрыми руками обтер сопревшую шею и откинулся к стене, щурясь от удовольствия, непередаваемого чувства избавления.

— Скуба жив?

— Метрах в пяти от дома еще и в ногу ранили. Дополз, а дальше утащили. Вы-то как?

— Ничего, — Шарапов улыбался — не напрасны были его муки и не подвел он ребят. — Поесть найдется? И воды еще. Побольше.

В ямке он ни разу не подумал об еде, сейчас хлеб и американская консервированная колбаса — "второй фронт", как называли ее солдаты, — оказались такими вкусными, что таяли во рту.

Разведчики терпеливо ждали.

— Могила готова?

— Да, командир, только...

— Что "только"?

— Сами увидите.

Повели к могиле, куда Шиканов и Латыпов сразу же подтащили Капитоненко. Полуэкт удивился ее необычной ширине, нагнулся к свежеобтесанному столбику со звездочкой на нем из дранки и прочитал: "Лейтенант Шарапов П.К., 1924 г. рожд. Сержант Капитоненко П.А., 1915 г. рожд. Погибли в бою с фашистами 15.8.1944 г. Вечная слава героям!"

Так вот почему с таким удивлением и смущением встретили его разведчики! Не верили, что в такую адскую жару он был способен, мог пролежать под носом у немцев целый день и ничем себя не выдать.

— Это я уберу, лейтенант, — засуетился Латыпов. Ухватил столбик, три точных удара топором — и надпись исчезла. Гриха стал делать другую.

— Так даже лучше, командир... Ну, что мы вас вроде бы как убитым посчитали, а вы живы. Таким, значит, и домой вернетесь. Не обижайтесь на нас, ладно? — оправдывался Гриха, и ребята уверенными кивками подтверждали, что такая примета есть, и она верная.

Из окружающего поляну леса низом выползла густая черная мгла, гася на земле остатки света. Шагов сто прошел Шарапов, оглянулся на хутор — его дома, недалекие от них деревья слились с вороненым небом и стали неразличимыми.

На гравийке разведчики встретили группу Спасских. Цыцеров послал ее на подмогу, но Шарапов узнал об этом позже всех, на рассвете. Как отошли от хутора, Шиканов подхватил его под руку и "повел". Спать на ходу разведчики научились во время длинных зимних переходов, знали кого при этом "уводит" направо, кого налево, кто натыкается на передних. Таким давали "поводырей". Разведчики не остановились при встрече. Примкнув друг к другу, пошли дальше, чтобы не разбудить своего лейтенанта.

В приметы либо верят, либо нет. Разведчики в них верили. И оказались правы: вышло так, что и кукушка правильно "наворожила", и могилой на двоих они как бы отогнали смерть от Полуэкта Шарапова. Через два дня во время очередной разведки он был тяжело ранен и после войны — в госпиталях лежал долго, несколько операций перенес — вернулся домой живым.



Семен Шмерлинг



Семен Борисович ШМЕРЛИНГ (1923) юным лейтенантом начинал свой фронтовой путь в Подмосковье. За спиной остались Орловско-Курская битва, пройденные с боями Украина, Молдавия, Румыния, Польша, Германия. Победу встретил в Берлине в звании гвардии капитана.

В 1952 году окончил редакторский факультет Военно-политической академии. Более трех десятилетий военным журналистом служил в Уральском военном округе, в редакции газеты "Красный боец". Автор многих книг, выпущенных в Москве, Перми, Свердловске. Об их отношении к военной тематике говорят сами названия: "Цель вижу, атакую", "Шел за ротой паренек", "Горячий осколок", "Товарищ капитан", "За час до атаки", "Десант", "Как я покушался на Сталина", "В городке за Берлином". С.Б.Шмерлинг награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени, двумя орденами Красной Звезды, медалью "За отвагу" и многими другими медалями.



Маленькие истории большой войны

ЭСПЕРАНТО

На раскисшем мартовском плацу шло строевое занятие курсантов. Плац, казармы, весь военный городок были ненастоящими: эвакуированное с Украины военное училище разместили в бараках пристанционного поселка, а строю учили на спешно расчищенном товарном дворе.

— Ножку, ножку! — лениво покрикивали сержанты в отсутствие взводных и старшины. На втором году войны народ в училище собрался разношерстный: от вчерашних школяров до почтенных инженеров и педагогов. В нашей роте были еще и артисты. Но даже среди этой нестроевой публики выделялся курсант Цитович. При гвардейском росте был он медлителен и неуклюж.

— Ножку, Цитович, ножку... — повторял отделенный, не питая никакой надежды на успех. Огромная "ножка" сгибалась, подобно паровозному рычагу, и башмак с размотавшейся обмоткой шлепался в жидкую грязь. Ботинки эти были гордостью ротного старшины Голуба. Когда нас обмундировывали, то обувь военного образца подыскать для Цитовича не удалось — мала. С неделю он маршировал в гражданских штиблетах. Сочувствовавший ему, тоже рослый, старшина измаялся в поисках и нашел подходящую пару бог весть какого размера верст за тридцать, в старинных военных лагерях. Взводный острослов Лапкин, в недавнем прошлом джазист, объяснял, что ботинки эти хранились в цейхгаузе еще с русско-японской войны.

При всей симпатии к Цитовичу, земляку-белорусу, старшина непрестанно его воспитывал:

— Ну, какая же то заправочка у вас. Извиняюсь, бабы сукенку так не носят, — и, нежно обнимая, как девичью талию, стягивал обвисший брезентовый ремень. — Вот и бруки подтяните. Вам же командиром быть, по-старому — охвицером...

Ни один мускул не дрогнул на крупном лице курсанта, светло-голубые, казалось, прозрачные глаза смотрели вдаль. Его безразличие, отрешенность бесили земляка с четырьмя треугольниками в петлицах, и тот взрывался:

— Слухайте, что говорю... Строй... это вам не эту... биологию преподавать. Строй — свято место!

— Чего это старшина к вам цепляется? — спросил я Цитовича на перекуре.

— Что вы, — густым рокочущим басом удивился тот. — Скорее, он самоутверждается. В его положении это необходимо.

Он был прав. Вот кто действительно прискребался к неуклюжему гиганту, так это заместитель командира батальона майор Фитолин. Он внезапно, как чертик из коробочки, возникал в казарме и непременно ловил нас на каком-либо прегрешении. Смуглый, с тонкими усиками красавец и щеголь, он звонко восклицал:

— Раз-зговорчики в строю! Вы не в фоэ-э тэатра.

Кто-либо в ответ хихикал.

— Преэкратить с-смехуечки. Шаго-ом марш!

Фитолин сразу же приметил странную походку Цитовича и приказал ему выйти из строя.

— Ну-тес... Прошу пройтись... Марш!

Наш неловкий товарищ зашагал, одновременно поднимая правую руку и правую ногу, а потом левые руку и ногу. Такая походка встречается нечасто.

— Спе-ектакль, — продолжал Фитолин. — Так конь-иноходец скачет: то правые ноги, то левые... Ну, спектакль, ино-ходец!

Никто не засмеялся. Цитович круто повернулся и встал в строй. Майор криво улыбнулся:

— Ла-адно. Старшина, тренироваться дополнительно.

Мы постепенно узнавали друг друга. Близкие знакомства, откровения чаще всего совершались на ночных дежурствах. В нетопленом бараке у столика дневального и бачка с питьевой водой. Там, нередко поступаясь сном, вели разговоры, предавались воспоминаниям. Первым я близко узнал Смирнова, быстрого и легкого в движениях. Даже в армейских ботинках его шаг был изящен.

Сменяя Смирнова на ночном дневальстве, я увидел, как он, пританцовывая, поднял крышку питьевого бачка и, держа ее, как драгоценную вазу, бесшумно заскользил по щелястому полу. Встретив мой удивленный взгляд, объяснил: "Я — балетмейстер". Остаток ночи мы проговорили о балете "Лебединое озеро", который мне довелось видеть с галерки Большого театра. Что касается Цитовича, то и с ним разговор завязался на ночном бдении. Я проспал, опоздал на смену и ждал упреков напарника. Но тот стоял под тусклой лампочкой, держа у глаз небольшой томик. На обложке был немецкий заголовок. Я стал извиняться, Цитович кивнул и продолжал читать.

— Что, интересно?

— Очень.

— Кто написал?

— Гейне. "Путешествие по Гарцу".

— Так вы свободно по-немецки читаете?

— Пожалуй, так.

— Когда научились?

— Видите ли, городок у нас небольшой. Точнее — местечко. В школе часто отсутствовали преподаватели иностранного языка. Пришлось заменять. Ну и освоил потихоньку, сначала немецкий, а через несколько лет и английский, но его знаю похуже. Жаль, нет с собой английского словаря. Драпали, не до него было.

"Да, силен Цитович! Мне и один немецкий толком не удалось освоить, хотя преподавала природная немка, так и не пробился через артикли и плюсквамперфект".

— Здорово! — восхитился я. — Два языка. Способности большие.

— Не думаю. В нашем местечке не только белорусы, но и русские, поляки, евреи, литовцы... Росли вместе, с детства разную речь и усвоил. Заговорил.

— Ну ладно, немецкий. Пригодится. С фрицами воюем. Хенде хох. А английский при чем?

— Все в жизни при чем. Может, с англичанами или американцами встретимся. — Его обычно сероватое лицо неожиданно порозовело. — Знаете ли, есть совершенно замечательный язык, простой, доступный каждому. На нем может разговаривать весь мир. Знаете о таком?

— Как же, что я про эсперанто не слышал?

В предвоенные годы этот придуманный язык вызывал немалый интерес. Как же, вместо десятков выучи один и порядок. Спустя десятилетия узнал, что среди эсперантистов был и знаменитый разведчик Николай Кузнецов.

Положив на тумбочку немецкий томик, Цитович принялся мне объяснять, как устроен этот международный язык. При этом его рокочущий бас сменился нежным журчанием. Как потом заметил наш джазист Лапкин, у неуклюжего гиганта было два голоса: один, как барабан, а другой, как флейта.

— Поймите, этот язык гениально прост. Берутся корни слов из распространенных языков и к ним присоединяются аффиксы... Ну, различные суффиксы и префиксы...

Внезапно наш урок был прерван. Дверь барака распахнулась, и перед нами предстал майор Фитолин. Мы еще не знали о том, что он в предутренние часы совершает вылазки да еще, случается, подслушивает под дверью. Я и Цитович замерли в неловких позах. Последний, как действующий дневальный, забормотал:

— Э-э... товарищ... э-э... капитан...

— Майор, — просуфлировал я.

— Да, конечно, майор... Дневальный курсант... — его заклинило.

На смуглом лице Фитолина появилась нежная улыбка:

— Что же это вы, интеллигентный человек, не можете усвоить воинских званий, ай-яй-яй! Изволите на посту книжечки почитывать. Романчики. — Майор взял томик Гейне. — Не-мец-кая. А в русском запинаетесь, господин... как вас? Эс-пе-ранто.

Слушая тогда Фитолина, я подумал, что этот тыловой щеголь так и ускользнет от фронта. Спустя несколько лет после войны убедился, что был прав. А в ту ночь неудавшегося нашего дневальства майор наказал книгочея нарядами вне очереди: кажется, десяток дней мыть в казарме полы. Цитович, надо сказать, ловко управлялся с мокрой тряпкой: помог холостяцкий опыт. Но вскоре его помиловали. В полночь нас подняли по тревоге и повели на станцию разгружать эшелоны с мукой. Кряхтя и постанывая, мы взваливали на спину тяжеленные кули и, пошатываясь на сходнях, тащили в пакгауз. А курсант Эсперанто — так в роте стали называть нашего полиглота — играючи поднимал мешки, на одну нашу ходку приходились его две.

Через несколько дней Цитович снова отличился. Настала пора тактических учений с боевой стрельбой, пришлось много и трудно шагать с полной выкладкой, а

пулеметы тащить на себе: кто станок, кто тело "максима". Иные выдыхались, часто просили подмены, а Цитович как положил на плечо увесистое тело пулемета, так и нес без передыху. Заметив, что старшина тяжело шагает под грузом, перенял его и доставил к самому огневому рубежу.

В роте зауважали неуклюжего богатыря и прозвище Эсперанто произносили ласково. Однако старшина Голуб, очевидно, затаил обиду и зависть к нему: как же так, старый служака уступает необученному штатскому — и при случае попытался отыграться. Голуб заслуженно считался большим знатоком пулемета "максим", учил нас сборке и разборке, правилам стрельбы и нередко экзаменовал. Однажды, объяснив очень сложные задержки пулемета при стрельбе и способы их устранения, он сразу же потребовал повторить:

— Ну-ка, курсант Цитович, пятнадцать задержек. Прошу к пулемету.

Каково же было его изумление, когда учитель из белорусского местечка, необстрелянный шпак, отрапортовал их одну за другой и показал, как устранять.

— Вот это да, товарищ... Эсперанто!

К выпуску из училища все наше начальство, кроме Фитолина, числило Цитовича в передовиках, и ему в числе немногих досрочно было присвоено звание лейтенанта. Лишь Фитолин процедил сквозь зубы: "Вот и Эсперанто в командиры испекли".

В нашем взводе любили переиначивать на свой лад известные песни. И после выпускных экзаменов, когда на радостях разжились бутылкой местного первача, бывший джазист Лапкин запел на мотив "Прощай, любимый город":

— Прощай, курсант Цитович, ты станешь лейтенантом...

На фронт мы с ним ехали вместе: попали в одну пулеметную роту. Когда эшелон подъезжал к Воронежу, появились немецкие самолеты. Взвод Цитовича располагался на платформе. Крупнокалиберные пулеметы смотрели в небо. Бомбардировщики шли тройками, первая наклонилась и с посвистом ринулась к эшелону. Цитович выпрямился, напружинился и грозным голосом закричал:

— Взво-од! — И тут же споткнулся: — Э-э... По пулемету!.. Тьфу... по дзоту... По самолету... Огонь, огонь!

Первая тройка пикировщиков успела отбомбиться, к счастью для нас неудачно, остальные, встретив огонь, отвернули. Цитович смеялся:

— Эх я, Эсперанто!..

Второй налет принес удачу: один "юнкерс" был подбит, ушел, снижаясь и дымя.

Прошла неделя. Рота заняла огневые позиции, прикрывая с воздуха танковый батальон. Мы успели отрыть окопы для пулеметов и личного состава. Ночью немецкие самолеты забросали окрестности листовками. Полковой особист, уполномоченный СМЕРШа, приказал собрать вражескую пропаганду и, ни в коем случае не читая, сдать ему. Однако лейтенант Цитович, уютно устроившись на бортике окопа, разложил вражеские листовки на бруствере и принялся за чтение. Проходя мимо, я его предостерег:

— Цитович, укройтесь в окопе и сожгите эту дрянь.

— Что вы, кругом такая тишина... Да и весьма любопытно вникнуть в эту писанину.

Действительно, было тихо. Лишь позднее, повоевав, я понял, что за такой чуткой тишиной следует артналет или артподготовка, когда грохот закладывает уши и даже визга осколков не слышно.

— Вот я вам прочту, — продолжал Эсперанто. — Насладитесь их невежеством. Они полагают, что наши женщины, которые тут окопы рыли, будут в восторге от их прихода: "Певай, Катюшья, плясай, Марьюшья". Каково! Или вот пропуск для перехода в плен, на одной стороне по-русски, на другой — по-немецки. И чего только не обещают: и вкусную еду, и выпивку, и свободу, и неприкосновенность. Ну какой идиот этому поверит...

Я хотел сказать, что и такие могут найтись: ведь в наших котелках негусто, но раздумал.

— Ох, Цитович, дойдет до особиста...

— Ах, надоело. Надо же понять, что у фашистов за душой, — и уткнулся в листовку.

Только я дошел до своего окопа, как грянул орудийный выстрел, и за ним близкий разрыв. Что это? Случайный? Пристрелка? Восстановившуюся тишину прорезал крик:

— Лейтенанта... Нашего лейтенанта!

Могучее тело Цитовича разметалось у окопа, кровь заливала голову, струилась по немецким листовкам, уходила в песок. То был первый снаряд, упавший на позиции нашей роты. И первая наша жертва. Осколок ударил в висок учителя из белорусского местечка, человека чистой души и неуемной любознательности. Полиглота, который еще изучил придуманный для всего человечества язык. Эсперанто, Эсперанто, он верил, что этот язык принесет планете мир и дружбу. Совершится ли это?

КАК Я ПОКУШАЛСЯ НА СТАЛИНА

Рота спешилась, машины оставили на обочине дороги и замаскировали. А мы — около сотни красноармейцев, четверо взводных, старшина и я, девятнадцатилетний командир роты в необмявшейся шинели, с "кубарями", вырезанными из консервной банки, — строем втянулись в лес. С неделю назад мы получили новое оружие и сутки очищали его от заводской смазки под недреманным оком полкового особиста. То были пулеметы ДШК (Дегтярев, Шпагин, крупнокалиберный). Мне они представлялись неодолимой силой, способной без промаха поражать наземные и воздушные цели. Вороненые стволы в ребристых кольцах, патроны, точно маленькие снаряды, стальные щиты: ни дать ни взять — легкие орудия. Правда, тащить их на плечах и загорбках оказалось тяжеленько.

Походный строй двинулся по лесной дороге. И лишь прошагал с полчаса, как изменились лица моих подчиненных: в казарме-то были совсем другие люди. Наше временное жилье находилось в недостроенном доме. Когда полстолетия спустя проезжаю станцию Сетунь, давно вошедшую в границы Москвы, то вижу это постаревшее здание. Его нижний этаж предназначался для магазина, но в сорок втором году в нем на скорую руку устроили казарму: сколотили двухъярусные нары,

фанерой огородили глухие уголки, назвав их канцеляриями и каптерками. В помещении было тускло и душно, и солдатские лица там были скучны, угрюмы. Но, боже мой, как же быстро посвежели, зарумянились, повеселели они в лесу!

Рота вышла на развилку. Лесную дорогу пересекала широкая, утоптанная тропа. Строй остановился. Я объявил привал. Меня одолевали сомнения. Единственная в полку топокарта этого района была у начальника штаба, по ней он и ставил задачу.

—Следите по карте и срисовывайте, — начштаба, полнокровный, грузноватый капитан, повел карандашным жалом по извилистым линиям. — Вот шоссе... Тут поворот в лес...

Я торопливо зарисовывал маршрут. Мне мешал сосредоточиться Аксютич, командир первого взвода. Он подавлял меня громоздкостью. Все в нем было чрезмерно: рост, плечи, ноги, нос... Он нависал надо мной, и я плохо понял маршрут. И вот в лесу испытал неуверенность: куда же поворачивать? Признаться в этом не посмел и решительно приказал повернуть налево.

— Н-но, товарищ лейтенант, идти следует в противоположном направлении, — возразил Аксютич.

— Влево!

— Как ротный сказал, так и будет, — поддержал меня старшина.

Марш продолжался, были еще два-три поворота, и я не задумываясь указывал путь. Так мы и продвигались, пока не вышли на просторную поляну с пожелтевшей стерней. Здесь было привольно и тихо.

— Как для ротного ученья? — спросил я старшину.

— На ять! — ответил он и поднял большой палец.

...И началось. Над поляной загремели голоса:

— Ориентир номер три — группа бомбардировщиков!

— Ориентир номер два — до роты пехоты противника!

— По самолетам...

— По пехоте...

— Огонь!

— Огонь!

Конечно, никаких выстрелов не было, но буйная разноголосица накрыла поляну. В пылу бескровного сражения новоиспеченные командиры путались,то и дело кто-то из сержантов, указывая в небо, кричал: "По пулемету!", а когда целили во вражеское орудие, то возглашал: "По самолету!".

— Огонь! Огонь!

Я стоял у первого взвода,когда подбежал старшина:

— Поглядите, товарищ лейтенант...

На краю поляны среди пожелтевшего густого кустарника стоял незнакомый высокого роста командир. Появление его было странным, и вид необычным. Отлично пошитая командирская шинель из мягкого довоенного сукна плотно облегала ладно сбитую фигуру. Фуражка щегольская, с крутым блестящим козырьком и чер-

ным бархатным околышем. Хромовые сапоги начищены до зеркального блеска. Как только не запылил на проселочной дороге! Даже наш командир полка не был так богато экипирован...Что такое? Я не сразу понял его жест. Он шевелил ладонью, похоже, манил меня к себе. Точно — подманивал, дескать, иди, иди сюда...Ну, уж это чересчур! Под моим началом почти сотня бойцов и командиров... Оскорбительно это! Я почувствовал, что краснею.

— Надо идти, товарищ лейтенант, — громко шепнул старшина. — Надо. Он же майор.

В петлицах командира пунцово светились по две шпалы, не чета моим жестяным "кубарям". Между тем пулеметные расчеты еще воевали: "Огонь! Огонь!". По мере того,как я медленно, сохраняя достоинство, приближался к незваному гостю, шум стихал. Лишь Аксютич командовал вдохновенно:

— По огневой точке противника... Дистанция восемьсот... Прицел...

Я на ходу обернулся: четыре вороненых ствола смотрели на богато экипированного командира. Отдал ему честь, вежливо, но не подобострастно, как наставляли в училище. Однако моя выправка не произвела на него впечатления; он спросил:

— Ты кто такой?

"Почему на "ты", мы же не пили с ним на брудершафт?" — хотелось повторить фразу элегантного капитана Свечина, учившего нас строевой подготовке. Но что-то остановило. Может, то, что за спиной майора, прикрываясь стволами деревьев, стояли бойцы и держали автоматы на изготовку. Автоматы! Такое оружие я в руках не держал, в нашем училище военного времени довольствовались трехлинейками времен первой мировой войны.

— Ну, кто ты такой?

Лучший ответ на грубость, учил нас Свечин, — вежливость.

— Командир роты крупнокалиберных пулеметов лейтенант Романовский.

— Вижу, что пулеметной. А откуда?

Не мог же я неизвестно кому назвать номер полка. Быстро смекнул, что нам сообщили номер полевой почты нашей части, которая будет на фронте.

— Полевая почта номер...

— Ишь какой секретный! А что тут делаешь?

Вежливость и только вежливость!

— Товарищ майор, рота проводит тактические учения с элементами огневой подготовки.

— Элементы, значит, огневой. Ну, ну... А калибр какой твоих пулеметов?

— Калибр...

Нет уж, данные нового оружия называть не буду, не буду и все.

— Чего молчишь?

От обиды и волнения не сразу разглядел его лицо, а теперь, рассмотрев, как-то успокоился. Наверное, и к грубости привыкают. В лице его была уверенность, си-

ла — широкие скулы, крепкий подбородок. По нему разливалась давняя, укоренившаяся усталость. Вот и под глазами черные полукружья...

— Ладно, сам вижу. А на какое расстояние бьют? Метров на тысячу?

— Больше.

— Какую броню пробивают?

— Легкий танк, бронетранспортер.

— Боеприпасы с собой?

— Не выдавали, — значит, нет.

— Могли и сами прихватить. Проверял? — Глаза его сузились и скользнули по лицам бойцов. — У командиров личное оружие заряжено?

Я опять почувствовал, что краснею. Пистолетов нам еще не выдавали. Только у командира полка был ТТ да у начфина старый наган.

— Нету у нас ни пистолетов, ни наганов, ничего нету! — вдруг зло крикнул лейтенант Аксютич. — Хочешь, проверь! — и стал расстегивать кобуру. — У меня там черняшки ломоть...

Майор не обратил внимания на вызывающее лейтенантское "ты" и черняшку, а подошел ко мне вплотную. За ним, точно привязанные, шагнули автоматчики. Теперь мы стояли лицом к лицу, я отчетливо видел покрасневшие белки его глаз. Толстые губы зашевелились, и я услышал отчетливое:

— Ты вот что...Уходи, уходи отсюда, лейтенант.Сейчас же уводи всех.

Меня словно сковала эта неожиданная речь, особо доверительный тон ее. Я медлил.

— Ну! — сказал он грозно. — Иди, лейтенант, иди-и-и...

Уразумел ли я до конца значение этих слов? Вряд ли. Скорее ощутил их силу и необходимость. Кажется, механически кивнул головой. Из памяти вдруг выскочили все команды. Пока я собирался с мыслями, решение принял старшина. Зазвенел его голос:

— Рота! Разобрать оружие. В колонну становись!

Топот ног. Тихие голоса. И еще в затылок брошенные мне слова майора:

— Быстрей уходи, лейтенант, уходи!

Какими же родными показались мне казарма и жалкая клетушка ротной канцелярии. Присев на патронный ящик, я задумался. Что же, собственно, произошло? Меня обидели, оскорбили перед подчиненными, со мной, командиром роты, обошлись как с мальчишкой, и я не смог достойно ответить. А ведь с этими людьми, свидетелями моего унижения, мне скоро придется воевать... Да, но ведь этот майор был не только груб, но... как будто заботлив. Разве он не желал мне добра: "Иди, лейтенант, иди"? Вот и пойми...

Я не успел додумать, как в мою клетушку вошли старшина и Аксютич. Старшина сказал непривычно торжественно, обращаясь ко мне по должности:

— Товарищ командир роты, вы сходите к начштаба и доложите.

Наверное, ему хотелось подчеркнуть мое служебное положение, ведь в роте пять лейтенантов и только один из них ротный.

— Борис Петрович, — поддержал его Аксютич, — вам непременно надо объясниться. Так будет лучше.

Они тоже учили меня и желали добра. Конечно, надо идти докладывать.

Начальник штаба взглянул на часы и поморщился:

— Что-то вы быстро отстрелялись, Романовский, переутомились, видать?

— Нет, так уж получилось...

— Как это "получилось"? Нуте-ка, докладывайте.

Тщательно подбирая слова, стараясь не вдаваться в подробности, я рассказал, как было дело. И хотя даже не намекнул на грубость незнакомого командира, начштаба почувствовал мою обиду:

— Он что... грубо говорил?

— Д-да...

Капитан подумал минуту-другую, повернулся к сейфу и достал топокарту.

— Нуте-ка, покажите, где это случилось.

Дрожащим пальцем повел я по извилинам шоссе, лесной дороги и остановился на развилке. И тотчас ужаснулся: перепутал, конечно же, перепутал. Аксютич был прав. Как-то похолодело в животе.

— В-вот сюда и дальше... Здесь эт-та поляна.

— Так.В трех соснах заблудились. Там только вас и ждали, да-а... — Лицо начштаба пошло белыми пятнами. — Черти вас туда понесли. Так, та-ак... Значит, говорите, что из лесу вышел майор? Уверены, именно майор?

— Так точно, по две шпалы в петлицах.

— Н-да, у некоторых старших лейтенантов тоже бывает по две шпалы.

Тут я ничего не понял: у кого и зачем бывают чужие знаки отличия. Может, то был самозванец?

— Вы выйдите и подождите в коридоре, — строго приказал капитан. — Скоро придет командир полка, разберется. Между прочим, у него тоже две шпалы. Но он-то точно майор. Ждите.

Ничего хорошего ожидание мне не сулило. Ясно, что завел роту к черту на рога, нарвался на какой-то закрытый объект, к которому и приближаться не следовало. Уж, конечно, ротным командиром мне не быть, да и взводным, поди, не быть... Как пить дать.Да и бог с ним, какой я еще ротный... Тут в голову влетела фраза, услышанная на вокзале от хмельного лейтенанта-фронтовика: "Дальше фронта не пошлют, меньше взвода не дадут". Бодрился, но бодрость не приходила.

— Вы кого-то ждете? — спросил подошедший командир полка.

— Вас, товарищ майор.

— Заходите.

— Ну вот и доложите лично комполка, что с вами произошло, — в голосе начштаба звенел металл, а белые пятна так и не исчезли с его лица.

Я повторил рассказ и показал на топокарте место, где проводил учения. Майор и капитан выразительно переглянулись. Я ждал немедленного возмездия. Но оба моих начальника долго молчали, причем в отличие от начштаба командир не изменился в лице, лишь медленно зашагал по комнате. Его взгляд мне перехватить не

удалось, но заметил, что в уголках его губ вдруг вспыхнула усмешка. Точно такая у него была с неделю назад, когда я проводил перед ним ротный строй, конечно же, шаткий и валкий, а сам изо всех сил выпячивал грудь и печатал шаг. Ну как тут не улыбнешься!

— Этот майор спросил, из какой вы части?

— Да, но я назвал только полевую почту.

— Ну, удружил. Найти — раз плюнуть. А вашу фамилию?

— Нет.

— Так вот он и сказал: "Иди, лейтенант!"

— Точно так.

— Надо бы сообщить обо всем уполномоченному особого отдела, — предложил начальник штаба.

— Н-нет, не надо. Как-нибудь обойдется, — ответил майор. — По-до-ждем. А вы что, — обратился он ко мне, — к наказанию готовитесь? Небось прикинули: дальше фронта не пошлют, меньше взвода не дадут? Конечно, прикинули. Так вот, могут вам дать куда как поменьше взвода и послать значительно дальше. Ясно? Ах, да нет, наверное, не ясно, — и повернулся к капитану.

— Подождем, начальник штаба, рискнем. Подождем!

Ждать пришлось не так уж долго, недели три, и все это время нервы у меня были как натянутые струны: вот-вот что-то свалится. Но сыграли "отбой-поход", погрузились в эшелоны и, к величайшей моей, радости покатили на фронт. И все-таки некоторое время одолевало меня беспокойство, но в боях явились другие тревоги и опасности. До старого ли было? Полк поредел. Командир полка и начальник штаба погибли от одной бомбы под Понырями. Аксютича срезала пулеметная очередь под Севском. Конечно же, со временем я узнал, какие именно старшие лейтенанты носят знаки отличия на два ранга выше, видимо, для пущего авторитета.

Возможные же последствия того шумного учения на подмосковной поляне я отчетливо представил себе лишь много лет спустя. Тогда в газетах, журналах, на телевидении появились подробности о жизни и быте Сталина. Рассказали народу о его так называемой Ближней даче, где он провел тяжкие дни после вторжения и бурного наступления немцев и потом еще жил подолгу, тщательно оберегаемый неусыпной охраной. Вот куда занесло меня, желторотого птенца-лейтенанта.

Как и многие фронтовики, я нередко испытывал страх, который сковывал сердце, когда опасность уже миновала. Но самый большой и грозный запоздалый ужас я испытал через годы и годы, поняв, какие последствия могло принести то шумное учение под боком у Ближней. Шутка сказать, шестнадцать вороненых стволов глядели на тайное жилище Верховного Главнокомандующего, Председателя Государственного Комитета Обороны. Великого вождя народов! Стоило тому чекистскому майору доложить куда следует, вероятно, к своей немалой выгоде, и покатился бы я туда, куда Макар телят не гонял, а скорее бы обратился в лагерную пыль. А вот не доложил... Промолчал.

"Иди, лейтенант, иди-и!" — эти слова и посейчас звучат во мне...

ЧАЙ, САХАР, БЕЛЫЙ ХЛЕБ

Чемодан меня выручил, без него я бы не довез до полка московские подарки. Я обежал в столице дюжину домов, и в каждом мне что-то непременно передавали. А брать было стыдно, люди отрывали от себя нередко последний кусок, да еще самый дорогой и сладкий. Но не взять было невозможно. Тщетно я их убеждал, что на фронте мы живем хорошо, что нас превосходно снабжают, только хлеба получаем по 800 граммов в день, да и приварок богатый. Я привирал, случайное выдавая за обыденное. Вспомнив про бесхозного борова, которым разжились в наступлении, рассказывал голодным землякам, как мы здоровенными кусками лопали вареную свинину. Похвастался, что среди трофеев попадалась даже копченая колбаса. Впрочем, и сам был не рад, когда рассказал про это яство пожилой маме нашего комбата-4. Она побледнела и дрожащим голосом, однако сохраняющим москворецкую отчетливость, строго произнесла:" Накажите моему сыну, чтобы ни при каких обстоятельствах не хватал бы немецкие продукты. Разве он не понимает, что продукты могут быть отравленными?!"

Из того многого, что надарили дорогим воинам, моим однополчанам, самым ценным оказалась бутылка спирта, ее передал дедушка полкового разведчика сержанта Пищулина и при этом лукаво улыбнулся: мол, сам солдатом был... Конфеты в обертках и без них, печенье, вязаные носки и варежки, белье и, конечно, чай, папиросы и табак. Поскольку я заходил ненадолго, хозяева не только подчищали свои скромные запасы, отоваренные по карточкам, но и одалживали у соседей, что удавалось. Добывали сахар, даже кусковой, который получали редко, а чаще желтоватый и сыроватый песок, даже настоящий чай — бог знает, где его давали, говорили, в особых распределителях. Существовали такие литерные столовые и магазины — "литер "А" и литер "Б", слышал шутку о ЛитерАторах и ЛитерБеторах. Получил я и белый хлеб, годами невиданный на фронте, и даже четыре нежные булочки с хрустящей золотистой корочкой, которые называли французскими.

Сопротивляться было бесполезно, я с благодарностью брал все, что давали, и видел сияющие глаза дарителей. Свертки умножались, переполняли мой "сидор", а также авоську, что передала мама комбата. И все равно у меня были заняты обе руки, и я рисковал за неотдание чести провести один из трех отпущенных мне дней в московской комендатуре, где меня гоняли бы по плацу, заново обучая столь необходимому на войне строевому шагу. Но этого не случилось: предусмотрительный дедушка полкового разведчика, кряхтя, забрался на антресоли в прихожей коммунальной квартиры и из их глубины добыл огромных размеров фанерный чемодан, покрытый толстым слоем пыли. Несомненно, он служил ему в годы гражданской, а то и первой мировой войны, но был еще крепок и мог послужить и в эту войну. В него свободно вошли все подарки, и я успокоился. Зато при посадке в поезд с ним было немало хлопот. На Белорусском вокзале состав, следовавший до Минска, брали штурмом, и мои шансы пробиться казались ничтожными. Но дедушкин чемодан и тут сослужил мне службу. Когда, поднапрягшись, я поднял его

над головой и шагнул к ступеням вагона, то вдруг рвущиеся, протискивающиеся пассажиры на миг остановились и изумленно воззрились на фанерную громадину. Этого оказалось достаточно, чтобы я проник в тамбур.

Все нижние, все верхние и самые верхние — багажные места оказались заняты сидящими впритирку людьми, проход был тоже заполнен, и я с чемоданом, который, экономя площадь, поставил на попа, застыл, стиснутый со всех сторон. Размышляя, как бы устроиться поудобнее, я пытался взобраться на чемодан, но он предостерегающе заскрипел. Пришлось сползти. Так и стоял час за часом, как в московском трамвае в часы пик.

Нынешнему читателю, быть может, это покажется невероятным, но поверьте, что в поездах военного времени люди находились нередко и в менее комфортных положениях. В тесноте — не в обиде, да и сама теснота каким-то чудесным образом слабела, отпуская людей, которые притираясь друг к другу, располагались ловчее, укладистее, что ли. Со временем я смог поворачиваться, менять положение, переступать с ноги на ногу и, конечно же, размышлять.

Поездку мою в личном плане нельзя было признать удачной. Я не повидал ни мать, ни отца. Мама с сестрой были в эвакуации на Урале, а отец после тяжелого ранения лежал в далеком сибирском госпитале. Я дважды переночевал в пустой нежилой комнате, в которой даже мебель, привычная с детства, показалась чужой, наверное, из-за спрессованного слоя пыли. Да, вещи были на месте, а родных людей не было. Грустно сидеть одному за семейным столом и жевать ломоть от пайковой буханки... Но выпала мне удача. Из разных мест города, где только ни попадался работающий телефон-автомат, я звонил Лиде. Она служила в батальоне МПВО санинструктором. Звонил, — и все неудачно, — то дежурила в госпитале, то была на занятиях. Но незадолго до отъезда мне повезло, она подошла к телефону. По ее шепоту я понял, что вокруг люди. Но именно шепотом и сказала она дорогие слова: люблю и жду, люблю и жду.

В поезде достало времени, чтобы много раз мысленно повторить эти слова и с ними задремать, опустившись на пол и обнимая заветный чемодан.

Выйдя на минский перрон, я обомлел: целые кварталы города, вернее их развалины, просматривались насквозь. Обломки стен, провалы перекрытий и крыш,горы кирпича, бетонного крошева, почернелые остовы деревянных домов, кучи угля и пепла... И мне захотелось поскорее вернуться в полк. Но найти его, даже всю нашу танковую армию, оказалось непросто.

В комендатуре узнал, что на старом месте ее нет, и мне посоветовали направиться в расположение армейского тыла, куда прибывают боеприпасы и горючее, а там уж подскажут, как добраться и до полка. И надо поспешить, пока не начали перешивать железнодорожную колею с немецкой на нашу. Садиться в первый же товарняк и дуть на юго-запад. Цель моего путешествия находилась на одной из небольших станций на границе Западной Белоруссии с Западной Украиной. Где-то там и располагались армейские тылы. Мне повезло, поезд стоял на путях. Я спросил машиниста, правильно ли еду, он кивнул головой: "Садись, хлопец. Довезу, а там еще пересядешь на рабочий поезд".

В товарном вагоне, на степлившемся песке я безответственно заснул, но никто не обидел меня и не покусился на мой чемодан: вагоны с балластом мало кого интересовали. К вечеру я высадился на станции и узнал, что рабочий поезд пойдет утром. Где-то надо было переночевать. Неподалеку от станции начинался поселок, десятка три домов, и я решил попытать счастья.

Трое суток в родном городе в положении дорогого гостя, обласканного в каждом доме, ночлег на своей кровати, телефонное признание Лиды — все это как бы оторвало меня от фронтовой настороженности, и я было забыл, где нахожусь. Но первый же человек, открывший мне дверь, его бегающие глаза и бормотанье, что пану у нас не добже будет, что в доме тесно и положить пана-товарища негде, вернули мою собранность и бдительность. Тотчас вспомнился недавний вечер по дороге в Москву. Поездка наша в столицу была на попутных. Как еще пошутил танкист, мой товарищ по краткосрочному отпуску: "Поедем на перекладных". От польского городка Минска-Мазовецкого, где стояла на отдыхе наша часть, подбросили на полковой полуторке до шоссе, а затем мы принялись голосовать. Случились две попутки, а к вечеру удача нам изменила. Редкие военные машины шли все не туда, куда нам нужно, а потом разъезженная полевая дорога совсем опустела. Быстро хмурился осенний вечер, но мы не теряли надежды. Прошел час, другой... К нам подошел худой старик в разбитых немецких сапогах, в выгоревшей русской пилотке и спросил: "Далеко ли собрались, товарищи охвицеры?". — "В Москву!" — лихо ответил танкист. "То добре, добре, — не удивился старик. — И что же, так и станете чекать, до ночи?". — "И ночью будем". — "Ну-ну". Старик приблизился к нам и тихо промолвил: "Вот что, хлопчики, ночью тут не сходно. Балуют... Стреляют здесь вашего брата". — "Это в тылу-то?" — удивился я. "Так, выходит, тыл, да не совсем. Бабахнут — и нету. А вам, поди, еще на войне воевать". Мы согласились: воевать предстояло еще долго. "Кто же тут постреливает?". — "Бог их знает. Говорят, бандеры... Может, партизаны не замирившиеся, а то и невесть кто". — "Бандиты, стало быть?". — "Может, так, может, не так, только поберечься надо, а то пропадете ни за понюх табаку".

Мы согласились. Совсем глупо, чтобы тебя подстрелили по дороге к дому, в котором не бывал три года. Старик указал на стога соломы:" Сховайтесь", и мы забрались в один из них. Спали по очереди. Ближе к утру загремели винтовочные выстрелы, забил "шмайссер". Действительно, война еще не оставила польские, украинские, белорусские поля и леса, хутора и вески... Утром нам подфартило: шел "студебеккер" с прицепом прямехонько в подмосковную Кубинку.

Возвращаясь из столицы, я вспомнил предостережение старика и не стал настаивать на ночлеге у хозяина с бегающими глазами, а зашагал по пристанционному поселку. Искал хату победнее, думалось, что владельцы ее добрее. Но все дома были на одно лицо — под соломенной кровлей, с потрескавшимися, залатанными стеклами в окнах, покосившимися плетнями. Зашел наугад, и хозяева сразу мне понравились. Наверное, существуют объяснения мгновенной приязни: в облике встреченных, в выражении их лиц, обстановке жилья... Мне приглянулось их спокойствие, несуетливость. Мужчина с седыми висками, с культей, которую обнима-

ла завязанная брючина; женщина с ярко-голубыми глазами на округлом курносом лице, встретив меня, сразу пропустили в горницу. Я объяснил, что прошусь только переночевать и могу устроиться где придется, лучше на полу...

Они согласно закивали головами, ничего не сказав о скромности и бедности своего жилья. Я снял шинель, присел на табуретку и огляделся. Обстановка? Какая уж тут обстановка: самодельный стол с чисто выскобленной столешницей, широкие лавки, табуретки, потемневший от времени сундук и полки с посудой: армейские котелки и кружки, чайник; виднелась кухня — с чугуном на загнетке. Как это я сразу не заметил ребятишек, утварь углядел, а их нет! Они занимали так мало места, были тихие-тихие: два мальчика лет шести и восьми и девчушка постарше. Располагались они неприметно в уголке за сундуком. Согнувшись, что-то перебирали на обрывке плащ-палатки, наверное, зерно или крупу. Их головы повернулись ко мне, одинаково светлые, а глаза обежали меня и остановились на моем величественном чемодане. Поди, такой фанерной громадины никогда и не встречали.

Подумав о нем, я почувствовал голод. Эх, перекусить и завалиться спать. Чего же время терять? Достал ключик, наклонился над чемоданом, открыл его и сразу почувствовал, именно почувствовал, как вздрогнули ребятишки. Обернулся — ребячьи головы мигом склонились над плащ-палаткой. Между тем родители деликатно вышли в кухню.

Ребячьи головы снова поднялись, а их глаза, как магнитом, притянуло к содержимому чемодана. Поверх всего между пакетами с сахаром и чаем лежали буханки белого хлеба и булки с золотистой корочкой, французские. Конечно, здешние ребятишки не слыхали этого названия и никогда не видели таких булок.

Лично мне среди редкостных припасов принадлежали кульки с пайковым сахаром, крупой, остистым чаем, пачка табака и две буханки солдатского хлеба, все это было получено на продпункте Белорусского вокзала. Что касается французских булочек, то вручавшая их мне мама полкового комбата сказала: "Две сыну, две вам, полакомитесь в дороге". — "Ну что вы, все довезу", — заверил я, представляя, какими неимоверными усилиями она добыла эти полузабытые хлебцы. За сутки они подсохли, но все еще были прекрасны.

Пайковый хлеб, сахар и чай я выложил на голую столешницу, пригласил хозяев и детей к столу. Взрослые стали отказываться, дети не сдвинулись с места, но взгляды их перебегали с искрящихся рубленых кусков рафинада на лежащие в чемодане неведомые им булки. Я принялся колоть сахар в ладони рукояткой ножа, как это делал мой отец, и снова пригласил всех к столу. Девочка окликнула родителей:

— Тату, мамо?

Это был вопрос: можно ли? И тогда хозяева подошли к столу, а за ними и дети.

— Дзякую, дзякую, — промолвила женщина. — Но позвольте воду вскипятить.

Жар в печке еще не остыл, и вскоре хозяйка в большом медном чайнике, отдраенном до флотского блеска, заварила чай и расставила кружки.

Как сейчас вижу это вечернее чаепитие. Чинно и покойно расположившуюся за столом семью. Смущение старших, они пили вприкуску, глотая чай маленькими вежливыми глотками, откусывали крохотные кусочки рафинада. Ребята поначалу торопились, обжигались, и я, вспомнив детство, сказал им:

— Дуйте, дуйте, ветер-то под носом.

Так говорила бабушка. О ней я подумал еще раз, когда семейство втянулось в трапезу, и дети, освоившись, стали выразительно поглядывать на покоившиеся в открытом чемодане белые булочки. Я понял их и, достав две, протянул девочке, она поблагодарила и попросила:

—Тату...

Отец разрезал булки, разделил поровну, и дети медленно жевали, скорее, сосали, как конфеты, растягивая удовольствие. Тогда я и вспомнил бабушкино присловье, выражающее высшую степень удовольствия и удовлетворения: "Чай, сахар, белый хлеб". В тот час они и посетили хату пристанционного поселка.

Хозяева предложили мне переночевать на широкой лавке, очевидно, супружеском ложе. Я поблагодарил. Ребятишки натаскали соломы, женщина покрыла ее пестрядинным половичком, и, сопровождаемый ласковыми взглядами детей, я снял сапоги, ослабил ремень с кобурой и пистолетом, улегся и быстро заснул. Только одна мысль мелькнула у меня: "Сколько же надо булок, чтобы досыта накормить ребятишек, испытавших войну".

Спал я долго, и сон мой был глубок. Проснувшись поздним утром, оглядел комнату и сразу вспомнил: вечер, детишек, чаепитие. Мой чемодан стоял на месте. Дети ждали моего пробуждения, но почему-то в кухне, наверное, мать наказала не тревожить гостя. Когда я встал, старшая — девочка поздоровалась и пожелала мне доброго утра. Но почему-то голос ее дрожал, а в глазах застыл испуг. Может, плохо спала. Хозяина не было. Хозяйка поставила на стол чайник, кружки, я нарезал хлеб, наколол сахар. Мы позавтракали. Я поблагодарил гостеприимных людей. Дети и мать — поблагодарили гостя. Хозяйка проводила меня до порога поклонилась и вдруг, изменившись в лице, боязливо, тревожно зашептала:

— Пан офицер, пан офицер...

— Что такое? — удивился я.

— Ох, счастлив ваш Бог... Послухайте. Тильки поклянитесь — никому ни слова.

— Хорошо, — усмехнулся я. — Клянусь.

А сам подумал: ну что тут могло случиться? Пустяк какой-нибудь. Но оказалось, не пустяк.

Торопливо, глотая слова, она рассказала, что ночью приходили люди из леса.

— Какие люди? — спросил я, понимая, конечно, что то могли быть бандеровцы, немцы, просто бандиты...

— Плохие люди. Счастлив ваш Бог.

Я замер, испытав не раз изведанное на войне чувство запоздалого страха. Опасность миновала, а оно возьмет и накатит. Я вопросительно поглядел на хозяйку:

— Что же?

Она не сразу ответила:

— Они... Они хотели зарезать вас... Во сне... Таким штыком-ножом...

Да, не надо обладать богатым воображением, чтобы представить себе вооруженных людей, вышедших из леса, которые зачем-то вошли в дом... Может, они даже чем-то были связаны с хозяином. И эти плохие люди, как сказала женщина, увидели безмятежно спящего русского, советского офицера. Стрелять им было не расчет: шум, рядом станция, охрана... А вот полоснуть ножом по горлу или вонзить его в сердце — в самый раз.

Даром, что повоевавший, обстрелянный, я содрогнулся и схватился за кобуру. Странно, мой ТТ был на месте. Стараясь быть спокойным, спросил:

— Что же помешало им? Или — кто?

— Чоловик мой. Муж.

Это уж было вовсе непонятно. Если он связан с этими людьми из леса, то зачем ему было защищать меня. Если нет — он страшно рисковал. Да и каким образом можно остановить бандитов, занесших нож?

— Пан офицер. Муж сказал им, что вы дали нашим детям и нам чай, сахар и белый ... белый хлеб...

— Что — только это он и сказал?

— Да, только это.

—И все?

— И все, пан-товарищ.

— Что же сделали эти люди?

— Ушли.

— А мой чемодан, оружие, почему они не взяли их?

— Не схотели.

Кто муж, кто она? Кто эти лесные люди, пытавшиеся меня убить, но отказавшиеся от своего замысла лишь потому, что поделился хлебом и сахаром? Плохие люди? А может, не совсем плохие?

КОБУРА

С визгом и хрюканьем рвались мины. С буравящим свистом густым посевом неслись с неба черные бомбы. Обстрел и бомбежка прихватили пушечную батарею на пути к огневым позициям. Вокруг — ни окопов, ни кюветов, ни старых воронок. Над землей — рой мятущихся осколков. Не то чтобы стрельнуть из карабина в невозбранно пикирующие "юнкерсы", но и головы не поднять. Лучше прижаться к родимой и переждать: или "лаптежники" улетят, или минометы заткнутся. Виктор распластался на голом — ни былинки — песчаном скате.

Но зачем же вскочил на ноги и побежал капитан? Разве не знает, что кассетные бомбы сыплются, как горох, между разрывами и десятка метров не насчитаешь? Знает, конечно, и все-таки бежит. Пригнувшись, скачками голенастых ног. Спина ссутулилась.Немолодой, усталый. И, как думает Виктор, так и не стал капитан Мельников военным человеком. И зачем он на своем газике с батареей поехал? Мельников подскочил к уже занявшемуся пламенем грузовичку, рванул дверцу кабины, схватил какую-то папку — конечно же, свои чертежи — и повернулся... "Ну, скорей, ложись... Падай, старина!"

Нет, не успел. Повалился на бок, перегнулся пополам, обхватил руками живот. Стало быть, ударило. Эх-эх, беда!

Мельников лежал, скрючившись. Последняя тройка "Юнкерсов-87" отбомбилась и ушла. Вроде и немецкие минометы стали бить реже и куда-то в сторону. Виктор кинулся к капитану.

То, что он увидел, сковало его. Хотя и раны были ему не в диковинку, две сам перенес, да и перевязывать их умел, но с такой никогда не встречался. Гимнастерка Мельникова была пропорота на животе и, видать, не одним осколком, а наружу вылезало что-то осклизлое и кровавое. Что это? Что? Желудок? Кишки? Не разберешь. Вспомнились советы старых солдат: перед боем не пей, не ешь, потерпи; коли в живот ранят, голодный, может, и выживешь, а нажрался — каюк. И подумалось: ел ли капитан перед бомбежкой? Ай, да об этом ли сейчас думать! Ведь то живое, кровавое вывалилось и пузырится. Надо же скорее перевязать, а то все, все из капитана выйдет! Но чем перевязать?

Выхватил из кармана индивидуальный пакет, разорвал... Да разве годится, разве такую рану забинтуешь им? Бинт и не удержит ЭТО. Разве что несколько бинтов...

Виктор взглянул в лицо Мельникову. Оно было серым. Глаза открыты. Он даже не стонал.

— Пал Петрович! Пал Петрович! — заспешил Виктор. — Я щас, я щас. Ты будь спокоен.

Похоже, он успокаивал самого себя. Капитан кивнул: мол, подожду, делай, что положено. А что положено? Мозг заработал с бешеной скоростью, прокручивая разные спасительные возможности. Искать санинструктора? Своего нет: Таню с тяжелым ранением увезли в тыл. Значит, у соседей. Но пока добежишь... Фельдшер — со штабом. Далеко. Если собрать у бойцов перевязочные пакеты? Долго... А ведь это пучилось, сползало, вот-вот упадет на землю. Нельзя, такого допускать нельзя! Вдруг пришла решительная мысль: надо, непременно надо и как можно скорее вернуть на место то, что покинуло тело Мельникова. И тогда все будет в порядке, он спасет капитана. Пожалуй, это была не просто мысль, а еще и чувство: вернет — спасет. И есть для этого средства, есть! Полотенце. Нет, не армейское, короткое, как портянка, а домашнее, мамино, хранимое в "сидоре" все военные годы. Мама любила такие большие махровые полотенца и на этом вышила крупно его инициалы: ВЕК, Виктор Евгеньевич Кузьмин. При этом сказала, что инициалы счастливые, обещающие долгую жизнь. Может, мамина вещь и капитана спасет!

Быстрее, быстрее, он выхватил из кабины тягача вещмешок, взял полотенце и, вернувшись к Мельникову, стал осторожно обертывать разверстую рану, стараясь охватить внутренности и бережно вложить их в живот. Не получалось, кровавая масса не давалась, выскальзывала, а он, стиснув зубы, с фанатическим упорством выполнял задуманное. Мысль качалась, как маятник: верну — спасу, верну — спасу.

Наконец-то ему удалось упрятать ЭТО и закрепить, связав концы полотенца, которое насквозь пропиталось кровью, за спиной капитана. Он снова встретился гла-

зами с Мельниковым и поразился его ровному, словно застывшему взгляду. Подумал, что тот потерял сознание. Надо было что-то делать; в голову лезли книжные средства: дать понюхать нашатырного спирта, побрызгать лицо водой... Последнее было возможно, он потянулся к фляжке. Но его остановил тихий, какой-то отчужденный голос капитана.

— Слушайте, Виктор Евгеньевич, — произнесли запекшиеся губы, — я хочу вас кое о чем попросить.

Странно было слышать сейчас его обычные вежливые фразы. Мельникова в полку считали неисправимо штатским человеком, к тому же интеллигентом, и относились к нему внимательно, но несколько покровительственно. Все знали его слабости. Например, совершенное отсутствие командного голоса, речь его была плавной, слитной, фразы завершенными. Он никогда не произнес ни одного резкого слова. Он никогда не командовал, а только предлагал и просил, что, впрочем, нравилось красноармейцам и даже многим командирам. Солдаты говорили: "Вот капитан Мельников объяснит — с одного раза поймешь". И действительно, когда недавно в полк привезли американские самоходные установки, то поначалу в них трудненько было разобраться. Счетверенные пулеметы системы "браунинг" были закреплены на турели, которую вращал электродвигатель. Вообще машина была сложной, а чертежи и вся документация на английском, но Мельников, в прошлом преподаватель физики, освоил эту иностранную технику за неделю и все ее премудрости терпеливо и просто растолковал командирам и бойцам, среди которых были и непонятливые и не очень-то грамотные.

С ним решительно все в полку, от командира до рядового, говорили особо вежливо. Даже утишал свой командирский бас в разговоре с капитаном полковник и называл его по имени-отчеству.

— Я хочу вас попросить, — с трудом повторил Мельников, — у него была привычка повторять слова, а то и фразы, сохранившаяся, вероятно, с учительской поры. И Виктор, подавляя в себе ужас, ответил ему обычным голосом:

— Пожалуйста, Пал Петрович.

— В левом... в левом кармане у меня документы и письмо. Документы и письмо. Вы поняли?

— Да, да.

— Документы оставьте... Оставьте. Может, пригодятся. Письмо отправьте... Отправьте по адресу... По адресу на конверте.

Ему стало невмоготу, он, набрав в грудь воздуха, продолжал:

— Папку с чертежами и... и запиской к ней отдайте... начальнику, начальнику артмастерской... Он разберется. Вы поняли меня?

Виктор кивнул.

— Часы карманные, старинные перешлите по моему... моему домашнему... адресу.

— Сделаю. Сделаю, но вас сейчас надо...

Он не дослушал, боясь, что не хватит сил досказать:

— Пистолет с кобурой снимите... ТТ сдадите начбою... А кобуру...кобуру возьмите себе. Себе возьмите. Она из доброй кожи, а у вас кирзовая... Вы поняли?

— Понял, все понял.

— Хорошо. Делайте... Я отдохну.

Солдаты побежали за подводой — была трофейная, в тылу полка. Машина не подошла бы для такой трудной перевозки. Виктор осторожно вынул письмо и документы, ему казалось, что Мельников внимательно следит за его действиями: из-под полуприкрытых век. Наверное, так и было: когда Кузьмин снял кобуру с пистолетом, Мельников кивнул:

— Все. Повезете?

— Да, очень скоро.

Больше капитан не проронил ни слова, только когда его бережно укладывали на телегу, повернул голову и прощально улыбнулся.

Подвода вернулась к вечеру. Павел Петрович скончался, когда его вносили в палатку медсанбата. Виктор выполнил его последнюю волю: передал папку с чертежами, переслал письма и к ним приложил свое — о последних минутах Мельникова. Часы отвез родным капитана его земляк, получивший отпуск по ранению. А кобуру Виктор носил все оставшееся время войны, вложил в нее свой ТТ и с ней не расставался на Украине, в Бессарабии, Румынии, а когда армию перебросили на запад, то в Польше и Германии. Брал Берлин и четыре года служил за границей. Кобура служила ему и в российских городах и весях. Может, с ней бы и закончил службу, если бы не выклянчил ее сын. И тот долго не расставался с кобурой в ребячьих играх, пока не променял на игрушечный автомат.

Где она, кобура капитана Мельникова, может, еще и жива?

РУМЫНСКОЕ ВИНО

Батарея оказалась целехонькой. Артиллерийские расчеты сидели у орудий, комбат, взводные и старшина — у командирского окопчика.

Их лица хранили блаженное, чуть глуповатое выражение, какое бывает у людей, которых по счастливой случайности обошла смерть. С полчаса тому назад тройка наших штурмовиков, "горбатых", как мы их называли, ударила реактивными снарядами по своему переднему краю, что редко, но бывало; потом летчики винили устаревшие топокарты — мол, подряд три безымянные деревни. А тогда у дальнего степного холма взметнулся фонтан огня, дыма и бурой земли. До нас донесся рев и грохот. "Да там же первая батарея", — мелькнула у меня мысль. Заверещал полевой телефон. "Бегом к Левадному, — приказал командир полка. — Если что, примешь командование". Я помчался во весь дух, за мной едва поспевал пожилой боец Никифоров, ангел-хранитель. Тяжело дыша, мы остановились у чудом сохранившейся батареи.

— И чегой-то вы примчались? — нарочито удивился комбат-1. — Или своих забот нема?

— По тебе соскучились, — огрызнулся я, еще не отдышавшись.— Что это у вас там горит за бугром? — спросил, уже догадавшись, что именно этот отрог холма спас людей и орудия.

— Пустяки, бочки старые. Жаль — порожние. Да вы садитесь, отдохните, вон как ухайдакались. Весна, а печет, как в июле.

— Да уж, пить хочется.

— Зачем дело стало. Бутенко, напои дорогих гостей.

— Слухаю, — ответил ровесник нашего Никифорова. — Айн момент.

Он отправился к нестандартному окопу, скорее ямине, вытащил из нее трофейную канистру и из нее наполнил котелок.

— Погодите, — забеспокоился я. — Полковнику надо доложить. Небось икру мечет.

— Доложено. Пока вы кросс бежали, мы линию восстановили.

Мы с Никифоровым вольготно расположились на сочной траве. Котелок был прохладен: ключевая вода, что ли? Только поднес ко рту, понял: вино, да еще какое, янтарное, с нежным букетом. Оторваться от него было трудно. Осушив полкотелка, я смутился: не мне же одному.

— Пей, не жалей, — одобрил Левадный. — У нас этого добра через край.

Мы с Никифоровым налились "под завязку". Я слушал рассказ комбата и удивлялся какой-то особой ясности мыслей, просветленности и покою. Чудо, а не вино.

— Наши "горбатые", — рассказывал комбат,— пострашнее ихних "лаптежников". К "юнкерсам" вроде попривыкли. Пикируют, ревут, свистят, из кассет бомбы сыплют. А от наших, родимых, вообще спасу нема, все рвут и выжигают. Не дай Бог...

— Ладно, поговорили, пора и честь знать, — решил я и стал прощаться, благодарить за угощение.

— Что ж, идите.

Я стал подниматься, но, странное дело, голова оставалась ясной, а ноги ослабели, точно ватные. Понял: винцо-то с подковыркой.

— Не переживай, — успокаивал Левадный. — С полчасика погостите, а то в одном полку, а видимся редко, потом хоть бегом бегите.

— Где же вы такое вино надыбали?

— Та видите, товарищ старший лейтенант, — ответил Бутенко. — Тут близенько у румынов подвалы винные. Огромадные, бочек там видимо-невидимо.

"Ну уж, загибают, наверное, а впрочем... Вина в этих краях разливанное море. Когда переправлялись через реку Прут, то наш Никифоров, еще первой мировой войны солдат, вспомнил соленую присказку: "Русские за Прут, немец — за Серет" и стал румынские вина нахваливать — и вкусны, и нежны, и крепки. Вскоре солдатский лексикон обогатился словечком "виноискатель", производным от миноискателя. То был длинный штырь с заостренным концом. Им бойцы прощупывали приусадебные земли у барских поместий и нередко находили бочку-другую доброго вина. Такое бывало. Но чтобы "огромадные подвалы" да еще на поле боя?

— Что, не верите? Пойдемте покажу. Тут недалеко.

Мне тогда было двадцать лет, и хотя два года из них уже схарчила война, все-таки в глубине моей души затаилась детская страсть к неразгаданным тайнам, неоткрытым островам. Уверившись, что ноги стали потверже, сказал: "Пошли" и вместе с Никифоровым зашагал за Бутенко. Мы спустились в низину, прошли по узкой тропинке и увидели довольно широкий лаз с идущими вниз ступеньками, заботливо выложенными дощечками от снарядных ящиков. Вслед за провожатым спустились под землю, в просторный с устоявшимся кисловатым винным запахом тоннель. Бутенко зажег немецкий фонарик, и яркий пучок света открыл тянущиеся вправо и влево ряды одинаковых бочек. Они терялись во мгле. Мы с Никифоровым молчали, пораженные. Вдруг за бочками кто-то ворохнулся. Я и Никифоров мигом присели, изготовили оружие: пистолет и карабин.

— Не надо, — негромко произнес Бутенко. — Тут не воюют. Пушки-то опустите.

Что это за чудо — на самом переднем крае, точнее на нейтральной полосе, если таковая вообще существует, вдруг такой мирный уголок? Не снится ли мне, не чудится? По-хозяйски оглядев бочки, Бутенко выбрал одну из них, легко вынул пробку — видать, не в первый раз — и опустил в отверстие шланг. Вино потекло в канистру. Спокойствие и уверенность старого солдата передались нам, и я, как бы освободившись от чувства опасности, глубоко вдохнул терпкий пьянящий воздух. Ну не сказка ли это?

За бочками кто-то снова ворохнулся, и в тусклом отблеске бутенковского фонаря показалась удаляющаяся фигура немца, он шагал не спеша и даже — или это показалось? — прощально махнул нам рукой. Да, очевидно, солдаты двух воюющих армий, обнаружив винные подвалы, по негласному уговору невозбранно посещали их. Что еще придумать? Не собирали же они мирную конференцию?

— Вы что, договорились с фрицами? — все-таки сомневаясь, спросил я Бутенку.

— Ни... А так, без разговоров, ихний махнул рукой, наш ответил — и полный порядок. Вина-то всем хватит...

Возвращаясь на свою огневую позицию, я отметил, что передний край как-то притих, разве что раздавались с той и с другой стороны редкие, словно ленивые, выстрелы. На нашей батарее тоже прознали про подземные клады, и в артиллерийских расчетах появились котелки, ведра и канистры, наполненные вином. О подвалах заговорили не только в полку, но даже в корпусе и армии, рассказы ширились, и при этом размеры подвалов увеличивались, то они простирались на километр, то на три, однажды услышал, что даже на шестнадцать, а принадлежат они якобы самому румынскому королю... Да уж, нет предела солдатской фантазии.

Движение с двух сторон усиливалось, прошло еще пару дней, и не только пехотинцы, танкисты и пушкари, но и ближние тыловики потянулись к манящим складам. Очевидно, то же самое происходило и с немецкой стороны. Беспорядочные перемещения противников становились опасными, кое-где возникали короткие стычки, и в самом подземелье загремели выстрелы, но и суток не прошло, как они сменились тишиной и спокойствием.

Что же произошло? Василий Никифоров, совершив очередную вылазку в подвалы, рассказал, что у прохода с нашей стороны помещено объявление, которое определяет порядок пользования винным довольствием. На дощечке написано на двух языках: "Русские — с 22.00 до 2.00, немцы — с 2.00 до 6.00". И якобы такие же оповещения имеются у других входов в подземелье. Пошли разные слухи, одни говорили, что придумала и написала такое объявление переводчица разведотдела штаба корпуса, веселая и озорная девушка-лейтенант, другие считали, что их автором является служащий в нашем полку ефрейтор Фридрих, поволжский немец, записанный по матери русским. Кто знает... Пожалуй, такую нехитрую фразу мог сочинить любой красноармеец, освоивший несколько немецких слов, а возможно, и немец, нахватавшийся русских. В нашей батарее бойцы отметили, что объявление это составлено обдуманно, время для посещения богатейших складов выбрано наиболее благоприятное для обеих сторон — вечером, ночью и ранним утром, день как наиболее опасный и от неприятеля, и от своего начальства исключался. И немцам, и русским отводилось одинаковое время — четыре часа, поровну, без обид.

Прошло еще некоторое время, и неожиданно на нейтралке раздались глухие взрывы. Стало известно, что возмущенный тайным и недопустимым братанием с противником и постоянными винными возлияниями, командующий нашей армией приказал уничтожить дразнящие личный состав соблазны. Были отряжены саперы, которые и подорвали бочки с выдержанным румынским вином. "Ну вот, кажется, и закончились тайные походы, наступил сухой закон", — так я подумал. Но оказалось, что зря, недооценил солдатскую смекалку и находчивость, как русскую, так и немецкую.

Не прошло и трех часов, как умолкли подземные взрывы, и у старшины батареи я увидел пяток котелков, наполненных румынским вином.

— Откуда? — спросил строго.

— Да все оттуда же, — произнес он. — Никифоров с ребятами принесли.

— Там же все взорвали?

— Так точно... Только оно-то самое не взрывается.

Вышло так, что десятки, а может, сотни бочек разлетелись на куски, а вино разлилось по утрамбованному за многие годы глинистому грунту. И потекла по подвалам винная река, а представители воюющих армий быстро оценили обстановку и приняли решение. При этом еще одну неоценимую службу сослужила солдатская шинель. Известно, что она перина, и подушка, и одеяло, и одежда, и скатерть-самобранка, а тут ее приспособили в качестве фильтра. Одним котелком зачерпнут вино из потока и через полу шинели бережно перельют, процедят в другой. Попробуют — подходящее вполне. И снова в означенное время потянулись с двух сторон к приманчивым подвалам бойцы.

Но, увы, ничто не вечно: пришел приказ, и наш фронт двинулся вперед по румынской земле, оставив позади нежные, ароматные, радующие душу напитки и такую желанную неделю замирения, почти без выстрелов и разрывов.

Вскоре нашу армию погрузили в эшелоны и переправили в Польшу. Она сражалась на Висле, под Варшавой, шла с боями по Германии, брала Берлин. Все даль-

ше и дальше уходили мы от благодатных подземных сокровищ и нет-нет вспоминали подвалы с румынским, быть может, действительно королевским вином, такие короткие и чудесные дни и ночи мира среди долгих-долгих боев. Вот и теперь, спустя полстолетия, возникает в моей памяти та удивительная, кажется невероятная, неделя, вроде бы выдуманный анекдот из времен второй мировой войны. Но ведь все это было, было. Солдаты воюющих армий сами, без начальства, без политиков, вроде бы и не договариваясь, договорились и заключили мир.

Что ж, может, и в наше суровое, смутное время взять да и повторить такое, неплохо и с чашами доброго вина? Стоит попробовать, не правда ли?

ГДЕ-ТО ЗА ВАРШАВОЙ

То была ночь контрастов.

С наступлением темноты полк по наплавному мосту переправился на плацдарм. За плечами осталась черная, так и не застывшая в январе Висла. Только взялись за лопаты, как ударил немецкий артналет, за ним наша артподготовка. Земля дрожала от непрестанных орудийных выстрелов и разрывов. Кутаясь в обледеневшие плащ-палатки, батарейцы прижались к земле. Что тут поделаешь? Остается только ждать. Каждый терпел по-своему, одни в неизбывном напряжении, другие с фатальным безразличием. А дальномерщик Федор Голубовский даже заснул, или сделал вид, что спит под грохот канонады.

Но вот пехота пробила брешь по вражеской обороне, в нее рванули танки, а мы, пушкари-зенитчики, за ними. Наступила пора коварных неожиданностей, непредсказуемых схваток. В густой морозной темноте, среди вспышек, высверков, наши дороги пересекались с отступающими, а то и бегущими из польской столицы немцами. Ожидание стычки, нервное напряжение не отпускали нас до самого мглистого рассвета. Тогда на душе стало полегче; округа худо-бедно просматривалась, можно было сориентироваться. Я спросил у обогнавшего нас на "виллисе" начштаба: "Где мы, товарищ майор?" Он ухмыльнулся: "Где-то за Варшавой", — и дал команду сделать остановку. Ко мне, комбату, подошли взводные, старшина, и мы стали держать совет. Прежде всего обнаружили, что стоим у околицы большого села. На столбике — указатель, что-то вроде "Ясенищи". Развернули "гармошку" склеенных топокарт, нашли этот населенный пункт. Заметили, что неподалеку шоссе: Варшава—Берлин. "Ну вот, — сказал кто-то, — можно дуть до самого логова фашистского зверя". Это нас развеселило. Позубоскалили, и я распорядился:

— Осмотреть подступы к батарее.

— Ясно, — ответил за всех командир первого взвода и повторил незабываемую команду старшины Пилипенко: "Приглядывайтесь та прислуховывайтесь". Еще в сорок третьем под Понырями не стало мудрого старшины, а поговорка его жила. Бог весть, кто скрывается в польских хатах, а то и в стогах соломы...

Разошлись по двое. Я взял с собой, как обычно, сержанта Голубовского. Был он старше меня, и биографию имел солиднее моей. Моя — с куриный нос: школа, училище военного времени, война, а он до фронта в своей станице проработал трактористом, водителем и был в батарее чистым сокровищем: при своей интеллигентной специальности дальномерщика, мгновенно определявшего расстояния до

летящих "юнкерсов" и "мессеров", мог, коли понадобится, заменить орудийного номера и водителя тягача — "студебеккера". Стройный, высокий, в плечах, как говорится, косая сажень, был он красив мужской красотой; сметлив, быстр в решениях и действиях: настоящая военная косточка. Ему давно светило военное училище. Командир полка предлагал, но он отказывался: "У меня в станице дела есть. Разобраться надо. Да и матери с сестренкой помочь. Одни остались... Батю и брата... сничтожили...".

Федор шагал за моим правым плечом, карабин держал на изготовку; на поясе — трофейный "парабеллум" в расстегнутой кобуре. Мы прошли сотни четыре метров и постучали в дверь польской мазанки. Подумалось: вот тебе и центр Европы, а такая жалкая хатенка. Облезлая, съежившаяся, с потемневшей и поредевшей соломенной кровлей.

По военным меркам в Польше наш полк был давно. В летнем наступлении сорок четвертого вдоль Вислы подошли к восточному пригороду польской столицы, но так и не овладели ею; в Приваршавье стояли долго, готовились к новому броску. Вроде бы и "размовлять" с поляками научились. Они, как могли, налаживали свою жизнь, вовсю торговали бимбером, то есть самогоном, пирожками с картошкой, табачком на шумных базарчиках. Там только и слышалось: "Что пан продаст? Что пан купит?" Освоили мы и несколько ходовых слов и фраз вроде "Проше пане", "Вшистко едно".

К хатенке подошли с осторожностью, хотя ожидали встретить и страх, и покорность. Береженого Бог бережет. Я держал пистолет у самого бедра, памятуя о том, что "герман" бьет по вытянутой с оружием руке. От сильного стука сержанта дверь затряслась и быстро открылась. На пороге стоял пожилой поляк с морщинистым лицом и светло-голубыми, детскими глазами. Он сразу же отшагнул в сторону со словами: "Панове, панове" и пропустил нас в единственную комнату своего жилища. Впрочем, был в ней закуток, отгороженный выцветшим пологом. Голубовский отодвинул его стволом карабина. Там на постели, под лоскутным одеялом лежала бледная молодая женщина, прижимая к себе маленького испуганного мальчугана. Голубовский улыбнулся им своей удивительной, прежде бы сказали, обворожительной, улыбкой, на которую ответно улыбались первейшие красавицы Подваршавья. Он снял испуг хозяев и спросил:

— Герман есть?

Ответа не последовало. Странно, где же "Ниц, нема"?

— Что? Был и ушел? Или сховался? Почему молчишь?

На град жестких вопросов поляк не ответил, а повел себя более чем странно. Он подошел к стене, прижался к ней плечом и закивал головой, но совершенно необычно, не вперед, а вбок. Его редкая полуседая шевелюра касалась закопченной стены.

— Чтой-то он? — удивился я. — Спятил?

Тут действительно немудрено и свихнуться. Я не раз слышал о трагических событиях в Варшаве: о восстании в еврейском гетто и общеваршавском восстании против гитлеровцев, о том, как отчаянно сражались и героически погибали тысячи и тысячи людей. Особенно запомнился рассказ переправившегося через Вислу поляка о том, как безоружные горожане обливали себя бензином и живыми факела-

ми кидались на жалюзи немецких танков. А мы? Мы тогда ничего не могли поделать. Стояли без горючего, без снарядов и — без приказа.

Пожалуй, этот старый поляк не в себе.

— Погоди, старшой, — сказал Голубовский. — Ведь он не зря кивает... на что-то или на кого-то показывает...

— Похоже. Но что там в стене? Не замурован же там фриц...

— Да ведь за стеной амбарчик, или как по-ихнему. Прямо к хате прижимается. Разве не заметил?

— Да-а. Точно. Туда и кивает хозяин.

— Проверим. — Сержант подошел к стене, ткнул в нее пальцем, спросил старика: — Там?

Тот закивал головой, на этот раз нормально, склоняя ее вперед. Но так и не произнес ни слова. Что ж, онемеешь от страха, когда просидишь пять лет под немцем, еще рядом с варшавскими ужасами. Мы молча вышли из дома и, изготовив оружие, приблизились к сараюшке. Стало светлее, и все-таки промозглая мгла все еще стелилась над землей. Я приготовил трофейный фонарь. Был он очень хорош, на длинной ручке с переключающимся светом: и рассеянным, и собирающимся в прицельный луч. Я избрал последний. Прильнувшее к хате строение было ветхим, а дверь в него — широкой. Сержант рванул ее, луч фонаря вонзился в темноту. И я сразу увидел немцев.

Три солдата лежали на трухлявой соломе. Даже при нашем появлении они не сделали попытки встать, лишь чуть приподняли головы. Широко открытые глаза обратились к нам. Без сомнения, ранения у всех были тяжелыми: застывшая темная кровь на бинтах и одежде, брошенное в углу оружие, общее безразличие к своей судьбе. Я пережил такое ранение с его смертельной усталостью, безразличием: будь что будет. Все-таки решил их коротко расспросить: война-то идет, передо мной противник. К тому времени я наборзился вести допросы. Коротко, строго. На такие вопросы обычно дают точные ответы. Так и отвечал один из немцев — я разглядел, что он ефрейтор. Номера полка, дивизии мне ничего не сказали. Ясно стало одно: беспорядочно отступали из Варшавы; из окружения, вероятно, вырвались единицы. Вот и все. Осталось пригнать машину, погрузить на нее раненых и доставить в полковую санчасть, — там докторша Мария Алексеевна обновит перевязки и отправит в медсанбат, а то и в госпиталь. В общем, фрицам подфартило.

— Федор, — распорядился я, — иду за машиной. Покарауль... Хотя эти-то не убегут.

Утомленный бессонной боевой ночью, размышляя, удастся ли поспать, не сыграют ли вскоре "отбой-поход", я шагал не спеша к батарее. Мечтал, что на ночь остановимся в польском фольварке, растопим печь, поспим в тепле, предварительно приняв наркомовские и закусив тушенкой. Я уже подходил к своим орудиям, когда позади раздался выстрел. Один. Только один. Да, стреляли оттуда, от крайней польской хаты. Там был мой сержант. Голубовский. Одиночный неожиданный выстрел в тишине показался тревожнее, чем пушечный и минометный гром минувшей ночи. Я побежал, изготовив оружие к бою. Заполошная мысль терзала меня:

неужели выстрелил кто-либо из раненых фрицев? Может, тот, кого допрашивал? Но почему? Невероятно. А если... Дурак я, рассиропился, забыл о свирепости гитлеровцев, которая, правда, встречалась все реже. Больше кричали: "Криг капут! Гитлер капут!" Но вдруг попался фанатик, ненавистник, готовый на все. И пистолет припрятал... А я даже не обыскал их, раззява!

Подбежал и увидел, что дверь сарая открыта, а в проеме стоит Голубовский. Слава Богу, живой и как будто невредимый. Меня только смутило выражение его лица, крепко сжатые губы, сузившиеся глаза; оно точно окаменело.

— Кто? Кто стрелял? — крикнул я и, не дожидаясь ответа, заглянул в сарай и сразу понял, что один из немцев мертв. То был ефрейтор, с которым я только что разговаривал. Выстрел был точным — в висок.

— Что, застрелился? — предположил я. — Может, рыльце в пушку?

— Нет, — хрипло ответил Голубовский. — Я его...

— Ты? Зачем? За что? — Мое недоумение было так велико, что я даже не мог предположить причину. А Голубовский никогда не совершал опрометчивых поступков. Знал его с сорок третьего, с боев под Севском. Умен, сдержан, мастер своего дела. Особых грехов за ним не водилось. Разве что падок до слабого пола; впрочем, у женщин вообще, а у полячек в частности и особенности, он имел поразительный успех; говорили, что покорил знаменитую в Минске-Мазовецком красавицу пани Софию... Ну это, положим, считалось доблестью.. А тут что?

И прямо признается: застрелил. Убил раненого. Не помню случая, чтобы кто-нибудь в нашем полку сделал такое. Сколько стреляли по самолетам, танкам, пехоте, отбивались от контратак, ходили в рейды по немецким тылам... Но чтобы застрелить пленного, безоружного, да еще раненого... Невероятно!

Я, перейдя безотчетно на "вы", спросил:

— За что вы убили его? За что? Немец покушался на вас? Угрожал вам?

— Не немец он, не немец, — зло ответил Голубовский.

— А кто же еще? — изумился я. — Кто? Американец? Англичанин? Француз? Может, еще... русский?

— Так точно, так точно, — с остервенением повторил сержант. — Именно русский... Да и какой он русский. Власовец он, бандит, вот его национальность...

— Вла-со-вец? Откуда вы взяли? Узнали его, что ли?

Голубовский промолчал, только крутые желваки двигались на скулах.

— Отвечайте!

— Власовец... И все... Такие моих батю и брата убили. Поизгалялись и повесили.

— Но-о, позволь, — я снова перешел на привычное "ты". — Как же ты мог в этом немецком ефрейторе узнать русского? И еще предателя? В толк не возьму. Объясни.

Сержант не отвечал, я чуть не взорвался от непонимания, гнева, но сдержался. Все-таки надо было понять этот дикий поступок. Наверное, все же у такого разумного человека, как Федор, был какой-то резон? Голубовский ответил, выжимая из себя слова:

— Он сам со мной... заговорил... по-русски... Чисто заговорил. Складно. Какой же немец так скажет!

— Что сказал?

— Попросил он... Чтобы я его не бросил, отправил в госпиталь. В наш, русский. С русскими. И все так чисто, точно... Понял?

— Н-нет.

— Разве не ясно, что он не фриц. Боится в немецкий госпиталь попасть. А у нас шкуру снимет и, глядишь, затеряется... Меня и осенило: в немца, сука, перекрестился, теперь обратно в русского... Все в душе переворотилось. Батю вспомнил, брата Костю. Сестра из станицы написала, как их, раненых, такая вот сволочуга не только выдала немцам, но и петли накинула... Не могу их на дух терпеть... Вот и выстрелил...

Он говорил еще что-то, все тише и тише, бормотал... Может, хотел сам понять и оправдать свой выстрел? Мне он показался не в себе. Как человек после контузии. Продолжать с ним разговор не имело смысла. Я знал: в подобных случаях надо коротко и твердо приказать: сделай то-то и то-то.

— Сержант! Пойдете на батарею. Скажете старшине, чтобы дал машину. Сам с ней поедете. Раненых немцев отвезете в санчасть. Ефрейтора похоронить. Ясно?

— Ясно.

— Действуйте.

Он пошел. Потом ускорил шаг и побежал.

Я вошел в сарай. Раненые вжались в соломенную подстилку. Уж не ожидают ли они и от меня выстрела? Мне не давала покоя мысль: откуда немецкий ефрейтор знает русский язык, да еще хорошо? Не приснилось же это Голубовскому? Я за всю войну что-то не встретил ни единого фрица, который бы свободно изъяснялся по-русски. Странно все это. Вложив свой ТТ в кобуру, чтобы не пугать и без того напуганных немцев, я, мобилизовав все свои школьные и военные знания, задал им несколько вопросов. Первый был таким.

— Знали ли вы погибшего — именно так сказал — погибшего ефрейтора?

Один из пленных поднял голову и громко прошептал:

— Яволь, герр обер-лейтенант, я его знал. Давно. Мы оба берлинцы... из пригорода... Нас и призывали вместе. Воевали... — он поправился, — служили в одной роте.. С сорок второго года...

— С сорок второго?

— Точно, герр обер-лейтенант.

— Тогда скажите, умел ли он говорить по-русски?

Немец ответил не сразу, раздумывал, глядя на меня. Я понял: ведь только что знание русского языка привело его товарища к гибели. Не ждет ли его такая же судьба, если ответ не понравится русскому офицеру...

— Не бойтесь. Меня это просто удивляет: откуда берлинец мог знать наш язык?

Раненый долго обдумывал ответ и наконец решился:

— Он...Звали его Гансом... Он долго жил в России. И работал там. Да, да, еще до этой войны. Он поехал к вам строить завод... Далеко. Туда, где очень холодно. Там есть большая гора, которая вся из железной руды. Ганс был там три или четыре года... Он мне рассказывал. Но когда оказались в армии, Ганс запретил мне говорить об этом. Я и сам понимал, что о таком не рассказывают... — Немец перевел дыхание. — Вот там он и научился свободно говорить по-русски...

Боже мой, что же произошло? Федор убил человека, безоружного, раненого, да мало того, человека, который строил нашу Магнитку! Я не успел додумать, когда пришла машина и я, не обращаясь к сержанту, вместе с шофером положил в кузов немцев, двух живых и убитого. Их увезли.

Долго я не решался сказать Голубовскому правду. Жалел его, что ли? Вероятно, так: каково было бы ему воевать, понимая, что лишил жизни не врага, а друга, служившего нам, России... Потом все-таки решился: пусть сам и дознание произведет, и себя осудит. Он мне не ответил. Воевал, как обычно, смело, умело, осмотрительно. В составе танкового корпуса окружали Берлин по автобану, брали Потсдам. В одном из городских районов противник долго сопротивлялся. И тогда, ни у кого не спросившись, Федор пошел к немцам с белым полотенцем в руке. Он громко повторял две-три фразы по-немецки:

"Война капут! Будете жить! Все будет в порядке!"

Очередь "шмайссера" ударила ему в грудь. Голубовского увезли в госпиталь. И больше я его никогда не встречал. А вот та история, что произошла мглистым январским утром где-то под Варшавой, нет-нет, а приходила на память. То, когда злом отвечают на зло, насилием на насилие, ложью на ложь, подлостью на подлость.

Последнее время я вспоминаю ее все чаще...

ДАМА С САКВОЯЖЕМ

Едва она возникла в отдалении, вся батарея на нее воззрилась: наводчики оторвались от коллиматоров, подносчик замер со снарядом в руке, даже дальномерщик, сама зоркость и бдительность, забыл о тревожном небе. Дело было на подступах к Одеру. Наши танки продвигались побатальонно, а мы, пушкари-зенитчики, перекатами прикрывали их с воздуха. От подберлинских аэродромов до нас не больше сотни километров, десяток-другой минут лету. Немецкие пикировщики накидывались неожиданно с разных направлений и высот.

Батарея развернулась на просторной поляне; редкий сосняк простреливался весенним солнцем, сквозь деревья проглядывали кирпичные строения под бурой черепицей: поселок или городок. Вокруг нежно-зеленая трава хранила следы поспешного бегства противника: брошенные противогазы, котелки, фляжки, патронные сумки, обрывки бинтов... И вот на этом фоне появилась она — высокая дама в дорогом, котиковом, что ли, манто, в красивой шляпе, с большим лакированным саквояжем в руке. За ней, с карабином в руках, неспешно шагал старшина батареи Завьялов. Его, как и трех других батарейцев, я послал осмотреть поселок: не остались ли фрицы?. Двое вернулись, конвоируя четырех безоружных немецких

солдат, с радостью сдавшихся в плен и без устали повторявших: "Криг капут". Третьим был старшина, могучего сложения сибиряк; он презрительно поглядывал на уверенно шагавшую перед ним особу.

Дама с саквояжем приблизилась к нашей огневой позиции, и теперь можно было разглядеть ее лицо: крупное и яркое. Давно уж, с довоенной поры, не видел я женщины с густо накрашенными губами, начерненными бровями, подведенными глазами. Так что повышенное внимание всей батареи к незнакомке можно было понять.

Особенный интерес к ней проявил молоденький красноармеец, деревенский парнишка Малашкин. Все в полку, включая самого полковника, звали его по имени: Коля, Колюня. В боях под Варшавой его сильно контузило: потерял зрение, слух, к счастью, ненадолго. Лечение завершилось на ходу в полковой санчасти. Вроде бы обошлось. И все-таки стал он глуховат, часто не понимал, переспрашивал. Недостаток этот трудно было скрыть связисту, часто дежурившему у полевого телефона и даже у рации. В полку его жалели, старались помочь, но иногда и подшучивали: изображая его радиопереговоры, повторяли: "Вы меня слышите? Я вас не слышу... Вы меня слышите?..". Такое и прозвище к нему пристало "Вы меня слышите..." Коля не обижался: "Ничего. Что ушами не возьму, глазами доберу". Он глядел пристально и подолгу, стал любознательным и дотошным. И когда объявилась необыкновенная дама, то он на нее сразу загляделся.

Больше того, красноармеец Малашкин, как зачарованный, пошел ей навстречу, а поравнявшись, попытался перехватить ее ношу. Бог знает, чего он хотел: то ли помочь такой видной женщине, то ли, что вернее, получше разглядеть диковинный предмет: саквояж был необычный, куда крупнее и богаче тех, с которыми в те времена хаживали на визиты пожилые доктора.

Коля вежливо взялся за ручку саквояжа, потянул его к себе. Дама воспротивилась. Коля не понял, потянул сильнее, глядя при этом на незнакомку наивными голубыми глазами. Дама ударила его кулаком в грудь, вырвала саквояж и... выронила его. Он опрокинулся и, зазвенев, раскрылся. Дама побагровела. Ее истошный крик огласил огневую позицию, заставив вздрогнуть привычных к боевым неожиданностям пушкарей. Трудно даже вообразить, что коралловые уста могут изрыгать такую площадную брань. Поверьте, в своем старом замоскворецком переулке я слыхивал множество непечатных выражений, но такой дикой и злобной ругани, такого заряда ненависти — встречать не приходилось.

Меня больно ударило то, что свирепо кричала она на маленького солдата, безответного паренька, успевшего на войне узнать, почем фунт лиха, тяжело контуженного, пережившего гибель товарищей. Но скорее всего я, новоявленный офицер, сумел бы сдержаться, поставить на место одуревшую от злости женщину, а потом разобраться, что за фрукт эта разодетая в пух и прах незнакомка. Так бы оно и было, если бы... Если бы не взглянул на то, что вывалилось из ее раскрывшегося саквояжа. Это видела и вся батарея. У себя за спиной я ощутил грозное молчание. Конечно, взгляды командиров орудия, всех орудийных номеров были прикованы к

кучке блестящих предметов, рассыпавшихся по молодой траве. Они искрились под ярким весенним солнцем. Что это? Кольца, брошки, браслеты, серьги, ожерелья... Золото, золото, жемчуг, красивые и, верно, дорогие украшения. Никогда мне не доводилось видеть столько красивых и дорогих вещей. Мать носила истончившееся колечко, в гости надевала брошку. А тут... Я догадывался, что отнюдь не праведными трудами нажила все это на немецкой земле молодая русская женщина. Кинувшись к драгоценностям, она принялась хватать их, засовывать в карманы своего мехового манто и при этом все поливала и поливала грязной бранью Колю Малашкина. Старшина Завьялов приподнял саквояж и вытряхнул то, что еще оставалось в нем. Упали какие-то украшения и пачка фотографий, перевязанная красивой ленточкой. Он развязал ее, взглянул на снимки, покачал головой и передал их мне.

Да-а... Эта, несомненно, эта женщина была сфотографирована немцами. Вот она в группе улыбающихся офицеров вермахта, а вот с эсэсовцем, обнимающим ее за плечи. Вот — за столом, уставленным бутылками и рюмками... Расстегнутые мундиры. Пьяные улыбки... Врезалась в память одна из фотографий: дама и немецкий офицер преданно глядели в глаза друг другу, точно так же, как на цветных открытках, которые нам часто попадались в германских домах. Не хватало только поздравления с Новым годом...

Увидев эти снимки в моих руках, заметив выражение моего лица, женщина наконец-то смолкла. Заткнулась — так хочется сказать. Последнее черное слово пресеклось... Но в ее подведенных глазах еще не исчезла злоба... А у меня заклокотало в душе, ударили обида за маленького Малашкина, ненависть к этой остервеневшей "немецкой овчарке", и словно само собой выплеснулось одно - единственное слово:

— Рас-стрелять!

Никогда, никогда до этого я не давал такой команды, мысли о ней не держал. И самому не доводилось ее исполнять. Стрелял много, но никогда не расстреливал. И лишь один раз за войну был свидетелем казни. Знакомый командир танкового взвода, храбрый парень, по слухам представленный к званию Героя, безобразно напившись польского бимбера, застрелил у поляка свинью, а затем, очевидно, в беспамятстве, палил в белый свет из "шмайссера" и убил оказавшегося поблизости военного следователя. Офицеры корпуса стояли в каре и ждали, что вот-вот приедет командующий и все-таки помилует его. Конечно, в штрафбат, искупать кровью вину... Но выстрелы прозвучали, и вчерашний гвардии лейтенант в солдатском бушлате свалился в загодя вырытую глинистую яму... Горько было на душе. И вот теперь, не помня себя, в гневе, я повторил приказ:

— Рас-стрелять!

И тотчас увидел, как медлительный, раздумчивый старшина тотчас взял карабин на изготовку и нацелился в сердце незнакомки. Стало быть, и его захлестнула ненависть к ней. Пролетят секунды — и грянет выстрел. Но в тот же миг, как поднялся ствол карабина, дама грохнулась на колени. Я только в романах читал подоб-

ное. Точно как в них, она на коленях двинулась ко мне и распласталась у моих ног. По траве раскинулось ее манто, свалилась шляпа, рассыпались негустые, вытравленные перекисью волосы. Руками в лайковых перчатках она обнимала мои пыльные, латаные сапоги. Смертельный страх застыл в ее подведенных глазах...

— Н-не надо... Миленький командир, не надо... Прости, м-ми-ленький, — губы ее тряслись. Что-то она еще силилась сказать, может, объяснить, но ужас сковал ее, и она повторяла одно и то же:

— М-миленький, прости... М-миленький... не убивай...

Она тянулась ко мне, быть может, инстинктивно полагая, что эта близость спасет ее от выстрела.

Много позже я понял, что действовала она абсолютно правильно, сначала по наитию, а потом вполне осознанно. Эта женщина, прошедшая огонь, воду, медные трубы и волчьи зубы, обладала поистине звериным чутьем.

— Миленький... — Она смолкла, очевидно, поняла, что я откажусь от своего приказа, что сейчас ее не убьют.

Она подняла голову, ее лицо только что искаженное ужасом, приобрело горестное, жалобное выражение, из глаз обильно полились слезы и, растворяя краску, потекли по щекам. Смекнула, что непосредственная опасность миновала, но все еще не вставала и обнимала мои сапоги.

Меня же медленно отпускал спазм гнева и ярости, сменяясь чувствами гадливости и стыда. Все-таки, хоть и на минуту, я потерял себя. Высвободив ноги из ее цепких рук, сказал:

— М-мараться не хочется.

За спиной ощутил вздох облегчения, батарейцы, кипящие ненавистью, тоже остывали, никто не хотел убийства. Отходчив наш народ.

Старшина медленно опустил карабин.

Женщина поднялась с земли, и я ее снова не узнал. Только что готовая расплющиться, была, как говорится, тише воды, ниже травы, а тут выпрямилась, оправила манто. Ее взгляд устремился к рассыпавшимся драгоценностям. Убедившись, что пока никто на них не покушается, она, теперь уж осторожно, подобрав полы манто, встала на колени и принялась хватать броши, браслеты, кольца и складывать их в саквояж. Я хотел было запретить, взглянул на старшину, но тот махнул рукой:

— Хрен с ней, пусть собирает, нам же легче.

Стыдясь своей вспышки гнева, я согласился; сколько глупостей, больших и маленьких, совершено в жизни, какие досадные, обидные, а то и страшные последствия приносили мои оплошности. И эта оказалась одной из них.

— Ладно, — сказал старшине. — Сама понесет и выложит вещественные доказательства... А где ты прихватил эту кралю?

— Там, — Завьялов показал на просвечивающие сквозь редкий сосняк аккуратные домики под бурой черепицей. — Поселок или городок... Ихние военные там стояли. Строевой плац, казармы, гаражи. Честь честью. И — никого... Подождал

на опушке. Тихо. Ближний дом вроде столовой или ресторана. Офицерское, подумал, заведение. Подошел и вижу в окне. Эту... Сидит в полном параде, ждет... Сразу как-то толкнуло: не немка, российская фрау...

— Нет, — снова ударил гнев, — фрицевская...

— Поди и еще кое-что за ней числится. Не от трудов праведных нажила золотишко. Так что, старшой, вести?

Женщина молчала. Сжав губы, тщательно обирала роскошное дорогое пальто от приставших старых листьев. Хотелось мне тогда дознаться, кто же был перед нами. Потаскуха, офицерская подстилка, вывезенная фашистами из какого-либо российского городка? Доносчица, продажная шкура? Подсадная утка? Шпионка, подготовленная немцами и засылаемая в наш тыл? Кто знает? Мы уже встречались с такими на Курщине, Украине, в Молдавии. Хотел я дознаться, но позволить себе не мог. Не мое это дело. Мое дело воевать. Забот и без того полон рот. Скоро, конечно же, поступит приказ "Отбой-поход". И, как говорится, марш-марш... Есть и без меня кому дознаниями заниматься. Это их хлеб.

— Точно знаешь, где сейчас штаб полка, или по карте показать? — спросил Завьялова.

— Как не знать, на шоссе мы его обогнали. С километр от нас, в лесочке, я еще с писарем Субботиным поздоровался.

— Вот и отлично. Отведи эту. Доложи все, как было. Полковнику и уполномоченному особого отдела Румянцеву. Они разберутся. Ясно?

— Так точно.

— Шагай и побыстрей. Если поменяем огневую, узнай в штабе. И догоняй быстрей.

— Понял... Ну, пошли, — обратился к даме старшина и стволом карабина показал на дорогу. — Марш.

Они уже вышли на шоссе, когда командир первого расчета сказал негромко:

— А все же зря, старшой, не прихлопнули мы гадюку. Такая вывернется, ей-богу. Из одной кожи вылезет и новую наденет. Зря...

Сказал, как в воду глядел.

Прошло часа полтора, и старшина Завьялов вернулся на огневую. Коротко доложил:

— Товарищ старший лейтенант, доставил и передал кому следует. Объяснил, где взял. Что у нее имеется. И этот чемоданчик вручил...

— Кому?

— Лично капитану Румянцеву Евгению Алексеевичу.

— Хорошо, — успокоился я. Румянцев был полковой особист.

— Что тебе Батя сказал?

— Спасибо. И еще: часа через два двинемся, говорит. Быть в готовности.

— Хорошо. Как они там? Что поделывают?

— Завтракали как раз. Вместе с замполитом и уполномоченным. Веселые такие. Скоро, говорят, "Даешь Берлин".

— И все?

— Все. А что еще?

Действительно, что еще. Все ладом. Отвели. Доложили. Дело сделано. Дама с саквояжем в надежном месте...

...Впрочем, о ней я вспомнил недели через две, когда весь полк занял позиции в районе одерской переправы. Наплавной мост, как и весь заречный плацдарм, немцы бомбили и обстреливали днем и ночью. Чувствовали, что близится решительный штурм Берлина.

В ту пору командир полка в штабе созвал совещание. Раскрыв планшеты, мы, комбаты, наносили на карты маршруты движения и огневые позиции, которые надлежало занять на плацдарме. Когда "военный совет на Одере" был закончен, я подошел к полковнику и спросил, как они с уполномоченным СМЕРШа поступили с той подлой женщиной, которую доставил им старшина Завьялов. Командир полка поглядел на меня с удивлением:

— Какой женщиной?

— Ну с той... — даже растерялся я. — В дорогом манто которая.

— А-а, — усмехнулся Батя и выразительно поглядел на особиста, — с Людочкой... Помню, Завьялов привел.

При ласковом имени Людочка я вздрогнул.

— Людочка-то? Хор-рошая женщина. Зря ругаешь, старший лейтенант. Конечно, не обидели. Угостили. До утра у нас побыла... — он подмигнул Румянцеву... — В санчасти. А утром машина в тыл шла, с ней и отправили. Теперь уж небось в своем Курске... Или, погоди, кажется, в Харькове. Ее Женя Румянцев в кабину усадил... Да, ей неплохо, совсем неплохо... А вот нам еще достанется. Все прелести впереди. Ты, главное, на переправе не задерживайся. В темпе, понял. И связь чтоб как часы. Рацию даю. — Он хмыкнул. — Не вздумай к ней своего Колюню приставить, а то "Вы меня слышите, я вас не слышу". Ну, давай. С Богом!

Ну что тут поделаешь. Дело сделано. Упрекать поздно. Я отчетливо представил себе, как приятно завтракали, выпивали и закусывали Батя с особистом. Вполуха слушая старшину, они глаз не спускали с обворожительно улыбающейся дамы, конечно же, пригласили ее к своему полевому завтраку. Представил себе, как заливала им она о своей несчастной судьбе, как... Дело сделано. До того ли теперь, когда завтра: "Вперед, на Берлин!" Ищи ветра в поле...

... И теперь, полстолетия спустя, мне остается только фантазировать о том, как устроилась в жизни та женщина, встреченная нами на подступах к Одеру. Вернулась ли к своим пенатам? Нет, конечно. Там ее, наверно, хорошо знали. Уж, верно, избрала иное место, подальше от родных краев, и, может быть, ловкая, легкая на подъем, с теми сокровищами, что хранил ее саквояж, безбедно прожила тяжкие послевоенные годы, и вся жизнь ее оказалась легкой и сладкой... Скорее всего, так оно и было.

В который раз подумал я о том, как часто зло невозбранно, успешно пробивает себе дорогу. Как часто! Кто в том случае на Одере виноват? Я, старшина Завьялов, полковник или особист Женя? Или все мы и многие, многие другие, вместе взятые?

СЕКС СОРОК ЧЕТВЕРТОГО ГОДА

— Вот что, лейтенант Леня, — промолвил начальник штаба полка. — Надо тебе маленько отдохнуть от боевых подвигов. А потому поезжай в армейские тылы, там передашь начальству эти вот бумаги, ясно? Ну и людей посмотришь, себя покажешь.Н-да, в тех местах красавиц пруд пруди...

Прогулка оказалась непростой. Пришлось долго, с пересадками пилить на неожиданных товарняках с непредсказуемыми остановками: ремонтировались разрушенные пути, да еще перешивали колею с западного на наш манер. Однако лейтенант доставил документы в срок, получил расписку, щедрый паек и заторопился в полк. По молодости еще не освоивший пословицу "Тише едешь — дальше будешь", он неразборчиво перескакивал с поезда на поезд и надолго застрял на глухом полустанке где-то на границе Белоруссии и Украины. Долго не было слышно стука колес, а когда замедлил ход состав с балластом, Леонид, не искушая судьбу, вбросив в полураскрытую теплушку шинель и "сидор", запрыгнул туда сам.

Оглядевшись, лейтенант заметил, что он не один. На крупнозернистом песке, подстелив пальтишки, трофейные плащ-палатки, лежали, разметавшись во сне молодые женщины. Почему-то он их пересчитал. Вышло — восемь. "Ну как в припевке: восемь девок, один я". У лейтенанта заколодило дыхание: глаз не мог оторвать от доверчиво открытых плеч, разметавшихся волос, оголившихся ног... Поначалу воспринял их в целом, как групповой портрет, заметил, что они трудно работали на солнцепеке: лица, плечи покрывал крепкий, у иных в черноту, загар. Давно уже Леонид не встречал такой женской открытости: три военных года он встречался с полковыми девчатами, замуфтанными в гимнастерки и шинели; сблизившись, они становились подругами, а то фактически женами офицеров куда постарше его.

Леонид не мог оторвать глаз от внезапных попутчиц и тотчас отметил одну, самую красивую. Казалось, само солнце берегло ее: в отличие от остальных лицо, плечи и стройные ноги покрывал ровный золотистый загар. Во сне она мягко, подетски улыбалась.

У Леонида перехватило дыхание.

Первой заметила появление офицера старшая и, вероятно, главная среди женщин, крутоплечая, плотная. Строго спросила:

— Ты откудова взялся?

— Касса закрыта, билетов не продает, — нашелся лейтенант.

— Та ты ежик, — хохотнула она. — Мне такие нравятся. — Речь ее была распевной, мягкой. "Наверное, украинка". Попутчицы, позевывая, поднимались, одергивали изношенные платья, прихорашивались. Наступило неловкое молчание. Лейтенант заговорил первым:

— Так вы на железке работаете?

— Мантулим, — ответила старшая. — А ты кто такой, откуда? Москаль?

— Так точно. Русский. Из-под Москвы. Зовут Леонидом. Можно — Леней. А вас как?

Семеро засмущались, ответила старшая:

— Меня — Агриппиной... Гапой. Хохлушка. У нас тут разных кровей. Гляди, как стоят: Галя, Маша, Таня, Лида, Кристина, Ганна, я, — догадливо взглянув на гостя, завершила представление: — А эта дивчина — Оксана, у нас кто Ксанкой, кто Ксюшей зовет...

Они покраснели вместе: Леонид и Оксана.

— От нас ничего не утаишь... Та ты не гадай, что мы на тебя задивились. Ни — на "сидор" твой. Ишь якой гарный.

Действительно, армейский вещмешок был на редкость пузатым. В армейском тылу лейтенанта богато отоварили: четыре буханки хлеба, пять банок американской тушенки, прозванной "вторым фронтом", да еще круг трофейной сырокопченой колбасы, редкостное яство.

— Зачем дело стало, подхарчимся, — промолвил Леонид и шутливо пропел старый армейский сигнал: "Бери ложку, бери хлеб, да садися за обед".

— Якой обед? С утра ни маковой росинки.

Леонид немецким ножом-штыком стал вспарывать консервы, резать хлеб, колбасу. При этом Оксана тихо промолвила:

— Ой, да вы аккуратней, пожалуйста... Такой я и не видала... — А-а, — встретившись с ней взглядами, лихо бросил Леонид: — Большому куску и рот радуется. Да водички нет.

— Канистра целая! — воскликнула Агриппина.

Вольготно расположившись, безбилетные пассажиры уписывали редкостные продукты за обе щеки. Женщины уже не стеснялись гостя, болтали, старались придвинуться поближе к нему. И Леонид подумал: "Как же легко сходятся незнакомые люди" — и по простоте спросил:

— Вы, наверное, в оккупации были, да? — И сразу почувствовал отчуждение. "Какой же я дурак, знаю ведь, как подозрительно относятся к тем, кто находился на территории, занятой врагом. Допрашивают, передопрашивают... Ишь дубина, незваный особист".

— Та, были под немцеми, — зло ответила старшая. — На всю жизнь клеймо. Не мы же остались, нас оставили... Фильтрацию эту прошли, — и, указав на воткнутые в песок большие совковые лопаты, закончила: — Вот они нас и фильтруют от восхода до заката.

Воцарилось молчание. Но вскоре вкусная, обильная еда и виноватый вид лейтенанта растопили ледок обиды. А после позднего ужина потянуло всех к тихой, душевной беседе. Но речи речами, а взгляды молодых женщин все чаще останавливались на попутчике, ласкали юношеское лицо, широкие плечи, крепкую грудь. А он и не замечал ищущих глаз, потому что подолгу глядел на нежную Оксану. Ему тоже хотелось называть ее Ксаной, Ксюшей...

Завечерело. В углах вагона сгустилась темнота. Мерное постукивание колес навевало сонливость. Речи иссякли.

— Вот що, девки, порубали, побалакали, пора и ухо давить, — скомандовала старшая. — Чуть свет лопаты к бою. Бери больше, кидай дальше. Так-то... Этот

угол наш, тут и постелемся. — И поглядев на гостя, продолжила: — А тебе, командир, вот что скажу. Нас восемь, а мужик один. Бог послал за нашу простоту. Ты всем поглянулся...

Краска залила лицо Леонида.

— Ишь зарделся, как панночка. Али не понял, что голодные мы на мужиков... Но тебя не неволим. Сам выбирай... А то, — криво усмехнулась, — разыграем, кому достанется...

Говорила с горечью от одиночества и тоски. Да Леонид и сам понимал их, обойденных судьбой. Думал так, а смотрел неотрывно на Оксану, любуясь голубизной ее глаз, нежными ямочками на щеках, думалось — ланитах, высокой грудью, стесненной застиранным платьицем.

— Да уж ладно, — промолвила Агриппина, — ясно, кто тебе люб. Ксюша... А вы, девицы, идите на свои места согласно купленным билетам. Молодым пора на покой. У командира — шинель, Оксана возьмет мою плащ-палатку, что от фрицев осталась. Да идите стелитесь в том, дальнем углу...

Повинуясь команде старшей, женщины встали. Иные ворчали: "Тебе бы, Гапка, только командывать. Нам, выходит, и доли нет." — "Пусть сам выбирает." — "Да Ксеня и сама не пойдет, скромная она".

Но девушка гордо оглядела подруг, и, словно повинуясь ее взгляду, они смолкли. Оксана взяла у старшей плащ-палатку и посмотрела на Леонида, приглашая следовать в отведенный им угол вагона. Подхватив шинель, Леонид пошел за ней.

— Ну, — прикрикнула Агриппина, — укладывайтесь все. Шнель, шнель... И глаза на молодых не таращить.

Ксения заботливо расстелила плащ-палатку, оглаживая ее как домашнюю простыню. Стоящий рядом Леонид испытывал сложные чувства: волнующую гордость, ведь сама девушка выбрала его, неловкость от ускользающих взглядов ее подруг, от ожидания неизведанного. Но понял, что его затянувшееся молчание нелепо, попытался пошутить:

— Ксюша, — впервые назвал ее, как хотел. — Да ведь нам с тобой одной шинели хватит, она ведь и перина, и одеяло, и подушка, одна за все...

— Ладно уж, — ответно улыбнулась она, — простынка моя, одеяло твое, — и улеглась на плащ-палатку, оставляя для него место. И вот они оказались рядом, лицом к лицу, их дыхания смешались. И первые минуты все это показалось Леониду простым, домашним. Но прошли минуты, и возникло волнение, беспокойство. А вскоре будто ток пробежал по его телу и пресеклось дыхание. Он еле сдерживался от острого желания обнять, прижать к себе девушку. Но вот она сама придвинулась к нему и погладила его шершавой и нежной ладонью по щекам, по плечам, по груди, лаская и успокаивая. И он глубоко вздохнул и благодарно повторил ее движения, удивляясь и радуясь гладкости ее щек, шелковистости волос.

Прошли минуты тихой ласки, и снова бурный поток крови взорвал его сдержанность, и он, почти теряя сознание, с силой гладил, стискивал ее крепкую грудь,

бедра, живот, мужской инстинкт приближал его жадные, ненасытные руки к, казалось, неотвратимому... Но девушка, совершенно не сопротивляясь, нежно лаская его, остановила бешеный порыв. Чем? Кто знает — может, открытостью, беззащитностью, искренней и наивной верой в свою силу и власть над ним, а может быть, беспредельным доверием, смирила его, вернула к неспешной нежности. Казалось, что все созрело для последнего шага страсти, кипела кровь, стучало в висках. Но молодой человек, уже не юноша, еще не мужчина, послушался, повиновался уже не девочке и еще не женщине. И он услышал тихие как шелест, еще не слыханные им слова:

— Милый... Хороший... Мой.

И он отвечал:

— Милая... Самая красивая... Нежная...

Несчитанное время длилась эта сжигающая близость, сдерживаемая страсть. А под утро, утомленные ласками, не размыкая объятий, они заснули. Разбудила их тишина, сменившая стук колес, и громкие голоса Агриппины и подруг:

— Эй, молодые, кончай ночевать! И жалко вас будить, да робить надо.

— Глянь, как парень девицу умаял.

— Может, она его, ха-ха, ха!

— Эх, хоть одной досталось. Мне бы так...

— Выходи, — командовала старшая. — Лопаты на плечо, — и вдруг мягко, тихо спросила: — А хорошо ли, ребята, вам было?

Леонид и Оксана взглянули друг на друга, и их лица разом заполыхали ярким румянцем. Первой нашлась девушка.

— Все, все хорошо было, тетя Гапа, — твердо и радостно ответила она.

— Да, да, очень, очень хорошо... все, все, — подтвердил лейтенант. ...Боже мой, как глупы и непоправимы бывают иные поступки. Ведь он и адреса у девушки не спросил.

Только Леонид вслед за женщинами оставил вагон с балластом, как на соседнем пути притормозил воинский эшелон, и мигом вспомнив о своем опоздании в полк, он запрыгнул на проходящую рядом платформу. Эшелон ускорил ход, и спустя минуты Леонид едва различал Ксюшу в разноцветной женской стайке.

"Адрес? — ударила в голову мысль. — Ее адрес!"

... Много лет и десятилетий прошло с тех пор, а он все вспоминает ту неповторимую нежность и ласку в товарном вагоне летней ночью сорок четвертого. А с годами вспоминает все чаще и чаще.



Стефан Захаров



Стефан Антонович ЗАХАРОВ (1920) воевал на Волховском и 1-м Украинском фронтах с августа 1941 года. Награжден орденом Великой Отечественной войны II степени, медалью "За отвагу".

В 1949 году окончил Уральский государственный университет, преподавал русский язык и литературу в школе. Выступал с краеведческими статьями и заметками в газете "Уральский рабочий" и "На смену!". С возникновением в 1958 году журнала "Уральский следопыт" работал заместителем главного редактора.

С 1969-го по 1992год работал в журнале "Урал" ответственным секретарем.

Первая книга С.А.Захарова увидела свет в 1959 году. С тех пор вышло в свет 14 книг, в большинстве своем адресованных подрастающему поколению.



ПЕРВЫЙ ПОСЛЕВОЕННЫЙ

Весной 1945 года университет в Свердловске получил новое помещение. Война с гитлеровской Германией заканчивалась: Красная Армия приближалась к Берлину, следом передвигались на запад и госпитали, а кое-какие из них в далеком тылу ликвидировались уже совсем. Вот поэтому-то здание свердловской средней школы №11, в котором недавно находился госпиталь №3862, и было передано университету.

В военное время университет ютился в двухэтажном каменном особнячке бывшего Коммунистического института журналистики. Собственные апартаменты университета занял эвакуированный из Ленинграда завод. Приходилось мириться! В те тяжелые годы люди мирились и не с такими производственными трудностями. Преподаватели и студенты это прекрасно понимали. И жили, как говорится, в тесноте, да не в обиде. Лекции на факультетах — а к существующим факультетам добавился еще один, новый — журналистики — читались в три смены. Но аудиторий все равно не хватало. Однако выход и тут нашли: стали заниматься вечерами в соседних школах и в юридическом институте...

И вдруг радостная новость! Университет, кроме химфака, переезжает. Химический факультет со всеми лабораториями оставался на старом месте. Зато остальные!..

Университетская многотиражная газета "Сталинец" 14 апреля 1945 года в передовой статье писала:

"Математики и филологи, физики и журналисты, геологи и историки — все были довольны отведенными для них аудиториями и кабинетами.

Теперь, на первых порах, встретятся еще затруднения. Для нормальной работы не хватает мебели, во многих аудиториях нет электрических лампочек. Только каждому должно быть понятно, что это явление временное..."

Парней в ту далекую пору в университете училось совсем мало. Их, списанных из армии по ранению или не призванных на военную службу по состоянию здоровья, можно было пересчитать по пальцам. Встречались, правда, и недавние школьники, умудрившиеся закончить десять классов раньше положенного срока.

Но в осенние месяцы 1945 года коридоры бывшей средней школы № 11 зазеленели линялыми гимнастерками и кителями. Это вернулись продолжать прерван-

ную учебу демобилизованные солдаты, ефрейторы, сержанты, старшины и офицеры. Собрались фронтовики, правда, не все. Многих, похороненных в братских могилах или пропавших без вести, недосчитались мы тогда. Среди них и мой друг детства, студент исторического факультета Александр Корешков. Вечная им, нашим дорогим товарищам, память!..

Вместе со студентами-фронтовиками продолжали носить военную форму и многие преподаватели. Ходили в кителях Михаил Михайлович Степанович, Николай Павлович Попов, Валентин Михайлович Готлобер. Среди преподавателей факультета журналистики был и известный мне по довоенному литературному кружку Олег Коряков, носивший в то время короткую, выше колен, шинель. Демобилизовался он, правда, несколько позднее. Об одном из преподавателей-фронтовиков говорилось в заметке, напечатанной в "Сталинце" 7 ноября 1945 года:

"Война застала Ивана Алексеевича Дергачева в Свердловске на столь отдаленной от воинского труда должности — помощника декана историко-филологического факультета нашего университета. Здесь он читал лекции по истории литературы и с увлечением готовил диссертационную работу на тему: "Поэты кружка Станкевича". Но закончить ее не пришлось.

Памятный день 22 июня 1941 года. Объявлена война. А четыре дня спустя Иван Алексеевич сменил гражданский костюм на военное обмундирование. Попрощался с женой и детьми. И уже воинский эшелон, поглощая километры, мчит младшего лейтенанта Дергачева на Западный фронт.

Потянулись трудные фронтовые дни. Лейтенант, а затем старший лейтенант Дергачев, командир роты связи, под ураганным огнем противника, под дождем осколков и пуль, рвущих телефонный кабель, умело обеспечивал наши наступающие части бесперебойной связью.

А в перерывах между боями в тесной землянке при слабом мерцании свечи Иван Алексеевич читал вслух стихи Пушкина. Жадно слушали солдаты. Потом опять бои и походы. Ржев, Великие Луки, Новосокольники, Рига — памятные вехи кровопролитных боев, ратного труда-подвига.

Начав войну младшим лейтенантом, Иван Алексеевич закончил ее в звании подполковника. Грудь его украшают ордена Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медали "За боевые заслуги" и "За победу над Германией".

После четырехлетнего отсутствия он вернулся домой. Теперь Иван Алексеевич будет опять читать лекции и спокойно заниматься научной работой: ничто больше не прервет ее. Воин — он сражался за мирный труд историка и литератора. И он победил".[1]

Примерно то же можно было написать и о каждом нашем университетском фронтовике. Но для этого потребовалась бы огромная книга. Поэтому остановлюсь лишь на одном из них, студенте I курса факультета журналистики Василии Аникине.

1 — Позднее И.А. Дергачев стал доктором филологических наук, профессором Уральского университета.

В ноябре 1943 года Аникин командовал стрелковым батальоном и в бою под Любавой потерял правый глаз — выбило осколком снаряда. Однако он не покинул передний край. Фашисты тем временем усилили артиллерийский обстрел, близко от Аникина разорвался термитный снаряд...

Очнулся он лишь в пермском госпитале, тело дико болело, второй глаз тоже был потерян — выжжен. По ночам посещали страшные мысли. И Аникин решил уйти из жизни. Спасли товарищи, даже пристыдили. И тогда недавний командир батальона сказал сам себе:

— Хватит валять дурака! Надо жить!

Из госпиталя его выписали домой, в Тамбовскую область. И вот оттуда, задумав получить высшее образование, он отправил заявление и документы в Уральский университет. Ответ долго не приходил, и Аникин решил, что документы затерялись при пересылке. Что делать? Вместе со своим школьным учителем фронтовик поехал в Москву, в Народный комиссариат просвещения. Рассказал все о себе, о своем желании учиться и получил направление в Свердловск. Вступительные экзамены Аникин, несмотря на четырехгодичный перерыв в учебе, успешно сдал.

Я до сих пор помню его, с черной повязкой на глазах и с орденами Красного Знамени и Красной Звезды на гимнастерке. Вокруг Аникина в перерывах между лекциями всегда собирались студенты, слышался смех, шутки. Лекции он записывал какими-то особыми значками, понятными лишь ему, и говорил, что по-настоящему соскучился по учебе. Под жилье Аникину в университете отвели маленькую комнату на втором этаже. После занятий гости-однокурсники засиживались в ней до позднего вечера, до той поры, пока хозяин не собирался ложиться спать...

С первых дней мы усердно принялись грызть гранит науки. Рядом с нами в аудиториях сидели девчата на несколько лет моложе нас. А наши сверстницы к тому времени уже закончили университет, и некоторые из них были оставлены ассистентами на кафедрах. Вот эти-то ассистенты, волнуясь и краснея, стараясь держаться как можно солиднее, вели теперь практические программные занятия со своими довоенными товарищами. Но были среди студенток и девчата-фронтовички. Могу назвать А.Селезневу, З.Литвиненко, Е.Рябухину, Л.Маргорину, О.Вайнер.

Расширялась в новом здании научная и учебная база университета: заново оборудовались методические кабинеты, мастерские, пополнялась библиотека. На факультете журналистики открылась фотолаборатория. Заведовать ею пригласили человека, довольно известного на Урале.

Еще лет сорок тому назад на улицах Свердловска частенько появлялся коренастый мужчина с рыжей бородой, тронутой проседью. На боку у него висел деревянный ящик. Остановившись около какого-нибудь древнего здания, он доставал из ящика фотоаппарат, укреплял его на штативе.

Это был старый газетчик, фотокорреспондент Леонид Михайлович Сурин, объездивший весь Урал. В Свердловске в послевоенные годы ни одно торжество или большое событие не обходилось без Сурина. Он неизменно дежурил со своей вер-

ной фотокамерой около трибуны или сцены. Пропускали его без всяких пригласительных билетов; за мандат, как шутил сам Сурин, сходила рыжая борода.

В 1924 году Леонид Михайлович Сурин впервые поместил свои снимки в екатеринбургском журнале "Товарищ Терентий". И с этого времени железнодорожный телеграфист стал профессиональным фотокорреспондентом. Он снимал и первые тракторы на Урале, и закладку Уралмаша, и приезд в Свердловск Вильгельма Пика, Владимира Маяковского, Серго Орджоникидзе. А сколько после его командировок появлялось фотографий, посвященных Магнитке, ЧТЗ, чусовской нефти, Кизеловскому угольному бассейну... Да, пожалуй, всего и не перечислишь. Благодаря Сурину мы имеем в наши дни богатейшую фотолетопись довоенных пятилеток Урала. В 1928 году Академия художественных наук организовала выставку советской фотографии. И Леонид Михайлович Сурин был удостоен похвального отзыва "за фотографии, экспонированные по отделу фоторепортажа".

В университете Сурин горячо взялся за дело. В лаборатории организовал фотовыставку, притащил из дома фотожурналы и учебники по фотографии, частенько на виду у нас колдовал над своей аппаратурой, ругая при этом "лейки". Их он почему-то не признавал. Кроме фотографии, у него была еще одна страсть: шашки. И студенты, забегавшие в лабораторию, а ее двери всегда были открыты не только для журналистов, охотно сражались с ним. Ради справедливости стоит заметить, что выигрывали они редко.

Но когда Сурин проводил факультативные занятия по фотографии, на дверях лаборатории появлялась пришпиленная кнопками бумажка с надписью: "Просьба не входить. Идет учеба"...

Надо сказать, что в то время мы изголодались не только по учебе. Мы чохом записывались и в самодеятельные и спортивные кружки, и во всевозможные научные общества, любили ходить после занятий на консультации к преподавателям, делали доклады, писали рефераты, устраивали обсуждение спектаклей свердловских театров. Кудрявый первокурсник Анатолий Трабский, имевший орден Славы и воевавший под Ленинградом, штудировал горьковскую поэму-сказку "Девушка и Смерть", анализируя каждую ее строчку, Юрий Абызов увлекался стихами польского поэта Юлиана Тувима. По сути дела, он открыл его для нас: с абызовскими переводами Тувима мы знакомились на полосах "Сталинца".

Но особенно много было среди фронтовиков "писателей": поэтов, прозаиков и даже драматургов. Сначала они собирались от случая к случаю на лестничных площадках, в пустых аудиториях и читали друг другу свои произведения. Особенно выделялся Лев Румянцев. Когда 25 октября 1945 года состоялось первое заседание вновь созданного литературного кружка (для солидности его назвали литературно-критическим), Румянцев выступил с чтением своих стихов и отрывка из поэмы.

Если литературный кружок университета собирался от случая к случаю, то в Доме литературы и искусства постоянно проходили "литературные четверги". На них стоит остановиться подробнее.

Возникли они еще в военное время, когда в Свердловске находилось много эвакуированных писателей из Москвы и Ленинграда. Председательствовал на этих "четвергах" поэт Константин Гаврилович Мурзиди, попавший на Урал из Крыма еще в начале тридцатых годов. По Свердловску почему-то гуляла строчка из эпиграммы, написанной тогдашним редактором газеты "Уральский рабочий" Львом Степановичем Шаумяном:

"Ты еще успеешь стать Мурзиди..."

Проходили "литературные четверги" в комнате, отведенной в ДЛИ Свердловскому отделению Союза писателей, за большим овальным столом. Если народу собиралось порядочно, то перебирались в актовый зал. На "четвергах" можно было услышать и маститых писателей, и начинающих литераторов. Но и те, и другие страшно волновались: как примут слушатели их новые произведения?

Юрий Абызов рискнул прочитать там свои переводы.

Когда после демобилизации я вернулся в университет, то неожиданно встретил там нашего школьного учителя Льва Васильевича Хвостенко в должности ассистента кафедры зарубежной, или, как тогда говорили, западной литературы. Бывшему учителю было доверено чтение лекций по истории литературы средних веков на младших курсах филфака. Отец Хвостенко в двадцатых годах был сотрудником советского торгпредства в Англии, и Лев Васильевич несколько лет жил в Лондоне. Английским языком он владел в совершенстве, понимал и по-французски и удивлял своих учеников тем, что читал в подлинниках Конан-Дойля, а со словарем и Дюма.

Со своей женой учитель в годы войны развелся и теперь был не прочь поухаживать за молоденькими студентками. Я даже сочинил о нем несколько шуточных песен, одна из которых начиналась так:

Зачем ты, Ирина — студентка,
Красавица с русой косой,
Пленила поэта Хвостенко,
Как демон, коварный и злой...

В университете Хвостенко, как и прежде в школе, больше вращался среди молодежи, и Юрий Абызов именно от него услышал об английском поэте Роберте Сервисе. Скоро мы узнали, что ассистент кафедры западной литературы и студент филфака занимаются переводами стихов незнакомого нам поэта. По отзывам тех, кто слушал или читал эти переводы, у Абызова получалось куда ярче, чем у Хвостенко. И ободренный студент-переводчик решил вынести свой труд на более строгий суд, чем мнение товарищей, — на "литературный четверг". Хвостенко, узнав о смелом шаге, тоже не струсил и последовал примеру Абызова.

Пожалуй, ни на одном "четверге" я не видел столько публики. Зал был забит до отказа. Хорошо помню, как в ближних к сцене дверях стоял, хотя ему все время предлагали и уступали место, Павел Петрович Бажов, держа курительную трубочку. Конечно, мы, студенты, "своего" понимали лучше, чем ассистента. Да, по правде сказать, и читал он выразительнее и эмоциональнее.

Чтобы дать хотя бы маломальское понятие о Роберте Сервисе как о поэте, в переводе Юрия Абызова, приведу одно из стихотворений, прозвучавшее на "четверге". Называется оно "Вышедший из игры".

Коль в глуши ты забыт, и в упор смерть глядит,
И от страха дрожишь, как малец,
И грызет тебя боль, — как советует Хойл,
Нажми на курок... и конец.

Но кодекс гласит: бейся, сколько есть сил,
И с собою кончать не смей!
В голод и мрак легче нет умирать,
Но быть завтраком черту — трудней.

Ты не в силах играть! — и не стыдно сказать!
Ты же молод, силен и умен!
Карты плохи пришли — ну и что ж, не скули!
Вдрызг разбейся, но стой на своем.

Только нынче не трусь — завтра выпадет туз.
Так держись же, дружище, злей!
Зубы стисни и стой. Кончить легче с собой,
Подбородок держать вверх — трудней.

Легче нет зареветь, проиграв, умереть
Иль бессильно по жизни ползти,
Но бороться, когда нет надежды следа, —
Лучше этой игры не найти!

Пусть совсем чуть живой ты из драки злой
Ускользнул весь помятый — смелей.
Попытайся опять! Пистолет легко взять,
Удержать жизнь — гораздо трудней.

Концовка "Вышедшего из игры" в абызовском переводе явно смахивала на концовку стихотворения В.Маяковского "Сергею Есенину", но в тот вечер подражания никто не заметил.

"Положительную оценку получили переводы стихотворений Сервиса, сделанные Ю.Абызовым, — писалось через некоторое время в "Сталинце". — Выступившие в обсуждении писатель П.П.Бажов и преподаватель И.Г.Кантарович отметили их высокое мастерство".

После "четверга", столь для него знаменательного, Абызов, распахнув свою старую шинель, гордо ходил по холодным университетским коридорам. Сегодняшним студентам это может показаться странным, а нас, тогдашних питомцев УрГУ, это не удивляло. В первые послевоенные годы на Урале долго стояли жуткие холода, а каменный уголь и другое топливо все еще поступало в Свердловск в мизерном количестве. Последствия недавних лет продолжали сказываться. На лекциях в университете коченели руки, замерзали чернила. Преподаватели и студенты не снимали в аудиториях шинели и пальто. Исключением был лишь профессор Г.А.Кур-

санов. Не считаясь с морозом, он всегда появлялся на кафедре в аккуратно выутюженном костюме, а шубу обычно небрежно бросал на спинку какого-нибудь стула.

Хорошо умел разогревать нас Михаил Яковлевич Сюзюмов. Я знал его еще молодым, завучем средней школы №11. И помнил не только его интересные уроки (Михаил Яковлевич преподавал историю) и доброе отношение к своим воспитанникам, но и филателистический кружок, который он вел. В начале тридцатых годов коллекционирование не было таким массовым и модным, как сейчас, особенно среди взрослых. Михаил же Яковлевич стал одним из его пионеров на Урале. Занятия в филателистическом кружке он проводил в выходные дни, и на них сходилось чуть ли не полшколы. Это было как бы продолжением уроков. Михаил Яковлевич имел интересные тематические альбомы, где наряду с почтовыми марками были собраны различные иллюстрации, исторические документы,географические карты.

Я до сих пор помню занятие нашего кружка, когда Михаил Яковлевич рассказывал о франко-прусской войне и Парижской коммуне, подкрепляя рассказ содержимым своего альбома.

Зимой 1945/46 годов он вел на втором курсе филфака латынь. Многим латынь представляется предметом нудным и ненужным. Но, наверное, только потому, что ее им преподавал не Михаил Яковлевич. Его лекции в промерзлой аудитории проходили так же живо, как когда-то в этом же здании занятия филателистического кружка. Снова огромное количество иллюстративного материала, книг... Михаил Яковлевич цитировал наизусть латинские стихи, изречения, учил нас петь по-латыни студенческий гимн "Гаудеамус".

Когда занятия кончились и подошли экзамены, нам, честное слово, было грустно расставаться с латынью, с Михаилом Яковлевичем. Когда же прозвенел прощальный звонок, мы преподнесли на память нашему преподавателю большой портфель, украшенный металлической пластинкой, на которой было выгравировано латинское изречение.

Прочитав это изречение, Михаил Яковлевич рассмеялся. Оказалось, мы в тексте кое-что переврали.

— Как же вы будете сдавать экзамены? — ужаснулся он.

Но экзамены мы сдали хорошо. Позднее Михаил Яковлевич Сюзюмов стал одним из крупнейших специалистов по истории Византии и средних веков, доктором исторических наук, профессором. И новое поколение студентов УрГУ продолжало его любить так же, как и мы...

В октябре 1945 года, когда наш университет отмечал двадцатипятилетие со дня основания, батареи центрального отопления в здании малость затеплились. О годовщине в Свердловске не забыли: в театре оперы и балета состоялось торжественное заседание. Интересно, что открытие Уральского университета 8 января 1921 года проходило здесь же, в этом же самом театре.

Но после праздника в УрГУ вновь начал гулять мороз, и студент Глеб Пиньжаков сочинил двустишие:

Отгремели дни юбилея,
Перестали греть батареи!

Поместил он свое творение в стенной газете, которую сам и выпустил, и приколотил на стенку. Все остальные материалы в той газете были сочинены и проиллюстрированы тоже им. Например, как Абызов и его друг Валентин Матвеев ехали в университет на крыше троллейбуса. (Той зимой мимо УрГУ впервые пошли карликовые, не похожие на нынешние, троллейбусы.)

Хоть Глеб и потерял на войне кисть левой руки, энергия в нем била через край. Человек он был необычайно активный и жизнерадостный, и не случайно его выбрали членом бюро Октябрьского райкома ВЛКСМ. Кисть левой руки Глебу оторвало под Ленинградом, на так называемом "Невском пятачке", где служил он минером, в саперном батальоне. Ему, по словам сослуживцев, долго везло. К 1943 году в роте, с которой Глеб прибыл на "пятачок," никого из старых боевых товарищей не осталось. Одни погибли, другие лежали в госпиталях. Глеб же выходил сухим из воды.

— Двужильный ты, парень, что ли? Видно, в рубашке родился, — с завистью говорили ему.

К сожалению, пришел черед и "рожденного в рубашке". Части Ленинградского фронта двинулись в наступление, плацдарм "Невского пятачка" увеличился. Саперам круглые сутки приходилось расчищать линии вражеских траншей.

В один день, так похожий на другие фронтовые дни, Глеб успешно разминировал сто пятьдесят шесть мин, однако сто пятьдесят седьмая оказалась ловушкой, без взрывателя...

Через год, выписавшись из госпиталя, Глеб Пиньжаков окончил десятый класс школы рабочей молодежи (до войны — не успел) и поступил на первый курс филфака УрГУ...[1]

Лично мне, как я уже упомянул, новое здание университета было хорошо известно и раньше. Я учился в нем с третьего по седьмой класс, когда здесь еще размещалась средняя школа №11. Был знаком и с актовым залом, пристроенным к южному крылу. В младших классах для нас там демонстрировали немые фильмы "Красные дьяволята", "Будьте такими" (киноинсценировка повести А.Гайдара "Р.В.С."), "Девятое января", "Машинист Ухтомский", "Кастусь Калиновский", затем смотрели мы и первые звуковые — "Встречный", "Первый взвод" и другие.

Имелась в актовом зале объемистая сцена с боковыми колоннами и с вместительными кулисами, на которой учащиеся ставили неплохие спектакли. И в один из ноябрьских дней 1945 года, прочитав в вестибюле на доске объявление о начале занятий драматического кружка УрГУ, я, вспомнив былое, тут же в него записался. Руководителем кружка пригласили Евгения Александровича Прасолова, молодого, круглолицего, в роговых очках, актера местного театра драмы.

В назначенный день желающие блистать на университетской сцене в смущении собрались в актовом зале. Прасолов, строго оглядев нас через очки, предложил

1 — 14 яиваря 1976 года я прочел в газете "Уральский рабочий": "Имя Глеба Васильевича Пиньжакова хорошо известно велосипедистам и любителям гонок на шоссе. Вот уже 28 лет ои судит состязания велогонщиков самого разного раига... Спорткомитет СССР присвоил Г.В. Пиньжакову, первому в Свердловске, почетиое звaиие судьи всесоюзиой категории по велосипеду".

каждому прочитать наизусть какое-нибудь стихотворение. Тем же, кто испуганно начал бормотать, что ни строчки не помнит, он сказал:

— Ничего... Возьмите книгу, по книге прочтете прозаический текст...

Как я догадался, руководитель кружка проверял нашу дикцию и, кроме того, наверно, хотел о каждом как об "артисте" иметь собственное мнение.

Мне внимание привлекла сидящая неподалеку небольшого роста девушка с огромными черными глазами и длинными косами. В послевоенные годы косы мало кто носил, в основном предпочитали короткую стрижку. Девушку эту я мельком замечал в перерывах между лекциями. Училась она на первом курсе филфака вместе с Глебом Пиньжаковым, а я, демобилизовавшись, пришел на второй курс этого факультета.

Фамилии и имена читавших Прасолов записывал в особую тетрадку.

— Как вас зовут? — спросил он, когда девушка с черными косами смело, в отличие от других, заявила, что будет читать письмо Татьяны из "Евгения Онегина".

— Муза Бойко, — ответила девушка и приветливо улыбнулась.

Читала Муза, как и Валерия Поморцева, поднявшаяся на сцену вслед за ней, по сравнению с остальными вполне прилично. Выяснилось, что они занимались в драматическом кружке Дворца пионеров. Прасолов остался доволен и, одобрительно хмыкнув, что-то внес в тетрадку.

Дошло наконец дело и до выбора пьесы. Предложений со всех сторон посыпалось много. Но Прасолов прекратил спор, сказав, что есть прекрасная, почти водевильная пьеса о студентах "Свадебное путешествие".

Я эту пьесу знал, видел в постановке Центрального театра транспорта. Ее еще до войны написали В. Дыховичный и М. Слободской; с музыкой Н.Богословского "Свадебное путешествие" потом долго шло в театрах оперетты, а Центральное телевидение показало даже по этой пьесе телеспектакль "Жили три холостяка..."

Когда на следующей встрече Прасолов прочел "Свадебное путешествие", все мы дружно проголосовали "за". Правда, ролей в пьесе было не особенно густо, но Прасолов нас успокоил, пообещав приготовить три состава исполнителей.

— Ставить спектакль придется не раз, не два, поверьте мне, — авторитетно изрек он...

В самом начале репетиций выяснилось, что у кого-то роли получаются лучше, а у кого-то чуточку похуже. Но быть дублером никто из самодеятельных артистов не желал, считал ниже своего достоинства. И через некоторое время в кружке остался лишь первый состав.

Я играл студента Марка Громова. Партнершей моей была Муза Бойко. Марк и его друг студент Андрей Птицын (Михаил Городенцев) боялись, что их третий товарищ по общежитию Костя (Юрий Ганов) женится. Поэтому по хитрому предложению Андрея Марк объявлял себя женатым человеком (Андрей уговорил аспирантку Настеньку изображать его жену) и демонстрировал Косте все "прелести" семейной жизни. В финале оказывалось, что Косте эти дурацкие прелести демонстрировать не требуется: он уже давным-давно женат. А Марк... Марк по ходу пьесы по уши влюблялся в Настеньку, а Настенька — в Марка.

У Прасолова оказались незаурядные режиссерские способности, репетиции проходили всегда интересно, с огоньком. И вдруг однажды на очередном нашем занятии я неожиданно увидел в задних рядах зала Сурина: он решил выпускать университетскую стенную фотогазету и искал для нее сюжеты. Наша репетиция старику понравилась.

На следующий раз в зале с фотокамерой появился ассистент Сурина, его правая рука, мой однофамилец, студент факультета журналистики Владимир Захаров. Он выбрал выразительные, со своей, конечно, точки зрения, моменты из репетиции и заснял их...

Когда негативы были проявлены и пробные карточки отпечатаны, в фотолаборатории разразился неслыханный и невиданный доселе скандал.

— Ты что натворил? — возмущенно кричал Сурин в моем присутствии на Владимира Захарова. — Не знаешь, что ли, чему должно учить человеческое фотоискусство!

Бедняга растерянно моргал глазами. Да и было отчего моргать. На фотографиях оказались запечатленными одни лишь ссоры, похожие на драки. Дело кончилось тем, что я и Владимир пулей вылетели из лаборатории, отыскали в читальном зале библиотеки Музу, привели ее к грозному Сурину и смиренно били челом, чтобы он самолично сфотографировал что и как положено.

По инициативе комсомольцев первого курса филфака в актовом зале еще в декабре был проведен своеобразный вечер-спайка вновь принятых студентов. Наш декан Леонид Семенович Шептаев согласился выступить на нем с юмористической лекцией "Студенческий фольклор". Он читал филологам спецкурс "Русский стих XVII века" и все события того далекого столетия обязательно связывал с историей стихосложения. Кроме того, Леонид Семенович занимался изучением текстов древней русской литературы, а впоследствии стал доктором филологических наук, большим специалистом по народному творчеству, жил и работал в Ленинграде. У меня на книжной полке до сих пор стоит сборник "Русская частушка", изданный в серии "Малая библиотека поэта", с его предисловием.

Хочу назвать еще двух преподавателей: А.Н. Пятницкого и М.А. Горловского (их, к сожалению, уже нет в живых). Они всерьез взялись за изучение истории Екатеринбурга-Свердловска, став инициаторами проведения научных университетских конференций, посвященных нашему городу. На конференциях бывал Павел Петрович Бажов, его давно интересовала история Урала и Свердловска. Позднее в дневниковой записи Бажова, датированной 15 декабря 1945 года, я прочитал:

"Декретом от 19 октября 1920 года здесь (в Екатеринбурге — *С.З.*) организован университет. Правда, недостаток профессорских кадров для наук гуманитарного характера внес в это дело свою поправку. В университете легко возникали факультеты технического порядка, которые дальше отпочковывались в специальные институты, но такие, как исторический, филологический, стали заметными лишь в последние пять лет. Печальным показателем надо признать, что за двадцать пять

лет своего существования Уральский университет не дал ни одной фундаментальной монографии по Уралу". (Бажов П.П. Соч. Госуд. изд-во художественной литературы, 1952, том 3. С. 316.)

И именно одним из результатов тех конференций послевоенных лет стали выпуски "Ученых записок" нашего УрГУ, где печаталось много статей по истории Урала и Свердловска...

Но снова возвращаюсь к далекому декабрьскому вечеру первокурсников. После лекции Шептаева начались сольные выступления студентов с самодеятельными номерами. А в заключение Муза Бойко и я показали скетч "Астры и георгины". Нам на другой день говорили, что мы по-настоящему разогрели зрителей, победив своим темпераментом царящий в актовом зале холод.

Можно считать, что скетч у нас действительно получился. Мы показывали его потом на избирательных участках во время первых послевоенных выборов в Верховный Совет СССР и на общегородском студенческом вечере в дни зимних каникул в клубе имени Дзержинского. После же, воодушевленные успехом, дерзнули на большее, решив поставить чеховский водевиль "Медведь". Прасолов идею активно поддержал. Но для "Медведя" требовался еще один участник, и им стал студент первого курса факультета журналистики Владимир Бежков. Он согласился играть старого лакея Луку.

У Бежкова был мягкий глуховатый голос, спокойные, плавные движения. Перевоплощаться в людей пожилого возраста, хотя он и был младше меня на шесть лет, ему удавалось вполне. Луку в "Медведе" Бежков играл в сто раз лучше, чем его старший партнер главного героя, никого не копировал, опирался лишь на свои природные данные. А я, теперь по прошествии многих лет можно признаться, хотел быть похожим на Михаила Жарова. Однако результат получился плачевным, ведь любая копия всегда хуже оригинала. И после первого представления "Медведя" теперешний доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР Лев Наумович Коган (в ту пору лишь аспирант Ленька Коган) заявил, что я в роли отставного поручика Смирнова напоминаю ему Женьку Шермана. Был тогда в УрГУ такой студент, еще мой соученик по школе № 152, с хриплой неразборчивой дикцией и диким хохотом. Конечно, в члене Союза писателей, возглавлявшем в 80-е годы Тюменскую писательскую организацию, командире зенитного дивизиона кавалерийского корпуса Плиева, огромном бородатом Евгении Григорьевиче Шермане-Ананьеве нелегко было признать худенького парнишку, каким он был в школе. Но ради справедливости следует сказать, что хохот и дикция у Евгения Григорьевича оставались прежними.

Бежкову же актерские способности помогли впоследствии стать прекрасным корреспондентом Свердловского радио и ведущим радиожурнала "Край наш рабочий". К несчастью, ранняя смерть прервала его интересную журналистскую деятельность в эфире...

Хотя отставной поручик Смирнов у меня и не получился, все же "Медведя" было решено вынести на первую послевоенную общеуниверситетскую олимпиаду художественной самодеятельности. На это нас благословил студент исторического фа-

культета Михаил Главацкий, который по совместительству был заведующим клубом УрГУ. Теперь он доктор исторических наук, профессор в родном университете.

Председателем жюри олимпиады назначили моего старого знакомого Хвостенко. Позднее в статье "Итоги смотра самодеятельности", напечатанной в "Сталинце" 23 апреля 1946 года, он отметил, что "гуманитарные факультеты дали наибольший процент участников". Среди особо отличившихся Хвостенко назвал и члена вокального кружка университета Геральда Топоркова. Геральд Топорков учился в то время на первом курсе истфака. В Свердловск он приехал из Богдановичского района, из деревни Ляпустино. Музыку любил с детства, самоучкой овладел игрой на народных инструментах. В университете все свои свободные часы Геральд проводил у старинного пианино, которое ютилось в коридоре перед актовым залом. Досталось это пианино УрГУ в наследство от военного госпиталя. Топорков с преогромным удовольствием стучал одним пальцем по клавишам допотопного музыкального инструмента и был в восторге от неясных звуков.

Со второго курса Топорков ушел из университета в Свердловское музыкальное училище, затем окончил Уральскую консерваторию имени Мусоргского. В консерватории он занимался композицией в классе профессора В.Н. Трамбицкого. В семидесятые годы заслуженный деятель искусств РСФСР Геральд Топорков возглавлял Уральское отделение Союза композиторов. Но начинал он свою музыкальную деятельность в УрГУ. Его песню "Тополек" поют до сих пор, хотя ее автора, к большой печали, нет среди нас.

Кроме Шермана, встретил я в университете еще одного своего соученика по школе № 152, Владимира Курочкина. В старших классах мы посещали с ним драматический кружок при клубе строителей. Теперь в этом несколько переделанном здании помещается Свердловская киностудия.

В пьесе В. Киршона "Чудесный сплав" мы играли молодых инженеров. Он — Гошу, а я — эстонца Яна Двали. Роль эта досталась мне из-за моего роста. По пьесе Ян Двали должен быть обязательно высоким. А ныне покойный фронтовик Валерий Кочнев играл в той пьесе директора научно-исследовательского института.

"Чудесный сплав" — комедия. Репетировать ее было весело, да и на спектаклях зрители от души смеялись, особенно когда Гоша, оставшись по ходу действия без брюк, боялся встать из-за стола. Затем наш драмкружок стал готовить "Славу" В. Гусева. Курочкин репетировал роль военного инженера Мотылькова, я — комдива Очерета...

Отец Курочкина пел в оперном театре. Я до сих пор не могу забыть его Щукаря в опере "Поднятая целина". Мне кажется, что не всякий драматический актер мог бы перевоплотиться так в шолоховского деда. Мать Курочкина была концертмейстером в том же театре. А вот их сын после десятилетки поступил в индустриальный (после политехнический) институт. Но закончить институт ему не удалось, призвали в армию.

В годы войны Курочкин служил на Дальнем Востоке, одно время участвовал в военном ансамбле песни и пляски, был в нем конферансье. Как-то впоследствии он вспоминал одну из тогдашних своих реприз:

— В Москве каждый день победные салюты, а Геббельс радуется. Как, дескать, хорошо! Пусть русские тратят снаряды и порох на это дело. В конце концов у них снарядов и пороха не останется, и войска фюрера вновь перейдут в наступление...

После демобилизации Курочкин не вернулся в индустриальный институт, а стал студентом факультета журналистики УрГУ. Но тут-то отцовская кровь в нем и заиграла! При Свердловском драматическом театре в то время существовала актерская студия, и Курочкин, переведясь на заочное отделение университета, поступил туда.

В дипломном спектакле он великолепно справился с ролью машиниста Нила в горьковских "Мещанах". Никто и не предполагал, что Курочкин изменит драме. Однако вскоре я увидел его на сцене оперетты. Видимо, сказались навыки эстрады, полученные в ансамбле песни и пляски. Да и в школьную бытность на праздничных вечерах Курочкин всегда выделялся: мы любили смотреть, как он танцевал со своей соученицей Раей Гумаровой.

В шестидесятые—семидесятые годы Владимир Акимович Курочкин, выпускник нашего университета, народный артист СССР, был главным режиссером Свердловского театра музыкальной комедии (а позднее — Московской оперетты). Однажды я спросил его:

— Что потянуло тебя после школы в индустриальный институт?

— Дух противоречия, — подумав, ответил он. — Хотел доказать, что Курочкины могут быть и вне театра... Только, как видишь, ничего не получилось...

17 апреля я пришел в актовый зал не на репетицию. В тот день здесь состоялось торжественное вручение участникам Великой Отечественной войны медалей "За победу над Германией". Военный комиссар Октябрьского района капитан Стенин вручил правительственные награды семидесяти четырем студентам, преподавателям и сотрудникам университета.

Во втором полугодии студентов-фронтовиков на курсах стало еще больше. Демобилизация армии продолжалась, а Уинстон Черчилль, бывший премьер-министр Великобритании, в речи, произнесенной в Фултоне пятого марта, вещал, что земному шару угрожает опасность новой мировой войны и что причиной этой угрозы будто бы становится СССР и международное коммунистическое движение. Человечеству, по мнению Черчилля, следовало как можно скорее объединиться под англо-американским руководством и силой предотвратить "советскую угрозу"... Да, не таким-то безоблачным оказалось небо в первый мирный год.

Речь Черчилля, положившая начало эре "холодной войны", вызвала глубокое возмущение во всей нашей стране. Гневно гудел Уральский университет:

— Что, он хочет нас запугать? — говорили те, кто совсем еще недавно боролся на фронтах с фашистами. — Хочет стать вдохновителем нового похода против СССР? Пусть только сунется!.. Мы ведь еще в шинелях!..

Страна в те месяцы усиленно залечивала раны, нанесенные войной. В высших учебных заведениях на всех курсах изучали Закон о пятилетнем плане восстанов-

ления и развития народного хозяйства на 1946—1950 годы. Ректорат нашего университета обязал кафедры марксизма-ленинизма, политической экономии и философии обеспечить проведение лекций и семинарских занятий по этому предмету. В то же время мы активно помогали благоустраивать Свердловск, озеленять его. Улица Куйбышева в районе между улицами Луначарского и Розы Люксембург была приведена в порядок студентами УрГУ. А сколько нами было посажено деревьев около здания самого университета! Ныне эти тогдашние кустики превратились в великанов...

Среди тех, кто вернулся в УрГУ на факультет журналистики в середине учебного года, был и Иосиф Герасимов, или, как мы его запросто звали, Оська. Я с ним хорошо был знаком еще до войны, хотя мы и учились в разных школах, помнил как поэта. Стихи он писал лирические. Например:

Люба, Люба! Я тоскую!..
Имя Люба — есть любовь.

Теперь поэт-лирик узнавался с трудом: возмужал, стал выше ростом, голос его окреп. На синей гимнастерке (где он ее только раздобыл?) алели боевые ордена. Оказалось, что на фронте Оська был разведчиком. Стихов он уже не сочинял, перешел на прозу. В "Сталинце" начали печататься его военные рассказы и солдатские сказки. А скоро по университету пополз слух, что Иосиф задумал написать повесть "Студенты".

Преуспел бывший разведчик и в личной жизни. Неожиданно для нас он женился. Студентка с его курса Капа Кожевникова стала его женой. Пожалуй, на моей памяти это было первое послевоенное бракосочетание в УрГУ. Потом, через год, у них родилась дочка Таня, и молодые родители ходили на занятия по очереди. Один нянчился с ребенком, а другой в это время слушал и конспектировал лекцию...

Когда появилось объявление, что в такой-то день, в такой-то час Иосиф будет читать отрывки из своей повести "Студенты", то в большой аудитории яблоку, как говорится, негде было упасть. Сидели даже на подоконниках, а один чудак расположился прямо на полу.

Наконец автор, строго оглядев присутствующих, откашлялся и попросил абсолютной тишины. Все смолкли и приготовились слушать. Что-что, а читать на публику университетский писатель умел. Я в свое время видел Оську на сцене. Он очень хорошо играл старого моряка Жевакина в гоголевской "Женитьбе", поставленной драмкружком школы, в которой тогда учился.

"Хлопнула дверь, — с места в карьер начал Оська, — Миша торопливо побежал в переднюю. Костя и Сергей молча стаскивали с себя шубы, покрытые инеем..." Рассказывалось в повести о студентах, вернувшихся с фронта. Один из героев, Костя, очень напоминал самого автора. Продолжалось чтение где-то часа два. Наконец Оська охрипшим голосом произнес:

— Пока все!

Став известным писателем, автором многих романов, повестей, сценариев, награжденный к своему шестидесятилетию орденом Дружбы народов, Иосиф Герасимов не забывал Уральский университет. В одной из статей он писал:

"Мы жили студентами, еще не отойдя от боев, от фронтового быта, и не замечали лютой стужи в университетских аудиториях, были привычны к голоду, рваным сапогам. Заметили все это уже потом, когда закончили университет.

В романе "Предел возможного" ("Новый мир", 1979) мне нужно было описать молодость героев и вспомнить именно те дни. И общежитие, куда я приходил, и знаменитого коменданта Старуху Изергиль, и как девочки кричали по утрам, отрывая примерзшие за ночь к железным кроватям волосы, и как ходили в общую баню — там было тепло — готовиться к семинарам. Все это есть в романе. А это о "нашем университете"...

Радостно и шумно прошел в Свердловске первый послевоенный майский праздник. Сейчас, конечно, трудно вспомнить все его подробности. Но два эпизода я до сих пор не забыл: солисты оперного театра имени Луначарского, певшие в актовом зале УрГУ на первомайском концерте, были с новенькими медалями "За доблестный труд в Великой Отечественной войне", а во время военного парада на площади 1905 года в последний раз на рысях прошли сорокапятки в конных упряжках. Больше конную артиллерию в нашем городе я не встречал.

В День Победы драматический кружок университета наконец-то показал "Свадебное путешествие". Спектакль часто прерывался дружными аплодисментами, в зале стоял несмолкаемый смех. Смотреть пьесу из студенческой жизни да еще в исполнении своих же товарищей было, конечно, занятно.

"Артистов" аплодисменты явно подогревали. Мне, например, казалось, что ролью Марка Громова я беру реванш за "Медведя". Дуэтные сцены Марка с Настенькой принимались на "ура". Не слабее нас выглядела и другая молодая пара: Андрей (Михаил Городенцев) и дочка профессора Зоя (Рита Бобина). Да и сам профессор (Владимир Бежков) с первого своего появления завоевал симпатии зрителей. Не подкачал и Юрий Ганов в роли студента Кости, и его партнерша, которой была Тамара Крылова...

Во всяком случае, спектаклем остались довольны и те, кто смотрел, и те, кто играл. Муза и я подарили Прасолову фотографию, сделанную Суриным.

Очевидно, занимаясь с нами, Прасолов пробовал свои силы в режиссуре. Через несколько лет он окончил в Москве Высшие режиссерские курсы и дебютировал в местном драматическом театре постановкой пьесы "За здоровье молодых", посвященной тоже студентам. Ну, а в мае 1984 года в Свердловск на гастроли приезжал Алма-Атинский ТЮЗ. Главным режиссером там был заслуженный деятель искусств Казахской ССР Е.А.Прасолов.

А Муза? Музу по-настоящему увлекла сцена, и, выдержав в августе приемные экзамены в театральный институт (существовало в послевоенном Свердловске такое высшее учебное заведение), она перешла туда.

Я в это время находился в альпинистских лагерях на Северном Кавказе и, вернувшись, не застал в УрГУ ни ее, ни Юрия Абызова. Отца Абызова перевели на работу в Ригу, и вместе с ним уехал и Юрий. Закончив там местный университет, он был впоследствии принят в члены Союза писателей. У меня есть книжечка из серии "Малая библиотека поэта" "Поэты Латвии". Ряд стихов Леона Паэгле (1890-1926) переведены в ней Юрием Абызовым. А в нашем журнале "Урал" в девятом и десятом номерах за 1983 год печатался в его переводе роман латышского писателя А.Колбергса "Вдова — и месяц январь".

Муза Бойко, став актрисой, играла в театрах Иркутска, Нижнего Тагила, Орска... Да куда только, в какие города не бросала ее перелетная актерская судьба. А расставшись со сценой, она работала в Свердловском Дворце пионеров, где в школьные годы начиналась ее жизнь в искусстве. Руководила пионерским театром миниатюр, получила знак "Отличник народного просвещения"...

Но я, кажется, забежал немного вперед... Следует возвратиться обратно, к началу осени 1946 года, когда 3 сентября газета "Уральский рабочий" писала:

"...408 студентов приняты в результате серьезного конкурса на первые курсы факультетов Уральского госуниверситета. 98 отличников — участников Отечественной войны, окончивших среднюю школу с золотыми и серебряными медалями, зачислены в университет без экзаменов..."

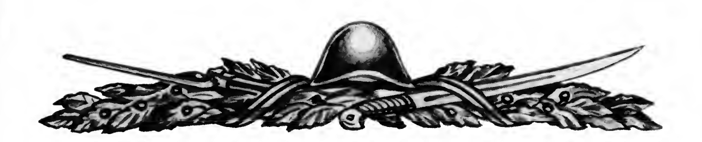
В коридорах, аудиториях, вестибюлях замелькали лица новых студентов. Выделялась группа парней в кителях с голубыми кантами, в авиационных фуражках. Это были Юрий Андрианов, Леонид Мень, Аркадий Дубов, Владимир Сырейщиков. Степенно проходил по четвертому этажу, где размещался филфак, в военной форме без погон, сразу же активно включившийся в комсомольскую жизнь университета Филипп Ермаш, будущий председатель Госкино СССР. В руках он всегда держал то полевую сумку, то портфель, то связку каких-то тетрадей. Поражал своей диковатой красотой Владимир Попов, ставший потом главным редактором Челябинского телевидения. Улыбался Вася Покровов, служивший в годы войны на бронепоезде. А Леонид Кругляшов суровой зимой 1941 — 1942 гг. был бойцом лыжного батальона. Из девчат-фронтовичек помню белокурую Ирину Щербакову. Рядом с нами и с другими фронтовиками многие вчерашние десятиклассники, теперешние их соратники по первым курсам, выглядели мальчишками и девчонками. Но я не зря сделал оговорку "многие", т.е. не все. Были и солидные десятиклассники. Ведь некоторые школьники, прервав в годы войны учебу, работали на заводах и в сельском хозяйстве. Получив аттестат зрелости позднее сверстников, они сейчас тоже пришли в университет.

Так начался второй послевоенный учебный год.

А Льву Васильевичу Хвостенко в тот год пришлось с университетом расстаться. Оказалось, что для обучения студентов его образования, полученного в двухгодичном учительском институте, было недостаточно. И Хвостенко, распростившись со Свердловском, уехал в Ленинград, где и умер в конце 50-х годов.



Юрий Левин



Юрий Абрамович ЛЕВИН (1917) в армии с 1939 года. В годы Великой Отечественной был военным корреспондентом. Боевой путь его прошел через Сталинград, Донские степи, Прибалтику и Варшаву. Последний боевой репортаж написал на ступеньках рейхстага в Берлине.

После войны Ю.А.Левин ведет поиск неизвестных героев войны, работает над ее малоизвестными страницами. Им написано несколько книг: повесть "Золотой крест" (в соавторстве с Н.Мыльниковым), повести "200 дней в огне", "Поиск продолжается", "Память".

Ю.А.Левин награжден орденом Отечественной войны I степени, двумя орденами — II степени, двумя орденами Красной Звезды и медалями.



ХАИТ ИЗ ДОМА ПАВЛОВА

Мы встретились с Хаитом, когда в Сталинграде еще никто не знал ни сержанта Павлова, ни дома его имени.

Нас свел случай. Он произошел в начале сентября сорок второго, горел Сталинград, рушились его здания, а Волгу без устали рвали снаряды, бомбы...

День близился к вечеру. Я подошел к левому берегу реки с надеждой, что сумею еще до полуночи переправиться в Сталинград. Но на чем?.. И вдруг увидел лодку и человека в длинной шинели с веслом в руке.

— Не туда, случаем, собираетесь плыть? — спросил я и указал рукой на противоположный берег.

— Куда же еще? Туда, — ответил лодочник, повернувшись в мою сторону. — И вы, как я понимаю, тоже хотите туда. А шо там хорошего?

По говору я понял, что лодочник, видимо, из южных краев, и не ошибся. На мой вопрос: не крымчак ли, он, улыбнувшись, спросил:

— Одессу знаете?.. Я еще спрашиваю... Кто не знает Одессу? На то ж она и мама, шоб ее все знали и, между прочим, уважали. Так я говорю, товарищ?.. Не знаю, как вас величать, темновато, не видно, что в петлицах.

— Ну, положим, знают не только Одессу. Есть много славных городов.

— Не спорю. Но Одесса одна. Поверьте мне, я кое-где побывал и имел возможность сравнить. Так вот, я — одессит. В Одессе мама меня родила, там с морем повстречался и, кажется, сдружился, за девочками тоже там ухаживал, словом, жил вполне прилично. И вот я здесь. Почему — сами догадываетесь. Вы тоже, как я понимаю, явились в этот рай не на прогулку... Фамилия у меня тоже одесская — Хаит. Да-да, пусть вас не удивляют мои слова про фамилию. Все настоящие Хаиты живут именно в Одессе. А если вы встретите Хаита, скажем, в Москве или в другом каком-либо городишке, то я уверен на все сто процентов, шо он тоже одессит, но судьба по какой-то причине вытолкнула его оттуда, и он вынужден страдать по Одессе вдали от нее.

Потом Хаит примолк, бросил взгляд в сторону города, прислушался и решительно сказал:

— Поплыли, товарищ! Кажется, гансики перестали швыряться огурцами. У них бай-бай...

На веслах Хаит работал основательно, чувствовалась морская закваска. Пока плыли, молчал. Только один раз на середине Волги спросил:

— А вы, товарищ, когда-либо держали весла в руках?

— Были случаи, — ответил я.

— Случаи, — с иронией, как я почувствовал, произнес Хаит и снова притих. На берегу мы не задержались. Хаит взял весла и на ходу спросил:

— Может, встретимся в Одессе, а?

— Недурно бы...

На этих словах мы расстались. Хаит, ускорив шаг, растворился в ночной тьме. Где-то вблизи застучал пулемет, и что-то грохнуло так, что шевельнулась земля под ногами. Небо на мгновение озарилось яркой вспышкой, после которой снова стало темно.

Без Хаита мне стало тоскливо. В нем было что-то притягательное, располагающее к себе. Без конца бы слушал его южный говорок, восхищенные рассказы про Одессу, но, увы, возник и, будто звездочка на небосводе, в мгновение исчез. Так уж не раз бывало...

Однако с Хаитом произошло по-иному. На второй день после переправы через Волгу мне пришлось пробираться к мельнице — на командный пункт полка, чтобы определить свою судьбу. Не сразу сумел это сделать: мельницу противник держал под прицельным огнем. Когда я проскочил через поражаемую зону и оказался внутри этого здания, то удивился силе его каменных стен. По ним колотили снаряды, били крупнокалиберные пулеметы, а мельнице хоть бы что — стояла как утес. А внутри — на каждом этаже — шла боевая работа.

И вдруг на первом этаже слышу зычный басок:

— Сержант Хаит, к лейтенанту!

Неужто мой лодочник? Я замер, чтобы взглянуть на него. И вот с каменного пола, на котором, видимо, дремал, поднялся тот самый сержант и, заправляя на ходу шинель, пошел ровной походкой в ту сторону, откуда прозвучал голос. Да, это он, тот самый одессит.

— Привет из Одессы! — вырвалось у меня.

Хаит резко повернулся ко мне.

— А-а-а, ночной пассажир! — в улыбке озарилось его лицо. — Вы тоже здесь?

Теперь я хорошо его разглядел. Увидел большой лоб, живые с хитринкой глаза и брови, будто крылья птицы в полете. Еще заметил пальцы его рук — длинные, тонкие, как у музыканта. Кто же он по профессии, может, скрипач или пианист?

Все в один раз узнать невозможно, как говорят, надо с человеком пуд соли съесть, чтоб познать его. И я с того часа, оказавшись поблизости, уже больше не упускал из поля своего зрения гвардии сержанта Хаита.

В ночь того же дня мой герой снова ушел в темноту, как он сам сказал, ближе к гансикам, чтоб плюнуть им в лицо. Ушел вместе с лейтенантом Иваном Афанасьевым, командиром пулеметного взвода, и еще с несколькими бойцами. И должность получил самую боевую — первого наводчика станкового пулемета.

Ушли они на подкрепление к сержанту Павлову, в тот самый дом, который острым клином врезался в немецкую оборону и уже трое суток удерживался всего четырьмя бойцами. А дом-то четырехэтажный, и немцам он был что кость в горле, ибо мешал им продвинуться к Волге. Командир полка, когда напутствовал бойцов Афанасьева, так сказал:

— Ребятки, прошу вас, держитесь там изо всех сил. Фрицы не должны пройти через вас!

Когда с большими усилиями сквозь узенький коридорчик-проход, похожий на щель, удалось пробраться в дом, Хаит сострил:

— Это же Ноев ковчег... Кругом акулы...

Что верно, то верно, немцы плотно обложили этот дом — с трех сторон прижались к нему, а вот замкнуть колечко не смогли: ребята Павлова не позволили.

Павлов обрадовался подкреплению. Еще бы, вон сколько набралось народу, аж тесно стало в угловой квартире на четвертом этаже. Он подходил к каждому и жал руку.

Хаит, прищурив глаза, оттого, что лампа-гильза еле светила, пристально посмотрел Павлову в лицо.

— Домовладельцам, между прочим, тоже рекомендуется бриться.

— Это кто же домовладелец-то? — проокал Павлов.

— Ваша персона, — Хаит ткнул длинным пальцем Павлову в грудь. — Весь берег только и твердит: "Дом Павлова", "Дом Павлова"...

— Так и говорят?.. А побриться, браток, некогда было. Да и бритвы путевой не имею.

— Считай, шо тебе повезло: лучший парикмахер из самого лучшего города в мире — Одессы явился в твой непотопляемый ковчег и готов навести на твоем лице полный ажур.

— Постой, постой, это кто же лучший из самого лучшего, не ты ли?

— Ты, Павлов, просто вундеркинд — улавливаешь на ходу. Шоб я так жил, лучший парикмахер — это я... Ну так шо, будем бриться?

— Погоди, браток, — Павлов почесал затылок. — Мне соснуть бы... Ноги уже не держат... Трое суток отбиваемся...

— Понял, — Хаит нахмурил брови-крылья. — Товарищ гвардии лейтенант, куда ставить "максимку"?

— У этого окна, — Павлов, опережая командира взвода, показал рукой. — Оно выходит на площадь Девятого января. Оттуда фрицы лезут косяками...

И пошла боевая работа. В странных, даже невероятных условиях пришлось действовать каждому в отдельности и взводу в целом. Хаит и слыхом не слыхал, чтобы, скажем, стена была линией фронта, а окно — передним краем. А какая может быть оборона без окопа или траншеи? Нелепица... И все-таки так вышло, коль мы запустили этих гансиков в город. Они по закоулкам и домам шастают, и мы превратили мирный дом в рубеж обороны. А иначе никак нельзя.

34 Зак. 474

Рука потянулась к тетради, обыкновенной ученической, в косую линейку. Она лежала на полу. По ее обложке прошелся чей-то сапог — отпечаток грязной подметки впился в оранжевый цвет обложки... "Ученик 1-го "В" класса", — прочитал Хаит, и будто из тумана перед глазами возник сынуля Яшенька, его рыженькая головка и носик-курносик, усеянный веснушками. Тоже должен был пойти в 1-й класс... Вздрогнул Хаит, в дрожащих руках заколыхалась тетрадка. Недобрая мысль приплыла: а вдруг над ними — его Беллой и Яшенькой — там, в Одессе, падло-гансики измываются...

Хаит прильнул к пулемету и, нажав на гашетку, с наслаждением прошелся длинной очередью по ползущим из-за "молочного дома", что на площади Девятого января, фашистам.

— Так их!.. Так?.. Мать их в душу! — чей-то хриплый голос услышал Хаит.

— Не трогай мать, фраер! — в сердцах произнес Хаит и, не отрываясь от пулемета, продолжал поливать огнем площадь.

— Меняй позицию! — скомандовал командир пулеметного расчета Воронов, и Хаит вместе с Иващенко и Свириным, ухватив "максим" за станину, понесли его с четвертого этажа на третий, чтоб оттуда ударить по наступающим. А следом подносчик Бондаренко тащил ленты.

— Ложись! — прогремел Воронов, над головой которого прожужжала пуля, влетевшая, видимо, через окно на лестничном марше.

Все распластались прямо на лестнице. Бондаренко не успел. Его жигануло по ноге. Он ойкнул и прилип к стенке. Хаит подскочил к нему и увидел опаленный порыв штанины на правом бедре.

— Никак разрывная воткнулась...

Так оно и было: пуля впилась в бедро и раскромсала его. Кровь из раны струей лилась до тех пор, пока Воронов с Хаитом не смастерили жгут и туго перевязали бедро. Бондаренко побледнел, глаза его затуманились, он тяжело вздохнул.

— Не кисни, Бондарь, — успокаивал друга Хаит. — Ты же сильный малый. Благодари Бога...

— За что? — сквозь зубы процедил Бондаренко.

— Если б, не дай Бог, чуть выше пуля-дура воткнулась, ты, Бондарь, в "оно" превратился бы. Понял? А что мы имеем налицо: мужское хозяйство в полном ажуре. За это и благодари Всевышнего, хотя ты, как я соображаю, и неверующий.

Бондаренко было худо. Его лицо то наливалось кровью, то бледнело. Лейтенант Афанасьев приказал Хаиту и бойцу Сабгайде сопроводить раненого на мельницу, в медпункт. Пришлось снова продираться через тот самый узкий проход, по которому двигались к Дому Павлова. Часто надо было ползти по-пластунски, поэтому Хаит и Сабгайда по очереди взваливали на свои плечи Бондаренко и еле-еле преодолевали метры простреливаемого пространства. Однако ж до мельницы добрались благополучно. А там, подкрепившись горячей кашей, когда стемнело, легли, как сказал друзьям Хаит, на обратный курс. Вместо Бондаренко в пулеметный расчет был назначен новый боец Довженко.

Не с пустыми руками двигалась группа на свою позицию. У выхода из мельницы бойцы заметили несколько ящиков, прислоненных к стене.

— Кажется, патроны, — определил Сабгайда.

— Думаешь? — спросил Хаит и тут же как старший распорядился: — Берем ящичек. Нам не будет он лишним.

Только в Доме Павлова обнаружилось, что в ящике не патроны, а гранаты-лимонки.

— Тоже штучки гарные, — произнес Хаит, докладывая о ящике лейтенанту.

Афанасьев насторожился: какой головотяп вместо патронов всучил гранаты?

— По личной инициативе прихватили.

— Это как понимать? — сердито спросил взводный.

Хаит пожал плечами, а лейтенант все понял: свистнули ребята ящик. Но шума не поднял, махнул рукой и велел Хаиту держать ящик при себе.

— Я так и знал... Кому же еще можно доверить столько лимончиков?..

Вскоре эти лимонки очень пригодились. Фрицы полезли на дом с трех сторон. Сначала ударили их минометы и отрубили целый угол третьего и четвертого этажей, потом пехота кинулась в атаку. Воронов встретил фашистов пулеметным огнем, а Хаит вместе с новичком Довженко, подтащив ящик к северному окну, откуда четко виделась вся ползущая фрицева рать, пустили в ход гранаты.

— Клади точней, юноша! — во весь голос советовал Довженко Хаит. — Видишь, как их корчат осколки. А ну-ка, подкинем им еще по паре лимончиков!

Фашисты не унимались. Правда, у северной стороны их порядком поубавилось, но зато из здания военторга, как из муравейника, выползали новые цепи атакующих. Павлов, стреляя из трехлинейки, хрипло произнес: "Последний патрон!.." — и всем, кто был вблизи, стало ясно: кончились у сержанта боеприпасы.

— У меня тоже пусто! — крикнул Глущенко, и товарищи увидели, как он стал швырять в немцев кирпичи, валявшиеся прямо на полу.

У Хаита еще не иссяк боеприпас. Он, подхватив ящик на грудь, кинулся на помощь к Павлову.

— Убери свою берданку... Пропусти меня к окну.

Павлов молча отодвинулся и уступил место Хаиту. И первая граната, а затем вторая угодила в гущу немцев.

— Во-во, это дело! — повеселел Павлов.

Хаит работал с понятием: каждую гранату посылал туда, где особенно густо лезли враги. Кидал и что-то приговаривал, то ли лимонкам напутствие давал, то ли гансиков клял.

Павлов тоже взял гранату и выглянул на мгновение из окна.

— Фрицев-то поубавилось, — произнес он и не бросил гранату. — Ты тоже не кидай... Слышь, одессит?.. Одиночек пулемет подкосит.

Действительно, Воронов продолжал посылать короткие очереди на площадь и к военторгу, куда уползали уцелевшие немцы. Хаит опустился на пол и, прислонив-

шись к стене, закрыл глаза: устал, лоб его усеяли бисеринки пота. Он даже не услышал, как подошел к нему лейтенант. Но стоило Афанасьеву двинуть ногой ящик, чтобы прикинуть, есть ли там еще гранаты, как Хаит мгновенно открыл глаза и, упершись руками в пол, сделал усилие, чтоб подняться.

— Сиди, сиди, — лейтенант положил руку Хаиту на плечо. — Покимарь еще маленько.

— Все, хватит, — Хаит встал на ноги. — Вот это даванул комара... Ничего не слышал... А гансики где?

— Выгляни-ка в окно, увидишь.

Хаит осторожно просунул голову в окно и ахнул:

— Ого-го! Никогда не видел столько мертвецов...

— Спасибо тебе, одессит, за работу... И за ящик тоже благодарствую... Полагается за это орден, но у меня его нет... Располагаю только фляжкой. На, глотни!

— За упокой гансиков не буду...

— Вот чудак, ты глотни за твое здравие, ну, и за всех нас.

— Это можно. Ну, как говорят у нас в Одессе, лехаим (за здравие), — и Хаит приложился к фляжке.

— Только до дна не высоси.

— А я, наивный чудак, подумал-таки, что вся посудина в моем распоряжении, — улыбнулся Хаит и протянул флягу взводному.

— Ты уж прости, но закуски не имею.

— Товарищ гвардии лейтенант, если у солдата есть шинель, какой может быть разговор о закусоне? — и Хаит картинно вытер рот рукавом шинели...

Сражающийся Сталинград чутко прислушивался к Дому Павлова. С интересом читал о мужественном гарнизоне в дивизионках и фронтовой газете, пользовался слухами, которые приносил беспроволочный телеграф, и, конечно же, каждый, кто находился поблизости, собственным ухом пытался уловить биение пульса жизни в этом доме. Если слышна была пальба, значит, жив гарнизон, но коль стрельба затихала, тревожные мысли обуревали ближних и дальних соседей: устояли ли павловцы?

Они по-прежнему держались и совершенствовали оборону дома — рыли подземные ходы. Хаиту эта работа была не по душе. Его тянуло к пулемету, чтоб гансикам, как он любил повторять, огнем в лицо плевать. Но никуда не денешься, приходилось брать в руки и лопату.

— А ты, Нодар, — обращался Хаит к черноглазому грузину Мосиашвили, — лопатку тоже не обожаешь.

— Как узнал?

— По глазам определил. Что-то невесело светят они.

— По девушке, дорогой, скучают. Сам знаешь, девушек здесь нет.. Плохо живем...

— Нажимай, Нодарик, на лопату, она ведь женского рода.

— Некрасиво шутишь, — сказал Мосиашвили и, подняв руку перед лицом Хаита, произнес: — Тише, кто-то стучит.

— Где? — Хаит тоже прислушался.

И верно, из-под земли слышны были глухие удары. Мосиашвили приложился ухом к стенке свежевырытого подземного хода.

— Долбят... Кто же это?

— Может, гансики? Давай доложим лейтенанту, — сказал Хаит и кинулся в дом. Взводный тут же явился и тоже прислушался.

— К нам пробиваются. Это точно. По земле не смогли, теперь вот подкапываются. Что будем делать?

— Лопатами головы рубить, — ответил Мосиашвили.

— И так можно.

Вдруг прямо над головами раздался стонущий вой, за которым тут же последовал неимоверной силы удар. Хаит ухватился за взводного и повалился с ним на дно хода сообщения. Это и спасло их. Мина разорвалась рядом, и если бы только они не упали, был бы им каюк, а так только землей да кирпичной крошкой присыпало. Хаит осторожно приподнялся и, увидев глубокую воронку, хотел поздравить лейтенанта и себя тоже со вторичным рождением, но из груди вырвались другие слова:

— Нодарика нет...

— Ты что говоришь! — вскочил на ноги взводный.

Хаит кинулся в воронку и начал суетливо разгребать руками землю.

— Ну что? — нервничал Афанасьев.

— Нету... Рядом же был...

— Неужели разорв... — лейтенант не досказал: язык не поворачивался произнести страшное предположение вслух.

— Но-да-р-р! — крикнул Хаит. — Мосиашвили!

Нодар не отозвался. Хаит выбрался из воронки и кинулся в подъезд, над дверью которого он впервые увидел пролом. Когда же он появился? Может, миной так вырвало стену?.. А чем же еще?.. У лестницы, ведущей вверх, он остановился, огляделся и медленно, будто опасаясь чего-то, пошел по ступенькам.

Кто сказал, что не бывает чудес? Бывают!.. Между первым и вторым этажами, как раз против пролома в стене, на ступеньках, вытянув ноги, полусидел, или точнее сказать, полулежал Мосиашвили. А в его руке была зажата лопатка.

— Нодарик, ты что тут копаешь?

Нодарик сел прямо и удивленно посмотрел на Хаита:

— Слушай, кто меня сюда посадил?

— Нет, ты лучше скажи, что тебя сюда принесло? — и, не дождавшись ответа, Хаит во весь голос крикнул: — Товарищ гвардии лейтенант, пропажа нашлась. Это он, Нодар Мосиашвили, и, между прочим, живой.

Взводный тут же примчался.

— Жив, значит. Ну, молодец! А я подумал...

— Что подумал? — округлились глаза Нодара. — Плохо подумал, да?

— Ладно. Встань-ка... Целы ли конечности?

— Нодару конечности не нужны, — рассмеялся Хаит. — У него есть лопатка. Смотрите, как вцепился в нее.

— И за это молодец: уберег социалистическую собственность. Ну, вставай.

Мосиашвили приподнялся, потопал ногами.

— Теперь вижу: конечности целы. Пошли долбить землицу...

Долбить не пришлось. Фрицы снова ринулись в атаку. Мгновенно кругом затрещало, загремело. Пули влетали в окна, в проемы. Звенели стекла. Сквозь бешеный вой и треск прорывался голос взводного: "Воронов! К левому окну... Из военторга лезут... Павлов! На второй этаж рви... Ударь по трансформаторной будке... Хаит, ко мне!.."

Хаит подбежал к лейтенанту.

— Бери Бахметьева и жмите в роту. Патроны нужны. Гранаты кончаются. Понял?

Животами пришлось утюжить расстояние до мельницы. Хаит полз впереди, а следом не отставал и Бахметьев.

— Леша, ты жив? — изредка спрашивал Хаит.

— Ползу, — тяжело дышал молоденький Бахметьев. — А тебя, сержант, как звать?

— Ну, Хаит.

— Это я знаю. А по имени и батюшке как?

— Ты что, анкету на меня собираешься заполнять?

— Какую анкету? В одной связке, можно сказать, ползем у смерти на виду, а имени твоего не знаю.

— Ладно, запоминай: Идель Яковлевич.

Низко над ними пролетел со свистом снаряд. Тут же застучал пулемет. Хаит с Бахметьевым прижались к какой-то покореженной и накренившейся тумбе и замерли.

— По мельнице, гад, бьет, — определил Хаит. — Чуток переждем.

— Как я понимаю, Идель, ты из евреев.

— Из них, из них. А ты, Лешка, сообразительный. Как определил?

— Догадался. Больно ты шустрый, да имя Идель.. Я одного знал. Того Изей звали. Похож на тебя. И сообразительный, как ты...

— Сообразительный? — Хаит рассмеялся. — Вот Павлов сообразительный! Он, брат, кожей угадывает начало каждой атаки этих гансиков. Или мой командир расчета гвардии старший сержант Воронов. У него голова, что у Спинозы. Это, брат, умнейший ученый, книги мудрейшие писал. Воронов книг, конечно, не писал, но он на всякий вопрос может пояснение сделать, а в боевой тактике имеет полнейшее понятие. А ты говоришь, что я сообразительный. Война, Лешка-друг, не дает мозгам заржаветь, тут каждую секунду надо головой шурупить.

— Это правда. Хочу еще тебя, Идель, спросить. Только ты не обижайся...

Заколотилась тумба. Пулеметная очередь срезала ее верхушку.

— Мотаем удочки, — произнес Хаит, — а то нас искромсают эти паршивые гансики.

И они, сделав бросок, тут же оказались на мельнице. Здесь не задержались, получили все, что требовалось, и двинулись в обратный путь. Вдобавок к боеприпасам захватили письма. Ротный Наумов передал целую пачку Хаиту и велел ему лично вручить каждому. Хаит и Бахметьев просмотрели все конверты, но им никто не написал.

— Смотри, Нодарику письмо, — обрадованно произнес Хаит. — Вот уж спляшет нам!

Были письма и Сирину, и Воронову, и младшему лейтенанту Аникину.

— А нам пишут, — произнес Бахметьев.

— Вряд ли мне пишут... В Одессе глухо. Оттуда не напишешь...

Обратный путь был не из легких: четыре тяжеленных ящика пришлось волоком тащить, двигаться ползком. Пот прошиб их основательно, а руки побагровели от натуги и кровяных царапин.

— Чего так долго? — недовольно спросил взводный.

Но ни Бахметьев, ни Хаит не обиделись, понимали ситуацию: фрицы обложили дом со всех сторон, боеприпасов же — всего по патрону в стволах. Так что пришлось тут же распечатать ящики и пускать их содержимое в ход. А Бахметьев надеялся на отдых, собирался еще поговорить с Хаитом, его искренне интересовала судьба евреев, над которой он задумался еще по пути на фронт, в теплушке.

Было это на станции Сызрань. К вагону подошла женщина с усталым лицом и спросила: "Товарищи красноармейцы, извините, пожалуйста, за беспокойство: нет ли в вашем поезде моего Абраши Шапиро..." И тут один из бойцов съязвил: "Нема у нашему вагони такого. Пошукай, стара, в составе, якись до Ташкенту едэ. Явреи уси туды тикають". Женщина с укоризной посмотрела на него, но ответила спокойно: "Вы напрасно, товарищ, так говорите. Мой муж, Лазарь, уже давно там, куда вы еще только едете. И Абраша туда же собрался".

Бахметьева возмутила тогда наглость соседа по вагону, нанесшего обиду незнакомой женщине, и ему хотелось на эту тему поговорить с Хаитом, хоть и с опозданием, но извиниться за грубияна, да фрицы не позволили — снова принялись атаковать, и Хаита словно ветром сдуло. Да и Бахметьеву некогда было рассуждать — фонтаны огня сотрясали дом со всех сторон, осколки и пули врывались в комнаты и наполняли их визгом и треском.

Бахметьев грохнулся на пол, на четвереньках дополз до окна и выглянул на улицу.

— Не суйся! — услышал он голос Хаита и тут же отпрянул от окна.

Хаит с гранатой в руке примостился рядом и, осторожно приподняв голову, все-таки ухитрился выглянуть наружу.

— Ну, что там? — нервно спросил Бахметьев.

— Ни хрена не видно. Густой дым стелется по площади.

— Всем вниз! — прогремел голос взводного. Он что-то еще прокричал, но оглушительный взрыв целиком заглушил командирский приказ. Рухнула часть потолка, к счастью, никого не задела, а лишь обсыпала всех штукатуркой. Хаит и все остальные, кто был у окна, пробравшись сквозь завал, вылезли к лестничному маршу, а оттуда выскочили на улицу.

Воронов, опустившись по пояс в ранее вырытую щель, давил на гашетку "максима". Хаит швырнул гранату в ползущих по асфальту немцев и примостился к Воронову.

— Патроны кончаются, а фрицевня саранчой ползет, — произнес Воронов и както странно пополз вниз.

— Ты что, Илюша? — Хаит попытался удержать Воронова, но не успел. Воронов, съежившись, сел на дно щели.

К пулемету подполз Иващенко. Воронов приподнял голову и хрипло произнес:

— Ищите патроны... Ворот расстегните... Жарко...

Хаит чуть приподнял Воронова и, взвалив на себя, вытащил его из щели, а затем вместе с Иващенко они перенесли раненого в подвал дома. Там перебинтовали руку и бок и оставили под присмотром двух девушек — жительниц этого дома.

Иващенко где-то раздобыл десятка два патронов и, обрадованно крикнув: "Живем!", прильнул к "максиму". Однако радость оказалась кратковременной — кончились и эти патроны.

— Что будем делать, браток? — невесело спросил Иващенко.

— Куковать, — ответил Хаит.

— Как это?

— Сам не знаю... Но гансикам не сдадимся... Будем грызть им глотки зубами... А кирпичи разве плохое оружие? Давай обложимся ими!

И они, забравшись в одну из комнат второго этажа, начали стаскивать к окну кирпичи и складывать их вдоль стены.

В комнату вбежал младший лейтенант Аникин:

— Кто здесь живой?

Хаит обернулся.

— А, Одесса, — произнес Аникин и сел рядом.

— Гранатами не богаты? — спросил Хаит.

— Пусто, — махнул рукой Аникин.

— А у нас имеются...

— Где они?

— Вот, смотрите, целая гора, — Хаит указал на кирпичи.

Над головами, этажом выше, раздался взрыв, от которого часть потолка рухнула.

— Чуть-чуть не попали в братскую могилу, — вздохнул Иващенко.

— Такое может произойти каждую секунду, — Аникин привстал на колени и стряхнул штукатурку. — Давайте на всякий случай попрощаемся.

Хаит повернулся лицом к Аникину, посмотрел ему в глаза и тихо произнес:

— Не надо прощаться, товарищ гвардии младший лейтенант. Нас должны выручить. Неужели полк не поможет нам? Он ведь рядом, у Волги...

Хаит хотел еще что-то сказать, но не успел. Неведомая сила приподняла его вверх и швырнула так далеко, что Аникин, первым очнувшийся, еле нашел Хаита. Он лежал в проеме двери, ведущей на лестничную площадку, и не шевелился.

А с улицы неслось: "Ура!".

Аникин выглянул в окно и увидел бойцов, бегущих со стороны Волги.

— Слышишь, Одесса, твоя правда: подмога пришла!

Хаит ничего уже не слышал. Аникин припал к его груди и тут же приподнялся, сняв шапку.

— Все... Прощай, друг-Одесса!..

Появился лейтенант Афанасьев с перебинтованной головой.

— С кем прощаешься?

— Хаита скосило.

Афанасьев опустился на колени и, низко склонив голову, с горечью произнес:

— А ведь в Одессу приглашал, в гости... Говорил, праздник в честь нашей Победы устроим на берегу Черного моря...

Похоронили Хаита у Волги, недалеко от мельницы. Я тоже бросил горсть земли в могилу и поклялся, что когда-нибудь, если жив останусь, расскажу людям об этом славном парне из сталинградского Дома Павлова.

БЕРЛИН, МАЙ СОРОК ПЯТОГО

Тогда, в мае сорок пятого, многим из нас чуть-чуть перевалило за двадцать, а сегодня...

Сегодня нашей Победе уже пятьдесят, и мы, фронтовики-победители, идем на праздник-торжество с седыми шевелюрами (если они у кого-то еще сохранились) и с внуками.

Неужели уже 50? Не хочется верить... Как быстро утекли годы! Может быть, так произошло оттого, что были они, годы послевоенные, натужными и неустроенными. Мы спешили разгрести разруху, лихорадочно клали кирпичи, возводили, пытались даже время обогнать, словом, мчались вдогонку жар-птице, которая вот-вот должна одарить нас чем-то светлым, желанным. Но так и не настигли то лучезарное будущее, а догнали свою старость.

Жаль, однако время не остановить. Только память может его притормозить, размотать ленту прожитой жизни назад...

А для чего? Ответ прост: чтоб новые поколения прикоснулись к нашему прошлому; чтоб доброе и славное, а оно все-таки было, не потонуло в архивных анналах; чтобы юноши девяностых приняли от нас и несли дальше эстафету мужества. Вот чего нам хочется!

Итак, надеясь на память, берусь за перо. А если она вдруг станет пробуксовывать, что тогда? И опять же есть выход: я ведь журналист-литератор, и давнишний — пятьдесят лет служил газете, а в войну был военным корреспондентом, с войсками отступал, плутал по лесам и болотам тверской земли, мерз в окопах Сталинграда, а потом от самой Волги протопал до берлинской Шпрее и у рейхстага просалютовал из своего трофейного "парабеллума" в честь Победы. Белофлагий Берлин был тогда оглушен нашей пальбой — стрелял весь 1-й Белорусский фронт, говорили, что и маршал Жуков тоже салютовал.

Так вот, поскольку я человек пишущий, то у меня постоянно при себе записные книжки. И почти все, что видел и пережил, строками легло в мои фронтовые блокноты. Вот они-то и выручат память, если она в каком-то месте даст сбой, помогут

воскресить забытое. А если и записные книжки окажутся беспомощными (мало ли, ведь и им досталось от непогоды и окопной слякоти), тогда выручат друзья-однополчане. Сниму трубку и позвоню любому из живых, скажем, Степану Неустроеву, — да, тому самому комбату, который на последнем рубеже войны ворвался со своим батальоном в рейхстаг и доконал там почти двухтысячный гарнизон фашистов, — и спрошу: скажи-ка, друг, а какая погода была тогда в Берлине в то утро 2 мая, когда немцы с поднятыми руками выходили из подземелья рейхстага?

Жаль только, что приходится общаться с полковником в отставке Неустроевым по телефону. Было бы куда лучше, если бы жил в Екатеринбурге, ведь уралец он, отсюда на войну ушел и вернулся сюда после войны, прожил несколько лет, затем подался к морю, чтоб водой целебной да солнцем южным раны свои успокоить. Редко теперь навещает, а ведь скучает по родной Талице, которая в Сухоложском районе, да и по Березовску, где жил и работал. Как-то позвонил он мне и попросил: "Поезжай-ка в Талицу, погляди на нее и напиши мне обо всем, что увидел". Исполнил я просьбу Степана, поехал. Добрался до Сухого Лога, там как-то остановился, чтоб уточнить маршрут и спросил у пожилой женщины: далеко ли до Талицы?

— Поди верст тридцать будет, — ответила и собралась было идти дальше, но вдруг, приблизившись ко мне, спросила: — А вы к кому в гости едете? Может, к Неустроеву, который до Берлину дошел и их главный дом взял? Так Неустроева там нету, живет, кажись, у Черного моря... А дом-то тот, который он взял, как-то по-чудному зовут...

— Рейхстаг.

— Во-во! Подумать только, и это Андреев сынок, Степан, наш талицкий, взял их рестак... Добрый был малец, смышленый...

А что, в точку попала женщина: был в детстве смышленым и в войну воевал с головой. В памяти воскресает утро 30 апреля. Капитан Неустроев стоит у полуподвального окна "дома Гиммлера", которым накануне овладели наши. Комбат напружинен, его взор устремлен в то здание, которое массивной серой глыбой основательно расположилось на Кёнигспляц (Королевской площади). Из всех его окон-амбразур пока молчаливо торчали стволы пулеметов. Комбат знал, оттого и сердце учащенно стучало, что вражьи стволы заговорят огнем, когда батальон вынырнет на площадь, чтобы рвануть к рейхстагу.

Так оно и случилось...

Не собираюсь дальше подробно рассказывать о том, что происходило на обугленной и изодранной снарядами и минами Королевской площади, ибо об этом много написано. Скажу лишь, что батальон достиг рейхстага во второй половине дня. Почему же так по-черепашьи двигались роты? Ведь от "дома Гиммлера" до рейхстага всего-то чуть больше трехсот метров. Представить трудно, что такое расстояние удалось преодолеть передовой роте, которой командовал старшина Сьянов, через шесть часов. Шесть часов ползли по площади наши солдаты — уму непостижимо!

Я это видел своими глазами, наблюдая из "дома Гиммлера", стены которого колотились от снарядов, посылаемых немецкими батареями. Командир полка, коренастый и низкорослый полковник Зинченко, нервничал. "Ну скорее, скорее!" — шептал он, наблюдая в стереотрубу. А они, солдаты батальона Неустроева, головы не могли поднять. Разнокалиберный огонь пригвоздил их к асфальту. Зинченко обращается к артиллеристам: "Ударьте еще разок по этому каземату!". И прикрытая орудийным огнем, рота Сьянова продвигается еще метров на десять...

Что же Неустроев? Как он действовал в этой сложнейшей ситуации? Кто-то из штабистов-наблюдателей клял его: ну чего топчется на месте, бросок надо делать, бросок!

Неустроев не слышал этих возгласов, но спиной чуял нелестные слова в свой адрес. Однако поступал по своему разумению. Чтоб сделать бросок, надо оторваться от земли и подняться в рост. Этого-то и ждали фашисты. Тут они смертоносной косой прошлись бы по батальону. Нет, комбат не пошел на такое, он решил не терять людей на площади, ему нужен был сильный батальон для решающего боя внутри рейхстага. И он внушил командирам рот: вгрызаться в землю, если даже под животом асфальт, и ползти так, чтобы ни одна фрицева пуля никого не зацепила. И бойцы ползли, используя для прикрытия каждый маломальский бугорок или воронку. Полз и комбат, и замполит лейтенант Берест, и заместитель по строевой капитан Ярунев, и начальник штаба старший лейтенант Гусев — все нацелились на рейхстаг. А он, этот каземат, без устали поливал огнем. И если уж совсем невмоготу было двигаться, батальон залегал...

Нынче, когда пишут о войне, иные знатоки-умники обязательно пытаются кого-то лягнуть, черной краской мазнуть, утверждая, что наши, мол, безрассудно лезли на немецкие позиции, этаким нахрапом, что командиры не щадили людей. А вот я свидетель обратного: прежде чем идти в наступление, каждый командир думал о людях и строил свой план атаки так, чтобы потери были самыми минимальными. Вот и Неустроев так поступал. Он ведь не лез напролом, не кидался вперед очертя голову, а мастерски использовал истерзанную и изрытую Королевскую площадь, все ее воронки, канавы и выбоины, чтобы укрыть батальон от вражьего огня.

Припоминаю одну из бесед командующего войсками 3-й ударной армии генерала Василия Ивановича Кузнецова с бойцами одного из стрелковых полков. Было это перед форсированием Одера. Речь зашла о предстоящем наступлении на Берлин. Один боец в запале сказал: "Умрем, но в Берлин придем!". А командарм взглянул на солдата и спросил: "Если умрете, то кто же в Берлин придет? Нет, товарищи, умирать нам не надо, а вот в германскую столицу мы с вами все должны прийти..."

И 3-я ударная действительно пришла в Берлин.

Итак, хотя и очень медленно, но батальон все ближе и ближе подбирался к рейхстагу. А впереди его двигался, как бы плыл, красный флаг...

В этом месте я собираюсь рассказать о человеке, имя которого, к сожалению, мало кто знает. Ну спросите любого: кто водрузил красное знамя над рейхстагом, вам назовут Михаила Егорова и Мелитона Кантария. Все верно. Но...

Называю связного капитана Неустроева — младшего сержанта Петра Пятницкого. Он первым выскочил через окно из подвала "дома Гиммлера" и устремился к рейхстагу. На ходу развернул красный флаг. Огонь колотил площадь, а Пятницкий, словно непробиваемый, с трепещущим флагом что есть сил бежал и бежал. Когда бежать не мог, полз, но знамя не опускал на землю, а держал его одной рукой высоко над головой. И получалось, что оно вроде само двигалось по площади.

Все видели флаг Пятницкого — и те, кто полз к рейхстагу, и те, которые на КП полка находились. Петр чудом прорезался сквозь адский огонь. Солдаты двигались следом за знаменосцем. Когда он вскочил на первую ступеньку гранитной лестницы главного входа в рейхстаг, "Ура!" прокатилось по Королевской площади.

Фашисты усилили пальбу. Били минометы и орудия. Не было спасения и от пуль. Батальон снова залег.

Пятницкий ничего этого не видел. Он уже бежал вверх по лестнице. Вот и видна дверь главного входа в здание. Она открыта настежь. Надо проскочить внутрь и укрепить стяг над главным входом. Надо...

Из черного дверного проема полоснуло огнем. Обожгло грудь Пятницкого. Он зашатался. Подкосились ноги. В глазах помутнело — все вокруг поплыло. Знаменосец упал. Растянулся на ребристых ступенях лестницы. И флаг повалился.

К мертвому знаменосцу бросился командир отделения Петр Щербина. Он увидел окровавленную грудь друга и руки, вцепившиеся в древко флага. Щербина поднял флаг и укрепил его на одной из шести колонн перед входом в рейхстаг.

Еще раз подчеркиваю: у нас один самый святой флаг — Знамя Победы. Это так. Но надо знать и помнить, что в рейхстаг двигались десятки знамен. Их несли многие, кто шел на этот последний штурм. Даже фотокорреспондент нашей армейской газеты "Фронтовик" старший лейтенант Владимир Гребнев, который рвался в рейхстаг, чтобы запечатлеть бой внутри здания, но ему на это не дали разрешения, тоже имел при себе кусок красной материи — авось пригодится для флага!

В моих записях есть такой диалог, услышанный за Одером в 756-м стрелковом полку, том самом полку, в составе которого был и батальон Неустроева.

— Товарищ старшина, — хитровато улыбается боец Солодовников, — отпустите в Кинешму. Мигом доставлю тюк красного сатина.

Старшина не сомневался в оборотистости Солодовникова: завмагом был когда-то в Кинешме.

— Сколь времени надо на эту операцию?

— Туда — сутки, обратно — сутки.

— Скорый ты парень. До твоей Кинешмы за пять суток не дотопать.

— А мне, надеюсь, самолетик дадут.

— Ишь чего захотел — самолетик! А ты на своих двоих разве разучился топать?

— У меня моторесурсы на исходе. Только до Берлина хватит...

Шутки шутками, а красную материю старшина все-таки добыл. Солодовников помог: в Кинешме не был, но раздобыл отрезик. Спросили: "Где взял?" Ответил

коротко и ясно: "Трофеи наших войск". Короче говоря, в пути от Одера до Берлина многие обзавелись красным материалом, но не всем суждено было осуществить мечту. И все же 30 апреля, в канун Первомая, в разных местах рейхстага появилось немало знамен. А вечером на крышу рейхстага пробрались разведчики из 756-го полка Михаил Егоров и Мелитон Кантария и водрузили там на куполе Знамя Победы.

Да, разведчики-знаменосцы блестяще справились с задачей. Это так. Однако есть надобность подчеркнуть, что в этой удачной операции проявились командирская воля и предусмотрительность комбата Неустроева. Егоров и Кантария — парни смелые и отчаянные, — появившись с флагом в рейхстаге, готовы были не медля стремглав подниматься на крышу. Их порыв чуть-чуть охладил Неустроев. Он знал, что лестничные марши меж этажами насквозь простреливаются врагом, значит, надо осторожно и с умом подниматься вверх. И комбат подобрал группу бойцов-автоматчиков, которой поставил задачу: прикрыть знаменосцев и надежно проложить им дорогу. А во главе группы был поставлен Алексей Берест. Неустроев сказал ему: "Знамя — дело политическое. Кому как не тебе, Лёша, возглавить его. Пробивайся-ка на крышу и подбери там для нашего знамени самую подходящую точку. Понял?"

Неустроевский комиссар все понял и так организовал отражение немецких атак на пути продвижения вверх по лестничным маршам Егорова и Кантария, что их не тронула ни одна пуля. Знаменосцы, поднявшись на крышу, увидели громадную статую — всадника на коне с протянутой вперед рукой. На нем и укрепили знамя. Получилось вроде здорово: всадник с красным стягом. Бересту не понравилась такая картина: фриц с нашим знаменем — не годится! Посмотрел лейтенант вокруг и определил, что надо взбираться на купол, именно там самое подходящее место для Знамени Победы. Так и сделали знаменосцы: поднялись еще метров на тридцать вверх. Нелегко далась им эта высота, пришлось продвигаться по порушенным ребрам каркаса купола, да и фашисты били из пулеметов аж от Бранденбургских ворот.

Операция завершилась поздно вечером. Берест, спустившись вместе со знаменосцами, доложил комбату, что Знамя Победы укреплено надежно, ремнями, и простоит сотни лет!

Воинский подвиг Егорова и Кантария был отмечен Золотыми Звездами Героев Советского Союза. А Береста обошла награда. Представляли к званию Героя, но не присвоили. Говорили, что какой-то высокий чин самолично отложил в сторону его наградной лист: мол, со знаменем на крышу направлялись двое, а Берест — третий, значит, лишний. Вот такая логика...

Михаил Егоров однажды, уже после войны, сказал мне: "Обидно за Алексея Прокопьевича. Я готов отдать ему свою Звезду... Храбрейший человек! Если бы не он, кто знает, как бы мы с Мелитоном на ту надрейхстаговскую верхотуру забрались бы..."

И не только одного Береста обошли. Пятницкого тоже. Разве он не достоин самой высокой награды? А ведь его — первого знаменосца — ничем не отметили и до сих пор никак не увековечили его имя.

Кое-кто сегодня пытается сеять сомнения: а водружалось ли вообще в ходе штурма рейхстага Знамя Победы? И даже утверждают, что оно было поднято над рейхстагом лишь 2 мая, уже после капитуляции немцев. Я скажу так, как об этом говорят ныне здравствующие участники тех боев, — неправда это. Зачем наводить тень на плетень? Все произошло в ходе боев батальона Неустроева внутри рейхстага.

Есть и иные кривотолки: вот, мол, один знаменосец русский, а другой — грузин, значит, военное начальство это сделало в угоду Сталину. Ничего подобного: ни командир 150-й стрелковой дивизии генерал Шатилов, ни командир полка Зинченко, ни командир Кузнецов никакого отношения не имели к назначению знаменосцев. А дело было вот как. Комполка приказал командиру полковой разведки капитану Василию Кондрашову выделить двух разведчиков для водружения знамени. Капитан выстроил перед полковником больше тысячи человек: мол, все смельчаки, выбирайте! Зинченко сам не стал этого делать, а повторил приказание: нужны только двое! И тогда Кондрашов назвал Егорова и Кантария. Почему их? Ну, видимо, хотя бы потому, что в боях на улицах Берлина они отличились сноровкой, умением ловко проникать в труднодоступные места, которых в большом городе предостаточно. Да и друзьями они были закадычными, еще с Польши шли плечом к плечу, часто отправлялись в разведку на пару. Вот и вся правда!

Интересная, на мой взгляд, и существенная деталь: тогда, в мае 45-го, нам, участникам и свидетелям того поистине исторического события, к которому мы шли почти долгих четыре года, и в голову не приходила мысль о национальной принадлежности наших парней-знаменосцев. Мы от души радовались факту — нашему знамени с серпом и молотом и звездой над ихним рейхстагом, мы восхищались подвигом отважных разведчиков. Сегодня же вдруг кто-то пытается святое и правое дело очернить, обляпать грязью. Напрасно!

Чтобы до конца все было ясно, видимо, следует прояснить историю возникновения Знамени Победы. В моем фронтовом архиве сохранился великолепный документ того времени: листовка-обращение военного совета 1-го Белорусского фронта к бойцам, сержантам, офицерам и генералам. Она напечатана на розовой бумаге. Сам маршал Жуков подписал ее. В этом обращении есть такие строки: "Боевые друзья! Наша Родина и весь советский народ приказали войскам нашего фронта разбить противника на ближайших подступах к Берлину, захватить столицу фашистской Германии — Берлин и водрузить над нею Знамя Победы!"

Вот откуда взялось Знамя Победы! А то ведь гадали: как же закончится война, какой будет ее последняя точка? И сразу стало ясно: Знамя Победы — вот заключительный аккорд Великой Отечественной.

Мысль о знамени пришлась по душе командованию 3-й ударной армии. Военный совет армии распорядился поднять его именно над рейхстагом. А кто это должен был сделать? Та дивизия, которая первой подойдет к рейхстагу и овладеет этим зданием. Но дивизий в армии девять. Вот и подготовили девять знамен.

И каждое пронумеровали. Знамя, которое 21 апреля, в тот самый день, когда воины 3-й ударной завязали бои на окраине Берлина, попало в 150-ю дивизию, бы-

ло помечено цифрой "5". Ну, а дивизия через несколько дней передала знамя в 756-й стрелковый полк, поскольку он вплотную подошел к рейхстагу и начал его штурм.

Сам комдив постоянно связывался с полковником Зинченко и непременно спрашивал: где знамя?

— У Неустроева, — отвечал комполка. — Пробивается на крышу...

Однако возвратимся на Королевскую площадь. Перед входом в рейхстаг уже реет наш красный флаг. Рота Сьянова вот-вот ворвется в здание. А на правом фланге худо: вторая рота никак не может подняться в атаку. К ней кинулся лейтенант Берест и помог бойцам одолеть страх. Рота вместе с замполитом батальона ринулась вперед.

Рейхстаг вмиг поглотил батальон. Площадь опустела, стала недвижимой. Только что она шевелилась, жила — и враз никого. Жутковато стало на КП полка: что там, за толщенными стенами? Полковник Зинченко побледнел, и лицо как-то сразу вытянулось, и желваки на щеках задвигались. Молчит и нервничает. Шутка ли, целый батальон скрылся с глаз, словно ринул в пропасть. В рейхстаге больше пятисот комнат — можно и заплутать... Кто-то, стоявший позади полковника, сострил:

— Заседает Неустроев... В парламент же попал...

Зинченко обернулся, но остряка ветром сдуло.

— Кто про парламент вспомнил?

Никто не ответил полковнику. Чертыхнулся Зинченко и тут же распорядился: протянуть провод в рейхстаг! Связисты бросились на площадь.

А что же все-таки происходило в рейхстаге? Этого никто на КП не знал. Только Неустроев мог бы доложить полковнику обстановку, а он там, в серой каменной глыбе. Но если честно говорить, то и комбат толком пока еще ничего не смог бы сказать командиру полка.

Рейхстаг встретил Неустроева не по-парламентски — кромешной теменью (окна замурованы, электричества нет) и автоматной дробью. Мрак окутал весь батальон. В такой склеп Неустроев попал впервые. Как тут воевать?

— А ну ломани кто-нибудь окно! — крикнул комбат.

Солдаты прикладами ударили по кирпичам — и да здравствует свет! Ну, а затем началась война, о которой Неустроев, гостивший у меня недавно, сказал так: "Страшно вспомнить... Не хочу и во сне такое увидеть... Давай не будем об этом".

Ну что ж, не будем. Скажу только, что всю предмайскую ночь и весь праздничный день рейхстаг так грохотал, что даже его толщенные стены колотились и крошились. И начался пожар, и поползло пламя по этажам, по стенам, по стеллажам, по сафьяновым диванам и креслам... Огонь цеплял и людей... Вот такая война — на два фронта: с фашистами и с пожаром...

Я не выдержал и спросил Неустроева: а все-таки, как же воевать в пламени, может, лучше было бы на время вывести из рейхстага батальон?

— Ты что, оставить фрицам рейхстаг?! Особенно в момент, когда над ним развевалось Знамя Победы! Задача оставалась прежней: ни шагу назад! Я бегал из роты

в роту, чтоб подбодрить людей, изнуренных до крайности. Многих не узнать было: лица сажей да копотью покрыты, а одежда превратилась в обгоревшие лохмотья. У меня у самого руки усеяли пунцовые волдыри. Мне казалось, что вот-вот упаду. Но бойцы смотрели на меня. Я обязан был выстоять. И мы еще злей продолжали сражаться...

Еще одно имя героя последнего боя я обязан назвать, тем более, что и его мало кто знает. Это — Николай Самсонов. На войну, как и Неустроев, ушел из Свердловского пехотного училища.

Так вот, старшему лейтенанту Самсонову (однофамильцу знаменитого комбата Константина Самсонова, который тоже штурмовал рейхстаг) было приказано во главе роты проникнуть в рейхстаг и потушить там пожар. Кроме этого, Самсонов назначен был дежурным по рейхстагу. Да-да, дежурным! Никому больше не доводилось быть в такой роли — Самсонов единственный!

Трудно было пробиваться роте через Королевскую площадь. Редели ее ряды. Раненых подбирали санитары и возвращали обратно за Шпрее. Но многие, особенно легкораненые, в тыл наотрез отказывались отправляться, рвались в рейхстаг.

Рота, ворвавшись в здание, сразу же накинулась на огонь. Спросите, чем тушили? Почти голыми руками. Ни брандспойтов, ни огнетушителей не было. Тушили огонь всем, что попадалось на глаза. А глаза дымом да пеплом слепило. Часто солдаты глушили огонь своей одеждой. И пожар все-таки был остановлен.

Кстати сказать, после того боя Самсонов как-то исчез из поля зрения. О нем просто забыли, и он не подавал голоса. Ведя поиск героев штурма Берлина, я наткнулся на имя дежурного по рейхстагу — где же он? Неустроев пожимал плечами: неужели погиб? Но, как говорят, кто ищет, тот находит. И нашелся Самсонов. Мы его искали за тридевять земель от Урала, а он преспокойно жил себе все послевоенные годы и сейчас живет на Первомайской улице в Свердловске-Екатеринбурге. Жил и помалкивал.

И сейчас несловоохотлив Николай Васильевич. Скромный он человек, живет тихо, спокойно. Другой на его месте не раз бы голос подал: мол, знаете, кто рейхстаг спас от сожжения... И верно, не дал дотла сгореть — ни людям, ни германскому строению! Но Самсонов не приучен стучать себе в грудь. Была война — воевал, как все. В пешем строю тысячи верст протопал. Да что и говорить, отведал командир-пехотинец всякой беды. До сих пор по ночам ноют рубцы на теле — отметины войны.

— Воевали, как могли, — сказал как-то мне Николай Васильевич. — Силенка была, ведь все мы молоды были и ответственность имели.

Вот именно — ответственность! Верное слово. В нем заключено многое — и героизм, и мужество, и смелость. Подумать только: до Победы было "четыре шага", а до смерти — и того меньше, но никто не думал о смерти, Победой жили все — командующий и солдат, комбат Неустроев и дежурный по рейхстагу Самсонов...

Итак, Победа была рядом, здесь, в рейхстаге. Батальон всей своей силой, всеми огневыми средствами навалился на врага. Трещали стены комнат, рушились по-

толки — нигде фашистам не было спасения. И они не выдержали натиска и нырнули в подземелье — в рейхстаге подвалы глубоченные. Забрались туда и притихли.

Вдруг откуда-то потянуло приятным запахом щей. Точно — наши русские щи. Из-за колонны показался командир хозвзвода лейтенант Власкин. Неустроев удивился:

— Ты, Власкин, как сюда пробрался?

— По-пластунски да перебежками, товарищ капитан. Щи и каша в целости доставлены.

И, кажется, только сейчас вспомнил комбат о Первомае.

— Братцы, — обратился Неустроев ко всем, кто был в этом огромном зале на первом этаже рейхстага, — с праздником вас, с Первомаем!

"Ура!" наполнило зал.

— А нельзя ли чарочку по случаю праздника? — донеслось до Неустроева.

— Лейтенант Власкин, что скажешь? — комбат хитровато посмотрел на командира хозвзвода.

— Будет! — громко, чтоб все слышали, произнес Власкин.

Потом несколько праздничных слов сказал Берест.

— Нет, вы только подумайте, где нам довелось сегодня встретить Первомай. Наша армия пришла в Берлин. Это же здорово! Друзья мои, запомните этот час. Все запомните: и этот зал германского парламента, и лейтенанта Власкина — кормильца нашего, и своего комбата в обгорелом ватнике. Запомните поименно всех, кто пришел в рейхстаг, кто не дошел до него... Победа рядом. Она здесь, в этом здании. Мы ее должны добыть именно сегодня, в наш первомайский праздник...

Давно солдаты так не били в свои огрубевшие ладони — в охотку аплодировали.

— Спасибо, Алеша, — Неустроев жал руку Береста. — Ты говорил, а у меня шел мороз по коже. Где ты только такие душевные слова берешь? Спасибо, комиссар!

Что и говорить, повезло Неустроеву на замполита: словом был силен и делом крепок. Вечером 1 Мая, когда вдруг из подземелья вынырнул белый флаг, снова потребовался Берест. Немцы запросили переговоры, но с условием: готовы их вести только с генералом или полковником, видно, думали, что в рейхстаг ворвалась целая советская дивизия. Неустроев, хитровато прищурив глаза, взглянул на Береста.

— Ну-ка, Леша, скидывай свой ватник и живо брейся. Будешь полковником...

— Степан Андреевич, я все-таки лейтенант. И стал, между прочим, совсем недавно.

— А разве полковником не сможешь? Твои, брат, плечи любое звание выдержат.

Бересту понравилась идея комбата. Он тут же приступил к делу: брился, чистился. Откуда-то появилась трофейная кожаная куртка, которая удачно легла на могучие плечи "полковника". Когда все было готово к переговорам, у самого спуска в подвал раздался звонкий голос начальника штаба батальона, чтоб немцы слышали: "Товарищ полковник, гарнизон рейхстага..." Мол, знайте, нас тут много.

По ступенькам спустились вниз втроем: высокорослый и широкоплечий Берест, его "адъютант" — низенький, щупленький Неустроев и молодой боец Ваня Прыгунов, кое-как говоривший по-немецки. Перед входом в подвал Берест вдруг попросил комбата снять телогрейку, одетую поверх кителя.

— Зачем?

— Пусть фрицы ордена видят и знают, с кем имеют дело.

И верно, когда появились в расположении врага, фашисты частенько посматривали на грудь низкорослого адъютанта, видимо, гадали: а сколько же орденов у самого полковника, ежели у адъютанта — пять...

И все-таки на риск пошли комбат с замполитом: оставили батальон и прямо зверю в пасть шагнули. Добровольно, без чьей-либо подсказки... — Оправдан ли был такой рисковый шаг? — спросил я однажды Неустроева.

— Риск, говоришь? — Степан Андреевич улыбнулся. — Да, риск. Но без риска нет победы. Я все тогда продумал: фашисты прижаты к стенке, значит, их песенка спета, но, приглашая нас на переговоры, будут, конечно, вилять, выпрашивать выгодную ситуацию. На этот случай я должен был быть рядом с Берестом. Я ведь командир, и мне принимать решение. Вот и рискнул спуститься в их логово...

И еще была причина, о которой Неустроев умолчал: он никогда не взваливал тяжелую ношу на чужие плечи, не страшился опасности, ибо знал, что солдаты не должны видеть в своем командире труса. Так жил, так воевал!

Переговоры были краткими. Правда, фашисты пытались затеять торг: согласны сложить оружие, но только в том случае, если русские выведут свои войска из рейхстага, мол, им, немцам, как-то не очень хотелось бы проходить через боевые порядки разъяренных советских подразделений. Неустроев дернул за рукав Береста и резко произнес: "Дудки!". Берест понял комбата. Он сурово взглянул в глаза немцу-полковнику и басовито отрубил:

— Если не сложите оружие, будете уничтожены. Капитулируете — гарантируем жизнь. И никаких условий. Рейхстаг в наших руках!

Повернулись и зашагали по лестнице наверх.

— Холодом обдало спину, — вспоминал Неустроев тот миг. — Казалось, что вот-вот фрицы разрядят свои автоматы, и прощай, жизнь...

Было это в 4 часа уже 2 мая. В рейхстаге стояла тишина: фашисты в подземелье рядились, как им быть. Ну, а наши готовились к новому штурму. И только в начале седьмого из подвала вышел немецкий офицер с белым флагом и сообщил, что их генерал — начальник гарнизона войск рейхстага — отдал приказ о сдаче в плен.

Из подземелья группами поползли немцы. Они еле переставляли ноги, понуро, опустив головы, шли к выходу из рейхстага и складывали в общую кучу оружие — автоматы, пистолеты, пулеметы, гранаты...

Неустроев, стоя рядом с Берестом, произнес:

— Поздравляю, товарищ полковник!

— С победой, товарищ капитан! — пробасил Берест.

Сдался рейхстаг, пала резиденция Гитлера — имперская канцелярия, капитулировал весь Берлин.

А где же самый главный бандит — Гитлер? Вот вопрос, который волновал многих. Неужто улизнул? И поползли слухи: будто он, переодевшись в дамское платье, пробрался к Бранденбургским воротам, а оттуда на спортивном самолете какая-то летчица-фанатичка подняла фюрера ввысь; другие же утверждали, что Гитлер в подземелье скрывается, только вот в каком — никто не знал: то ли в рейхстаге, то ли в бункере, что под имперской канцелярией. Словом, всем нужен был Гитлер, чтоб учинить суд и расправиться. И мы, корреспонденты, тоже пустились в поиск: авось наткнемся на фюрера — будет о чем писать!

Были и курьезы, о которых с улыбкой вспоминаю...

— Сюда.. Иди скорей, — слышу голос нашего фотокора Гребнева.

Но скорей никак нельзя — в рейхстаге нет света, да и препятствий на каждом шагу уйма: то на поваленный диван натыкаешься, то перевернутый шкаф не дает прохода. Но все же кое-как пролезаю сквозь завалы и добираюсь до Гребнева. А он щелкает аппаратом и хохочет. Перед ним солдат с портретом Гитлера в правой руке, а слева — боже мой! — вроде сам фюрер.

— Похож? — спрашивает Гребнев.

Присматриваюсь к немцу: похож — и челка, и усики...

— Это я его взял, — радуется боец. — Говорю ему: "Ты — Гитлер!" — А он отнекивается, не признается, гад... Вот я и портрет прихватил, чтоб сравнили... Он!.. Не сомневайтесь... Сейчас к комбату доставлю этого Гитлера...

Да, и такое было. Однако ж настоящий Гитлер никак не попадался на глаза. Но мы, не теряя надежды все-таки обнаружить его след, отправились в бункер фюрера.

Подземная резиденция Гитлера поразила множеством помещений и благоустройством. На шестнадцатиметровой глубине было все — дорогие ковры, и картины, и сервизы, и стильная мебель, и роскошные кабинеты, и конференц-залы, и телефонный узел, и даже отдельная комната для фюрерской овчарки, словом, много разного попадалось на глаза, но Гитлера след простыл.

И все же удача к нам пришла: натолкнулись на Геббельса. Этот момент Гребнев тут же запечатлел на пленку. У трупа Геббельса наши офицеры ведут допрос пленного фашистского адмирала Фосса.

Адмирал — один из приближенных Гитлера — много знал и был словоохотлив. Он сообщил, в частности, что фюрера нет в живых и рассказал подробнейшим образом о его последних днях. Когда война ворвалась на улицы Берлина, Гитлер вконец скис, обрюзг, голова стала болтаться, руки дрожали, даже голос изменился — в горле булькало. Правда, эта развалина 29 апреля учинила еще и свадьбу: Гитлер решил уйти из жизни не холостяком, а законным мужем киноактрисы Евы Браун. Окружение фюрера поразилось причуде своего шефа: русские снаряды рвутся над бункером... и вдруг бракосочетание!

Всего одни сутки прошли после свадебного "пиршества", и в имперской подземной канцелярии глухо грохнул выстрел: Гитлер принял яд, а затем, для верности, послал себе пулю в рот. До этого фюрер самолично накормил отравой овчарку.

Приняла ядовитую пилюлю и Ева Браун. Офицеры-эсэсовцы кинулись в комнату Гитлера и, быстренько укутав трупы коврами, поволокли наверх — в сад имперской канцелярии. Могилы не надо было копать: кругом воронки — следы нашей артиллерии. Выбрали ту, которая поглубже, и положили молодоженов — Адольфа и Еву рядышком. Потом плеснули на них бензин и подожгли. По саду пополз смрадный дым...

Сказанное немцем-адмиралом вскоре подтвердилось. Наши разведчики нашли воронку-могилу, а в ней и останки фюрера. Он основательно обгорел, целой осталась только челюсть, которая и позволила достоверно установить, что это был Гитлер. Тут же лежал и почерневший скелет его супруги. А поодаль, тоже в воронке, покоилась овчарка.

Геббельс последовал примеру фюрера. На рассвете 2 мая он покончил с собой. Его тоже подожгли, но он не сгорел, только одежду поглотил огонь. Фосс показал, что от многочисленной семьи Геббельса никого не осталось. Жуткую историю рассказал адмирал: жена Геббельса с помощью врача-эсэсовца умертвила шестерых своих малолетних детей. Девчонки кричали, плакали и пытались убежать. Но мать, закрыв комнату на ключ, ловила их и силой подводила к врачу, который втыкал детям шприц с ядом.

Я видел этих мертвых детей. Они лежали на длинном столе в белых ночных рубашках. Какая мать смогла бы такое сотворить? Только фашистское чудище способно было на подобное палачество.

Адмирал сообщил деталь: умертвив детей, Магда Геббельс вышла в коридор и попросила у охранника сигарету. Затянулась дымом, похлопала его по плечу, посмотрелась в зеркало и, повернувшись, ушла в комнату. Там и сама приняла яд...

Вот так ушли из жизни фашисты-палачи. Одни травились, другие — разбегались кто куда. Сбежал Геринг, скрылся Гиммлер, спрятался Риббентроп. Но всех настигла кара. Возмездие свершилось!

А чем же жил в майские дни Берлин? Как он воспринял капитуляцию? Чем заняты наши войска? Нас, корреспондентов, все это очень интересовало. И мы с рассвета до темна были на ногах.

Поражала тишина. Мы отвыкли от нее. Идешь по Берлину, и кажется, что вот-вот снова начнется пальба, тогда придется падать на асфальт и ползти по-пластунски.

Нет, не надо ползти. Можно идти смело во весь рост. Берлин полощется в белых флагах — капитуляция!

Однако не везде можно пройти. Мешают рвы, завалы, рухнувшие дома — следы только что утихших боев. Стоят обгорелые самоходки, танки, орудия с уткнувшимися в землю стволами...

И вдруг видим своих. Подходим. Танкисты оживленно разговаривают с девушками:

— Кто вы? — спрашиваем их.

— Невольницы, — отвечает голубоглазая.

Невольницы? Слово какое страшное. Ну да, это же их угоняли фашисты из Белоруссии, Украины, из-под Смоленска, Ржева, Великих Лук... Угоняли в рабство.

— Были невольницами, — поправляет вторая девушка. — Теперь вот на свободе.

Знакомимся. Девушки называют себя: Вера Загура, Надя Сушко, Фрося Григорчук.

Пишу эти строки, а на память приходит совсем недавний разговор с молодым человеком, между прочим, литератором. Он такое сказал, что и повторять не хочется, но осмелюсь. "А может, лучше бы было проиграть войну. Тогда сталинизму пришел бы конец..." Так вот и выпалил. Я, конечно, возмутился, но, успокоившись, рассказал про сожженные города и опустошенные села, про виселицы, которыми фашисты усеяли нашу землю, про Майданек и Хатынь. Не вспомнил только про невольниц. Увидел бы он, умник, легко отдающий врагу Родину, этих рабынь, услышал бы их рассказы о неволе, о растоптанной юности, об издевательствах и насилиях хозяев-фашистов над ними. За малую оплошность догола раздевали юных девчонок и стегали ремнями, запирали в холодный карцер... Это не я придумал. Вера Загура и Надя Сушко рассказали.

— Не будем лихое вспоминать, — остановила подруг Фрося Григорчук. — Спасибо за то, что вы пришли в этот проклятый Берлин и освободили нас. Век вас не забудем...

Девушки успокоились и попросили указать, как лучше пройти к рейхстагу, хотят увидеть Знамя Победы. Три года не видели наших красных флагов. На прощанье они пожимают руки танкистам, благодарят. Фотокор Гребнев щелкает "лейкой", а я прошу сержанта написать несколько строк для газеты.

— Бумаги не имею, — отвечает.

Подал свой блокнот.

Сержант пристраивается у танка и пишет: "Я русский, зовут меня Иван. Никогда я так не гордился своим именем, как теперь. "Иван в Берлине!" — здорово звучит. Сержант Иван Беликин."

— Годится? — спрашивает.

— Порядок, — отвечаю. — Обязательно напечатаем.

Прощаемся с танкистами и выходим на Александерплац. Здесь дымит наша походная кухня, а к ней со всех углов площади идут люди — с тарелками, термосами... Это же немцы. Точно. Подходим и мы вплотную к кухне. Глазам своим не верим: наш повар наливает в немецкие посудины русские щи. Заметив нас, повар крикнул: "Кормлю берлинское население!.. Комдив приказал". Вот оно как! А ведь Геббельс, охочий до словоблудия, обращаясь по радио к берлинцам, стращал, запугивал, говорил, что русские, если войдут в город, всех передавят. Как всегда, врал этот фашист-болтун. Вон что делают русские: не дают немцам умереть с голоду — делятся своим пайком.

И спасают от беды. Фотокор Гребнев запечатлел одну из многих сцен: наш сержант-медик прямо на улице оказывает помощь раненому немцу. До сих пор хранится в моем фронтовом блокноте фамилия этого санинструктора — Кузьмин Н.А. Может, откликнется, если жив и прочитает...

В те майские дни рядом с ликованием соседствовала и скорбь. Мы радовались победной тишине и оплакивали павших товарищей. Из рейхстага, из берлинской подземки, из "дома Гиммлера" — отовсюду, где прошли бои, выносили убитых. Их

было очень много. Хоронили в разных точках города. Это потом появится Трептов-парк с монументами Памяти, куда всех павших снесут на вечный покой. Вспоминаю своего коллегу — журналиста Вадима Белова, редактора дивизионной газеты. Прошел всю войну, был в труднейших переплетах, но уцелел. А в Берлине у Моабитской тюрьмы его настиг вражский фаустпатрон — и не стало Вадима. Остался навеки на чужой стороне.

Да, война всем кромсала жизнь. Берлинцам тоже досталось. Многие остались без крова, без одежды и воды. Мы видели людей, понуро разгребающих завалы. Кто-то навзрыд плакал, а иные вслух благодарили Господа: наконец-то все стихло и нет больше пальбы.

А мы как могли отмечали Победу. По берлинским улицам неслись русские песни, по брусчатке стучали солдатские каблуки — шла удалая пляска. У Бранденбургских ворот боец-победитель на гармони наигрывал трогательный мотив про скромный синий платочек...

Так началось утро 9 мая 1945-го — утро нашей Победы.



Василий Субботин



Василий Ефимович Субботин (1921) провел детство и первые послевоенные годы в Свердловской области. Войну встретил вблизи западной границы, а закончил в Берлине. В 1947 году П.П.Бажов напечатал в "Уральском современнике" стихи В.Субботина и первые записки о взятии рейхстага, из которых впоследствии выросла книга "Как кончаются войны", одно из лучших произведений советской художественной прозы о завершающем этапе войны. Трехтомник избранных произведений (Москва, 1990) вобрал лучшее из созданного автором в поэзии и прозе. В журнале "Урал" № 6 за 1993 г. и в №№ 8—9 за 1994 г. опубликована новая книга В.Субботина "Рассказы из прошлого".

В.Субботин награжден орденами Отечественной войны I и II степени, Красной звезды, двумя орденами Трудового Красного Знамени, "Знак Почета" и медалями. Лауреат литературных премий Александра Фадеева и Константина Симонова.



ПРОРЫВ

1

Войска идут по дорогам, подняв головы вверх. Все идут, и все смотрят на солнце. Что же это стало с ним?

В небе высоко стоит солнце. С утра уже оно так сильно раскалено, но откуда взялся, как появился вокруг него этот огромный радужный круг. А само солнце — черное. Оно оранжевое, дымное, почти совсем черное. Солнце под черной заслонкой. И, должно быть, оттого, что его наглухо прикрыли этой черной заслонкой, лучи из-под нее скользят куда-то вбок, свет пробивается как бы исподнизу.

По всем дорогам, полям и тропам — никто не смотрел под ноги — шли и шли войска... С автоматом у бедра или с карабином у плеча, но каждый устремив глаза в небо. А это оранжевое и будто черной заслонкой прикрытое солнце, хотя оно и было огромным, почти не светило.

И что это там еще? Какой колоссальный, невиданно яркий, сияющий круг! Будто обод какой.

Какое редкое и какое странное, должно быть, никогда никем не виданное зрелище. Мы уже час наблюдаем его. Сразу же, как только оно появилось в небе, выплыло из-за горизонта, оно почернело и вокруг него возник и этот нимб и этот свет.

Вот отчего все идут и все на него смотрят, на это лохматое, задымленное — как через закопченное стекло! — невероятное черное солнце.

Идут, не глядя под ноги и то и дело сбиваясь с ноги.

2

Знаете вы, что значит подняться в атаку первым? Первым, не первым, все равно! Знаете? Сейчас я попытаюсь вам объяснить это. Бывали вы на большой высоте? Смотрели, перегнувшись, с большой высоты, откуда-нибудь с крыши или окна десятиэтажного дома? Приходилось, доводилось ли вам прыгать с парашютом? Ну, хотя бы с вышки для прыжков...

Чем-то это напоминает...

Помню, как я первый раз влез на парашютную вышку, — сейчас уже это не в обычае, а в те времена каждый должен был хоть раз да прыгнуть попытаться. Я

вылез наверх, вышел вперед по доске, парашют болтался где-то внизу — на мне только лямки. Я знал, что ничего со мной не случится, парашют удержит. Но когда я вылез наверх, сразу у меня согнулись коленки, сразу стеснило и захватило дыхание, и, всасывая воздух ртом, я тянул что-то вроде "и-и-и". Так у меня подобрало, подтянуло живот.

Вот то же и в атаке, когда надо вылезти из траншеи наверх, выскочить под пулемет, под ветер атаки...

Так же, как с парашютом, только немного страшнее... Я когда в сорок первом поднимался — было мне легче. Наверно, потому, что молод был... Но очень это запомнилось...

Теперь мне не надо вылезать наверх. Я могу оставаться в траншее, ведь я журналист, корреспондент.

Примолкшие, даже испуганные, подавленные пережитым, бойцы (только что была танковая атака) стараются дать мне дорогу, когда я прохожу.

Их немного... Я вижу, как они готовятся, как раскладывают по брустверу гранаты, убирают лишнюю, мешающую им землю... Все молча.

Так что же, что же было накануне и как попал я в траншею эту?

Накануне был прорыв. Накануне я заснул. Да, да, я проспал самое начало наступления на Одере.

Говорят, шла такая артиллерийская подготовка и так слепили прожектора, а я все проспал. Прожекторов я не видел. Но уже и сквозь сон слышал, как ревела артиллерия и выдвигались танки. Так и не вернувшись в тот день в редакцию, я спал в нескольких метрах от берега, на дне траншеи, тут же сразу за Одером. С головой завернув себя в плащ-накидку.

Что такое со мной? Ведь вот так же спал я в сорок первом году. Это было в лесу, где нас окружили и принялись садить по нам из минометов. Страшно как ухало... Когда пришли мы в лес, мы выкопали окопчики, устлали их еловыми лапками, даже сверху замаскировали теми же елочками. И тоже всю ночь по нам молотили. Темень была — глаз выколи. И так же, как я, все спали. Когда проснулись, кругом были поломаны деревья.

Что это — усталость, привычка?

3

Мне странно смотреть на себя того, двадцатилетнего, в тот окоп, в котором я сидел на Одере.

Я проснулся в доме недалеко от переднего края. Когда все еще спали. Проснулся потому, что кто-то дергал раму. Вокруг гремело, дом ходил ходуном.

Я знал свое дело хорошо. Если уже началось, значит, и мне надо идти. Никаких приказов специальных не требовалось. Мигом я собрался, перекинул через плечо старую сумку свою, тронул за плечо человека, спящего на кровати, и сказал ему, что я пошел.

Даже и дорогу мне искать не надо, шел на звук этой пальбы. Тут не очень далеко ведь! Было уже светло. И когда я по шатким, расходящимся под ногой, погруженным в воду мосткам переходил Одер, вставало солнце.

Ощущение радости рождалось во мне не только от прохлады, от бодрости утра... Наконец началось! Я только досадовал, что никто мне заранее ничего не сказал. Ведь накануне небось всем все уже было известно. А вот не предупредили!

Сразу за Одером раскинулся плацдарм — долина, разъятая, обезображенная.

Сверху, с дамбы, откуда мне показали расположение пункта, которого мне хотелось достичь, все было как на ладони. Но едва я спустился вниз, в эту громыхающую,вкривь и вкось изрезанную прибрежную пойму, как потерял всякую ориентировку и перестал очень скоро что-нибудь вообще понимать. Куда я иду и что мне надо искать.

Так и прежде бывало со мной не раз.

Сунулся влево, вправо, пока не увидел, что заблудился и что не так просто найти то, что сверху казалось таким простым... Как на школьной карте.

Сначала я попал на хорошо скрытую позицию к двум нашим минометчикам. Очень любопытная это была батарея. Командиром батареи был один брат, а командиром взвода другой. Оба тихие, неразговорчивые. Старший был в подчинении у младшего.

— Это ты? — сказал мне младший, когда я влезал к нему в землянку, где он сидел, согнувшись в три погибели...

Землянки у всех тут низкие — глубоко копать было нельзя. Близко была вода.

Долго я в это утро, еще до того как настал день, кружился по укрытиям, по неосвоенным и потому еще беспорядочным ходам и траншеям.

Было свежо, сыро, я вышел в одной гимнастерке, в своей брезентовой плащ-накидке... И хотя только была весна, вторая половина апреля, мы, может быть, раньше времени на этот раз, почувствовали потребность перейти на летнюю форму одежды. Я уже сменил степную кубанку на прежнюю свою фуражку, танкистскую, с бархатным околышем.

Так я лазил на этом плацдарме довольно долго. В самом деле, когда я выходил, еще не рассвело, а теперь солнце горело высоко.

Я долго кружил по этому, как нигде густо изрытому ходами сообщения огромному плацдарму, кружил долго, пока, взяв немного в сторону, не наткнулся на стоящего тут же в траншее генерала со свитой. Генерал этот бегло и совсем не грозно взглянул на меня. В зеленой фуражечке, черноволосый, с густыми, на висках выбившимися из-под фуражки волосами и, видать, молодой. Молодой и совсем не грозный генерал.

И может, потому, что он был в своей зеленой защитной фуражке, в темном кителе, я не сразу понял, что это генерал, командир корпуса.

Он явно обратил внимание на нового для него человека и, хотя я ему не представился, ничего не сказал. Но едва только я заметил этого прикладывающего бинокль к глазам генерала, как я, по выработавшейся у меня привычке прятаться от большого начальства, обошел его.

Я все еще блуждал по этим канавкам, по этим заполняющимся подпочвенной водой траншеям, да они и были слишком мелки, чтобы считаться траншеями, и вдруг уткнулся в дверь блиндажа. Только вместо двери висела обступанная, плохо державшаяся и потому плохо прикрывающая вход, измазанная глиной палатка. Попросту кусок брезента.

Конечно, выкопанная наспех земляночка, а не блиндаж, потому что смешно было бы называть блиндажом эту ямку, эту норку в земле.

Сидящий в ней командир полка, давно знакомый подполковник — длинный, тонкий, чтобы не стукнуться головой о потолок, весь куда-то тоже сполз, но все же плохо помещался в этой землянке.

Кроме него, в землянке жались еще двое — телефонист и сердитая, властная девица. То ли санитар, то ли повар, так я и не разобрал.

Я пришел не в самое лучшее время. Подполковник в своей этой более чем угнетенной позе, зажавши трубку в кулаке, кричал:

— Подожди, подожди, говорю! Скажи мне точно: сколько? — Вдруг он повысил голос, глаза у него побелели. — Сколько, я спрашиваю! Говори спокойно! Где? Справа, слева? Тридцать два?

Как будто все дело было в этом — два или тридцать два!

На них там шли танки.

Но подполковник знал, что делал: чтобы отвечать, надо было, по-видимому, сначала овладеть собой. Шутка ли — тридцать два танка!

Прошло какое-то время, и тот же врывающийся в блиндаж голос из трубки доложил: не тридцать два, а четыре.

— Слава Богу, — сказал на это командир, — в восемь раз меньше!

Взглянул на наши напряженные лица и усмехнулся.

Я спросил, какая есть возможность пройти в батальон.

Сейчас как раз туда должен идти старшина, сказали мне. Потом выяснилось, что старшина сейчас идти не может, и мне пришлось идти с комсоргом батальона, который знал только направление. Я отыскал этого комсорга в щели, недалеко от землянки командира полка. Я разбудил его, удивившись, что он спит среди дня. Он хмуро посмотрел на меня и стал перематывать портянку.

— Почему не в батальоне? — спросил я и смутился, сам почувствовав, что не имею права задавать этого вопроса.

— Мне не положено там быть, — сказал он, — я должен трупы убирать.

Потом объяснил, что он не спал всю ночь.

Мы отправились. "Тут не далеко..." — сказал он мне.

Какое-то время мы шли по траншее. Потом траншея кончилась и выступили холмы начинающейся слева возвышенности. Чаще стали пощелкивать пули.

По-настоящему нам так и не удалось ни разу разогнуться на всем этом пути. Хотя нам и не пришлось ползти. Комсорг мой, это выяснилось сразу, едва мы выбрались из поймы, дороги не знает, а идет, лишь полагаясь на чутье. Он так умело отговаривался, когда я его прощупывал, что не поймешь — то ли знает, то ли не знает. Мы теперь шли по краю залитой водой канавы. Что-то вроде канавы или старого канала, протекающего в узенькой долинке. Рва, заполненного водой.

В холодную, стылую вешнюю воду лезть не хотелось. Глубина рва ведь неизвестна, может, по горло, а может, и дна не достанешь. И вот, укрываясь за берегом того рва, стараясь не свалиться, двигались мы узкой кромочкой. То и дело останавливались, чтобы отдышаться.

Хитрая задача — не свалиться в воду и не вылезть наверх, где тебя тут же снимут.

Все же мы то и дело вылезали. Высовывались после того, как соскальзывали вниз, и тогда раздавался выстрел.

Хитрая задача — ползти по краю почти отвесной стенки. Это почти что автоматическое действие: выставишь спину — и срабатывает пулемет.

Минуту спустя мы должны были оставить нашу канаву. Поперек легла круглая колючая проволока. Так называемая спираль Бруно. Она была опущена в воду, а из воды поднималась на высоту.

Мы с сожалением вылезли наверх.

В нескольких метрах на вздымающейся слева высотке — проход. Как видно, тут метнули гранату. А может быть, даже и две. Прогал довольно большой, широкий, если бы только не болтались во все стороны раскачивающиеся под ветром, разорванные концы проволоки. Опасное место!

Под проволокой уже лежал солдат в ватнике, убитый, должно быть, еще утром. Его серая, затертая землей спина была видна еще издали...

Как проскочить это место, не зацепиться и не угодить под пулемет...

Не угодить под пулемет и не зацепиться было трудно.

Тут надо было прыгать.

Поглядывая на убитого, мы лежали в трех метрах.

Комсорг меня предупредил, чтобы я не сразу поднимался, а немного подождал. Действительно, едва он метнулся к проволоке, раздалась резкая, распарывающая воздух очередь. Он был уже на той стороне проволоки и опять лежал на земле, я видел, что он проскочил удачно.

Собьет или не собьет? Мне пришось долго лежать, пока не показалось, что можно вскочить.

О черт! Так и есть... Я зацепился. Зацепился плащ-накидкой.

Случилось то, чего я больше всего боялся. Но я рванул — и она отцепилась...

Когда встаешь с земли — самый напряженный момент.

Очередь все-таки раздалась...

Хуже всего солдату, подносчику патронов. Мы его встретили только что в канаве. Он переставлял ящики с цинками. Ящик тяжелый, лежа делать это трудно было, и он переставлял сидя... Мы были уже за проволокой, а он завяз и не мог пересадить свои цинки. И пулемет бил по нему уже наугад.

Мы подхватили у солдата патроны, приняли их с рук на руки и подождали, пока он переберется сам.

И еще не перевалили и холмы, как оказались в траншее.

На нас сразу же зашикали:

"Тише! Тише!"

Это нас удивило. "Не разговаривайте громко — немцы рядом".

Я уже увидел Твердохлеба, комбата, знакомого мне... Но как же мало их осталось!

Подходит замкомбата — маленький, чернявый, немолодой. Сам комбат — крупный, несколько мешковатый, то ли медлительный, то ли всю жизнь стесняющийся.

Я достаю небольшую записную книжку свою. Трофейную, в дерматиновой красной обложке, на первой странице которой написана одна-единственная строчка, чужая, так и не разобранная мной...

Комбат улыбается. Он смотрит на меня во все глаза, ему, я вижу, странно, что мне удалось добраться до него. От всего его батальона осталось человек пятнадцать.

Они обступают меня. Они очень удивлены, оживлены, называют меня "редактором". Они, как видно, думали, что обречены, брошены в этот прорыв и забыты. И вот к ним пришли, да еще из газеты.

Наперебой показывают мне только что подбитый танк. Он сполз вниз, под уклон, но все еще дымит.

Бойцы выглядывают за бруствер с осторожностью. Стараются лишний раз без нужды не высовываться. Только те, кто сюда попадает вот так сразу, лезут куда не надо. Я знаю этих мальчишек, не осознающих опасности. Ребята, которым все интересно... Обыкновенный человек, попав на передовую впервые, думает, что ничего тут опасного нет. И в самом деле, как тут тихо, спокойно. Лишь те, кто живет здесь долго, ведут себя осмотрительнее.

Не напрасно они нас остановили, когда мы ввалились сюда... Так меня всегда встречают, когда я попадаю на передовую.

Бывалый солдат к брустверу подходит с осторожностью.

Я и сам был всю жизнь парнишкой неуклюжим, который ничего не понимает. Лопоухим бойцом из пополнения.

Моя книжка разбухает. Я стараюсь записать всех. Знаю, что даже те, что стоят вдали, у бруствера, прислушиваются сейчас к моему разговору с командиром. Даже вот этот гордый черноволосый офицер, лейтенант с орденом Славы. Какое у него одухотворенное прекрасное лицо...

Но трудно мне их, тех, кто стоит в этой траншее, в пяти метрах от немцев, делить на героев и не героев — обижать никого не хочется.

Мне надо уходить. Уже темнеет, и я тороплюсь.

Сколько раз я приходил вот так... Все эти последние полтора года. Приходил и уходил. Приходил в полдень, а то и к вечеру, а уходил к ночи. Мне было легче, чем им. Я не каждую ночь проводил в траншее.

Я мог и уйти с передовой, если хотел. Мог поискать ночлег.

Возвращаемя обратно прежним путем, опять пробираемся по топкому и скользкому берегу. Убитого уже убрали. Под проволочным заграждением теперь лицом вверх лежит сапер и ножницами режет проволоку. Все еще потрескивает тот невидимый, с фланга, пулемет, но пули идут вверх, и скользят, и вызванивают по проволоке.

В темноте приходим мы на свой НП...

Вот что было в тот день.

4 - 5

Ночь я провел там, на Одере, на дне этой влажной, пахнущей землей траншеи, уснул и не слышал, как были включены прожекторные установки. Смолкла артподготовка, включены прожекторные установки, и началось наступление.

Я так устал в этот день, что бабаханье за бруствером меня совершенно укачало. Я и в самом деле так крепко спал в этой траншее, что ничего не слышал. А когда я наконец проснулся, пришел в себя, вокруг никого не было и солнце, вставшее за спиной, было высоко.

Я пропустил самый интересный момент.

Траншеи были пустыми, а солнце было уже в небе...

Я только-только успел вернуться, дойти до своих. Кто-то им уже сказал, что я убит.

Так что же было в тот день на Одере с солнцем?

Солнце в тот день так и не взошло. После той страшной, проведенной в ночь артиллерийской подготовки, столько земли, столько пыли поднялось к облакам, что солнце сделалось черным вдруг.

Дыму, пыли, гари. Всего.

И вот, когда мы пошли вперед, встали с плацдармов на Одере и двинулись к Берлину, это клубящееся в тучах, багровое, пылающее над нами черное космическое солнце долго еще не могло пробиться сквозь всю эту завесу, и нам виден был только его радужный нимб.

Тени бежали по земле.

Такой неестественный, яростный блеск разлился по полям, что зрелище того дня напоминало затмение солнца.

Это было так неожиданно и так действовало на наше воображение, что воспринималось как знамение.

Поднявшаяся пыль висела над нами в небесах все время, пока мы шли к Берлину, но особенно густой она была в тот первый день. Я думаю, что если бы в это время пошел дождь, он лил бы, наверное, вместе с землей и пеплом, как при извержении вулкана... Наступали мы с кюстринского плацдарма. На Одер мы пришли недели за две до наступления и обосновались сначала в каком-то небольшом, уютно обставленном доме на отшибе.

Одера самого никто из нас не видел.

Сразу от нашего крыльца тянулся большой сосновый лес, проехав который можно было попасть в городок. Когда мы пришли, в лесу сохранились еще островки нерастаявшего снега.

Дни стояли серые, однообразные. Предвесеннее солнце пряталось неизвестно где...

Мы стояли на Одере, а самого Одера не видели. А поглядеть на Одер хотелось! Полки наши были выведены, а вернее, их еще и не вводили. Здесь, в нескольких километрах от переднего края, на одном из озер в этом лесу они учились преодолению водной преграды.

Что за Одер, какой он? Слухи были разноречивые. Одни говорили, что наши на дамбе. Но с какой стороны? На той? Или на этой? Находились знатоки, что утверждали, что плацдарм уже отвоеван и Одер форсировать нам не придется.

Просыпаясь по ночам, я слышал, как бомбят Берлин.

Тогда-то я и забрался на вышку.

Если сказать точнее, никакой вышки не было, была кирха. Она стояла у дороги, небольшая немецкая кирха. Я забрался наверх, "на колокольню". И мне удалось тогда же увидеть Одер. За лесами, в стороне, блеснула его узкая холодная полоска. Но особенно хорошо помню ту дрожь, которую я испытал, когда поднялся на кирху, дрожь и этот холодок под коленками. Давно забытое ощущение высоты.

Неожиданно Одер оказался очень широким, разлившимся во все стороны, заблудившимся в плавнях.

Пришел я ночью и только днем его увидел по-настоящему.

Он был весь еще мутный, белесый. Я шел по понтонному мосту, уходящему все глубже под воду...

Вот как это все было. Теперь я все рассказал. Когда батальон Твердохлеба вел бои в глубине немецкой обороны, я был на Одере вторично.

Ночь я провел на плацдарме, в этой траншее, а на другой день утром, когда войска пошли вперед, показывал своим, где надо переезжать. Ехали на нашей расшатанной и перегруженной машине...

А к выходу наших войск на Одер мы опоздали. Когда пришли, там уже был плацдарм и были другие части...

Дело в том, что нам пришлось догонять. При наступлении в Померании фронт наш ушел далеко вперед, а армию нашу повернули круто вправо, к морю, к взморью. И, оттеснив, отрезав разрозненные немецкие части, мы гнали их к побережью.

Прямо по дорогам.

Никакой линии фронта, конечно, не было. Моросили бесконечные дожди. То ли потому, что было время дождей, то ли от близости к морю.

Я отстал к тому же от своих, вернее, потерял их, не мог найти нашу кибитку на этих растянувшихся дорогах и ехал с машиной какого-то полка — то ли с хлебопекарней, то ли с вещевым складом...

Мокрый, гладкий, лоснящийся асфальт дорог.

Целыми днями под дождем, под секущей лицо моросью, застилающей дали. Мы ехали и ехали. День и ночь. К морю, к Балтике. Мимо фольварков и деревень, мимо разинувших рты немцев...

6

Пыль так и не садится. Тяжелая, липкая, она лезет за воротник, жирным слоем ложится на рукава, на плечи. Такой же пышной шубой покрывает стекло кабины, радиатор. Пыльная трава, пыльная дорога, пыльные кусты. Машина пробирается по этой пыли ощупью, наугад...

Я стою на подножке, держась рукой за дверцу.

В кузове грузовика я оставил плащ-накидку, и теперь весь этот слой мягкой, нежной белой пыли покрывает мою гимнастерку...

Пыль, пыль, пыль.

Мы движемся в этой пыли, как в тумане, в двух метрах уже ничего не видно, а я потому и стою на крыле, чтобы показывать дорогу.

Должно быть, лицо у меня такое же черное, как у нашего водителя. Даже чернее, потому что мне достается еще больше...

И как же немного надо. И ведь еще весна, еще сыро. А вот выдался один такой сухой день, и уже пыль... Одного такого дня было достаточно. Такого жаркого дня и дороги. Такого неисчислимого количества машин — сколько колес тут прошло! Всей этой техники, которая прошла этой равниной, полями, где еще день-два назад и дороги-то никакой не было. Чтобы мы задохнулись теперь в ней, в этой фантастической душной серой пыли, как в облаке!

Когда сегодня мы подъехали к переправе на Одере, я стоял на мосту — машина ждала своей очереди, — стоял у края колеблющегося, качающегося, наведенного понтонерами моста. Как все в этот день — возбужденный, увлеченный потоком людей, двинувшихся на Одер.

Я был весь какой-то взбудораженный, будто пьяный.

Я прыгал на этом наплавном мосту. Мне было весело, и всей этой ночи, которую я спал в окопе, ее будто не было, ее будто рукой сняло.

Я — пьяный — стоял на качающемся мосту и, проваливаясь, раздавал газету.

Я что-то кричал, как все, беспричинно и радостно ругался, размахивал руками и газетой. Удивительно, какое было утро.

Теперь, через два часа, стоя уже на подножке нашей машины, я вспоминал, заново переживал свой переход через Одер. Вспоминал и то, как это было все, когда я с плацдарма, от Твердохлеба, вернулся в редакцию. Возвращение мое восприняли то ли с удивлением, то ли с испугом. Это все оттого, что меня уже не ждали.

Одер играл, тек он еще быстрее. Прибыла вода. И все же до берега и до воды было далеко, надо было преодолеть полосу густого, высокого тростника. Мы долго ехали через эти тростники.

Понтон сильно опустился, лег на воду. Машину раскачивало, мотало во все стороны, и я обеими руками держался за дверцу кабины. Митя хотел, чтобы я показывал ему, как ехать. Вот почему и стоял я на этой подножке... А иначе должен бы лезть в кузов и сидеть там вместе со всеми, на подножке я чувствовал себя даже лучше. Здесь хоть было чем дышать. Там, сквозь рассохшиеся доски кузова, лезла только пыль... Когда я на остановке открыл дверь, они сидели как полуживые, тихие, задохнувшиеся. Все молчали.

Я поразился их странному виду.

Все было в той же пыли: ведра, скатки, котелки... Когда мы тронулись, мы впервые не закрыли дверь.

В том месте, где мы переезжали Одер, немецкая траншея была к реке ближе. Она проходила сразу на высотах, где повыше. Район плацдарма, где я вчера лазил,

36 Зак. 474

и ров с водой были левее, но местность была одна, как и всюду сплошь изрытая траншеями, окопами. Однако никаких зубов дракона, ничего такого, что нам обещали, ни противотанковых рвов, ни мощных железобетонных сооружений, ничего этого не было здесь.

Но уже сама местность за Одером была выгодной для немцев. По-над берегом, за поймой, тянулись высоты. По ним-то и проходил передний край, вторая линия их обороны.

Мы как раз проезжали эти высоты. Сразу, как мы поднялись на холмы, рядом с дорогой, на одном из холмов стоял дом, и он вовсю горел.

Мы объехали этот горящий дом, спустились вниз, в долину, и лишь тут, в трех или даже четырех километрах от Одера, я увидел трупы. Не в траншеях, а на скате лежало несколько человек в зеленых мундирах. Первые увиденные мной на Одере убитые...

Мы долго так ехали, почти без дорог, по голым еще склонам, по прошлогодней сухой траве — рыжей, серой. Трава была вытоптана, мелкая, курчавая — заросшие полевым горошком, сухой повиликой склоны. Всем тем, чем порастают склоны холмов и в России.

Вот тут-то и выперло из-за спины прячущееся за облаками солнце. С каждой минутой оно все разгоралось, становилось все горячее. Затем мы выехали уже на полевую дорогу, проделанную, видимо, только в эти дни, и теперь вот уже час едем в этой пыли, совсем очумелые, и с трудом узнаем своих.

Пыль, пыль... Она ложится на лица, на одежду. Нарастает, как мох. Мы и вовсе глохнем от этой пыли... Слой пыли покрывает и плечи, и грудь, и мои новые сапоги...

В самом деле, мы уже ничего не видим и не слышим, где мы едем, — ни впереди, ни по бокам ни дьявола не видно. Продвигаемся, как караван в пустыне.

Порой кажется, что мы плывем. Машина будто плывет по волнам, пыль от впереди идущей машины заливает колеса, набегает волнами, будто вода. И мы с размаху всплываем в эти волны. Вот отчего машина катит так мягко, только когда колеса попадают в ухаб, тогда целый сноп пыли летит на меня и долго ничего не видно.

Кто-то меня окликает. Оказывается, вот эта повозка, которую мы догнали, — наша полевая почта. Мы ехали за ними следом и не знали этого.

Мне передают письмо. От сестры или из дому? Братья и сестра моя живут в Кировской области. Нет, письмо с Урала! Стоя на той же подножке, я нетерпеливо разрываю конверт. В руках у меня несколько листочков. Я не стал читать, не мог, все плыло перед глазами... Качало сильно. Но одна страница, я успел заметить, была пустая и на ней была крохотная желтая лапка, как листок клена... Маленький листочек клена. Я думал, это листок клена. А это была рука моей дочки.

К вечеру лишь въехали в селение одно, но и в нем не остановились. Мы оторвались от своих, и нам надо было спешить. Спустившись вниз, переехали какую-то речку, по-видимому речку, так как я тотчас услышал, как затарахтел настил моста. Дорога резко пошла под уклон.

По-прежнему я стоял на подножке и смотрел в воду. Точнее сказать, смотрел под колеса, куда мне и надо было смотреть.

И вот тут, когда мы съехали уже с горы, когда мы уже стали спускаться, по голове меня ударили ноги. Сначала я почувствовал удар, но потом увидел, как качнулись у меня перед глазами эти ноги в темных носках.

Он качался в петле над мостом, перед этой дорогой. Ни лица его, ни одежды я не успел разглядеть и видел только зацепившие меня, ударившие меня внезапно по голове ноги.

Это были ноги немца, ноги солдата.

Дезертира или просто отступившего солдата...

Ударившие, а потом протарахтевшие о крытый верх машины, кузова.

Так что мои товарищи, сидящие там, даже не поняли, что произошло.

7

ДИВИЗИОННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

Не все знают, что по дорогам войны 1812 года в потоке наших войск двигалась этакая странная доверху нагруженная колымага...

Это была полевая походная редакция, в которой печатались листовки к солдатам французской армии, сводки и приказы светлейшего князя Кутузова. Своего рода боевые листки. Первая армейская походная редакция. В ее составе находился в те дни поэт Василий Андреевич Жуковский, прославленный певец во стане русских воинов...

Наши армейские, наши дивизионные, фронтовые редакции на дорогах войны, в потоке наших войск и были такими вот полевыми походными редакциями. А мы — молодые поэты, мы, молодые журналисты тех лет, — не кем иным, как певцами во стане советских воинов.

У наших соседей машины не было, у них было две лошади. А у нас была старая разбитая полуторка, закрытая, с обшитым досками кузовом.

В редакции я считался самым младшим работником и носил звание литературного сотрудника. Мы этого своего звания, даже самого слова этого (сотрудники — это те, что сидят в конторах!) не любили и называли себя дивизионными корреспондентами. Корреспондентами дивизионной газеты. Что, по нашему мнению, куда более соответствовало и должности, и характеру нашей работы... Конечно, на взгляд человека невоенного, непосвященного, все работники газет и все корреспонденты на одно лицо. Будь то корреспондент самой "Красной звезды", корреспондент газеты фронта или литсотрудник дивизионной газеты. Но мы-то хорошо знали, в чем тут разница.

Кем я был на войне?

Для нашего редакционного печатника (он же начхоз), тем более для какого-нибудь закоренелого штабиста я был почти героем, человеком переднего края. Тем, кто лез в самое пекло. В глазах же какого-нибудь взводного я и сам был тыловиком, изредка, раз в неделю, приходившим к нему в траншею.

Редакция дивизионной газеты представляла собой этакий цыганский табор. В деревянный, рассохшийся кузов полуторки было спихано все немудреное хозяйство редакции — наборные кассы, бумага, перепачканные типографской краской шинели и ватники, вещевые мешки, и, наконец, люди: два-три наборщика, печатник, редактор, его зам, секретарь и ты — литсотрудник.

Сама газета была маленькая. Обыкновенная двухполоска. Лишь немногим побольше листа бумаги писчей. Выходила она через день.

Но я возвращаюсь к должности корреспондента.

Корреспондент дивизионки был существом, которому никто не подчинялся, зато сам он подчинялся всем.

Он главным образом ходил, и в этом заключалась его работа. Пять дней в неделю он ходил, добывал материал. А иногда, к вечеру, в тот же день возвращался в редакцию. Ночевал там, где заставала ночь.

Пять-шесть дней в неделю он ходил, а на шестой-седьмой — отсыпался. А иногда и не отсыпался и не "отписывался". Если обстановка менялась, снова шел. Сегодня в один батальон, завтра — в другой. Ходил с переднего края в редакцию и обратно. Сновал как челнок.

Батальон выводили из боя, но ты переходил в тот, который вводили в бой. Чтобы все время иметь нужную информацию.

Писать приходилось все. Оперативный репортаж, боевую информацию и так называемый "боевой опыт". Статьи для отдела боевого опыта. Сегодня о пулеметчиках, завтра об артиллеристах. Послезавтра о минометчиках.

Корреспонденты-дивизионщики подтвердят мои слова...

Редко что из этого подписывалось своей фамилией.

Литературный сотрудник должен был, кроме того, уметь писать стихотворные шапки, а иногда и стихи, зарисовки, а если в силах — то и рассказы. Чтоб было что поставить на подвал. А еще лучше, если он был художник и при случае мог, например, вырезать заголовок своей газеты.

Я вырезал свой из куска линолеума, выдранного на кухне в каком-то доме. Тот, старый, что у нас был, на цинке, настолько сносился, что им нельзя было пользоваться. Нового, сделанного мной, хватило до Берлина...

Даже заметки для отдела юмора...

Все приходилось делать.

Жарким знойным полднем мы пылили по дорогам или в холод, по снежным большакам, буксовали среди машин и движущихся колонн.

Частенько нам приходилось вытаскивать машину на себе. Шофер Митя открывал машину, мы выскакивали и кричали друг другу:

— Вагу! Вагу давай...

И мы говорили тогда, шутили: "Лучшие годы были отданы ваге".

Останавливались на хуторах, а то и просто во рву, где-нибудь в старом, другими вырытом блиндаже, чтобы через несколько дней снова двинуться в путь. Снова кружить по дорогам.

Мы много ходили и много ездили. Но уж если выдавалась тихая минута, времени зря не теряли. Отписывались. Сидели, листая блокнот, засиживались допоздна — за короткое время вырастала целая стопа заметок.

Иногда подолгу стояли где-нибудь в овраге, в чужих, иной раз даже немецких блиндажах. И тогда, когда так долго стояли на месте, все тропы и все дороги становились известны, можно было заранее знать, где находится тот или иной полк. Его легко было найти.

Вообще же поиски эти — одна из самых больших трудностей в деятельности дивизионного корреспондента. Каждый раз ведь идешь в другой полк, в другой батальон. Из дивизии в полк, из полка в батальон, а из батальона в роту.

Затем — во взвод, в отделение, в боевое охранение или на наблюдательный пункт.

Ты — не полковник. Даже не командир взвода. "Свиты" у тебя нет, связного тоже не положено. Так что всегда идешь один. Хорошо, если еще в пути тебе попадется какой-нибудь санитар или повозочный, доставляющий боеприпасы.

Я плохо ориентировался.

Мысль, что так можешь угодить к немцам, была более или менее постоянной. Лучшего "языка" трудно было бы придумать. На боку у тебя всегда висела твоя планшетка, до отказа забитая записными книжками и блокнотами, к тому же карта-километровка с пометками о расположении частей. В блокнотах был весь командирский состав дивизии. Все фамилии.

Мне всегда становилось не по себе, когда я об этом вспоминал...

Один раз я дошел до вражеских позиций и пошел бы дальше, но натолкнулся на проволочное заграждение. В другой раз, зимой, вышел в тыл немецкому тяжелому орудию и благополучно ускользнул, тем же оврагом вернулся обратно. Только потому, что услышал чужую речь. В третий — это было летом — долго шел на высотку, через самую ее макушку, ложился, пережидал налет и снова шел, хотя били прямо по мне, я это потом понял, заметил суетящихся возле пушки артиллеристов.

И дважды еще чуть не попадал к немцам.

Я видел неудачную атаку еще одной высоты. Я это запомнил. Вокруг, слева, справа выскакивали из траншеи бойцы. И как капитан, командир штрафной роты, над ухом у меня дул в свою дудку и пытался острить.

В другой раз я был на рубеже атаки. Не в траншее, на мерзлой земле. Там была схватка в овраге. Один старший сержант — я помню его фамилию — Балин — долго бежал за немцем, тот отстреливался... Почему-то это очень рассердило сержанта. Он мне жаловался.

Таща за собой пленного, он прошел мимо меня.

— Товарищ старший лейтенант! Он в меня стрелял, гад! — И всхлипывал от обиды, и показывал на захваченного немца, и норовил его ударить.

Никак не мог поверить и вобрать в голову, что в него можно стрелять. Страшно возмущался. Я все это видел своими глазами. Сержант бежал за немцем по лощи-

не. А немец тот повернулся и успел сделать один или два выстрела. Потом вскочил с испугу в блиндаж, но тут же вышел с поднятыми руками. Важный был немец, эсэсовец, командир роты...

Я видел много примеров героизма, подлинного, повседневного. И душевной красоты, и самопожертвования, и главное, главное — терпения в преодолении тягот войны.

Расскажу и вовсе маленький эпизод. Это было зимой сорок третьего — сорок четвертого, там же на Калининщине. Меня встретил начальник наш и сказал мне, что в дивизии у нас произошел такой вот случай: солдат один лег на проволоку, чтобы по нему могли пройти... Под огнем.

Это было так. В той же атаке, о которой я уже писал в случае с Балиным; один боец, только не солдат, а младший сержант, татарин, фамилия его Саитгалин, так и лег на проволоку, на спираль Бруно. И тогда по нему, как по мосту, прошли бойцы его отделения. Я это видел.

Возвращаясь в редакцию, я завернул на КП полка и рассказал об этом случившемуся там заместителю...

— Видели, а не написали, — сказал недовольно подполковник, не дослушав моих объяснений.

— А я написал, — сказал я ему в спину.

В самом деле, вернувшись к себе, раньше чем отмыть себя от грязи, я тогда же сел писать статью, где описал этот подвиг. Мне казалось,что о таком подвиге должны знать все. Но заметка пролежала две недели и появилась сначала в армейской и только после этого — в дивизионной.

Почти все материалы, за редким исключением, шли за подписью бойцов, сержантов. Иногда офицеров.

Героев было много, материалу хватало! Иногда недоставало фамилий для подписи. В таких случаях под корреспонденцией подписывали нашего шофера, Митю Куликова. Он был по званию младший сержант. Так и ставили: "Младший сержант Д.Куликов". Обычно в таких случаях открывалась дверь блиндажа и слышалось: "Митя, ставлю твою фамилию?" Митя, чаще всего лежащий под машиной, кричал: "Давай, товарищ старший лейтенант!" Митя нам доверял. Когда дело касалось совершенного подвига, у Мити не было отказа.

Из девяти дивизионных корреспондентов, моих товарищей, работавших в других дивизиях армии, таких же, как я, молодых ребят, — почему-то почти все мы писали стихи, — в живых осталось немного. Трое были убиты, двое тяжело ранены.

Некоторых из них я знал. Мы иногда встречались на больших фронтовых дорогах, в местах выхода с переднего края, на стыках своих частей. На фронтовых перекрестках. Я теперь вижу, как много в нас было общего. Все мы были в чем-то друг на друга похожи. Сверстники. Худые, черные от ветра, от мороза. В грязных полушубках, в зелененьких плащ-накидочках. С неизменной планшеткой через плечо... Не всегда с пистолетом.

8

Еще недавно стояла пыль и было, казалось, жарко. И вдруг начались дожди, и все переменилось. Сразу стало холодно. И дорога сразу изменилась, ее просто не узнать. Мы стараемся согреться на ходу, но все, что есть на нас, — шинели и ватники, — все давно промокло, и нам зябко.

Так же как под этим багровым солнцем мы шли вчера, подняв головы вверх, так сейчас идем, глядя под ноги и обходя лужи. Я иду в колонне.

И я тоже иду, я — один из миллионов, вставших на Одере. Капля в потоке.

Дороги уже не могут вместить всех, и мы идем по обочинам. Но можно ли называть дорогой то, что от нее осталось? Танки разворотили и вконец разрушили то, что было дорогой. Уж лучше идти стороной. Суше.

Шинели на нас набухли, разбухли. Они уже парятся, они так напитаны водой, как может напитаться водой только шинель. Сколько дождь ни идет, с нее никогда не течет. Она все впитывает в себя.

Она тяжелая, как колокол...

Гораздо легче идти тем, кто в телогрейке или в короткой, до колен, ватной зимней куртке.

Я в шинели, шинель у меня длинная, с узким снимающимся хлястиком, с большими простроченными отворотами. Когда-то, видимо, фасонистая и модная, но теперь и старая, и сильно вытертая. Она велика мне, явно не по мне, хотя у меня уже давно и досталась мне еще в учебном полку, в Челябинске. Когда я, после госпиталя, зимой сорок второго прибыл туда, шинели у меня не было. На мне была только холодная курточка, униформа танкистов: очень хорошая куртка, называемая танкистами в те годы кирзовкой. Должно быть, водители бронемашин гражданской войны носили кожаные куртки, а когда мы пришли в сороковом году в свои полки, нам уже достались только кирзовки — черные брезентовые строченые куртки, прорезиненные, с черными большими пуговицами, со звездами на них: танкистские кирзовки с двумя карманами по бокам и двумя карманами на груди, с двумя клапанами, застегивающимися на большие звездные пуговицы. Одежда богатыря.

Кирзовку у меня вскоре отобрали, в учебном полку она была не положена. Взамен старшина выдал мне эту нынешнюю "бэу", ношеную, с плеча какого-то офицера. Я уже и тем был доволен. Если бы выдали новую, так называемую английскую, махорочного цвета, было бы еще хуже. Та сшита на осла, а не на человека, ее никто на себя не наденет, не подгонит. Так и будешь ходить в ней всю жизнь как замороженный... А кирзовку свою я долго еще потом вспоминал... Я ведь в ней в сорок первом году весь путь отступления проделал. И уж не знаю, что было легче, отступать тогда в сорок первом, в легкой той кирзовке или идти сейчас к Берлину в этой налитой, набрякшей от дождя шинели.

Мы шли тогда, помню, ноги были растерты в кровь, многие были разуты, совсем без сапог. Мы шли уже пятые сутки. Немец подгонял нас в спину из пушек...

На рукаве у меня была одна большая звезда. Я был заместителем политрука роты.

Я видел, когда вышли на большие дороги и оказались в общей массе отступающих войск, как те, у кого не было сил идти, стрелялись. Кто не мог идти и не мог уцепиться за какой-нибудь транспорт, влезть на проходящий танк или на трактор.

Мы по сто километров в сутки шли.

У меня не было винтовки, и я помогал одному бойцу нести винтовку, время от времени сменяя его...

Страшно было остаться и попасть в плен. Хотя, конечно, в плен меня, как и моих товарищей, могли взять в любую минуту.

Мы шли, как сказано, пятый день, и никаких кухонь с нами не было. И вообще, если бы кто посмотрел со стороны на нашу колонну, на один ее вид, решил бы, что мы бойцы разбитой части. Хотя мы по-настоящему еще ни в одном бою не побывали.

У нас не было ни кухонь, ни тылов.

Нам в последний раз, когда мы ночевали в лесу под Подгорцами, перед тем как нам выйти к Тарнополю, выдали последние два сухаря. После этого мы уже ничего не получали. Мы шли через деревни, через те местечки на Украине, через которые и до нас, в этот день и на день, на два раньше, прошло уже столько бойцов! Если какая-нибудь старушка и решалась вынести крынку молока, то кидались к ней сразу все... Так что лучше бы ей не выносить...

Мы подходили к Тарнополю и думали, что это и есть конец нашего пути, что дальше мы никуда не пойдем... Думали, что здесь мы остановимся, что будет не только бой, но и привал, и подойдут кухни...

На что мы надеялись, я не знаю.

Мы увидели, что город уже горит. Там уже были немцы, и мы, не дойдя совсем немного, круто повернули влево — на дорогу, ведущую от города к востоку, и с тех пор, подгоняемые сзади немецкими танками и пушками, день за днем шли по раскаленным полям и дорогам, по загроможденной машинами дороге. И качалась с той и с другой стороны перестоявшаяся и уже перепутанная, не держащая колоса пшеница, — но от нее пахло бензином и гарью. А в каждой канаве, с той и с другой стороны вспыхивающие легче коробки со спичками грузовики, брошенные повозки и первые мертвые тела. Разбегались мы каждые пять — десять — пятнадцать минут, как только раздавался крик "Воздух!". И от солнца, со стороны солнца, с той, своей стороны, — оттуда, куда мы двигались, с воем на нас шли все те же немецкие самолеты и сбрасывали бомбы. В те первые дни мы с особенным усилием и верою вжимались в землю. А потом вставали и снова шли...

Так вот шли уже пятые сутки. Ночью, накануне, шли всю ночь. Мы надеялись выйти к Шепетовке, мы шли всю ночь, рассчитывая к утру выйти. И впрямь, всю ночь где-то впереди нас, в темноте, горели огни, и мы, наивные глупые ребята, думали почему-то, что это огни на станции Шепетовка, и шли на те верно горящие огни. Шепетовка — был пограничный пункт на старой границе, единственный пограничный пункт, который мы знали, и шли, и шли на те манящие огни. Стремились выйти к старой границе, где, как надеялись, должны быть построены укрепления. Конечно же, мы отступали только до старой границы. Мы это знали! Там и будет дан бой...

Оттуда, со стороны солнца, налетали самолеты. Бомбили. Мы прижимались к земле. Вставали и снова шли.

Какое это было поколение... Как штыки! Если бы нам сказали. Если бы эту силу взять в руки. Мы легли бы там, где нам показали, и защитили страну... Заслонили Россию. Никто бы не побежал.

Никогда бы немец не зашел так далеко.

Когда рассвело, огни исчезли, и я так до сих пор и не знаю, что это были за огни.

В полдень мы вышли к реке, разделяющей два города — Волочиск и Подволочиск.

Но Бог с ним, с этим Волочиском и Подволочиском!

Рядом со мной шел капитан. Высокий, с крепко и туго перетянутым ремнем, с орденом Красной Звезды, алевшим на хлопчатобумажной, чистой, свежей гимнастерке. Орден Красной Звезды был такой редкостью в те времена, что если вы встречались с человеком, у которого на груди был орден Красной Звезды, вы долго оглядывались.

Капитан этот, как видно, участвовал в войне с Финляндией, незадолго перед тем закончившейся.

Он время от времени искоса поглядывал на меня. Я был худенький и тоненький, совсем еще мальчик, и я старался подражать ему. Отставал, но потом изо всех сил старался его догнать.

Что говорить, закалки у капитана было больше, чем у меня.

— Удивляюсь я, — однажды сказал он мне, посмотрев на меня не то с жалостью, не то с улыбкой — с жалостью, перемешанной с ободряющей улыбкой. — Удивляюсь я, откуда у тебя силы берутся: я отстаю, а ты все идешь и идешь!

Сил у меня никаких не было. Откуда у меня могли взяться силы! К тому же я не ел четвертые или пятые сутки!

Немцы охватывали нас слева, справа и были всегда впереди нас. У нас все время оставалось ощущение окружения.

И вот уже тут, на пятый день, где-то в Проскурове, кажется в Проскурове, я снова встретил своего старшину, и я поел. В этом городе, где была разгромлена пекарня, мы добыли с ним по свежей белой буханке. Я держал ее на груди, как младенца...

Но еще раньше, еще до того, как вышли мы не только к Проскурову, но и к Волочиску, и Подволочиску, и еще когда шли от Тарнополя, через обгорелую пшеницу, впервые за все время нашего отступления скрылось солнце, нашли тучи и набежал ветерок. Закапал дождь. Мне пришлось надеть свою кирзовку, которую я нес через плечо. Ведь у меня ничего другого не было, ни вещевого мешка, ни даже личного оружия.

Я надел эту кирзовку, и, когда первые капли дождя упали на лицо, я, к изумлению капитана, вдруг вытащил из кармана сухарь.

Я сам обомлел. Откуда? Капитан смотрел на меня так, как смотрят на человека, умеющего показывать фокусы.

Таскать в кармане сухарь и умирать с голоду!

Как же я не обследовал эту куртку раньше... Сухарь, как видно, лежал у меня в кармане еще с того дня, когда мы жили в лагерях, на танкодроме. Тогда я и положил в карман недоеденный свой сухарь и забыл о нем.

Мы разломили с капитаном сухарь, как пряник.

9

Так и идешь по этим дорогам, идешь, обходя лужицы. Ни присесть и ни остановиться.

Погода теперь наладится не скоро.

Дождь то перестает, то снова принимается идти.

Небо низкое. Все заволокло дымом. То ли тучами, то ли дымом.

Дождь лил всю ночь. И тоже так — то переставал, то вновь принимался. Вот так и вчера. Мы остановились на окраине какой-то мызы или фольварка. Утром я вышел и в овраге, недалеко от дома, увидел их, этих свежих пленных. Перепуганных четырнадцатилетних мальчишек... Боже, как смешны были на них шинели! И какие вороты большие, и какие тоненькие шейки у этих ребятишек! Не успевших еще и вырасти, Гитлер бросил их на наши танки. И растерянной стайкой жались они теперь на дне оврага.

Холодный ветер пополам с дождем, и за весь этот день ни одного привала.

Полы шинелей наших подсунуты под ремень. Видеть солдат с подобранными шинелями всегда очень странно. Женщины, идущие стирать, на реке, на плотике, всегда вот так подтыкают...

Колонна идет то через поле, то проселочной дорогой, выходит на автостраду. Но всюду вода и много грязи.

С подоткнутыми шинелями идти, конечно, легче, хотя как сказать... Когда идешь с опущенными полами, шинель, как деревянная, бьет по ногам, но зато грязь летит на шинель, а тут она летит на тебя. И сапоги и брюки — все заляпано.

Дождь моросит и моросит, и, словно бы от одного этого, плечи солдат опускаются все ниже. Оружие делается тяжелее. Вот шагают двое с длинным ружьем ПТР. А этот, согнувшись, прет на себе минометную плиту. Она ему бьет под зад.

И откуда ни возьмись, прямо над колонной, там, над головами, над первыми идущими, чуть ли не над самой дорогой, на бреющем полете, — такая облачность, что она прижимала его к земле, — с ревом, с грохотом летит самолет. Мы не видели, где он начал снижаться, наверно, так на полной скорости летит он уже давно. Летит, распугивая колонну. Но странно, никто не разбегается. Перестали разбегаться, ложиться перестали. Даже, сказать правду, я, видя, что колонна как шла по дороге, так и идет, я даже подумал, что это наш.

Но как раз в эту минуту, когда самолет подлетал, в воздухе, через дождь, протянулись две зенитные трассы, пунктир синих и пунктир красных. Также над дорогой, над самыми головами, наперерез несущемуся самолету.

Все продолжали идти.

Разведчик!

Это был чуть ли не единственный пролетавший над нами самолет.

Появлялся, низко проносился на бреющем... Но, как правило, это оказывался наш самолет. Летчик приветливо махал нам рукой.

Отраженные в лужах, светящихся на дороге, мглистые серые тучи низко ползут над головой...

Эти лужи, большие и маленькие, по всей дороге. Земля не успевает, не успела их впитать.

Войска, войска, куда ни глянешь. Колонна растянулась, люди идут уже по краям дороги, не строем, а друг за другом.

Оружие делается все тяжелее.

Спускаемся в овраг.. На дне оврага протекает ручеек, и мы переходим его вброд. Поднимаемся наверх. И неожиданно у дороги, тут, перед немецкой траншеей, в нескольких метрах от траншеи, у выхода из этой низины — могила и танк. Могила и танк и траншея. Все вместе.

Да, рядом была траншея, с бруствером, обращенным в нашу сторону. А в двух шагах от нее — танк. Подбитый, сгоревший танк английский. Да какой английский, наш! Просто полученный из Англии.

А рядом с этим танком — свежий глинистый холмик. И на дощечке надпись:

"Первым шел на Берлин". Имя. И — "Убит здесь. В танке".

Надпись на дощечке была выжжена раскаленным гвоздем.

Наш паренек. Танкист.

Об этом не было еще сказано ни слова, но все почувствовали, что Берлин вот-вот начнется. Я не знаю, как это бывает, по каким приметам, по каким признакам угадывается большой город?

Ни дымов, ни труб. Не только города не видно, но и вообще никаких строений: обычные, казалось бы, поля, размытые дождем дороги... Ни железной дороги, ни свистка паровоза, ничего. Ничего, что бы выдавало движение большого города. Однако же по каким признакам узнаешь, что он — рядом?

И не по дорогам судили мы. Мы ведь шли полевыми дорогами. И только те дороги, что мы пересекали, были бетонированными, широкими — автострады с односторонним движением.

И вот что еще указывало на то, что Берлин близко, что он рядом. Это — провода. Провода у нас над головой гудели, и проводов становилось все больше.

Мы могли и не смотреть, сколько их там. Они и без этого гудели и торопили нас... И пока мы шли по полям, все время он был слышен над головой, этот гул, и чем ближе к городу, тем сильнее.

В один из таких дней, вдали, на самом выходе из леса, когда дождь то переставал, то снова принимался и колонна начала растягиваться, — на высоком поле, за стеной дождя, слева от дороги, внезапно вырисовались какие-то башни. Целый город увитых проволокой, уходящих в небо башен. Вершины их терялись где-то в тучах. Потом уж, когда они остались за нами, мы поняли, что это — радиобашни... Видение этих башен долго еще преследовало нас. Мы долго еще не могли уйти от них.

10

Я пишу это как продолжение рассказа о прорыве, хотя прорыв был на Одере, а теперь бои идут в самом Берлине.

Все еще живо во мне ощущение, которое я испытал в первый раз на берлинской улице. Что это была за улица? Посредине, на дороге, ногами вверх, лежали лошади и стояла батарея. Шестиорудийного состава батарея открыто стояла посреди улицы и вела огонь. Где была пехота, где проходил передний край, стреляла ли батарея по закрытым целям, или же впереди, за домами, были немцы, — этого понять мы не могли.

Я стоял рядом с лейтенантом, пробовал ему что-то кричать, лейтенант взмахивал рукой, из стволо́в вырывалось пламя. Был слышен только звон стекол, летящих сверху на мостовую, на тротуар.

Мы незаметно втянулись в Берлин. Так же незаметно, как днем раньше втянулись в селение, оказавшееся пригородом. А потом еще и еще в новые селения с зацветающими садами. Должно быть, цвели яблони, вишни уже отцветали.

Почему оно так в памяти у нас, это цветение? Окружаемый город и чистое пламя цветения на заставах.

Я помню одну дачку, маленькую, чистенькую, видимо, недавно покрашенную. Где-то в предместье. Окна ее были распахнуты. Мне еще запомнилось, какие белые на окнах были занавески. Потому что как раз из этих окон и стреляли. Я пересекал вскопанный огород, когда раздалась очередь. Сад был вскопан, поэтому я сразу же увяз. Увяз, а потом долго выбирался на тропинку.

Эти зацветающие сады вокруг обложенного города — первое и, может быть, наиболее яркое впечатление, оставшееся у меня от тех дней. После другого — солдатской колонны, идущей по размытой и разбитой дороге, и самолетов, летящих над самой дорогой, над головой.

Но всего лучше помню я свой выход из редакции. Как из затопляемого цветением предместья попал я в каменный, железобетонный Берлин. В редакцию к себе я вернулся в этот же день, принес заметки о первых в Берлине уличных боях, и в вышедшем у нас утром номере появилась моя статья "Борьба за каждый дом".

Какая-то пушчонка непрошено приткнулась подле нашего дома, возле окна. В том же самом доме, на улице, где за два дня до этого стояла батарея.

Сюда, в этот домик, входили со двора. Я даже думаю, что мы больше выбирали не дом, а двор, чтоб было где ставить машину. Я вижу и сейчас эту комнату. Должно быть, моя память была как восковая дощечка. Все на ней записывалось.

На полметра жилье завалено тряпьем и штукатуркой. Штукатурка валилась с потолка, со стен. Куски красного кирпича, глины, всякого щебня... Как будто перед тем в доме клали печку.

Мы не знали, куда нам убирать весь этот хлам, так его было много. Штукатурки, перемешанной с тряпьем, и барахла, перемешанного со штукатуркой. Я было начал все это убирать, но только пыль поднял.

Мы уже потом не обращали внимания на эти, перемешанные в одно, тряпки и бумаги. Но зато, как пришли, сразу же взялись за окно. С помощью Мити заделали его. Когда мы вошли, мы даже остановились в нерешительности, окно одно было выбито, остальные заткнуты чем попало.

Мы уже думали, что как-то утеплились, когда пушечка снова начала вести огонь. Все наши бумажечки и тряпочки выдуло. От всех наших ухищрений и следа не осталось. Митя чертыхался и лез наверх, а пушечка вновь и вновь открывала стрельбу.

То, что она стоит у нас под окном, мы узнали только тогда, когда пушка начала стрелять. Возможно, что и ровики у артиллеристов были выкопаны под домом нашим. Так они иногда и делают.

Удивительнее всего, что за этими не слишком толстыми стенами рождается ощущение безопасности. Не то чтобы мы почувствовали себя в полной безопасности. Нет! Но нечто похожее на это. Видимо, нам было непривычно находиться в доме.

Я случайно увидел... Мите надоело заделывать окно, и он куда-то исчез. Я вышел в коридор, глянул, а там Митя и с ним — неизвестно откуда здесь взявшийся немец пожилой. Он что-то объясняет, втолковывает. Мы еще и разгрузиться не успели. Наш добрый Митя, думая, что его не видят, отхватил ему кусок сала.

11

Мы были в полнейшем отчаянии. Мы жались к стенам домов, куда-то сворачивали, попадали из одной улицы в другую. На этот раз со мной пошел наш капитан. Его трофейная длинная куртка, которую он очень любит, хлопает его по ногам. Капитана прислали к нам из другой дивизии, где он, подобно мне, был литсотрудником...

Мы были с ним в полном отчаянии. Мы ничего никому не могли сказать, никому ничего не могли объяснить. Блокнот у меня оставался совершенно чистым. Всем было не до нас, никто нас не слушал, и мы ни у кого ничего не могли спросить. Даже обстановку не могли уяснить. Выяснить, как далеко немцы? Куда стреляет эта батарея и где проходит передний край?

И лейтенант, тонкой руке которого так послушны были орудия, сказал мне, что никакой пехоты впереди нет и чтобы я туда не перся. Сказать, однако, точнее он не мог... Поначалу, слушая все это, я совсем растерялся... Как же так? Привыкнув прежде ходить по полям, по траншеям, я и здесь искал и ждал привычных мне траншей, а может быть, и колючей проволоки. Всего того, благодаря чему передний край и называется передним краем.

До центра города было еще далеко, и мы не знали, что представляет собой город. Да мы и не думали об этом! Мы были в Берлине, но если бы меня спросили, как выглядит город, я бы не сказал... Мы прорываемся к центру, но мы даже представить его себе не можем. Ведь Берлин был первым городом крупным, который я увидел. Удивительно ли это для солдата, который пришел в Берлин юнцом, вырос-

шим на печке, в тайге! Нужно было, чтобы война бросила на свои дороги меня и чтобы столица немецкого рейха стала первым крупным городом, на мостовые которого мы вступили. Первым большим городом, который увидел я и другие со мной.

То, что мы были в Берлине, мы воспринимали как должное.

Берлин, который мы видели, был обычным рабочим районом. Что нет города без центра, я это потом понял. Берлин же, центр его, был пока еще весь впереди.

Мы не долго, должно быть, стояли в этом нашем полуразрушенном, захламленном доме, с выбитыми, заклеенными бумагой окнами, в комнате, где все было перевернуто вверх дном... Так было в каждом доме, везде, и здесь в Берлине, и там на Одере, в Померании. Везде одно и то же.

Места, которые мы проходили, я запомнил меньше. Но каждую стоянку помню в отдельности.

Когда мы приходили в немецкие дома, — в особенности там на Одере и в Померании, где дома были брошены, — солдат срывал с окна штору, гардину и разрывал ее на портянки. Тут же меняли, сбрасывали свои старые и перепревшие. В шкафах переворачивали ящики и коробки, разыскивали носки да белье. Единственное, что было нужно солдату. Носки да еще белье...

Но даже и носки, мы не сразу это заметили, трудно было отыскать новые. Вернее, только сначала эти вещи казались такими. Пока они были свежими и выглаженными. Мы так потом привыкли к этим аккуратно заштопанным носкам, что казалось, что больше бы удивило, если бы попались новые.

... Мы вошли в первый немецкий дом там же, на Одере. Солдаты наши учились форсировать водную преграду. Собственно, и дом-то обыкновенный, ничем не примечательный. Но именно он был первым...

Хозяев — ни души. Впрочем, не было их уже с самой Померании. Что они так бежали от нас! Первыми и постоянными признаками оставленной жизни были выпирающие над канавами черные бока коров. Коровы — расстрелянные, лежащие в кюветах. Их черные, раздутые, высоко поднятые бока, вздувшиеся и вздутые, чернеющие из канав... Наиболее привычная, надоевшая, знакомая картина — в деревне, в хуторе, в фольварке. Кто их бил, этих коров? Почему их так много было? В каждом селении, в каждом фольварке.

Что это, какая-нибудь общая — единая примета войны? Эти раздутые бока коров среди канав. Так было всюду. На всех дорогах.

Черные коровы.

Так же было, наверно, где-нибудь в Финляндии, на снегу.

Но я хотел рассказать о немецком старом доме, стоявшем на Одере. Кровать, на которую я улегся, была деревянная, с полированными спинками. Среди комнаты — низкий столик, несколько низких, с широкими спинками мягких красных кресел.

Все это было не то чтобы непривычно, но мы просто ничего подобного не видели.

Я помню, я долго разглядывал в первый вечер обыкновенную стену. Кровать моя стояла возле стены. То была обычная, покрытая обоями стена. Ничего в ней осо-

бенного не было. Оклеенная желтенькими и зелеными обоями... И все-таки странная. Чем так она удивила меня? Я долго ее разглядывал... Так о чем же я? О немецкой домовитости, о культуре жилья?

Лампа свисала сверху. Я долго удивлялся, не увидев проводов, хотя уже понимал, что проводка где-то в стене, скрытая.

Каким обыкновенным вещам удивляемся мы иной раз!.. Но попробуйте-ка с нами вместе посидеть с годик в блиндаже, в землянке. В опущенном в землю срубе.

Выяснилось, что заглядывающий в дверь гость, которому Митя отхватил кусок сала, не кто иной, как наш хозяин. Пришел он, когда мы немножко прибрались. Появился из бункера — равнодушно глянул вокруг, а на обвалившуюся стену даже не взглянул. Он и сейчас вот так, открыл дверь и тут же, словно бы испугавшись чего, поскорее закрыл ее.

Боится! Он обеспокоился, чтобы не исчезли его старые, сшитые еще перед первой мировой войной штаны. Действительно, в углу комнаты шкаф, завешанный его пиджаками, пропитанными нафталином. Столы перевернуты, матрац провалился, и кровать голая. Но пиджаки — все на месте. Несмотря на разор в комнате, костюмы все были на месте, и хозяин наш был страшно рад этому.

А у нас в это самое время, как раз когда он появился, Митя усадил очередного на перевернутый стул и взялся за машинку. Митя все умел. Он перевернул табурет, потому что иначе ему было высоко. Усадил друга, перевернул табурет, чтобы было удобнее, и снес ему затылок... Накинул плащ-палатку на плечи и принялся стричь. Я не помню, за кого за первого он взялся.

Стрижка у Мити была одна и та же, я не знаю, как он ее называл, но делал он всем одно и то же — из всех и из каждого делал "запорожца": сзади выстригал все волосы наголо, а впереди оставлял маленькую челочку. Митя и сам носил точно такую детскую челочку. Некоторые ее зачесывали назад, а Митя собирал на лбу. Всегда у него выглядывала из-под шапки. Как девушка! Самая современная стрижка.

Заглянувший сюда хозяин-немец, увидевший сержанта, обкорнанного таким образом, с удовольствием прищелкнул языком, из чего я не понял, одобряет он или не одобряет Митину стрижку, достал из ящика под зеркалом ножницы и с наслаждением защелкал ими над ухом клиента. Митя постоял, постоял, и, увидев, что незваный, проклятый этот немец окончательно и навсегда испортил ему репутацию, уныло поплелся готовить свои котелки к обеду.

Мне давно уже надо было постричься. На затылке у меня образовался пук, здоровый, как у попа. После того как сорвались с Одера, это была первая наша сколько-нибудь длительная остановка.

Я сел. Переступая через наваленное на полу тряпье, неловко запинаясь, он долго ходил вокруг моей головы, приводил в порядок мои разросшиеся волосы. Потом — "один момент!" — и взялся за бритву.

В это время опять неожиданно выстрелила за окном пушка. И тут мне стало страшно, потому что рука у моего немца, как раз в то время, когда он проводил мне по горлу, дрогнула в нерешительности и остановилась. "Да он меня обрежет

так", — подумалось мне. Но тут рука моего немца снова, как в замедленном кино, стала действовать. Так или иначе старик меня благополучно побрил. Тем более что пушка вскоре опять замолчала. Он даже и ни разу меня не порезал. Когда он кончил, я, погладив щеки, даже сказал ему, что хорошая работа, и, правя бритву, он внушительно проговорил. Не сдержался:

— В свое время, господин обер-лейтенант... я брил графа фон Шлиффена самого!

Никому не известный старший лейтенант, я, видимо, недостаточно оценил сообщенное мне, хотя знал, что граф Шлиффен, помнится мне, готовил первую мировую войну, был начальником немецкого генерального штаба. И немец этому, как мне показалось, немало удивился. Хотя не посмел, по-видимому не решился, отнести это за счет моей прирожденной тупости.

Я невнятное что-то пробурчал в ответ.

Я вышел во двор, а Митя пошел разогревать свою военную плиту.

Как мы остановились в захламленной той, полуразрушенной комнате, я помню, но еще больше я помню двор...

Были тут различные тылы дивизии. И, как я вскоре понял, не только нашей. Ремонтные мастерские артиллерийской части и остатки санбата. Даже и наша полевая почта была здесь.

Тут были мы, тут были и немцы цивильные. Цивильные и бункера — эти два слова мы переняли сразу. В том же углу, где стояла редакционная полуторка, был бункер.

Это был самый настоящий погреб, свод низкий и мрачный. Там просто нечем было дышать. Одна женщина тут же рядом с собой положила грудного ребенка.

Когда, встав на колени, я заглянул туда, я увидел одни глаза, и я не знал, как они умещались там. Когда я туда заглянул, там послышался шепот.

Но только сначала, в первый день, они скрывались. Потом они вылезли и залезали в свои бункера, только когда начинался обстрел. Когда начинался обстрел, все начинали прятаться.

Немки, скрывающиеся в своих бункерах, ибо тут в бункерах были главным образом женщины, обступали нашу полевую кухню и каждого солдата — тоже. Если только он был склонен с ними разговаривать.

Они обступали теперь и нас. У них было много вопросов, самых неожиданных.

Удивительно, как все мы вдруг за один какой-то день стали говорить по-немецки. И больше всего один приставший к редакции в последние дни, а по-видимому, просто увиливающий от фронта фотограф.

Мы все говорим с немцами на том немецком языке, который мы вынесли из четвертого класса.

"Вир арбайтен — Ир арбайтет — Зи арбайтен..."

СЕРОЕ ЗДАНИЕ

Когда наступил рассвет, все, кто был в доме Гиммлера, подошли к окнам, надеясь увидеть рейхстаг. Но ничего не увидели: мешало какое-то здание.

Неустроев тоже глядел из-за подоконника. (Окно в подвале было высоко.) Он видел немногое. Справа — деревья парка, еще голые, темные. Тянет апрельской влагой, прошлогодним прелым листом. Слева виден ров. Еще не совсем рассеялся туман. С крыши капает... Неустроев увидел и это четырехугольное невысокое здание, также прикрытое деревьями. Здание ему показалось не очень большим. Правда, над ним купол и башни по бокам, но ничего особенного оно собою не представляет.

Бойцы, столпившиеся тут же, были озадачены. Там, где ждали увидеть рейхстаг, никакого рейхстага не было.

Но другой комбат — Давыдов — сказал, что из подвала плохо видно, и повел командиров наверх. Осмотреться. Оттуда им яснее будет, как действовать дальше.

Они поднялись повыше на два этажа и стояли, прячась за косяк. От Шпрее еще наползал туман. Насквозь промокший парк был пуст. И было тихо. И тут увидели то, чего раньше не могли рассмотреть, — увидели, что площадь вся изрыта траншеями... Увидели бронеколпаки на углах, танки. В глубине парка — самоходки. Афишная тумба. Еще какое-то сооружение, похожее на трансформаторную будку, вероятно укрепленное. Кроме рва, впереди был еще и канал, заполненный водой. Да и это здание с башнями отсюда, с высоты, выглядело внушительнее, не то что из подвала, когда первый этаж был скрыт.

Прибежал связной. Неустроева вызвали. Комдив Шатилов запрашивал, почему он не наступает.

"Товарищ "семьдесят семь"! Мешает серое здание".

"Постой, постой... Какое здание?"

"Прямо перед нами! Буду обходить справа".

Неустроев, лежавший у телефона в углу подвала, и комдив у себя на НП, в Моабите, оба склонились над картой...

Пришел командир полка Зинченко. Он разместил свой штаб за рекой — рядом с швейцарским посольством.

"Что тебе мешает? Давай карту." Они вымеряли и прикидывали. Мост Мольтке... Шпрее. Дом Гиммлера...

"Неустроев! Да это — рейхстаг".

А ему и в голову не приходило, что это четырехугольное серое здание, этот дом перед окнами (до него так близко!) и есть тот рейхстаг, к которому они стремятся. А ему казалось, что до рейхстага еще надо идти да идти.

Над ребристым его куполом была площадка, и на ней — шпиль. Перед фасадом — густые, готовые вот-вот распуститься деревья — не обломанные и не обожженные...

Но видели это лишь немногие, и лишь этим ранним утром. Через час началась артподготовка, по рейхстагу ударили "катюши" и орудия — дальние и прямой наводки, и он мгновенно стал таким, каким у нас его знают по снимкам, появившимся после войны.

37 Зак 474

НЕМНОГИЕ ЗНАЮТ...

Немногие знают: после того как мы водрузили знамя на рейхстаге, бои в рейхстаге шли еще два дня и две ночи.

Полторы тысячи немцев, уже в дни штурма Берлина переброшенные сюда с Балтики, засели в подвалах рейхстага. Они забрасывали нас фаустами. Этого сильного реактивного оружия в подвалах у них было много. Но когда стало ясно, что вернуть рейхстаг им не удастся, они подожгли его. А может, он и сам загорелся от тех же фаустпатронов.

Он горел так, как горит всякий дом, а гореть в рейхстаге было чему — горела мебель, краска стен, вспучивался и полыхал паркет; дым, а потом и пламя показались из окон, из пробоин. Горстка людей — около трехсот наших бойцов, не более, я думаю, — сражались в горящем здании. Но не только в этом был драматизм положения.

Утром первого мая сводка Совинформбюро сообщила, что нашими войсками в центре Берлина взято здание германского рейхстага и водружено Знамя Победы. Об этом же было сказано Сталиным в его первомайском приказе.

В Париже, в Лондоне, в Нью-Йорке служили молебны. В эфире — стоило включить радио — слышался колокольный звон... А в это время в горящем здании рейхстага, прижатые огнем к стене, рукавами закрывая глаза, стояли наши бойцы.

Комбату было передано, что он может вывести людей. "Выйдите из рейхстага, займите круговую оборону, а как только здание прогорит, станете брать его снова".

Но выходить было уже некуда. Собравшиеся в одной узкой комнате задыхавшиеся от дыма бойцы, натянув противогазы, — не у многих они оказались, — лежали на полу. Пламя уже врывалось сюда.

И что-то с треском рухнуло. Из провала в стене повалил желтоватый дым. Но это была, как они увидели, не новая опасность, это было спасение... И через этот неожиданный, вдруг открывшийся пролом бойцы перебрались в соседнее, уже выгоревшее помещение.

Немцы не смогли добиться ничего. И знамя не сгорело, все так же оставалось над рейхстагом, оно лишь слегка закоптилось.

Когда огонь стал понемногу утихать, все выходы из подвалов были опять блокированы...

Наступило утро второго мая.

У НАС В ПАМЯТИ

Солдат, оставшийся в памяти всех, кто брал рейхстаг, дома считался пропавшим без вести.

Как это могло случиться?

С красным флагом в руках погиб он на подступах к рейхстагу. В горячке боя о нем забыли.

И мы пишем о нем эту, всегда одну и ту же фразу: первым выпрыгнул из окна дома Гиммлера и с флагом в руках упал на ступенях рейхстага. Для большинства тех, кто писал о нем, он просто Пятницкий. Даже имени его они не знают...

Он лежал на ступенях и, чтобы его не затоптали, его отнесли и положили у колонны. Так было... Домой о нем, как видно, даже не сообщили, и его числили невернувшимся. Ведь перед этим он два года был в плену. Но стоило нам обратиться в отдел учета потерь Министерства обороны, как нам тут же сообщили, что Пятницкий Петр Николаевич погиб 30 апреля 1945 года, год рождения — 1913-й. Домашний адрес: Брянская область, Клетнянский район, деревня Северец. Жена Пятницкая Евдокия Аврамовна. 30 июля 1942 года был ранен, с августа 1942 года был в плену.

Если бы газетчики, одни только газетчики, "расшифровали" свои фронтовые блокноты, сколько имен вернулось бы из небытия! О скольких схороненных в братских могилах, о скольких таких вот "без вести" мы могли бы рассказать как о героях!

Парень этот, этот солдат, оставшийся в памяти всех бравших рейхстаг, дома считался без вести пропавшим!

Мне не дает покоя эта судьба.

ЩЕРБИНА

На любительском, старом, сохранившемся у меня снимке — группа людей, вышедших из боя. Они стоят на ступеньках рейхстага. Впереди всех и немножко ниже — боец с белой перебинтованной головой.

Тут — и офицеры и солдаты. На всех одинаково рваное и одинаково грязное обмундирование и сползающие, прогоревшие шинели на плечах — кто солдат из них, кто офицер, не разберешь.

Этот, молоденький, чернобровый, стоит на ступеньку ниже. Он в обмотках, с автоматом в руках. В гимнастерке с длинными подвернутыми рукавами. Повязка свежая, чистая. Белый чистый бинт горит на солнце. По всему видно, что голова у этого юноши только что заново перебинтована.

Я думаю — это один из самых правдивых снимков войны. Они стоят на ступеньках рейхстага, в котором еще все горит.

Кто эти люди и что это за солдат?

Я расскажу о нем немного, так как сам знаю немного. Я только однажды беседовал с ним, там же, в рейхстаге, на другой день. Прежде я с ним не встречался... Должен сказать, что, когда я разыскал его там, в рейхстаге, корреспонденты успели настолько надоесть ему, что он готов был от них прятаться. И это не удивительно, ведь после недели непрерывных боев он еще не спал, еще не успел отоспаться... Но все же мы присели на площади, тут же напротив главного входа, возле афишной разбитой тумбы. И вот моя запись беседы с ним, вернее — его рассказ.

Зовут его — Петр Дорофеевич Щербина. В те дни ему было восемнадцать — девятнадцать лет. Он — с Украины. Его домашний адрес был такой: Запорожская область, село Скелька... В Берлине, на Шпрее, ранен был в голову, но уходить в санчасть отказался и остался в батальоне.

Отделение Щербины первым достигло подъезда рейхстага и завязало бой в вестибюле. А когда здание рейхстага, его комнаты стали заполняться дымом и когда немцы предприняли контратаку, бойцы попятились.

— Куда вы? Оставайтесь на месте! — закричал Щербина.

Солдаты залегли и стали отстреливаться, забрасывать гранатами показавшихся в проломе немцев... Ядовитый чадный дым все более щипал глаза. Кружилась голова, в глазах темнело. Оставаться здесь дольше не было никакой возможности. От сильного удара, по-видимому, от попадания фаустснаряда, задрожала стена. Она рухнула, чудом только не похоронив бойцов под обломками.

Щербина пробрался на лестницу, ведущую наверх, на второй этаж.

— Идем за мной! — прокричал Щербина.

Он тоже наглотался дыму и чувствовал, что задыхается. Он вел людей, но и сам не знал, куда идти. Шел, и за ним вслед шли другие. За белой, видневшейся сквозь дым повязкой.

Теснимые огнем, перебирались они из комнаты в комнату, долго кружили по коридорам и залам, пока не оказались в той части здания, где дыму было меньше...

Я еще не сказал о том, что, когда Кантария и Егоров искали путь наверх, на крышу, Щербина со своими бойцами оставался внизу и охранял их с тыла.

На той же площади перед рейхстагом младший сержант Щербина был награжден орденом Красного Знамени.

Надо бы рассказать и о бое на мосту через Шпрее и за дом Гиммлера, и о том, что, когда Петр Пятницкий был убит, флаг его поднял Петр Щербина...

Вот кто этот солдат, молоденький, раненый, с перевязанной головой, стоящий на ступенях рейхстага.

Таким вот перебинтованным я и видел его в тот день.

И НАСТАЛ МИР

Нам все хотелось представить, как это: война, война, война и вдруг нет войны!

Я слышал один раз, разговор об этом зашел в землянке, бойцы стали спрашивать об этом своего старшину, который у них еще на финской воевал.

"— А вот в сороковом, — стал рассказывать старшина, — когда мы Выборг брали... Я задание одно выполнял. Шел с донесением в штаб полка. Иду через лес, а навстречу мне боец.

"Куда ты?" — спросил он меня.

Я остановился.

"Война окончена! Мир!" — сказал он.

"Врешь, — не поверил я и рассердился, закричал: — Чего ты треплешься! Не слышишь, какая стрельба идет!"

А он мне отвечает:

"Это — до двенадцати дня, а после двенадцати — прекратить!"

Но, — продолжал рассказывать между тем старшина, — в одиннадцать сорок пять меня контузило. Пришел я в себя. Тихо! Лежу на снегу, один лежу, никого вокруг нет. И тут я понял — конец войне..."

Не раз я потом возвращался к этому давнему разговору.

"Эта война кончится как-то по-другому", — говорил я себе. Но и сам представлял уже, как и я тоже иду — через поле, через лес. Иду, как всегда, один, по

своим обычным газетным делам, иду в полк. Иду, а навстречу мне, размахивая руками и чему-то улыбаясь, бежит боец. Я прохожу мимо него, и мне невдомек, что парень этот знает то, чего не знаю я...

Что случится э т о вдруг и случится неожиданно для всех нас, разумелось как бы само собой. И конечно же — очень скоро... Если бы кто сказал нам тогда, что война продлится четыре года, мы бы никогда этому не поверили. Но прошел и год, и два, и три...

Мы не могли тогда знать, что война кончится обычнее обычного. Но так именно и случилось. Она кончилась тогда уж, когда они сдались. Они сдались, когда были взяты за горло. Они сдались, уже когда мы поднялись на развалины их "парламента".

Все было не так, как нам представлялось...

Мы уже вытеснили врага из пределов родины, а война все еще шла. Она шла и четвертый год. И тогда, когда мы взяли Берлин...

Войны кончаются по-разному — эта война кончилась так. Я спал. Ведь хотя мы и были в Берлине, но неделю уже не воевали... Пришел Митя, наш шофер, и разбудил меня:

— Товарищ старший лейтенант, вставайте! Война кончилась.

И все же и для меня она кончилась неожиданно.

БРАНДЕНБУРГСКИЕ ВОРОТА

Не гремит колесница войны.
Что же вы не ушли от погони,
На верху бранденбургской стены
Боевые немецкие кони?

Вот и арка. Проходим под ней,
Суд свершив справедливый и строгий.
У надменных державных коней
Перебиты железные ноги.

ЭПИЛОГ

Курганы щебня, горы кирпича,
Архивов важных драная бумага.
Горит пятно простого кумача
Над обгорелым куполом рейхстага.

В пыли дорог и золоте наград
Мы у своей расхаживаем цели.
Фамилиями нашими пестрят
Продымленные стены цитадели.

А первый, озаренный флагом тем,
Сумел остаться неизвестным свету,
Как мужество, что мы явили всем,
Ему еще названья тоже нету.

СОДЕРЖАНИЕ



Версты мужества

Екатеринбургские писатели-фронтовики о Великой Отечественной войне

Тексты печатаются по изданиям:

Ю.Хазанович "После боя". — Свердловск: ОГИЗ СВЕРДЛГИЗ, 1943 г.
"Большое сердце". — Свердловск: Свердловское книжное издательство, 1958 г.
А.Исетский "Буран". — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1965 г.
В.Стариков "Через реку". — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1966 г.
В.Шустов "Человек не устает жить". — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1967 г.
М.Найдич "Шинель на вырост". — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1975 г.
"Рассказы о храбрых", вып. 5. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1976 г.
"Рассказы о храбрых", вып. 7. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1985 г.
К.Борисов "Полевая почта № ...". — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1986 г.
В.Субботин "Избранные произведения". М.: Сов. писатель, 1990 г.
С.Шмерлинг "Как я покушался на Сталина". — Екатеринбург: ТОО "Издательство Арго", 1993 г.

А также по газетным и журнальным публикациям, рукописям.

Составитель С.Б.Шмерлинг.

Редактор В.В.Артюшина.

Художественное оформление Юрия и Тамары Литвиненко.

Корректор Н.А.Зайцева.

Компьютерный набор:
Е.Никольская, Д.Монахов, О.Капирулина, Г.Пинаева.

Компьютерная верстка А.Яценко.

В книге представлены работы фотокорреспондентов:

Г.Авраменко,
Ж.Берланда,
А.Зверева,
М.Инсарова,
И.Тюфякова,
И.Шубина,
Б.Игнатовича,

а также снимки неизвестных фронтовых фотографов.

Фотоматериалы публикуются из собраний Музея уральской фотографии, Государственного архива Свердловской области, Свердловского областного краеведческого музея, из частных коллекций Евгения Бирюкова, Юрия Левина, Стефана Захарова, Ираиды Очеретиной, Евпраксии Монаховой, Юрия Литвиненко, Анастасии Булатовой, Майи Яценко, Александра Головинского.

Версты мужества
В 35 Сб., составитель С.Шмерлинг, ред. В.Артюшина. — Екатеринбург: Банк культурной информации, 1995г., 544стр., илл.

ISBN 5-85865-057-0

Издание составлено из произведений писателей-фронтовиков и посвящено 50-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Печатается по решению администрации Октябрьского района г.Екатеринбурга.

ББК 84.Р7

$$\text{В}\ \frac{4702010206\text{-}001}{87\ \Gamma(03)\text{-}95}$$ Без объявл.

Лицеизия ЛР № 040127 от 16 октября 1991 г.

Подписаио в печать с готовых диапозитивов 13.03.95 г. Формат 60x84/8. Бумага офсетиая. Физ. п.л. 67. Печать офсетиая. Тираж 30000 экз. (1-й завод-1-10000 экз.). Заказ № 474.

Баик культуриой ииформации: 620219, Екатериибург, ГСП-340, ул. Р.Люксембург, 56. Иистнтут истории и археологии УрО РАН, БКИ. Факс +7 (3432) 22-15-46.

Полиграфическое объедииеиие "Кинга" Чел. обл. управлеиия издательств, полиграфии и книжиой торговли, 454000, г.Челябинск, ул. Постышева, 2.








ВЕРСТЫ МУЖЕСТВА